

**Гайто
ГАЗДАНОВ**



Annotation

В третий том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика русской литературы, вошли романы «Возвращение Будды» и «Пилигримы», рассказы, литературная критика и эссеистика, а также выступления на заседаниях масонской ложи. Произведения написаны в 1944–1960 гг.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- [Гайто Газданов](#)
 - [Призрак Александра Вольфа*](#)
 - [Возвращение Будды*](#)
 - [Пилигримы*](#)
 - [Рассказы](#)
 - [Шрам*](#)
 - [Княжна Мэри*](#)
 - [Судьба Саломеи*](#)
 - [Панихида*](#)
 - [Интеллектуальный трест*](#)
 - [Из блокнота*](#)
 - [Нищий*](#)
 - [Письма Иванова*](#)
 - [Из записных книжек*](#)
 - [Литературная критика и эссеистика](#)
 - [О Гоголе*](#)
 - [О Чехове*](#)
 - [Памяти Александра Гингера*](#)
 - [Осоргин*](#)
 - [Памяти А. С. Альперина*](#)
 - [М. М. Тер-Погосьян*](#)
 - [Масонские доклады*](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [Комментарии](#)

- [Выходные данные](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)

- [73](#)
 - [74](#)
 - [75](#)
 - [76](#)
-

Гайто Газданов

Собрание сочинений в пяти томах

Том 3. Романы. Рассказы. Критика

Призрак Александра Вольфа*

Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечного количества ощущений моей жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах и было ясно, что я не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок, не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны; в общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться как незначительная подробность, тем более что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих – меня и еще одного, неизвестного мне, человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал.

Я не мог бы точно описать то, что было до этого, потому что все проходило в смутных и неверных очертаниях, характерных почти для всякого боя каждой войны, участники которого меньше всего представляют себе, что происходит в действительности. Это было летом, на юге России; шли четвертые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, я не мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Я помню только те ощущения, которые я испытывал и которые могли бы иметь место и в других обстоятельствах, – чувство голода, жажды и томительной усталости; я не спал перед этим две с половиной ночи. Стоял сильный зной, в воздухе колебался слабеющий запах дыма; час тому назад мы вышли из леса, одна сторона которого горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень. Мне смертельно хотелось спать, мне казалось тогда, что самое большое счастье, какое только может быть, это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забью обо всем решительно. Но именно этого нельзя было делать, и я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть, изредка плотая слюну и протирая время от времени воспаленные бессонницей и зноем глаза. Я помню, что, когда

мы проходили через небольшую рощу, я на секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стоя заснул под звуки стрельбы, к которым я давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг меня не было никого. Я пересек рощу и пошел по дороге, в том направлении, в котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тотчас же меня перегнал казак на быстром гнедом коне, он махнул мне рукой и что-то невнятно прокричал. Через некоторое время мне посчастливилось найти худую вороную кобылу, хозяин которой был, по-видимому, убит. На ней были уздечка и казачье седло; она щипала траву и беспрестанно обмахивалась своим длинным и жидким хвостом. Когда я сел на нее, она сразу пошла довольно резвым карьером.

Я ехал по пустынной извивающейся дороге; изредка попадались небольшие рощицы, скрывавшие от меня некоторые ее изгибы. Солнце было высоко, воздух почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о медленности всего происходившего. Мне по-прежнему так же смертельно хотелось спать, это желание наполняло мое тело и мое сознание, и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в действительности, конечно, не могло быть таким. Боя больше не было, было тихо; ни позади, ни впереди меня я не видел никого. И вот на одном из поворотов дороги, загибавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое и темное – потому что мои глаза были закрыты – пространство, но успел высвободить ногу из стремени и почти не пострадал при падении.

Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не было винтовки, я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытащил из новой и тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке; было так тихо, что я совершенно отчетливо слышал сухие всхлипывания копыт по растрескавшейся от жары земле, тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинул к плечу винтовку,

которую до тех пор держал наперевес. В эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него и медленно упал на землю. Я оставался неподвижно там, где стоял, рядом с трупом моей лошади, две или три минуты. Мне все так же хотелось спать, и я продолжал ощущать ту же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня впереди и долго ли еще буду жив, – и неудержимое желание увидеть, кого я убил, заставило меня сдвинуться с места и подойти к нему. Ни одно расстояние, никогда и нигде, мне не было так трудно пройти, как эти пятьдесят или шестьдесят метров, которые отделяли меня от упавшего всадника; но я все-таки шел, медленно переставляя ноги по растрескавшейся, горячей земле. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет двадцати двух – двадцати трех; шапка его отлетела в сторону, белокурая его голова, склоненная набок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает; пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза, ничего не произнес и опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немеющими пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг легкий порыв жаркого ветра донес до меня издали едва слышимый топот нескольких лошадей. Я вспомнил тогда об опасности, которая могла мне еще угрожать. Белый конь умирающего, настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это был огромный жеребец, очень выхоленный и чистый, с чуть потемневшей от пота спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью; я продал его за несколько дней до того, как покинул Россию, немецкому колонисту, который снабдил меня большим количеством провизии и заплатил мне крупную сумму ничего не стоящих денег. Револьвер, из которого я стрелял, – это был прекрасный парабеллум, – я выбросил в море, и от всего этого у меня не осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако, как проходило время, оно постепенно тускнело и почти утратило под конец свой первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки забыть это я никогда не мог. Много раз, – независимо от того, происходило ли это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, – я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг из глубины

моей памяти опять возникал этот знойный день на юге России, и все мои тогдашние ощущения с прежней силой возвращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую громадную тень лесного пожара и медленное ее смещение в треске горящих сучьев и ветвей, я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти непреодолимое желание спать, беспощадный блеск солнца, звенящую жару, наконец, немое воспоминание моих пальцев правой руки о тяжести револьвера, ощущение его шероховатой рукоятки, точно навсегда отпечатавшееся на моей коже, легкое покачивание черной мушки перед моим правым глазом – и потом эта белокурая голова на серой и пыльной дороге и лицо, измененное приближением смерти, той самой смерти, которую именно я, секунду тому назад, вызвал из неведомого будущего.

В те времена, когда это происходило, мне было шестнадцать лет – и, таким образом, это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае, обстоятельства, сопровождавшие его и все, что было с ним связано, – все возникло передо мной с особенной отчетливостью через много лет в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до сих пор никогда не слышал. Сборник назывался «Я приду завтра» – «I'll Come Tomorrow», – по первому рассказу. Их всего было три: «Я приду завтра», «Золотые рыбки» и «Приключение в степи», «The Adventure in the Steppe». Это было очень хорошо написано, особенно замечательны были упругий и безошибочный ритм повествования и своеобразная манера видеть вещи не так, как их видят другие. Но ни «Я приду завтра», ни «Золотые рыбки» не могли, однако, возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был естественен для всякого читателя. «Я приду завтра» был иронический рассказ о неверной женщине, о неудачной ее лжи и о тех недоразумениях, которые за этим последовали. «Золотые рыбки» – действие происходило в Нью-Йорке – это был, собственно говоря, диалог между мужчиной и женщиной и описание одной музыкальной мелодии; горничная забыла снять небольшой аквариум с центрального отопления, рыбки выскакивали из очень нагретейся воды и бились на ковре, умирая, а участники диалога этого не замечали, так как она

была занята игрой на рояле, а он – тем, что слушал ее игру. Интерес рассказа заключался во введении музыкальной мелодии как сентиментального и неопровержимого комментария и невольного участия в этом бьющихся на ковре золотых рыбок.

Но меня поразил третий рассказ: «Приключение в степи». Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По: «Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple»^[1]. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я не могу передать чувства, которое овладевало мной по мере того, как я читал. Это был рассказ об одном из эпизодов войны; он был написан без какого бы то ни было упоминания о стране, в которой это происходило, или о национальности его участников, хотя, казалось бы, одно его название, «Приключение в степи», указывало на то, что это как будто должно было быть в России. Он начинался так: «Лучшая лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, был жеребец белой масти, полукровка, очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой и широкой рысью. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы его сравнить с одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство, вдобавок, подчеркивалось тем, – для меня лично, – что именно на этой лошади я ехал карьером навстречу моей собственной смерти, по раскаленной земле, в одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь».

Я нашел там точное восстановление всего, что я переживал в далекие времена гражданской войны в России, и описание этих невыносимо жарких дней, когда происходили наиболее длительные и наиболее жестокие бои. Я дошел, наконец, до последних страниц рассказа; я читал их с почти остановившимся дыханием. Там я узнал мою вороную кобылу и тот поворот дороги, на котором она была убита. Человек, от лица которого велся рассказ, был убежден сначала, что всадник, упавший вместе с лошадей, был по меньшей мере тяжело ранен – так как он стрелял два раза и ему казалось, что он оба раза попал. Я не понимаю, почему я заметил только один выстрел. «Но он не был убит, ни даже, по-видимому, ранен, – продолжал автор, – потому что я видел, как он поднялся на ноги; в ярком солнечном свете я заметил, как мне показалось, темный отблеск револьвера в его руке. У него не было винтовки, это я знаю наверное».

Белый жеребец продолжал идти своим тяжелым карьером, приближаясь к тому месту, где с непонятной, как писал автор, неподвижностью, парализованный, быть может, страхом, стоял человек с револьвером в руке.

Потом автор задержал стремительный ход коня и приложил винтовку к плечу, но вдруг, не услышав выстрела, почувствовал смертельную боль неизвестно где и горячую тьму в глазах. Через некоторое время сознание вернулось к нему на одну короткую и судорожную минуту, и тогда он слышал медленные шаги, которые приближались к нему, но все мгновенно опять провалилось в небытие. Еще через какой-то промежуток времени, находясь уже почти в предсмертном бреду, он, непостижимо как, почувствовал, что над ним кто-то стоит.

«Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное, железное лицо, что я не мог бы ошибиться, я узнал бы всегда эти черты, знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой юношеское и бледное, совершенно мне неизвестное лицо с далекими и сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, наверное, четырнадцати или пятнадцати лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме явной усталости. Он простоял так несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я снова открыл глаза и в последнем усилии повернул голову, я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств и пришел в себя только много дней спустя, в госпитале. Револьверная пуля пробила мне грудь на полсантиметра выше сердца. Мой апокалипсический конь не успел довезти меня до самой смерти. Но до нее, я думаю, оставалось очень недалеко, и он продолжал это путешествие, только с другим всадником на спине. Я бы дорого дал за возможность узнать, где, когда и как они оба встретили смерть и пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, чтобы выстрелить в ее призрака. Я, впрочем, не думаю, чтобы он вообще хорошо стрелял, у него был не такой вид; то, что он попал в меня, было, скорее всего, случайно, но, конечно, я был бы последним человеком, который бы его в этом упрекнул. Я не сделал бы этого еще и потому, что, я думаю, он, наверное, давно погиб

и растворился в небытии, – верхом на белом жеребце, – как последнее видение этого приключения в степи».

Для меня почти не оставалось сомнений, что автор рассказа и был тем бледным и неизвестным человеком, в которого я тогда стрелял. Объяснить полное сходство фактов со всеми их характерными особенностями, вплоть до масти и описания лошадей, только рядом совпадений было, мне казалось, невозможно. Я еще раз посмотрел на обложку: «I'll Come Tomorrow», by Alexander Wolf. Это мог быть, конечно, псевдоним. Но это меня не останавливало; мне хотелось непременно встретиться с этим человеком. Тот факт, что он оказался английским писателем, был тоже удивителен. Правда, Александр Вольф мог быть моим соотечественником и достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы не прибегать к помощи переводчика, это было самое вероятное объяснение. Во всяком случае, я хотел выяснить все это во что бы то ни стало, потому что, в конце концов, я был связан с этим человеком, не зная его совершенно, слишком давно и слишком прочно и воспоминание о нем прошло сквозь всю мою жизнь. По его рассказу к тому же было ясно, что он должен был питать ко мне почти такой же интерес, именно оттого, что «Приключение в степи» имело очень важное значение в его существовании и, наверное, предопределило его судьбу еще в большей степени, чем мое воспоминание о нем предопределило ту исчезающую тень, которая омрачила много лет моей жизни.

Я написал ему письмо на адрес лондонского издательства, выпустившего его книгу. Я излагал те факты, которые ему были неизвестны, и просил его ответить мне, где и когда мы могли бы с ним встретиться, – если, конечно, это свидание интересует его так же, как меня. Прошел месяц, ответа не было. Было возможно, конечно, что он бросил мое письмо в корзину, не читая и предполагая, что это послано какой-нибудь поклонницей его таланта и заключает в себе просьбу прислать свою фотографию с надписью и сообщить мнение о собственном романе корреспондентки, который она ему пошлет или прочтет лично, как только получит от него ответ. Это казалось в какой-то мере вероятно еще и потому, что, несмотря на несомненное и настоящее искусство, с которым была написана книга, в ней была, я думаю, какая-то особенная привлекательность и для женщин. Но так или иначе, ответа я не получил.

Ровно через две недели после этого мне представилась неожиданная возможность поехать в Лондон для небольшого репортажа. Я пробыл там три дня и улучил время, чтобы зайти в издательство, напечатавшее книгу Александра Вольфа. Меня принял директор. Это был полный человек лет пятидесяти, представлявший из себя по типу нечто среднее между банкиром и профессором. Он бегло говорил по-французски. Я изложил ему причину моего визита и рассказал в нескольких словах, как я прочел «Приключение в степи» и почему этот рассказ меня заинтересовал.

– Мне хотелось узнать, получил ли мистер Вольф мое письмо.

– Мистера Вольфа сейчас нет в Лондоне, – сказал директор, – и мы, к сожалению, лишены в данный момент возможности с ним сноситься.

– Это начинает становиться похожим на детективный роман, – сказал я не без некоторой досады. – Я не буду злоупотреблять вашим временем и пожелаю вам всего хорошего. Могу ли я рассчитывать на то, что, когда ваш контакт с мистером Вольфом возобновится, – если это когда-нибудь произойдет, – вы напомните ему о моем письме?

– Вы можете быть совершенно спокойны, – поспешно ответил он. – Но я бы хотел прибавить одну существенную вещь. Я понимаю, что ваш интерес к личности мистера Вольфа носит совершенно бескорыстный характер. И вот я должен вам сказать, что мистер Вольф не может быть тем человеком, которого вы имеете в виду.

– До сих пор я был почти уверен в противоположном.

– Нет, нет, – сказал он. – Насколько я понимаю, это должен быть ваш соотечественник?

– Это было бы вероятнее всего.

– В таком *случае* это совершенно исключено. Мистер Вольф англичанин, я знаю его много лет и могу за это поручиться. К тому же он никогда не покидал Англии больше чем на две или три недели, которые он проводил, чаще всего, во Франции или в Италии. Дальше он не ездил, я знаю это наверное.

– Значит, все это недоразумение, хотя меня это удивляет, – сказал я.

– Что же касается рассказа «Приключение в степи», то он вымышлен с первой до последней строки.

– В конце концов, это не невозможно.

В течение последних минут разговора я стоял, собираясь уходить. Директор тоже поднялся с кресла и вдруг сказал, особенно понизив голос:

– Конечно, «Приключение в степи» вымышлено. Но если бы это была правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной небрежностью. Вы должны были целиться лучше. Это бы избавило от ненужных осложнений и мистера Вольфа, и некоторых других лиц.

Я с удивлением смотрел на него. Он улыбнулся очень натянутой улыбкой, которая показалась мне абсолютно неуместной.

– Правда, вы были слишком молоды и обстоятельства извиняют неточность вашего прицела. И потом все это, конечно, – со стороны мистера Вольфа, – только работа воображения, так случайно совпавшая с вашей действительностью. Желаю вам всего хорошего. Если у меня будут новости, я вам их сообщу. Разрешите мне прибавить еще одно; я значительно старше вас, и мне кажется, что я имею на это некоторое право. Уверяю вас, что знакомство с мистером Вольфом, если бы оно произошло, не принесло бы вам ничего, кроме разочарования, и не имело бы того интереса, который вы ему напрасно придаете.

Этот разговор не мог не произвести на меня чрезвычайно странного впечатления. Из него было ясно, что у директора издательства были какие-то личные счеты с Вольфом и настоящие – или воображаемые – причины его ненавидеть. То, что он почти упрекнул меня в недостаточно точном выстреле, звучало в устах этого полного и мирного человека по меньшей мере неожиданно. Так как книга была выпущена два года тому назад, то надо полагать, что события, заставившие директора изменить свое отношение к Вольфу, произошли именно в этот промежуток времени. Но все это, конечно, не могло мне дать никакого представления об авторе сборника «Я приду завтра», единственное, что я узнал, это было отрицательное мнение о нем директора издательства, вдобавок явно пристрастное. Я еще раз внимательно прочел книгу, мое впечатление не изменилось: тот же стремительный и гибкий ритм рассказа, та же удачность определений, то же безошибочное и, казалось, раз навсегда найденное соединение сюжетного матерьяла с очень короткими и выразительными авторскими комментариями.

Я не мог бы сказать, что я примирился с невозможностью узнать о Вольфе то, что меня интересовало, но я просто не видел, как это сделать. Со времени моего странного лондонского разговора прошел уже целый месяц, и я почти не сомневался, что рассчитывать на ответ Вольфа не следует, – может быть, вообще никогда и, во всяком случае, в ближайшем будущем. И я почти перестал думать об этом.

Я жил в те времена совершенно один. В числе ресторанов, где я обедал или завтракал, – их было четыре, в разных частях города, – был небольшой русский ресторан, самый близкий от моего дома и в котором я бывал несколько раз в неделю. Я пришел туда в Сочельник, приблизительно в десять часов вечера. Все столики были заняты, оставалось одно свободное место – в самом далеком углу, где одиноко сидел празднично одетый пожилой мужчина, которого я хорошо знал по виду, так как он был постоянным посетителем этого ресторана. Он всегда являлся с разными дамами, трудноопределимого в нескольких словах типа, но для жизни которых был, чаще всего, характерен какой-то перерыв в их деятельности: если это была артистка, то бывшая артистка, если певица, то у нее недавно испортился голос, если просто кельнерша, то вышедшая замуж некоторое время тому назад. У него была репутация донжуана – и я думаю, что среди этого круга женщин он, наверное, действительно пользовался успехом. Поэтому меня особенно удивило, что в такой день он был один. Но так или иначе, мне предложили место за его столиком, и я сел против него, поздоровавшись с ним за руку, чего раньше мне не приходилось делать.

Он был несколько мрачен, глаза его начинали мутнеть. После того как я сел, он выпил почти подряд три рюмки водки и внезапно повеселел. Кругом громко разговаривали люди, ресторанный граммофон играл одну пластинку за другой. В то время как он наливал себе четвертую рюмку, граммофон начал минорную французскую песенку:

Il pleut sur la route,
Le cœur en d'route.^[2]

Он внимательно слушал, наклонив голову набок. Когда пластинка дошла до слов:

Malgre le vent, la pluie,
Vraiment si tu m'aimes... [3]

он даже прослезился. Только тогда я заметил, что он уже очень пьян.

– Этот романс, – произнес он неожиданно громким голосом, обращаясь ко мне, – вызывает у меня некоторые воспоминания.

Я заметил, что на диванчике, где он сидел, рядом с ним лежала завернутая в бумагу книга, которую он несколько раз перекладывал с места на место, явно заботясь о том, чтобы ее не помять.

– Я думаю, что у вас вообще довольно много воспоминаний.

– Почему вам так кажется?

– Вид у вас такой, по-моему.

Он засмеялся и подтвердил, что, действительно, воспоминаний у него довольно много. Он находился в припадке откровенности и необходимости поговорить, особенно характерном именно для выпивших людей его размашистого типа. Он начал мне рассказывать свои любовные приключения, причем во многих случаях явно, как мне казалось, фантазировал и преувеличивал. Меня, однако, приятно удивило то, что ни об одной из своих многочисленных жертв он не отзывался дурно; во всех его воспоминаниях было нечто вроде смеси разгула с нежностью. Это был очень особенный оттенок чувства, характерный именно для него, в нем была несомненная и невольная привлекательность, и я понял, почему этот человек мог, действительно, иметь успех у многих женщин. Несмотря на внимание, с которым я следил за его рассказом, я не мог точно запомнить нестройную и случайную последовательность женских имен, которые он приводил. Потом он вздохнул, прервал сам себя и сказал:

– Но лучше за всю жизнь не было, чем моя цыганочка, Марина.

Он вообще часто употреблял уменьшительные слова, говоря о женщинах: цыганочка, девочка, блондиночка, черненькая,

быстренькая, – так, что со стороны получалось впечатление, что он все рассказывает о каких-то подростках.

Он долго описывал мне Марину, которая, по его словам, обладала всеми решительно достоинствами, что само по себе было довольно редко; но удивительнее всего мне казалось, что она ездила верхом лучше любого жокея и без промаха стреляла из ружья.

– Как же вы решили с ней расстаться? – спросил я.

– Это не я решил, милый друг, – сказал он. – Ушла от меня смугляночка, и недалеко ушла, к соседу. Вот, – он показал мне завернутую книгу, – к нему и ушла.

– К автору этой книги?

– А к кому же другому?

– Можно посмотреть? – сказал я, протягивая руку.

– Пожалуйста.

Я развернул бумагу – и мне сразу бросилось в глаза знакомое сочетание букв: «I'll Come Tomorrow», by Alexander Wolf.

Это было в такой же степени неожиданно, как удивительно. Я молчал несколько секунд, продолжая смотреть на заглавие. Потом я спросил:

– Вы уверены, что приказчик в магазине не ошибся и не дал вам что-то другое?

– Помилуйте, – сказал он, – какая же тут может быть ошибка? Я по-английски не читаю, но уж в этом, будьте уверены, не ошибусь.

– Я знаю эту книгу, но мне недавно сказали, что ее автор англичанин.

Он опять засмеялся.

– Саша Вольф англичанин! Тогда почему, черт возьми, не японец?

– Вы говорите – Саша Вольф?

– Саша Вольф, Александр Андреевич, если хотите. Такой же англичанин, как мы с вами.

– Вы хорошо его знаете?

– Еще бы не знать!

– Вы давно его видели в последний раз?

– В прошлом году, – сказал он, наливая себе водки. – Ваше здоровье. В прошлом году, в это же время приблизительно. Как закатились мы тогда на Монмартр, так там двое суток и оставались. Я уж и не помню, что было и как я домой попал. Это каждый раз, когда

он в Париж попадает. Я, знаете, сам не прочь выпить и – как бы это сказать? – порезвиться, но уж он слишком. Я ему говорю – Саша, побойся ты Бога. А он отвечает всегда одинаково – жизнь, говорит, у нас только одна, и та очень скверная, так какого же черта? Что вы на это скажете? Приходится соглашаться.

Он был уже совсем пьян, его язык начинал заплетаться.

– Он, значит, живет не в Париже?

– Нет, он все больше в Англии, хотя его повсюду носит. Я ему говорю: отчего, дьявол, по-русски не пишешь? Мы бы почитали. Говорит, нет смысла, по-английски выгоднее, платят лучше.

– А что же было с Мариной?

– Время у вас есть?

– Сколько хотите.

Тогда он начал рассказывать во всех подробностях о Марине, об Александре Вольфе, о том, когда и как все это происходило. Это был беспорядочный и довольно цветистый рассказ, который изредка прерывался тем, что он пил то за здоровье Вольфа, то за здоровье Марины. Он говорил много и долго, и, несмотря на то, что это было лишено хронологической последовательности, я мог составить себе более или менее отчетливое представление обо всем.

Александр Вольф был моложе этого человека, – его звали Владимир Петрович Вознесенский, он был духовного происхождения, – на пять или шесть лет. Он был из Москвы или, может быть, из других мест, но, во всяком случае, с севера России. Вознесенский познакомился с ним в конном отряде товарища Офицера, левого революционера с уклоном к анархизму. Отряд этот вел партизанскую войну на юге России. – Против кого? – спросил я. – Вообще против всяких войск, которые пытались захватить незаконную власть, – сказал Вознесенский с неожиданной твердостью. Насколько я понял, никакой определенной политической цели товарищ Офицеров не преследовал. Это был один из тех авантюристов очень чистого типа, которых знает история каждой революции и каждой гражданской войны. Численность его отряда то увеличивалась, то уменьшалась – в зависимости от обстоятельств, большего или меньшего количества трудностей, времени года и множества других, нередко случайных, причин. Но основная его группа всегда была одна и та же, и Александр Вольф был ближайшим сотрудником Офицера.

Он отличался, по словам Вознесенского, некоторыми, классическими в таких рассказах, качествами: неизменной храбростью, неутомимостью, способностью очень много пить и был, конечно, хорошим товарищем. В отряде Офицерова он провел больше года. За это время им пришлось жить в самых разных условиях: в крестьянских избах и в помещичьих домах, в поле и в лесу; иногда они голодали по нескольку дней, иногда непомерно объедались, страдали от холода зимой и от жары летом, – словом, это было то, что известно по опыту почти всякому участнику сколько-нибудь длительной войны. Вольф, в частности, был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен – до сих пор не понимаю, когда он успевал бриться каждый день, – сказал Вознесенский; он умел играть на рояле, мог пить чистый спирт, очень любил женщин и никогда не играл в карты. Он знал по-немецки, это выяснилось однажды, когда Вознесенский и он попали к немецким колонистам и старуха, хозяйка фермы, не говорившая по-русски, собиралась послать свою дочь на подводе в ближайший город, за три километра, чтобы сообщить там штабу советской дивизии, что в деревне находятся два вооруженных партизана. Она сказала все это дочери по-немецки, в присутствии Вознесенского и Вольфа. – Что же было дальше?

– Он мне тогда ничего не рассказал, только девчоночку мы не пустили, связали и отнесли на чердак, потом забрали провизию и ушли.

По словам Вознесенского, Вольф, уходя, покачал головой и сказал: – Эх, старуха какая! – Что ж ты ее не пристрелил? – спросил Вознесенский позже, когда Вольф объяснил ему, в чем дело. – Будь она проклята, – сказал Вольф, – ей и так жить недолго осталось, ее без нас с тобой Бог приберет.

Вольфу очень везло на войне; из самых опасных положений ему удавалось уходить совершенно невредимым.

– Он ни разу не был ранен? – спросил я.

– Один только раз, – сказал Вознесенский, – но зато так, что я собирался панихиду служить. Это не *façon de parler*^[4], как говорят французы; доктор объявил, что Саше осталось несколько часов жизни.

Но доктор ошибся; Вознесенский объяснял это тем, что он недооценил сопротивляемости Вольфа. Вознесенский прибавил, что Вольф был ранен в совершенно загадочных обстоятельствах, о

которых он ничего не хотел сказать, ссылаясь на то, что не помнит, как это произошло. Тогда были жестокие бои между частями красной армии и отступавшими белыми; отряд Офицерова скрывался в лесах и не принимал в этом никакого участия. Приблизительно через час после того, как замолкли последние выстрелы, Вольф заявил, что поедет на разведку, и уехал один. Прошло часа полтора, он не возвращался. Вознесенский с двумя товарищами отправился его разыскивать. За некоторое время до этого они слышали три выстрела, третий был более далекий и слабый, чем два первых. Они проехали две или три версты по пустынной дороге, все было тихо, нигде не было видно никого. Стояла сильная жара. Вознесенский первый увидел Вольфа; Вольф лежал неподвижно поперек дороги и «хрипел кровью и пеной», как он сказал. Лошадь его пропала, что тоже было удивительно; она обычно ходила за ним, как собака, и никогда бы по доброй воле не ушла.

– Вы не помните, какая это была лошадь? какой масти?

Вознесенский задумался, потом сказал:

– Нет, не вспомню. Давно это было, черт его знает. Он их много переменял.

– Но как же, вот вы говорите, что она ходила за ним, как собака.

– А это у него был такой талант, – сказал Вознесенский, – все его лошади так. Знаете, бывают люди, которых никогда не трогают собаки, даже самые злые. А у него был такой же дар к лошадям.

И Вознесенскому, и его товарищам представлялись чрезвычайно странными обстоятельства, при которых Вольф был так тяжело ранен. Доктор говорил потом, что рана была от револьверной пули, выстрел был сделан с небольшого расстояния, и Вольф не мог, конечно, не видеть того, кто в него стрелял. Главное, не было никакого боя и никого вокруг; только недалеко от того места, где они нашли Вольфа, лежал труп нерасседланной вороной кобылы. Вознесенский предполагал, что в Вольфа стрелял, по-видимому, человек, которому принадлежала эта лошадь, и он же потом уехал на так необъяснимо пропавшем коне Вольфа. Он прибавил, что если бы они, Вознесенский и его спутники, не опоздали, то не пожалели бы пуль, чтобы отомстить за товарища. Я вспомнил порыв горячего ветра, донесший до меня далекий топот нескольких лошадей – тот самый звук, который заставил меня тотчас же уехать.

– А может быть, в конце концов, – неожиданно сказал Вознесенский, – этот человек просто защищал свою жизнь и его тоже нельзя обвинять. Предлагаю вам по этому случаю чокнуться за его здоровье. Вам нужно выпить, у вас что-то очень задумчивый вид.

Я молча кивнул головой. Низкий женский голос в это время пел из граммофона:

Не надо ничего,
Ни поздних сожалений...

Был уже первый час ночи, в воздухе стоял холодноватый запах шампанского, маленькие облачка духов; пахло еще жареным гусем и печеными яблоками. С улицы доносились заглушённые автомобильные гудки, за ресторанной витриной, отделенная от нас только стеклом, начиналась зимняя ночь, с этим блеклым и холодным светом фонарей, отражавшимся на влажной парижской мостовой. И я видел перед собой, с необъяснимо печальной отчетливостью, жаркий летний день, растрескавшуюся черно-серую дорогу, медленно, как во сне, кружившую между маленькими рощами, и неподвижное тело Вольфа, лежащее на горячей земле после этого смертельного падения.

Вознесенский привез его в маленький бело-зеленый городок – белый от цвета домов, зеленый от деревьев – над Днепром и устроил его в больницу. Доктор сказал Вознесенскому, что Вольфу осталось несколько часов жизни. Но через три недели он вышел из больницы с ввалившимися щеками и густой щетиной на лице, делавшей его очень не похожим на себя. Вознесенский пришел за ним вместе с Мариной, которую он встретил на следующий день после своего приезда в этот город. Она была в белом легком платье; браслеты звенели на ее смуглых руках. Года два тому назад она покинула родных и путешествовала с тех пор по южной России, зарабатывая то гаданьем, то пением. Вознесенский твердо верил, что она жила именно на такие доходы; судя по тому, как он ее описывал, я думаю, что ей вряд ли приходилось очень заботиться о своем пропитании. Ей было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Когда Вознесенский говорил о ней, у него даже менялся голос, и я полагаю, что если бы он не был так пьян, то не рассказал бы мне о некоторых совершенно

непередаваемых и действительно редких ее качествах, о которых, конечно, могли знать только люди, неоднократно испытывавшие непреодолимую, горячую прелесть ее близости.

Он жил с Мариной в небольшом особняке; через два дома от них поселился Вольф, который был еще слишком слаб, чтобы начинать прежнее партизанское существование. В доме Вознесенского был рояль. Вольф пришел в гости к своему товарищу на следующий день в штатском костюме, выбритый и чистый, как всегда, они вместе обедали, потом он сел за рояль и стал аккомпанировать Марине, которая пела свои песни.

Через некоторое время Вознесенский уехал на несколько дней к Офицерову; и когда он вернулся, то Марины не было. Он пошел к Вольфу – и она отворила ему дверь. Вольф в этот день отсутствовал. Она посмотрела на Вознесенского без всякого смущения и с дикарской, непосредственной простотой сказала ему, что теперь она его больше не любит, а любит Сашу. В эту минуту, как сказал Вознесенский, она была похожа на Кармен.

– Я был человек крепкий, – сказал он, – на моих глазах были убиты мои товарищи, я сам часто рисковал жизнью, и все сходило с меня, как с гуся вода. Но в тот день я пришел домой, лег на кровать и плакал, как мальчишка.

То, что он мне рассказывал потом, было удивительно и наивно. Он убеждал Марину, что Вольф еще слишком слаб, что она должна была его пожалеть и оставить в покое.

– А когда он начинает кашлять и хрипеть, так я его отпускаю, – ответила она с той же простотой, которая была для нее характерна.

Впрочем, измена Марины никак не повлияла на отношения между Вознесенским и Вольфом. Вознесенский нашел в себе силы дружески относиться даже к Марине. Она прожила с Вольфом много месяцев, сопровождала отряд повсюду, и именно тогда они оценили ее искусство ездить верхом и стрелять из винтовки.

Затем наступили страшные времена. На преследование отряда, от которого осталось двести человек, была послана конная дивизия. Несколько недель они скрывались в лесах. Это было в Крыму. Офицеров был убит.

В один из последних дней их пребывания там они нашли в лесу недавно брошенные и хорошо оборудованные землянки. Впервые за

полторы недели они провели спокойную ночь, в сравнительном тепле и с некоторыми удобствами. Они проспали много часов подряд. Когда они встали, поздно утром, Марины не было.

– Мы так и не узнали, что с ней случилось, – сказал Вознесенский, – и куда она пропала.

Но разыскивать ее у них не было ни времени, ни возможности. Они добрались пешком до побережья и уехали из России в трюме турецкого парохода, перевозившего уголь. В Константинополе, через две недели, они расстались – и встретились через двенадцать лет в Париже, в вагоне метро, когда Вольф, уже далеко не в первый раз, приехал во Францию из Англии, где постоянно жил.

О судьбе Марины Вознесенский так ничего и не знал. Она появилась неожиданно, в одно летнее утро, на базарной площади этого маленького городка над Днепром, и исчезла так же неожиданно, на рассвете осенней ночи, в Крыму. – Появилась, обожгла и пропала, – сказал он. – Но только мы ее не забыли, ни Саша, ни я.

Я смотрел на него и думал о неправдоподобном стечении обстоятельств, которое связало мою жизнь со всем, что он рассказывал. Пятнадцать лет тому назад этот человек, который теперь сидел против меня в парижском ресторане и встречал Рождество с водкой, гусем и воспоминаниями и в самом дружеском расположении к своему собеседнику, ехал, вместе с двумя товарищами, на поиски Александра Вольфа, и если бы не легкий ветер, то я не услышал бы их приближения, они могли бы меня догнать, и тогда, конечно, мой револьвер меня бы не спас. Правда, я думаю, что белый жеребец Вольфа был резвее их лошадей, но он так же мог быть ранен или убит, как моя вороная кобыла. Но не это занимало мои мысли. Это была случайность, касавшаяся моей личной судьбы, и если бы меня спросили, что было бы лучше – быть убитым тогда или уцелеть для той жизни, которая мне предстояла, я не уверен, что стоило выбирать второе. Мы расстались, наконец, с Вознесенским, он ушел неверной походкой, и я остался один, погруженный в мои мысли обо всем, что я узнал за последнее время и что вызывало во мне ряд очень нестройных и противоречивых представлений. Конечно, в рассказе Вознесенского могла быть известная доля фантазии, почти неизбежная для таких устных мемуаров, – но она не касалась главного. То, что сказал мне директор издательства, резко расходилось с тем, что я

узнал в этот вечер ресторанного разговора; правда, директору я был склонен верить гораздо меньше, чем моему рождественскому собеседнику. Но зачем ему нужно было уверять меня, что Вольф никогда надолго не уезжал из Англии, – и почему он жалел, что я его не убил? Но и это были побочные соображения. Самым удивительным мне казалось другое: как этот Саша Вольф, друг Вознесенского, авантюрист, пьяница, любитель женщин, соблазнитель Марины, – как этот Саша Вольф мог написать «I'll Come Tomorrow»? Автор этой книги не мог быть таким. Я знал, что это был несомненно умный, чрезвычайно образованный человек, у которого культура не носила какого-то случайного характера; кроме того, он не мог не быть душевно чуждым такому милому и бесшабашному забулдыге, как Вознесенский, и всем вообще людям этой категории. Мне было трудно вообразить себе человека, так уверенно чувствовавшего себя в тех психологических переходах и оттенках, на удачном использовании которых была построена его проза, связывающим немецкую девочку-колонистку, например. В этом, конечно, не было ничего совершенно неправдоподобного, кроме того, это происходило много лет тому назад, но все-таки это уж как-то очень явно не соответствовало нормальному представлению об авторе «I'll Come Tomorrow». Был ли он англичанином или русским, тоже, на мой взгляд, не имело значения. Мне больше всего хотелось знать, – если предположить, что рассказ Вознесенского был в общем верен, в чем я почти не сомневался, – как Саша Вольф, авантюрист и партизан, превратился в Александра Вольфа, написавшего такую книгу. Это с трудом укладывалось в моем воображении, – этот всадник на белом жеребце, ехавший карьером навстречу своей смерти, и именно такой смерти – револьверная пуля на всем скаку, – и автор сборника, ставящий эпиграфом цитату из Эдгара По. – Рано или поздно, – думал я, – я все-таки узнаю это, и, быть может, мне удастся проследить с начала до конца историю этого существования, в том его двойном аспекте, который особенно интересовал меня. – Это могло произойти или не произойти; во всяком случае, об этом следовало говорить только в будущем времени, и я совершенно не представлял себе, в каких именно обстоятельствах я это узнаю, если мне вообще суждено это узнать. Меня невольно тянуло к этому человеку; и помимо тех причин, которые казались наиболее очевидными и достаточными,

чтобы объяснить мой интерес к нему, была еще одна, не менее важная и связанная на этот раз с моей личной судьбой. Когда я впервые подумал о ней, однако, она почти показалась мне нелепой. Это было нечто вроде жажды самооправдания или поисков сочувствия, и я сам себе начал напоминать кого-то, кто, будучи приговорен к известному наказанию, естественно ищет общества людей, несущих такую же кару, как он сам. Другими словами, судьба Александра Вольфа интересовала меня еще и потому, что я сам страдал всю свою жизнь от непреодолимого и чрезвычайно упорного раздвоения, с которым тщетно пытался бороться и которое отравило лучшие часы моего существования. Быть может, предполагаемая двойственность Александра Вольфа была просто мнимой и все, что мне казалось противоречивым в моем представлении о нем, это были только различные элементы той душевной гармонии, которой отличался автор «I'll Come Tomorrow». Но если это было так, то особенно хотелось понять, каким образом ему удалось достигнуть столь счастливого результата и успеть в том, в чем я так давно и так неизменно терпел постоянные неудачи?

Историю этих неудач я помнил очень хорошо, еще с тех времен, когда вопрос о моем личном раздвоении носил совершенно невинный характер и никак, казалось бы, не предвещал тех катастрофических последствий, к которым привел позже. Это началось с того, что меня в одинаковой степени привлекали две противоположные вещи: с одной стороны, история искусства и культуры, чтение, которому я уделял очень много времени, и склонность к отвлеченным проблемам; с другой стороны – столь же неумеренная любовь к спорту и всему, что касалось чисто физической, мускульно-животной жизни. Я едва не надорвал себе сердца гирями, которые были слишком тяжелы для меня, я проводил чуть ли не полжизни на спортивных площадках, участвовал во многих состязаниях и вплоть до последнего времени предпочитал футбольный мяч любому театральному спектаклю. Я сохранил очень неприятные воспоминания о жестоких драках, которые были характерны для моей юности и которые были совсем не похожи на спорт. Все это давно прошло, конечно; у меня осталось два шрама на голове – я как сквозь сон вспоминал, что товарищи принесли меня тогда домой, покрытого запекшейся кровью и в изорванном гимназическом костюме. Но это все, – как и то, что я

постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной свободе, от одной тюрьмы до другой, – не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами, заключает в себе нечто странное. Впоследствии все это приняло несколько иные формы, далекие, однако, от какого бы то ни было улучшения, потому что, чем дольше это продолжалось, тем больше становилось расхождение и резкое противоречие, характерное для моей жизни. Оно находилось между тем, к чему я чувствовал душевную склонность и тяготение, и тем, с чем я так тщетно боролся, именно этим бурным и чувственным началом моего существования. Оно мешало всему, оно затемняло те созерцательные возможности, которые я ценил больше, чем что бы то ни было другое, оно не позволяло мне видеть вещи так, как я должен был их видеть, оно искажало их в своем грубом, но непреодолимом преломлении, оно заставляло меня совершать множество поступков, о которых я потом неизменно сожалел. Оно побуждало меня любить вещи, эстетическую ничтожность которых я прекрасно знал, это были вещи явно дурного вкуса, и сила моего влечения к ним могла сравниться только с отвращением, которое я необъяснимым образом испытывал к ним в одно и то же время.

Но все-таки самым грустным результатом этого раздвоения был мой душевный опыт по отношению к женщинам. Я давно ловил себя на том, что вот я слежу жадными и почти чужими глазами за тяжелым и грубым женским лицом, в котором самый внимательный и самый беспристрастный наблюдатель тщетно искал бы какой бы то ни было одухотворенности. Я не мог не видеть, что эта женщина одета с вызывающим и неизменным безвкусием, так же, как я не мог предполагать в ней ничего, кроме чисто животных рефлексов, – и все же движения ее тела и раскачивающаяся ее походка каждый раз производили на меня непостижимо сильное впечатление. Правда, я никогда не имел ничего общего с женщинами такого порядка, наоборот, при приближении к ним самым властным чувством во мне оказывалось все-таки отвращение. Другие женщины, которые прошли через мою жизнь, принадлежали к совершенно иному кругу, они составляли часть того мира, в котором я должен был бы жить всегда и

откуда меня так неудержимо тянуло вниз. Я испытывал по отношению к ним лучшие, я думаю, чувства, на которые я был способен, – но все-таки во всем этом был привкус какой-то вялой прелести, оставлявший во мне каждый раз ощущение смутной неудовлетворенности. Это всегда было так – и я никогда не знал другого; я полагаю, что от этого последнего шага меня удерживало нечто похожее на инстинкт самосохранения, бессознательное понимание, что если бы это произошло, то кончилось бы душевной катастрофой. Но я нередко чувствовал, что она была близка; и я думал, что та же моя судьба, которая до сих пор так счастливо выводила меня из многих трудных и иногда опасных положений, – она же благоприятствовала мне, давая – в течение нескольких коротких часов за всю мою жизнь – иллюзию мирного и почти отвлеченного счастья, где не было места моему неудержимому стремлению вниз. Это было похоже на то, как если бы человек, которого всегда тянет в пропасть, жил в стране, где нет ни гор, ни обрывов, а только ровные просторы плоских равнин.

По мере того как проходило время и вместе с ним медленно двигалась моя жизнь, я привык к двойственности своего существования, как люди привыкают, скажем, к одним и тем же болям, характерным для их неизлечимой болезни. Но я не мог примириться до конца с сознанием того, что мое дикарское и чувственное восприятие мира лишило меня очень многих душевных возможностей и что есть вещи, которые я теоретически понимаю, но которые навсегда останутся для меня недоступны, как мне будет недоступен мир особенно возвышенных чувств, которые, однако, я знал и любил всю мою жизнь. Это сознание отражалось на всем, что я делал и предпринимал; я всякий раз знал, что то душевное усилие, на которое я, в принципе, должен был быть способен и которого другие были вправе от меня ждать, мне окажется непосильным, – и поэтому я не придавал значения многим практическим вещам, и поэтому моя жизнь носила в общем такой случайный и беспорядочный характер. Это же предопределило и мой выбор профессии; и вместо того, чтобы посвятить свое время литературному труду, к которому я чувствовал склонность, но который требовал значительной затраты времени и бескорыстного усилия, я занимался журнальной работой, очень нерегулярной и отличавшейся утомительным разнообразием. В зависимости от необходимости мне приходилось писать о чем угодно,

начиная от политических статей и кончая отзывами о фильмах и отчетах о спортивных состязаниях. Это не требовало ни особенного труда, ни специальных знаний; кроме того, я пользовался либо псевдонимом, либо инициалами и уклонялся таким образом от ответственности за то, что писал. Этому, впрочем, научил меня опыт: почти никто и никогда из тех, о ком мне приходилось высказывать не совсем положительное суждение, не мог оплასиться с моим отзывом, и каждый чувствовал настоятельную необходимость лично объяснить мне мое заблуждение. Изредка я должен был писать о том, что не входило в круг моей компетенции даже самым отдаленным образом, это случалось тогда, когда я заменял заболевшего или уехавшего специалиста. Одно время, например, мне все попадались некрологи, я написал их шесть за две недели, потому что мой товарищ, который занимался этим обычно – с необыкновенным рвением и редкой профессиональной честностью, – по прозвищу Боссюэ, лежал в кровати с двусторонним воспалением легких. Когда я пришел его навестить, он сказал мне с иронической улыбкой:

– Я надеюсь, милый коллега, что вам не придется утруждать себя некрологической заметкой обо мне. С вашей стороны это было бы самым жертвенным поступком, на который мы вправе надеяться.

– Дорогой мой Боссюэ, – сказал я, – я категорически обещаю вам, что ваш некролог я писать не буду. Я думаю, что лучше вас этого никто не сделает...

И самым удивительным было то, что Боссюэ действительно приготовил для себя некрологическую заметку, которую он мне показал и в которой я нашел все, к чему так привык, все положительные и классические пассажи этой литературы: тут был и бескорыстный труд, и смерть на посту – *pareil a un soldat, il est mort au combat*^[5], – и безупречное прошлое, и горе семьи – *que vont devenir ses enfants?*^[6], и так далее.

Период некрологов был памятен для меня, в частности, потому, что последнюю – шестую по счету – статью мне вернули из редакции с требованием больше оттенить положительные стороны покойного. Это было тем более трудно, что речь шла о политическом деятеле, умершем от прогрессивного паралича; вся жизнь его отличалась удивительным постоянством – последовательность темных дел, фальшивые итоги банковских операций, многочисленные партийные

измены, затем банкеты, посещение наиболее известных кабаре и самых дорогих домов терпимости и, наконец, смерть от последствий венерической болезни. Это была спешная работа, я просидел над ней целый вечер, не успел вовремя пообедать, и, только дописав последние строки и отвезя статью в типографию, я зашел в русский ресторан, где встречал Сочельник, и после долгого перерыва снова встретил там Вознесенского, который опять сидел один и искренне мне обрадовался, как старому знакомому. Он обратился ко мне фамильярно и непринужденно, так, точно мы были знакомы много лет; но, как всегда, во всем, что он говорил или делал, в этом не было ничего шокирующего. Он спросил меня, где я пропадаю и нужно ли всякий раз дожидаться двенадцатого праздника, чтобы меня увидеть. Потом он поинтересовался тем, что я вообще делаю. Когда я ему сказал, что я журналист, он необыкновенно воодушевился.

– Вот вам счастье, – сказал он, – а мне Бог не дал.

– В чем же счастье?

– Помилуйте, да будь я журналистом, я бы такое написал, что все только удивлялись бы.

– Я думаю, что для этого не нужно быть журналистом. Вы бы попробовали.

– Пробовал, – ответил он, – ничего не выходит.

И он рассказал мне, как однажды сел писать свои мемуары, писал полночи и сам был в восторге, насколько все получалось замечательно.

– Так, знаете, умно, такие прекрасные сравнения, такое богатство слога, просто поразительно.

– Очень хорошо, – сказал я, – почему же вы не продолжали?

– Я лег спать, – сказал он, – уже под утро. Был я сам совершенно ослеплен своим собственным даром, который так внезапно открылся.

Потом он вздохнул и прибавил:

– Но когда я проснулся и все это опять прочел, мне, знаете, даже просто неприятно стало. Такие оказались плупости, так по-идиотски все было написано, что я только рукой махнул. Больше я никогда не буду писать.

Он сидел и задумчиво смотрел перед собой, на лице его было выражение искреннего огорчения. Потом, точно вспомнив что-то, он спросил меня:

– Да, вот о чем я хотел с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, как пишет Саша? Хорошо или так себе? Помните, Саша Вольф, о котором мы с вами разговаривали?

Я ему сказал, что я думаю по этому поводу Он покачал головой.

– А в этой книжке он о Марине не пишет? – Нет.

– Жаль, о ней бы стоило. А о чем же он пишет? Вы извините, что я вас так расспрашиваю. По-английски я не знаю, лежит у меня Сашина книга, как рукопись на неизвестном языке.

Я ему приблизительно рассказал содержание книги. Его особенно заинтересовало, конечно, «Приключение в степи». Он все не мог привыкнуть к той мысли, что Саша Вольф, этот самый Саша, которого он так хорошо знает, – такой же, как мы все, сказал он, – этот Саша оказался писателем, да еще английским вдобавок.

– Откуда у него это берется? Не понимаю, – сказал он. – Вот что значит талант. Такой же человек, как я. Я всю свою жизнь ухлопал на ерунду, а о Саше потом будут писать статьи и, может быть, даже книги. И нас, может быть, вспомнят, если он о нас напишет, и через пятьдесят лет какие-нибудь английские гимназисты будут о нас читать, и, таким образом, все, что было, не пройдет даром.

Он опять смотрел перед собой невидящим взглядом.

– И вот так все и останется, – продолжал он, думая вслух. – И как браслеты звенели на Марининых руках, и какой Днепр был в то лето, и какая была жара, и как Саша лежал поперек дороги. Так он, значит, видел, кто в него стрелял тогда? По его описанию, вы говорите, мальчишка? Как это у него сказано?

Я повторил более подробно это место рассказа.

– Да, да, – сказал Вознесенский. – Это очень вероятно. Испугался, может быть, мальчонка. Вы представляете себе? Лошадь под ним убили, стоит, бедняга, один в поле, а на него карьером несется какой-то бандит с винтовкой.

Он опять задумался.

– Так мы никогда о нем ничего и не узнаем. Был ли это гимназист, который еще недавно боялся преподавателей больше, чем пулемета, и дома читал мамины книги, или хулиган, вроде беспризорного, и стрелял ли он от испуга или со спокойным расчетом, как убийца? Во всяком случае, – прибавил он неожиданно, – если бы я его каким-нибудь чудом встретил, я бы ему сказал: спасибо, дружок,

что немного промахнулся; благодаря этому промаху мы все останемся жить – и Марина, и Саша, и даже, может быть, я.

– А вы придаете этому такое значение?

– А как же? – сказал он. – Жизнь проходит бесследно, миллионы людей исчезают, и о них никто не вспомнит. И из этих миллионов остаются какие-то единицы. Что может быть замечательнее? Или вот, живет красавица, вроде Марины, из-за которой десятки людей готовы, может быть, умереть, – и через несколько лет от нее ничего не останется, кроме где-то догнивающего ее тела? Разве это справедливо?

– Действительно, можно только пожалеть, что вы не писатель.

– Ах, милый мой, конечно. А вы думали, что я даром сокрушался по этому поводу? Я человек простой, но что же поделать, если во мне есть жажда бессмертия? Я прожил очень разгульную жизнь, все девочки да рестораны, – но это не значит, что я никогда и ни над чем не задумался. Наоборот, после девочек и ресторанов, в тишине и одиночестве, – вот тогда вспомнишь все, и на душе особенно печально. Это вам все развратники и все пьяницы подтвердят.

На этот раз он был в созерцательном настроении и почти трезв. Со мной под конец он стал разговаривать таким тоном, каким старшие разговаривают с младшими. Вот когда проживете с мое... Вы, конечно, слишком молоды... Потом речь снова была о Вольфе, но ничего нового он о нем не сказал.

Прошло еще несколько недель, и за все это время к моим сведениям не прибавилось ничего, даже в области моих собственных предположений. Из Лондона я не получил ни одного письма. Мне неоднократно приходила в голову мысль, что все это останется так навсегда: Вольф мог умереть, я мог его никогда не встретить, и то, что я знаю о нем, ограничится его рассказом «Приключение в степи», моими собственными воспоминаниями об этих жарких летних днях и тем, что говорил мне Вознесенский. Я вспомню еще несколько раз дорогу, бело-зеленый город над Днепром, звуки рояля в маленьком особняке и звон браслетов на руках Марины, – которого не мог забыть Вознесенский, – потом все это постепенно будет бледнеть и тускнеть, и затем почти ничего не останется, кроме, пожалуй, книги, написанной этим упругим и точным языком и заглавие которой тоже будет звучать для меня какой-то отдаленной насмешкой.

Я бывал по-прежнему время от времени в этом ресторане, но все попадал не в те часы, когда туда приходил Вознесенский, который, впрочем, потерял для меня теперь значительную долю интереса. По-прежнему граммофон, соединенный с аппаратом радио, играл свои пластинки, – и всякий раз, когда низкий женский голос начинал романс:

Не надо ничего,
Ни поздних сожалений... –

я невольно поднимал голову, и мне начинало казаться, что вдруг отворится дверь, и войдет Вознесенский, и вслед за ним быстрой походкой пройдет человек с белокурыми волосами и остановившимся взглядом серых глаз. То, что у него были серые глаза, вспомнил теперь отчетливо, хотя в тот раз, когда я их видел, они были покрыты почти что предсмертной мутью, и я заметил их цвет только потому, что это происходило в очень исключительных обстоятельствах.

* * *

Я продолжал вести прежний образ жизни, в нем ничего не изменилось, все было, как всегда – хаотично и печально, и я временами не мог отделаться от впечатления, что живу так уже бесконечно давно и давно знаю до смертельной тоски все, что мне приходится видеть: этот город, эти кафе и кинематографы, эти редакции газет; одни и те же разговоры об одном и том же и приблизительно с одними и теми же людьми. И вот однажды, в феврале месяце мягкой и дождливой зимы, без всякой подготовки к этому, без какого бы то ни было ожидания чего-то нового, начались события, которые впоследствии должны были завести меня очень далеко. В сущности, начало их ни в какой степени не могло быть названо случайностью, по крайней мере, с моей стороны. Точно так же, как некоторое время тому назад я занимался некрологами вместо Боссюэ, который теперь, к счастью, выздоровел и принялся с непонятным рвением писать свои похоронно-лирические статьи, – так

я должен был после этого заменить другого сотрудника газеты, специалиста по отчетам о спортивных состязаниях, уехавшего в Барселону, чтобы присутствовать на очень важном – с его точки зрения – интернациональном футбольном матче. Через день после этого в Париже должно было происходить не менее значительное событие, именно финал чемпионата мира в полутяжелом весе, и отчет об этом был поручен мне. Меня очень интересовал исход матча. Я имел вполне определенное представление о карьере и качествах каждого из противников, и их столкновение представляло для меня особенный интерес. Один из боксеров был француз, знаменитый Эмиль Дюбуа, другой – американец, Фред Джонсон, который впервые выступал в Европе. Общим фаворитом был Дюбуа; я был одним из немногих, считавших, что матч будет выигран Джонсоном, потому что я располагал сведениями, которые большинству публики и даже большинству журналистов были неизвестны, и для того, чтобы так думать, у меня были некоторые основания. Дюбуа я знал давно; за последние несколько лет он не потерпел ни одного поражения. Несмотря на это, его никак нельзя было назвать исключительным боксером. У него были несомненные природные данные, но это было скорее отсутствие некоторых недостатков, а не сумма достоинств: он отличался необыкновенной сопротивляемостью, мог вынести множество жестоких ударов, у него были прекрасные легкие и сердце и неисчерпаемое дыхание. В этом заключались его положительные качества, недостаточные, однако, чтобы сказать, что он обладал резкой профессиональной индивидуальностью. Тактика, всегда одна и та же, которую он применял, свидетельствовала о полном отсутствии у него какого бы то ни было вдохновения или фантазии; она оказалась удачной несколько раз, и он потом никогда ей не изменял. У него были короткие руки, он был недостаточно быстр и недостаточно гибок. Он выигрывал матчи благодаря частым *corps a corps*^[7], его удары всегда приходились по ребрам противника, и во всей его карьере было только два классических нокаута, оба совершенно случайные. У него давно были расплющены уши и раздавлен прямыми ударами нос; он шел обычно на противника, как бык, опустив свою крепкую голову и вынося все удары с несомненным и тупым мужеством. Он был чемпионом Европы в полутяжелом весе, и на этот раз вся пресса предсказывала ему быструю победу. В частной жизни это был глупый

и очень добродушный человек, он, между прочим, никогда не предъявлял никаких претензий к журналистам, что бы о нем ни писали; в довершение всего он читал вообще с трудом и мало интересовался газетами.

О Фреде Джонсоне я знал только то, что о нем писали американские журналисты. Нужно было произвести большую работу, чтобы из всей этой массы рекламных статей извлечь сколько-нибудь положительные данные для суждения о нем. Джонсон не мог кончить университета, потому что у него не хватило денег, и именно это заставило его выбрать профессию боксера. Это само по себе было достаточно необыкновенно. Вторая особенность его, уже чисто профессиональная, была та, что он доводил почти все свои матчи до последнего раунда. Третье, то, о чем неизменно жалели все, кто о нем писал, это что он не обладал нужной силой удара и количество нокаутов в его карьере было ничтожно. Они все-таки время от времени случались, и это каждый раз вызывало всеобщее удивление, но так как это бывало редко, то быстро забывалось. Все писавшие о нем неизменно подчеркивали необыкновенную быстроту его движений и разнообразие его тактики. Я много раз видел его фотографии: лицо Джонсона, в противоположность лицам большинства профессиональных боксеров, не было обезображено. Прочтя о нем несколько десятков статей и следя за результатами его матчей, я пришел к некоторым чисто теоретическим выводам, и мне особенно интересно было проверить их теперь. Выводы эти были следующие. Во-первых, Джонсон – по крайней мере, в своих боксерских выступлениях – был умен, что давало ему мгновенное огромное преимущество над его противниками; я очень люблю бокс, но давно убедился в том, что всякие иллюзии по поводу быстроты соображения у боксеров и присутствия у них элементарной гибкости воображения, даже только в техническом смысле, чаще всего – в девяноста случаях из ста – совершенно напрасны. Во-вторых, он, по-видимому, обладал не меньшей выносливостью, чем Дюбуа, так как только боксер с исключительными физическими данными мог позволить себе роскошь выдерживать каждый раз десять или пятнадцать раундов. В-третьих, он прекрасно владел техникой защиты, – доказательством служило то, что лицо его за всю карьеру серьезно не пострадало. И затем последнее и самое главное: он – так

мне казалось – обладал, когда это было абсолютно необходимо, достаточной силой удара для нокаута, но пользовался этим лишь в чрезвычайно редких случаях, предпочитая выигрывать матчи по очкам. Он, кроме того, был моложе Дюбуа на шесть лет; это тоже имело некоторое значение.

Я был совершенно уверен в правильности моих предположений, но все-таки они все основывались на косвенных вещах и вдобавок таких недостоверных, как спортивные отчеты американских газет. Задача Джонсона в этом матче сводилась только к одному: он должен был удерживать Дюбуа на расстоянии и не допускать corps a corps. Я был уверен, что Джонсон не может этого не понять и что в таком случае превосходство его техники обеспечит ему победу.

Я давно не видел такой толпы и такого скопления автомобилей, как в вечер этого матча, перед входом в огромный Palais des Sports^[8]. Все билеты давно были проданы. Прямо перед входом стояла громадная машина американского посла. На улице, под мелким зимним дождем, толпилось множество людей; редкие барышни прятались от полиции по темным углам. Едва я сделал несколько шагов, как меня окликнул один мой знакомый, молодой архитектор, которого я знал по Латинскому кварталу в студенческие годы.

– Счастливец! – громко сказал он, пожимая мне руку. – Тебе не надо искать каких-то мерзавцев, которые продают двадцатифранковый билет за полтора фанка! Я бы тоже, черт возьми, хотел иметь карту журналиста, как ты. Держишь пари против Дюбуа? Ставлю десять фанков. Ах, вот он! – закричал он, увидев невысокого человека в кепке. – Вот мой билет, до свиданья! – И он исчез.

И в эту секунду женский голос, очень спокойный, без всякого изменения интонаций, сказал мне с небольшим иностранным акцентом:

– Простите, пожалуйста, вы действительно журналист?

Я обернулся. Это была женщина лет двадцати пяти – двадцати шести, хорошо одетая, с довольно красивым, неподвижным лицом и небольшими серыми глазами; шляпа не закрывала ее лба очень чистой и правильной формы. Меня удивило, что она обратилась к незнакомому человеку, это мне казалось для нее нехарактерным. Но она говорила с такой простотой и свободой, что я тотчас же ей

ответил: да, я действительно журналист и был бы рад, если бы мог ей быть чем-нибудь полезен.

– Я не могла достать билета на матч, – сказала она, – мне очень хотелось бы его видеть. Вы не можете меня провести?

– Постараюсь, – ответил я. В общем, после долгих разговоров с дирекцией, дав на чай контролеру, мы прошли с ней в зал, и я уступил ей свое кресло, которое она приняла без всякого смущения; я остался стоять рядом с ней, непосредственно у каменного барьера, отделявшего наши места от других. Она ни разу потом не посмотрела на меня и только спросила перед началом матча, почти не поворачивая головы:

– Как вы думаете, кто выиграет?

– Джонсон, – сказал я.

Но в это время на ринге появились уже боксеры, и разговор прекратился. Два боя, предшествовавших чемпионату, не представляли никакого интереса. Наконец наступила минута, когда должен был начаться главный матч. Я увидел широкую и коренастую фигуру Дюбуа в темно-розовом мохнатом халате; он подходил к рингу, сопровождаемый своим менеджером и двумя людьми, демонстративно державшими в руках полотенца. Тупое и спокойное его лицо изображало обычную равнодушную улыбку. Толпа аплодировала и редела, сверху слышались поощрительные крики:

– Vas-y, Mimile! Fais lui voir! Tape dedans! Tas qu'a y aller franchement!^[9]

Я не заметил, откуда к рингу подошел Джонсон, который буквально проскользнул под веревкой и очутился рядом с Дюбуа. Как это иногда бывает, по одному его случайному движению, именно по тому, как он нагнулся под веревку и затем выпрямился, было видно, что все его тело обладало идеально уравновешенной гибкостью. Он был в синем халате с продольными полосами. Когда они оба были раздеты, разница между ними не могла не броситься в глаза. Дюбуа казался гораздо шире и тяжелее своего противника. Я увидел опять его круглые, крепкие плечи, мохнатую грудь и толстые, мускулистые ноги. В Джонсоне меня поразила прежде всего его худоба, его отчетливо видные ребра, его руки и ноги, казавшиеся особенно тонкими по сравнению с руками и ногами Дюбуа. Но, присмотревшись внимательнее, я увидел, что у него была огромная

грудная клетка, широкие плечи, почти балетной красоты ноги и на его безволосом торсе легко и послушно двигались под блестящей кожей небольшие, плоские мускулы. Он был блондин, у него было некрасивое и подвижное лицо. На вид ему можно было дать лет девятнадцать; на самом деле ему было двадцать четыре года. Ему тоже аплодировали, но, конечно, не так, как Дюбуа. Он поклонился без улыбки – и после удара гонга начался матч.

Мне сразу показалось тревожным то обстоятельство, что защитная позиция Джонсона, похожая на классическую позицию Дэмпси – оба кулака почти на уровне глаз, – явно не подходила для матча с Дюбуа, так как оставляла совершенно открытым весь торс. Но уже после первого раунда я понял мою ошибку: настоящая защита Джонсона заключалась не в той или иной позиции, а в необыкновенной быстроте его движений. Дюбуа начал матч в стремительном темпе, который был для него нехарактерен; он, по-видимому, точно подчинялся предварительным указаниям своего менеджера. Было заметно, что он прекрасно тренирован, я никогда его не видел в такой совершенной форме. С того места, где я стоял, я ясно видел его непрекращающиеся удары и слышал их скачущие, тупые звуки, похожие издали на мягкий и неровный топот. Они попадали в открытую грудь Джонсона, который отступал, кружась по рингу. Атака Дюбуа была настолько стремительна, что все внимание публики было обращено только на него. О Джонсоне, казалось, никто не думал; один из моих соседей громко говорил с возмущением: – Но его не существует, его нет на ринге, я не вижу даже его тени! – Это не матч, это убийство! – кричал чей-то женский голос. Поощряемый толпой, Дюбуа все яростнее наступал на противника; были видны его круглые, быстро передвигающиеся плечи, тяжелое перебирание его массивных ног, и со стороны невольно начинало казаться, что всякое сопротивление этой живой и неудержимой машине невозможно. Вся толпа думала так, и редкие зрители, сохранившие хладнокровие и следившие внимательно за боем, не могли не разделять это мнение.

– Это всегдашняя история с американцами! – кричал мой сосед. – В Америке они совершают какие-то чудеса, в Европе их бьют, как хотят!

Из-за чрезвычайно быстрого темпа, в котором прошел весь первый раунд, я не мог судить о том, в какой степени Джонсон был на

высоте положения. Только во время перерыва я заметил, что он дышал ровно и спокойно и на его лице появилось то напряженное и уверенное выражение, которое я помнил по его газетным портретам.

Второй и третий раунды были повторениями первого. Я никогда не думал, что Дюбуа способен к такому быстрому и свирепому нападению. Но уже тогда стало заметно, что ему не удаются его *coups a coups*, от которых Джонсон все время уходил. Дюбуа стремился именно к этому и не жалел никаких усилий. Тело его блестело от пота, но удары чередовались в прежнем, не ослабевающем ни на минуту ритме. Джонсон продолжал отступать все время, совершая почти правильные круги по рингу. В конце четвертого раунда, когда казалось, что матч безвозвратно выигран и что для окончательного решения остается выполнение только каких-то формальностей (удары продолжали сыпаться на Джонсона, который чудом еще держался на ногах, – *coup de grace! coup de grace!* – кричали сверху пронзительные голоса, – *t'as qu'a en finir, Mimile!*^[10], на ринге вдруг произошло движение, настолько молниеносное, что его буквально никто не успел заметить, раздался мгновенный тупой звук падающего тела, и я увидел, что Дюбуа рухнул всей тяжестью на пол. Это было так неожиданно и невероятно, что по всему огромному Palais des Sports прошел одновременный гул толпы, похожий на чудовищный вздох. Сам арбитр настолько растерялся, что не сразу начал считать секунды. На седьмой секунде тело Дюбуа оставалось неподвижным. На восьмой раздался звук гонга, возвещающий конец раунда.

С пятого раунда матч принял совершенно другой характер. Точно так же, как до четвертого перерыва на ринге был, казалось, только Дюбуа, так теперь вместо него появился Джонсон, и вот тогда можно было оценить его необыкновенные качества. Это был урок классического бокса, и Джонсон казался непогрешимым учителем, неспособным сделать ни одной ошибки. Он к тому же явно щадил своего противника. Дюбуа, наполовину оглушенный, шел теперь почти вслепую и неизменно натякался на кулаки Джонсона. Он падал еще много раз, но поднимался с невероятным усилием и под конец почти перестал защищаться, беспомощно закрывая руками лицо и со своим обычным, на этот раз едва ли не бессознательным мужеством вынося все удары. Один глаз его был закрыт, по лицу стекала кровь, которую он слизывал машинальным движением, звучно плотая слюну.

Было непонятно, почему арбитр не останавливает матч. Джонсон несколько раз в середине раунда опускал руки, вопросительно глядя то на Дюбуа, то на арбитра, и я явственно слышал, как он сказал – but he's dead^[11], – но потом пожимал плечами и продолжал ненужную теперь демонстрацию своего удивительного искусства. И только в начале шестого раунда таким же быстрым движением, но которое на этот раз видели все, его правый кулак с необыкновенной силой и точностью попал в подбородок Дюбуа, и Дюбуа унесли с ринга в бессознательном состоянии. В зале стоял грохот и крик, уже бесформенный и бессмысленный, и толпа начала медленно расходиться.

Зимний дождь лил не переставая. Мы вышли с моей спутницей, я остановил такси и спросил ее, куда она едет.

– Вы были так любезны, – сказала она, не затворяя дверцу автомобиля и сидя уже внутри, – я не знаю, как вас благодарить.

– Я вам предлагаю выпить кофе, это полезно после сильных ощущений, – сказал я. Она согласилась, и мы поехали в ночное кафе на rue Royale. По стеклам автомобиля скатывались капли дождя, тускло блестя в свете фонарей.

– Почему вы думали, что матч выиграет Джонсон? – спросила она. Я подробно изложил ей мои соображения по этому поводу.

– Вы следили за американскими газетами?

– Это моя профессиональная обязанность.

Она замолчала. Мне почему-то было неловко в ее присутствии, и я начинал жалеть, что пригласил ее в кафе. Каждый раз, когда автомобиль попадал в полосу фонарного света, я видел ее холодное и спокойное лицо, и через несколько минут я подумал о том, зачем, собственно говоря, я еду пить кофе с этой незнакомой женщиной, у которой такое отсутствующее выражение, как если бы она сидела в парикмахерской или в вагоне метро.

– Для журналиста вы не очень разговорчивы, – сказала она через некоторое время.

– Я вам обстоятельно рассказал, почему я думал, что Джонсон выиграет матч.

– И этим ограничиваются ваши возможности как собеседника?

– Я не знаю, какие темы вас интересуют. Я предполагал, что это главным образом бокс.

– Не всегда, – сказала она, и в это время автомобиль остановился. Через минуту мы сидели за столиком и пили кофе. Только тогда я разглядел как следует мою спутницу, вернее, заметил одну ее особенность: у нее был неожиданно большой рот с полными и жадными губами, и это придавало ее лицу дисгармоническое выражение, – так, точно в нем было нечто искусственное, потому что соединение ее лба и нижней части лица производило даже несколько тягостное впечатление какой-то анатомической ошибки. Но когда она в первый раз улыбнулась, обнажив свои ровные зубы и чуть-чуть открыв рот, – в этом вдруг проскользнуло выражение теплой и чувственной прелести, которое еще секунду тому назад показалось бы совершенно невозможным на ее лице. Я неоднократно вспоминал потом, что именно с этой минуты я перестал чувствовать по отношению к ней ту неловкость, которая связывала меня до сих пор. Мне стало легко и свободно. Я спрашивал ее о разных вещах, которые касались ее лично. Она сказала, что ее фамилия Армстронг, что у нее недавно умер муж, что она живет в Париже одна.

– Ваш муж был?..

Она ответила, что он был американец, инженер, что в течение последних двух лет она не встречалась с ним: она была в Европе, он оставался в Америке. Она получила телеграмму о его скоростижной смерти, находясь в Лондоне.

– У вас нет американского акцента, – сказал я. – Ваш акцент нейтрально иностранный, если так можно сказать.

Она опять улыбнулась этой улыбкой, которая всегда производила впечатление неожиданности, и ответила, что она русская. Я едва не привстал со своего места – и я до сих пор не знаю, почему тогда это показалось мне таким удивительным.

– А вы не подозревали, что имеете дело с соотечественницей?

Она говорила теперь на очень чистом русском языке.

– Согласитесь, что это трудно было предположить.

– А я знала, что вы русский.

– Преклоняюсь перед вашей проницательностью. Каким образом, если это не секрет?

– По глазам, – сказала она насмешливо. Потом она пожала плечами и прибавила:

– Потому что из кармана вашего пальто торчала русская газета.

Был уже второй час ночи. Я предложил ей отвезти ее домой. Она ответила, что поедет одна, что она не хочет меня беспокоить.

– Вас, наверное, зовут ваши профессиональные обязательства, не так ли?

– Да, я должен сдать отчет о матче.

Я твердо решил не спрашивать ее, где она живет, и не искать с ней никаких новых встреч. Мы вышли вместе, я довел ее до такси и сказал:

– Желаю вам спокойной ночи, всего хорошего.

Она протянула мне руку, на которую упало несколько капель дождя, и ответила, улыбнувшись в последний раз:

– Спокойной ночи.

Я не знаю, было ли это в действительности так или мне просто послышалось. Мне показалось, что в ее голосе появилась и мгновенно исчезла новая интонация, какая-то звуковая улыбка, имевшая такое же значение, как это первое, отдаленно чувственное движение ее губ и зубов, после которого я перестал ощущать неловкость в ее присутствии. Не думая ни секунды о том, что я говорю, и совершенно забыв, – так, точно его никогда не было, – о только что принятом решении ее ни о чем не спрашивать, я сказал:

– Мне было бы жаль расстаться с вами, не узнав ни вашего имени и отчества, ни вашего адреса. В конце концов, если ваш интерес к спорту носит постоянный характер, я мог бы, может, быть вам еще полезен.

– Это возможно, – сказала она. – Меня зовут Елена Николаевна. Вот мой адрес и телефон. Вы не записываете?

– Нет, я запомню.

– Вы так полагаетесь на вашу память?

– Совершенно.

Она сказала, что бывает дома до часу дня и вечером, от семи до девяти, захлопнула дверцу автомобиля и уехала.

Я пошел пешком по направлению к типографии; была очень туманная ночь с ни на минуту не прекращающимся дождем. Я шел, подняв воротник пальто, и думал одновременно о разных вещах.

«Ценность Джонсона, которая до сих пор считалась спорной, вчера проявилась с такой несомненностью, что теперь этот вопрос представляется совершенно разрешенным в самом положительном

смысле. Это, впрочем, следовало предполагать, и для некоторых журналистов, располагавших известными сведениями о карьере нового чемпиона мира, исход матча был ясен заранее».

«Она сказала – вас зовут ваши профессиональные обязательства, – это звучит не совсем по-русски. Это была, впрочем, единственная ошибка, которую она сделала».

«Мужество Дюбуа не может не вызывать уважения. Те его недостатки, которые не играли особенной роли в его прежних столкновениях с боксерами средней, в конце концов, ценности, в данном случае, в матче против такого технически безупречного противника, как Джонсон, его погубили».

«В ней есть нечто неестественно-притягивающее, и эта дисгармония ее лица, может быть, соответствует какой-то душевной аномалии».

«То, что на все лады и так неизменно повторялось о Джонсоне, именно, что он не обладает достаточной силой удара для нокаута, надо полагать, только тактический прием, который с постоянным успехом повторял его менеджер. Это был публицистический трюк *au rebours*^[12], характерный для американской спортивной прессы».

«Я бы хотел знать, что будет дальше. Rue Octave Feuillet – это недалеко от avenue Henri Martin, если я не ошибаюсь».

«Все прежние успехи Дюбуа объяснялись тем, что никто из его противников не понимал такой простой вещи, как необходимость избегать *coqrs a coqrs*, или не обладал достаточной техникой, чтобы привести в исполнение такой простой план. Вместе с тем, будучи лишен возможности прибегать к *coqrs a coqrs*, Дюбуа сразу терял свое главное преимущество. Джонсон понял это с характерной для него быстротой соображения, и с этой минуты Дюбуа был обречен».

«Мне, может быть, предстоит какое-то новое душевное путешествие и отъезд в неизвестность, как это уже случалось в моей жизни».

«Будем откровенны до конца: несмотря на несомненные достоинства Дюбуа, его претензии на звание чемпиона мира были, конечно, результатом недоразумения. Он – честный труженик бокса, один из лучших, каких мы знаем; но у него никогда не было того исключительного и чрезвычайно редкого соединения разнообразных данных, без которого человек не имеет права на одно из первых мест в

истории бокса. За много лет, из сотен боксеров, в памяти историков спорта останется вообще лишь несколько имен; последние из них – Карпантье, Дэмпсей и Тэнней. Если Джонсона можно – с известной степенью произвольности – поставить в их ряд, то Дюбуа в этом сопоставлении, конечно, мог бы играть только самую печальную роль, что, впрочем, ни в какой мере не умаляет его заслуг».

«Если бы в ее голосе не появилась эта неожиданная интонация, то, вероятнее всего, я бы больше никогда ее не увидел».

Я дошел до маленького кафе, возле типографии, и написал статью, которую обдумывал по дороге. Потом я сдал ее в набор, поехал домой и лег спать в половине четвертого утра. Закрыв глаза, я увидел перед собой в последний раз обнаженные тела боксеров, и освещенный квадрат ринга, и неожиданную улыбку моей спутницы – и заснул, наконец, под звук дождя, который доходил до меня через полуоткрытое окно моей комнаты.

В течение всей следующей недели я был очень занят, мне были нужны деньги, чтобы заплатить за множество вещей, о которых я почти не думал в последнее время, и поэтому я писал каждый день по несколько часов. Так как чаще всего речь шла о том, к чему я не был подготовлен, то мне приходилось предварительно знакомиться с некоторым количеством матерьяла.

Так было с женщиной, разрезанной на куски, – нужно было проследить по газетам все сообщения, предшествовавшие тому моменту следствия, с которого я начал, так было с финансовым скандалом, так было с исчезновением молодого человека восемнадцати лет. Вся эта работа была впустую: убийца женщины не мог быть найден, это было очевидно по началу следствия, выяснившего, что нет никаких следов преступника; банкротство финансового предприятия тоже ничем не кончилось, и журналистам были даны инструкции не называть собственных имен. Эти имена принадлежали очень известным и почтенным лицам, так что серия статей по поводу банковского краха носила явно временный характер, и действительно, через несколько дней всякое упоминание об этом исчезло; все знали, какая сумма была *уплачена*, за молчание прессы, но это не меняло того обстоятельства, что матерьял был исчерпан. Наконец, история с молодым человеком тоже не была секретом ни для кого из нас, она объяснялась его «специальной нравственностью», как

это называлось на официальном языке; молодой человек был просто увезен с полного своего согласия на загородную виллу одного знаменитого художника, тоже отличавшегося «специальной нравственностью», но с несколько иным уклоном, так что его общение с молодым человеком представляло собой совершенно законченную идиллию. Этот художник рисовал портреты президентов и министров, был близко знаком со многими государственными людьми, у которых он мирно продолжал бывать, – и в отчетах об этих приемах было по-прежнему написано: «Среди присутствующих мы заметили нашего знаменитого художника...» Молодой человек наслаждался своим специальным – и своеобразным – счастьем в двадцати километрах от Парижа, а в газетах печатались его фотографии, интервью с его родителями, заявления инспекторов «светской бригады» и так далее. Я написал за неделю четырнадцать статей об этих трех событиях, и это сразу восстановило мой бюджет. Менеджер Дюбуа требовал реванша, обвинял арбитра в пристрастности и даже написал текст заявления самого Дюбуа, который объяснял, что следовал вполне определенной тактике, собирался выиграть бой в последних раундах и нокаут Джонсона был явной случайностью. Менеджер, кроме того, настаивал на недопустимом, по его мнению, тоне, в котором было написано большинство отчетов о матче, и подчеркивал, что ему было стыдно читать эти строки на страницах парижской прессы. По этому поводу было напечатано еще несколько статей, имевших официальной целью восстановление истины, – но как менеджер, так и журналисты очень хорошо знали, что речь шла вовсе не об истине, а об интересах менеджера и Дюбуа, плата которому за следующие матчи должна была понизиться после его поражения. Это было совершенно неизбежно, но надо было сделать все, чтобы понижение не носило слишком резкого характера.

Я чувствовал себя в эти дни легко и тревожно – приблизительно как во времена моей ранней юности, когда мне предстоял отъезд в далекое путешествие, из которого я, может быть, не вернусь. Мысль о моей спутнице в вечер матча Джонсона – Дюбуа неизменно возвращалась ко мне, и я знал с совершенной интуитивной точностью, что моя следующая встреча с ней – только вопрос времени. Во мне началось уже душевное и физическое движение, против которого внешние обстоятельства моей жизни были бессильны. Я думал об

этом с постоянным беспокойством, так как я знал, что в данном случае я больше рискую своей свободой, чем когда бы то ни было, и чтобы в этом убедиться, было достаточно посмотреть в ее глаза, увидеть ее улыбку и почувствовать ту своеобразную и чем-то враждебную ее притягательность, которую я ощутил в первый же вечер моего знакомства с ней. Я не знал, конечно, какие чувства испытала она по отношению ко мне в эту февральскую ночь. Но хотя я видел ее, в сущности, только час, не больше – когда после матча мы были в кафе, – мне казалось, что ее улыбка и последняя интонация ее голоса не были случайны и что все это должно было повлечь за собой много других вещей, может быть, замечательных, может быть, печальных, может быть, замечательных и замечательных одновременно. Но было, конечно, возможно, что я ошибался и что мои тогдашние ощущения были так же неверны и случайны, как смутные и расплывающиеся очертания домов, улиц и людей сквозь эту влажную и туманную завесу дождя.

Я вспомнил, что тогда, при прощанье, она не спросила моего имени. Она ждала либо моего визита, либо моего телефонного звонка с той спокойной и почти безразличной уверенностью, которая мне казалась характерной для нее вообще.

Я позвонил ей в десять часов утра, ровно через восемь дней после матча.

– Алло, я слушаю, – сказал ее голос.

– Здравствуйте, – сказал я, называя себя, – я хотел узнать, как ваше здоровье.

– Ах, это вы? Благодарю вас, прекрасно. А вы не были больны?

– Нет, но за это время было много событий, которые меня лишали удовольствия слышать ваш голос.

– События личного характера?

– Нет, косвенные и довольно скучные, особенно в телефонном изложении.

– Вы могли бы их рассказать и не по телефону.

– Для этого мне нужно было бы иметь возможность вас увидеть.

– Я не скрываюсь, это легко устроить. Где вы сегодня обедаете?

– Не знаю, я об этом не думал.

– Приходите ко мне часов в семь – в половине восьмого.

– Я боюсь злоупотребить вашей любезностью.

– Бели бы мы с вами были чуть-чуть лучше знакомы, то я бы вам ответила... Вы знаете, что я ответила бы?

– Это нетрудно угадать.

– Но так как мы еще недостаточно знакомы, то этой фразы я не произнесу.

– Ценю вашу любезность.

– Значит, я жду вас вечером?

– Я постараюсь быть точным.

В половине восьмого я входил в дом, в котором она жила; ее квартира была на втором этаже. Как только я позвонил, дверь открылась – и я едва не отступил на шаг от удивления: передо мной стояла огромная мулатка, которая не произносила ни слова и молча смотрела на меня широко открытыми глазами. В первую секунду я подумал, не ошибся ли я этажом. Но когда я спросил, можно ли видеть мадам Армстронг, она ответила:

– Yes. Oui, monsieur.^[13]

Она повернулась и направилась ко второй двери, которая вела, по-видимому, в квартиру; она шла впереди меня, заполняя своим громадным телом всю ширину коридора. Потом она ввела меня в гостиную; на стенах висело несколько натюрмортов довольно случайного, как мне показалось, происхождения, на полу лежал синий ковер, мебель была синего бархата. Я рассматривал в течение нескольких секунд тарелку эллипсической формы, нарисованную желтой краской и на которой лежало два разрезанных и три неразрезанных апельсина, – и в это время вошла Елена Николаевна. Она была в коричневом бархатном платье, которое ей очень шло, точно так же, как ее прическа, подчеркивающая неподвижную прелесть ее лица, почти не накрашенного. Но глаза ее показались мне на этот раз гораздо живее, чем тогда, во время моей первой встречи с ней.

Я поздоровался и сказал, что мулатка, отворившая мне дверь, произвела на меня сильное впечатление. Елена Николаевна улыбнулась.

– Ее зовут Анни, – сказала она, – я называю ее little Anny^[14], помните, был когда-то такой фильм.

– Да, little Anny ей очень подходит. Откуда она у вас? Она объяснила мне, что Анни поступила к ней на службу в Нью-Йорке и

ездит с ней теперь повсюду и что так как Анни жила некоторое время в Канаде, то говорит по-французски; кроме того, она прекрасно готовит, и в этом у меня будет немедленная возможность убедиться. Анни действительно была прекрасной кухаркой, – я давно так не обедал.

Елена Николаевна расспрашивала меня о моих делах за эту неделю. Я рассказал ей о женщине, разрезанной на куски, об очередном банкротстве, об исчезновении молодого человека и, наконец, о газетном выступлении менеджера Дюбуа.

– Это и есть газетная работа?

– Приблизительно.

– И это всегда так?

– Чаще всего.

– И вы считаете, что это вам подходит?

Я пил кофе, курил и думал о том, насколько этот разговор был далек от моих чувств и моих желаний. Я был безмолвно пьян от ее присутствия, и чем дольше это продолжалось, тем сильнее я ощущал, как от меня ускользает всякая власть над этим состоянием, которого не могли победить никакие усилия. Я знал, что веду себя совершенно прилично, что у меня ясные глаза и что я остаюсь нормальным собеседником, – но я знал так же хорошо, что эта видимость не могла ввести в заблуждение Елену Николаевну, и она в свою очередь понимала, что я это знал. Естественнее всего было бы, если бы я сказал ей: моя дорогая, вы не ошибаетесь, считая, что этот разговор не имеет никакого отношения ни к тем чувствам, которые в данную минуту испытываю я, ни к тем, которые, вероятно, испытываете вы. И вы знаете так же хорошо, какие слова я должен был бы произнести сейчас. Но вместо этого я сказал:

– Нет, конечно, я предпочел бы заниматься литературой, но, к сожалению, это не получается.

– Вы бы предпочли писать лирические рассказы?

– Почему непременно лирические рассказы? – Мне кажется, что это должен был бы быть ваш жанр.

– И это говорите мне вы после того, как мы познакомились с вами во время матча, и после того, как вы – я надеюсь – оценили хотя бы мои предсказания о его исходе?

Она опять улыбнулась.

– Может быть, я ошибаюсь. Но все почему-то кажется, что я знаю вас уже очень давно, хотя вижу вас второй раз в жизни.

Это было ее первое признание и первый шаг, который она сделала.

– Говорят, это очень тревожный признак.

– Я не боюсь, – сказала она со своей необъяснимо жадной улыбкой.

Я видел ее улыбающийся рот, ее ровные крепкие зубы и тускло-красный цвет ее немного накрашенных губ. Я закрыл глаза, я ощущал бурную чувственную муть. Но я сделал над собой необыкновенное усилие и остался сидеть в своем кресле с внешне спокойным – как я предполагал – видом, хотя каждый мускул моего тела был напряжен до боли.

– Вы закрываете глаза, – сказал ее далекий голос, – не хочется ли вам спать после обеда?

– Нет, я просто вспоминал одну фразу.

– Какую?

– Это сказал царь Соломон.

– Далеко мы с вами заехали.

Это «мы с вами» было ее второе движение.

– Что же это за фраза?

– Она отличается некоторой метафорической роскошью, – сказал я, – которая теперь, на наш слух, кажется несколько спорной, в смысле стилистическом, конечно. Но я надеюсь, вы примите во внимание тот факт, что это было написано очень давно.

– Боже, как вы многословны! Какая фраза?

– Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей.

– Каких?

– Путь змеи на скале.

– Это хорошо.

– Путь орла в небе.

– Тоже хорошо.

– И путь женского сердца к сердцу мужскому.

– Этого, кажется, никто не понимает, – сказала она с неожиданно задумчивой интонацией в голосе. – А вы находите, что это неудачно сказано? Почему?

– Нет, это, может быть, плохой перевод. Во всяком случае, последняя часть фразы звучит нехорошо. «Путь женского сердца к сердцу мужскому» – в этом есть что-то от учебника грамматики.

– Я не иду так далеко в стилистическом анализе. А вы любитель царя Соломона?

– С некоторыми оговорками. Многое из того, что он написал, мне кажется недостаточно убедительным.

Был зимний и сумрачный вечер, в квартире было очень тепло. Елена Николаевна сидела в кресле, против меня, положив ногу на ногу, мне были видны ее колени, и всякий раз, когда я смотрел на них, мне становилось душно и тяжело. Я чувствовал, что все это – с моей стороны – начинает становиться неприличным. Я постарался вызвать в своем воображении те представления, к помощи которых я всегда прибегал, – как другие прибегают к мнемоническим приемам. Когда мной овладевало с такой бурной силой какое-нибудь чувство, которое я почему-либо считал неуместным или – как теперь – преждевременным, я представлял себе огромное снежное поле или волнистую поверхность моря, это почти всегда мне помогало. На этот раз я постарался увидеть перед собой, там, где была Елена Николаевна, снежную равнину, но сквозь ее воображаемую белизну все резче и сильнее проступало это неподвижное лицо с красными губами.

Я, наконец, поднялся, поблагодарил ее за гостеприимство и собрался уходить. Но когда она протянула мне свою теплую руку и я ощутил ее прикосновение к моим пальцам, я так же мгновенно забыл о намерении уйти, как тогда, ночью, прощаясь с ней, я забыл о том, что решил не спрашивать, где она живет, и не искать с ней встреч. Я притянул ее к себе – она поморщилась от боли, которую я ей невольно причинил, слишком сильно сжав ей руку, – когда я обнял ее, я почувствовал всю поверхность ее тела. Только позже, вспоминая об этом, я понял, что это ощущение в ту секунду не могло не быть воображаемым: на ней было очень плотное бархатное платье.

Я знал, что всякая женщина на ее месте должна была мне сказать одну и ту же фразу:

– Вы с ума сошли.

Но она ее не сказала. Мне казалось, что я приближаюсь к ее лицу точно сквозь смертельный сон. Она не делала ни одного движения и

не сопротивлялась, но в последнюю секунду она повернула голову налево, подставив мне шею. Ее платье было застегнуто длинным рядом бархатных пуговиц на спине, очень тугих и нескользких. Когда я расстегнул две верхние пуговицы, она сказала все тем же спокойным, хотя, как мне показалось, несколько помутневшим голосом:

– Здесь нельзя, подождите. Пустите меня на минуту.

Я выпустил ее, она пошла в другую комнату, и я последовал за ней. Мы сделали всего несколько шагов, но в эти секунды я успел подумать о том, с какой неожиданной и, в сущности, неестественной быстротой все это произошло. От вечера моей первой встречи с ней меня отделяло только восемь дней, – но это было длительное и огромное расстояние. Я знал, что обычно мои чувства, несмотря на ту их примитивную силу, которая была главным моим недостатком, развивались всегда с тяжелой медлительностью; но на этот раз все восемь дней я находился во власти их движения и все-таки до последней минуты не мог себе представить, насколько глубоко и безвозвратно это захватило меня. Я думаю, что в силу необъяснимого, как всегда, чувственного совпадения Елена Николаевна испытывала приблизительно то же, что я; ее ощущения были похожи на мои – так, как вогнутое стекло похоже на выгнутое, одинаковым изгибом, результатом одного и того же двойного движения. В этом была та же непонятная стремительность, казавшаяся для нее еще менее характерной, чем для меня. Эти мысли были смутными и неверными, как все, что я тогда чувствовал, я только позже вспомнил о них, и они приобрели в моем представлении ту приблизительно отчетливую форму, которой они не могли иметь в течение этих коротких секунд. Они, кроме того, казались мне тогда совершенно неважными.

Она пропустила меня вперед, потом затворила дверь и повернула ключ в замке. Мы были в небольшой комнате, которой я тогда не рассмотрел; я заметил только широкий диван, над которым горело бра с маленьким синим абажуром, столик, на столике пепельницу и телефон. Она села на диван, я остановился перед ней на секунду, и она успела сказать:

– Ну, теперь...

Сквозь бурную чувственную муть я увидел, наконец, ее тело с напряженными мускулами под блестящей кожей ее рук. Она легла на

спину, заложив руки за голову, без малейшего проявления стыдливости, и смотрела в мое лицо непостижимо спокойными глазами, – это казалось мне почти невероятным. Даже потом, когда я испытал – и это было первый раз в моей жизни – необъяснимое соединение чисто душевного чувства с физическим ощущением, заливающим все мое сознание и все, решительно все, даже самые далекие мускулы моего тела, и когда она сказала с совершенно не подходившей, казалось бы, здесь медлительной интонацией: ты мне делаешь больно, – в которой не было ни жалобы, ни протеста, и еще через некоторое время, когда она вздрагивала спазматической дрожью, ее глаза были все так же, почти мертвенно, спокойны. Только в самую последнюю секунду они вдруг показались мне далекими, как некоторые звуки ее голоса.

Ее нельзя было назвать – по крайней мере, по отношению ко мне – замечательной любовницей, у нее были медлительные физические реакции, и последние секунды объятий нередко заставляли ее испытывать какую-то внутреннюю боль, – и тогда глаза ее закрывались и лицо делало невольную гримасу. Но ее отличие от других женщин заключалось в том, что она вызывала крайнее и изнурительное напряжение всех сил, и душевных, и физических, – и в смутном ощущении того, что близость с ней требует какого-то безвозвратно-разрушительного усилия, в безошибочности этого предчувствия состояла, я думаю, ее непреодолимая притягательность. И после первого ощущения ее физической близости я знал уже с совершенной невозможностью ошибиться, что этого я не забуду никогда и что, может быть, это будет последним, о чем я вспомню, умирая. Я знал это заранее и знал, что, как бы ни сложилась моя жизнь, ничто не спасет меня от непоправимо тягостного сожаления об этом, потому что все равно это исчезнет, поглощенное смертью ли, временем ли или расстоянием, и внутренне ослепительная сила этого воспоминания займет в моем существовании слишком большое душевное пространство и не оставит места для других вещей, которые еще, может быть, были мне суждены.

Была уже глубокая ночь, Елена Николаевна не могла скрыть своей усталости. Я чувствовал себя как в лихорадке, глаза мои были воспалены, и мне казалось, что я испытываю ощущение какого-то незримого ожога. Я ушел в четвертом часу утра; была холодная и

звездная ночь. Мне хотелось пройтись, я шагал по пустынным улицам, – и тогда, тоже впервые за всю мою жизнь, я почувствовал состояние необыкновенно прозрачного счастья, и даже мысль о том, что это может быть обманчиво, не мешала мне. Я запомнил дома, мимо которых я проходил, и вкус зимнего холодного воздуха, и легкий ветер из-за поворота, – все это были вещи, которые сопровождали мое чувство. Я испытывал именно ощущение прозрачного счастья, казавшееся особенно неожиданным после того, как я несколько часов видел перед собой эти спокойные глаза, в выражении которых для меня было нечто унижительное, потому что мне не удалось изменить его.

И когда я проснулся на следующий день, то, что меня окружало и к чему я так привык, весь мир людей и вещей, в котором обычно проходила моя жизнь, – все показалось мне изменившимся и иным, как лес после дождя.

Я расстался с ней почти на рассвете, – и на следующий день в час пополудни я снова подходил к подъезду ее дома. Я не мог бы объяснить, что именно изменилось за эту ночь, но мне было ясно, что я никогда не видел такими ни rue Octave Feuillet, ни avenue Henri Martin, ни дом, в котором она жила. Это все – каменные стены, деревья без листьев, ставни домов и ступени лестниц, – все, что я знал так хорошо и так давно, все это теперь приобрело новый, до сих пор не существовавший смысл, так, точно служило декорацией к единственной и, конечно, самой лучшей пьесе, которую могло создать человеческое воображение. Это могло быть похоже на декорацию. Это могло быть похоже еще на нечто вроде зрительной увертюры к начинающейся – и тоже, конечно, самой лучшей – мелодии, которую из миллионов людей слышал я один и которая была готова возникнуть в ту минуту, когда передо мной отворится дверь на втором этаже, такая же, как тысячи других дверей, и все-таки единственная в мире. Мне казалось тогда, – и весь мой опыт, и все, что я знал, видел и понял, и все истории измен, несчастий, драм, и трагическая неверность всего существующего были бессильны что-либо нарушить в этом, – мне казалось тогда, что произошло то, чего я так тщетно ждал всю мою жизнь и чего не мог бы понять ни один человек, кроме меня, потому что никто не прожил именно так, как я, и никто не знал именно того соединения вещей, которое было характерно для моего

существования. Мне казалось, что если бы в истории моей жизни не хватало какой-нибудь одной подробности, то мое ощущение счастья и мое понимание его не могли бы быть такими полными. Мне все казалось одновременно и совершенно несомненным, и столь же невероятным. Когда я шел по avenue Victor Hugo, мне вдруг показалось, что всего этого не может быть, и я ощутил нечто вроде душевного головокружения – как будто это страница из детской книжки о чудесных исчезновениях.

Анни сказала мне, что Madame сейчас выйдет, и провела меня в столовую. Небольшой стол был уже накрыт, на нем стояло два прибора и бокалы для вина – и в одном из них, точно наполняя его невидимой и прозрачной жидкостью, играла световая тоненькая струйка; я вспомнил тогда, что была солнечная зимняя погода. Я сидел в кресле и курил папиросу. Я заметил, что курю папиросу, только в ту минуту, когда упавший пепел обжег мою руку и попал мне в рукав.

Елена Николаевна вошла в комнату за несколько секунд до того, как Анни стала подавать завтрак. Перед этим она только что приняла ванну и не дала себе труда одеться. Она была в купальном халате, волосы ее были зачесаны назад, и это придавало ее лицу особенную четкость очертаний и одновременно с этим выражение душевной и физической уюта, неожиданное и приятное. Она спросила меня с иронической нежностью в голосе, хорошо ли я спал и есть ли у меня аппетит. Я ответил утвердительно, не сводя с нее глаз. Она тоже изменилась, как все, что я видел вокруг себя, с ее лица исчезло то выражение отчужденности, которое я знал до сих пор. Когда она наклонилась над столом, я увидел крупную родинку под ее правой ключицей, – и по мне сразу прошла теплая волна благодарности и нежности к ней, и тогда я поймал ее остановившийся взгляд.

– О чем ты думаешь? – спросил я.

– О том, что мы с тобой так недавно знакомы и что вот, мне кажется, я никогда не знала никого, кто был бы мне ближе, чем ты.

Потом она прибавила:

– Я не всегда буду говорить тебе такие вещи, так что лучше не привыкай.

Она налила в бокалы вино – какое-то особенное, душистое и крепкое, и, как ни плохо я разбирался в винах, даже я не мог не

заметить, что оно, вероятно, очень хорошее, – и сказала:

– За что мы с тобой выпьем?

– За то, чтобы мы не привыкли, – сказал я.

Она покачала головой, и мы молча выпили. И несмотря на то, что это был, в сущности, обыкновенный завтрак с женщиной, которую я встретил неделю тому назад и которая вчера стала моей любовницей, и точно так же, как она не была первой или единственной в моей жизни, так я не был ее первым или единственным любовником; несмотря на то, что внешне во всем этом не было, казалось бы, ничего исключительного или необыкновенного, это звучало почти торжественно, как слова, которые произносятся, может быть, один раз в жизни, отправляясь на войну или уезжая навсегда.

После завтрака мы сидели с ней очень долго за кофе. В солнечном свете, проникавшем через окно, вились и исчезали струи папиросного дыма. Она так и осталась в купальном халате, и когда я ей заметил это, она ответила с улыбкой:

– Я никого не жду, мне не для кого одеваться. Что касается тебя, то мне кажется, что ты предпочитаешь меня даже без купального халата, и все вообще так нетрудно предвидеть. Нет, подожди, – сказала она, видя, что я сделал движение, чтобы подняться с кресла. – Подожди, я здесь, я никуда не уйду, и у меня нет желания уходить от тебя. Но я хотела поговорить с тобой. Расскажи мне, как ты жил до сих пор, кого ты любил и как ты был счастлив.

– Я не знаю, с чего начать, – сказал я. – Это сложно, долго и противоречиво. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по-настоящему начинается жизнь, мне кажется, что мне немногим больше шестнадцати лет и что тот человек, который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, мне чужд и далек, и я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчений. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя так, точно я прожил очень долгую жизнь и все, что я из нее вынес, это отвращение и груз долгих лет. И вот идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта отравленная душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня. Но это, конечно, не рассказ о моей жизни. Это я говорю тебе о том, как я себя чувствовал обычно вплоть до того вечера, когда у тебя не оказалось – к счастью – билета на матч.

– Ты сравнительно молод и совершенно, по-моему, здоров, – сказала она. – И что бы ты мне ни говорил, я плохо верю в твою душевную усталость. Если бы ты сам мог видеть себя в некоторые минуты, ты бы понял, почему твои слова об усталости звучат так неубедительно.

– Я никогда не говорил, что я могу ощущать душевную усталость по отношению к тебе. И когда я вижу тебя...

– То это так, как если бы это было утро?

– То это так, как если бы это было утро.

– Но мы уклоняемся от главного, – сказала она. – Где ты родился, где ты рос, куда и почему ты уехал и как твоя фамилия? – потому что до сих пор я знаю только твое тля. Где ты учился и учился ли ты вообще?

– Да, – сказал я. – Вероятно, напрасно, но учился я долго и довольно разным вещам.

И я стал рассказывать ей о себе. Мне казалось, что никогда до этого дня моя собственная судьба не была мне так ясна, как теперь. Я нашел в своих воспоминаниях много такого, чего я раньше не замечал, какие-то почти лирические вещи, – и я только смутно чувствовал, не переставая говорить, что, если бы не было Елены Николаевны, я бы, наверное, не сумел обрести их внезапно возникшую силу и свежесть, которой, быть может, даже вообще не существовало вне мысли о ней и вне присутствия рядом со мной этой женщины в купальном халате, с гладко причесанными волосами и далеким взглядом задумчивых глаз.

– Ты меня извинишь, если в моем рассказе не будет строгой хронологической последовательности? – сказал я.

Она кивнула головой. Я говорил ей в тот день о многом: о войне, о России, о путешествиях, о своем детстве. Передо мной возникали самые разные люди, которых я знал: учителя, офицеры, солдаты, чиновники, товарищи, – и целые страны проходили перед моими глазами. Я вспоминал субтропические пейзажи, ровные квадраты коричневой земли, белые узкие дороги и далеко слышный в жарком и неподвижном воздухе скрип бедной деревянной телеги; печальные глаза маленькой и худой, как скелет, коровы, запряженной рядом с ослом в соху, которой греческий крестьянин в темно-сером суконном бурнuse и белой войлочной шляпе пахал жесткую землю; и то, что в Турции расстояние измеряют временем – до такого-то места не

столько-то километров, а столько-то часов ходьбы; ледяные ветры средней России и упругий хруст снега под ногами, потом моря, и реки, и диких уток над Дунаем, потом пароходы и поезда – все, через что шло необъяснимое движение моей жизни. Затем я опять вернулся к войне и к этим тысячам трупов, которые я видел, – и вдруг вспомнил речь моего учителя русского языка, которую он сказал на выпускном акте:

– Вы начинаете жить, и вам придется участвовать в том, что называется борьбой за существование. Грубо говоря, есть три ее вида: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молоды и полны сил, и вас, конечно, притягивает именно первый вид. Но помните всегда, что самый гуманный и самый выгодный вид – это борьба на соглашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жизни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались вам передать, не прошла бесследно, что вы стали настоящими гражданами мира и что мы, стало быть, тоже недаром прожили на свете. Потому что, если бы это оказалось иначе, это значило бы, что мы только потеряли время. Мы старые, у нас нет больше сил создавать новую жизнь, у нас остается одна надежда – это вы.

– Я думаю, что он был прав, – сказал я. – Но, к сожалению, мы не всегда имели возможность выбирать тот вид борьбы, который мы считали наилучшим.

– Ты сохранил хорошие воспоминания о твоих учителях?

Мы сидели с ней на диване, я обнимал ее правой рукой, и сквозь мохнатый халат я чувствовал теплоту ее тела.

– Нет, далеко не обо всех, – сказал я и улыбнулся, потому что подумал об одном из священников, который преподавал нам Закон Божий уже в старших классах; это был высокий рассеянный человек в лиловой шелковой рясе. Он говорил скучающим голосом:

– Существует много доказательств бытия Божия. Есть доказательство юридическое, есть доказательство логическое, есть доказательство философское.

Потом он задумался на минуту и прибавил:

– Есть даже доказательство математическое, но я его забыл.

– Где ты поступил в университет? В Париже?

– Да, и это было не так просто.

И я рассказал ей, что мне нужно было получить у бывшего русского консула бумагу, которую мог мне выдать только он и которая заменяла метрику. Это был маленький сердитый старичок с огромной седой бородой, который мне сказал:

– Ничего я вам не дам. Откуда я знаю, кто вы такой? Может быть, вы профессиональный преступник, может быть, убийца, может быть, бандит. Я вас вижу первый раз в жизни. Кто вас знает в Париже?

– Никто, – сказал я. – Здесь у меня есть несколько товарищей, с которыми я учился, но они все такие же, как я, никто из них вам лично не известен, и ничто вам не мешает предположить, что каждый из них тоже профессиональный преступник и убийца и еще к тому же мой сообщник.

– Зачем вам эта бумага?

– Я хотел бы поступить в университет.

– Вы? В университет?

– Да, если вы все-таки дадите мне эту бумагу.

– Для этого, батюшка, надо иметь среднее образование.

– У меня есть аттестат зрелости.

– И по-французски знать надо.

– Я знаю.

– Где же вы могли научиться?

– Дома, в России.

– Бог вас знает, – сказал он с сомнением, – может быть, вы и не бандит, я ведь этого не утверждаю категорически, у меня нет для этого фактических данных. Покажите-ка мне ваш аттестат.

Он просмотрел его, потом вдруг спросил:

– Почему средние отметки по алгебре и тригонометрии? а?

– У меня нет склонности к так называемым точным наукам.

– Ну хорошо, дам я вам бумагу. Но смотрите, на вашу ответственность.

– Хорошо, – сказал я, – если меня арестуют и посадят в тюрьму, обещаю на вас не ссылаться.

Я смеялся, вспоминая этого старичка, и она смеялась вместе со мной, и всей кожей моей руки я чувствовал, как вздрагивало ее тело. Потом она встала, посмотрела на меня, как мне показалось, с упреком, задернула шторы, и комната стала темно-серой. И в наступившей тишине до меня только доходила музыка из верхней квартиры, где

кто-то играл на рояле, очень отчетливо и медленно, и было впечатление, что в жидкое стекло падают, одна за другой, огромные звуковые капли.

* * *

Я не мог не заметить, что главным отличительным признаком моего отношения к ней было то, что не существовало, казалось, ни одной минуты, в течение которой я не испытывал бы постоянного обостренного чувства. Если это не было желание ее близости, то это была нежность, если это не была нежность, то это была целая последовательность других чувств или душевных состояний, для определения которых я не знал ни слов, ни возможности найти эти слова. Во всяком случае, ее существованию я был обязан возникновением мира, которого не знал до сих пор. Я не представлял себе, что значит физическая близость женщины, – мне было странно подумать, что я мог бы сравнить это с моими прежними романами. Я знал, что каждая любовь, в сущности, неповторима, но это было очень схематическое и приблизительное утверждение; при сколько-нибудь внимательном отношении к этому сходство всегда можно было найти, неповторимость заключалась в некоторых случайных оттенках некоторых случайных интонаций. Теперь это было другое, не похожее на предыдущее, и во всем своем душевном опыте я не находил ничего, что напоминало бы мне мое теперешнее состояние. Мне казалось, что после разрушительного усилия этой любви у меня не осталось бы сил ни на какое другое чувство и я ничто, наверное, не мог бы сравнить с этим нестерпимым воспоминанием. Где бы я ни был и что бы я ни делал, мне было достаточно задуматься на несколько секунд, чтобы передо мной появилось ее лицо с далекими глазами, ее улыбка, в которой было такое наивное бесстыдство, как если бы она стояла совершенно голая. И вместе с тем, несмотря на всю силу моего физического тяготения к ней, это было не похоже на самую бурную страсть, потому что в этом, как мне казалось, всегда проходила струя ледяной чистоты и какой-то удивительной и нехарактерной для меня бескорыстности. Я не знал, что был способен к таким чувствам; но я полагаю, что они были возможны только по отношению к ней – и в

этом заключалась для меня ее настоящая неповторимость и замечательность.

Как всегда в моей жизни, всякий раз, когда передо мной возникало нечто новое, я не мог сказать, что именно вызвало его из небытия. Думая о том, что, собственно, в Елене Николаевне создавало ее непреодолимую для меня притягательность, я не находил ответа. Я знал женщин, которые были красивее ее, я слышал голоса более мелодичные, чем ее голос; неподвижное ее лицо и унизительно-спокойные глаза могли бы, казалось, произвести на меня скорее тягостное впечатление. Она была почти лишена той душевной теплоты, которую я так ценил, в ней почти не было нежности, или, вернее, она проявлялась чрезвычайно редко и всегда как будто нехотя. В ней не было никакой «очаровательности», это понятие совершенно не подходило к ней. И все-таки именно она была неповторима и замечательна в моем представлении, и этого ничто не могло изменить.

Ее нельзя было назвать скрытной; но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне очень долго не приходилось слышать от нее каких бы то ни было высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала или отвечала односложно. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем, у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся, она замечала:

– Не все ли тебе равно? Или:

– Какой это может иметь интерес?

А меня интересовало все, что ее касалось, и мне хотелось знать, что было с ней до нашей встречи.

Для нее была характерна своеобразная душевная медлительность, не соответствовавшая быстроте и точности ее движений вообще, ее стремительной походке, мгновенности и безошибочности ее физических рефлексов. Только в том, что представляло из себя неопределимое соединение душевного и физического, например в

любви, только в этом нарушалась обычно безупречная гармония ее тела, и в этом случайном несовпадении для нее всегда было нечто почти мучительное. То впечатление странной дисгармонии, почти анатомической, которую я заметил в ней в вечер нашей первой встречи, именно сочетание высокого и очень чисто очерченного лба с этой жадной улыбкой, – не было случайным. В ней был несомненный разлад между тем, как существовало ее тело, и тем, как, вслед за этим упругим существованием, медленно и отставая, шла ее душевная жизнь. Если бы это можно было разделить – и забыть об этом, она была бы совершенно счастлива. Любовь к ней требовала постоянного творческого усилия. Она никогда не делала ничего, чтобы произвести то или иное впечатление; она никогда не думала, как подействуют слова, которые она говорит. Она существовала сама по себе, ее чувства к другим были продиктованы или физическим тяготением, столь же несомненным, как желание спать или есть, или каким-то душевным движением, похожим на душевные движения большинства людей, с той разницей, что ни в каком случае она не поступала иначе, чем ей хотелось. Желания других играли для нее роль только тогда или только до тех пор, пока совпадали с ее собственными желаниями. Меня поразила чуть ли не с первых же дней ее душевная небрежность, ее безразличие к тому, что о ней подумает ее собеседник. Но она любила, холодной и упорной любовью, опасные и сильные ощущения.

Такова была ее природа – и изменить это, я думаю, было чрезвычайно трудно. И все-таки, по мере того как проходило время, я начал замечать в ней некоторые проявления человеческой теплоты, она как будто понемногу оттаивала. Я подолгу расспрашивал ее обо всем, она отвечала мне сравнительно редко и сравнительно немногословно. Она рассказала мне, что выросла в Сибири, в глухой провинции, где проживала до пятнадцати лет. Первый город, который она увидела, был Мурманск. У нее не было ни братьев, ни сестер, ее родители погибли в море: во время путешествия из России в Швецию их пароход взорвался на плавучей mine. Ей было тогда семнадцать лет, она жила в Мурманске. Вскоре после этого она вышла замуж за американского инженера, того самого, о скоростной смерти которого она получила телеграмму в Лондоне, год тому назад. Она объяснила мне, что он понравился ей тогда потому, что у него была седая прядь волос, и еще оттого, что он был хорошим лыжником и

конькобежцем и очень интересно рассказывал об Америке. Вместе с ним она уехала из России; это было приблизительно в то время, когда на другом конце этой огромной страны, в томительном безумии гражданской войны, я блуждал по раскаленным южным степям с выжженной травой, под высоко стоявшим солнцем. Она рассказывала о кругосветном плавании, о том, как трансатлантический пароход, на котором она ехала, проходил ночью Босфор, потом Мраморное и Эгейское моря, как было жарко и как она танцевала фокстрот. Я вспомнил эти ночи и их особенный темный зной и то, как я сидел часами на высоком берегу Дарданелльского пролива и смотрел из душной тьмы на эти огни огромных пароходов, проходивших так близко от меня, что я слышал музыку их оркестров и следил за медленно удалявшимися рядами освещенных иллюминаторов, которые, по мере того как пароход уходил, сливались в одно сначала сверкающее, потом тускнеющее и, наконец, туманное световое пятно. Я думаю, что, может быть, я видел и ее пароход и следил за ним с тем же жадным и слепым напряжением, в котором я находился тогда, все эти первые годы моего пребывания за границей.

Она прожила много лет интересной жизни, полной неожиданных событий, путешествий, встреч, нескольких «неизбежных», как она сказала, романов. Она была в Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Америке, в каждой из этих стран она провела довольно много времени. В Англию она приехала впервые два с половиной года тому назад.

– После этого все было просто, – сказала она.

– Просто – это значит – Париж, rue Octave Feuillet, матч Джонсон – Дюбуа и так далее? Между прочим, на что ты рассчитывала, не имея входного билета? На барышников?

– На барышников – или на случайность. Как видишь, я не ошиблась.

– Результаты матча превзошли твои ожидания?

– В некоторых отношениях – да.

Чем больше я ее узнавал, тем больше я привыкал к неестественному разделению между душевной и физической жизнью, которое было для нее так характерно. Вероятно, это разделение существовало в ней всегда, но теперь в нем было нечто почти болезненное, и мне неоднократно приходила в голову мысль, что

данному периоду ее существования должно было предшествовать какое-то потрясение, о котором я ничего не знал и о котором она, в свою очередь, избегала упоминать. Жизнь с ней заключала в себе два резко различных романа: чувственное сближение, в котором все было вообще естественно, и душевная близость, бесконечно более трудная, более медленная и которой могло совсем не быть. Первоначальное суждение о том, что происходит, – у всякого человека, который стал бы ее любовником, – неизбежно должно было быть ошибочным; эти ошибки были бы тем более несомненны, что они были бы совершенно естественны. Я неоднократно представлял себе их последовательность. Первая состояла бы в представлении, что то или иное развитие событий зависит от этого человека. На самом деле выбор всегда исходил от нее, и не только выбор, но даже то трудноуловимое первое движение, которое определяет начало романа и в котором нередко заключено все, что произойдет в дальнейшем. Но эта ее особенность, конечно, не являлась чем-то исключительным: в очень многих случаях, как я это всегда знал, и завязка, и развязка романа зависели именно от женщины. Вторая ошибка состояла бы в том, что это можно было бы считать чем-то окончательным. В действительности это не значило ничего или почти ничего и могло прекратиться в любую минуту, без всякого объяснения и без какой бы то ни было возможности возобновления. И третья, самая главная, – это что только через много времени и только в случае редкого и счастливого совпадения начинался, наконец, настоящий роман, который, – если бы судить по внешним признакам, – давно уже был свершившимся фактом. Я долго искал сравнения, которое могло бы это характеризовать, и все не находил: это, пожалуй, могло бы быть похоже на прикосновение к холодным губам, которые медленно согреваются и лишь потом приобретают свою утерянную горячую прелесть – или не приобретают ее вообще и оставляют воспоминание ледяной неудовлетворенности и напрасного сожаления о том, что могло бы быть и чего не было. Но самым неизменным в отношении к ней было то бессознательное и неизбежное напряжение всех душевных сил, вне которого близость с ней могла быть только случайной и эпизодической. Это вовсе не зависело от ее чрезмерной требовательности, но получалось само собой и даже, казалось бы, помимо ее желания. Во всяком случае, это было так и, по-видимому,

не могло быть иначе. И из немногих ее признаний нетрудно было вывести заключение, что так думали, вероятно, все, кто ее близко знал, с большей или меньшей степенью правильности.

Вспоминая много позже мою встречу с ней и то, как все началось, мне было легче это восстанавливать, закрывая глаза и сознательно и условно исключая из этого содержание нашего первого разговора в кафе, расставание под дождем и вообще вещи, сущность которых укладывалась бы в связный рассказ. Явственнее, чем когда-либо в моей жизни, я чувствовал, что все это сводилось к слепому и темному движению, к последовательности зрительных и слуховых впечатлений, одновременно с которыми неудержимо развивалось бессознательное мускульное тяготение. Торс Джонсона, рухнувший Дюбуа, прикосновение моих пальцев к ее руке, когда я помогал ей войти в автомобиль, вообще эта немая мелодия кожи и мышц, этот встречный толчок ее тела, в котором она, быть может, даже не успела отдать себе отчет, – именно это было главным и именно это предопределило дальнейшее. Что она знала обо мне в тот туманный февральский вечер, почему после этого она ждала моего телефонного звонка неделю? Когда она в первый раз улыбнулась мне этой своей жадной улыбкой, такой неожиданной, я знал уже, что она будет мне принадлежать, а она это знала раньше, чем я. И, конечно, этому предшествовало крушение всего того мира отвлеченных вещей, который пренебрегал примитивными и чисто физическими понятиями и где своеобразная философия жизни, построенная на предварительном отказе от преобладающего значения материалистических моментов, была несравненно важнее, чем любые чувственные реакции, – этого мира, который в тот вечер мгновенно растворился в этом безмолвном мускульном движении. Когда я сказал как-то об этом Елене Николаевне, она ответила с улыбкой:

– Может быть, потому, что без философии мы бы все-таки прожили, а если бы не было другого, о котором ты говоришь, то человечеству угрожало бы исчезновение, в той или иной форме.

Я нередко чувствовал себя несвободным в ее присутствии, особенно первое время. Я очень скоро убедился, что ее реакции на все происходящее были не такими, как у большинства других женщин. Для того чтобы ее рассмешить, например, нужны были не те вещи, которые сместили всех; для того чтобы вызвать в ней проявление

какого-нибудь чувства, надо было сначала найти для этого особенный путь, не похожий на обычный. И на это сложное перестраивание того эмоционального мира, в котором проходила моя близость с ней, мне понадобилось много времени и много усилий. Но я жил теперь, наконец, настоящей жизнью, которая не состояла наполовину – как это всегда было до сих пор – из воспоминаний, сожалений, предчувствий и смутного ожидания.

Мы часто и подолгу гуляли с ней по Парижу; она знала его поверхностно и плохо. Я показывал ей настоящий город, не тот, о котором писалось в иллюстрированных журналах и который был неизменным в представлении иностранцев, приезжающих сюда раз в год на две недели. Я показывал ей нищие рабочие кварталы, провинциальные, отдаленные от центра улицы, постройки на окраинах, некоторые набережные, Севастопольский бульвар в четыре часа утра. Я помню, с каким удивлением она смотрела на rue St. Louis en Rue, – и действительно, было трудно себе представить, что в том же городе, где существуют avenues, отходящие от площади Etoile, может находиться этот узкий и темный проход между двумя рядами бесконечно старых домов, пропитанных вековой затхлостью, против которой была бессильна всякая цивилизация. Была уже поздняя весна – и тогда, после долгого холода зимы и всех ее печальных пейзажей, не уезжая никуда, мы увидели другой Париж: прозрачные ночи, далекое красное зарево над Монмартром и сплошные каштановые деревья на бульваре Араго, куда мы почему-то попадали несколько раз подряд. Я шел, держа ее за талию, и она мне сказала ленивым и спокойным голосом, без малейшего оттенка протеста:

– Ну, милый мой, ты ведешь себя, совершенно как апаш.

Иногда, перед возвращением домой, мы заходили в ночное кафе или бар, и она удивлялась тому, что, в каком бы районе это ни происходило, я знал в лицо всех гарсонов и всех женщин, сидевших на табуретах у стойки и ожидавших очередного клиента. Она пила только крепкие напитки, у нее была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объяснявшаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англосаксонских странах. Только выпив довольно значительное количество алкоголя, она становилась не такой, какой бывала обычно, и ее непременно начинало тянуть туда, куда не нужно. – Поедем на Бастилию, в bal musette^[15], я хочу

посмотреть на gens du milieu^[16]. Поедем на rue Blondel, в знаменитый публичный дом. – Это неинтересно, Леночка. – А где здесь собираются педерасты? Ты это должен знать, какой же ты журналист, если ты этого не знаешь? Поедем, я тебя прошу, я так люблю педерастов. – Вот мы поедем, и меня ранят ножом, что ты тогда будешь делать? – Не надо настраивать себя на такой напрасно-героический лад, никто тебя не ранит, это вообще плохая литература. – Иногда ей приходили в голову совершенно дикие мысли. Я помню, как она однажды расспрашивала меня, где ночью можно купить конфет. Не подозревая ее подлинных намерений, я сказал ей это. Мы были в такси, она велела шоферу ехать туда и вышла из магазина с руками, полными мешочков конфет.

– Что ты со всем этим будешь делать?

– Мой милый, – сказала она совершенно не свойственным ей нежным голосом, по которому я услышал, что она была совсем пьяна – до тех пор это не было внешне заметно. – Я тебя поцелую, я сделаю все, что ты захочешь, но ты должен исполнить мою маленькую просьбу.

– Кажется, дело плохо, – сказал я, думая вслух.

– Вот такую маленькую, – продолжала она, показывая ноготь своего мизинца. – Ты должен знать, я уверена, что ты знаешь, в каком районе Парижа есть девочки-проститутки от десяти до пятнадцати лет.

– Нет, я не имею об этом представления.

– Ты хочешь, чтобы я расспрашивала шофера? Ты будешь в глупом положении.

– Но зачем тебе эти девочки?

– Я хочу им раздать конфеты. Ты понимаешь, это будет им приятно.

Мне удалось отговорить ее от этого с большим трудом. Но иногда она настаивала так, что мне предоставлялся только выбор – либо удержать ее силой, либо уступить; и, таким образом, мы побывали почти всюду, где ей хотелось, и я заметил, что все эти места ее не очень, в сущности, интересовали. Она просто давала волю какому-то своему неожиданному желанию, но как только оно становилось легкоисполнимым, оно теряло для нее значительную часть соблазнительности. Она была готова на все ради сильных ощущений.

Но сильных ощущений не было, были только в одном случае сутенеры в светло-серых кепках, относившиеся с почтительной боязнью к полицейским, дежурившим у входа в bal musette, в другом – голые полноватые женщины с вялыми телами и мертвенно-животной глупостью в глазах, в третьем – подведенные молодые люди с развинченной походкой и каким-то необъяснимым налетом душевного сифилиса на лице. И она говорила:

– Ты прав, это скучно.

Она любила очень быструю езду на автомобиле. Когда однажды она попросила меня взять напрокат машину без шофера, мы поехали за город и я доверчиво дал ей руль, она повела автомобиль с бешеной скоростью, и я не был уверен, что из этой прогулки мы вернемся домой, а не в госпиталь. Она прекрасно умела править, но все-таки на поворотах и перекрестках мне каждый раз хотелось закрыть глаза и забыть о том, что происходит. Наконец, после того как мы чудом, казалось, избежали третьей катастрофы, я ей сказал:

– У нас могло уже быть три столкновения.

Не уменьшая хода, она отняла левую руку, показала мне указательный палец и ответила:

– Одно.

– Почему?

– Потому что после первого столкновения мы бы дальше не поехали, у нас не было бы никаких других возможностей.

Но на обратном пути я категорически отказался пустить ее за руль, и, когда мы ехали, она мне сказала:

– Я тебя не понимаю, ты едешь так же быстро, как я, чего же ты боишься? Ты думаешь, что ты правишь лучше меня?

– Нет, – сказал я, – я в этом не уверен. Но я знаю дорогу, я знаю, какие перекрестки опасны, какие нет, а ты едешь вслепую.

Она посмотрела на меня со странным выражением глаз и сказала:

– Вслепую? Я думаю, что так интереснее. Вообще все.

В этот период времени мне удалось, наконец, избавиться от случайной и неинтересной работы, и я получил заказ на серию статей о литературе. Елена Николаевна пришла ко мне однажды днем, – это был ее первый визит, – без предупреждения – и я очень удивился, отворив дверь на неожиданный звонок и увидев ее.

– Здравствуй, – сказала она, осматривая комнату, в которой я работал, – я хотела застать тебя врасплох и, может быть, в чьих-нибудь объятиях.

Она стояла у полок с книгами, быстро вынимала том за томом и ставила их на место. Потом она вдруг посмотрела на меня остановившимися глазами с таким оттенком выражения, которого я в них никогда еще не видал.

– Что с тобой?

– Ничего, меня просто заинтересовала одна книга. Я все хотела ее прочесть и нигде не могла найти.

– Какая книга?

– «Золотой осел», – быстро сказала она. – Можно его взять почитать?

Меня удивило, что эта книга могла произвести на нее такое впечатление.

– Конечно, – сказал я, – но в ней нет ничего замечательного.

– Мне ее подарил мой муж во время свадебного путешествия, я начала ее читать и уронила в море. Потом я ее всюду спрашивала, но ее не было. Правда, то был английский перевод, а это русский. Что ты пишешь сейчас?

Я показал ей свою работу, она спросила, может ли она мне помочь.

– Да, конечно, но я боюсь, что тебе будет скучно рыться в книгах и выписывать цитаты.

– Нет, наоборот, это меня интересует.

Она так настаивала, что я согласился. Ее работа заключалась в переписывании и переводе подчеркнутых мной цитат, которые входили в статью как иллюстрация того или другого литературного положения, которое я развивал. Она это делала так быстро и с такой легкостью, точно занималась этим всю жизнь. Кроме того, она обнаружила познания, которых я в ней не подозревал: она была особенно сильна в английской литературе.

– Откуда это у тебя? – спросил я. – Все путешествия и романы, как ты говоришь, – когда же ты успела все это прочесть?

– Если тебе не помешали статьи о политических мерзавцах, или о людях, которые бьют друг друга по физиономии, или о разрезанных на

куски женщинах, то почему мне могли помешать мои романы? Многие романы – это быстро: раз-два, и готово.

И она смотрела на меня насмешливыми глазами, подняв голову от книги, которую держала.

Она стала приходить ко мне почти каждый день. Когда я как-то обнял ее, она отстранила меня и сказала:

– Целоваться мы будем вечером, сейчас надо работать.

Она вносила в это такую серьезность, что мне невольно делалось смешно. Но я не мог не оценить ее помощи; моя работа шла вдвое скорее. Иногда она приходила утром и будила меня, потому что, в силу многолетней привычки, я ложился спать очень поздно и поздно вставал. Был конец мая, уже становилось жарко. Днем я работал с ней, вечером мы обедали вместе, потом чаще всего куда-нибудь шли, затем я провожал ее домой и почти всегда оставался у нее и присутствовал при ее вечернем туалете. Когда она выходила из ванной, с побелевшим лицом и побледневшими губами, с которых была снята краска, я снимал с нее халат, укладывал ее в кровать и спрашивал:

– Теперь тебе нужно колыбельную?

Когда потом, расставшись с ней глубокой ночью, я выходил на улицу и отправлялся домой, моя жизнь начинала казаться мне неправдоподобной, я все не мог привыкнуть к тому, что, наконец, у меня нет никакой трагедии, что я занимаюсь работой, которая меня интересует, что есть женщина, которую я люблю так, как не любил никого, – и она не сумасшедшая, не истеричка, и я не должен каждую минуту ждать с ее стороны либо припадка неожиданной страсти, либо приступа непонятной злобы, либо неудержимых и бесполезных слез. Все, из чего до сих пор состояло мое существование, – сожаления, неудовлетворенность и какая-то явная напрасность всего, что я делал, – все это стало казаться мне чрезвычайно далеким и чужим, так, точно я думал о чем-то давно прошедшем. И в числе этих исчезающих вещей и слабеющих воспоминаний было воспоминание об Александре Вольфе и его рассказе «Приключение в степи». Его книга по-прежнему стояла на моей полке, но я очень давно не открывал ее.

Однажды, войдя в квартиру, – у меня был от нее собственный ключ, – я услышал, что Елена Николаевна поет. Я остановился. Она пела вполголоса какой-то испанский романс. Это был один из тех мотивов, которые могли возникнуть только на юге и возможность возникновения которых нельзя было себе представить вне солнечного света. Эта мелодия непостижимым образом заключала в себе свет, как другие могли бы заключать в себе снег, как некоторые, в которых чувствовалась ночь. Когда я вошел в комнату, она улыбнулась и сказала мне:

– Самое смешное – это что я никогда не подозревала, что знаю эту песенку. Я ее слышала года четыре тому назад на концерте, потом как-то раз в граммофоне, – и вот вдруг выяснилось, что я ее помню.

– И, может быть, действительно, – сказал я, отвечая, как мне казалось, на ее мысль, – все, в конце концов, не так печально и все положительные вещи не всегда и не непременно иллюзорны.

– Ты вообще теплый и мохнатый, – сказала она без всякой связи с началом разговора, – и когда ты не иронизируешь, то мысли у тебя тоже теплые и мохнатые. И тебе очень мешает способность думать, потому что без нее ты был бы, конечно, счастлив.

Меня больше всего интересовал прежний вопрос о том, что было с ней до ее приезда в Париж. Что именно, какое чувство так надолго застыло в ее глазах, и откуда был этот душевный ее холод? Я знал, однако, по длительному опыту, что для меня очарование или притягательность женщины существовали только до тех пор, пока в ней оставалось нечто неизвестное, какое-то неведомое пространство, которое давало бы мне возможность – или иллюзию – все вновь и вновь создавать ее образ, представляя ее себе такой, какой я хотел бы ее видеть, и, наверное, не такой, какой она была в действительности. Это не доходило до того, что я бы предпочитал ложь или выдумку слишком простой истине, но особенно углубленное знание несло в себе несомненную опасность: к этому не хотелось возвращаться, как к прочитанной и понятой книге. И вместе с тем, желание знать всегда было неотделимо от чувства и никакие доводы не могли это изменить. Вне этой душевной и такой явной опасности жизнь мне показалась бы, наверное, слишком вялой. Я был убежден, что на известный период существования Елены Николаевны легла какая-то тень, и я хотел знать, чьи глаза нашли свое неподвижное отражение в ее глазах,

чей холод так глубоко проник в ее тело – и, главное, как и почему это произошло.

Но как ни сильно было мое желание узнать это, я не торопился, я надеялся, что у меня для этого еще будет время. Я впервые почувствовал возможность душевного доверия со стороны Елены Николаевны, когда однажды, сидя рядом со мной на диване, она вдруг положила мне руки на плечо каким-то неуверенным и точно непривычным движением, и этот жест, совершенно для нее нехарактерный, был более показателен, чем любые слова. Я посмотрел на ее лицо; но ее глаза еще не поспевали за ее телом и сохраняли свое спокойное выражение. И я подумал, что она уже не такая, какой была некоторое время тому назад, – и, может быть, больше никогда не будет такой. Иногда, рассказывая мне некоторые незначительные вещи о том или ином периоде ее жизни, она говорила – «мой тогдашний любовник» или «это был один из моих любовников», и каждый раз я испытывал неприятное ощущение, слыша эти слова именно в ее устах и именно по отношению к ней, хотя я знал, что это не могло быть иначе и что из ее жизни нельзя произвольно исключить ни одного события без того, чтобы после этого она не перестала существовать для меня, так как я ее никогда бы не встретил, если бы у нее было одним любовником больше или меньше. Кроме того, она произносила это слово таким тоном, точно речь шла о каком-то неважном и всегда временном служащем.

Мне неоднократно приходилось замечать – с неизменным удивлением, что женщины обычно бывали чрезвычайно откровенны со мной и особенно охотно рассказывали мне свою жизнь. Я слышал множество признаний, иногда такого характера, что мне становилось неловко. Самым необъяснимым мне казалось то, что к большинству моих собеседниц я не имел, в сущности, никакого отношения, меня с ними связывало простое знакомство. Я неоднократно задавал себе вопрос: чем, собственно говоря, можно было оправдать такие излияния, которые не имели решительно никакой, ни внешней, ни внутренней, причины? Но так как это меня, в конце концов, не очень интересовало, то я никогда не терял слишком много времени на обсуждение этого. Я только знал, что по отношению ко мне женщины были откровенны, и этого для меня было более чем достаточно, потому что иногда мне приходилось попадать из-за этого в неловкое

положение. Елена Николаевна была в этом смысле исключением. Она, правда, была способна несколько раз повторить «мой бывший любовник», «мой тогдашний любовник» все тем же тоном, каким она сказала бы «моя прачка» или «моя кухарка», – но этим ограничивалась. Очень редко у нее бывали короткие минуты откровенности, тогда она кое-что рассказывала и была неожиданно жестока по отношению ко мне – простотой выражений, которые она употребляла, упоминаниями некоторых, слишком реалистических, подробностей, и мне становилось обидно за нее. Но то, о чем она никогда и ни при каких обстоятельствах до сих пор не говорила, была ее душевная жизнь.

Как-то раз я сидел у нее вечером; сквозь полузадернутые портьеры с улицы доходил матовый свет круглых фонарей. Над ее диваном горело бра. Я встал и подошел к окну. Небо было звездное и чистое.

– Мне иногда жаль тебя, – сказал я. – У меня такое впечатление, что тебя неоднократно обманывали и каждый раз после того, как ты говорила что-либо, о чем лучше было молчать, тебе впоследствии приходилось раскаиваться в этом. Я боюсь, что в числе твоих поклонников были люди, которых нельзя назвать джентльменами, – и вот теперь, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду.

Я обернулся. Она молчала, у нее было рассеянное и далекое выражение лица.

– А может быть, – продолжал я, – у тебя нечто вроде душевного пневмоторакса. Но у какого доктора хватило жестокости это сделать?

– Два года тому назад в Лондоне, – сказала она своим спокойным и ленивым голосом, – я познакомилась с одним человеком.

И какая-то, почти неуловимая, ее интонация заставила меня сразу насторожиться. Я продолжал стоять у окна. Мне казалось, что если я подойду к ней, или сяду в кресло рядом с диваном, или вообще сделаю несколько шагов по комнате, то первое же мое движение вдруг нарушит ее настроение и я так и не узнаю, что она хотела мне сказать. Я даже не повернул головы – и в такой напряженной неподвижности я стал слушать ее рассказ. Она говорила на этот раз с полной и беззащитной откровенностью, – произошло то, чего я так давно и упорно ждал.

Это началось на вечере у ее знакомых. Хозяин дома был человек пятидесяти лет, его жена была на двадцать лет моложе, чем он.

Мне хотелось спросить, какое значение для дальнейшего имеют подробности о возрасте хозяев, но я промолчал.

После очень плотного обеда были импровизированные выступления. Один из гостей недурно пел, другой читал стихи, какая-то дама очень мило танцевала. Последним выступал высокий мужчина, который играл на рояле вещи Скрябина. На Елену Николаевну эта музыка произвела крайне тягостное впечатление, которое невольно связывалось с ее исполнителем. Когда, в середине вечера, он пригласил ее танцевать, ей нужно было сделать усилие над собой, чтобы не отказать ему. Но танцевал он прекрасно и оказался, как она сказала, самым занимательным собеседником, какого она когда-либо встречала. У него было бледное лицо и очень блестящие глаза. То, что он говорил, было умно и верно и как-то всегда попадало в ритм музыки, под которую они танцевали. Этот человек был другом хозяина дома и любовником его жены: Елена Николаевна видела пристальный взгляд ее синих глаз, не покидавший ее партнера все время.

Они говорили об Америке, о Холливуде, об Италии, о Париже, он все это очень хорошо знал, точно прожил всюду целые годы. Он читал все книги, вышедшие за последние годы, в этом у него была исключительная эрудиция; он хорошо знал музыку и ничего не понимал в живописи. Когда вечер кончился и он подошел к ней попрощаться, она с удивлением в первый раз заметила, что он не слишком молод; в его лице за эти несколько минут произошла, казалось, какая-то странная перемена. Но она вспомнила об этом впечатлении только значительно позже.

Прошла неделя, она встретилась с ним – он позвонил ей по телефону – в ресторане, где они ужинали. Он опять был таким же, как в вечер их первого знакомства. Играл оркестр венгерских цыган – с плачущими звуками скрипок, с неизменными и тягостно-соблазнительными удлинениями мелодии, которые внезапно обрывались и вслед за которыми начинался быстрый ритм, похожий на звуковое изображение скачки лошадей по какой-то воображаемой и огромной равнине. Он слушал внимательно и потом сказал:

– В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоящему, что такое пространство, – это Россия. Но вы, может быть, не любите географии, особенно в ресторане? Вам не кажется, что все происходящее, в сущности, чудесно?

– Я так часто слышала именно эту фразу, что она потеряла для меня убедительность.

– А между тем это именно так, и ваши бедные собеседники были правы.

– Нет ничего скучнее иногда, чем быть правым.

– Конечно. Но если вы дадите себе труд проследить последовательность событий какой-нибудь одной человеческой жизни, то вы должны будете согласиться, что это почти всегда чудесно.

– Очень часто это просто неинтересно. И во многих случаях бывает непонятно, зачем, собственно, так ненужно и бессмысленно прожил такой-то или такой-то человек.

– Я знаю одну биографию, – сказал он, – биографию бедного еврейского юноши из Польши, который родился в семье бакалейщика, но мечтал о карьере портного. Он участвовал в войне, был в плену, сражался, был ранен и после долгих мытарств попал в Англию, где ему удалось стать портным, как он надеялся на это всегда. Он мечтал об этом в сырых окопах, под звуки стрельбы, в госпитале, в плену. И после того, как он получил свой первый заказ, он заболел воспалением легких и умер через десять дней. Посмотрите – какая исключительная последовательность, какой замечательный конец!

– Вы видите в этом проявление какого-то высшего смысла?

Его лицо стало серьезным, блестящие его глаза смотрели на нее чрезвычайно пристально.

– Разве вам это не кажется очевидным? Это был бег к смерти. Он мечтал сделаться портным, как другие мечтают о славе или богатстве. Судьба хранила его, казалось бы, именно для того, чтобы он мог достигнуть этой цели. Он не был убит на фронте, не погиб в плену, не умер от гангрены или заражения крови в госпитале. И наконец, когда его мечта осуществилась, оказалось, что ее осуществление несло в себе его смерть, к которой он так упорно стремился все время. Всякая жизнь становится ясна – я хочу сказать, ее движение, ее особенности – только тогда, в последние минуты. Вы знаете персидскую легенду о садовнике и смерти?

– Нет.

– К шаху пришел однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный, и сказал ему: дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть. Шах дал ему лошадь, и садовник ускакал в Испагань. Шах вышел в сад; там стояла смерть. Он сказал ей: зачем ты так испугала моего садовника, зачем ты появилась перед ним? Смерть ответила шаху: я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидя твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагани.

Потом он прибавил:

– Я знаю много случаев, в которых смысл такого движения представляется особенно ясным. Я вам говорил о портном. Вот вам другой пример: русский офицер, участник великой, потом гражданской войны в России. Он провел на передовых позициях шесть лет. Почти все его товарищи погибли. Он был несколько раз ранен, однажды прополз под обстрелом, с двумя пулями в теле, четыре километра. Много раз он спасался от смерти просто чудом. Но он остался жив. Потом война кончилась, и он приехал в мирную Грецию, где уже ничто, казалось бы, не могло ему угрожать. Через день после своего приезда он шел ночью по окраине маленького азиатского городка, упал в колодец и утонул. Подумайте стоило ли тогда ползти под обстрелом, теряя сознание от слабости, с таким страшным усилием, стоило тратить столько несокрушимого мужества и героизма, чтобы однажды ночью утонуть в колодце после того, как все опасности остались позади?

– И вы думаете, что смысл всего существующего сводится к этому смертельному фатализму?

– Это не фатализм, это направление жизни, это смысл всякого движения. Вернее, даже не смысл, а значение.

– Вы посвятили, по-видимому, много времени обсуждению этого вопроса. Вам, наверное, приходилось думать о том, в какой степени ваша собственная жизнь...

Он вдруг еще больше побледнел. Скрипки играли с особенной пронзительностью.

– Много лет тому назад, – сказал он, – я встретил свою смерть, я видел ее так же ясно, как этот персидский садовник. Но в силу

необыкновенной случайности она пропустила меня. Elle m'a rate^[17], не знаю, как это сказать иначе. Я был очень молод, я летел ей навстречу сломя голову, но вот эта случайность, о которой я говорил, спасла меня. Теперь я медленно иду по направлению к ней – и, в сущности, я должен быть ей благодарен за то, что она, по-видимому, ошиблась страницей, так как это дает мне счастье смотреть в ваши глаза и излагать вам эти полуфилософские обрывки.

– Мне казалось, что все тогда было против меня, – сказала Елена Николаевна, – вечер, музыка, это лицо с блестящими глазами. Но у меня еще были силы сопротивляться этому. Их, однако, хватило ненадолго.

Она встречалась с ним примерно раз в неделю. После первого свидания в ресторане он на время изменил своей тогдашней, философской, как она сказала, манере, – он говорил о скачках, о фильмах, о книгах, и чем больше она его узнавала, тем очевиднее для нее становилось, что он был головой выше всех, с кем ей до сих пор приходилось встречаться. И все-таки, несмотря на умные и верные вещи, несмотря на то, что перед ней открывался целый мир, которого она не знала, – на всем этом был налет холодного и спокойного отчаяния. Она никогда не переставала внутренне сопротивляться этому. Она не могла противопоставить его рассуждениям что-то другое, это был бы слишком неравный и заранее проигранный спор. Но все ее существо протестовало против этого, она знала, что это неправильно, или если это правильно, то нужно – и стоит – сделать нечеловеческое усилие, чтобы это сразу забыть и никогда к нему не возвращаться.

– Всякая любовь есть попытка задержать свою судьбу, это наивная иллюзия короткого бессмертия, – сказал он как-то. – И все-таки это, наверное, лучшее, что нам дано знать. Но и в этом, конечно, легко увидеть медленную работу смерти. «Vouloir nous brule et pouvoir nous detruit»^[18] – вы найдете это в «Шагренево́й коже» Бальзака.

Она ставила себе вопрос: что давало этому человеку силу жить? То, во что верили другие, для него не существовало; даже самые лучшие, самые прекрасные вещи теряли свою прелесть, как только он касался их. Но его притягательность была непреодолима. Елена Николаевна знала, что это неизбежно, и, когда она стала его любовницей, ей казалось, что она вспоминает нечто случившееся уже

давно. И еще несколько позже она поняла, как этот человек мог существовать и что поддерживало его в этом длительном путешествии навстречу смерти: он был морфиноман. Она однажды спросила его, как могло случиться, что он, с его умом и способностями, он, который был, несомненно, выше всех, кого она знала, – мог дойти до такого безнадежного состояния?

– Это потому, что я пропустил свою смерть, – ответил он.

Ее роман с ним был омрачен еще одним трагическим событием. Пренная его любовница, хозяйка того дома, где Елена Николаевна впервые услышала музыку Скрябина, не могла примириться с новым положением. Она писала угрожающие письма, грозила разоблачениями, сторожила часами у подъезда его дома. Это была вздорная женщина, которая, как он выразился, прожила свою жизнь, задумавшись раз навсегда о какой-то ерунде, затем влюбилась в него, и это заполнило все ее существование. Любил ли он ее? Нет, это было затянувшееся недоразумение. Но кончилось оно трагически: она отравилась, оставив мужу подробное письмо, в котором рассказывала историю своего романа и объясняла, что лишает себя жизни, так как этот человек не хочет больше с ней жить. С наивной жестокостью она прибавила: ты, который меня так любил, ты должен понять, что это такое.

Он пытался приучить Елену Николаевну к морфию, – и, в сущности, это было единственное, что ему не удалось. После первого опыта она опугнула, как она сказала, ледяную, непостижимую до тех пор прозрачность, но потом ей было дурно, и она никогда больше не повторяла этой попытки. Во всем остальном она чувствовала, что сдает и, в конце концов, гибнет. То, что она вначале воспринимала как интересные вещи, как возможность нового постижения мира, стало постепенно казаться ей естественным. То, что она всю жизнь считала важным и существенным, неудержимо и, казалось, безвозвратно теряло свою ценность. То, что она любила, она переставала любить. Ей казалось, что все увядает и что вот остается только – время от времени – какая-то смертельная восторженность, после которой пустота. Ей казалось, что ее отделяли от встречи с ним уже целые годы утомительной жизни и что в ней не оставалось ничего от прежней Леночки, какой она была как будто бы так недавно. Изменился даже ее характер, ее движения стали медлительнее, ее

реакции на происходящее теряли свою силу, словом, все было так, точно она была погружена в глубокий душевный недуг. Она чувствовала, что если это будет еще продолжаться, то кончится небытием или падением в какую-то холодную пропасть. Те попытки, которые она делала, чтобы изменить его жизнь – потому что она, несомненно, любила его, – ни к чему не привели. И та теплота, которая в ней была, постепенно слабела и уходила.

И вот как у человека, наполовину отравленного газом и почти теряющего сознание, хватает силы доползти до окна и открыть его, так у нее хватило силы, проснувшись однажды утром, уложить свои вещи и уехать на вокзал, а оттуда в Париж. Но до этого она сделала все, что могла, пытаясь вернуть его к сколько-нибудь нормальной жизни. Она рассказала мне о своем последнем разговоре с ним. Это было вечером, в его квартире. Он сидел в кресле, у него было усталое лицо и потухшие глаза. Она сказала ему:

– Все как-то так чудовищно в твоей жизни, что у меня опускаются руки. Ты говоришь, что любишь меня?

Он кивнул головой.

– Ты себе представляешь, что у меня может быть ребенок?

– Нет.

– Мне кажется, что я так же имею право быть матерью, как всякая другая женщина.

Он пожал плечами.

– Я могла бы выйти за тебя замуж. Вместе с тем, ясно, что это абсурд. Ни то ни другое невозможно. Почему? Ты считаешь себя осужденным на смерть. Но мы все осуждены на смерть.

– Иначе.

– Почему?

– Потому что все понимают это только теоретически, а я знаю, что это такое. Почему? Не могу объяснить. В некоторых тюрьмах арестантов отпускают в город под честное слово на день или два. Они так же одеты, как все остальные, так же могут обедать в ресторане или сидеть в театре. Но они все-таки не похожи на других – не так ли? Меня отпустили на некоторое время; я не могу ни думать, ни жить так, как все, потому что я знаю, что меня ждут.

– Это одна из форм сумасшествия.

– Может быть. Кстати, что такое сумасшествие?

– Ты понимаешь, во всяком случае, что это не может так продолжаться. Я не могу так жить.

– Всякая другая жизнь показалась бы тебе теперь неинтересной и лишенной привлекательности. Ты никогда не станешь такой, какой была раньше.

– Почему?

– Во-первых, потому, что это маловероятно.

– А во-вторых?

– Во-вторых, потому, что я этого не допущу.

– Ты хочешь сказать, что ты остановишь меня?

– Да.

– Каким путем?

– Это не важно, каким угодно.

Бели бы этого разговора не было, она, вероятно, осталась бы с ним еще на некоторое время. Но мысли, что ее можно к чему-то принудить или удержать какой-то угрозой, она не могла перенести.

И, уехав от него, она убедилась, что в его словах была значительная часть истины. Она была отравлена его близостью, может быть, надолго, может быть, навсегда. И вот как будто только теперь, впервые за все эти месяцы и годы, она почувствовала, что, может быть, это не безвозвратно. Она буквально сказала эту фразу:

– И вот только теперь я начинаю думать, что это, может быть, не безвозвратно.

Я отошел от окна и сел рядом с ней на диване.

– Какой ты теплый, – сказала она.

– Он, конечно, не знает, где ты?

– Нет, он знает только, что я уехала. Я не думаю, чтобы он мог меня найти. Можно, я лягу? Я устала от того, что рассказала тебе это. И вместе с тем, я всегда знала, что когда-нибудь я буду кому-то рассказывать о моей жизни, потому что он будет меня спрашивать об этом и потому что в эти минуты я буду его любить. Ты видишь, как давно я знала о тебе?

– Да, конечно. А потом ты кому-то будешь рассказывать обо мне. И ты скажешь: он писал некрологи, и спортивные отчеты, и статьи о женщине, разрезанной на куски, – и что еще, Леночка?

– Еще – что ты больше понимал, чем умел сказать, и что твои интонации были выразительнее, чем слова, которые ты говорил. Но,

может быть, я этого никому не скажу.

Я снова возвращался домой по пустынным ночным улицам, и, несмотря на то, что мне хотелось заснуть и не думать ни о чем, я все же не мог избавиться от размышлений по поводу этого человека, о котором рассказывала Елена Николаевна. Что могло случиться с ним, что вызвало в нем этот страшный вид душевной болезни? Я знал, что поиски какого-то отправного момента, с которого начинается всякий душевный недуг, всегда мучительно трудны и чаще всего совершенно бесплодны. Кроме того, даже если бы я нашел абсолютно правильное решение этого вопроса, у меня не было никакой возможности его проверить. И затем – какое мне, в сущности, было дело до этого человека? Я только липший раз убеждался в том, что в силу неизменно повторяющейся случайности, может быть, в силу каких-то других причин, которых я не знал, в каждом моем романе всегда был ненужно-трагический элемент и это почти никогда не было по моей личной вине. Обычно это бывала вина одного из моих предшественников, за которую невольно приходилось расплачиваться мне. В некоторых случаях судьба была особенно насмешлива по отношению ко мне. Я не мог забыть, как я встретил одну женщину, замечательную во многих отношениях, но отличавшуюся непонятно-адским характером; я провел с ней несколько лет, мне было ее искренне жаль, и я делал все, чтобы она была менее несчастной, так как она сама была первой жертвой своих собственных недостатков. Долгий период душевного спокойствия повлиял, наконец, на нее благотворно – и после этого она ушла от меня, особенно настаивая на том, что не питает ко мне никаких дурных чувств, и считая, с бессознательным простодушием, что это одно должно мне казаться чуть ли не незаслуженным счастьем. И через некоторое время ее новый любовник, очень милый вообще человек, сказал мне, что она ему много рассказывала обо мне, и он рад со мной познакомиться, и что она удивительная женщина с совершенно идеальным характером – и это так редко, как он заметил, в наш нервный век.

И мне начало казаться, что вообще моя роль заключается в том, что я появляюсь после катастрофы и все, с кем мне суждена душевная близость, непременно перед этим становятся жертвами какого-то несчастья. В некоторых случаях это принимало более трагический характер, в других менее, но это всегда бывало тяжело и осложнялось

еще тем, что по вредной и давней привычке, от которой я не мог избавиться, я всякий раз длительно и постоянно обдумывал это, не принимая вещи такими, какими они были, и строя вокруг них целую систему моих собственных и напрасных предположений о том, как это могло бы быть, если бы было иначе. Я всегда искал причин, вызвавших ту или иную катастрофу, – и вот теперь я думал о моем лондонском предшественнике, об этом человеке с таким непонятным тяготением ко всему, что заключало в себе идею смерти. Чем могло объясняться возникновение такого душевного недуга? У меня не было решительно никаких данных, чтобы судить об этом. Но этот вопрос интересовал меня, помимо всего, еще чисто теоретически – как могла бы меня интересовать какая-нибудь произвольная психологическая проблема. Судя по его возрасту – Елена Николаевна как-то сказала, что он был лет на десять старше меня, – он, наверное, участвовал в войне, и, может быть, это повлияло на него? Я знал по собственному опыту и по примеру многих моих товарищей то непоправимо разрушительное действие, которое оказывает почти на каждого человека участие в войне. Я знал, что постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных, огромное красное пламя в ледяном воздухе зимней ночи, над зажженными деревьями, труп своей лошади и эти звуковые впечатления – набат, разрывы снарядов, свист пуль, отчаянные, неизвестно чьи крики, – все это никогда не проходит безнаказанно. Я знал, что безмолвное, почти бессознательное воспоминание о войне преследует большинство людей, которые прошли через нее, и в них всех есть что-то сломанное раз навсегда. Я знал по себе, что нормальные человеческие представления о ценности жизни, о необходимости основных нравственных законов – не убивать, не грабить, не насиловать, жалеть, – все это медленно восстанавливалось во мне после войны, но потеряло прежнюю убедительность и стало только системой теоретической морали, с относительной правильностью и необходимостью которой я не мог, в принципе, не согласиться. И те чувства, которые должны были во мне существовать и которые обусловили возникновение этих законов, были выжжены войной, их больше не было, и их ничто не заменило.

Он не мог, конечно, не знать об этом всего, что знал я. Но, с другой стороны, сотни тысяч людей прошли сквозь это и не стали

сумасшедшими. Нет, конечно, естественнее было предположить, что в его жизни произошли какие-нибудь особенные события, о которых ничего не знала даже Елена Николаевна и которые предопределили его теперешнее состояние. Что значила, например, эта фраза: Elle m'a rate? Во всяком случае, в ее глазах надолго застыло неподвижно и неестественно спокойное выражение, как забытое изображение в зеркале, – и это уже относилось ко мне непосредственно, не так, как все остальное, потому что все остальное тоже, к сожалению, относилось ко мне. Я чувствовал иногда, и в частности этой ночью, возвращаясь домой, необыкновенное раздражение против невозможности избавиться от того мира вещей, мыслей и воспоминаний, беспорядочное и безмолвное движение которого сопровождало всю мою жизнь. Я готов был иногда проклинать мою память, сохранявшую для меня многое, без чего мне было бы легче жить. Но изменить это было невозможно – и лишь в редкие периоды моего существования, требовавшие от меня наибольшего напряжения душевных сил, все это на некоторое время удалялось от меня – с тем, чтобы потом снова вернуться.

Я прошел полдороги пешком, затем остановил проезжавшее такси и, вернувшись домой, заснул мертвым сном.

Я помню, что на следующий день была прекрасная погода, солнце и синее небо с белыми, перистыми облаками. Мне очень легко работалось, я за несколько часов написал большую статью, на этот раз не о преступлении и не о банкротстве, а о некоторых особенностях Мопассана. Вечером, когда я был у Елены Николаевны, она сказала мне, что чувствует себя помолодевшей на несколько лет; она опять, по-видимому, подчинялась тому же невольному движению, что и я, как это уже было вначале, в день моего первого визита к ней и в течение той недели, которая предшествовала ему.

Однажды, проработав со мной полдня, она сказала мне, что приглашена вечером в театр и что мы увидимся с ней только на следующее утро. – Я разбуду тебя чуть свет, – сказала она, уходя. Я знал, что она идет в театр со своей давней подругой, которую случайно встретила в Париже. Я видел ее два или три раза, это была пышная женщина, довольно красивая; но при взгляде на нее у меня почему-то каждый раз появлялся аппетит, независимо от того, когда это происходило. И если это случалось даже непосредственно после

сытного завтрака, все-таки ее вид неизменно вызывал представление о еде, и, когда я закрывал глаза, передо мной смутно возникали неясные окорока, осетрина, семга, омары; эта женщина носила с собой, не зная этого, целый мир гастрономических видений, которых она была возбудительницей. Я никогда не мог дойти до конца в анализе того, почему получалось именно так; и оттого, что у нас не было общих знакомых, то я даже не узнал, разделяли ли другие люди это представление или это был результат моего личного и тем более непонятого извращения. Она была замужем за французом, очень милым и безличным человеком.

– Если хочешь, приходи, Анни тебя накормит, – сказала Елена Николаевна.

Но я отказался – и в половине десятого вечера пошел в русский ресторан. Приближаясь к нему, я вспомнил о цыганских романсах и о Вознесенском. Я вошел и сразу увидел его. Он был не один: за его столиком, спиной ко мне, сидел человек в светло-сером костюме; белокурые волосы не совсем прикрывали начинавшуюся лысину. Вознесенский замахал мне рукой и поднялся со своего места, приглашая меня подойти. Когда я приблизился, он сказал: – Искренне рад вас видеть, милый друг. Вот, разрешите вас познакомить: Саша Вольф собственной персоной, Александр Андреевич, только что приехавший из Лондона. Еще, пожалуйста, графинчик, красавица, – сказал он, обращаясь к кельнерше, которая подошла к столу одновременно со мной, – вы уж, миленькая, нас не обижайте.

Александр Вольф повернул голову, и я увидел его лицо. Он был еще красив, на вид ему было лет сорок. Может быть, если бы я не знал, что это он, я не обратил бы на него особенного внимания. Но оттого, что я это знал, мне показалось несомненным, что я вижу перед собой именно то, давно и страшно знакомое, лицо, воспоминание о котором столько лет преследовало меня. У него была очень белая кожа и неподвижные серые глаза.

– Я ему говорил о вас, – сказал Вознесенский. – Ведь если бы не он, Саша, я бы так и не узнал, что ты написал в твоей книге. Садитесь, милый друг, выпьем рюмочку, мы, слава Богу, люди православные.

Я не находил слов, чтобы заговорить с Вольфом. Я столько времени думал о встрече с ним, я хотел ему сказать столько вещей, что я не знал, с чего начать. Кроме того, присутствие Вознесенского,

ресторанная обстановка и выпитая водка не подходили для того разговора, о котором я думал столько раз. Александр Вольф говорил мало и ограничивался короткими репликами. Зато Вознесенский не умолкал. Как только я сел за стол, он выпил очередную рюмку и с пьяной пристальностью посмотрел на Вольфа.

– Саша, друг мой, – сказал он с необыкновенной выразительностью, – ведь ты подумай только, какой ты для меня человек, у меня нет большего друга. Ведь мы тебя, сукиного сына, мертвого было подняли, доктор тебя в больнице выходил, верно это или нет? А если верно, то к кому от меня Марина ушла? А? А какая была девочка, Саша! Ты лучше знал когда-нибудь?

– Знал, – с неожиданной твердостью сказал Вольф.

– Врешь, не может быть, Саша. А я не знал и не узнаю. Почему ты о ней не напишешь, хотя бы даже по-английски? Она на всех языках хороша. Напиши, Саша, будь другом.

Вольф, не улыбаясь, взглянул на него, потом перевел взгляд на меня.

– Меня заинтересовал ваш рассказ «The Adventure in the Steppe», – сказал я, – по некоторым причинам, которые я вам изложу, если вы позволите, в более подходящей обстановке. Мне бы вообще хотелось поговорить с вами о некоторых важных – с моей точки зрения – вещах.

– Я к вашим услугам, – ответил он. – Если хотите, встретимся здесь же послезавтра, часов в пять. Мне Владимир Петрович рассказывал о своих разговорах с вами.

– Очень хорошо, – сказал я, – тогда, значит, послезавтра, в пять часов, здесь же.

Я ушел не сразу. Каждый раз, когда это было возможно, я смотрел на Вольфа с той жадной и пристальной напряженностью, которая была характерна для всего моего отношения к нему и которая только в последнее время ослабела, потому что другие, более сильные чувства владели мной. Я делал над собой усилия, чтобы увидеть его таким, каким он казался бы мне, если бы я вообще ничего о нем не знал, я старался отстранить от себя те навязчивые представления, которые слишком долго преследовали мое воображение и которые мешали мне в эти минуты. Я не мог бы, однако, сказать с уверенностью, насколько мне это удалось. В лице Вольфа было, мне казалось, что-то резко

отличавшее его от других лиц, которые я видел. Это было трудноопределимое выражение, нечто похожее на мертвую значительность, – выражение, казавшееся совершенно невероятным на лице живого человека. Для того, кто, как я, так внимательно читал его книгу, представлялось чрезвычайно странным, что именно этот человек, с неподвижным взглядом и этим непередаваемым выражением, мог писать такой быстрой и гибкой прозой и видеть этими же остановившимися глазами столько вещей.

«Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple» – я вдруг вспомнил этот эпитаф к «The Adventure in the Steppe». Вот что в нем было главное – он был действительно похож на призрак. Как я мог этого не понять с самого начала? Мне вдруг стало холодно на несколько секунд. И опять голос из граммофона пел любимый романс Вознесенского:

Не надо ничего,
Ни поздних сожалений...

И я вспомнил, что давно уже я представлял себе именно то, что было сейчас: ресторан, музыка и – сквозь пьяную цыганскую печаль – это мертвое лицо неизвестного автора «I'll Come Tomorrow». Я закрыл глаза; передо мной клубилось невероятное соединение мыслей, воспоминаний, чувств, и все это проходило через несколько мотивов и те воображаемые мелодии, о которых я думал, когда представлял себе пение Марины под аккомпанемент Саши Вольфа. Потом я увидел с необыкновенной ясностью качающуюся, как во сне, черную мушку револьвера перед моим правым глазом. Мне стало казаться, что меня знобит, что у меня начинается бред.

Я, наконец, поднялся и ушел, несмотря на шумные протесты Вознесенского; он протягивал по направлению ко мне руку, из которой не выпускал рюмки с водкой, и уговаривал меня сначала посидеть еще немного здесь, а потом поехать куда-нибудь в другое место. Мне, может быть, было бы очень трудно отказаться от его настойчивых приглашений, но я сослался на спешную работу. Все, что относилось к литературе или журналистике, носило для него чуть ли не священный характер, и этого не могла изменить никакая степень его опьянения.

– После этого не смею удерживать, милый друг, – сказал он. – Желая вам успешных трудов.

Я вышел из ресторана: мне не хотелось тотчас же возвращаться домой. Я пошел по rue de la Convention, направляясь к Сене. Было около половины двенадцатого вечера, было тепло, шелестели молодые листья на недавно распустившихся деревьях, еще не успевших принять тот вялый и пыльный вид, который они имеют летом. Встреча с Вольфом не давала мне покоя, я в сотый раз восстанавливал в памяти все, что было связано с ним, – от той минуты, когда он лежал поперек дороги, до книги, которую он написал, и моего свидания с лондонским издателем, ненавидевшим его такой страшной ненавистью. Я думал о том, что Вольф стал для меня – и не столько он лично, сколько всякая мысль о нем – невольным олицетворением всего мертвого и печального, что было в моей жизни. К этому прибавлялось еще сознание моей собственной вины: я чувствовал себя, почти как убийца, потрясенный только что совершенным преступлением, у трупа своей жертвы. И хотя я не был убийцей и Вольф не был трупом, я не мог отделаться от этого представления. – В чем, собственно, моя вина перед ним? – спрашивал я себя. И несмотря на то, что всякий суд, я полагаю, оправдал бы меня, – военный потому, что убийство есть закон и смысл войны, гражданский потому, что я находился в состоянии самозащиты, – во всем этом оставалось нечто бесконечно тягостное. Я никогда не хотел убивать его, я увидел его за минуту до моего выстрела. Почему же мысль о нем заключала в себе такое непоправимое сожаление, такую непреодолимую печаль?

И с такой же неожиданностью, как полчаса тому назад в ресторане я понял, что делало Вольфа не похожим на других, – именно мое представление о его призрачности и случайное соответствие его внешности с этим представлением, – так сейчас мне стала ясна причина моего сознания несуществующей вины. Это была та самая идея убийства, которая столько раз с повелительной жадностью занимала мое воображение. Она была похожа, быть может, на последний отблеск потухающего огня, на минутный возврат к древнему инстинкту; это было – опять-таки быть может – своеобразным проявлением закона наследственности, и я знал, что у меня было много поколений предков, для которых убийство и месть были непреложной и обязательной традицией. И это соединение

соблазна и отвращения, эта неподвижная готовность к преступлению, по-видимому, существовала во мне всегда, и, конечно, понимание этого было предметом тягостного сожаления, которое я сейчас испытывал. Мысль о Вольфе была сильнейшим напоминанием об этой особенности, теоретически преступной подробности моей душевной биографии. Если бы не существовало Вольфа, она могла бы оставаться в области моего воображения и у меня могла бы быть утешительная иллюзия, что все это только результат моей фантазии и что, если бы это должно было произойти в действительности, я бы нашел в себе достаточно душевной силы, чтобы удержаться от последнего и безвозвратного движения; существование Вольфа лишало меня этой тщетной иллюзии. Кроме того, если мне этот выстрел стоил так дорого, то его последствия, вероятно, не могли не отразиться на всей жизни Вольфа. Сопоставляя еще раз все, что о нем рассказывал Вознесенский, с обликом автора «I'll Come Tomorrow», я думал, что, быть может, если бы не это незаконченное убийство, Саше Вольфу предстояла бы счастливая жизнь и остались бы неизвестны те безотрадные вещи, о которых была написана книга Александра Вольфа. Я задумался над этим – в который раз? – и вспомнил слова лондонского любовника Елены Николаевны:

– Последовательность событий во всякой человеческой жизни чудесна.

Да, конечно; и если в эту сложную совокупность таких разных и одновременных явлений я начинал вводить, как объяснительный элемент, привычный закон причинности, то чудесность происходящего казалась еще более явной и получалось так, точно вот из одного моего движения возникал целый мир. И если считать, что началом длинной серии событий была моя вытянутая рука с револьвером и пуля, пробившая грудь Вольфа, то из этого короткого, как выстрел, промежутка времени родилось сложное движение, которого не могли бы ни предвидеть, ни учесть никакой человеческий ум и никакое самое могучее, самое чудовищное воображение. Кто мог знать, что в этом мгновенном, вращающемся полете пули был заключен, в сущности, город над Днепром, и непередаваемая прелесть Марины, и ее браслеты, и ее песни, и ее измена, и ее исчезновение, и жизнь Вознесенского, и трюм корабля, Константинополь, Лондон, Париж, и книга «I'll Come Tomorrow», и эпитафия о трупе со стрелой в виске?

Уходя от Елены Николаевны следующей ночью, я сказал ей:

– Я не знаю, в котором часу я приду завтра и даже приду ли я вообще. Я позвоню тебе по телефону.

– Что-нибудь случилось?

– Нет, но у меня очень важное свидание.

– С мужчиной или с женщиной?

– С призраком, – сказал я. – Я потом расскажу тебе это.

В ресторане не было никого, когда я пришел туда, кроме какого-то подвыпившего шофера такси, который беспрестанно целовал руку подававшей ему кельнерше и рассказывал ей о своих переживаниях. Я явился без десяти пять. Вольфа еще не было, и поэтому я успел услышать, что именно говорил шофер. Это был очень галантный, именно галантный человек, бывший кавалерист, чрезвычайно любезный – по крайней мере, в пьяном виде – и по-уездному, обескураживающе великосветский.

Я сидел и пил кофе, до меня доходили его слова:

– И тогда я написал ей письмо. Я ей написал – что делать, моя дорогая, наши пути разошлись. Но я прибавил фразу, которую она, наверное, никогда не забудет.

– Какая же это фраза? – спросила кельнерша.

– Я написал буквально так: я тебя поставил на такой высокий пьедестал – и ты сама с него слезла.

И в это время в ресторан вошел Вольф. Он был в другом костюме, темно-синего цвета. Я пожал ему руку. Он заказал себе кофе и спокойно-выжидательно посмотрел на меня. Несмотря на то, что я много раз обдумывал, с чего я начну разговор и что я скажу потом, все выходило не так, как я предполагал. Но это, конечно, не имело значения.

– Несколько месяцев тому назад, – сказал я, – за этим самым столиком Владимир Петрович рассказывал мне о своем знакомстве с вами. Это было после того, как моя первая попытка узнать что-либо о вас – о ней я скажу позже, если позволите, – потерпела очень неожиданное фиаско.

– Что, собственно, вызвало с вашей стороны такой интерес к моей особе? – спросил он. Я опять не мог не обратить внимания на его голос, очень ровный, невыразительный, без резкого изменения интонаций.

Я вынул из своего портфеля его книгу, развернул ее на той странице, где начинался рассказ «Приключение в степи», и сказал:

– Как вы помните, ваш рассказ начинается с упоминания о белом жеребце апокалипсической красоты, на котором герой ехал навстречу смерти. После событий, которые потом описываются, герой спрашивает себя, что стало с человеком, стрелявшим в него и который продолжал скачку к смерти на этом же коне, в то время как он, герой, с пульей, застрявшей чуть выше сердца, умирал, лежа поперек дороги. Не так ли?

Вольф смотрел на меня с напряженным вниманием, чуть прищурив свои неподвижные глаза.

– Да. И что же?

– Я вам могу ответить на этот вопрос, – сказал я.

Его лицо не изменилось, только глаза стали шире.

– Вы можете ответить на этот вопрос?

Мне было трудно дышать, я чувствовал необыкновенное стеснение в груди.

– Я помню это так, как будто это было вчера, – сказал я. – Это я стрелял в вас.

Он вдруг встал со стула и *секунду* остался стоять, точно собираясь что-то сделать. Мне показалось, что он сразу вырос на целую голову. И тогда я увидел его глаза, такие же расширенные и такие же неподвижные, в которых появилось и исчезло что-то действительно страшное, – и я понял в эту *секунду*, что в авторе «I'll Come Tomorrow» все-таки оставалось нечто почти забытое, почти умершее, но именно то, что хорошо знал в свое время Вознесенский и что я остановил тогда – только потому, что у меня был револьвер, и только потому, что и я был способен стать убийцей. Но Вольф тотчас же сел опять и сказал:

– Извините меня, пожалуйста. Я слушаю.

– Это мое лицо вы видели над собой после того, как вы упали с лошади. Вы не ошиблись в вашем описании: мне было тогда шестнадцать лет. У меня, наверное, было сонное выражение, я не спал

перед тем около тридцати часов. Это я уехал на вашем жеребце, потому что вы убили вашим первым выстрелом мою вороную кобылу. Это я стоял, наклонившись над вами. Я поспешил уехать потому, что ветер донес до меня далекий звук копыт. Как я выяснил недавно, в разговоре с Владимиром Петровичем, это был топот тех лошадей, на которых он и двое его товарищей ехали вас разыскивать.

Вольф молчал. Совершенно опьяневший шофер опять рассказывал о своем письме, но уже другой кельнерше.

– ...Такой высокий пьедестал – и ты сама с него слезла...

– Значит, это вы, – сказал Вольф с утвердительной интонацией.

– К несчастью, – ответил я. – Все эти годы воспоминание об этом никогда не покидало меня. Я очень дорого заплатил за свой выстрел. Во всех чувствах, даже самых лучших, которые я испытывал, всегда оставалось какое-то темное и пустое пространство, в котором было неизменно одно и то же смертельное сожаление о том, что я вас убил. И я думаю, вы поймете, как я был рад, когда я прочел ваш рассказ и узнал, что вы остались живы. И вы извините теперь, я надеюсь, мою нескромность по отношению к автору «I'll Come Tomorrow».

Я ждал его ответа. Он молчал. Потом он перевел дыхание, и тогда я заметил, что он, по-видимому, был взволнован не меньше, чем я, – и сказал:

– Это так неожиданно, я настолько иначе представлял себе вас, и я настолько привык к мысли о том, что вас давно нет в живых...

В дверях показался Вознесенский. Вольф быстро сказал мне:

– Мы поговорим с вами об этом завтра здесь, в это же время. Хорошо?

Я кивнул головой.

Вознесенский был особенно благодушен в этот день. Он похлопал Вольфа по плечу, пожал мне руку и сел за стол. Когда кельнерша стала накрывать и поставила графин с водкой, он налил три рюмки и сказал:

– Ну, Саша, с Богом. И вы, милый друг. Кто знает, что нам готовит будущее?

Вольф был рассеян и молчалив.

– Англия, не Англия, – сказал Вознесенский после четвертой рюмки, – говорят, там хорошо пьют. Охотно соглашаюсь. Но вот я

скромный русский человек, и меня никакой Англией не запугаете. Берусь пить с любым англичанином, – а там мы посмотрим.

Потом он укоризненно взглянул на меня.

– А вот наш друг, тот больше по части закуски. Конечно, с голоду в ресторане умирать не нужно. Но напитки все-таки главное.

Когда начал играть граммофон, Вознесенский, знавший все романсы, подпевал своим низким голосом. На шестой пластинке Вольф сказал:

– Неутомим ты, Володя, ты бы отдохнул.

– Милый друг, – Вознесенский пожал плечами, – от чего же тут отдыхать? Я, брат, своего происхождения не забываю, у меня столько поколений плотку драли, что это для меня пустяк.

Когда мы кончили обедать, у меня слегка шумело в голове, хотя я пил не очень много. Вознесенский предложил пройтись, как он выразился, но едва мы вышли на улицу, он остановил первое такси, и мы поехали на Монмартр. Там начались странствия по разным местам, и под конец все спуталось в моем представлении. Я вспомнил потом, что там были какие-то голые мулатки, до моего слуха смутно доходила их гортанная болтовня, затем другие женщины, одетые и раздетые; смуглые молодые люди южного типа играли на гитарах, было негритянское пение и оглушительный джаз-банд. Огромная негритянка исполняла с необыкновенным искусством танец живота; я смотрел на нее, и мне казалось, что она вся составлена из отдельных частей упругого черного мяса, которые двигаются независимо один от другого, как если бы это происходило в чудовищном и внезапно ожившем анатомическом театре. Затем опять была музыка, играли гавайские гитары, и Вознесенский, держа в руке стакан с беловато-зеленой жидкостью, сказал:

– Тот, кто однажды побывал на Таити, непременно вернется туда, чтобы умереть именно там.

Он запел в тон музыки своим густым баритоном и прибавил:

– Что такое северная женщина? Отблеск солнца на льду.

Его опьянение носило благодушно-эротический характер, он пил за здоровье всех своих кратковременных собеседниц и был, казалось, совершенно счастлив.

Потом все эти экзотические картины сменились более европейскими развлечениями – пели венгерские цыгане, выступали

французские артисты и артистки. Когда мы вышли на улицу из кабаре где-то возле Boulevard Rochechouart, там была драка между какими-то подозрительными субъектами, и в ней тут же приняли участие женщины, кричавшие свирепо-пронзительными голосами. Я стоял рядом с Вольфом; фонарь резко освещал его белое лицо с выражением, как мне показалось, спокойного отчаяния. Я чувствовал, что смотрю со стороны, далекими глазами на эту дикую и чуждую мне толпу, у меня даже было впечатление, что я слышу непонятные крики на незнакомом языке, хотя я, конечно, знал все оттенки и все слова этого аргосутенеров и проституток. Я испытывал томительное отвращение, непостижимым образом соединявшееся с усиленным интересом к этой свалке. Она, впрочем, скоро была прекращена целым нарядом полицейских, которые посадили в три огромных грузовика два десятка окровавленных женщин и мужчин и быстро уехали. На тротуаре осталось несколько полурастоптанных кепок и неизвестно как потерянный одной из участниц уличного боя розовый бюстгальтер. И хотя эти подробности придавали, казалось бы, особенную убедительность всему, чего я был свидетелем, я не мог избавиться от впечатления явной фантастичности этой ночной прогулки, как будто бы в привычном безмолвии моего воображения я шел по чужому и незнакомому городу, рядом с призраком моего длительного и непрерывающегося сна.

Уже начинался рассвет; мы возвращались домой пешком. Мы шли сквозь мутную смесь фонарей и рассвета по улицам, круто спускающимся вниз, с Монмартра. После этой шумной и утомительной ночи мне было трудно следить за Вольфом в том, что он тогда говорил. Но некоторые вещи я запомнил. Он был интересным собеседником, много знал, видел все очень своеобразно – и я понял, почему именно этот человек мог написать такую книгу. В ту ночь у меня создалось впечатление, что он, в сущности, равнодушен ко всему на свете: он говорил обо всем так, точно его лично это не могло касаться. Его философия отличалась отсутствием иллюзий: личная участь неважна, мы всегда носим с собой нашу смерть, то есть прекращение привычного ритма, чаще всего мгновенное; каждый день рождаются десятки одних миров и умирают десятки других, и мы проходим через эти незримые космические катастрофы, ошибочно полагая, что тот небольшой кусочек пространства, который мы видим,

есть какое-то воспроизведение мира вообще. Он верил все-таки в какую-то трудноопределимую систему общих законов, далекую, однако, от всякой идиллической гармоничности: то, что нам кажется слепой случайностью, есть чаще всего неизбежность. Он полагал, что логики не существует вне условных и произвольных построений, почти математических; что смерть и счастье суть понятия одного и того же порядка, так как и то и другое заключает в себе идею неподвижности.

– А тысячи счастливых существований?

– Да, людей, которые живут, как слепые щенята.

– Не непременно, может быть иначе.

– Если у нас есть то свирепое и печальное мужество, которое заставляет человека жить с открытыми глазами, разве вы можете быть счастливы? Нельзя даже представить себе, чтобы те, кого мы считаем самыми замечательными людьми, были счастливы. Шекспир не мог быть счастлив. Микеланджело не мог быть счастлив.

– А Франциск Ассизский?

Мы проходили по мосту через Сену. Над рекой стоял ранний туман, сквозь который возникал полупрозрачный город.

– Он любил мир, как люди любят маленьких детей, – сказал Вольф. – Но я не уверен, что он был счастлив. Вспомните, что Христос был неизменно печален, и вне этой печали христианство немислимо вообще.

Потом он прибавил другим тоном:

– Мне всегда казалось, что жизнь чем-то похожа на путешествие в поезде, эта медлительность личного существования, заключенная в стремительном внешнем движении, эта кажущаяся безопасность, эта иллюзия продолжительности. И потом, в одну неожиданную секунду, – рухнувший мост или развинченная рельса и то самое прекращение ритма, которое мы называем смертью.

– Вы представляете себе ее именно так?

– А вы видите ее иначе?

– Не знаю. Но если нет этого насильственного прекращения ритма, как вы это называете, то это может быть по-другому: медленный уход, постепенное охлаждение и почти незаметное, почти безболезненное скольжение туда, где слово «ритм» уже, наверное, не имеет смысла.

– Каждому человеку свойственна, конечно, его собственная, личная смерть, хотя его представление о ней может быть ошибочно. Я, например, уверен, что умру именно так – насильственно и мгновенно, почти так, как тогда, во время нашего первого знакомства. Я почти в этом убежден, хотя в мирных и благополучных условиях моей теперешней жизни это представляется, казалось бы, маловероятным.

Мы, наконец, расстались, и я вернулся домой. В три часа дня я должен был с ним встретиться в ресторане – так как о главном, именно об этом «Приключении в степи», еще не было речи.

* * *

Во время этого свидания он мне показался несколько живее, чем раньше, его походка была более гибкой, в его глазах я не заметил на этот раз их обычного, далекого выражения. Только голос его был такой же ровный и невыразительный, как всегда.

Я рассказал ему историю моей неудачной попытки узнать о нем то, что меня интересовало, и в частности – мой визит к директору лондонского издательства. Я не мог ему не сказать, что меня поразили последние слова этого человека.

– Я должен признать, – ответил Вольф, – что у него были некоторые основания так говорить. Он считал меня виновником одной очень трагической истории, которую он пережил. Я, к сожалению, не могу вас посвятить в ее подробности, я не имею права это делать. Его суждение обо мне было, в общем, ошибочно, но я его понимаю.

– Одна сторона этого вопроса не давала мне покоя, – сказал я, – труднообъяснимая чисто психологически, если хотите. Я не сомневался, что то описание Саши Вольфа, которое сделал Владимир Петрович, соответствовало действительности. И вот как этот же самый Саша Вольф, партизан и авантюрист, мог написать «I'll Come Tomorrow»?

Он очень невесело улыбнулся, одними губами.

– Саша Вольф, конечно, не написал бы «I'll Come Tomorrow», я думаю, что он вообще ничего бы не написал. Но его давно не существует, а книгу эту написал другой человек. Я полагаю, что

следует верить в судьбу. И если так, то нужно считать, – с такой же классической наивностью, – что вы были ее орудием. Тогда совпадает все: случайность, выстрел, ваши шестнадцать лет, ваш юношеский глазомер и вот эта самая, – он тронул меня ниже плеча, – недрогнувшая рука.

Я невольно подумал о том, как дико звучат его слова: мы сидели в русском ресторане, из кухни слышался шум посуды и раздраженный голос повара:

– Я ей говорил – шницеля главное, на шницеля упор.

– Вы говорите, что помните все, как будто это было вчера. Я тоже помню все. Я думал, когда вы поднялись после вашего падения и стояли так неподвижно, что вы оцепенели от страха. Вы не испугались тогда?

– Кажется, нет. Сперва я был оглушен, потом я вообще не очень отчетливо понимал то, что происходило, мне смертельно хотелось спать, и все мои усилия уходили на борьбу с этим желанием. Я, кроме того, вообще не боюсь смерти, вернее, жизнь никогда не казалась мне особенно ценной.

– Между тем это единственная ценность, которую нам дано знать.

Я с удивлением посмотрел на него. В его устах такая фраза звучала особенно неожиданно.

– Я понял это, когда умирал, лежа на дороге. В те минуты это было ясно для меня, ясно до ослепительности. Но потом я никогда не мог восстановить этого чувства – и оттого, что я его не восстановил, я превратился в автора этой книги. Я всегда ждал, всю жизнь, что вдруг случится нечто совершенно непредвиденное, какое-то невероятное потрясение, и я вновь увижу то, что я так любил раньше, этот теплый и чувственный мир, который я потерял. Почему я его потерял, я не знаю. Но это произошло именно тогда. Я не могу вам сказать, как это было страшно, это исчезновение всего, в чем я жил, – эта дорога, это солнце и ваши сонные глаза надо мной. Я думал, что вы давно погибли. Мне было вас жаль, вы были моим спутником – и вот вы провалились в какую-то пропасть лет и расстояния, и я был единственным человеком, видевшим ваш отъезд. Если бы я мог говорить тогда, я закричал бы вам, что надо остановиться, что она вас ждет, как она ждала меня, и что второй раз она не промахнется. И, как

видите, я бы ошибся. Если бы вы знали, сколько раз я вспоминал о вас! Мне хотелось вернуть время назад. Мне хотелось, чтобы на моей совести не было вашей смерти и чтобы я не сделал вас убийцей в свою очередь.

– И я тоже вспоминал об этом, – сказал я. – Я дорого дал бы за то, чтобы все эти годы меня не преследовал ваш призрак.

– Как все условно! – сказал Вольф. – Вы были убеждены, что убили меня, я был уверен, что вы погибли по моей, в конце концов, вине, и мы оба были не правы. Но какое это имеет значение, я хочу сказать, правы или не правы, когда вы провели столько лет в напрасном сожалении и я – в ожидании возвратного чуда? Кто нам вернет это время и кто изменит вашу или мою судьбу? И как вы хотите, чтобы после этого можно было верить в какие-то наивные иллюзии?

– Можно знать, что все иллюзии напрасны и что утешения, в конце концов, нет. Но, во-первых, это ничему не помогает, и, во-вторых, если мы не способны ни к одной, хотя бы самой незначительной иллюзии, то тогда нам остается только то, что вы называете прекращением ритма. И так как мы еще существуем, то, может быть, не все потеряно.

Вольф молчал некоторое время, опустив голову и подперев ее обеими руками, как ученик над трудной задачей. Когда он поднял на меня свои глаза, в них опять стояло то почти страшное выражение, которое появилось в первый раз после того, как я ему сказал, что я стрелял в него. Но то, как он обратился ко мне, странно не вязалось с ним.

– Милый друг, – сказал он, – знаете, зачем я приехал в Париж?

Какое признание мог еще сделать этот человек?

– От моего пребывания здесь зависит решение одной сложной психологической проблемы, имеющей двойной интерес: личный, что важнее всего, и отвлеченный, что тоже не лишено значения.

– Извините меня за нескромность: в какой степени это решение зависит от вас лично?

– Всецело.

– Тогда это не проблема.

– Un cas de conscience^[19], если хотите. Но нет большего соблазна, чем соблазн заставить события идти так, как вы хотите, не

останавливаясь для этого ни перед чем.

– И если это оказывается невозможным?..

– Тогда остается уничтожить причину, которая вызывает эти события. Это одна из форм решения, правда, наименее желательная.

Я вышел из ресторана тотчас же вслед за ним. Я видел, как он остановил такси, видел, как он садился в автомобиль, и слышал, как мягко, со всхлипывающим звуком, хлопнула дверца. Был теплый майский день, светило солнце; было около пяти часов пополудни.

Я вернулся домой и сел за письменный стол, но не мог работать. Я закрыл глаза – и передо мной появилось изменившееся лицо лондонского издателя. – Конечно, нужно принять во внимание исключительные обстоятельства и ваш тогдашний возраст. Но если бы ваш выстрел был более точен... – «Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple»... Я опять с необыкновенной ясностью увидел эту дорогу и лес, это было здесь, в моей комнате, дойдя до меня через побежденное пространство, отделявшее меня в данный момент от далекого юга России. Мне было искренне жаль Вольфа. «Тот мир, который я потерял не знаю почему». Да и потом эта утешительная философия; мы проходим каждый день через космические катастрофы, – но несчастье в том, что космические катастрофы оставляют нас равнодушными, а малейшее изменение в нашей собственной, такой незначительной, жизни вызывает боль или сожаление, и с этим ничего нельзя поделать. «Кто нам вернет это время?» Никто, конечно, но если бы это чудо случилось, то мы бы очутились в чьей-то чужой и далекой жизни, и неизвестно, была ли бы она лучше нашей. Впрочем, что значит лучше? Жизнь, которая нам суждена, не может быть другой, никакая сила не способна ее изменить, даже счастье, которое того же порядка, что представление о смерти, так как заключает в себе идею неподвижности. Вне неподвижности нет счастья – того самого, которого какой-то восточный властелин не мог найти «ни в книгах премудрости, ни в хребте коня, ни на груди женщины». Леночка могла бы сказать: «Потом, когда мы расстанемся с тобой и у меня будет другой любовник...» Может быть, она ничего не расскажет ему обо мне, может быть, лаконично заметит: «В это время у меня был роман с одним человеком» – и эта фраза будет заключать в себе все те ночи, когда она мне принадлежала, разгоряченное ее лицо, ее груди,

сдавленные в моих объятиях, гримаса в последнюю минуту и все, что этому предшествовало, – потом будут еще чьи-то объятия и тот же голос с теми же интонациями, в сущности, почти безличными, потому что она так говорила со мной, а до этого с другими, и это, наверное, звучало одинаково искренне всегда: какое богатство чувственных возможностей и какая бедность выражения! Да, конечно, самая прекрасная девушка не может дать больше, чем она имеет. И чаще всего она имеет столько, сколько у нас хватает душевной силы создать и представить себе, – и поэтому Дульцинея была несравненна. Еще один обман – если считать, что действительность более права, чем воображение. И Леночка, может быть, не заслуживает моего порицания: что мне мешает думать, что она всегда будет принадлежать только мне, что она никого не любила, кроме меня, а если думала, что любила или будет любить, то это чудовищная и совершенно явная ошибка, даже если она этого не понимает? И даже если неизбежен уход и неизбежна измена, то вот в какой-то промежуток времени все, что составляет ее сущность, принадлежит мне, и это самое плавное, потом будут только обрывки, которые достанутся другим, и эти другие никогда уже не будут знать того, что она дала мне, всего душевного и физического богатства, которое я получил от нее, как дар, – и после этого что еще могло у нее остаться? Я вдруг почувствовал ее так близко от себя, что у меня появилось абсурдное желание повернуть голову и посмотреть, не здесь ли она; я так ясно ощущал запах ее духов, движение ее тела под платьем, мне казалось, что я вижу ее глаза и слышу эту внезапно падающую интонацию ее голоса, которую удержала навсегда моя благодарная память. Я любил ее больше, чем кого бы то ни было, и, конечно, больше, чем себя, и вот, раз в жизни, в силу этого жадного чувства я приблизился бы к евангельскому идеалу – если бы Евангелие говорило о такой любви. «Вспомните, что Христос был неизменно печален». И вот опять призрак Александра Вольфа. В авторе «I'll Come Tomorrow» было нечто, на чем мне не хотелось остановиться. Надо, однако, дойти до конца. Я чувствовал себя бесконечно виноватым перед ним. Да, несомненно. Но все-таки я два раза заметил в его глазах это страшное выражение: сначала, когда он узнал, что это я стрелял в него, и поднялся из-за стола, и потом, когда он сказал мне «милый друг». В конце концов, тогда, в России, это он скакал за мной на своем белом

жеребце и, собственно, я должен был оказаться жертвой, а не он. И затем, недаром он все возвращался в своих разговорах к этому мгновенному и насильственному прекращению ритма, непременно мгновенному и насильственному.

Да, конечно. Именно он был носителем все той же неистребимой и непобедимой идеи. Английский писатель, автор «той книги», призрак Александра Вольфа, этот всадник на апокалипсическом белом коне, человек, лежавший тогда, после моего выстрела, на дороге, – этот человек был убийцей. Он, может быть, этого не хотел, он был, казалось бы, слишком умен и слишком культурен, чтобы этого хотеть. Но он не мог не знать эту безличную притягательность убийства, которую так отдаленно и теоретически знал и я и с которой началась история мира – в тот день, когда Каин убил своего брата. Вот почему мое воображение так упорно возвращалось к нему все эти годы. Воспоминание о нем неизменно связывалось с представлением об убийстве, тем более трагическим, что от него нельзя было уйти, так как эта идея была облечена в форму двойной неизбежности: нести с собой смерть или идти ей навстречу, убить или быть убитым; ничем другим нельзя было остановить то слепое движение, которое олицетворял собой Александр Вольф. И это вообще было одно из самых непреодолимых представлений, заключавших в себе одновременно вопрос и ответ, потому что во все времена люди отвечали на убийство убийством, будь это война или суд присяжных, столкновение чувств или интересов, возмездие или справедливость, нападение или защита.

В чем была соблазнительность именно этой формы преступления – независимо от того, как это понималось или какие внешние причины или побуждения вызывали его? В этих нескольких секундах насильственного прекращения чьей-то жизни заключалась идея невероятного, почти нечеловеческого могущества. Если каждая капля воды под микроскопом есть целый мир, то каждая человеческая жизнь содержит в себе, в своей временной и случайной оболочке, какую-то огромную вселенную. Но даже если отказаться от этих преувеличенных – как под микроскопом – представлений, то все же остается другая очевидность. Всякое человеческое существование связано с другими человеческими существованиями, те в свою очередь связаны со следующими, и когда мы дойдем до логического

конца этой последовательности взаимоотношений, то мы приблизимся к сумме людей, населяющих громадную площадь земного шара. Над каждым человеком, над каждой жизнью висит постоянная угроза смерти во всем ее бесконечном разнообразии: катастрофа, крушение поезда, землетрясение, буря, война, болезнь, несчастный случай – какие-то проявления слепой и беспощадной силы, особенность которых заключается в том, что мы никогда не можем заранее определить минуты, когда это произойдет, этот мгновенный перерыв в истории мира. «Ибо не ведаете ни дня, ни часа...» И вот тому из нас, у кого хватит душевной силы на преодоление страшного сопротивления этому, вдруг дается возможность стать на какое-то короткое время сильнее судьбы и случая, землетрясения и бури и точно знать, что в такую-то секунду он остановит ту сложную и длительную эволюцию чувств, мыслей и существований, то движение многообразной жизни, которое должно было бы раздавить его в своем неудержимом ходе вперед. Любовь, ненависть, страх, сожаление, раскаяние, воля, страсть – любое чувство и любая совокупность чувств, любой закон и любая совокупность законов – все бессильно перед этой минутной властью убийства. Мне принадлежит эта власть, и я тоже могу стать ее жертвой, и если я испытывал ее притягательность, то все остальное, находящееся вне пределов этого представления, мне кажется призрачным, несущественным и неважным, и я не могу уже разделять того интереса ко множеству незначительных вещей, которые составляют смысл жизни для миллионов людей. С той минуты, что я знаю это, мир для меня становится другим и я не могу жить, как те, остальные, у которых нет ни этой власти, ни этого понимания, ни этого сознания необыкновенной хрупкости всего, ни этого ледяного и постоянного соседства смерти.

Это было простым логическим выводом из той своеобразной философии, отрывки которой мне излагал Вольф, проявлением той идеи неподвижности, совершенно для меня неприемлемой, но против которой можно было бороться только ее же оружием; и применение этого способа борьбы невольно приближало ко мне зловещий и мертвый мир, призрак которого преследовал меня так давно. Что можно было еще противопоставить этой философии и почему каждое ее слово вызывало у меня внутренний и неизменный протест? Я тоже

знал и чувствовал всю хрупкость так называемых положительных концепций, и я тоже знал, что такое смерть, но я не испытывал ни страха перед ней, ни ее притяжения. Было нечто трудноопределимое, что не позволяло мне дойти до конца в этой тягостной области понимания последних истин. Я так напряженно думал об этом, что мне даже начало казаться, будто я слышу какой-то приближающийся шум, так, точно он должен был, усиливаясь, дойти до меня. Мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос и знал его всегда и он был настолько естественен и очевиден, что у меня никогда – в последнюю минуту – не могло бы возникнуть сомнения в том, каким именно он должен был быть. Но сейчас, сегодня, в эту минуту – я не мог его найти.

Я вынул папиросу и зажег спичку, которая вспыхнула и моментально погасла, оставив после себя запах недогоревшего фосфора. И тогда я ясно увидел перед собой густые деревья сада в медном свете луны и седые волосы моего учителя гимназии, который сидел рядом со мной на изогнутой деревянной скамье. Была ранняя осень и ночь. Утром следующего дня начинались мои выпускные экзамены. Я работал весь вечер и потом вышел в сад. Когда я проходил по длинному гимназическому коридору, товарищи, которых я встретил, сказали мне, что час тому назад одна из наших учительниц, молодая женщина двадцати четырех лет, покончила с собой. В саду я увидел учителя, сидевшего на скамейке. Я сел рядом с ним, достал папиросу, зажег спичку, – и вот тогда, как теперь, она сразу потухла, и я почувствовал тот же самый запах.

Я спросил его, что он думает о смерти этой женщины и о жестокой несправедливости ее судьбы, если можно применить к таким понятиям, как судьба и смерть, наши привычные слова – жестокий, печальный, незаслуженный. Он был очень умный человек, быть может, самый умный из всех, кого я когда-либо знал, и замечательный собеседник. Даже люди замкнутые или озлобленные чувствовали по отношению к нему необыкновенное доверие. Он никогда не злоупотреблял ни в малейшей степени своим огромным – душевным и культурным – превосходством над другими, и поэтому говорить с ним было особенно легко.

Он сказал мне тогда, между прочим:

– Нет, конечно, ни одной заповеди, справедливость которой можно было бы доказать неопровержимым образом, как нет ни одного нравственного закона, который был бы непогрешимо обязателен. И этика вообще существует лишь постольку, поскольку мы согласны ее принять. Вы спрашиваете меня о смерти. Я бы сказал – о смерти и всех ее бесчисленных проявлениях. Я беру смерть и жизнь условно, как два противоположных начала, охватывающих, в сущности, почти все, что мы видим, чувствуем и постигаем. Вы знаете, что закон такого противопоставления есть нечто вроде категорического императива: вне обобщения и противопоставления мы почти не умеем мыслить.

Это было не похоже на то, что он говорил нам в классе. Я слушал его, не пропуская ни одного слова.

– Я устал сегодня, – сказал он, – надо идти спать. А вы занимались, готовились к экзамену? Я бы хотел быть на вашем месте.

Он поднялся со скамейки; я встал тоже. Листья были неподвижны, в саду стояла тишина.

– У Диккенса где-то есть одна замечательная фраза, – сказал он. – Запомните ее, она стоит этого. Я не помню, как это сказано буквально, но смысл ее такой: нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последнего дыхания. Спокойной ночи.

И вот теперь я так же встал с кресла, как тогда со скамьи, на которой сидел рядом с ним, и повторял эти слова, которые как-то особенно значительно звучали сейчас:

– Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последнего дыхания.

* * *

И в эту минуту затрещал телефон. Я снял трубку. Голос Елены Николаевны спросил:

– Куда ты пропал? Я по тебе соскучилась. Что ты сейчас делаешь?

И после того, как я услышал первый звук этого голоса, привычно измененный телефоном, я сразу забыл все, о чем только что думал, – так мгновенно и плубоко, точно этого никогда не существовало.

– Я встаю с кресла, – сказал я. – В левой руке я держу телефонную трубку. Правой рукой я кладу в карман пиджака папиросы и спички. Затем я смотрю на часы: теперь без пяти шесть. В четверть седьмого я буду у тебя.

Мы пообедали рано, часов в семь. Она была в легком летнем платье, мы сидели в ее комнате и пили чай с необыкновенно вкусным шоколадным тортом, который приготовила Анни; он трещал и таял во рту, и в нем был очень приятный оттенок какой-то неуловимой пряности.

– Как ты находишь торт?

– Замечательный, – сказал я. – В нем, однако, есть что-то негритянское, но, так сказать, приятно негритянское, вроде каких-то отдаленных отзвуков их пения.

– Ты впадаешь в лиризм только при очень определенных обстоятельствах.

– Можно узнать, какие это обстоятельства?

– О, это очень несложно. Есть две вещи, к которым ты всегда неравнодушен: это, во-первых, еда, во-вторых, женщины.

– Спасибо за лестное мнение. Можно тебе выразить в таком случае сочувствие по поводу твоего выбора?

– Я тебе не сказала, что нахожу эти черты отрицательными.

Я был пьян от ее присутствия, и это, наверное, было в моих глазах, потому что она заметила мне:

– Какой ты нетерпеливый, какой ты жадный! Тебе необходимо держать меня именно так, обхватив рукой мое тело и сжимая мне ребра?

– Когда мне будет шестьдесят лет, Леночка, я буду думать о тщете всего земного и о неверности чувств. Я думаю об этом иногда даже теперь.

– Наверное, тогда, когда отсутствуют именно те обстоятельства, при которых проявляется твоя склонность к лирике.

Я замечал в ней новую черту, которой не было в начале нашей с ней близости: она нередко дразнила меня, но всегда по-товарищески, без какого бы то ни было желания сказать мне что-нибудь действительно неприятное. Может быть, это происходило оттого, что ее заражало мое ироническое отношение ко многим вещам и она невольно впадала в этот тон. Кроме того, мне казалось несомненным,

что она понемногу обретала ту душевную свободу и ту непосредственность, отсутствие которых было так очевидно раньше.

Я предложил ей поехать за город на несколько дней; она тотчас же согласилась. Утром следующего дня мы выехали на автомобиле из Парижа, и в течение целой недели, без определенного назначения, мы путешествовали на расстоянии ста или ста пятидесяти километров от города. Однажды, когда неожиданно оказалось, что в резервуаре больше не оставалось бензина, мы вынуждены были ночевать в лесу, в автомобиле. Была гроза с сильным дождем, и при свете молнии я видел, сквозь забрызганные стекла машины, деревья, обступавшие нас со всех сторон. Елена Николаевна спала, скорчившись на сиденье и положив мне на колени свою теплую и тяжелую голову. Я сидел и курил; и когда я опускал на секунду оконное стекло, чтобы стряхнуть пепел с папиросы, в мои уши врывался трепещущий звук бесчисленных капель по листьям; пахло землей и мокрыми стволами деревьев. Где-то недалеко с влажным хрустом ломались маленькие ветки, потом дождь стихал на минуту, затем снова блестела молния, гремел гром и опять струи воды с прежней силой начинали стучать по крыше автомобиля. Я боялся двинуться, чтобы не разбудить Елену Николаевну, мои глаза слипались, и голова откидывалась назад, и я думал, засыпая и тотчас же просыпаясь, о многих вещах одновременно и прежде всего о том, что как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь и какие бы события ни случились, я запомню навсегда эту ночь, голову женщины на моих коленях, этот дождь и то состояние полусонного счастья, которое я ощущал тогда. По давней привычке задерживать каждое мое чувство и стараться его понять я все искал, откуда и почему я так давно и так слепо знал, что однажды я испытаю это счастье и что в нем даже не будет ничего неожиданного, точно это законная, естественная вещь, которая всегда была мне суждена. И тогда же мне пришла мысль, что если бы я захотел понять это все и найти где-то в далеком пространстве ту воображаемую минуту, с которой это началось, если бы я захотел выяснить до конца, как это произошло, и почему это стало возможно, и как теперь я оказался летом, в лесу, ночью, под дождем с женщиной, о существовании которой я ничего не знал еще несколько месяцев тому назад и вне которой, однако, сейчас я не мог бы представить себе свою жизнь, мне нужно было бы потратить годы труда и

утомительных усилий памяти, и я мог бы написать об этом, наверное, несколько книг. Этот ровный шум дождя, это ощущение головы, лежавшей на моих коленях, – и мои мускулы уже начали привыкать к отпечатку этой круглой и нежной тяжести, которую они испытывали, – это лицо, на которое я смотрел в темноте, точно наклоняясь над своей собственной судьбой, и это незабываемое ощущение блаженной полноты, – как, в конце концов, это было возможно? За свою жизнь я видел столько трагического или отвратительного, я столько раз видел измену, трусость, отступничество, алчность, глупость и преступление, я был настолько отравлен всем этим, что, казалось, я не был уже способен почувствовать нечто, в чем было бы хотя бы отдаленное отражение хотя бы кратковременного совершенства. В эти часы я был далек от сомнений, которые обычно меня не покидали, от неизменного ощущения печали, от насмешки, – в общем, от того, что составляло сущность моего постоянного отношения ко всему, что со мной происходило. Мне казалось, если бы не было того, что было теперь, то жизнь моя была бы прожита даром, и это всегда будет так, что бы ни случилось потом.

Я никогда не ощущал этого с такой ясностью, как в ту ночь; я не мог не отдавать себе отчета в том, что этой особенной чистоты ощущений в моей жизни не было никогда. Все было сосредоточено – в этот промежуток времени – на одной-единственной мысли; и хотя она заключала в себе все, что я знал и думал, и все, что предшествовало именно этому промежутку времени, в ней, конечно, был тот элемент неподвижности, о котором говорил Вольф. В конце концов, он, может быть, был прав: если бы мы не знали о смерти, мы не знали бы и о счастье, так как, если бы мы не знали о смерти, мы не имели бы представления о ценности лучших наших чувств, мы бы не знали, что некоторые из них никогда не повторятся и что только теперь мы можем их понять во всей их полноте. До сих пор это не было нам суждено, потом будет слишком поздно.

Это, в частности, было одной из причин, которые побуждали меня не рассказывать Елене Николаевне историю Вольфа. Я вовсе не собирался ее скрывать, наоборот, я неоднократно думал, как именно я ее расскажу. Но в эти дни мне не хотелось, чтобы в тот мир, в котором мы жили, вошло нечто чуждое и враждебное ему. Я полагаю, что

Елена Николаевна думала так же, как я, потому что за всю неделю она не вспомнила о «свидании с призраком», о котором я ей говорил.

Я неоднократно вспоминал о том, что если бы я записал за это время все мои разговоры с Еленой Николаевной, то получился бы какой-то непонятный вздор, обидный по отсутствию мысли. Он сопровождал те переливы чувств, которые были характерны для этого периода и вне которых для нас ничто не существовало и все окружавшее казалось забавным или смешным – узоры обоев в гостиницах, где мы ночевали, лица горничных или хозяек, или меню обедов, или костюмы наших соседей по столу, или те совершенно незначительные вещи, которые их занимали, – потому что единственные вещи, имевшие действительно важное значение, знали только мы двое, и больше никто.

Мы вернулись в Париж ровно через неделю. Меня ждала спешная работа, в которой Елена Николаевна, по обыкновению, приняла деятельное участие. Первый день прошел как всегда. Но когда она разбудила меня на следующее утро, меня поразило выражение тревоги, которое, как мне показалось, промелькнуло несколько раз в ее глазах. Затем она ответила мне невпопад – чего с ней никогда не случалось до сих пор.

– Что с тобой?

– Ничего, – ответила она. – Это может быть глупо, но мне хотелось спросить у тебя одну вещь.

– Да?

– Ты меня действительно любишь?

– Мне так казалось.

– Мне это хотелось выяснить.

– Сколько тебе лет?

– Нет, правда, это важно знать.

Я расстался с ней, как обычно, поздно ночью, она жаловалась, что устала, и сказала, что завтра придет ко мне только в четыре часа дня.

– Хорошо, – сказал я, – тебе будет полезно отдохнуть.

* * *

Я сразу заснул крепким сном, но очень скоро проснулся. Затем я задремал опять – и через час снова открыл глаза. Я не мог понять, что со мной, я даже подумал, не отравился ли я чем-нибудь. Я испытывал нечто похожее на беспричинную тревогу, тем более непонятную, что для нее действительно не было, казалось бы, никаких оснований. Но сон решительно бежал от меня, и в шестом часу утра я встал. Таких вещей со мной не случалось много лет.

Убедившись окончательно в том, что я больше не засну, я выпил чашку черного кофе, принял ванну и начал бриться. Из зеркала на меня смотрело мое лицо; и хотя я видел его каждое утро моей жизни, я все не мог привыкнуть к его резкой некрасивости, как я не мог привыкнуть к чужому и дикому взгляду моих собственных глаз. Когда я думал о себе, о чувствах, которые я испытывал, о вещах, которые, как мне казалось, я так хорошо понимал, я представлял себе самого себя чем-то почти отвлеченным, так как иное, зрительное воспоминание мне было тягостно и неприятно. Самые лучшие, самые лирические или самые прекрасные видения тотчас же исчезали, едва я вспоминал о своем физическом облике, – настолько чудовищно было его несоответствие с тем условным и сверкающим миром, который возникал в моем воображении. Мне казалось, что не может быть большего контраста, чем тот, который существует между моей душевной жизнью и моей наружностью, и мне казалось иногда, что я воплощен в чьей-то чужой и почти ненавистной оболочке. Я спокойно переносил вид своего голого тела, в сущности, нормального, на котором все мускулы двигались послушно и равномерно и были расположены именно так, как нужно; это было обыкновенное и невыразительное тело без излишней худобы и без лишнего жира. Но там, где начиналось лицо, это переходило в нечто настолько противоположное тому, каким оно должно было, казалось бы, быть, что я отводил от зеркала этот взгляд чужих глаз и старался об этом не думать. И теперь, после бессонной ночи, это неприятное ощущение было еще сильнее, чем обычно.

Я только что кончил одеваться и собирался сесть за работу, как вдруг в моей комнате раздался телефонный звонок. Я с удивлением посмотрел на часы; было без двадцати шесть. Я не понимал, кто мне мог звонить так рано. После некоторого колебания я снял трубку.

Совершенно пьяный голос, в котором, однако, я уловил какие-то знакомые интонации, сказал:

– Доброе утро, моя дорогая.

– Что это за история?

– Ты меня не узнаешь?

Это был мужчина, которому хотелось, чтобы его приняли за женщину, – и тогда я действительно узнал этот голос. Он принадлежал одному из моих товарищей по газетной работе, очень милому и очень беспутному человеку. Время от времени он напивался буквально до потери рассудка, и это почти всегда сопровождалось неправдоподобными историями: то он хотел ночью ехать с визитом к какому-то сенатору, который будто бы его приглашал на днях, то отправлялся на *place de la Bourse* посылать телеграмму своей тетке, жившей в Лионе, о том, что он совершенно здоров, «вопреки распространяемым о нем слухам».

– Как ты, наверное, догадался, – продолжал он более или менее связно, – я встретил товарища, который меня пригласил... Одетт, не дергай меня, пожалуйста, я вполне трезв.

Одетт была его жена, очень спокойная и неглупая женщина. Через секунду я услышал ее голос, – она, по-видимому, отобрала у него трубку.

– Здравствуйте, – сказала она, – этот пьяный дурак звонил вам по делу.

– Скажи ему, что это замечательный матерьял.

– Это дело в том, что ваш протеже, курчавый Пьеро, будет вот-вот арестован. Филип на допросе сказал все, что мог. Андрей, – это был ее муж, – настолько пьян, что не способен ни к чему. Матерьял для статьи действительно замечательный. Я знаю, что вы не любите гангстерских историй и мелодрам. Вы говорите, что это плохая литература? Я бы вас не беспокоила, но речь идет о нашем хорошем знакомом. Поезжайте к Жану; я бы на вашем месте захватила револьвер. Да, на всякий случай.

– Спасибо, Одетт, – сказал я, – считайте, что я перед вами в долгу. Я еду.

– Хорошо, – ответила она, и аппарат щелкнул.

Жан, к которому я должен был ехать, был инспектор полиции, я его знал довольно давно, и у меня с ним были хорошие отношения. Он

обладал удивительным даром перевоплощения – или, вернее, был жертвой своеобразного раздвоения личности. Когда он вел свою профессиональную работу и допрашивал, например, очередного клиента, его шляпа всегда была сдвинута на затылок, папироса была в углу рта и он говорил отрывисто, односложно и почти исключительно на арго. Но как только он обращался к следователю или журналисту, он мгновенно менялся и превращался в человека с явно светскими претензиями: – Бели вы соблаговолите дать себе труд предварительно, так сказать, проанализировать некоторые из тех данных... – Надо было полагать, что это именно он допрашивал Филипа, который был правой рукой курчавого Пьеро. Судя по всему, через некоторое время полицейский автомобиль должен был выехать в Севр, где скрывался Пьеро, и на этот раз ему вряд ли удастся уйти. Я задумался на минуту, потом снял трубку и позвонил. Я помнил, что телефон стоял у постели Пьеро. Через секунду раздраженный женский голос спросил:

– В чем дело?

– Позовите Пьеро, – ответил я. – Скажите ему, что звонят с улицы Лафайет.

Это было условное название.

– Его нет, он еще не вернулся. Филип пропал с позавчерашнего утра, я не знаю, что думать.

– Филип выдал все, – сказал я. – Постарайтесь найти Пьеро где бы то ни было и во что бы то ни стало и предупредите его. Скажите ему, чтобы он не возвращался домой. Через час будет поздно.

Затем я повесил трубку, достал из письменного стола револьвер, проверил, заряжен ли он – он был заряжен, – положил его в карман пиджака и вышел из дому. Потом я взял такси и поехал к Жану.

Все это отвлекло меня от той душевной тревоги, которую я испытывал, и, сидя в автомобиле, я думал теперь об участии «курчавого Пьеро», «Pierrot le frise», которого я хорошо знал и которого мне было жаль, хотя, с точки зрения классического правосудия, он, казалось бы, не заслуживал никакого сожаления: он был профессиональным грабителем и на его совести было несколько человеческих жизней. Я познакомился с ним лет шесть тому назад, после того как он застрелил первую свою жертву, бывшего боксера Альберта. Я тогда случайно попал в кафе – это было часа в четыре утра, – где находился его негласный штаб, о чем я не имел ни малейшего представления. Я

сидел за столиком и писал. У стойки орала и ссорились пьяные люди, потом вдруг наступила мертвая тишина и кто-то – я ничего тогда еще не знал о нем – сказал с необыкновенной выразительностью и с неожиданной, после этих ревуших голосов, которые напоминали рычание разъяренных зверей, человеческой интонацией:

– Ты хочешь, чтобы с тобой случилось то, что с Альбертом?

Ответа не последовало. Я продолжал писать, не поднимая головы. Кафе опустело.

– Они испугались, – сказал тот же голос. – А это кто?

Речь шла обо мне.

– Не знаю, – ответил хозяин. – Первый раз вижу.

Я услышал шаги, приближавшиеся к моему столику, поднял глаза и увидел человека среднего роста, очень плотно сложенного, с бритым мрачным лицом; он был в светло-сером костюме и синей рубашке с ярко-желтым галстуком. Меня удивило жалобное выражение его глаз, объяснявшееся, по-видимому, тем, что он был пьян. Он встретил мой взгляд и спросил без всякой подготовки:

– Что ты здесь делаешь?

– Пишу.

– А? Что же ты пишешь?

– Статью.

– Статью?

– Да.

Это его, казалось, удивило.

– Ты, значит, не из полиции?

– Нет, я журналист.

– Ты меня знаешь?

– Нет.

– Меня зовут курчавый Пьеро.

Тогда я вспомнил, что несколько дней тому назад в двух газетах были заметки о смерти боксера Альберта, судившегося четырнадцать раз и многократно сидевшего в разных тюрьмах. Заметки были озаглавлены «Драма среди преступников» и «Сведение счетов»; там упоминалось еще о какой-то женщине, из-за которой будто бы все это произошло. «Полиция почти не сомневается, что виновник этого преступления – Пьер Дъёдоннэ, по прозвищу „курчавый Пьеро“,

который сейчас усиленно разыскивается. По последним сведениям, он успел покинуть Париж и находится, вероятнее всего, на Ривьере».

И вот этот самый Пьеро стоял передо мной, в кафе на бульваре St. Denis.

– Ты, значит, не уехал на Ривьеру?

– Нет.

Потом он сел против меня и задумался. Через несколько минут он спросил:

– О чем ты, собственно говоря, пишешь вообще?

– О чем придется, о самых разных вещах.

– А романов ты не пишешь?

– До сих пор не писал, но, может быть, когда-нибудь напишу.

Почему это тебя интересует?

Мы разговаривали с ним так, точно нас давно связывали дружеские отношения. Он спросил, как моя фамилия и в каких газетах я работаю. Потом сказал, что при случае может мне рассказать много интересного, пригласил меня как-нибудь зайти в это же кафе, и мы с ним расстались.

Потом я встречался с ним еще много раз, и он действительно рассказал мне интересные вещи. Нередко случалось, что, благодаря его откровенности, я располагал сведениями, которыми не располагала полиция, так как его осведомленность в определенной области была исключительной. Он был, несомненно, человек незаурядный, у него был природный ум, и этим он резко выделялся среди своих «коллег», которые чаще всего отличались столь же несомненной глупостью. Он так же, как большинство его товарищей по ремеслу, отчаянно играл на скачках и читал каждый день газету «Уете»^[20], но, кроме этого, он иногда читал книги, и в частности романы Декобра, которые ему очень нравились.

– Вот это написано! – говорил он мне. – А? Что ты скажешь?

Мне всегда казалось, что он плохо кончит, – не только потому, что его ремесло было само по себе чрезвычайно опасным, но и по иной причине: его все тянуло к каким-то для него незаконным, в сущности, вещам, и он понимал разницу между теми интересами, которыми он жил, и теми, которыми жили другие, бесконечно от него далекие люди.

Он как-то приехал на «бюгати» красного цвета; он был в новом светло-коричневом костюме, со своим любимым желтым галстуком, и все те же кольца блестели на его пальцах.

– Как ты все это находишь? – спросил он меня. – В таком виде я могу ехать на прием в посольство, как те типы, о которых пишут в газетах? А? «Мы заметили...»

Я отрицательно покачал головой; это его удивило.

– Ты находишь, что я плохо одет?

– Да.

– Я? Ты знаешь, сколько я заплатил за костюм?

– Нет, но это неважно.

Я никогда не думал, что моя отрицательная оценка его манеры одеваться способна так его огорчить. Он сел против меня и сказал:

– Объясни мне, почему ты находишь, что я одет не так, как нужно?

Я объяснил ему, как мог. Он был очень озадачен. Я прибавил:

– Кроме того, только по тому, как ты одет, тебя очень легко отличить. Какой-нибудь тип, у которого есть известный опыт, – ты понимаешь, – ему не нужно знать тебя в лицо или спрашивать у тебя бумаги. Только по твоему костюму, галстуку и кольцам он будет знать, с кем имеет дело.

– А мой автомобиль?

– Это гоночная машина. Зачем она тебе в городе? Их мало, они все наперечет. Возьми среднюю машину темного цвета, на нее никто не обратит внимания.

Он сидел молча, подперев голову рукой.

– Ты что? – спросил я.

– Меня переворачивает, когда ты так говоришь, – сказал он. – Я начинаю понимать то, что не нужно понимать. Ты говоришь, что книги, которые мне нравятся, плохие книги. Ты в этом знаешь больше, чем я. Я не могу разговаривать с тобой как равный, потому что у меня нет образования. Я низший человек, *je suis un inferieur*^[21], вот в чем дело. И, кроме этого, я бандит. И другие люди выше меня.

Я пожал плечами. Он внимательно на меня посмотрел и спросил:

– Скажи мне откровенно: ты думаешь так же, как я?

– Нет, – сказал я.

– Почему?

– Ты, конечно, бандит, – сказал я, – ты не так одеваешься, как, может быть, следовало бы, и тебе не хватает известного образования. Все это верно. Но если ты думаешь, что какой-нибудь известный человек, о котором ты читаешь в газетах, банкир, министр, сенатор, лучше тебя, это ошибка. Он работает, и прежде всего – меньше рискует. Ему говорят «господин председатель» или «господин министр». Он иначе – и лучше – одет, и у него, конечно, есть некоторое образование, хотя тоже далеко не всегда. Но как человек он не лучше тебя, так что ты можешь не волноваться. Не знаю, утешает ли это тебя, но это, по-моему, так.

Пьеро очень любил женщин, и большинство его «счетов», которые так трагически кончались, бывали именно из-за женщин.

– Может быть, из-за них-то ты когда-нибудь и погибнешь – *reut-etre bien, tu mourras par les femmes*^[22], – сказал я ему. – И главное, из-за таких, которые этого не стоят.

Это было нетрудно предвидеть. И то, что теперь, когда я подъезжал в такси к конторе Жана, местопребывание Пьеро стало известно тем, от кого его было нужнее всего скрыть, – этим он был тоже обязан женщине.

Его положение было безвыходным. За последнее время его деятельность стала особенно бурной, грабежи следовали за грабежами, и в полиции, наконец, подняли на ноги всех, от кого можно было ожидать какой-нибудь помощи в его деле. Женщина, из-за которой все это произошло, была женой Филипа, помощника Пьеро. Филип был огромный мужчина, совершенный Геркулес, не боявшийся, по его собственным словам, ничего и никого на свете, кроме своего патрона, который был знаменит тем, что стрелял без промаха.

Эту женщину, которая недавно стала любовницей Пьеро, – я думаю, что инспектор Жан именно поэтому и добился признаний Филипа, – я видел несколько раз. С тем неизменным дурным вкусом, который отличал всю среду, в которой она жила, ее прозвали Пантерой. У нее были огромные, дикие глаза синего цвета под синими же ресницами, туго вьющиеся черные волосы, которым никогда не нужна была никакая прическа, очень большой рот с крупными, всегда густо накрашенными губами, маленькая грудь и гибкое тело, – и я никогда не видел более свирепого существа. Она кусала своих

любовников до крови, визжала и царапалась, и кажется, никто не слышал, чтобы она когда-нибудь говорила спокойным голосом. Недели три тому назад она бросила Филипа и ушла к Пьеро – и это она ответила мне по телефону, когда я позвонил в Севр, перед тем как ехать к инспектору Жану.

Когда я вошел к нему, он сидел на стуле в своей сдвинутой шляпе. Против него, поставив локти на колени, сидел Филип в наручниках. У него было бледное и грязное лицо со следами засохших струй пота. От него вообще сильно пахло потом, он был очень грузен, в комнате было душно и жарко. Жан говорил ему:

– На этот раз довольно. Ты хорошо сделал, что был откровенным. Если бы ты молчал, я бы недорого дал за твою шкуру. Теперь ты посидишь немного в тюрьме, и больше ничего. Для человека с твоим здоровьем это пустяки.

Я посмотрел на Филипа, он опустил глаза. Двое полицейских его вывели.

– Я предполагаю, – сказал Жан, обращаясь ко мне, – и льщу себя надеждой, что вы разделяете мое предположение... я предполагаю, что Пьеро спит сейчас сном праведных. Насколько ходячие выражения бывают всегда условны! Наши общие друзья мне звонили, что вы хотели бы поехать с нами. Не так ли?

– Да, – сказал я, – меня ждет такси.

– Мы выезжаем через пять минут.

Было около семи часов утра, когда полицейский автомобиль остановился в нескольких метрах от маленького особняка, в котором жил Пьеро. Ставни его были затворены. Утреннее солнце, уже горячее, освещало неширокую улицу. В этот ранний час было очень тихо.

Я остановил такси позади полицейской машины и вышел, хлопнув дверцей. Меня давила вялая и тяжелая тоска. Я представил себе Пьеро, одного – потому что на помощь своей любовницы он не должен был, конечно, рассчитывать – в этом закрытом и темном доме, из которого он не мог уйти. Из невысокого бокового окна можно было, правда, выпрыгнуть в маленький садик, примыкавший к дому, но вдоль его решетки стояли полицейские. Никакое бегство в этих условиях не было возможно.

Полицейских было шесть человек. На всех лицах было одно и то же смешанное выражение мрачности и отвращения. Я чувствовал, как мне казалось, что мое лицо выражало то же самое.

Один из полицейских постучал в дверь и крикнул, чтобы отворили.

– Отойдите в сторону, – сказал Жан, – он может выстрелить.

Но выстрела не последовало. Я начал надеяться, что Пьеро, может быть, успели предупредить. После слов инспектора наступила напряженная тишина, за которой чувствовалось в темном доме присутствие притаившегося человека с его страшным револьвером в руке. Его репутацию стрелка знали все полицейские.

– Пьеро, – сказал Жан, – предлагаю тебе сдаться. Ты нас избавишь от тяжелой работы. Ты знаешь, что ты не можешь уйти.

Ответа не было. Прошла еще минута томительного молчания.

– Я повторяю, Пьеро, – сказал Жан, – сдавайся.

И тогда из этой тишины раздался голос, при первых звуках которого я почувствовал холод в спине. Это был тот же непостижимо спокойный и человечески выразительный голос Пьеро, который я так хорошо знал и который сейчас казался мне особенно страшен, потому что через несколько минут – если бы не произошло чуда – он должен был замолкнуть навсегда. И то, что в этом голосе слышалась свежая сила молодого и здорового человека, казалось невыносимо тягостно.

– Все равно, – сказал он. – Бели я сдамся, меня ждет гильотина. Я бы хотел умереть иначе, *je voudrais mourir autrement*^[23].

То, что последовало за этим, произошло с неправдоподобной быстротой. Я услышал, как затрещали ветки в саду, затем раздался выстрел и один из полицейских, стоявших у решетки, грузно рухнул на землю. Я видел, как Пьеро вскарабкался на эту решетку – ему мешал револьвер, который он держал в руке, потом спрыгнул с нее уже на улицу, и в эту секунду выстрелы затрещали со всех сторон. Никто из полицейских, кроме того, который был убит возле решетки, не был ранен, это казалось мне удивительным. Они все бросились к тому месту, где упал Пьеро. Я понял потом, почему ни один из них не пострадал: первая же пуля попала Пьеро в руку, в которой он держал револьвер, и размозжила ему пальцы. Он лежал буквально в луже крови, я никогда не думал, что у человека столько крови. Но он еще хрипел. Полицейские стояли вокруг него. Я подошел вплотную. Что-

то булькало не то в горле, не то в легких Пьеро. Потом это бульканье прекратилось. Глаза Пьеро встретили мой взгляд, и тогда раздался его хрип:

– Спасибо. Было слишком поздно.

Я не знаю, как у него хватило силы это сказать. Я стоял неподвижно и слышал, как стучат мои зубы от бессильного волнения, бешенства и внутреннего нестерпимого холода.

– Вы предупредили его? – спросил меня Жан.

Я молчал несколько секунд. Пьеро дернулся в последний раз и умер. Тогда я сказал:

– Я думаю, что он бредил.

* * *

Труп Пьеро был увезен. Полицейские уехали. Двое^[SEP] мужчин в рабочей одежде пришли с тачкой песка и засыпали лужу крови на мостовой. Солнце уже стояло высоко.^[SEP] Я расплатился с шофером такси и пошел пешком по^[SEP] направлению к Парижу.

Я не переставал ощущать душевную тошноту и^[SEP] тупую печаль; по временам мне становилось холодно,^[SEP] хотя день был почти жаркий. На следующее утро статья^[SEP] о Пьеро должна была появиться в газете. «Трагический^[SEP] конец курчавого Пьеро». Я представил себе редактора и^[SEP] его всегда возбужденное лицо и услышал еще раз его хриплый и отчаянный голос: – Половина успеха – это заглавие.^[SEP] Оно хватает читателя. Это уж ваше дело потом не отпустить его до конца. Никакой литературы. Понятно? – Вначале, когда я его мало знал и когда я от него зависел, я^[SEP] с досадой пожимал плечами. Потом я понял, что он был^[SEP] по-своему прав и что литература в газетных статьях была^[SEP] действительно неуместна.

Как я это делал очень часто, я вошел в первое сравнительно приличное кафе, потребовал бумаги и кофе и, куря^[SEP] папиросу за папиросой, начал статью о Пьеро. Я, конечно,^[SEP] не мог ее написать так, как мне хотелось бы ее написать, и^[SEP] сказать в ней то, что мне хотелось бы сказать. Вместо этого^[SEP] я подробно описывал солнечное утро в мирном предместье Парижа, особняки на тихих улицах и эту

неожиданную драму, которой предшествовала такая бурная жизнь Пьеро. Я не мог, конечно, не посвятить несколько строк Пантере, воспоминание о которой не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Я писал о Филипе, о баре на Boulevard St. Denis, о биографии Пьеро, которую он мне рассказывал, прибавляя через каждую минуту:

– Ты себе это представляешь?

Потом я вошел в телефонную кабинку и позвонил инспектору Жану:

– Вы не узнали ничего нового?

– Ничего особенного. Пантера, впрочем, уверяет, что сегодня рано утром ей кто-то телефонировал и настаивал, чтобы она предупредила Пьеро.

– Почему же она этого не сделала?

– Она говорит, что Пьеро вернулся домой буквально за минуту до того, как мы приехали.

– Это мне кажется неправдоподобным, слишком уж удивительное совпадение. Я даже не знаю, стоит ли упоминать об этом в статье. Кстати, ваша роль там подчеркивается особенно. Нет, нет, я не мог это обойти молчанием.

Я повесил трубку, задумался на несколько минут и, преодолевая отвращение, прибавил четыре строки о «таинственном телефонном звонке».

Когда я кончил статью и отвез ее в редакцию, было уже около двенадцати часов дня. Я так скверно себя чувствовал, то состояние угнетенности, которое я испытал еще ночью, во время бессонницы, так усилилось, что я почти не замечал ничего происходившего вокруг меня. По привычке, не думая ни о чем, кроме этого тягостного чувства, я вошел в небольшой ресторан, недалеко от Boulevard Montmartre. Но едва я взял в рот первый кусок мяса, я вдруг увидел перед собой труп Пьеро, и в эту секунду мне буквально ударил в нос тот сильный запах пота, который исходил от Филипа в конце его допроса. Я сделал необыкновенное усилие, чтобы удержать мгновенный позыв к рвоте. Потом я выпил немного воды и ушел из ресторана, сказав удивленной хозяйке, что я плохо себя чувствую и что у меня судороги в желудке.

Был жаркий день, улицы были полны народа. Я шел, как пьяный, безрезультатно стараясь избавиться от невыносимого ощущения тоски и какого-то чувственного тумана, через который я все не мог пройти. Я шагал, бессознательно вбирая в себя весь этот шум и не отдавая себе отчета в его точном значении. Время от времени тошнота опять подходила к горлу, и тогда мне казалось, что не может быть вообще ничего более трагического, чем эта толпа людей в солнечный полдень на парижских бульварах и все, что происходит сейчас, и что я только теперь понимаю, как давно и как смертельно я устал. Я думал, что хорошо было бы сейчас лечь и заснуть – и проснуться уже по ту сторону этих событий и этих чувств, которые мне не давали покоя.

И вдруг я вспомнил, что в четыре часа Елена Николаевна должна была прийти ко мне. Она была единственным человеком, которого я хотел бы видеть сейчас. И я решил не ждать ее и просто поехать к ней. Но даже тогда, когда я поднимался по ее лестнице, эта тупая и тяжелая тоска не оставляла меня. Я, наконец, подошел к ее квартире, достал ключи и с беспокойством отворил дверь. Я не отдавал себе отчета в причине этого особенного беспокойства, но я понял ее, едва распахнув дверь: из комнаты Елены Николаевны слышались очень повышенные голоса. Я испытал чувство вялого ужаса, не успев подумать о том, чем это могло быть вызвано. Но времени думать у меня уже не было. До меня донесся отчаянный крик Елены Николаевны; неузнаваемый, страшный ее голос кричал:

– Никогда, ты слышишь, никогда!

Я бежал как во сне по коридору, который вел к ее комнате. В углу я увидел серое от страха лицо Анни, но я вспомнил об этом только позже. Я не знал, я думаю, в ту минуту, что я давно держу в руке револьвер. Вдруг я услышал грохот и звон разбитого стекла; за ним последовал выстрел и второй крик, в котором не было слов и который был похож на судорожно втягиваемый звук: а!., а!., а!.. Но я был уже у полуотворенной стеклянной двери, с порога которой я увидел Елену Николаевну, стоявшую у окна, и вполоборота к ней силуэт мужчины, который так же, как и я, держал револьвер. Не поднимая руки, почти не целясь, на таком расстоянии нельзя было промахнуться, – я выстрелил в него два раза подряд. Он повернулся на месте, потом выпрямился и тяжело рухнул на пол.

Несколько секунд я стоял неподвижно, и все мутно качалось передо мною. Я заметил, однако, кровь на белом платье Елены Николаевны: она была ранена в левое плечо. Как я узнал потом, она, защищаясь, бросила в стрелявшего стеклянную вазу почти одновременно с тем, как он нажал на курок, и этим объяснялось отклонение его пули.

Он лежал теперь во всю длину своего тела, разбросав руки; голова его была почти у ее ног. Я сделал шаг вперед, наклонился над ним, и вдруг мне показалось, что время закружилось и исчезло, унося в этом непостижимо стремительном движении долгие годы моей жизни.

С серого ковра, покрывавшего пол этой комнаты, на меня смотрели мертвые глаза Александра Вольфа.

Возвращение Будды*

Я умер, – я долго искал слов, которыми я мог бы описать это, и, убедившись, что ни одно из понятий, которые я знал и которыми привык оперировать, не определяло этого, и то, которое казалось мне наименее неточным, было связано именно с областью смерти, – я умер в июне месяце, ночью, в одно из первых лет моего пребывания за границей. Это было, однако, не более непостижимо, чем то, что я был единственным человеком, знавшим об этой смерти, и единственным ее свидетелем. Я увидел себя в горах; мне нужно было, с той абсурдной и неперемнной необходимостью, которая характерна для событий, где личные соображения человека почему-либо перестают играть всякую роль, взобраться на высокую и почти отвесную скалу. Кое-где сквозь ее буровато-серую, каменную поверхность неизвестно как прорастали небольшие колючие кусты, в некоторых местах даже были высохшие стволы и корни деревьев, ползущие вдоль изломанных вертикальных трещин. Внизу, в том месте, откуда я двинулся, шел узкий каменный карниз, огибавший скалу, а еще ниже, в темноватой пропасти, горная река текла с далеким и заглушённым грохотом. Я долго карабкался вверх, осторожно нащупывая впадины в камне и хватаясь пальцами то за куст, то за корень дерева, то за острый выступ скалы. Я медленно приближался к небольшой каменной площадке, которая была мне не видна снизу, но откуда, как я это почему-то знал, начиналась узкая тропинка; и я не мог отделаться от тягостного и непонятного – как все, что тогда происходило, – предчувствия, что мне не суждено больше ее увидеть и пройти еще раз по тесным ее поворотам, неровным винтом поднимавшимся вверх и усыпанным сосновыми иглами. Я вспомнил потом, что мне казалось, будто меня кто-то ждал наверху, чье-то нетерпеливое и жадное желание меня увидеть. Я поднялся наконец почти до самого верха, ухватился правой рукой за четкий каменный выступ площадки, и через несколько секунд я был бы уже там, но вдруг твердый гранит сломался под моими пальцами, и тогда с невероятной стремительностью я стал падать вниз, ударяясь телом о скалу, которая, казалось, летела вверх перед моими глазами. Потом последовал резкий толчок необычайной силы,

после которого у меня смертельно занули мускулы рук ихватило дыхание – и я повис, судорожно держась оцепеневшими пальцами за высохшую ветку умершего дерева, гнездившегося некогда вдоль горизонтальной трещины камня. Но подо мной была пустота. Я висел, глядя остановившимися и расширенными глазами на то небольшое пространство гранита, которое находилось в поле моего зрения, и чувствуя, что ветка постепенно и мягко смещается под моей тяжестью. Небольшая прозрачная ящерица на секунду появилась чуть выше моих пальцев, и я отчетливо увидел ее голову, ее часто поднимающиеся и опускающиеся бока и тот мертвый ее взгляд, холодный и неподвижный, взгляд, которым смотрят пресмыкающиеся. Затем неуловимым и гибким движением она метнулась вверх и исчезла. Потом я услышал густое жужжание шмеля, то понижающееся, то повышающееся, не лишенное, впрочем, некоторой назойливой мелодичности и чем-то похожее на смутное звуковое воспоминание, которое вот-вот должно проясниться. Но ветка все больше и больше оседала под моими пальцами, и ужас все глубже и глубже проникал в меня. Он меньше всего поддавался описанию; в нем преобладало сознание того, что это последние минуты моей жизни, что нет силы в мире, которая могла бы меня спасти, что я один, совершенно один, и что внизу, на страшной глубине, которую я ощущал всеми своими мускулами, меня ждет смерть и против нее я безоружен. Я никогда не думал, что эти чувства – одиночество и ужас – можно испытывать не только душевно, но буквально всей поверхностью тела. И хотя я был еще жив и на моей коже не было ни одной царапины, я проходил с необыкновенной быстротой, которую ничто не могло ни остановить, ни даже замедлить, через душевную агонию, через ледяное томление и непобедимую тоску. И только в самую последнюю секунду или часть секунды я ощутил нечто вроде кощунственно-приятного изнеможения, странным образом неотделимого от томления и тоски. И мне казалось, что если бы я мог соединить в одно целое все чувства, которые я испытал за свою жизнь, то сила этих чувств, вместе взятых, была бы ничтожна по сравнению с тем, что я испытал в эти несколько минут. Но это была моя последняя мысль: ветка треснула и сломалась, и вокруг меня завертелись с невыносимой быстротой, как в огромном кольце, скалы, кусты и уступы, и наконец, через бесконечно долгое время, во влажном

воздухе, на камнях над рекой раздался тяжелый хруст моего рухнувшего тела. В течение еще одной секунды перед моими глазами стояло неудержимо исчезающее зрительное изображение отвесной скалы и горной реки, потом оно пропало, и не осталось ничего.

Таково было мое воспоминание о смерти, после которой непостижимым образом я продолжал существовать, если предположить, что я все-таки остался самим собой. До этого мне много раз, как большинству людей, снилось, что я откуда-то падаю, и каждый раз я просыпался во время падения. Но в течение этого трудного подъема на скалу – и тогда, когда я встретил холодные глаза ящерицы, и тогда, когда под моими пальцами подломилась ветка, – у меня было сознание, что я не сплю. Следовало допустить, что в этой отчетливой и, собственно, прозаической катастрофе, совершенно лишенной какого бы то ни было романтического оттенка или призрачности, – существовало чье-то двойное присутствие, свидетеля и участника. Эта двойственность, впрочем, едва намечалась и иногда переставала быть уловимой. И вот, вернувшись из небытия, я вновь почувствовал себя в том мире, где я до сих пор вел такое условное существование, не потому, чтобы этот мир вдруг внезапно изменился, а оттого, что я не знал, что же именно, в нестройном и случайном хаосе воспоминаний, беспричинных тревог, противоречивых ощущений, запахов, чувств и видений, определяет очертания моего собственного бытия, что принадлежит мне и что другим и в чем призрачный смысл того меняющегося соединения разных элементов, нелепая совокупность которых теоретически составляла меня, дав мне имя, фамилию, национальность, год и место рождения и мою биографию, то есть долгую смену провалов, катастроф и превращений. Мне казалось, что я медленно возникаю опять здесь, куда как будто бы я не должен был вернуться, – забыв все, что было до сих пор. Но это не было потерей памяти в буквальном смысле слова: я только непоправимо забыл, что именно следует считать важным и что незначительным.

Я чувствовал теперь во всех обстоятельствах необыкновенную призрачность моей собственной жизни, многослойную и непременно, независимо от того, касалось ли это проектов и предположений или непосредственных и материальных условий существования, которые могли совершенно измениться на расстоянии

нескольких дней или нескольких часов. Это состояние, впрочем, я знал и раньше, – и это была одна из вещей, которых я не забыл. Мир состоял для меня из вещей и ощущений, которые я узнавал, – так, как если бы я когда-то давным-давно уже испытал их и теперь они возвращались ко мне точно из потерявшегося во времени сна. Это было даже в тех случаях, когда мне приходилось сталкиваться с ними уже, наверное, в первый раз в моей жизни. Выходило так, словно в огромном и хаотическом сочетании самых разнообразных вещей я почти ошупью искал тот путь, которым некогда прошел, неизвестно как и когда. Может быть, поэтому большинство событий оставляло меня совершенно равнодушным и лишь некоторые редкие минуты, заключавшие в себе то или иное совпадение и казавшиеся мне такими, с необыкновенной силой останавливали мое внимание. Мне было бы трудно определить, чем именно они отличались от других, – каким-то одним необъяснимым оттенком, какой-то случайной, но очевидной для меня замечательностью. Почти никогда они не касались непосредственно моей собственной судьбы или моих личных интересов, это были чаще всего непонятно как возникающие видения. Уже раньше в моей жизни бывало, что я годами как-то явно не принадлежал самому себе и принимал лишь внешнее и незначительное участие в том, что со мной происходило: я был совершенно равнодушен ко всему, что меня окружало, хотя это были бурные события, иногда заключавшие в себе смертельную опасность. Но я знал о ней только теоретически и не мог проникнуться ее настоящим пониманием, которое, вероятно, вызвало бы ужас в моей душе и заставило бы меня жить иначе, чем я жил. Мне нередко казалось, – когда я оставался один и мне никто не мешал погружаться в бесконечную последовательность неясных ощущений, видений и мыслей, – что мне не хватает сил еще для одного последнего усилия, чтобы сразу, в одном огромном и отчетливом представлении найти себя и вдруг постигнуть наконец скрытый смысл всей моей судьбы, которая до сих пор проходила в моей памяти как случайная смена случайных событий. Но мне никогда не удавалось этого сделать и даже никогда не удавалось понять, почему тот или иной факт, не имеющий ко мне никакого, казалось бы, отношения, вдруг приобретал для меня столь же непонятную, сколь очевидную важность.

Теперь начинался новый период моего существования. Целый ряд необычайно сильных ощущений, многие из которых мне никогда не пришлось испытывать, проходили через мою жизнь: зной безводных пространств и нестерпимая жажда, холодные волны северного моря, окружавшие меня со всех сторон, в которых я плыл часами к далекому и скалистому берегу, горячее прикосновение смуглого женского тела, которого я никогда не знал. Я переносил иногда мучительные физические боли, характерные для неизлечимых недугов, описания которых я находил потом в медицинских книгах, – недугов, которыми я никогда не болел. Я неоднократно был слепым, я много раз был калекой, и одно из редких ощущений физического счастья, которое я знал, это было возвращающееся сознание и чувство того, что я совершенно здоров и что, в силу непонятого соединения случайностей, я нахожусь вне этих тягостных состояний болезни или увечья.

Но, конечно, далеко не всегда я переживал именно это. То, что стало теперь совершенно неизменным, это все та же странная особенность, из-за которой я почти не принадлежал себе. Как только я оставался один, меня мгновенно окружало смутное движение огромного воображаемого мира, которое неудержимо увлекало меня с собой и за которым я едва успевал следить. Это был зрительный и звуковой хаос, составленный из множества разнородных вещей; иногда это бывала музыка далекого марша, обрамленная со всех сторон высокими каменными стенами, иногда это было безмолвное движение бесконечного зеленого ландшафта, перерезанного невысокими горами, который клубился передо мной с непонятной волнообразностью, иногда это была далекая окраина голландского города с неизвестно как возникавшими каменными корытами, куда с ровным журчанием стекала вода; и, углубляя это явное нарушение голландской действительности, к ним шли, одна за другой, женщины с кувшинами на голове. Во всем этом не было никогда никакой последовательности, и этот движущийся хаос явно не нес в себе даже отдаленную возможность сколько-нибудь гармонической схемы. И, соответственно этому, в те времена моей жизни, которые были отмечены таким постоянным присутствием хаоса, мое душевное существование приобретало столь же неверный и колеблющийся характер. Я не мог быть уверен в длительности того или иного

чувства, я не знал, что придет ему на смену завтра или через неделю. И как в первых книгах, которые я прочел, научившись азбуке, меня поразило, что люди там говорят вполне законченными фразами с классическим расположением подлежащих и сказуемых и точкой на конце, в то время – казалось мне – как на самом деле никто никогда этого не делает, – так теперь мне представлялось почти непонятным, что тот или иной человек может быть бухгалтером или министром, рабочим или епископом и быть твердо убежденным, что именно это важнее и постояннее всего, словно ряса епископа или куртка рабочего таинственно и точно соответствовали подлинному назначению и призванию тех, на кого они были надеты. Я знал, конечно, что в данный отрезок времени и в данных условиях рабочий так же не становился епископом, как епископ не превращался в рабочего, и это нередко продолжалось до тех пор, пока смерть не уравнивала их с неумолимым безличием. Но я чувствовал также, что мир, в котором одному из них суждено быть таким, а второму другим, может вдруг оказаться условным и призрачным, и тогда все опять неузнаваемо изменится. Другими словами, то, в чем проходило мое существование, было лишено для меня резко ограниченных и окончательных в каком-то смысле очертаний, в нем не было ничего постоянного, вещи и понятия, его составлявшие, могли менять форму и содержание, как непостижимые превращения бесконечного сна. И каждое утро, пробуждаясь, я смотрел со смутным удивлением на те же рисунки обоев на стенах моей комнаты в гостинице, которые всякий раз казались мне иными, чем накануне, потому что от вчерашнего до сегодняшнего дня произошло множество изменений, и я знал, не думая об этом, что и я успел измениться, увлекаемый неосуществимым и неудержимым движением. Я жил тогда в почти отвлеченном мире и никогда не находил в нем той логики мыслей или вещей, которая казалась некоторым из моих прежних учителей чем-то непременным и окончательным, каким-то основным законом всякой произвольной эволюции и всякого человеческого существования.

И в эти же неверные и далекие времена я встретил человека, точно нарочно вызванного из небытия, чтобы появиться передо мной именно в ту эпоху моей жизни. Это был, собственно, не человек, – это было какое-то неузнаваемо искаженное напоминание о ком-то другом, некогда существовавшем. Его больше не было, он исчез, но не

бесследно, так как после него осталось то, что я увидел, когда он впервые подошел ко мне и сказал:

– Excusez-moi de vous déranger. Vous ne pourriez pas m'avancer un peu d'argent?^[24]

У него было темное лицо, покрытое густой рыже-седой щетиной, оплывшие глаза и дряблые веки, на нем была черная, порванная шляпа, длинный пиджак, похожий на короткое пальто, или короткое пальто, похожее на очень длинный пиджак, темно-серого цвета, беловато-черные, лопнувшие во многих местах башмаки и светло-коричневые штаны, покрытые бесчисленными пятнами. Глаза его, однако, смотрели перед собой спокойно и ясно. Но меня особенно поразил его голос, который совершенно не соответствовал его внешнему виду, – ровный и низкий голос с удивительными интонациями уверенности в себе. В нем нельзя было не услышать звуковое отражение какого-то другого мира, чем тот, к которому явно принадлежал этот человек. Никакой бродяга или нищий не должен был, не имел ни возможности, ни права говорить таким голосом. И если бы мне было нужно неопровержимое доказательство того, что этот человек представлял собой живое напоминание о другом, исчезнувшем, – то эти интонации и эта звуковая неожиданность были бы убедительнее, чем любые биографические сведения. Это сразу же заставило меня отнестись к нему с большим вниманием, чем то, которое я уделил бы обыкновенному оборванцу, обращающемуся ко мне за милостыней. Второе соображение, побудившее меня насторожиться, это был неестественно правильный французский язык, на котором он говорил.

Это происходило в конце апреля в Люксембургском саду; я сидел на скамейке и читал заметки о путешествии Карамзина. Он быстро посмотрел на книгу и заговорил по-русски – очень чистым и правильным языком, в котором, однако, преобладали несколько архаические обороты: «счел бы своим долгом», «соблаговолите принять во внимание». За очень короткое время он успел сообщить мне некоторые сведения о себе, которые показались мне не менее фантастическими, чем его вид, – там фигурировало туманное здание Петербургского университета, который он некогда кончил, историко-филологический факультет и какие-то неточные и уклончивые

упоминания об огромном богатстве, которое он не то потерял, не то должен был получить.

Я вынул десять франков и протянул ему. Он поклонился, сохраняя выражение идеально неуместного достоинства и сняв шляпу с какой-то такой волнообразностью движений, которой я ни у кого не видал. Затем он ушел неторопливой походкой, осторожно переставляя ноги в порванных башмаках. Но и в его спине не было той испуганной настороженности или той физической несостоятельности, которые характерны для людей этой категории. Он медленно удалялся от меня; апрельское солнце уже садилось, и мое воображение, спеша на несколько минут, как плохие часы, уже создавало – вдоль люксембургской ограды – то сумеречное освещение, которое должно было наступить немного позже и которого тогда еще не было. И мне запомнилась эта фигура нищего именно в сумерках, которые еще не наступили. Она двигалась и исчезала, окруженная молочной мягкостью уходящего дня, и в таком виде, неверном и призрачном, напоминала мне некоторые образы моего воображения. Я вспомнил потом, вернувшись домой, что такое освещение, в котором точно чувствуется только что исчезнувший солнечный луч, оставивший в этом воздухе почти неуловимый, но несомненный след своего медленного растворения, – такое освещение я видел на некоторых картинах, и в частности, на одном полотне Корреджио, которого, однако, я не мог восстановить в моей памяти.

Но усилия памяти незаметно для меня переходили в нечто другое, не менее привычное и только усилившееся за последнее время, – эту непрекращающуюся смену видений, которые преследовали меня. Я видел то женщину в глухом черном платье, проходившую тяжелой походкой по узкой улице средневекового города, то полного мужчину в европейском костюме и очках, растерянного и несчастного, который искал что-то, чего не мог найти, то высокого старика, идущего по извилистой пыльной дороге, то широко раскрытые и наполненные ужасом женские глаза на бледном лице, которое я почему-то давно и хорошо знал. И одновременно с этим я испытывал тягостные и чужие чувства, которые смешивались с моими личными ощущениями, связанными с тем или иным событием моей жизни. И я замечал, что некоторые душевные состояния, вызванные вполне определенными причинами, продолжали существовать уже после того, как эти

причины исчезли, и я спрашивал себя, что же именно предшествовало чему – причины чувству или чувство причинам; и если это так, то не предопределяло ли оно в некоторых случаях нечто непоправимое и существенное, нечто принадлежащее к тому материальному миру, над которым, казалось бы, властны лишь законы тяготения и соотношения чисел. И другой неизменный вопрос возникал передо мной: чем я был связан с этими воображаемыми людьми, которых я никогда не выдумывал и которые появлялись с такой же неожиданностью, как тот, кто сорвался со скалы и в ком я умер не так давно, как эта женщина в черном, как те, кто еще несомненно ждал меня – с упорной жадностью кратковременного и призрачного воплощения во мне? Каждый из них был не похож на других, и их нельзя было спутать. Что связывало меня с ними? Законы наследственности, линии которых расходились вокруг меня такими причудливыми узорами, чьи-то забытые воспоминания, непонятно почему воскресавшие именно во мне, или, наконец, то, что я был частью чудовищно многочисленного человеческого коллектива и время от времени та непроницаемая оболочка, которая отделяла меня от других и в которой была заключена моя индивидуальность, вдруг теряла свою непроницаемость и в нее беспорядочно врывалось нечто, мне не принадлежавшее, – как волны, проникающие с разбега в расщелину скалы? Я никому не мог рассказать об этом, зная, что это было бы принято, как бред или особенная форма сумасшествия. Но это не было ни тем, ни другим. Я был идеально здоров, все мускулы моего тела функционировали с автоматической точностью, никакой университетский курс не казался мне трудным, логические и аналитические мои способности были нормальными. Я не знал, что такое обморок, я почти не знал физической усталости, я был как будто бы создан для подлинного и реального мира. И вместе с тем другой, призрачный мир неотступно следовал за мной повсюду, и почти каждый день иногда в комнате, иногда на улице, в лесу или в саду я переставал существовать, я как таковой, такой-то и такой-то, родившийся там-то, в таком-то году, кончивший среднее учебное заведение несколько лет тому назад и слушавший лекции в таком-то университете, – и вместо меня с повелительной неизбежностью появлялся кто-то другой. Этим превращениям предшествовали чаще

всего мучительные физические ощущения, захватывавшие иногда всю поверхность моего тела.

Я помню, как однажды ночью, проснувшись, я явственно ощутил прикосновение к моему лицу моих длинных и жирных, неприятно пахнущих волос, дряблость моих щек и непонятно привычное чувство моего языка, касавшегося дыр в тех местах рта, где не хватало зубов. Через секунду, однако, понимание того, что я вижу это со стороны, и тяжелый запах, который я почувствовал сначала, исчезли. Потом медленно, как человек, постепенно различающий предметы в сумеречном освещении, – которое, кстати, было характерно для начала почти каждого моего видения, – я узнал то очередное и тягостное воплощение, которого я стал жертвой. Я увидел себя старой женщиной с дряблым и усталым телом нездоровой белизны. В душной комнате, куда через маленькое окно, выходившее в узкий и темный двор, теплыми летними волнами вливалась тяжелая вонь нищенского квартала, это одряхлевшее тело, по бокам которого свисали длинные и толстые груди и которого живот закрывал жировой складкой начало таких же толстых ног, с неправильными и черными ногтями пальцев, лежало на серо-белой и влажной от пота простыне. Рядом с ним спал, закинув голову с тугими и частыми завитками черных волос, оскалив по-собачьи, в тяжелом сне, белые зубы, мальчишка-араб, спина и плечи которого были покрыты прыщами.

Образ этой старой женщины недолго, однако, занимал мое воображение, она постепенно терялась в полутьме, – и я вновь находил себя на моей узкой кровати, в моей комнате с высоким окном над тихой улицей Латинского квартала. Утром, когда я проснулся и потом опять закрыл глаза, я увидел – на этот раз совершенно отчетливо со стороны, – что араба уже не было в комнате и в кровати оставался только труп старухи и запекшаяся кровь от страшной раны на шее. Больше я ее не видел, она исчезла навсегда. Но это было, несомненно, самое отвратительное ощущение, которое я испытал за всю мою жизнь, – ощущение этого старого тела, жирного и дряблого и в этой мучительной мускульной несостоятельности.

С того дня, когда в Люксембургском саду я встретил впервые пожилого русского нищего, так отчетливо и неподвижно запечатлевшегося в моей памяти, – черная, порванная шляпа, щетина на лице, разваливающиеся башмаки, и это удивительное то ли пальто,

то ли нечто похожее на пиджак, – прошло около двух лет. Это были длительные, почти бесконечные годы моей жизни, наполненные безмолвным роем бредовых видений, в которых скрещивались коридоры, ведущие неизвестно куда, вертикальные колодцы, похожие на узкие пропасти, экзотические деревья и далекое побережье южного моря, черные реки, текущие во сне, и непрерывная смена разных людей, то мужчин, то женщин, смысл появления которых неизменно ускользал от моего понимания, но которые были неотделимы от моего собственного существования. И почти каждый день я ощущал эту отвлеченную душевную усталость, которая была результатом многообразного и неотступного безумия, странным образом не задевавшего ни моего здоровья, ни моих способностей и не мешавшего мне сдавать в свое время очередной экзамен или отчетливо запоминать последовательность университетских лекций. Иногда вдруг этот бесшумный поток прекращался без того, чтобы какой бы то ни было признак указывал мне, что это вот вот случится; и тогда я жил беспечно и бездумно, с наслаждением вбирая в себя зимний и влажный воздух парижской улицы и ощущая с животной силой восприятия вкус мяса, которое я ел в ресторане, разрывая жадными зубами его сочные куски.

В один из таких дней я сидел за столиком большого кафе на бульваре Montparnasse, пил кофе и читал газету. Позади меня уверенный мужской голос сказал, заканчивая, по-видимому – судя по финальной интонации, – какой-то период, которого я не слышал:

– И поверьте, что у меня достаточный жизненный опыт, чтобы это утверждать.

Я обернулся. Мне показалось, что я уловил нечто знакомое в звуке этого голоса. Но человек, которого я увидел, был мне совершенно неизвестен. Я быстро осмотрел его: на нем было плотное пальто, крахмальный воротничок, темно-красный галстук, синий костюм, золотые часы-браслет на руке. Он был в очках, перед ним лежала книга. Рядом с ним сидела блондинка лет тридцати, художница, которую я несколько раз встречал у каких-то знакомых; она курила папиросу и невнимательно, казалось, слушала его. Затем он закрыл книгу, снял очки, – он был, вероятно, дальновзорок, – и я увидел его глаза. И тогда, не веря самому себе, я узнал человека, которому я дал десять франков в Люксембургском саду. Но я мог его

узнать только по глазам и по голосу, так как в остальном между этим господином в кафе и тем оборванцем, который два года тому назад подошел ко мне и попросил денег, не было решительно ничего общего. Я никогда не думал, что платье может так изменить человека. В его превращении было нечто неестественное и неправдоподобное. Это было какое-то обратное движение времени, казавшееся совершенно фантастическим. Два года тому назад этот человек существовал только как напоминание, теперь это напоминание почти чудесным образом вернулось к тому, кто ему некогда предшествовал и чье исчезновение должно было быть безвозвратным. Я не мог прийти в себя от искреннего изумления.

Художница поднялась и ушла, помахав мне на ходу рукой в знак приветствия и прощания одновременно. Тогда я подошел к его столику и сказал:

– Простите, мне кажется, что я имел удовольствие с вами где-то встречаться.

– Садитесь, пожалуйста, – ответил он со спокойной вежливостью. – Это делает честь вашей памяти. Вы первый из всех, с кем я был знаком в прежнее время и кто меня узнал. Вы говорите, что мы с вами встречались? Это совершенно верно. Это было в тот период времени, когда я жил в трущобе, на улице Simon le Franc.

Он сделал неопределенный жест рукой.

– Вы хотели бы знать, что со мной случилось? Ну что ж, начнем с того, что чудес на свете не бывает.

– Еще несколько минут тому назад я думал так же, как вы. Теперь я начинаю в этом сомневаться.

– Напрасно, – сказал он. – Нет ничего более неверного, чем внешний аспект вещей. Строить на этом какие-либо утверждения можно только, заранее допустив совершенную произвольность. Через пять минут причины моей метаморфозы будут вам казаться абсолютно естественными.

Он уперся локтями в столик.

– Не помню, говорил я вам в те времена...

И он рассказал мне, что именно с ним произошло, и в этом действительно не было ничего чудесного. В одном из балтийских государств, – он не сказал, котором, – жил его старший брат, сохранивший после революции довольно крупное состояние. По

словам моего собеседника, это был жестокий и скупой человек, остро и заранее ненавидевший всех, кто мог или мог бы обратиться к нему с просьбой о деньгах. Он был одинок, и наследников у него не было. Некоторое время тому назад он утонул, купаясь в море, и наследство досталось его брату, которого в Париже на улице Simon le Franc разыскал адвокат. После того как были выполнены формальности, он получил состояние, оценивавшееся во много сот тысяч франков. Тогда он снял квартиру на улице Молитор и жил там теперь один, проводя время, как он сказал, в чтении и приятном бездействии. Он пригласил меня как-нибудь зайти к нему без предупреждения, в такие-то или такие-то часы. Бели я хотел уже наверное застать его дома, я мог бы предварительно позвонить по телефону. На этом мы с ним расстались. Я еще оставался в кафе, а он ушел, и я опять, как два года тому назад, смотрел ему вслед. Был холодный, в отличие от прошлогоднего, апрельский день. Он шел по широкому проходу между столиками и медленно исчезал в мягком электрическом свете, в новом тутом пальто и новой шляпе, и теперь уверенность его походки не могла бы никому показаться неуместной, даже мне, которого она так поразила при нашей первой встрече.

Оставшись один, я задумался – сначала беспредметно и созерцательно; потом в этом бесформенном движении мыслей стали появляться более определенные очертания, и я начал вспоминать, что было в это же время два года тому назад. Теперь было холодно, тогда было тепло, и тогда я так же остался сидеть на скамейке Люксембургского сада, как теперь в кафе после ухода этого человека. Но тогда я читал Карамзина: и тотчас же, забывая прочитанную страницу, я все возвращался к размышлениям об особенностях девятнадцатого столетия и о резком его отличии от двадцатого. Я думал даже о разнице политических режимов, – мысль, вообще говоря, занимавшая мое внимание чрезвычайно редко, – и мне казалось, что девятнадцатый век не знал тех варварских и насильственных форм государственности, которые были характерны для истории некоторых стран именно в двадцатом столетии. Я вспоминал теории Дюркгейма об «общественном принуждении», *contrainte sociale*, и опять, отвлекаясь от университетского курса, переходил к суждениям более общего и более спорного порядка. Я думал, что глупость государственного насилия должна казаться

современникам гораздо более очевидной, чем так называемым будущим историкам, которым должна быть непонятна именно личная тягостность этого гнета, соединенная с отчетливым пониманием его абсурдности. Я думал еще, что государственная этика, доведенная до ее логического пароксизма, – как кульминационный пункт какого-то коллективного бреда, – неизбежно приводит к почти уголовной концепции власти, и в такие периоды истории власть действительно принадлежит невежественным преступникам и фанатикам, тиранам и сумасшедшим; иногда они кончают жизнь на виселице или гильотине, иногда умирают своей смертью и их гроб провожают безмолвные проклятия тех, кто имел несчастье и позор быть их подданными. Я думал еще о Великом Инквизиторе, и о трагической судьбе его автора, и о том, что личная, даже иллюзорная свобода может оказаться, в сущности, отрицательной ценностью, смысл и значение которой нередко остаются неизвестными, потому что в ней заключены, с предельно неустойчивым равновесием, начала противоположных движений.

Но теперь я был далек от этих мыслей, они казались мне темными и незначительными по сравнению с эгоистическими соображениями о моей личной судьбе, призрачная неверность которой не переставала занимать мое внимание, тем более что моя сегодняшняя встреча совпала по времени с концом этого счастливого периода существования, в котором я тогда находился, и блаженность – я не мог найти другого слова – которого заключалась в том, что я жил эти недели, не видя снов и не думая ни о чем.

Уже за день до этого мной овладело смутное беспокойство, беспричинное, как всегда, и потому особенно тягостное. Оно усилилось через день и затем не покидало меня больше. Мне стало казаться, что мне угрожает какая-то опасность, столь же неопределенная, сколь непонятная. Если бы я не привык давно к неотступности этого призрачного мира, который так неизменно следовал за мной, я бы, может быть, стал бояться, что у меня начинается мания преследования. Но особенность моего положения заключалась именно в том, что в отличие от людей, пораженных подлинным безумием, которые были бы твердо убеждены, что их действительно преследует кто-то невидимый и неуловимый, у кого множество агентов – кондуктор автобуса, прачка, полицейский,

незнакомый господин в очках и в шляпе, – я знал, что моя тревога объясняется исключительно и всецело произвольным скачком воображения. Я знал, что, живя так, как жил я, не располагая почти никакими личными средствами, не будучи связан ни с какими политическими организациями, не занимаясь никаким видом общественной деятельности и вообще не выделяясь решительно ничем из анонимной многомиллионной массы парижского населения, я не мог быть целью преследования со стороны кого бы то ни было. Не существовало ни одного человека в мире, для которого моя жизнь могла представлять какой-либо интерес, не было никого, кто мог бы мне позавидовать. Я прекрасно понимал, что моя смутная тревога совершенно беспредметна и что для нее нет и не может быть никаких оснований. Но непостижимым образом я продолжал ее испытывать, и явная очевидность ее необоснованности не могла вывести меня из этого состояния. Однако, в противоположность маньякам, которых внимание бывает напряжено до крайности и от которых не ускользает ни одна подробность из того, что происходит вокруг них и в чем они упорно ищут присутствия преследующего их врага, я жил и двигался точно окруженный легким туманом, лишавшим предметы и людей резкой отчетливости контуров.

Я засыпал и просыпался с этим ощущением бесформенной тревоги и предчувствия. Так проходили дни, и это продолжалось до той минуты, когда я – были сумерки парижского вечера, – бродя без цели по улицам незнакомой мне части города, свернул в узкий проход между домами. Было уже почти совсем темно. Проход оказался удивительно длинным, и, когда я дошел до его конца, я очутился перед глухой стеной, откуда под прямым углом начинался поворот влево. Я направился к выходу, который, по моим расчетам, должен был находиться где-то близко. За поворотом было еще темнее. Я шел вдоль двух стен и смутно различал, что в одной из них время от времени попадались ниши, назначение которых мне представлялось загадочным. Я прошел так несколько десятков метров в мутной темноте, над которой было беззвездное небо; стояла полная тишина, нарушаемая только звуком моих шагов по неровной мостовой. И вдруг, когда я поравнялся с одной из тех ниш, которые я заметил в начале прохода, оттуда с необычайной быстротой и совершенной беззвучностью рванулась чья-то черная тень, и я за одну короткую

часть секунды успел испытать тот смертельный ужас, к которому давно уже был подготовлен этим непрекращающимся, многодневным состоянием тревоги. Затем я почувствовал на своей шее цепкие пальцы человека, который так неожиданно и необъяснимо бросился на меня. Как это ни покажется странно, с этого момента я перестал испытывать и отвлеченную тревогу, и непосредственный ужас. Для этого, впрочем, у меня не оставалось времени. Но в том, что происходило тогда, уже было нечто реальное и несомненное, была действительность, а не неотразимая абстракция. Инстинктивным движением я напряг мускулы шеи. По неистовому зажиму пальцев, охвативших мое горло, было очевидно, что они принадлежали взрослому и сильному мужчине, на стороне которого вдобавок была неожиданность нападения. Но одновременно с этим мне было ясно, что, вопреки кажущемуся превосходству его положения и отчаянности моего собственного, преимущество в конечном итоге должно было остаться за мной. Я понял это в первую же секунду; я много времени занимался разными видами спорта, и в частности борьбы, и мне нетрудно было определить, что нападавший на меня человек не имел об этом никакого представления и мог полагаться только на свою физическую силу. Он, вероятно, ожидал, что я схвачу его за кисти рук и попытаюсь их отвести от моей шеи – естественная и чаще всего бесполезная защита неподготовленного человека. Но я нащупал в темноте, уже почти задыхаясь, его мизинцы, и потом резким движением обеих рук одновременно я отогнул их назад, ломая их нижние суставы. Он сразу ахнул и застонал, и мне стало непривычно легко дышать после того, как он отпустил мое горло. Теперь он безмолвно корчился передо мной в темноте, и в обычное время это, наверное, вызвало бы мое сострадание. Но я находился в припадке внезапной и бешеной злобы – так, точно этот неизвестный человек воплощал в себе причину той длительной тревоги, которую я испытывал все это время, так, точно виновником этого был именно он. Я толкнул его в одно плечо, одновременно притянув к себе другое, и когда он, не успев понять этого, повернулся ко мне спиной, я сзади захватил правой рукой, согнутой почти под прямым углом, его шею. Пальцами левой руки я зажал кисть правой и стал затягивать этот мертвый узел, ни на секунду его не ослабляя. Словом, я сделал то, что должен был сделать он, чтобы попытаться меня задушить, и чего он

не сделал, подписав этим свой смертный приговор. Он дернулся несколько раз, но я знал, что положение его было безнадежно. Потом, когда всякое сопротивление кончилось, я разжал руки, и его труп тяжело и мягко упал к моим ногам. Было так темно, что я не мог рассмотреть как следует его лица, я заметил только, что у него были небольшие усы и черные, курчавые волосы.

Я прислушался. По-прежнему вокруг меня стояла совершенная тишина, и когда я сделал первый шаг, то звук его мне показался тревожно-громким. Не оборачиваясь, я пошел вперед. Вдалеке наконец показался неверный свет, по всей видимости, уличного фонаря, и я вздохнул свободно. Но в ту минуту, когда я почти дошел уже до выхода из этой ловушки, меня что-то ударило по голове с необыкновенной силой, и я потерял сознание.

Мне смутно казалось в забытьи, что меня куда-то везут. По-видимому, ко мне был применен довольно сильный наркоз, потому что бессознательное или полусознательное мое состояние было неестественно долгим. Когда я, наконец, открыл глаза, я лежал на узкой каменной скамье в небольшой камере с высоким потолком и тремя серыми стенами. Четвертой стены не было: на ее месте сиял огромный световой прорез. Я совершенно потерял представление о времени. За глухой деревянной дверью слышались шаги и раздались голоса, говорившие что-то, чего я не разобрал. Потом они удалились. Я осмотрел камеру и только тогда увидел, что я был не один: справа от меня на второй каменной скамье сидел, прислонившись к стене и поджав под себя ноги, какой-то человек в лохмотьях. Глаза его были закрыты, но губы беззвучно шевелились. Затем он повернул голову ко мне, веки его медленно поднялись, и я встретил его взгляд-прозрачный, пустой и холодный настолько, что мне сразу стало не по себе. Все, что происходило потом, я помнил совершенно отчетливо, за исключением одной подробности, которой не могли восстановить никакие усилия моей памяти: я не помнил, на каком языке мы говорили, сначала он и я, затем все остальные. Мне казалось, что некоторые фразы были сказаны по-русски, другие по-французски, третьи по-английски или по-немецки.

– Позвольте вас приветствовать, – сказал человек в лохмотьях, и меня удивил тускло-невывразительный его голос. – Не имею удовольствия знать вашу фамилию.

Я назвал себя и спросил, не может ли он объяснить мне, где я нахожусь и почему я сюда попал.

– Вы находитесь в здании предварительного заключения.

– В здании предварительного заключения? – повторил я с изумлением. – Но по какому поводу?

– В ближайшем будущем вам, вероятно, будет предъявлено соответствующее обвинение, – какое именно, я не знаю.

В световом прорезе, почти задевая его крылом, медленно пролетела огромная птица с голой шеей. Ее появление здесь и ответы моего собеседника показались мне настолько неправдоподобными, что я спросил:

– В какой стране все это происходит?

– Вы находитесь на территории Центрального Государства.

Почему-то я нашел этот ответ удовлетворительным; вероятно, это объяснялось тем, что действие наркоза еще не окончательно прошло. Я встал с некоторым усилием, сделал несколько шагов, приблизился к просвету, явно заменявшему окно, – и невольно отшатнулся: он выходил во двор, и камера была на необыкновенной высоте, вероятно тридцатого этажа. Против дома, отделенная от него расстоянием в сорок или пятьдесят метров, возвышалась сплошная стена.

– Бегство отсюда невозможно, – сказал мой сосед, следивший за каждым моим движением.

Я кивнул головой. Потом я сказал ему, что отказываюсь понимать, почему я сюда попал, что не знаю за собой никакой вины и что все это мне представляется совершенно абсурдным. Затем я спросил его, за что он арестован и что ему грозит. Тогда он первый раз улыбнулся и ответил, что в данном случае речь идет о явном недоразумении и что ему лично не угрожает никакое наказание.

– А что именно случилось с вами? – спросил он.

Я подробно рассказал ему о тех малоубедительных фактах, которые так неожиданно привели меня сюда. Он попросил меня сообщить ему еще некоторые данные из моей биографии и, выслушав меня до конца, сказал, что он вполне удовлетворен моими объяснениями и что он ручается за мое освобождение. Мне должно было показаться, что такое заявление со стороны оборванного арестанта звучит по меньшей мере странно. Но я принял его всерьез; мои аналитические возможности еще не вернулись ко мне.

Через некоторое время дверь камеры отворилась, и два вооруженных солдата, один из которых прокричал мою фамилию, повели меня по длинному коридору с розовыми стенами и многочисленными поворотами. На каждом повороте висел громадный, все один и тот же, портрет какого-то пожилого, бритого человека с лицом, напоминавшим лицо среднего мастерового, но с неестественно узким лбом и маленькими глазами. На человеке этом было нечто среднее между пиджаком и мундиром, увешанное орденами, якорями и звездами. Несколько статуй и бюстов этого же мужчины были расставлены вдоль стен. Мы дошли наконец – в полном безмолвии – до двери, через которую меня втокнули в комнату, где за большим столом сидел немолодой человек в очках. Он был в каком-то странном, полувоенном, полуштатском костюме, напоминавшем по покрою тот, который был изображен на портретах и статуях.

Он начал с того, что вынул из ящика стола огромный револьвер и положил его рядом с пресс-папье. Затем, резким движением подняв голову и глядя на меня в упор, он сказал:

– Вам, конечно, известно, что только чистосердечное признание может вас спасти?

После длительной ходьбы по коридору – солдаты шли скорым шагом, и я должен был идти с такой же быстротой – я чувствовал, что почти полуобморочное состояние, в котором я до сих пор находился, сменилось наконец чем-то более нормальным. Я опять ощущал свое тело так, как всегда, то, что было перед моими глазами, я видел совершенно ясно, и теперь для меня было очевиднее, чем когда-либо, что все происходящее со мной – результат явного недоразумения. Одновременно с этим тюремная обстановка и перспектива произвольного допроса казались мне раздражающими. Я посмотрел на сидящего человека в очках и спросил:

– Простите, пожалуйста, кто вы такой?

– Здесь вопросов не задают! – резко ответил он.

– В этом есть какое-то противоречие, – сказал я. – Мне показалось, что в вашем голосе, когда вы обратились ко мне, зазвучала явно вопросительная интонация.

– Поймите, что речь идет о вашей жизни, – сказал он. – Диалектикой заниматься теперь поздно. Но, может быть, вам полезно

будет напомнить, что вы обвиняетесь в государственной измене.

– Ни более ни менее?

– Ни более ни менее. И не стройте себе никаких иллюзий: это – страшное обвинение. Повторяю, что только полное признание может вас спасти.

– В чем же выражается моя государственная измена? – Вы имеете наглость это спрашивать? Хорошо, я вам скажу. Государственная измена заключается уже в том, что вы считаете возможным допускать преступный принцип законности псевдогосударственных идей, которые противоречат великой теории Центрального Государства, выработанной лучшими гениями человечества.

– То, что вы говорите, настолько нелепо и наивно, что на это как-то неловко отвечать. Я хотел бы только вам заметить, что возможность допущения того или иного принципа есть теоретическое положение, а не факт, в котором можно обвинять человека.

– Даже здесь, в трибунале центральной власти, вы говорите таким языком, в котором каждое слово отражает вашу преступность. Прежде всего, представитель власти, а в частности следователь, для вас непогрешим и ни одно из его выражений не может быть названо ни наивным, ни нелепым. Но дело не только в этом, хотя теперь, после того, что вы сказали, ваша вина усугубляется еще одним пунктом: оскорбление представителей центральной власти. Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре на жизнь главы государства и, наконец, в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории.

– Кто такой Эртель?

– Человек, которого вы убили. Не пытайтесь этого отрицать: центральной власти известно все. Полное сознание, это – последний жест, который вы можете сделать и которого от вас ждет государство и общественное мнение всей страны.

– Единственное, на что я могу ответить, касается Эртеля. Этот человек был наемным убийцей. Я находился в состоянии законной самозащиты. Эртель, по-видимому, никогда до тех пор не имел дела с людьми, которые привыкли защищать свою жизнь, и его неловкость его погубила. Что же касается остальных обвинений, то это невежественный вздор, очень дурно характеризующий умственные способности того, кто его выдумал.

– Вы будете жестоко раскаиваться в ваших словах. – Обращаю ваше внимание на то, что глагол «раскаиваться» составляет неотъемлемую часть понятий явно религиозного происхождения. Мне было странно его слышать в устах представителя центральной власти.

– Что вы скажете во время очной ставки с вашими сообщниками?

Я пожал плечами.

– Довольно! – сказал он и выстрелил из револьвера: пуля вошла в стену метра на полтора выше моей головы. Дверь отворилась, и те же солдаты, которые привели меня, вошли в комнату.

– Отведите обвиняемого в камеру, – сказал следователь.

Только тогда, возвращаясь в камеру, взглядывая время от времени на портреты и статуи, я подумал, что действовал неправильно и не должен был отвечать следователю так, как я отвечал. Мне надо было просто доказывать ему, что я никак не могу быть тем, за кого он меня принимает. Вместо того чтобы занять именно эту позицию, я говорил с ним так, точно принимал какую-то абсурдную законность его аргументации и, не будучи с ней согласен, так сказать, диалектически, я все-таки оставался в том же плане, что и он. Вместе с тем, было очевидно, что я был совершенно чужд миру, в который я попал. Лица конвоировавших меня солдат отражали полное отсутствие какой бы то ни было мысли или какого бы то ни было душевного движения. Портреты были похожи на олеографии, выполненные мастеровым, которого художественное убожество невольно вызывало жалость и презрение; статуи были такими же. То, что говорил мне следователь, носило печать такой же свирепой умственной нищеты, и в мире, из которого я пришел, подобный человек не мог бы занимать никакого места в судебном аппарате.

Вернувшись в камеру, я собирался рассказать о допросе моему соседу, но меня тотчас же увели опять, на этот раз в другом направлении, и я попал ко второму следователю, который обращался со мной несколько иначе, чем первый.

– Нам известно, – сказал он, – что мы имеем дело с человеком сравнительно культурным, а не простым наемником той или иной политической организации, которая нам враждебна. Вы знаете, что мы окружены врагами и это вынуждает нас к сугубой осторожности и заставляет нас иногда принимать меры, которые могут показаться слишком крутыми, но которых не всегда удастся избежать. Именно так

произошло с вами. Мы знаем, или во всяком случае хотим надеяться, что ваша вина меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Будьте откровенны с нами, это и в ваших, и в наших интересах.

По тому, как он говорил, было понятно, что он, конечно, гораздо опаснее первого следователя. Но я был почти рад этому: с ним можно было разговаривать другим языком.

– Я понимаю ваше раздражение во время первого допроса, – продолжал он. – Произошла ошибка, чрезвычайно досадная: следователь, к которому вы попали, обычно ведет только самые простые дела, хотя неизменно стремится к вещам, явно превышающим его компетенцию. Он, видите ли, выдвинулся по партийной линии, к нему нельзя предъявлять особенно строгих требований. Но перейдем к делу. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?

– Я хотел бы знать, – сказал я, – за кого меня принимают. Для меня очевидно, что все происходящее сейчас – результат недоразумения, которое мне хотелось бы выяснить. Моя фамилия – я назвал свою фамилию – такая-то, я живу в Париже и учусь в университете, на историко-филологическом факультете. Я никогда – как это легко установить при самом поверхностном следствии – не занимался политической деятельностью и не состоял ни в какой политической организации. Обвинения в том, что у меня были какие-то террористические намерения, настолько абсурдны и произвольны, что останавливаться на них я не считаю нужным. Я допускаю, что человек, за которого меня принимают, мог быть и террористом, и вашим политическим противником. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я надеюсь, что ваш государственный аппарат окажется все-таки достаточно рационально организованным, чтобы это установить.

– Стало быть, вы утверждаете, что Розенблат ошибся? Если так, то дело принимает для вас действительно трагический оборот.

– Кто такой Розенблат? Я впервые слышу эту фамилию и никогда не видел этого человека.

– Я должен сказать, что вы сделали все, чтобы никто и никогда его больше не увидел: вы его задушили.

– Позвольте, полчаса тому назад мне сказали, что его фамилия была Эртель.

– Это ошибка.

– Как, опять ошибка?

– Я никогда не ценил Розенблата, я лично, – продолжал следователь. – Когда вы назвали его наемным убийцей, вы были недалеко от истины. Несчастье заключается в том, что он был единственным, кто мог вас спасти. Вы лишили его этой возможности. У нас лежит его секретный рапорт о вас и о вашей деятельности. Приведенные там сведения слишком подробны и точны, чтобы быть вымышленными. К тому же этот человек был абсолютно лишен фантазии.

– Очень может быть, что сведения, которые заключаются в его рапорте, совершенно точны. Но единственное и самое важное соображение в данном случае – это что речь идет о ком-то другом, а не обо мне.

– Да, но как это доказать?

– Этот человек, в частности, не мог быть похож на меня как близнец. Кроме того, он носил, я полагаю, другую фамилию. Есть, наконец, отличительные признаки: возраст, цвет волос, рост и так далее.

– Рапорт Розенблата, весьма обстоятельный во всем другом, не содержит, к сожалению, именно этих указаний. Кроме того, строго говоря, почему я должен верить вам, а не ему?

– Вы можете не верить мне. Но нет ничего проще, как навести справки в Париже.

– Мы всячески избегаем контакта с иностранной полицией.

Я начинал понимать, что мое положение безвыходно. Судебный аппарат Центрального Государства отличался полным отсутствием гибкости и какого-либо интереса к обвиняемому; функции его были чисто карательными. Тот примитивизм, который характерен для всякого правосудия, здесь был доведен до абсурда. Существовала одна схема: всякий попадавший в суд обвинялся в преступлении против государства и подлежал наказанию. Возможность невинности обвиняемого теоретически существовала, но ею надлежало пренебрегать. По-видимому, в моих глазах отразилось нечто похожее на отчаяние, потому что следователь сказал:

– Боюсь, что доказать ошибку у вас нет материальной возможности. Тогда вам остается или упорствовать в бесплодном отрицании и тем самым умышленно идти на смерть, или подписать

признание и примириться с тем, что вы проведете некоторое время в заключении, после чего вас снова ждет свобода.

– Полагаете ли вы, что обвиняемый должен быть в первую очередь честен?

– Несомненно.

– В таком случае я не могу подписать признание в том, чего я никогда не делал: поступая так, я бы сознательно ввел в заблуждение судебные инстанции Центрального Государства.

– Идеологически вы правы. Но вопрос не в этом. Вы вынуждены действовать в пределах ваших возможностей. Они, к сожалению, недостаточно широки, тут я с вами согласен. Определим их еще раз. Полное отрицание вины и возможность высшей меры наказания – с одной стороны. Признание и временное лишение свободы – с другой. Все остальное – теория. Советую вам подумать об этом. Я вызову вас в ближайшее время.

Вернувшись в камеру, я подробно рассказал своему соседу о первом и втором допросе. Он слушал меня, сидя все в той же позе и закрыв глаза. Когда я кончил, он сказал:

– Это легко было предвидеть.

Я еще раз посмотрел на его лохмотья и на небритое его лицо и вспомнил, что этот человек обещал мне освобождение.

– Вы думаете, можно что-нибудь сделать?

– Видите ли, – сказал он, не отвечая, – я знаю эти законы лучше, чем любой следователь. Это, собственно, не законы, это дух системы, а не свод тех или иных положений.

Он говорил так, точно читал лекцию.

– Отсутствие элементарных правовых норм ухудшается еще тем, что рядовые работники судебного ведомства отличаются чудовищной некультурностью и смешивают свои функции с функциями некоего юридического палача. Вы можете разбить их аргументацию и доказать им как дважды два четыре, что они не правы и их обвинительный акт составлен с наивной глупостью, что чаще всего соответствует действительности. Но это не играет никакой роли. Вас все равно приговаривают к наказанию, – не потому, что вы виноваты и это доказано, а потому что так понимаются задания центрального правосудия. Всякое рассуждение в принципе вещь наказуемая и отрицательная. Спор с юстицией – государственное преступление, так

же как сомнение в ее непогрешимости. Существует десяток формул, каждая из которых есть выражение особого вида невежественной глупости; в этот десяток формул втискивается вся многообразнейшая деятельность миллионов и миллионов людей. Борьба против этой системы, которую трудно определить в двух словах...

– Я бы сказал: свирепый идиотизм.

– Прекрасно. Борьба, стало быть, против этого свирепого идиотизма рациональным путем невозможно. Надо действовать иначе. Какие методы борьбы вы применили, когда Эртель-Розенблат хотел вас задушить?

– Те, которым меня научили преподаватели спорта.

– Хорошо. Если бы вы действовали иначе, вас бы уже наверное не было на свете.

– Очень возможно, – сказал я. И я вспомнил тьму, зажим пальцев на моей шее и то, как я начал задыхаться.

– В данном случае, зная, что вы ничего не достигнете ни тем, что вы правы, ни тем, что вы можете это доказать, вы должны действовать другим путем. Я нашел этот путь; мне это стоило очень дорого, но теперь я не боюсь ничего. Мой способ действия непогрешим, и поэтому я обещал вам, что вас освободят. Я еще раз вам это подтверждаю.

– Извините меня, но если вы располагаете таким могущественным средством борьбы, то как могло случиться, что вы оказались там же, где я?

– Я вам сказал уже, что это – недоразумение, – ответил он, пожав плечами. – Меня арестовали ночью, когда я спал.

– Какое же это средство?

Он долго молчал, и губы его беззвучно шевелились, как в первый раз, когда я его увидел. Потом он сказал, не поднимая головы:

– Я гипнотизер. Заключение следователя ему диктую я.

– А если он не поддается гипнозу?

– Такого случая я еще не встречал. Но даже если он не поддается этой форме гипноза, он поддается другой.

– Иначе говоря...

– Иначе говоря, я заставил бы его покончить жизнь самоубийством и дело бы перешло к другому, который бы мне подчинился.

– Еще одно, – сказал я, удивляясь уверенности, с которой он говорил. – Следователь в ближайшее время вызовет меня, но вас при этом не будет. Вы можете подчинить себе его волю на расстоянии?

– Это было бы значительно труднее. Но нас с вами вызовут почти одновременно.

– Как вы можете это знать?

– Когда вас допрашивал первый следователь, меня допрашивал второй.

Потом этот спокойный человек погрузился в полное молчание, которого не нарушал в течение тех трех дней, что длилось мое ожидание следующего допроса, на котором должны были произойти – если верить ему – такие невероятные события. Два раза в сутки нам приносили пищу, которой я не мог есть сначала, настолько она была отвратительна. Только на третий день я пролотил несколько ложек какой-то светло-серой жидкости и съел кусок плохо выпеченного и упруго-противного хлеба. Я чувствовал себя ослабевшим, но мое сознание оставалось совершенно ясным. Мой сосед за все это время не притронулся к пище. Чаще всего он оставался неподвижным, и было непонятно, как его мускулы и суставы выдерживали это длительное напряжение. Лежа на своей каменной койке, я думал о том, насколько действительность была фантастической и как во всем, что меня окружало, был ясно ощущаемый смысл непроницаемой безвыходности: геометрическая совокупность стен и потолка, заканчивающаяся открытым выходом в тридцатиэтажную пропасть, где то светило солнце, то шел дождь, и постоянное, неподвижное присутствие со мной этого удивительного оборванца. Один раз, чтобы как-нибудь прервать это каменное безмолвие, я начал свистать арию из «Кармен», но мой свист звучал так тускло и дико и был так явно не к месту, что я тотчас же прекратил его. Я успел много раз обдумать во всех подробностях то, что со мной случилось, и констатировать, что, несмотря на несомненное присутствие в этом известной последовательности, соединение тех фактов, которые я восстанавливал в своей памяти, должно было, конечно, показаться совершенно иррациональным. Меньше всего я думал об опасности, которая мне угрожала, и вопреки внешней неправдоподобности того, что обещал мне мой сосед, я верил каждому его слову.

Наконец вечером третьего дня за мной пришли. Я поднялся и ощутил в первый раз за все время необыкновенный холод внутри, быть может, отдаленный страх смерти, быть может, темную боязнь неизвестности. Я знал, во всяком случае, что я лично был лишен возможности защищаться. И я успел подумать о том, насколько все было проще и насколько я меньше был в опасности тогда, в этом темном парижском проходе, когда руки неизвестного убийцы сжимали мне горло. Тогда спасение моей жизни зависело от меня, от элементарного присутствия духа и привычной для меня быстроты движений. Теперь я был беззащитен.

Меня ввели в кабинет следователя. Он предложил мне сесть и дал мне папиросу. Потом он спросил:

– Вы обдумали то, что я вам говорил в прошлый раз? Я кивнул головой. Ощущение холода внутри непонятным образом мешало мне говорить.

– Вы подпишете ваше признание?

Мне потребовалось сделать над собой необыкновенное усилие, чтобы ответить на вопрос следователя отрицательно. Вместе с тем, я знал, что только слово «нет» могло меня – может быть – спасти. Мне казалось, что у меня не хватит сил произнести его, и я понял в эту секунду, почему люди сознаются в преступлениях, которых они не совершали. Все мускулы моего тела были напряжены, лицо мое налилось кровью, у меня было ощущение, что я поднимаю огромную тяжесть. Наконец я ответил:

– Нет.

И после этого все сразу ухнуло передо мной, и мне показалось, что я теряю сознание. Но я явственно услышал голос следователя:

– Нам удалось выяснить, что ваши показания, довольно убедительные на первый взгляд, – это отягчает вашу вину, – ложь. Тот, кто был вашей правой рукой в организации, которую вы возглавляли, выдал вас и подписал полное признание.

Я вдруг сразу почувствовал себя легче. Но у меня было впечатление, что мой голос звучал очень неуверенно.

– Ни человека, ни организации, о которых вы говорите, никогда не существовало. Ваша система обвинения абсурдна.

И в это время дверь открылась и солдаты ввели моего соседа по камере. Потом они удалились. Я быстро посмотрел на него; мне

показалось, что он сразу стал выше ростом.

– Вы не будете отрицать, что узнаете этого человека? – спросил следователь.

– Узнаю.

Он явно хотел еще что-то прибавить, но удержался. Наступило молчание. Он встал со своего кресла и сделал несколько шагов по комнате. Затем он подошел к окну и отворил его. Потом он зигзагами вернулся к своему месту, но не сел, а остался стоять в неестественной и неудобной позе полусогнутого человека. У меня было впечатление, что с ним происходит нечто необъяснимое и тревожное.

– Вы плохо себя чувствуете? – спросил я.

Он не ответил. Человек в лохмотьях пристально смотрел на него, стоя неподвижно и не произнося ни слова.

Следователь опять подошел к окну и высунулся из него наполовину. Потом он сел наконец за стол и начал писать. Несколько раз он рвал листы бумаги и бросал их в корзину. Это продолжалось довольно долго. Лицо его покрылось каплями пота, руки дрожали. Затем он встал и сказал сдавленным голосом:

– Да. Я понимаю, что вы стали жертвами чудовищной ошибки. Я обещаю вам, *как вы того требуете*, произвести по этому поводу строжайшее расследование и жестоко наказать тех, кто в этом виноват. Центральная власть в моем лице просит вас принять ее извинения. Вы свободны.

Он позвонил. Вошел офицер в голубом мундире. Он передал ему пропуск, мы вышли из кабинета и опять углубились в бесконечные переходы и коридоры, стены которых были густо увешаны все теми же картинами, и получалось впечатление, что мы идем вдоль какого-то портретного строя полуофицеров, получиновников, многочисленных и одинаковых. Наконец мы дошли до огромных ворот, которые беззвучно распахнулись перед нами. Тогда я повернул голову, чтобы обратиться к моему спутнику, но чуть не остановился от изумления. Человека в лохмотьях больше не было. Рядом со мной шел высокий бритый мужчина в прекрасном европейском костюме, и на его лице была насмешливая улыбка. Когда ворота так же бесшумно затворились за нами и раньше, чем я успел сказать слово, он сделал мне приветственный жест рукой, повернул направо и исчез. Сколько я ни искал его глазами, я не мог его найти.

Был душный летний вечер, на улицах горели фонари, гудели проезжавшие автомобили, зажигались зеленые и красные огни на перекрестках. Испытывая счастливое чувство свободы, я думал одновременно о том, что я буду делать в этом чужом городе чужой страны, где я никого не знаю и где у меня нет пристанища. Но я продолжал идти. Автомобильное движение стало затихать. Я перешел неширокую реку по мосту, с обеих сторон которого были огромные статуи русалок, потом пересек какой-то бульвар и начал подниматься по улице, отходившей оттуда несколько вкось. Там уже было совсем тихо. Я прошел так двести или триста метров. На повороте этой улицы, за которой шла другая, вся застроенная одноэтажными или двухэтажными особняками, неяркий фонарь освещал металлическую синюю дощечку, прибитую к стене. Я подошел к ней вплотную – и тогда с удивительной медленностью, точно из далекого сна, белые буквы латинского алфавита, сначала совершенно расплывчатые, потом затвердевающие и становящиеся все более и более отчетливыми, возникли перед моими глазами. Они появились, затем стали мутными и снова расплылись, но через секунду появились опять. Я вынул папиросу и закурил, обжигая себе пальцы спичкой, – и только тогда я понял счастливую последовательность этих знаков. На синей таблице белой краской были выведены слова: 16 Arr-t. Rue Molitor.

Я давно привык к припадкам моей душевной болезни, и в том, что у меня оставалось от моего собственного сознания, в этом небольшом и смутном пространстве, которое временами почти переставало существовать, но в котором все-таки заключалась моя последняя надежда на возвращение в реальный мир, не омраченный хроническим безумием, – я старался стоически переносить эти уходы и провалы в чужое или воображаемое бытие. И все-таки каждый раз, когда я оттуда возвращался, меня охватывало отчаяние. В невозможности победить этот необъяснимый недуг было нечто вроде сознания своей обреченности и какого-то нравственного увечья, которое делало меня не похожим на других, точно я не заслуживал общедоступного счастья быть таким же, как все. В тот вечер, когда я прочел эти буквы на синей дощечке, – после нескольких секунд радости я испытал нечто похожее на тягостное чувство человека, которому еще раз был подтвержден неумолимый диагноз. Вечерний Париж показался мне иным, чем всегда, и, конечно, не таким, каким

он был, и эта перспектива фонарей и листьев, освещенных фонарями, только оттеняла с трагической убедительностью ту непоправимую печаль, которую я ощущал. Я думал о том, что мне предстоит в будущем и как сложится моя жизнь, мое подлинное существование, которое мне было так трудно нащупать и отыскать в этой массе болезненных искажений фантазии, преследовавших меня. Я не мог довести до конца ни одной задачи, требующей длительного усилия или для разрешения которой была необходима известная и непрерывная последовательность. Даже в мои отношения с людьми всегда входил или всегда мог войти тот элемент бредового затмения, которого я мог ожидать каждую минуту и который искажал все. Я не мог быть целиком ответственен за свои поступки, не мог быть убежден в реальности происходившего, мне нередко было трудно определить, где кончается действительность и где начинается бред. И теперь, когда я шел по Парижу, этот город казался мне не более убедительным, чем столица фантастического Центрального Государства. Я начал свое последнее путешествие именно с Парижа; но где и когда я мог видеть нечто похожее на тот воображаемый лабиринт, куда меня повлекло властное движение моего безумия? Реальность этого прохода была, однако, предельна, и я помнил его поворот и эти непонятные углубления его стен не менее ясно, чем все дома улицы, на которой я действительно жил в Латинском квартале. Я знал, конечно, что улица существует, а проход возник только в моем воображении; но эта бесспорная разница между улицей и проходом была лишена для меня той каменной и неподвижной убедительности, которую она должна была иметь.

Затем мои мысли приняли другое направление. Почему именно я очутился здесь, в этом квартале Парижа, а не в другом, не на Монмартре, например, или на Больших бульварах? Вряд ли это могло быть случайным. Я не мог вспомнить, куда я направлялся, когда я вышел из дому, и что побудило меня предпринять это путешествие. Во всяком случае, я шел, не видя ни домов, ни улиц, потому что в это же время я находился в тюрьме Центрального Государства; но все-таки я двигался в определенном направлении и, вероятно, не ошибся в маршруте, хотя было очевидно, что та часть моего сознания, которая вела меня всю дорогу, действовала вне какого бы то ни было контроля с моей стороны. Она должна была быть автоматически безошибочна,

как это случается всякий раз, когда человек не думает о том, что он делает, и его движения приобретают быстроту и точность, которые были бы невозможны, если бы эти движения направлялись сознанием. Тот факт, что я оказался здесь, не был случайным. Но куда я мог идти? Несколько лет тому назад я часто проходил этой дорогой, потому что тут жила женщина, с которой я был близок, и в те времена я знал каждый дом и каждое дерево на этом пространстве. Но я расстался с ней уже давно, и после этого улицы, ведущие к ее дому, потеряли их прежний волнующий вид, и их ровные перспективы, в конце которых было здание и квартира на пятом этаже, где был сосредоточен для меня целый мир, одновременно прозрачный и теплый, – представляли передо мной неузнаваемо чужими.

Я не мог вспомнить и почувствовал себя настолько усталым, что решил прекратить эти бесплодные поиски и вернуться домой. В конце концов, это не имело особенного значения. Я долго ехал в метро, потом вышел оттуда на станции «Одеон» и направился к своей гостинице, побуждаемый одним непреодолимым желанием – лечь и заснуть; и когда я наконец оказался в постели, была уже ночь, на улице слышались редкие шаги, женский голос пел из незримого граммофона «Autrefois je riais de l'amor»^[25], я быстро погружался в печальный мрак, беззвездный и теплый, как эта ночь, и вдруг, в последнюю секунду моего пребывания по эту сторону сна, я вспомнил, что собирался быть сегодня вечером на rue Molitor, у моего знакомого, того самого, который так чудесно и неожиданно разбогател.

* * *

Я попал к нему несколькими днями позже. На этот раз ни его квартира, ни телефон на письменном столе, ни книги на этажерках, ни необыкновенная чистота, которая была видна повсюду, не удивили меня, – во-первых, потому, что я не мог быть больше удивлен, чем тогда, когда встретил его в кафе, во-вторых, оттого, что, прожив годы в нищенских притонах, он должен был естественно испытывать тяготение именно к вещам противоположного порядка: вместо апокалипсической грязи – чистота, вместо небрежности –

аккуратность, вместо заплывающего каменного пола – блестящий паркет. Совершенно так же в его манере держаться и во всех его движениях чувствовалась судорожная напряженность свежего барства, со стороны казавшаяся, особенно вначале, несколько стеснительной.

Когда я пришел к нему, – это было часа в четыре пополудни, – он был не один. У него сидел в какой-то выжидательно-унизительной позе, – и я подумал еще раз, насколько то, что в статьях об искусстве или о театре называлось «пластикой», насколько это находилось в жестокой и почти всегда непереносимой зависимости от условий жизни, среды и состояния здоровья и как это было по-немому выразительно, – небольшой человек лет пятидесяти, с неопределенно-серыми волосами и маленькими глазами, избегавшими глаз собеседника. Он был очень бедно одет; он держал в руках помятую и грязную кепку, которая когда-то была светло-серой, – это можно было заметить по тому, что у самого его козырька, защищенные кнопкой, виднелись светлые клетки материи. Когда я вошел, человек с кепкой, до этого что-то говоривший, замолчал и посмотрел на меня сердито и испуганно в одно и то же время. Но хозяин дома встал, поздоровался со мной, – он был подчеркнута любезен, – попросил у меня извинения и сказал своему посетителю:

– Вы можете продолжать, я вас слушаю. Вы говорите, что это произошло в Лионе?

– Да, да, в Лионе. Так вот, извольте видеть, после того, как я был арестован...

И он довольно складно рассказал, как он ехал на мотоциклете, сбил нечаянно с ног прохожего и как после этого началась длинная серия его несчастий. По тому, как он это говорил, без запинки и с удивительной невыразительностью, так, точно речь шла не о нем, а о каком-то третьем лице, участь которого вдобавок ему совершенно безразлична, было видно, что он повторял эту историю много раз и она даже для него самого потеряла всякую убедительность. Я не знаю, отдавал ли он себе в этом отчет. Все сводилось к тому, что после выхода из тюрьмы у него отобрали бумаги и теперь он был лишен возможности поступить на какую бы то ни было работу и оказался таким образом в безвыходном, как он сказал, положении. Когда он произнес это, я вдруг вспомнил, что однажды уже видел его и слышал именно эти слова, интонация которых никогда, по-видимому, не

менялась. Я даже вспомнил, где и в каких обстоятельствах это происходило: это было возле Монпарнасского вокзала, и его слушателем тогда был грузный мужчина с полукупеческой, полуразбойничьей бородой и таким же лицом – широким, хамским и важным одновременно. После этих слов о безвыходности он сделал паузу и потом сказал, несколько отвернувшись и равнодушно всхлипнув два раза, что если ему не помогут, то ему остается только самоубийство. Он прибавил, взмахнувши при этом рукой, с небрежным отчаянием, что он лично давно потерял вкус к жизни, – он выразился иначе, но смысл был именно такой, – а вот жены ему жаль, она, быть может, не вынесет этого, она и так всегда тяжело хворает не по своей вине. Мне казалось, что упоминание о вине было по меньшей мере странным, но он тотчас же пояснил, что второй муж его жены – сам он был третьим – заразил ее сифилисом, и вот теперь это, как он сказал, все время отражается на ее здоровье.

– Да, – задумчиво сказал хозяин, – действительно...

И потом спросил совершенно другим голосом:

– Кто вам дал мой адрес?

– Как вы говорите?

– Я вас спрашиваю, кто вам дал мой адрес?

– Я, извините, проходил, так вот подумал, может, здесь русские живут...

– Одним словом, не хотите говорить. Дело ваше. Только я-то знаю, что ваша фамилия Калиниченко, арестованы вы были не в Лионе, а в Париже, и не за то, что кого-то сбили мотоциклетом, а за кражу.

Человек с кепкой пришел в необыкновенное волнение и сказал, заикаясь от злобы, что раз о нем такое несправедливое мнение, то он лучше уйдет. Приниженность его исчезла, и маленькие его глаза приняли свирепое выражение. Он встал и быстро вышел, не попрощавшись.

– Вы его знаете? – спросил я.

– Конечно, – ответил он. – Мы все более или менее знаем друг друга, я хочу сказать, все, кто принадлежит или принадлежал к этой среде. Он только не думал, что Павел Александрович Щербаков, живущий в этой квартире, и адрес, который ему дал Костя Воронов, хотя он мне клялся, что никому его не сообщит, – что этот Щербаков –

тот же самый, который жил на rue Simon le Franc. Иначе он, конечно, не стал бы мне рассказывать историю с Лионом и мотоциклетом, которую ему придумал и сочинил за тридцать франков Чернов, бывший писатель, потому что у него самого не хватило бы на это воображения.

– Он же изобрел больную жену?

– Не совсем, – сказал Щербаков. – Женат мой посетитель никогда не был, насколько я знаю, в этой среде многие юридические формальности не нужны, но женщина, с которой он живет, действительно сифилитичка. Не могу вам сказать, впрочем, была ли и она когда-нибудь замужем; сомневаюсь. Согласитесь, что это не имеет значения. А теперь, после всего этого, разрешите мне наконец сказать, что я рад вас видеть у себя.

И разговор тотчас же принял совершенно другой характер, подчеркнуто культурный; в нем, как и во всем остальном, чувствовалось желание Павла Александровича забыть о том, что предшествовало теперешнему периоду его жизни. Но начал он все-таки – иначе он не мог – именно с этого сопоставления.

– Я так долго был лишен, – сказал он, – доступа к тому миру, который некогда был моим... Может быть, потому, что я плохой философ и уж наверное не стоик. Я хочу сказать, что для философа внешние условия жизни – вспомните пример Эзопа – не должны были играть никакой роли в развитии человеческой мысли. Но должен вам сознаться, что некоторые материальные подробности, во власти которых может оказаться человек, – насекомые, грязь, холод, дурные запахи...

Он сидел в глубоком кресле, курил папиросу, и перед ним стояла чашка кофе.

– ...все это действует самым неприятным образом. Может быть, это закон душевной мимикрии, который идет слишком далеко. Это, в конце концов, понятно: мы знаем иногда, какие обстоятельства обуславливают начало действия того или иного биологического закона, но мы не можем предвидеть, когда это действие прекратится, и не можем быть уверены, что оно во всем будет целесообразно. Почему, собственно, оттого, что я живу в недостаточно хороших условиях, король Лир или Дон-Кихот теряют для меня значение? А между тем это так.

Я слушал его рассеянно, перед моими глазами, упорно возвращаясь, все вставал тот апрельский день позапрошлого года, когда я его увидел впервые, его декоративные лохмотья и темное, небритое лицо. Теперь над его головой стояли книги в тяжелых кожаных переплетах, и это медлительное щегольство его речи ни в какой степени не могло казаться неуместным. Я провел с ним целый вечер и ушел, унося с собой воспоминание об этой неправдоподобной метаморфозе, которую я все никак не мог переварить и в которой было нечто резко противоречившее всему, что я до сих пор, сознательно или бессознательно, считал приемлемым. Этот человек начинался в области фантазии и переходил в действительность, и в его существовании – для меня – был элемент роскошной абсурдности какого-нибудь персидского сказания, и я не мог к этому привыкнуть.

Через некоторое время после этого мне пришлось – совсем случайно – опять столкнуться с обитателями rue Simon le Franc. Я встретил одного из моих бывших товарищей по гимназии, которого я давно потерял из вида, но о котором время от времени читал в газетах, чаще всего по поводу его очередного ареста или судебного приговора. Это был удивительный человек, хронический алкоголик, который прожил целую жизнь в пьяном тумане и которого только необыкновенное здоровье предохраняло от могилы. В начале своего пребывания во Франции он работал на разных фабриках, но этот период продолжался недолго: он сошелся с какой-то состоятельной женщиной, проводил с ней время во всевозможных кабаре, затем уличил ее в неверности, стрелял в ее нового любовника, попал за это в тюрьму и, выйдя оттуда, стал вести уж совершенно беспорядочную жизнь, о которой было трудно составить себе сколько-нибудь связное представление. То он работал садовником на юге Франции, то ехал в Эльзас, то оказывался в какой-то пиренейской деревне. Но большей частью он жил все-таки в Париже, в далеких его трущобах, от одной темной истории к другой, и когда он рассказывал об этом, в его повествовании всегда фигурировали освобождения за недостатком улик и выяснившиеся недоразумения. Впрочем, следить за его рассказом не было просто никакой возможности, нельзя было определить, где кончается его пьянство и где начинается его сумасшествие; во всяком случае, ни о какой хронологической последовательности того, что он говорил, не могло быть и речи.

– Ты понимаешь, как раз когда я приехал из Швейцарии, она мне говорит, что эта самая итальянская художница хотела уехать в Сицилию, но в это время приходит, можешь себе представить, полицейский инспектор по поводу того греческого журналиста и спрашивает меня, что я делал две недели тому назад в Люксембурге, а она говорит, что доктор, который лечил англичанина, подвергся ночью нападению, – голова вдребезги, понимаешь, тяжело раненный, решает прямо обратиться к моделистке, которая живет возле Porte d'Orleans.

Он говорил так, точно каждый его собеседник был подробно осведомлен обо всех, кого он упоминал. Вместе с тем я никогда не слышал даже от него самого ни о художнике, ни о греческом журналисте, ни о докторе и не был уверен, что они вообще существовали в том временном и случайном их облике, в каком они возникали из его слов. В постепенной атрофии его умственных способностей или, скорее, в невероятном их смещении понятие о времени исчезало совершенно, он не знал, в котором году мы живем, и какая-то внешняя последовательность его собственного существования казалась чудесно неправдоподобной. Так он бродил по Парижу, в многолетнем пьяном безумии, и было удивительно, что он как-то попадал домой и кого-то еще узнавал. Но в последние годы он сильно сдал, был болен чахоткой и не мог уже жить как раньше. Я как-то встретил его на улице, он попросил у меня денег, я дал ему то, что у меня было с собой, а через несколько дней получил от него письмо, в котором он писал, что лежит больной в своем номере гостиницы и что ему нечего есть. Я поехал туда.

Он жил на окраине города, недалеко от боен, – и я нигде не видел более свирепой нищеты. Внизу, у стойки, небрежно споласкивал стаканы мутного стекла татуированный человек с ублюдочно-уголовным лицом, сказавший мне, что Мишель живет в номере тридцать четыре. По лестнице, узкой и крутой, спускались и поднимались какие-то подозрительные субъекты, и на каждом этаже был свой собственный, особенный оттенок тяжелой вони, которой было, казалось, пропитано все здание. Мишка лежал на кровати небритый, осунувшийся и худой. Рядом с изголовьем постели сидела женщина лет шестидесяти, густо и неумело покрашенная, в черном пальто и ночных туфлях. Когда я вошел, Мишка сказал ей по-русски:

– Теперь ты можешь уходить.

Она поднялась, произнесла невыразительным голосом: «До свидания!» – открыв рот, в котором не хватало многих зубов, и ушла. Я молча посмотрел ей вслед. Мишка спросил:

– Ты ее разве не помнишь?

– Нет.

– Это Зина.

– Какая Зина?

– Та самая, знаменитая.

Я никогда не слышал ни о какой знаменитой Зине.

– Чем знаменитая?

– Натурщица, красавица. Она была любовницей всех великих художников. Она была моей любовницей тоже, но сейчас, ты понимаешь, это дело прошлое, для меня женщины больше не существуют, мне дыхания не хватает. Это как раз незадолго до того, как я был в Версале, когда имел дело с этим албанским архитектором, у которого было недоразумение с моей швейцаркой...

– Подожди, подожди, – сказал я. – Расскажи мне лучше о Зине.

– Она теперь живет с таким стрелком, – сказал Мишка. Он был совершенно трезв, – вероятно в первый раз за очень долгое время. – Мелкая такая сволочь, у меня с ним было дело лет пять тому назад, он у меня деньги было украл, которые я получил тогда от этой англичанки, она как раз выходила замуж и...

– Украл или не украл?

– Он-то украл, да потом отдал, я его прикрутил. Такая мышастая сволочь, знаешь. Ну, она его, конечно, сифилисом заразила. Он-то вообще всегда был стрелок, он рассказывает историю с мотоциклетом, как его в Лионе арестовали. Я ему говорю – какой там Лион, когда я тебя по версальской тюрьме помню, – а хуже нет тюрьмы, клянусь честью, тысячу раз лучше Сантэ, Боже тебя упаси попасть в версальскую, это я тебе товарищеский совет даю. А ему всю историю жизни написал Алексей Алексеевич Чернов, – вот это, брат, талант. У меня даже одна его вещь есть, напечатана на машинке.

И он действительно достал с полки грязно-серую тетрадку, углы которой были сильно обтрепаны, и протянул ее мне. Это был рассказ Чернова «Перед грозой». Я прочел первые строки:

«Над величественным, как всегда, Петербургом спускались зимние сумерки. Петр Иванович Белоконников, богатый человек

сорока лет, принадлежавший как по своему происхождению, так и по образованию, которое он получил в пажеском корпусе, к большому свету Северной Пальмиры, шел по тротуару, распахнув шубу. Он только что расстался с Бетти, которая была его любовницей, и из его головы не выходила мраморная белизна ее груди и жгучие ласки ее роскошного тела».

Я расспрашивал Мишку об этих людях, которых он хорошо знал. Несмотря на бессвязность его рассказа, я все-таки выяснил, что Алексей Алексеевич Чернов был тот болезненного вида оборванный старик, который просил милостыню у выхода из русской церкви и которого я видел много раз. Я узнал также, что у Зины была дочь, Лида, лет двадцати шести, которая была одно время замужем за каким-то французом; он скоропостижно умер; подозревали отравление, и у Лиды были неприятности. Я успел заметить, что на языке Мишки слово «неприятности» чаще всего значило «тюрьма». Теперь она где-то на улицах продавала цветы.

Я вернулся в гостиницу Мишки через несколько дней, но там его больше не было, и никто не мог мне сказать, куда он делся. Только много позже я узнал, что он умер от чахотки приблизительно через месяц после моего свидания с ним в одном из санаториев под Парижем. Примерно в эти же дни, проходя по бульвару Гарибальди, я заметил группу, которая шла по тротуару навстречу мне. Это были Зина, мышастый стрелок, тот самый, которого я видел у Павла Александровича в день моего визита к нему, и молодая женщина, очень бедно одетая, с нечесаными белокурыми волосами – Лида, такая, какой мне ее описывал Мишка. Они все шли почти рядом. Лида чуть-чуть позади. Я видел, что посередине тротуара лежал большой окурок, к которому они приближались. Когда они подошли к этому месту совсем близко, мышастый человек явно хотел уже нагнуться, но в ту же секунду с необыкновенной ритмической точностью и быстротой Зина толкнула его плечом так, что он едва не упал. Затем небрежным и безошибочным движением она подобрала окурок и тем же шагом пошла дальше. Я невольно вспомнил джигитов, которые, сползая с седла, подхватывают платок, лежащий на земле, в то время как лошадь продолжает идти прежним карьером. Я видел, что Лида улыбнулась, и не мог не заметить, что в ее испитом и нездоровом,

несмотря на молодость, лице была несомненная, но чем-то почти тревожная привлекательность.

А вечером того дня, когда я встретил эту группу и когда в моей памяти были свежи недавние события – визит к Щербакову, посещение Мишки, соображения, связанные с мышастым стрелком, Зиной и ее дочерью, – вечером этого дня меня отделяло от них огромное расстояние, и все это перестало занимать мое внимание. Днем я почувствовал непонятную усталость, вернулся домой и проспал три часа подряд. Затем я встал, умылся и пошел обедать в ресторан, а из ресторана опять домой. Было около девяти часов вечера. Я долго стоял у окна и смотрел вниз, на узкую улицу. Все было как всегда: цветные стекла публичного дома, находившегося напротив, были освещены, и над ними легко было прочесть надпись «Au premier fleur!»^[26], консьержки сидели на стульях, каждая перед своей дверью, и в вечерней тишине я слышал их голоса, переговаривающиеся о погоде и о дороговизне; на углу улицы и бульвара, возле витрины книжного магазина, то показывался, то скрывался силуэт Мадо, вышедшей на свою работу и ходившей взад и вперед все на одном и том же пространстве – тридцать шагов туда, тридцать шагов обратно; где-то неподалеку играло механическое пианино. Я знал на этой улице всех, как я знал ее запахи, вид каждого дома, стекла каждого окна и то убогое подобие существования, характерное для каждого из ее обитателей, в котором я никак не мог понять главного: что, собственно, вдохновляло этих людей в жизни, которую они вели? Каковы могли быть их желания, надежды, стремления и во имя какой, собственно, цели каждый из них послушно и терпеливо делал все одно и то же каждый день? Что могло в этом быть – кроме темного биологического закона, которому они все повиновались, не зная его и никогда о нем не думая? Что вызвало их к жизни из апокалипсического небытия? Случайное и, может быть, минутное соединение двух человеческих тел однажды вечером или однажды ночью, несколько десятков лет тому назад? И я вспомнил, что говорил низенький сорокалетний мужчина в кепке, Поль, служивший шофером на грузовике и живший двумя домами ниже меня, за очередным стаканом красного вина:

– J'ai pas connu mes parents, c'est a s'demander s'il ont jamais existe. Tel, que vous m'voyez, j'ai ete trouve dans une poubelle, au 24 de la rue

Caulaincourt. Je suis un vrai parisien, moi. [27]

И когда я один раз спросил Мадо, на что она рассчитывает в будущем и как может сложиться ее жизнь, она посмотрела на меня пустыми, сильно подведенными глазами и, дернув плечом, ответила, что она никогда не теряла времени на такого рода размышления. Потом она помолчала секунду и сказала, что будет работать до того дня, пока не умрет – *jusqu'au jour ou je vais crever, parce que je suis poitrinaire*. [28]

Я отошел от окна. Механическое пианино безжалостно продолжало играть одну арию за другой. Мне казалось, что я все глубже и глубже погружаюсь в неопределенный душевный туман. Я старался представить себе наиболее полно все, что я мог объять своим воображением, – то, каким мир был сейчас: темное небо над Парижем, огромные его пространства, тысячи и тысячи километров океана, рассвет над Мельбурном, поздний вечер в Москве, шипение морской пены у берегов Греции, горячий полдень в Бенгальском заливе, прозрачное движение воздуха над землей и время, неудержимо уходящее в прошлое. Сколько человек успело умереть с той минуты, что я подошел к окну, сколько их агонизирует сейчас, когда я думаю об этом, сколько тел корчится в смертельных судорогах, – тех, для кого уже наступил последний и неумолимый день их жизни? Я закрыл глаза, и передо мной возник «Страшный Суд» Микеланджело, и одновременно с этим я почему-то вспомнил его последнее письмо, в котором он говорит, что не может больше писать. Я вспомнил эти строки и ощутил холод в спине: эта рука, которая не могла писать, высекла из мрамора Давида и Моисея – и вот гений его растворился в том же самом небытии, из которого он возник; и каждое его произведение – это была кажущаяся победа над смертью и над временем. Для того чтобы эти понятия – время и смерть – появились передо мной во всей их непоправимости, нужно было проделать долгий путь медленного углубления, нужно было победить звуковую неубедительность этой последовательности букв «р», «е», «м», и только тогда проявлялась эта бесконечная перспектива моего собственного умирания. Строки письма Микеланджело звучали в моих ушах, я отчетливо видел печатную страницу, дату «Рим, 28 декабря 1563 года» и адрес: «Лионардо ди Буанорроти Симони, Флоренция». «Я получил в последнее время много писем от тебя и не

ответил. Бели я так поступил, то это оттого, что моя рука мне больше не повинуется». Через два месяца после этого, в феврале 1564 года, он умер. Вспомнил ли он еще о трагической грандиозности этой волны мускулов и тел, которые его неумолимое вдохновение так повелительно сталкивало в ад – бесчисленными и безошибочными движениями единственной в мире руки, той самой, которая потом отказалась ему служить, – в дни, когда стала так очевидна иллюзорность его нечеловеческого могущества и земная напрасность его неповторимого гения? Я сидел в кресле и думал с холодным испуганием о том, что, в сущности, несостоятельно все и, в частности, любая отвлеченная мораль и даже недостижимое духовное величие христианства – потому что мы ограничены временем и потому что есть смерть. Я, конечно, давно знал эти мысли, всю мою жизнь, как их знали миллионы людей до меня, но лишь изредка они переходили из теоретического понимания в ощущение, и тогда всякий раз я испытывал особенный и ни с чем не сравнимый ужас. Все, в чем я жил, и все, что окружало меня, теряло всякий смысл и всякую убедительность. И тогда у меня появлялось неизменное и странное желание – исчезнуть и раствориться, как призрак во сне, как утреннее пятно тумана, как чье-то далекое воспоминание. Мне хотелось забыть все, что я знал, все, что составляло, собственно, меня, вне чего нельзя было, казалось, представить себе мое существование, эту совокупность абсурдных и случайных условностей, – так, точно мне хотелось бы доказать себе, что у меня не одна жизнь, а несколько, и, стало быть, тем, в чем я живу сейчас, вовсе не ограничены мои возможности. Я видел, в теоретической и умозрительной перспективе, целую последовательность постепенных моих превращений, и в этой множественности обликов, возникавших передо мной, была надежда на какое-то призрачное бессмертие. Я видел себя композитором, шахтером, офицером, рабочим, дипломатом, бродягой, в каждом превращении была своеобразная убедительность, и мне начинало казаться, что я действительно не знал, каким меня застанет завтрашний день и какое пространство будет отделять меня после этой ночи от сегодняшнего вечера. Где буду я и что будет со мной? Я прожил, как мне казалось, столько чужих жизней, я столько раз содрогался, испытывая чужие страдания, я столько раз чувствовал с необыкновенной отчетливостью то, что волновало других людей,

нередко умерших и далеких от меня, что я давно потерял представление о своих собственных очертаниях. И в этот вечер, как всякий раз, когда я долго оставался один, я был окружен точно чувственным океаном неисчислимого множества воспоминаний, мыслей, переживаний и надежд, которым предшествовало и за которыми следовало смутное и непреодолимое ожидание. Под конец подобное состояние так утомляло меня, что все начинало путаться в моем воображении, и тогда я либо уходил в кафе, либо старался сосредоточить внимание на какой-нибудь одной и вполне определенной идее или системе идей, либо, наконец, вызывал в своей памяти какую-нибудь спасительную мелодию, за которой заставлял себя следить. Я лег в совершенном бессилии на кровать – и вдруг вспомнил «Неоконченную симфонию»; она звучала в вечернем безмолвии моей комнаты, и через несколько минут мне стало казаться, что я вновь в концертном зале: черный фрак дирижера, сложный воздушный танец его палочки, за движениями которой, в побежденной тишине, идут музыкальные переливы – струны, смычки, клавиши, – очередной и, в сущности, почти чудесный возврат далекого вдохновения, остановленного много лет тому назад тем же слепым и беспощадным законом, в силу которого рука Микеланджело стала неподвижной. Наступала ночь, на небе появились звезды, внизу спали консьержки, светилась вывеска «Au panier fleuri», и на углу двигалась, как маятник, Мадо, и все это проходило сквозь «Неоконченную симфонию», не омрачая и не нарушая ее, постепенно расплываясь и исчезая в этом движении звуков, в этой призрачной победе воспоминаний и воображения над действительностью и над очевидностью.

* * *

Я бывал у Павла Александровича почти каждую неделю и подолгу с ним разговаривал. Мне все хотелось выяснить, в частности, как он мог дойти до этого состояния, в котором находился, когда я его встретил, и как, дойдя до этого состояния, он сумел сохранить то, что так резко отличало его от товарищей по несчастью. Я знал, что человеку, ставшему нищим, обычно путь назад отрезан навсегда, не

только в смысле возвращения к материальному благополучию, — многие нищие были сравнительно богаты, я неоднократно видал таких, — но главным образом в том, что называлось общественной иерархией: оттуда люди не поднимались. Я никогда, конечно, не ставил этого вопроса прямо, я даже не намекал на это. Но, сопоставляя некоторые из почти всегда случайных высказываний Павла Александровича, я составил себе об этом представление, не лишенное правдоподобности. Что-то произошло в начале его жизни за границей, я никогда не мог узнать, что именно, какая-то катастрофа, связанная, как мне казалось, с женщиной. После этого он начал пить и спился совершенно. Так продолжалось много лет, и, вероятно, ничего не могло бы его спасти, если бы он не захворал. Он свалился однажды ночью на улице и пролежал так несколько часов, пока его не подобрали и не отвезли в госпиталь. Там его подвергли всестороннему осмотру, сделали все анализы, которые были необходимы, лечили несколько месяцев, и когда он наконец почувствовал себя значительно лучше, врач ему сказал, что он может существовать только при одном условии — полном воздержании от алкоголя. Павел Александрович тотчас же убедился в том, что доктор говорил правду: выпитый стакан вина немедленно вызывал у него рвоты и мучительное заболевание. Он отказался от всяких напитков и через некоторое время стал почти нормальным человеком. Его встрече со мной в Люксембургском саду предшествовало полтора года его жизни, в течение которых он не пил. Он давно уже понимал тягостный позор своего положения; но он был не молод, физически слаб, в его прошлом было много лет того существования, какое и теперь вели его товарищи, и он полагал, что если в ближайшем будущем ничего не изменится, то ему остается только один выход — самоубийство.

Таково было внешнее объяснение того, что с ним произошло. Но было, как мне казалось, и другое — постоянное и пассивное сопротивление той несомненной культуры, которая была для него характерна, этому глубокому падению, какой-то внутренней, быть может почти бессознательный, почти органический стоицизм, который он сам так упорно отрицал.

Я не мог, конечно, не заметить, что в его квартире живет женщина, хотя я ее ни разу не видел, и Павел Александрович никогда не обмолвился об этом ни одним словом. Но я неоднократно замечал

следы ее присутствия: в пепельнице лежали окурки, на которых отпечатались накарминенные губы, едва ощутимый запах духов иногда оставался в комнате. В конце концов, что могло быть более естественно? И вот однажды, когда я пришел, как всегда, к восьми часам вечера, на столе было не два, а три прибора.

– Мы сегодня будем обедать вдвоем, – сказал Павел Александрович, – если вы ничего не имеете против этого.

– Наоборот, наоборот, – поспешно сказал я. В эту же секунду я услышал шаги, повернул голову – и вздрогнул от удивления и необъяснимо тягостного чувства, мгновенно меня охватившего: я увидел молодую женщину, в которой тотчас же узнал дочь Зины, хотя с того дня, что я встретил ее на улице вместе с ее матерью и мышастым стрелком, она изменилась совершенно. Она была хорошо одета, на ней было синее шелковое платье, довольно широкое, в крупных складках, белокурые волосы были завиты, губы накарминены, глаза немного подведены. Но в ее лице оставалось то же самое, что я заметил, когда увидел ее впервые, и что было чрезвычайно трудно определить – нечто притягательное и неприятное одновременно.

Она подала мне руку и извинилась, сказав, что ей не всегда легко говорить по-русски. Она картавила и во время разговора действительно все сбивалась на французский язык, – и тут она была беззащитна. Она говорила приблизительно так, как говорят на улицах бедных парижских окраин, и я опять вздрогнул, услышав эти знакомые интонации, эту движущуюся звуковую массу, убогую и вместе с тем чем-то неподдельно трагическую. Впрочем, она больше молчала, изредка поднимая то на Щербакова, то на меня свой взгляд, несколько раздражавший меня выражением какой-то вздорной, как мне казалось, значительности. Ей было двадцать шесть лет, на вид ей можно было дать, однако, больше, потому что кожа ее лица успела потерять упругую свежесть ранней молодости, и оттого, что в ее голосе слышалась легкая хрипота, когда она его понижала. Но и в этом была своеобразная привлекательность...

В тот вечер я не знал о ней почти ничего. Я мог бы узнать все, но Мишки уже не было в живых. У меня, впрочем, оставались другие источники осведомления, которыми я воспользовался несколько позже: я пригласил в кафе одного из русских бродяг, которого знал по

виду, и на третьем стакане вина он рассказал мне многое об ее жизни. Но это произошло через пять или шесть дней после нашего обеда втроем.

Павел Александрович, как всегда, не прикоснулся к вину, я выпил несколько плотков. Зато Лида выпила четыре стакана. После ужина Павел Александрович спросил меня, люблю ли я цыганские романсы. Я ответил утвердительно.

– Тогда я приглашаю вас на небольшой любительский концерт, – сказал он.

Мы пошли на другую половину квартиры, где мне до сих пор не приходилось бывать. На полу лежал бобрик, стены были оклеены синими обоями. В гостиной стояло пианино. Павел Александрович сел перед ним, несколько раз дотронулся до клавиш и сказал:

– Ну, Лида...

Она начала петь вполголоса, но сразу же было видно, что она, конечно, музыкальна, что она не способна сфальшивить или ошибиться в ритме. Через минуту она, казалось, забыла о нас и пела так, точно была одна в комнате, – одна или перед многочисленной аудиторией. Я знал почти весь ее репертуар, довольно обширный, в который входили французские песенки, цыганские романсы и множество других вещей самого разного и случайного происхождения. Но до этого вечера я не представлял себе, что это может звучать именно так. В свое исполнение, которому никак нельзя было отказать ни в некотором искусстве, ни в музыкальной убедительности, она вносила никогда не изменяющую ей, никогда не прерывающуюся, тяжелую чувственность, которой эти вещи были чаще всего лишены. В звуках ее голоса, то протяжных, то коротких, то глубоких, в самых разных его оттенках повторялось все одно и то же, с такой неотступной настойчивостью, что под конец это перерастало и пианино, и пение, и последовательность рифмованных слов и становилось просто тягостным. В этом было необъяснимое звуковое бесстыдство, и когда я закрывал глаза, передо мной сразу возникала белая пропасть воображаемой кровати и в ней голое тело Лиды и смутный и неверный силуэт мужчины, склоненный над ней. Но самым неприятным в этом было нечто, похожее на личное напоминание, – на то, что каждый ее слушатель тоже не был и не мог быть совершенно чужд этому чувственному миру, в котором было

нечем дышать. И уже тогда я понял, слушая ее пение, что было бы достаточно, быть может, одной случайности, и меня неудержимо потянуло бы к ней, и против этой притягательности могли бы оказаться бессильны и мое невольное к ней презрение, и упорная моя душевная болезнь, влекущая меня в то холодное и отвлеченное пространство, от которого я не мог уйти. Я думал обо всем этом, и мне вдруг стало бесконечно жаль Павла Александровича; надо было полагать, что в том мире, которого она была живым и непреодолимым напоминанием, ему была суждена печальная роль ее бледного спутника, – как в этом звуковом соединении рояля и голоса он мог быть только аккомпаниатором. Я внимательно смотрел на Лиду, – на ее красный рот, на ее глаза, принимавшие время от времени какое-то сонно-влажное выражение, на ритмическое покачивание ее узкого тела, которым она сопровождала свое пение.

Проплянет солнца луч сквозь запертые ставни,
И снова, как вчера, кружится голова,
Мне слышится твой смех, наш разговор недавний,
Как струнный перебор, звучат твои слова.

И вдруг я вспомнил Зину, ее мать, старое, неумело покрашенное ее лицо, беззубый рот и потухший глаза и ревматические ноги в ночных туфлях. Затем я перевел взгляд на Лиду, черты ее лица на секунду расплылись и удалились, и тогда со внезапным холодком в спине я увидел мгновенно исчезнувшее сходство Лиды с ее матерью. До этого, однако, было пока что далеко – и надо было думать, что в течение нескольких долгих лет еще много раз узкое тело Лиды будет двигаться в этом колеблющемся ритме и чьи-то другие глаза будут смотреть на нее с таким же жадным вниманием, с каким я смотрел на нее теперь. Когда она кончила петь, у меня было впечатление, что я пьян; почти тотчас же после этого я ушел, сославшись на необходимость готовиться к экзамену, и только на улице я почувствовал себя свободным.

Несколькими днями позже я разыскал одного из моих старых знакомых, пожилого русского стрелка, которого я издали узнал, потому что его нельзя было спутать ни с кем: волосы на его лице

росли отдельными и разрозненными пучками. Мне пришлось два или три раза видеть его бритым, и тогда он становился похожим на других людей. Но в обычное время, когда он был нормально небрит, в этой странной растительности его лица было нечто почти ботаническое, что-то похожее на пятна серого мха, пробивающегося кое-где сквозь камень. Я пригласил его в небольшое кафе, заказал ему красного вина и сандвичи, – он очень мало ел, как все алкоголики, – и спросил его, знает ли он Зину, ее мужа и дочь. Сначала он отвечал уклончиво, но вино на него быстро подействовало, и он рассказал мне все, что ему было известно об этом, как он выразился, семействе. Мне, однако, стоило большого труда заставить его говорить именно о том, что меня интересовало, потому что он все сбивался на бесконечное повествование о какой-то княгине, бывшей его любовнице, которую он, по его словам, никак не мог забыть и которая сделала такую прекрасную карьеру в Париже, что, впрочем, было понятно, так как она была вообще женщиной исключительной. Я все не мог взять в толк, что это была за карьера, тем более что, как сказал мой собеседник, нужны были долгие годы терпения и осторожности, прежде чем княгиня достигла своей цели. Под конец это все-таки выяснилось: княгиня, оказывается, служила горничной у богатой старухи, которая плохо видела и плохо слышала и которую она систематически обкрадывала. И когда старуха умерла, оставив свое состояние каким-то дальним родственникам, у княгини оказались очень порядочные деньги. Именно тогда она пренебрегла, как он сказал, его любовью и всецело ушла в свою личную жизнь. Он явно искал моего сочувствия, я покачал головой и заметил неопределенно, что бывает всякое и что лучшая участь не всегда есть удел наиболее достойных людей. Он пожал мне руку с пьяным и искренним чувством и перешел наконец к Зине и Лиде. Их историю он рассказывал мне с такими подробностями, которых, казалось бы, никто не мог знать, но он говорил о них так, точно они всем были известны. Прежде всего, по его словам, Зина сама не знала, кто именно был отцом Лиды, потому что вела в эти времена крайне рассеянное существование. До двенадцати лет Лида жила в деревне и только потом приехала к матери. Когда ей было четырнадцать лет, она стала любовницей мышастого стрелка; Зина это узнала, был страшный скандал, она набросилась на своего сожителя и ранила его

ножницами – в припадке женской ревности, – сказал стрелок. Потом, однако, все «вошло в колею», особенно после того, как Лида сбежала из дому и пропала на четыре года. Как именно она их провела, не знал никто, даже мой собеседник. Один из его друзей, Петя Тарасов, правда, говорил ему, что видел, как Лида в Тунисе что-то продавала на набережных; но Пете Тарасову нельзя было верить до конца, так как он пил мертвую, и о нем вообще стрелок отзывался неодобрительно, утверждая, что он человек неверный. Впоследствии, однако, оказалось, что Лида действительно была в Тунисе. Затем она вернулась домой, и по ее виду можно было подумать, что она долго болела.

– Они все жили тогда на улице Simon le Franc? – спросил я.

Нет, они, оказывается, никогда там не жили: у них была постоянная квартира на rue de l'Eglise St. Martin.

– Квартира? – сказал я с удивлением. Я помнил эту улицу, мне казалось, что там вообще не могло быть квартир, там стояли деревянные бараки, где жили польские чернорабочие, арабы и китайцы, а на углу был «Ваг Polski», один из самых мрачных притонов, какие я видел в своей жизни. Правда, по описанию моего собеседника, в квартире Зины, состоявшей все-таки из двух комнат, не было ни воды, ни газа, ни даже электричества. Мне было неловко спросить, откуда Зина брала деньги на бедное свое существование, я знал, что в этой среде подобные вопросы неуместны. Но стрелок мне объяснил, что Зина и Лида хорошо зарабатывали, потому что ходили по дворам и пели, а мышастый стрелок им аккомпанировал на гармонике. Это продолжалось до тех пор, пока Зина не охрипла навсегда по неизвестной причине. Деньги, однако, у них не держались, так как Зина пила, а ее сожитель играл на скачках и то, что Зина не успевала пропить, он проигрывал. На Лиду нельзя было рассчитывать, она жила дома только временами, а не так давно вышла даже замуж за молодого француза, от которого отrekliсь родители и который вскоре умер, впрыснув себе слишком большую дозу морфия, после чего Лида была арестована, но выпущена через несколько дней. Затем мой собеседник сообщил мне, что теперь Лида живет с Пашкой Щербаковым, про которого он тоже рассказал довольно обстоятельно, и, в общем, то, что он говорил, соответствовало действительности. Я не мог не подивиться необыкновенной осведомленности этого

человека. Он знал также биографию мышастого стрелка и злополучную историю с мотоциклетом, сочиненную Черновым, произведения которого ему тоже были хорошо известны. О мышастом стрелке он сказал, что тот в России был когда-то бухгалтером не то в Астрахани, не то в Архангельске, с начала войны служил по интендантству и приехал за границу с кое-какими деньгами, но быстро разорился, проиграв большую часть их в Монте-Карло, а то, что осталось, – на скачках. И даже с Зиной он познакомился на скаковом поле Auteuil, в тот исторический день, когда он поставил чуть ли не все, что у него было, на знаменитого и несравненного Фараона Третьего, лучшую лошадь, когда-либо скакавшую во Франции. Жокей, однако, был подкуплен завистливым конкурентом и, ведя Фараона в хлысте, проиграл на финише, так что к этому нельзя было придаться. Когда мой собеседник рассказывал мне об этом, он явно волновался. Он обнаружил, кроме того, такое знание скаковой терминологии, что его компетентность в этой области не могла вызвать никаких сомнений, – и я подумал, что, в сущности говоря, количество причин, которые доводят людей до rue Simon le Franc, довольно незначительно и причины эти почти всегда одни и те же. – Я потерял состояние, но я приобрел Зину, – произнес будто бы мышастый стрелок после этого дня. – Это тоже, наверное, Чернов придумал, – сказал я, не удержавшись.

На этом мы расстались, и мой собеседник ушел, выразив надежду, что все рассказанное останется между нами. Это была, казалось бы, ненужная и автоматическая фраза, не имевшая никакого смысла, хотя бы потому, что, как он сказал мне в начале разговора, события, о которых шла речь, «были известны всем». Правда, я не принадлежал к числу этих «всех», и в моем интересе к этому миру было нечто незаконное и, быть может, даже неопределенно-враждебное. Так, во всяком случае, могло ему казаться. Это было в какой-то мере понятно, и если бы я был на его месте, я тоже, вероятно, подумал бы о бесцеремонности и неуместности того, что молодой человек, прилично одетый, вдруг вторгается почему-то в ту область, которая отделена от него безвозвратной последовательностью падений – скачки, алкоголь, морфий, тюрьма, сифилис, милостыня, – бессильный разврат и грязь, болезни и физическая слабость, ежедневная перспектива смерти на улице и совершенное, не

допускающее ни малейшего намека ни на какую иллюзию, отсутствие надежды какого бы то ни было улучшения. Я думаю, что он хотел сказать именно это, когда произнес фразу о том, что наш разговор останется между нами. Но он, конечно, не мог знать, что, несмотря на внешнюю разницу между нами, мое положение было, быть может, не менее печальным, хотя и по-другому, чем то, в котором он находился.

Но никто вообще, ни один человек на свете, кроме Катрин, не знал о том, что я был болен этим своеобразным душевным недугом, сознание которого так неизменно угнетало меня. Особенно мучительным было понимание неравенства и превосходства других людей надо мной. Я знал, что в любую минуту я могу потерять ощущение действительности и погрузиться в тягостный бред, становясь на это время совершенно беззащитным. К счастью, я обычно чувствовал приближение такого припадка, но иногда он обрушивался на меня внезапно, и я с тревогой думал о том, что могло бы случиться, если бы это произошло в университетской аудитории, в библиотеке, на улице или во время экзамена. Я делал все, чтобы избавиться от этого, я усиленно занимался спортом, каждое утро принимал холодный душ и мог сказать, что физически я был идеально здоров. Но это ничему не помогало. Может быть, думал я, если бы я пережил землетрясение или крушение корабля в открытом море или вообще какую-то трудно-вообразимую, почти космическую катастрофу, может быть, это было бы спасительным толчком и позволило бы мне сделать первый, самый трудный шаг на том обратном пути к действительности, которого я так тщетно искал до сих пор. Но ничего подобного не происходило и, казалось, не могло произойти, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Я продолжал бывать у Павла Александровича, и если бы не постоянно угадывавшееся присутствие Лиды, – хотя ее я видел сравнительно редко, – я мог бы сказать, что только там я находил настоящий душевный отдых. В спокойной уютности той жизни, которую теперь вел Павел Александрович, было нечто усыпляюще-приятное, и это чувствовалось во всем, начиная от теплых интонаций его голоса и кончая удивительной мягкостью его кресел. Мне казалось, что даже в его обедах было то же самое; я нигде не ел до сих пор такого бархатного супа, таких котлет, такого шоколадного крема. Я относился к нему с самым искренним расположением и испытывал

тягостное чувство, когда думал о том, что с ним может случиться что-нибудь нехорошее. Вероятно, эта мысль не преследовала бы меня, если бы я мог забыть о Лиде. Я, конечно, не позволял себе задавать Павлу Александровичу какие бы то ни было вопросы, касавшиеся этой стороны его жизни; он, в свою очередь, тоже никогда не говорил об этом. Но однажды, во время одного из моих очередных визитов, он сказал мне, – это происходило в пятницу вечером, – что завтра, в субботу, он уезжает из Парижа. Он хотел снять на лето дачу возле Фонтенбло и собирался поехать туда, чтобы не спеша осмотреть окрестности, побродить по лесу и окончательно репшть, стоит ли там поселиться в летние месяцы.

– Я много лет не был в лесу, – сказал он. – Но я не забыл о чувстве, которое я всякий раз там испытывал, – чувстве временности всего существующего. Посмотришь на дерево, которому несколько сот лет, и вдруг особенно ясно ощутишь свою собственную кратковременность. Я вам потом расскажу о своих впечатлениях. А Лида остается одна в Париже. Пригласили бы ее в кинематограф, а?

– Да, да, конечно, с удовольствием, – сказал я. И в ту же минуту подумал, что непременно сошлюсь потом на недостаток времени и сделаю все, чтобы от этого уклониться.

Но на следующий день, к вечеру, мне стало казаться, что нарушить обещание, данное Павлу Александровичу, было бы с моей стороны просто некорректно. Я смутно отдавал себе отчет, что это было оправдание столь же искусственное, сколь несостоятельное. Но я не задержался на этой мысли и позвонил Лиде по телефону. Она ответила, что ждет меня, и я поехал к ней после обеда. Она была готова, и мы отправились в кинематограф.

Я хорошо запомнил фильм, который мы видели, фамилию артиста, игравшего главную роль, и его многочисленные приключения. Это было тем более удивительно, что через несколько минут после начала сеанса я случайно коснулся горячей руки Лиды и все помутилось в моих глазах. Я понимал, что происходит нечто непоправимое, но не мог остановиться. Я обнял правой рукой ее плечи, которые мягким и гибким движением приблизились ко мне, и с этого момента я совершенно перестал владеть собой. Когда мы вышли из кинематографа и свернули в первую улицу, – я не мог говорить от волнения, она тоже не произносила ни слова, – я прижал к себе ее

талию, ее губы приблизились к моему рту, я почувствовал прикосновение ее тела под легким платьем и ощутил нечто вроде влажного ожога. Прямо над моей головой горела вывеска гостиницы. Мы вошли туда и поднялись по лестнице вслед за горничной, которая была почему-то в черных чулках. – «Номер девять», – сказал внизу мужской голос.

Над кроватью было вделано в стену большое прямоугольное зеркало, против кровати стояли зеркальные ширмы, несколько в глубине – зеркальный шкаф, и через несколько минут во всех этих сверкающих поверхностях отразились наши тела. В этой фантастической множественности отражений было что-то апокалипсически-кошунственное, и я подумал об Откровении святого Иоанна.

– On dirait de la partouze^[29], – сказала Лида.

У нее было сухое и горячее тело, и все то же ощущение ожога не покидало меня. Мне казалось, что я никогда не забуду этих часов. Я начинал терять себя в этом неожиданном богатстве физических ощущений, и в неизменной притягательности ее тела было нечто почти беспощадное. Слова, которые она произносила сквозь жадно стиснутые зубы, казались до удивительности странными, – так, точно в этом горячем воздухе им не было места, они звучали бесполезным напоминанием о том, чего больше не существовало. Теперь я находился в ином мире, которого я, конечно, не знал до сих пор во всей его женской неотразимости. Вот о чем она пела в тот вечер, когда я ее слушал! Как бледно теперь, едва слышным музыкальным лепетом, звучал в моей памяти аккомпанемент пианино! Обрывки мыслей проносились в моей голове. Нет, я никогда не представлял себе, что могу быть всецело захвачен физической страстью, такой сплошной, что она почти не оставляла места ни для чего другого. Я пристально смотрел вниз, на лицо Лиды, иступленное и одухотворенное, на полуоткрытые, широкие ее губы, чем-то напоминавшие мне изуверские линии рта какой-то каменной богини, которую я видел однажды – но я забыл, где и когда. В зеркалах по-прежнему двигались многочисленные руки, плечи, бедра и ноги, и я начинал задыхаться от этого впечатления множественности.

– Мой дорогой, – сказала Лида невыразительным голосом, и мне казалось, что этим звукам трудно было пробиться через густую

чувственную муть, – я никогда не любила так, как тебя.

Она лежала теперь рядом со мной, усталая и точно измятая длительным напряжением. Но постепенно ее голос становился глубже и звучнее.

– Je n'ai pas eu de chance dans ma vie^[30], – продолжала она, – потеряла невинность, когда мне было четырнадцать лет.

Она переходила все время с французского на русский и с русского на французский.

– Ты не знаешь любовника моей матери? Он уже тогда был старик, он мягкий, как тряпка, он не мужчина. Мне было больно и скучно, мне хотелось плакать от того, что все так отвратительно. Est ce que tu me comprends? Dis-moi que tu me comprends.^[31]

Я кивнул головой. Она лежала голая, – рядом со мной, надо мной и подо мной, – отражаясь в неподвижном блеске зеркал. И мне опять стало казаться, как это иногда случалось, – что из страшной, стеклянной глубины на меня смотрят пристальные и остановившиеся глаза, в которых я с холодным отчаянием узнаю свой собственный взгляд.

Мне нужны были необыкновенные усилия, чтобы победить охватившее меня отвращение к Лиде и к себе самому. Ее, впрочем, я был склонен обвинять меньше, чем себя. В моем поведении был элемент такой явной подлости, которой я до сих пор за собой не знал. После этого кто мог сказать, на что я был еще способен и какая другая низость остановила бы меня? Все, что во мне было – как я думал – отдаленно положительного, оказалось сметено одной случайностью, и, стало быть, какова же была ему цена? Другие, более непосредственные соображения занимали меня. Я думал, что если бы речь шла только обо мне, никто – и в первую очередь Павел Александрович – не узнал бы об этом вечере с Лидой. Но в ней я не мог быть уверен. Она была способна рассказать это следующему своему любовнику, она могла, в конце концов, признаться Павлу Александровичу, и это поставило бы меня в безвыходное положение. Как я мог сделать это несуществующим и сколько бы я дал, чтобы вернуть то, что было в начале вечера? Я лежал рядом с ней и думал об этом. Чтобы не видеть ее, я закрыл глаза, и передо мной появилась привычная мягкая мгла, та самая, из которой я столько раз уходил и в которую столько раз возвращался, переходя из одного мира в другой и

вновь находя себя в этой беззвучной пропасти, после каждой душевной катастрофы. Я погрузился в знакомое безмолвие, пустое и мертвое настолько, что там плохли отзвуки даже едва минувшего несчастья, потому что там больше ничто не имело значения. Еще какой-то свет, слабея, мерцал передо мной, где-то далеко умирали последние смутные звуки, доходившие до меня. И рядом со мной, в этом безмолвном пространстве, лежало голое тело Лиды, неподвижное, как труп.

– Monsieur, la seance est termine^[32], – сказал издали чей-то женский голос.

Потом он приблизился и повторил:

– La seance est termine, monsieur.

Я открыл глаза. Я сидел в опустевшем зале кинематографа, полотно потухшего экрана было уже закрыто занавесом. Служащая, сказавшая мне эти слова, смотрела на меня с удивлением и сочувствием.

– Excusez-moi, – сказал я. – Merci de m'avoir reveille, m-lle.^[33]

Я вышел из кинематографа. На небе были звезды, ночь была теплая и тихая. Стояли настоящие каменные дома, с железными, запертыми ставнями, видны были неподвижные повороты улиц, окна кафе были ярко освещены. И кажется, в первый раз за все время мое возвращение к действительности было не только лишено того печального оцепенения, которым обычно сопровождалось, но в нем было нечто почти мажорное. Я думал, что усилия воли когда-нибудь восторжествуют над моим недугом и все, что так неотступно преследует меня теперь, исчезнет не на время, а навсегда. И тогда начнется, конечно, настоящая жизнь. Позже, всякий раз, когда ко мне возвращались видения, связанные с воображаемой встречей, Лидой, гостиницей и зеркалами, я тотчас же начинал думать о другом, хотя я знал и не мог себя обманывать: то, что мне казалось отвратительным, в сущности, произошло, и если это не было облечено в осязаемую форму свершившегося факта, то это была случайная и лишняя значения подробность. Но именно отсутствие факта было моим неопровержимым доводом, моим бесспорным оправданием – и в тот вечер эта обманчивая очевидность казалась мне счастливым разрешением вопроса.

Через некоторое время после этого я опять обратился к моему осведомителю, которого найти было нетрудно: если это происходило днем, нужно было идти в кафе возле *place Maubert*, где бывали обычно собиратели окурков: ночью надо было отправляться на Монпарнас. У этого человека в его бесконечных странствиях через Париж были места, куда он неизменно приходил, как другие люди приходят в клуб. После второго стакана вина он готов был рассказать все, что угодно, – то, что он действительно знал, то, что он слышал, и даже то, чего он не знал, но что составляло предмет его размышлений. Правда, о чем бы ни шла речь, начинал он всегда с одного и того же – со своей княгини, которой он все не мог простить измены.

– Вот мы с вами тут беседуем, – сказал он, вытирая губы не без некоторой очень своеобразной кокетливости, мизинцем правой руки, – а она, стерва, нежится под атласным одеялом в своей квартире. Она не знает, что она у меня в руках.

– Почему она у вас в руках?

– Милый человек, да пойдя я куда нужно, да скажи кому следует: *mesé, vu save arijin sa rišes?*^[34]

Он очень бегло говорил по-французски, произнося, однако, твердо все носовые звуки и ставя всюду русское «а» вместо французского «о».

И он пристально смотрел на меня своими выцветшими и пьяными глазами.

– Но только она подозревает, конечно, что Костя Воронов всегда был *джентелемен*, – и это слово он выговаривал совсем по-своему, – и что он не способен это сделать. Вы знаете, как мое прозвище?

Я ответил, что не имею об этом представления.

– Вот это прозвище мне и дали, – сказал он, – джентелемен. Вот он, перед вами стоит – Костя Воронов, джентелемен, поручик императорской армии. В приказе было написано: «отличился» – как сейчас эти слова помню – «неустрасимым мужеством, подавая пример офицерскому составу и подчиненным...». Вот какому человеку она изменила. И почему? Потому что Костя Воронов не захотел себя скомпрометировать, милый человек, вот почему.

Я плохо представлял, что он, собственно, хотел этим сказать и чем он мог себя скомпрометировать с княгиней, но не настаивал, боясь слишком длительных объяснений. Он смотрел на меня и явно искал сочувствия, как это бывало всякий раз, когда разговор касался его личной жизни. Я опять сказал несколько слов о превратностях судьбы.

– Судьба, это, знаете, одна видимость, – сказал он. – То есть, понимаете, вот какой-нибудь человек живет и думает, что все замечательно, а на самом деле – дурак дураком.

Я спросил Джентльмена, следует ли рассматривать это утверждение как чисто философскую мысль или в нем содержится какой-нибудь намек.

– И то и другое, – сказал он. – С одной стороны, это вообще правильно, а с другой, вот, возьмите Пашку Щербакова, например. Я ничего не говорю, я его, слава Богу, давно знаю. Он человек неплохой, интеллигентный, нашего круга.

Я быстро взглянул на него. Он стоял передо мной, в засаленном и обтрепанном пиджаке, в удивительно узких и дырявых штанах, небритый и мрачный; желтый окурок, прилипший к его губе, слегка дымился.

– Вот он живет теперь как барин, – харч, конечно, квартира и девочка, как полагается.

Он покачал головой и выпил остаток вина. Я подозвал гарсона и заказал ему следующий стакан.

– Люблю, когда человек понимает, – сказал Джентльмен, – русские же мы люди, в конце концов. Да, так вот Пашка. А девочка-то его едва-едва переносит, потому что любит Амара.

– Какого Амара?

– Который ее любовник. А вы не знали?

– Нет.

– А вы ее как-нибудь о нем спросите. Она с ним еще в Тунисе спуталась.

– Он что, араб?

– Хуже, – сказал Джентльмен. – Значительно хуже. Отец его араб, мать полька. Он в Тунисе попался в каком-то грязном деле, сел, конечно, в тюрьму. – «У него были неприятности», – сказал бы Мишка. Она его оттуда и выписала.

- Кто?
- Лида, конечно. А вы что, удивляетесь?
- Да нет, это понятно.
- Только все это между нами.
- Можете быть спокойны.

Во всем, что рассказал мне Джентльмен, не было, конечно, ничего неожиданного; наоборот, казалось бы скорее удивительным, если бы это было иначе. Но я не мог отделаться от неприятного чувства за Павла Александровича. Как случилось, однако, что он так мало, по-видимому, знал о Лиде? Как могло быть, что, имея вполне определенное представление о мышастом стрелке и о Зине, он пропустил в этом самое главное – биографию Лиды? Я знал со слов Джентльмена, что Павел Александрович только слышал о ее существовании, но увидел ее впервые совсем недавно, на улице, и его тронуло то, что она была так явно бедна и несчастна, – и с этого все началось. Она, вероятно, рассказала ему о себе, и только то, что нашла нужным рассказать, скрыв от него все остальное. Он, кроме того, был на тридцать лет старше ее, и против этой разницы в возрасте оказались бессильны и его постоянное недоверие к людям, и его личный душевный опыт. Но все-таки – не мог же он в такой степени обманываться на ее счет? Я всегда предполагал, что дочь Зины не должна быть мечтательной девушкой с далекими глазами, а после того, как я ее увидел и услышал ее пение, у меня не оставалось больше никаких сомнений в ее нравственном облике. И то, что таких очевидных вещей не знал – или делал вид, что не знал, – Павел Александрович, оставалось только объяснить его невольным и катастрофическим ослеплением.

Прошло несколько недель. И вот, так же случайно, как в тот раз, когда я встретил на бульваре Гарибальди Зину, мышастого стрелка и Лиду, я оказался однажды вечером на площади Бастилии. Я очень давно не бывал в этом районе. Я поехал туда потому, что в одном из больших кафе этого квартала должен был выступить с речью знаменитый испанский революционер, высказывания которого давно привлекали мое внимание отсутствием в них наивной глупости, столь неизменной в обычных речах политических ораторов. Он читал лекцию о социализме и пролетариате; он был талантливый человек, и в его изложении эти вещи приобретали какое-то человеческое

содержание, и, слушая его, я невольно думал о том, в какой степени подлинный смысл этих проблем был искажен и изуродован десятками невежественных и неумных политических чиновников, которые почему-то считались представителями рабочего класса и стояли во главе синдикатов, партий или правительств. Лекция кончилась немного позже одиннадцати часов вечера. Когда я проходил по площади мимо знаменитой своими повсеместно рекламируемыми притонами rue de Larpe, на углу остановилось красное такси и из него вышла Лида, а вслед за ней человек среднего роста с темным, худым лицом, в сером костюме и серой шляпе, надвинутой почти до ушей. Он отдаленно напомнил мне хозяина Мишкиной гостиницы, но не потому, что был на него похож, а оттого, что в его лице – насколько я успел его рассмотреть за несколько секунд – было тоже нечто убудочное и преступное. То, что еще подчеркивало такое впечатление, это его выражение тяжелой глупости; было видно, что этот человек не привык и не умел думать. Тонкое лицо Лиды рядом с ним казалось почти отвлеченным. Мои глаза встретили ее взгляд, я сделал вид, что не вижу и не узнаю ее; она тоже как будто меня не узнала. Я быстро прошел мимо них, но потом остановился и посмотрел, куда они направились, – к освещенному входу в дансинг. Я заметил с некоторым удивлением, что Амар, – я не сомневался, что это был он, – шел не очень быстро и слегка волочил левую ногу.

Это происходило в среду. В субботу вечером я должен был обедать у Павла Александровича. В четверг, когда мы с ним улаживались об этом по телефону и он спрашивал меня, как идут мои дела, я ответил, что почти не выхожу из дому, так как у меня спешная работа. Это точно соответствовало действительности: я писал длинную статью о Тридцатилетней войне, заказ на которую получил один из моих товарищей, передавший его мне. Статья эта должна была быть подписана фамилией одного очень известного публициста и писателя, человека со средствами, заработавшего крупные деньги книгами о диктаторах и министрах разных государств. Я не был уверен, что он сам мог бы написать такую статью, хотя я его лично не знал и мог бы сослаться только на категорическое утверждение моего товарища, сказавшего мне, что знаменитый автор «не был обременен знаниями в какой-либо области, за исключением благороднейшего скакового спорта». Но дело было

даже не в этом, а в том, что у знаменитого журналиста был бурный роман с не менее знаменитой кинематографической артисткой. Он ездил с ней по всем модным ночным кабаре, возил ее на Ривьеру и в Италию, – одним словом, у него совершенно не было времени думать о каких бы то ни было статьях. Впрочем, это случалось не впервые в его жизни. Но так или иначе, возможность этого заработка была для меня слишком соблазнительна, чтобы ее пропустить. Несколько дней я провел в Национальной библиотеке, делая длинные выписки из разных книг, потом принялся за работу дома. До заключительных страниц, однако, мне еще было далеко, и я думал о Вестфальском мире с не меньшим нетерпением, чем Ришелье, но с той разницей, что мне были известны его последствия, которых французский кардинал, как, впрочем, любой его современник, предвидеть не мог, и в свете которых вся политика Франции начала семнадцатого столетия приобретала совершенно другое значение, чем то, какое ей придавал и сам кардинал, и Рёге Joseph, страшный своим личным бескорыстием, по крайней мере внешним. Но чем больше я думал об этом старом босом капуцине, тем больше мне казалось несомненным, что только безмерное и скрытое честолюбие предопределило и его политику, и его жизнь. И мне представлялось чрезвычайно убедительным утверждение одного из историков этого периода, который писал, что самые опасные люди в политике – это те, кто презирает непосредственные выгоды своего положения, кто не стремится ни к личному обогащению, ни к удовлетворению классических страстей и чья индивидуальность находит свое выражение в защите той или иной идеи, той или иной исторической концепции. К сожалению, я лишен был возможности высказывать свои собственные соображения по поводу Тридцатилетней войны, и необходимость писать в совершенно определенном духе мешала мне и тормозила мою работу. Участь Густава-Адольфа, в частности, должна была быть оставлена без сколько-нибудь обстоятельного комментария, так же как роль Валленштейна, которого, однако, грандиозные и хаотические замыслы заслуживали, как мне казалось, большего внимания, чем политика Ришелье. Мне особенно мешало еще и то, что в отличие от журналиста, именем которого должна была быть подписана статья и которому была вполне безразлична участь любого исторического лица, точно так же, как любая историософская идея, меня

интересовала судьба всех политических деятелей и полководцев, участвовавших в этой войне. И несмотря на трехсотлетнюю давность, отделявшую меня от них, я ловил себя на том, что по отношению к каждому из них я испытывал чувства, которые способен был бы испытывать их современник, – хотя я не мог не понимать, что в изложении разных историков образы этих людей были искажены и стилизованы не меньше, чем они были изменены вдохновением Шиллера. Мне казалось, что нельзя было относиться к Ришелье иначе, чем с презрением, как нельзя было не писать некоторого уважения к Pere Joseph. В судьбе Тилли, в убийстве Валленштейна и особенно в смерти Густава-Адольфа я искал некий скрытый символический смысл – и, конечно, все эти соображения были вовсе неуместны для той работы, которую я делал. Когда потом мне пришлось встретиться с фиктивным автором этой статьи, – он оказался толстым, лысым человеком средних лет, с одышкой и мутными глазами, – он искренно удивлялся, читая страницы, которые я написал. Я думаю, что его расхождение со мной по поводу разных исторических оценок было бы еще более резким, если бы он имел сколько-нибудь связное представление о том, что было темой его статьи. Он немного ее переделал, но так как у него не хватало времени, то он должен был ограничиться чисто поверхностными, по его убеждению, изменениями: он поставил всюду, где мог, многоточия и восклицательные знаки, что придавало моему изложению претенциозно-назидательный вид и вносило в него оттенок дурного вкуса, которого, как мне казалось, поначалу не было, но который был неизменно характерен для этого невежественного и развязного человека.

Но все это произошло несколько позже, а в пятницу, часа в три дня, когда я сидел и писал, в мою дверь постучали. Это меня удивило, так как я никого не ждал.

– Войдите! – сказал я.

Дверь отворилась, и я увидел Лиду. На ней был серый костюм, белая, очень декольтированная блузка и серая шляпа. Глаза ее сразу же так пристально уставились на меня, что я испытал некоторую неловкость. Я подвинул ей кресло. Затем я спросил ее, чему я обязан удовольствию ее видеть у себя.

– Я пришла к вам потому, что я считаю вас порядочным человеком.

– Очень польщен, – сказал я с некоторым нетерпением. – Но все-таки, вероятно, ваш визит имеет какую-нибудь более непосредственную цель? Не пришли же вы ко мне только для того, чтобы поставить меня в известность о вашей личной оценке моих моральных качеств?

Она продолжала смотреть на меня в упор, это раздражало меня.

– Мы с вами недавно встретились, – сказала она. – Вы говорите о том вечере, когда мы обедали у Павла Александровича?

Она взглянула на меня глазами, в которых было выражение скуки и упрека, и тогда я впервые подумал, что она может быть по-своему умна.

– Вы непременно хотите разговаривать со мной таким ироническим тоном, явно давая мне понять, что считаете меня дурой?

Она перешла на французский язык; по-русски такая фраза была бы для нее слишком трудна.

– Боже сохрани!

– Вы видели меня на площади Бастилии, куда я приехала с моим любовником.

– Извините меня, ваша личная жизнь меня не касается.

– Да, да, я понимаю, – сказала она с нетерпением. После ее слов о том, что я видел ее на площади Бастилии, было ясно, зачем она пришла ко мне.

– Я думаю, что вы напрасно теряете время, – сказал я. – Вы надеетесь, что я никому не расскажу об этой встрече, не так ли?

Она сделала гримасу, точно проплотила что-то невкусное.

– Да.

– Слушайте, – сказал я, – я буду с вами совершенно откровенен. Вы не хотите, чтобы Павел Александрович это узнал, потому что вы боитесь потерять ваше положение. Мне тоже не хотелось бы, чтобы это ему стало известно, но по другой причине: мне его жаль.

– Но вы меня понимаете?

– Не будем на этом настаивать, это было бы для вас невыгодно.

И тогда она заговорила с неожиданным и злобным воодушевлением.

– Да, конечно, вы этого не понимаете. Parce que, voyez-vous, vous etes un monsieur^[35]. Вас никто никогда не хлестал по щекам. Вас никто не называл девкой.

– On se tromperait de sexe.^[36]

– Молчите, дайте мне сказать. Вы не таскались по тротуарам, вы не жили неделями, не зная, где вы будете ночевать. Вас не толкали полицейские. Вы не ночевали со вшивыми арабами. Вы не знаете, что значит туземный квартал, вы не дышали этим воздухом. Вы не понимаете, что значит зависеть от толстого, слюнявого клиента.

Она говорила отрывисто, низким и почти хриплым голосом.

– Вы не знаете, что значит ненавидеть собственную мать. Вы не знаете, что значит жить всю жизнь в нищете. Вы ходите в университет, слушаете лекции, спите в чистой постели, отдаете ваше белье в прачечную. On m'a trami tout la vie dans la boue, moi.^[37]

Она остановилась, на ее лице было выражение усталости.

– А когда я оставалась одна, я плакала. Я плакала от отчаяния, от нищеты, оттого, что ничего нельзя было сделать. Когда я была девочкой, я плакала, потому что мою мать бил ее любовник, и она плакала вместе со мной. Что вы знаете обо мне? Ничего. Но когда вы говорите со мной, в вашем голосе явно чувствуется презрение, вы думаете, я его не слышу? Да, да, я понимаю: мы принадлежим к двум разным мирам, – nous appartenons a deux mondes differents.

– Эту фразу вы где-то прочли, – сказал я без всякого раздражения.

– Может быть. Но вы все-таки обо мне ничего не знаете.

И она стала говорить о своей жизни. По ее рассказу выходило, что она действительно никогда ничего не знала, кроме унижения и нищеты. Ее мать посылала ее собирать окурки на тротуарах. Сожитель Зины бил их обеих. Они пели на улицах и во дворах, откуда их выгоняли, – пели осенью, под дождем, и зимой, когда дул холодный ветер. Они нередко питались тем, что подбирали на Halles. Первую ванну Лида приняла, когда ей было пятнадцать лет.

Потом, когда все стало совсем невыносимо, она ушла из дома и уехала в Марсель. Денег на билет у нее не было, но она платила за все «иначе», как она сказала. Из Марселя она попала в Тунис.

Там она прожила четыре года. Она рассказывала мне о душных африканских ночах, о том, как она голодала, о том, чего требовали от нее арабы, – она называла вещи своими именами. И по мере того, как

она говорила, я понимал то, о чем только подозревал до сих пор, – что она была насквозь пропитана пороком и нищетой и что, действительно, она провела свою жизнь в каком-то смрадном аду. Ее били много раз по лицу, по телу, и по голове, у нее было несколько ножевых ран. Она расстегнула блузку, и я увидел под ее грудью, затянутой в бюстгальтер, беловатые шрамы. Она никогда нигде не училась, но у нее была хорошая память. В Тунисе в течение некоторого времени она служила горничной у старого доктора, в квартире которого была библиотека, по вечерам она читала книги, которые брала оттуда, и чем больше она читала, – сказала она, – тем безотраднее ей казалась ее собственная жизнь. Тогда же она встретила Амара, который был болен и несчастен, как она. У него была чахотка в острой форме, он не мог больше работать. Она продолжала служить у доктора и тратила все, что у нее было, на Амара, который, благодаря ее уходу и заботам, стал поправляться. Но во всяком случае, к своей прежней работе он вернуться не мог.

Я слушал ее, не прерывая. Но в этом месте я спросил:

– А где он работал раньше? Что он делал?

– Не знаю, – сказала она, – кажется, на какой-то фабрике.

Она сказала, что любит этого человека больше всего на свете и готова отдать за него жизнь.

– В таких вещах редко возникает необходимость, – сказал я, – разве что в либретто какой-нибудь оперы. А почему он волочит ногу?

– Откуда вы знаете?

– Я видел, как он шел.

Она опять пристально посмотрела на меня, и в первый раз за все время я заметил в ее глазах угрожающее выражение.

– У него был несчастный случай, – сказала она. Затем доктор ее рассчитал, и она вернулась в Париж.

Здесь она встретила Павла Александровича. Это было на улице, в сумерках; она сидела на скамейке и плакала оттого, что Амар остался в Тунисе и у него не было денег, чтобы приехать сюда. Павел Александрович спросил ее, почему она плачет. Она объяснила ему, что чувствует себя несчастной. Но она не сказала об Амаре. Он предложил ей пойти в кафе и говорил с ней так, как никто и никогда с ней не говорил. Потом он дал ей денег и сказал, что если ей еще что-нибудь будет нужно, то она может прийти к нему или позвонить ему

по телефону. О дальнейшем догадаться было нетрудно. Павел Александрович, по словам Лиды, водил ее в Лувр, объяснял ей многие вещи, которых она не знала, давал ей читать книги, которые он находил интересными.

Несмотря на то явное усилие, которое она делала, чтобы говорить о Павле Александровиче доброжелательно, ее враждебное отношение к нему невольно угадывалось. Я думаю, она презирала его за доверчивость и ей была неприятна мысль о превосходстве Павла Александровича над Амаром. Она выразилась несколько иначе, сказав, что испытывает по отношению к Павлу Александровичу благодарность, но что, конечно, она его любить не может. Она не может его любить – и я должен это понять, – и она не может в то же время жить без любви.

– А теперь скажите мне: разве я не заслужила хоть немного счастья – даже ценой обмана?

Меня несколько раздражала – в патетических местах – ее склонность к книжным оборотам, заимствованным из плохих романов. Когда она рассказывала о Тунисе, о том, что ненавидит свою мать, о побоях, обо всей своей невеселой жизни, она говорила простыми и верными словами.

– Теперь я в вашей власти, – сказала она. – Вы знаете обо мне все, и моя судьба и судьба человека, которого я люблю, зависят от вас. Вы знаете, что можете требовать от меня всего, что я могу дать, и вы знаете, что я не могу отказать вам.

И тогда я впервые посмотрел на нее так, как не смотрел до сих пор. Я увидел ее ноги в обтянутых чулках, сгиб ее тела в кресле, ее тяжелые глаза, тонкое лицо, красный рот и белые волосы, спускавшиеся на плечи. Я отчетливо вспомнил вечер в кинематографе и то, что было потом, и ее голое тело, отраженное во множестве зеркал. Мне стало душно и холодно в одно и то же время. Потом я закрыл глаза, думая о других вещах, – и мне на секунду стало ее искренне жаль. Она могла платить за все только одной ценой и была готова на это, чтобы сохранить то, что она называла любовью и что было непреодолимым тяготением к этому больному ублюдку, Амару. Я вспомнил его лицо и подумал, что оно было необыкновенно выразительно, в том смысле, что на нем как будто была написана его судьба. При взгляде на него становилось ясно, что это лицо

обреченного человека и что жизнь, которая ему предстоит, не будет долгой: либо он умрет от туберкулеза, либо сгинет от другого недуга, либо будет убит при сведении счетов и его труп подберут полицейские – с пулей в груди или перерезанным горлом. Во всяком случае, таково было мое впечатление и ничто не могло его изменить. И жизнь Лиды была связана с его судьбой. Но ни та, ни другая не были в моих руках, в этом она ошибалась.

Если бы мое внимание не было занято недавними соображениями о Валленштейне и Густаве-Адольфе, соображениями, прерванными приходом Лиды, размышлениями по поводу Амара и неотступной мыслью о том, что он был ее любовником, даже если бы не было всего этого, ее слова, – «вы знаете, что я не могу отказать вам», – все равно подействовали бы на меня расхолаживающе, так как звучали слишком недвусмысленно. Я подумал, невольно пожал при этом плечами, что в моей личной жизни Вестфальский мир играет тоже некоторую роль, несколько меньшую, чем зрительное воспоминание о лице Амара, но все же несомненную.

Затем Лида расплылась, я увидел на ее месте мутное белое пятно, в ушах начался легкий звон, и я почувствовал, что все окружающее меня становится невесомым и несуществующим. Это было похоже на приближение душевного обморока, и в этом было чем-то соблазнительное ощущение надвигающегося и почти сладостного небытия. Я сделал над собой усилие, закурил папиросу, затаился несколько раз и сказал:

– Не буду вас задерживать. Я хочу, однако, сказать вам несколько слов. Во-первых, мне от вас ничего не нужно, запомните это раз навсегда. Во-вторых, мы действительно, как вы выразились, принадлежим к разным мирам, и в том мире, где существую я, люди не шантажируют других, не пишут анонимных писем и не занимаются доносами ни при каких обстоятельствах. Может быть, если бы они прожили такую жизнь, как вы, это было бы иначе. То, что вы имеете право на счастье, – ваше дело. Мне кажется, что это очень убогое счастье. Но если этого вам достаточно, остается только вам позавидовать. Если бы мне предложили переселиться в тот мир, где живете вы, я предпочел бы пустить себе пулю в лоб.

Потом я встал и прибавил:

– Желаю вам всего хорошего. Можете быть спокойны, ваш визит ко мне и этот разговор останутся между нами.

И после ее ухода что-то дрогнуло и исчезло; несколько секунд было пусто и тихо, затем я услышал безмолвный и бесформенный грохот – и понял, что слежу за сражением, исход которого давно был решен, и его нельзя было ни изменить, ни отсрочить, тем самым сражением при Лютцене, которое играло такую значительную роль в истории Тридцатилетней войны.

В этот период моей жизни время проходило почти незаметно для меня; это было одно из наименее устойчивых представлений, которые я знал. Я только позже понял, что все мои силы поглощались постоянным напряжением, в котором я находился и которое было отражением глухой внутренней борьбы, никогда не прекращавшейся. Она шла чаще всего в глубине моего сознания, в темных его пространствах, вне возможности сколько-нибудь логического контроля. Мне начинало казаться иногда, что я близок к победе и что недалек тот день, когда и все мои тягостные видения исчезнут, не оставив даже отчетливого воспоминания. Во всяком случае, они теперь все чаще и чаще становились почти бесформенными; передо мной мелькали неопределенные обрывки чьего-то существования, не успевающие проясниться, и мое возвращение к действительности всякий раз приходило скорее, чем раньше. Но это еще не было победой: время от времени все вдруг тускнело и расплывалось, я переставал слышать шум улицы или говор людей – и тогда я с тупым ужасом ждал возвращения одного из тех длительных кошмаров, которые я знал так недавно. Это продолжалось несколько бесконечных минут; потом в мои уши врвался прежний гул, меня охватывала короткая дрожь и за пей следовало успокоение.

Так проходили недели и месяцы. Летом Павел Александрович и Лида уехали в окрестности Фонтенбло, куда он меня неоднократно приглашал и куда я так и не собрался. Я оставался в Париже совершенно один и проводил время главным образом в чтении и долгих прогулках, и у меня не было денег, чтобы уехать куда бы то ни было. Потом наступила осень; из притворенного окна уже тянул почти зимний холодок. Весь январь месяц я провел в непонятном и тягостном томлении; каждое утро я просыпался с предчувствием катастрофы, и каждый день проходил совершенно благополучно. Это

состояние раздражало и утомляло меня – и я только изредка освобождался от него и становился таким, каким мне всегда хотелось быть: нормальным человеком, которому не угрожает ни душевный обморок, ни припадок безумия. Таким, в частности, я чувствовал себя всякий раз, когда я попадал к Павлу Александровичу.

Я обедал у него однажды февральским холодным вечером. Лиды не было дома, мы сидели с ним за столом вдвоем, и он был в созерцательном настроении. Затем мы перешли в кабинет, куда был подан кофе и где стояла бутылка очень крепкого и сладковатого вина, которого я выпил несколько плотков и которого он, по обыкновению, не пил вовсе. Он был в домашнем бархатном пиджаке, но в рубашке с накрахмаленным воротничком. Я смотрел на него и думал, что, вероятно, теперешний период его жизни – самый счастливый, что лучшего времени он никогда не знал. Мне казалось, что ошибочным это впечатление не могло быть. Все в нем – его движения, одновременно медленные и уверенные, его походка, его манера себя держать, интонации его голоса, который как будто бы стал глубже и значительнее, чем раньше, – все подтверждало такое убеждение. В кабинете было очень тепло, особенно потому, что, кроме центрального отопления, горел еще камин, и от легкого движения воздуха чуть-чуть шевелились тяжелые портьеры на окнах. Я сидел в кресле и остановившимся взглядом смотрел в огонь. Потом я перевел глаза на Павла Александровича и сказал:

– Вы знаете, вот я смотрю на это маленькое пламя, и мне вдруг начинает казаться, что время незаметно уходит назад, все дальше и дальше, и, по мере того как оно уходит, я претерпеваю неуловимые изменения, – и вот, я ловлю себя на том, что я ясно вижу, как я сижу, голый и покрытый шерстью, у входа в дымную пещеру каменного века, перед костром, который разложил мой далекий предок. Этаким милый вид атавизма.

– Я думаю, что вне атавизма мы вообще не существуем, – сказал он. – Все, что нам принадлежит, все, что мы знаем, все, что мы чувствуем, мы это получили во временное пользование от умерших людей.

– Временное?

– Конечно, как же может быть иначе?

Жаркое пламя дрожало над углями, и иногда слышался тихий шелест их смещения. От тепла мне хотелось спать. Павел Александрович сказал:

– А я все чаще и чаще думаю о смерти вообще. Не потому, чтобы я ее предвидел в ближайшем будущем, а оттого, наверное, что возраст уже почтенный и это в какой-то степени, мой юный друг, естественно именно для моего возраста. И что самое удивительное, я думаю о ней без всякого ужаса и даже огорчения.

– Вероятно, потому, что эти мысли носят чисто теоретический характер.

– Не только, мне кажется. Есть в этой перспективе нечто соблазнительное, нечто неподдельно-торжественное и самое значительное. Вспомните слова панихиды: «в лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой...»

«В лоне Авраама, Исаака и Иакова...» Я сразу увидел перед собой гулкие своды церкви, чей-то безымянный гроб, священника, дьякона, кадила, иконы, неподвижный полет раззолоченных ангелов на Царских вратах и надпись наверху, над ангелами, над всем этим наследством тысячелетий христианства: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы».

– Вы верите в Бога, Павел Александрович?

– Раньше плохо верил, теперь верю. Тому, кто прошел через годы нищеты, легче верить, чем другому. Потому что, видите ли, христианство – это религия бедных людей, и недаром в Евангелии есть слова по этому поводу, которые вы, наверное, помните.

– Да, да, – сказал я. – Но я помню не только это. Мне пришлось однажды читать поучительнейшую энциклику папы, забыл которого, где доказывалось, что взгляды церкви на богатство и бедность надо уметь правильно толковать. В частности, об отдаче бедным не только всего имущества, но даже десятой его части не может быть и речи: это недоразумение. Десятая часть – это с процентов от дохода. Капитал же никакому христианскому обложению не подлежит. Но это, конечно, анекдотично, и если есть ад, то, я думаю, там этот папа, жарясь много столетий на гигантской сковороде, успел понять свое гибельное заблуждение по поводу взглядов церкви на имущественный вопрос.

– Раньше я думал, что умру так же, как умирали мои товарищи с rue Simon le Franc, – продолжал Щербаков. – То есть что однажды на рассвете зимнего дня мой труп найдут где-нибудь недалеко от Сены, рядом со скамейкой, покрытой инеем. Это было бы естественно.

Небольшая лампа с абажуром освещала его лицо, спокойное и задумчивое.

– И знаете, эта мысль мне всегда была обидна, я с завистью смотрел на богатые похороны, вплоть до того, что мечтал: вот бы мне так умереть. И теперь я иногда представляю себе собственную кончину именно так, не без некоторого, я бы сказал, даже уюта: завещание, нотариус, долгая болезнь, воспитывающая во мне смирение и готовность к последнему переходу, предсмертное причащение, траурное объявление в газете – «со скорбью извещают о смерти Павла Александровича Щербакова»... потом день и час погребения...

– Подождите, подождите, Павел Александрович, – сказал я, – что это за похоронная поэма? К тому же, насколько я знаю, у вас нет ни близких, ни знакомых, не считая ваших недавних коллег, завещание вам оставлять не для кого – и кто придет на ваши похороны? Так что даже с точки зрения чисто обстановочной, так сказать, извините меня за откровенность, мне ваши мечты кажутся спорными.

– Может быть, – ответил он рассеянно. – Но уверяю вас, они не лишены некоторой приятности.

Я сказал ему, что теоретически это понимаю, но что мне трудно в это как следует вникнуть. Я сказал, что мне смерть всегда представляется как катастрофа: мгновенная или медленная, неожиданная или естественная, но именно катастрофа – призрак потустороннего ужаса, от которого стынет кровь. Понятие уютности к этому никак не подходит. Он заметил, что такой взгляд в моем возрасте – он подчеркнул это – понятен, и спросил, нет ли у меня, между прочим, явной нелюбви к кладбищам.

– Нет, – сказал я. – Вот в них, пожалуй, есть нечто успокоительное.

И когда мы заговорили об этом, я вспомнил, как давно, когда я был в военном лагере, на берегу Дарданелльского пролива, меня назначили по наряду рыть могилы. Я рассказал это Павлу Александровичу. Кладбищем заведовал пожилой усатый полковник,

говоривший с сильным кавказским акцентом. Он приходил несколько раз посмотреть на мою работу и говорил:

– Ройте, ройте, дорогой, глубже, пожалуйста. *Совсем глубже* ройте.

Когда он пришел в последний раз, я стоял на дне прямоугольной ямы в полтора человеческих роста. День уже клонился к вечеру.

– Теперь хорошо, – сказал он, – можете вылезать оттуда, дорогой.

– Господин полковник, – сказал я, – можно вас спросить, кому именно я оказываю эту последнюю услугу? Кого будут хоронить в этой могиле?

Он сделал неопределенный жест рукой.

– Неизвестно еще, дорогой, неизвестно. Все под Богом ходим. Завтра вы умрете, дорогой, вас хоронить будем.

А потом, много лет спустя, я узнал, что этот полковник стал рабочим во Франции и умер где-то возле Рубэ. И я пожалел в ту минуту, что это не случилось тогда на берегу Дарданелл и что его не опустили в вырытую мной могилу, в теплую, глинистую землю, куда так мягко входила кладбищенская лопата; это избавило бы его от долгих лет невеселой жизни, и, может быть, умирая тогда, он унес бы с собой еще какие-нибудь иллюзии, несостоятельность которых выяснилась именно за это время и именно потому, что он опоздал умереть.

– Может быть, это так, может быть, иначе, – сказал Павел Александрович.

Затем разговор перешел на другое, он рассказывал мне воспоминания прежних своих лет, и мне почему-то особенно запомнилось – может быть оттого, что я представил себе это с необыкновенной зрительной отчетливостью, – одно его приключение, в общем незначительное. Он шел однажды зимой, на севере России, по лесу, это было незадолго до революции, когда он был офицером; его бульдог, бежавший перед ним, вдруг начал свирепо лаять. Он поднял глаза и недалеко от себя на дереве увидел рысь, сидевшую с каменной неподвижностью. На нем была форменная шинель, шашка и револьвер. Он выстрелил из револьвера в рысь, но не убил ее, а только ранил – и тогда она огромным прыжком бросилась на него. Он успел отступить на шаг, она упала на четыре лапы прямо перед ним, и в ту же секунду на нее навалился бульдог. Павел Александрович не

решался стрелять, боясь задеть собаку, и пустил в ход шашку, которой распорол ей брюхо, в то время как бульдог, не разжимая челюстей, держал ее за горло. Снег был красный от крови, и в розовом закате зимнего дня медленно летали вороны. Я видел перед собой этот мертвый кошачий оскал рыси, белую целину, поднятую борьбой, и молодого офицера с шашкой в руке. Я посмотрел на его лицо сейчас, – оно выражало спокойную усталость, – подумал о том, сколько лет прошло после этой российской зимы, и ощутил, как мне показалось, неудержимое движение времени.

Потом речь зашла о путешествиях, и Павел Александрович сказал, что он собирается через некоторое время, если все будет благополучно, переехать на постоянное жительство в Канаду, подальше от Европы, ее политических судорог и неизменного ощущения смутной тревоги, наполняющего воздух, которым мы дышим.

– Подумайте, – сказал он, – ведь здесь каждый камень пропитан кровью. Войны, революции, баррикады, преступления, деспотические режимы, инквизиция, голод, разрушения и вся эта историческая галерея ужасов – участь Богемии, Варфоломеевская ночь, солдаты Наполеона в Испании, – помните серию рисунков Гойи? Европа живет как убийца, преследуемый кровавыми воспоминаниями и угрызениями совести – в ожидании новых государственных преступлений. Нет, я слишком стар для этого, я устал. Меня все тянет к теплу и покою. Я столько лет мерз и голодал, безнадежно, в смутном ожидании смерти или чуда, что теперь, я считаю, я заслужил право на отдых и на некоторые иллюзорные и сентиментальные утешения, последние, вероятно, которые мне суждены.

«Иллюзорные утешения» – да, лучше нельзя было сказать. Стало быть, и он это понимал, несмотря на свое позднее ослепление, стало быть, даже от его взгляда не ускользнула та преступная тень на лице Лиды, которая заставляла меня всякий раз, что я ее видел, испытывать отвращение и тревогу, одновременно с непонятным и унижительным тяготением к ней.

– А что вы? как вы живете? – спросил он.

Я сказал ему, что я продолжаю существовать как-то ощупью, в постоянном и беспредметном беспокойстве, почти метафизическом, и

что я чувствую по временам такую душевную усталость, точно мне бесконечно много лет.

– Что-то у вас неладное, милый мой, – сказал он. – А так на вас посмотреть, вы совершенно нормальный человек. Может быть, вам на берег моря или в глухую деревню бы надо, вы об этом подумайте.

Я пожал плечами. Затем я взглянул на книжные полки и впервые заметил, что на одной из них стояла небольшая желтая статуэтка, которой я не мог как следует рассмотреть. Я спросил Павла Александровича, что это такое. Он поднялся с кресла, снял ее и передал ее мне.

Это была статуэтка Будды, из литого золота. Вместо пупка у Будды был довольно крупный овальный рубин. Меня удивила его поза: в противоположность тому, что я привык видеть, он был представлен не сидя, а стоя. Обе руки его были прямо вытянуты вверх, без малейшего сгиба в локтях, безволосая голова была склонена несколько набок, тяжелые веки нависали над глазами, рот был открыт, и на лице было выражение сурового экстаза, переданное с необыкновенной силой. На золотом животе, с непонятной и мертвой значительностью, тускло блестел рубин. Статуэтка была настолько замечательна, что я долго смотрел на нее, не отрываясь, и успел за это время забыть, где я нахожусь. Потом наконец я сказал:

– Прекрасная вещь. Где вы ее достали?

Он ответил, что недавно купил ее здесь, в одном из антикварных магазинов.

– Я смотрю на нее довольно часто, – сказал он, – и, конечно, всякий раз при этом думаю о буддизме, к которому чувствую тяготение.

– Соблазнительная религия, мне кажется.

– Чрезвычайно, чрезвычайно. В силу исторической случайности мы христиане; мы могли бы быть буддистами, именно мы, русские.

То, что он говорил потом, мне показалось спорным – может быть оттого, что в такого рода суждениях трудно было избежать несколько произвольных обобщений. Кроме того, я был склонен думать, что почти все религии, за исключением отдельных, варварских культов, в какой-то момент почти совпадают и экстаз Будды, например, переданный с такой убедительностью в золотой статуэтке, напомнил

мне некоторые луврские видения, и в частности, восторженное лицо святого Иеронима.

– Да, надо до этого дойти, – сказал Щербаков. – Надо дойти до понимания нирваны. Мне раньше все казалось, что это похоже на то, как если смотреть в бездонную и темную пропасть, а потом я понял, что это не так.

И я подумал, что, может быть, и мне следовало стать буддистом, – именно из-за стремления к нирване. Я рассказал Павлу Александровичу, как в минуты наиболее напряженного душевного существования я неизменно испытывал желание раствориться и исчезнуть.

– И я думаю, – сказал я полушутя-полусерьезно, – что если бы мне удалось рассказать об этом Будде, то великий мудрец отнесся бы ко мне снисходительно.

Было уже поздно, а мы всё сидели и говорили о самых разных вещах – о буддизме, о живописи Дюрера, о России, о литературе, о музыке, об охоте, о том, как звенит снег от мороза, как дрожит полоса лунного света на поверхности моря, о том, как умирают нищие на улицах, о том, как живут калеки, об американской городской цивилизации и о злобности Версаля, о том, что миром правят иногда невежественные и преступные тираны и что земная апокалипсическая мерзость, характерная для любой эпохи человеческой истории, по-видимому, так же неизбежна, как отвратительна.

* * *

Когда я вышел оттуда, было ровно без десяти час. Я очень хорошо это запомнил, потому что взглянул на часы и мне вдруг показалось, при неверном свете фонаря, что было всего пять минут одиннадцатого, и это меня удивило. Но затем я посмотрел внимательнее и увидел свою ошибку. Я мог бы, может быть, попасть еще к последнему поезду метро, но решил пойти пешком. Ночь была беззвездная и холодная; кое-где вдоль тротуаров блестели замерзшие полоски воды. Я смотрел на все окружавшее меня рассеянно, продолжая шагать по знакомой дороге; потом я посмотрел прямо перед собой и заметил, в желтоватом зимнем тумане, что не было

больше ни улицы, ни фонарей, которые непонятно как исчезли. Я остановился, закурил папиросу и оглянулся вокруг себя. Не было, действительно, ни домов, ни улицы: я стоял посередине моста через Сену. Я оперся о перила и долго смотрел на темную поверхность реки. Она беззвучно текла между теми статуями русалок, которых я не узнал тогда, когда возвращался из несуществующей тюрьмы воображаемого государства. Я глядел вниз, на воду, и постепенно переставал чувствовать ту бедную ограниченность моих созерцательных способностей, которую ощущал всегда, пока не видел перед собой небо или воду. Тогда мне начинало казаться, что я больше не стиснут со всех сторон – несовершенством моих чувств, временем, обстоятельствами, личными и незначительными подробностями моей жизни, моими физическими особенностями. Тогда у меня бывало впечатление, что только теперь я ощущаю душевную свободу так, точно ее отражение приближалось ко мне, исполняя чье-то божественное обещание, – в безмолвном великолепии воздушной или водяной бесконечности. И о чем бы я ни думал в эти минуты, мои мысли текли не так, как в обычное время, и в них появлялась некоторая отрешенность от внешних обстоятельств, влиявших на них. Иногда я забывал, с чего именно начались эти размышления, иногда, напротив, я твердо помнил это. Но я, конечно, знал, что никогда не найду того таинственного и давно потерянного начала, которое исчезло в немой неподвижности ушедшего времени. Мне казалось, что я слежу сейчас со стороны, откуда-то из этого воздушного или водяного пространства, за длительным движением того неопределимого множества самых разнородных вещей – предметов и соображений, каменных домов и воспоминаний, поворотов улиц и ожидания, зрительных впечатлений и отчаяния, – в котором проходит мое существование и жизнь других людей, моих братьев и современников.

И вот я думал теперь о той странной притягательности, которую имело для меня это желание моего собственного исчезновения. То, что казалось мне соблазнительным, могло быть таким и для других, и в частности для Павла Александровича. Он, может быть, недаром говорил о буддизме, который в его представлении сводился, плавным образом, к возможно более полному избавлению от тленной земной оболочки. Нужно было избавиться от этого постоянного и тягостного

состояния: зависимости нашей душевной жизни от той презренной, в сущности, физической субстанции, через которую проходит наше восприятие мира и которая, в конце концов, недостойна выполнять эту, как он выразился, торжественную миссию. Человек, который так думает, уже затронут каким-то нарушением душевного равновесия, он уже слышит отдаленный призыв другого мира, отвлеченного и величественного, как конец времен, о котором так настойчиво говорят священные книги. По сравнению с ним – какую ценность представляет эта бедная совокупность чувственных радостей, которые остались для него? Бели бы он был моложе на несколько десятков лет, если бы у него было неутомимое сердце, огромные легкие, мускульная сила юного и атлетического тела, – тогда, может быть, это языческое неистовство земных страстей сделало бы его непроницаемым и для буддизма и для созерцания.

И как это часто бывало у меня – может быть, именно потому, что мне было двадцать пять лет, и я не знал физических недомоганий, и для меня чувственный мир был не менее притягателен, чем созерцательный, – мои мысли были прерваны зрительным воспоминанием. Я увидел перед своими глазами два стеклянных круга моего полевого бинокля, в который я смотрел на кавалерийскую атаку, направленную против нас, моих товарищей и меня, во время войны, в России. Я видел, как сомкнутыми рядами кавалеристы приближались к нам, я видел эти быстрые и ритмические колебания живой массы лошадей и всадников, и я смотрел на это, не отрываясь, с остановившимся дыханием, потому что в этом была неудержимая, казалось бы, сила молодости и мускулов, и это была атака победителей. Это была победа над смертью и над страхом смерти, потому что это было безумие, потому что против этих людей, вооруженных винтовками и саблями, были направлены пулеметы и пушки. Но никакая мысль и никакое соображение не могли остановить этой слепой и самозабвенной силы. И я отвел бинокль от глаз, испытывая смертельное сожаление оттого, что всадники были уже в двухстах метрах от нас и через секунду по ним стали бить орудия и десятки пулеметов; и несколькими минутами позже их волны были скошены огнем и на выжженной траве неровного поля лежали только трупы и умирающие. И от всего этого не осталось ничего, кроме сохраненных во времени и пространстве и

отражавшихся сейчас на уходящей поверхности ночной реки в далеком и чужом городе двух стеклянных кругов моего полевого бинокля и еще того повторного замирания сердца и того воспоминания о сраженных победителях, в котором вновь, через столько лет, начиналась их героическая и бессмысленная атака.

Темная вода все так же беззвучно двигалась перед моими глазами. Если исключить из жизни то убогое наслаждение, – я думал о Павле Александровиче, – которое дают чисто телесные ощущения, тепло, обед, кровать, Лида, сон, то что остается? Восторженное лицо Будды? исступление святого Иеронима? смерть Микеланджело? Для того, кто знал эту холодную притягательность небытия, – что могла значить эта биологическая дрожь существования? «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет». И то, что происходит сейчас, здесь, если смотреть на это со стороны, как-то особенно нелепо: зима, февраль, Париж, мост над Сеной, глаза, которые смотрят на темную реку, и безмолвный поток мыслей, образов и слов, в невероятном смешении времен и понятий – Павел Александрович Щербаков, Лида и вся ее жизнь, Будда, святой Иероним и Откровение Иоанна, кавалерийская атака, бинокль, небытие и случайный физический облик человека, который стоит в синем пальто, опершись локтями о тяжелые перила, та хрупкая матерьяльная оболочка, в которой воплощена часть этой таинственной совокупности движений.

В эту секунду во мне что-то сместилось, – я не мог бы сказать иначе. Мой взгляд, который до сих пор был неподвижно устремлен все в одно и то же место реки, скользнул дальше, и в поле моего зрения поплыли дрожащие отражения фонарей. Я отвел глаза от реки, и в чудовищной быстроте зрительного взлета передо мной появились, далекие и холодные, звезды зимнего неба. А может быть, мне еще суждено проснуться однажды утром или однажды ночью, забыть об отвлеченных ужасах и начать жить так, как я жил раньше и как должен был бы жить всегда, не в фантастике, окружавшей меня со всех сторон, а в непосредственной действительности существования. Небытие не уйдет от меня, оно только немного отдалится. И это позволит мне почти забыть о нем, и я буду все воспринимать иначе: проведя ночь с женщиной, я буду испытывать чувство благодарности к этому бедному телу, которое мне принадлежало; читая плохую книгу,

я не буду презирать какого-то умершего человека, когда-то ее написавшего, и мне начнет казаться, что в известном смысле все или почти все имеет свое оправдание и что я живу, окруженный этой скудной человеческой теплотой, в мире, где плачут от того, что умер ребенок или убит на войне муж, где говорят – я никого не любил, кроме тебя, – где живут маленькие дети и щенята, в том мире, за пределами которого только холод и смерть.

Я вдруг почувствовал, что продрог до костей; я поднял воротник пальто и ушел с моста. Но я продолжал думать о Павле Александровиче и о его удивительной, в конце концов, судьбе. Я вспомнил, как он мне говорил, что его спасла эта неопределимая болезнь, и чем больше я об этом размышлял, тем больше я был склонен полагать, что невозможность пить вино, эти боли и рвоты, все это было, может быть, даже не болезнью, а каким-то загадочным проявлением инстинкта самосохранения, того самого, которого так не хватало его товарищам по несчастью. Что стало бы со всем его наследством, если бы он оставался алкоголиком? И я еще раз увидел его таким, каким он предстал передо мной впервые, – старым оборванцем в Люксембургском саду. В моих ушах звучали его слова, которые мне было неловко слушать и которые он мне сказал значительно позже, после того как разбогател:

– Я не верну вам тех десяти франков, которые вы мне тогда дали, за это так отблагодарить нельзя. Я это очень оценил. Я знаю, что вы к деньгам равнодушны, более или менее, конечно. Но старому нищему столько не дают.

И вот теперь он сидит в кресле, в теплой, хорошо обставленной квартире, смотрит на полку с книгами и на золотого Будду и думает о спокойной смерти. Вечером приходит Лида и отдает ему свое послушное тело; затем она поднимается с его кровати и уходит к себе, и он засыпает до утра – на белых простынях, под стеганым одеялом. Утром он пьет кофе, затем читает газету, потом завтракает, потом идет или едет гулять. Вечером он идет иногда в театр, иногда на концерт, иногда в кинематограф. И никаких забот, ни о том, что будет завтра, ни о деньгах, ни о будущем вообще, этот постоянный и теплый уют, камин, диваны, кресла, мягкие шаги по толстому ковру его кабинета. Как нелепо показалось бы ему еще два года назад, когда он скитался холодными зимними днями по Парижу, спускаясь время от времени в

теплое и дурно пахнущее метро, – если бы тогда ему сказали, что через некоторое время он будет жить так, как живет сейчас! А вместе с тем в этом не было ничего ни чудесного, ни невероятного. Это произошло просто потому, что за полторы или две тысячи километров от Парижа однажды море было холодным и свирепого, скупого старика, отплывшего даже не очень далеко от берега, схватила смертельная судорога, он пошел ко дну, вода наполнила его легкие и он умер. В этом не было ничего, кроме последовательности самых естественных вещей: температуры воды в северном море, склонности к артриту, характерной для известного возраста, недостаточного умения плавать или, может быть, внезапного удара.

«В лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой...» «Я думаю об этом даже не без некоторого удовольствия...» И вдруг мне показалось, что в этих словах была какая-то бесконечно печальная истина. Может быть, действительно было бы лучше, чтобы он умер теперь, именно теперь, как было бы лучше для моего коменданта кладбища умереть тогда в Греции, а не значительно позже в фабричном поселке Франции. В конце концов, именно теперь он, Павел Александрович Щербаков, по-настоящему счастлив. Что будет потом? Он привыкнет к этому комфорту и перестанет его ценить, ему станет казаться, что он так жил всегда и что вещи, которые с ним происходят, естественны и скучны. Ему пойдет седьмой десяток, и в самом недалеком будущем те жестокие лишения, которые он пережил, начнут давать о себе знать, начнутся недомогания, болезни, доктора и все то тягостное, что несет с собой старость, и непоправимое сознание, что деньги пришли слишком поздно: вместо желаний будут боли, вместо аппетита – отвращение к еде, вместо глубокого сна – длительная бессонница. Да, было бы лучше, если бы он умер теперь. Он знал все: молодость, расцвет сил, опасность смерти на войне, страсть, вино, нищету, глубочайший человеческий упадок и неожиданное возвращение в тот мир, который давно стал для него недоступен, этот невероятный переход от напоминания к напоминаемому, от небытия к жизни. Что еще оставалось для него – в пределах одного человеческого существования? Никакой отдых не вернет ему потерянных сил, потому что время отняло у него возможность их полного восстановления: таких чудес все-таки не бывает. И может быть, действительно своевременным и достойным завершением этого

существования был бы переход туда, где нет «ни боли, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Может быть, это было бы лучше всего. Но мне лично было бы его жаль. Я любил его душевное спокойствие, его искреннюю доброжелательность ко мне, интонации его глубокого голоса, его неподдельную человеческую привлекательность, – все эти качества, которые он пронес через жестокие испытания и которые он сумел сохранить такими, какими они бывают тогда, когда молодость и сила позволяют человеку роскошь великодушия. Придется ли мне быть свидетелем их постепенного исчезновения и вместо теперешнего Павла Александровича увидеть перед собой озлобленного старика, утомленного хроническими недугами и ненавидящего других за то, что их собственное здоровье не позволяет им понять ни его страданий, ни его бессильного гнева? Я не хотел бы присутствовать при таком его перевоплощении.

Я вдруг вспомнил опять восторженно-исступленное лицо Будды и его руки, поднятые вверх. Может быть, он видел перед собой ту нирвану, к которой мы были ближе, чем это нам казалось, которую мы принимали как должное, которой мы даже хотели, к которой мы, в глубине нашего сознания, даже стремились.

«Которой мы хотели». Поставим единственное число вместо множественного: «которой я хотел». Почему в каком-то умозрительном пространстве я осуждаю на смерть или на близость к нирване Павла Александровича Щербакова, почему именно я – так как нигде, кроме моего воображения, это не происходит, а мое воображение – это, в конце концов, искаженное отражение меня, – произвольно и насильственно предполагаю его смерть, почему я совершаю это теоретическое умерщвление? И в какой степени я ответственен за это преступление? Потому что в том мире, на пребывание в котором я был осужден своей упорной болезнью, граница между отвлеченным и действительным, между идеей и актом не была ни отчетливой, ни неподвижной. Мне надо было, например, сделать необыкновенное усилие воли, чтобы вспомнить, принадлежала мне Лида или нет, – в этой комнате с зеркалами. И как наивно было бы думать, что вся моя жизнь, это длительное и сложное движение, начало которого теряется для меня в необъяснимой тьме, может быть сведена к последовательности внешних и очевидных

фактов моего существования. Остальное, зыбкое и неверное, могло быть названо уходом от действительности, бредом или сумасшествием.

Но и в нем была тоже своеобразная последовательность, не менее несомненная, идущая от одного провала в безумие до другого – до той минуты, вероятно, когда последние остатки моего сознания будут поглощены надвинувшимся мраком и либо я исчезну окончательно, либо, после долгого перерыва, похожего на многолетний душевный обморок, я увижу себя однажды в какой-то далекой стране, на краю дороги – неизвестным бродягой без имени, без возраста и без национальности. И, вероятно, тогда мне будет легко на душе и я забуду эту уголовную мрачность воображения, эту отвлеченную отвратительность разврата и это теоретическое умерщвление.

Было больше двух часов ночи, когда я подходил к гостинице, в которой жил. На углу меня остановила Мадо и попросила у меня папиросу. Потом она посмотрела на меня и сказала:

– У тебя странный вид сегодня. Ты что, очень устал?

– Это свет фонаря, который так падает на мое лицо, – ответил я. – Нет, я не устал, мне просто хочется спать.

– Ну, тогда спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Мадо.

Я поднялся к себе, сдернул покрывало с дивана, и в мягком свете забелели простыни и наволочки. Я помню, что я мечтал, раздеваясь, заснуть без снов, проснуться утром и забыть весь этот ненужный и воображаемый абсурд.

* * *

Я проснулся, однако, с тяжелой головой. Приняв холодный душ и побрившись, я вышел из гостиницы. Направо от входа я с удивлением заметил закрытый автомобиль темно-синего цвета, в котором обычно ездят полицейские. Едва я успел сделать несколько шагов, как я почувствовал чью-то руку на своем плече. Я обернулся. Передо мной стоял широкоплечий мужчина в штатском, с гладким и невыразительным лицом.

– Вы арестованы, – сказал он. – Следуйте за мной.

Я был настолько поражен, что в первую минуту ничего не ответил. Тотчас же подошел второй человек в штатском, мы сели в автомобиль и поехали. Только тогда я спросил:

– По какой причине я арестован?

– Вы это должны знать лучше, чем кто бы то ни было.

– Я ничего не понимаю.

– Тогда будем надеяться, что это недоразумение, которое скоро выяснится.

Автомобиль остановился на набережной Сены. Я сидел в приемной; один полицейский инспектор оставался со мной, другой ушел и был довольно долго в отсутствии. Я чувствовал по-прежнему тяжесть в голове и странное безразличие ко всему происходящему и успел подумать, что это было похоже на тот длительный бред, который привел меня в дом предварительного заключения на территории фантастического Центрального Государства.

Наконец меня ввели в другую комнату, где сидел очередной инспектор. Справа и слева от его кресла стояло еще несколько человек, которые мне показались очень похожими друг на друга. У того, кто начал меня допрашивать, было бритое и печальное лицо, он был немолод, у него было усталое выражение, как будто бы принятое раз навсегда. Он спросил, как моя фамилия, где я живу, чем я занимаюсь, где и когда я родился. Я ответил. Он посмотрел на меня в упор и вдруг спросил с непонятным упреком в голосе:

– Почему вы его убили?

И в ту же секунду я почувствовал, что теряю под собой почву. Точно издалека, со стороны, я увидел себя идущим по улице, этой ночью, и вспомнил то, что я думал тогда и что, как мне казалось, не могло иметь никакого отношения ко всему происходившему сейчас. Я встряхнул головой и сказал:

– Извините меня, я не очень хорошо себя чувствую и не понимаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду?

– Я думаю, что не сообщу вам ничего, что вам не было бы уже известно. М-р Щербаков сегодня утром был найден убитым в своей квартире.

Мне опять показалось, что я в бреде и что у меня нет сил из него уйти. Я, конечно, допускал мысль о его смерти, я даже в какой-то мере был склонен думать, что она была бы своевременна именно теперь.

Сквозь мутный туман на меня смотрели с угрозой и упреком человеческие глаза. Я вспомнил с усилием, что это были глаза инспектора.

– Это было чисто теоретическое положение, – сказал я. – Это даже не было желание, это было произвольное логическое построение.

– К несчастью, я не вижу в этом никакого теоретического элемента. Щербаков был убит ударом ножа в затылок. Удар был нанесен сзади, когда он сидел в кресле.

Я стоял, низко опустив глаза. Нет, такого совпадения быть не могло. Это было произвольное логическое построение, я готов был повторить это тысячу раз. Никто, кроме меня, не мог об этом знать, и моя мысль не могла быть передана на расстоянии какому-то неизвестному убийце. А вместе с тем по времени это совпадало. Нет, этого, конечно, не могло быть.

– Это мне представляется невозможным, – сказал я. И внезапно я понял, что не было ничего более опасного, чем то, что происходило сейчас. То, что я говорил, должно было казаться инспектору иным, чем было в действительности, и если я буду продолжать этот диалог с самим собой, это может меня окончательно погубить.

– Дайте мне, пожалуйста, стакан воды, – сказал я. Он дал мне стакан воды и папиросу. Потом он сказал:

– В конце концов, я был бы только рад, если бы выяснилось, что вы не убийца. Но это нужно доказать, и я могу рассчитывать только на вашу помощь.

– Я вам искренно благодарен.

Потом пришел полицейский, который должен был сопровождать меня к фотографу. Там меня посадили на вращающийся металлический табурет, выкрашенный белой масляной краской; свет рефлекторов бил мне в лицо, табурет поворачивался в разные стороны, щелкал фотографический аппарат. Затем меня заставили отпечатать на белой бумаге все мои пальцы, вымазанные предварительно какой-то черной массой, и отвели обратно.

Несмотря на то что в кабинете, где меня допрашивали, было достаточно светло, мое лицо освещала лампа почти такой же силы, как те, при которых меня только что снимали. Я вспомнил, что это обычный способ допроса.

Но первого инспектора не было. На его месте сидел незнакомый мне человек, совершенно на него не похожий, с мрачным и скучающим выражением лица.

– Ну что? – сказал он.

– Я вас слушаю.

Он сморщился от скуки и отвращения.

– Покончим с этим скорее, – сказал он. – Мне надо идти завтракать, вам надо отдохнуть. Делайте ваше чистосердечное показание, я вам постараюсь помочь. Каковы были мотивы вашего поступка?

– Мне бы хотелось выбраться из этого лабиринта, – сказал я, отвечая на собственную мысль.

– Мне тоже. Но это не ответ на вопрос, который я вам поставил. Я повторяю его: каковы были мотивы вашего поступка?

Я делал над собой необыкновенные усилия, чтобы перейти эту границу, которая разделяла мои размышления о судьбе Павла Александровича, размышления, вызванные несомненной симпатией к нему, от фактов, которые мне ставились или могли быть поставлены в вину. Я прекрасно понимал глубочайшую разницу между темным чувством моей теоретической вины перед ним и тем ударом ножа сзади, который вызвал его смерть. Я это понимал, но сплетение того и другого было настолько крепко, что, стараясь оставаться в области фактов, я все время упирался точно в незримые стены, отделившие меня от простейшей логической убедительности. Я не мог выйти из этого душевного тумана, хотя я знал, что дальнейшее пребывание в нем и это абсурдное сознание своей вины – я понимал его нелепость, но не мог избавиться от чувства, лишавшего меня необходимой свободы мышления – грозит мне самой непосредственной и страшной опасностью.

Инспектор задал мне еще несколько вопросов, на которые я не мог ответить с нужной ясностью. Затем он ушел, и его заменил другой, У меня болели глаза от яркого света лампы, мне хотелось пить, есть и курить. Еще через некоторое время я почувствовал, что меня охватывает сон, я на секунду заснул и проснулся от того, что меня трясли за плечи. Кто-то, кого я уже не узнавал, опять спрашивал, что именно толкнуло меня на убийство. Я собрался с силами и ответил

снова, что это не поступок, а произвольное логическое построение. Чей-то незнакомый голос сказал:

– Он бредит, он слишком устал. Но он еще держится.

Но на этом допрос неожиданно кончился, и меня увели. Я шел, спотыкаясь и покачиваясь, как пьяный, между двумя полицейскими. Затем отворилась дверь, и я очутился в узкой камере, на полу которой лежал матрац, покрытый одеялом. Я буквально упал на него, и мне казалось, что сон охватил меня еще до того, как я успел его коснуться.

Я проснулся, вероятно, через много часов в полной тьме и сразу же вспомнил все. Я знал, что нахожусь в тюрьме и что меня обвиняют в убийстве Щербакова. Только теперь я по-настоящему понял, что произошло. Бедный Павел Александрович, недолго пришлось ему пожить по-человечески! Но кто же мог его убить и, главное, зачем?

Приблизительно трое суток я провел в том, что тщетно старался обрести постоянно ускользавшую от меня ясность сознания, но тот легкий и непрозрачный туман, который обычно окружал меня во время этих странных душевных недомоганий, не рассеивался. И когда меня, наконец, снова вызвали на допрос, я чувствовал себя немногим лучше, чем в первый день моего ареста.

На этот раз я попал к судебному следователю, пожилому человеку с мягкими глазами. После первых формальных вопросов он сказал:

– Я внимательно просмотрел ваше досье, в нем нет ничего неблагоприятного для вас. Вы отрицаете, что вы убили Щербакова?

– Самым категорическим образом.

– Вы были с ним в хороших отношениях, не так ли?

– Да.

– Давно ли вы с ним знакомы?

– Года три.

– Вы помните, когда и где вы с ним встретились впервые?

Я рассказал, как произошло мое знакомство с Павлом Александровичем.

– Значит, в те времена он был нищим?

– Да.

– И через три года мы находим его в комфортабельной квартире на улице Молитор? Это неправдоподобно. Как это могло случиться?

Я объяснил ему. Я заметил, что, когда речь шла не об убийстве, мне было гораздо легче отвечать и все было для меня более или менее ясно.

– Хорошо, – сказал он. – Что вы делали вечером одиннадцатого февраля, другими словами, в день убийства Щербакова? Вы можете вспомнить ваше времяпрепровождение?

– Конечно, – сказал я. Я действительно отчетливо помнил все, что происходило: холодный вечер, редкие снежинки в свете уличных фонарей, станцию метро «Одеон», откуда я поехал к Павлу Александровичу, и мой приход к нему. Я помнил лица начальника поезда и механика и узнал бы пассажиров, ехавших в одном вагоне со мной. Я описал следователю все вплоть до меню обеда, которым меня угостил Павел Александрович.

– Вы занимались когда-нибудь физическим трудом? Какое вы знаете ремесло?

Я удивленно посмотрел на него и ответил, что нет, я никогда не занимался физическим трудом и не знаю никакого ремесла. Но он, казалось, сам не придавал значения этому вопросу, потому что тотчас же сказал:

– После обеда вы провели весь вечер в разговорах, не так ли?

– Да.

– Не помните ли вы, о чем шла речь? Это очень важно.

И вдруг в этом месте допроса я с ужасом ощутил непонятный провал в моей памяти. Я не мог вспомнить ничего о нашей беседе, – так, точно ее никогда не было. От усилия, которое я делал, чтобы восстановить хотя бы часть того, что говорилось тогда, у меня выступил пот на лбу и начала болеть голова. Я собрал свои силы и сказал:

– Извините меня, пожалуйста, я сейчас не в состоянии этого вспомнить. Если бы вы дали мне немного времени, я думаю, что это мне удалось бы.

Его глаза встретили мой мутный взгляд. Он помолчал, кивнул головой и сказал:

– Хорошо, постарайтесь рассказать мне это в следующий раз.

Я опять проспал мертвым сном много часов подряд. Затем я встал и сделал несколько шагов в темноте. Давно я не чувствовал себя, как сейчас. Это было почти забытое, счастливое состояние физического и

душевного равновесия, и это было настолько неожиданно, что я не верил своим собственным чувствам. Далекое лицо Катрин возникло перед моими глазами и исчезло. Случилось то, на возможность чего я почти потерял надежду. Что произошло за эти часы, чья жизнь пролетела мимо меня, заслоненная тяжелым, непроницаемым сном, что вернулось из небытия? И как то, чего я хотел во чтобы то ни стало достигнуть, на что я безрезультатно употреблял такие страшные усилия воли во время этих допросов, – вдруг явилось само собой с такой чудесной несомненностью, за эти несколько часов сна? Я не только не боялся теперь никакого допроса, я ждал его с нетерпением.

Когда меня снова привели к следователю, его лицо было значительно мрачнее, чем в прошлый раз. Я этого не мог не заметить, но это не произвело на меня того впечатления, которое, несомненно, произвело бы еще накануне.

– Я вам должен сказать, – начал он, – что ваше положение резко ухудшилось. Я не говорю о том, что в квартире Щербакова мы не нашли ничьих отпечатков пальцев, кроме его собственных и ваших. Он просмотрел какую-то бумагу.

– Есть, однако, одно обстоятельство, еще более трагическое для вас. Говорил ли с вами Щербаков когда-нибудь о завещании?

– Никогда, – сказал я. – Мне бы показалось удивительным, если бы я узнал, что он об этом думал.

– Его нотариус представил нам, тем не менее, копию его завещания: все свое состояние Щербаков оставляет вам.

– Мне? – сказал я с изумлением и холодом в спине. – Это совпадение действительно трагическое.

– Последовательность фактов, которые говорят против вас, почти невероятна, – сказал он. – В вечер убийства вы приходите к Щербакову. Вы последний человек, который его видел живым. Ничьих отпечатков, кроме ваших, не обнаружено. Допустим, что это совпадение, – крайне для вас неблагоприятное, но совпадение. Единственный аргумент, который говорит в вашу пользу, тот, что с вашей стороны это убийство бесцельно и бессмысленно, И вот мы узнаем, что существует завещание и по этому завещанию все состояние убитого переходит к вам. Логически недостающее звено – ваша заинтересованность в смерти Щербакова – найдено. Согласитесь, что совокупность улик неотразима. И ответ на тот вопрос, который

возникал с самого начала: зачем вам было его убивать? – теперь ясен до очевидности. Вы говорите, что ничего не знали о завещании? Но это словесное утверждение, которому следствие противопоставляет целый ряд тяжелых и несомненных улик.

Я все не мог прийти в себя от удивления: как и почему Павел Александрович составил завещание в мою пользу? Я напряженно думал об этом несколько секунд, и вдруг мне показалось, что я нашел объяснение всему. Но я не сказал об этом следователю.

– Мне хотелось бы знать, – продолжал он, – что вы можете ответить?

– Прежде всего, что было бы по меньшей мере странно, если бы подтвердилось, что я действовал именно так, как устанавливает, не без некоторой внешней логичности, следствие. Что могло бы быть более наивно и глупо, чем поведение такого убийцы? Он знает, что скрыть своего визита к Щербакову он не может, что его заинтересованность в смерти этого человека бесспорна и очевидна, что подозрение в первую очередь должно пасть на него. И вот он приходит вечером к Щербакову, не случайно, а будучи приглашен, убивает его, уходит домой и полагает, что если его о чем-нибудь спросят, то он скажет, что никого не убивал, и этому, конечно, поверят. Согласитесь, что так действовать может только человек, умственные способности которого должны быть предметом клинического исследования.

Все, что говорил мне следователь, и все, что отвечал я, отличалось необыкновенной ясностью и отчетливостью, от которых я давно отвык, которые давно были для меня потеряны.

– В логике почти каждого убийцы, – сказал следователь, – и уголовная хроника нам это постоянно подтверждает, – почти всегда есть клинический элемент. Этим она отличается от логики нормальных людей, и в этом, так сказать, ахиллесова пята всякого убийцы.

– Да, да, я знаю, некоторый патологический момент, – сказал я. – Это бывает обычно незначительная ошибка в расчете. Но такая явная и сплошная глупость всего поведения предполагаемого убийцы – не кажется ли она вам еще более неправдоподобной, чем эта последовательность совпадений? Для меня сейчас речь идет о жизни и смерти, и я буду защищаться до конца. Но я даю вам слово говорить только правду.

Он смотрел на меня далекими глазами, точно задумался о чем-то, чего я не мог знать. Потом он сказал:

– Я действую сейчас, может быть, не так, как должен был бы действовать. Я допускаю мысль, что вы не убийца, хотя, повторяю, все улики против вас. Должен вам заметить, что соображения, которые вы только что приводили, мне тоже приходили в голову: уж слишком все очевидно и это действительно странно. Если бы я вас не видел и не говорил с вами, а мне бы рассказали об этом, я бы сказал, что тратить времени на следствие не стоит. Но я постараюсь вам помочь. Вы вспомнили, о чем вы говорили со Щербаковым в этот последний вечер его жизни?

В огромном кабинете было тихо. Я сидел на стуле и курил, и со стороны могло показаться, что здесь происходит между двумя знакомыми мирный разговор на какую-нибудь отвлеченную тему.

– Да, да, – ответил я. – Теперь я прекрасно помню все. Это началось с того, что я сказал, что люблю смотреть в огонь и нахожу в этой любви к пламени нечто атавистическое. Мой собеседник согласился со мной; потом речь перешла к теме о смерти. Он говорил, что часто о ней думает и что в этих мыслях есть некоторая уютность. Он привел цитату из православной панихиды, текст объявления, которое могло бы появиться в газетах. Я возразил ему, – мне показалось, что смерть, в любом ее аспекте, лишена какой бы то ни было привлекательности. Я вспоминаю теперь совершенно отчетливо, что я сказал ему: у вас нет наследников, *завещание* вам составлять не для кого. Затем были некоторые личные воспоминания, не имеющие особенного значения, по-моему. Одна из последних тем, которую мы с ним обсуждали, это был буддизм.

– Я понимаю, что это был разговор, лишенный логической последовательности, – сказал он, – то, что мы называем *une conversation a batons rompus*.^[38] Но, может быть, вы помните, каково было соединительное звено, та ассоциация, которая обусловила переход от личных воспоминаний к обсуждению религиозной доктрины?

– Нет ничего легче этого, – ответил я. – Над головой моего собеседника...

– Вы хотите сказать: над диваном, на котором он сидел?

– Он сидел в кресле, а не на диване, – сказал я. – Диван находился направо от кресла, несколько в стороне.

– Совершенно верно, я ошибся. Продолжайте.

– Над его головой была полка с книгами, и на этой полке стояла золотая статуэтка Будды.

– Вы могли бы ее описать?

– Я ее узнаю из тысячи.

– Чем она замечательна?

Я подробно описал золотого Будду и сказал, что меня поразило испуганное его лицо и сходство этого выражения с выражением святого Иеронима.

Лицо следователя вдруг стало напряженным.

– Странно, – сказал он вполголоса, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. – Странно. По-вашему, эта статуэтка имеет большую ценность?

– Я плохой знаток в такого рода вещах. Для меня она имеет ценность эстетическую прежде всего. Думаю, что она, помимо этого, должна стоить довольно дорого, она из литого золота, и в нее вделан рубин, правда небольшой. Но вообще говоря, статуэтка замечательная.

– Хорошо, – сказал он. – Итак, ваш взгляд упал на золотого Будду, и это естественно навело вас на мысль...

– О нирване и о буддизме... Мой собеседник передал мне статуэтку, и тогда я мог рассмотреть ее как следует. До тех пор, пока она стояла на полке, я не видел ее во всех подробностях: горела лампа на столе и полка была в полутьме.

– Что вы сделали со статуэткой потом?

– Я вернул ее моему собеседнику, который поставил ее обратно.

– Вы в этом уверены?

– Простите, в чем именно?

– В том, что он поставил ее на место?

– Совершенно уверен.

– Хорошо, – сказал он. – Будьте готовы к следующему допросу.

Вернувшись в свою камеру, я погрузился в напряженные размышления об убийстве Павла Александровича. В отличие от допрашивавших меня людей, я знал одну существеннейшую вещь, – именно, что не я убил его.

Первое предположение, которое приходило в голову, это что убийцей был Амар. Но оставалось непонятно, зачем ему было это делать. О ревности не могло быть и речи. О непосредственной выгоде – тоже: Павел Александрович содержал Лиду, на деньги которой жил Амар. Кроме того, квартира была в полном порядке, не было ни следов борьбы, ни попытки грабежа и все стояло на своих местах. Человек с улицы, случайный преступник? Это в одинаковой мере казалось невероятным – главным образом потому, что не было кражи.

Еще одно обстоятельство тоже казалось странным – способ убийства. Павел Александрович был убит ударом ножа в затылок, и смерть последовала мгновенно. Так я понял из беглых замечаний следователя. И это представлялось необъяснимым. Какова была форма ножа? Обыкновенный нож, плоский и широкий, не мог быть орудием убийства. Но помимо этого – и какова бы ни была его форма, – удар должен был быть нанесен с необыкновенной силой и точностью. Вряд ли чахоточный и больной Амар обладал и таким безошибочным глазомером и такими мускульными возможностями. Кроме того – в десятый раз, – зачем ему было это делать? Оставалось предположение, вероятнее всего, почти абсурдное, но которое все-таки нельзя было отбрасывать с совершенной уверенностью, что Павел Александрович стал жертвой какого-то маньяка.

Когда меня снова привели на допрос, я напряженно ждал, что скажет следователь. Он сел, разложил перед собой лист бумаги и спросил меня таким гоном, как будто продолжал допрос, прерванный несколько минут тому назад:

– Вы говорите, что помните статуэтку золотого Будды во всех подробностях?

– Да.

– Какое у нее было основание? На чем она стояла? Была ли какая-нибудь подставка?

– Нет, – ответил я. – Подставки не было. Снизу статуэтка кончалась плоским квадратным срезом. Это был геометрически правильный квадрат, с той разницей, что углы были слегка закруглены.

Он протянул мне лист белой бумаги и спросил:

– Такой приблизительно срез?

На бумаге неуверенными линиями был нарисован ровный квадрат с закругленными углами.

– Совершенно точно.

Он покачал головой. Потом он посмотрел мне в глаза и сказал:

– Тот, кто убил Щербакова, унес с собой золотого Будду. На полке, покрытой тонким слоем пыли, отпечатался квадрат, рисунок которого вы держите в руках. Если нам удастся разыскать статуэтку, то вы вернетесь домой и будете продолжать ваше исследование по поводу Тридцатилетней войны, черновики которого мы нашли у вас. Должен вам сказать, между прочим, что я совершенно не согласен с вашими выводами, и в частности с оценкой Ришелье.

Затем он протянул мне папиросы – жестом, который мне сразу сказал много и немая убедительность которого была сильнее, чем любая перемена тона. Он сделал это почти машинально, так, как это делают по отношению к знакомому. Я почувствовал необыкновенное облегчение, и мое дыхание стало учащенным.

– Теперь перейдем к другому, – сказал он. – Что вы знаете о любовнице покойного, об ее родителях и об ее покровителе? Я с трудом представляю себе, чтобы вопрос об их участии в убийстве ни разу у вас не возникал.

– Я много об этом думал, – сказал я. – Я имею приблизительное представление обо всех этих людях, но меньше всего я знаю Амара, покровителя, как вы его называете, Лиды. Все они крайне малопочтенны. Но должен вам сказать, что я не вижу, какую выгоду для Лиды или Амара могло представить это убийство.

– Можно подумать, что вы лично не заинтересованы в результатах следствия.

– Мои рассуждения несколько отличаются от ваших, – сказал я, – и это объясняется, в частности, тем, что у меня есть достоверная истина, которая для вас априорно не установлена: я знаю, что я не убивал Щербакова.

– Alibi Лиды и Амара кажется на первый взгляд бесспорным, – сказал он. – Оба они провели всю ночь в дансинге «Золотая звезда». Гарсоны первой и второй смены помнят, что Амар заказывал им шампанское.

– Это была ночь с субботы на воскресенье, народу было много, и часовая отлучка могла пройти незамеченной.

– Да, и, кроме того, у нас есть некоторые основания не вполне доверять свидетельским показаниям, которые идут из этой среды. Но

до доказательства противного мы вынуждены верить этому алиби.

– Повторяю, что для меня неясно, какую цель мог бы преследовать Амар, убивая Щербакова.

– Этого мы не знаем, и это аргумент в его пользу. Ни допрос, ни обыск не дали никаких результатов. Родители Лиды провели ночь у себя, они, впрочем, вне подозрения. Что вы знаете о них вообще?

Я рассказал ему то, что мне было о них известно. Он сказал:

– Это, конечно, показательно, но из этого не следует автоматически, что кто-либо из них совершил это убийство, которое им принесло только убыток, грубо говоря. Мы будем теперь искать статуэтку, в которой ключ всего. Не скрою от вас, что найти ее вряд ли будет легко. Я думаю, что мне не придется вас больше допрашивать. Вам остается только ждать; время работает на вас.

И перед тем, как отослать меня, он прибавил:

– Бели бы убийца не соблазнился золотым Буддой, вам бы грозила гильотина или бессрочная каторга. И я не думаю, чтобы соображение о том, что это обогатило бы судебную хронику еще одним случаем осуждения невинного, показалось бы вам достаточным утешением.

Я даже приблизительно не представлял себе, сколько времени может продлиться мое ожидание. Но, так или иначе, я был уверен теперь, что мне не грозит никакая опасность. Я полагал, правда, что следовательно, будучи уверен в моей непричастности к убийству Щербакова, мог бы вернуть мне свободу. Но, поставив себя на его место, я подумал, что поступил бы, пожалуй, так же, как он, хотя бы для того, чтобы настоящий убийца Павла Александровича продолжал считать себя в безопасности. Как я впоследствии узнал, это в некоторой степени соответствовало действительности. И тогда же я подумал, что в области элементарной логики все рассуждают в общем почти одинаково, и, в конце концов, именно произвольные законы этой своеобразной математики приводят к аресту убийцы или раскрытию преступления, – тем более что уголовные преступники чаще всего бывают примитивными людьми, неспособными к сколько-нибудь отвлеченному мышлению, и в этом смысле оказываются беззащитными перед самым скромным умственным превосходством среднего следователя. Так должно было, как мне казалось, случиться и теперь.

Я не думал о сроке моего тюремного заключения и не вел счета времени, но, помимо моего желания, я был бессознательно подготовлен к тому, что оно продлится, быть может, два или три дня. Но проходили недели, и ничего не менялось в моем положении. Мне начинало иногда казаться, что так может тянуться годы, – не потому, что я должен содержаться в тюрьме, а оттого, что я был один в многомиллионной массе Парижа, был почему-то арестован и мог просто потеряться и быть забытым. Но и это было не размышлением или выводом, а темным и неверным ощущением, это была очередная и очевидная ошибка моих мускулов, моего зрения, моего слуха, всего этого восприимчивого и несовершенного аппарата. Дни проходили за днями. Сначала я не думал почти ни о чем, потом стал вспоминать о самых разных вещах, не имевших, однако, отношения к убийству. И чтобы заставить себя вернуться к обсуждению того, что играло главную роль в решении моей участи, мне всякий раз нужно было делать над собой усилие. Я ловил себя на том, что трагическая и неожиданная смерть Павла Александровича не вызывала во мне тех чувств, которые я должен был бы испытывать и которые были бы естественны: сожаление и печаль. У меня вдруг бывало такое странное ощущение, – мне было трудно его определить даже для самого себя, – нечто вроде того, что все, в сущности, начиналось с той минуты, когда стало известно, что Павла Александровича Щербакова больше нет на свете. И он невольно и теперь уж как будто окончательно приобретал для меня тот призрачно-картинный характер, который меня поразило в день моей первой встречи с ним в Люксембургском саду. Я помнил все мои разговоры с ним, его своеобразную уютность, но это как-то не вызывало во мне теперь эмоционального – я не мог найти другого слова – отклика. И я подумал, что он появился в моей жизни именно тогда, когда все для меня было призрачно и условно и деревья Люксембургского сада были не более убедительны, чем воображаемый пейзаж далекой страны, которой я никогда не знал. А вместе с тем произошло именно то, о чем я думал, когда стоял на мосту через Сену, возвращаясь от него домой в ночь его смерти. Может быть, даже мысль об этом совпадала по времени с той минутой, когда он умирал в своем кресле, не успев этого ни понять, ни почувствовать, ни постигнуть, что это и есть тот переход в иной мир, который он описывал мне в таких лирических

тонах. В этом, собственно, и состояло преступление – как почти каждое убийство: у него отняли то, чего он только начинал ждать, то, к чему его должен был привести длительный путь, медленный и постепенный отказ от всего, приближение к нирване, как он сказал бы, вероятно, мне в нашей очередной беседе, которой никогда не будет. И теперь я думал, что был не прав, полагая, что ему следует умереть раньше, чем он перестанет ценить свое неожиданное счастье: я произвольно лишал его самого важного периода его жизни. Я отнимал у него – и моим единственным утешением было то, что это оставалось в области чистейшей теории, – право на собственную смерть, которое принадлежало только ему, и никому другому. Но у него было слишком мало времени, – и кто мог знать, что не будет ни медленности, ни приближения к нирване, а будет короткий хрип и мгновенная тьма? И не будет ни объявления в газетах, ни «лона Авраама, Исаака и Иакова», и вместо этого в анатомическом театре будет лежать перед вскрытием ооченевшее тело пожилого мужчины, то самое тело, которое еще вчера Лида держала в своих вялых объятиях, закрывая глаза и думая об Амаре?

Я заметил в своем теперешнем состоянии одну особенность, связанную, быть может, с тем, что я был заключенным: если я начинал о чем-нибудь думать, то мне было труднее, чем раньше, перенести внимание на другой предмет. Обычно я делал это почти автоматически; теперь у меня было впечатление, что образы, занимавшие мое воображение, потеряли ту легкость, которой обладали раньше, и главное, перестали подчиняться моей воле, от которой больше не зависело ни их появление, ни их исчезновение. Может быть, это было так, потому что я устал. Я сопротивлялся этому как мог, но, по-видимому, у меня оставалось мало сил. Наступила, наконец, минута, когда я ясно понял невозможность отдалить от себя то, что так давно уже приближалось ко мне, то, о чем я раз навсегда запретил себе думать, потому что я не знал ничего более тягостного и печального. Это начиналось с трех строк, которые преследовали меня:

But come you back when all the flow'rs are dying,
If I am dead – as dead I well may be –
You'll come and find the place, where I am lying... [39]

И сейчас же после этого до меня доходил голос, который пел эти слова и который я слышал в последний раз два года тому назад. И этот голос, и эти слова возникали сквозь сожаление и сознание непоправимости, напоминая мне мой добровольный и бессмысленный отказ от единственной возможности возврата во времени. Как я мог думать тогда, что не имею права на это, – летние вечера, близость Катрин, ее голос, ее глаза и прозрачная ее любовь? И почему мрачные образы, провалы в небытие, неверность моих собственных очертаний и качающаяся зыбкость моей жизни могли мне казаться настолько непреодолимыми, что, испугавшись этой неизбежной призрачности существования, я ушел в отвлеченную темноту, оставив там, по ту сторону ненавистного пространства, этот голос и эти слова? Зачем я это сделал? Никто не мог знать заранее, что я непременно буду побежден в этой борьбе. В конце концов, неужели моего воображения было недостаточно, чтобы создать условную и соблазнительную фикцию действительности, и неужели у меня не хватило бы силы воплотиться в тот образ, который смутно видела Катрин, который она забыла и который она звала?

But come you back...

И вот я затворил за собой дверь, чтобы медленно исчезнуть в ее тягостном сне, в ее слабеющем воспоминании. Она ни в чем не была виновата, и не она ушла от меня. Я вышел из ее комнаты поздно вечером, и я вспомнил, как медленно я спускался по лестнице. Только теперь мне была ясна абсурдная неправдоподобность этой медленности, – потому что это не был уход, это было почти самоубийство, это был прыжок в неизвестность.

И первый раз в жизни я почувствовал, что мне нужна ее помощь и ее поддержка. Я думал о том, знала ли она что-либо обо мне. Представляла ли она себе, что сейчас, в душевных судорогах сожаления, я жду, обвиненный в убийстве, какой будет моя судьба и что мне предстоит – гильотина, бессрочная каторга или, быть может, возвращение золотой статуэтки Будды с его исступленным лицом и, стало быть, свобода? Но что бы ни случилось, ей я буду обязан единственной моей иллюзией. Только, может быть, меня больше не

будет и через несколько лет далекий каторжник, жестоко страдая от очередного припадка палюдизма, будет рассказывать на убогом уголовном жаргоне фантастическую историю своей любви к женщине, в существование которой тогда уже никто не поверит. Но если бы чудом мне когда-нибудь было суждено еще ее увидеть, я рассказал бы ей – как всегда, наполовину по-французски, наполовину по-английски – о моих допросах, о моем обвинении в убийстве, о моем тюремном заключении. И я бы прибавил, что, когда я был заперт в этих четырех стенах, именно тогда я понял самое главное: и постоянный призрак чьего-то чужого существования, и обвинение в убийстве, и раскаяние в том, что я был теоретически виновен перед тенью моего мертвого друга, и тюрьма, и перспектива медленной или мгновенной смерти, – все это было менее тягостно, чем воспоминание о моем уходе из ее комнаты тогда, поздним вечером, чем исчезновение той единственной иллюзии, из-за которой, может быть, действительно стоило защищаться до конца.

* * *

Я знал, что в эти долгие дни, которые были наполнены, казалось, только моими размышлениями и воспоминаниями и которые так монотонно переходили сначала в сумерки, потом в ночь, – там, за стенами, ограничивавшими мое теперешнее существование, происходит упорная работа. Я делал по этому поводу десятки предположений, но я, конечно, не мог предвидеть даже самым отдаленным и приблизительным образом того, что обусловило мое возвращение на свободу. Я не мог знать, что Томас Вилкинс находился в Париже, как я не знал вообще, что он существует на свете и что именно ему предстоит сыграть в моей судьбе столь значительную роль, объясняющуюся, в свою очередь, некоторыми его личными особенностями. Томас Вилкинс был собственником большого цветочного магазина в Чикаго и, как он сам говорил, любил больше всего остального – цветы и женщин. Но те, кому пришлось с ним близко познакомиться, были склонны утверждать, что самую большую слабость он питал все-таки к спиртным напиткам. Он приехал в Париж по делам, поселился в районе Больших бульваров и скоро стал

своим человеком во всех барах этого квартала. Это был полный сорокалетний мужчина с выцветшими глазами. Он обычно появлялся в сопровождении какой-нибудь молодой женщины из числа тех, кого содержатели и гарсоны баров знали давно и хорошо. В пьяном виде он отличался некоторой забывчивостью и нередко оставлял в баре, уходя, то коробку конфет, то какой-нибудь сверток, то собственную шляпу. Ему обыкновенно возвращали их на следующий день.

Розыски золотого Будды были поручены инспектору Прюнье, который, потратив на это несколько недель, нигде не мог обнаружить не только исчезнувшей статуэтки, но даже отдаленных о ней напоминаний. Он, правда, отыскал, не без труда, антиквара, который продал Будду Щербакову несколько месяцев тому назад и который подтвердил это; но его подтверждение, конечно, не могло подвинуть дела. Он дал Прюнье подробное описание статуэтки, точно совпадавшее с тем, которое я дал следователю, и, удостоверившись таким образом, что золотой Будда действительно существовал и не был плодом моего воображения, Прюнье принялся за его поиски. Он наводил справки, очень сложными и косвенными путями, у всех скупщиков краденого, но это не дало никаких результатов. Золотая статуэтка исчезла, казалось, совершенно бесследно.

Он возвращался однажды домой, усталый и сонный, поздно ночью и, проходя по одной из маленьких улиц возле place de Opera, остановился перед баром, над которым электрическая вывеска сияла красным светом. Изнутри доносилась смутная музыка. Он толкнул стеклянную дверь и вошел. В баре было почти пусто. Он сел на высокий табурет перед стойкой, против кассира, поздоровался с ним, – он знал в этом баре всех служащих, – заказал себе виноградного соку и увидел справа от кассы какой-то небольшой предмет, завернутый в помятую папиросную бумагу.

Я узнал эти подробности от самого Прюнье, с которым познакомился несколько позже и которого пригласил позавтракать в ресторан. Он очень картинно рассказал мне все, что происходило, детали каждого допроса и последовательность фактов, которая довела его до их логического завершения. Выпив лишнее, он стал совершенно откровенен и признался мне, что недоволен своей судьбой и своей профессией, что он вынужден этим заниматься только из-за недостатка средств и что больше всего на свете его интересу

зоология. Когда он начал об этом говорить, он необыкновенно оживился, и остановить его было невозможно. Я подумал, что, если бы вопрос о классификации млекопитающих возник в начале нашего разговора, я бы вряд ли успел узнать что бы то ни было о вещах, которые мне лично казались в данном случае более важными, но которым он не был склонен придавать значение. Он буквально впал в лирический экстаз, когда заговорил об австралийской фауне, в которой обнаружил удивительные познания: он описывал мне поведение ехидны, нрав утконоса, свирепость динго и трагическую красоту – как он выразился – черного лебедя. Он имел точное представление о размерах маньчжурского тигра, об окраске оцелота, о необыкновенной быстроте бега, характерной для гиеновой собаки, – и его мало, по-видимому, смущало то, что я был в этой области явно недостойным его собеседником. Впоследствии я часто встречался с ним, он был милым человеком и носил в себе начало своеобразной зоологической поэзии, в которой, как я ему сказал, было нечто стихийно-пантеистическое. К счастью, тогда, в баре, он был далек от зоологии. Он посмотрел на сверток и спросил:

– Что это такое?

– Это забыл один из клиентов, – сказал кассир, – он только что вышел, и я даже не успел посмотреть, в чем дело. Что-то тяжелое, во всяком случае.

– Покажите, – сказал Прюнье.

Кассир протянул ему полубесформенный предмет, очертания которого были скрыты несколькими слоями бумаги. Прюнье развернул ее измятые листы, и глаза его широко раскрылись: тускло поблескивая в электрическом свете, на него смотрело восторженное, золотое лицо Будды.

– *Qua, par exemple*^[40], – сказал он.

Вилкинс был допрошен на следующий день через переводчика; он почти не говорил по-французски. Он сначала вообще не хотел разговаривать с полицией, заявил, что он американский гражданин, что он не совершил никакого преступления, что он обратился к американскому консулу с просьбой защитить его от произвола французских властей. Но когда ему объяснили, в чем дело, он согласился сообщить то немногое, что мог. Он купил эту статуэтку за триста франков у девушки, с которой провел вчерашний вечер.

Статуэтка понравилась ему необыкновенной живостью выражения, как он сказал, и поэтому он решил ее приобрести, хотя она, конечно, не стоила таких денег, так как была из меди и в нее было вделано красное стеклышко. Девушка, собственно, не предполагала ее продавать и согласилась на это, только уступая его настояниям. Это была очень приятная блондинка, и звали ее Джорджетт. Прюнье поблагодарил его за показания и спросил в баре, кто именно была женщина, приходившая вчера туда с Вилкинсом.

– Габи, – сказал гарсон.

Через полчаса после этого Габи стояла перед Прюнье. Она начала с того, что у нее все бумаги в порядке, что она ничего не скажет, что ей нечего сказать и что она знает свои права.

– Не говори глупостей, – сказал Прюнье, – и не трать времени.

Откуда ты получила статуэтку?

– Это подарок.

– Хорошо. Кто тебе ее подарил?

– Это вас не касается.

– Касается, касается, – сказал он. – Ну?

– Я не скажу.

– Как хочешь, – сказал Прюнье. – Но тогда я буду вынужден тебя задержать за сообщничество и укрывание краденного.

– Вы надо мной смеетесь, – сказала Габи. – Кто будет красть медную статуэтку?

– Тот, кто понимает разницу между медью и золотом. Ну?

Это произвело на Габи необычайно сильное впечатление. На глазах ее появились слезы; она не могла себе простить, что отдала такую ценную вещь почти даром этому американцу, который был совершенно пьян или делал вид, что был пьян, и тоже не понимал, что это золото.

– Гюгюс мне сказал, что это не имеет никакой ценности.

– Можешь идти, – сказал Прюнье. – Только не особенно далеко, ты мне, может быть, будешь еще нужна.

После этого Гюгюс, официальный покровитель Габи, был доставлен в тот же кабинет, где час тому назад была Габи. Прюнье бросил на него быстрый взгляд: Гюгюс был таким же, как всегда, – крупные завитки волос на голове, результат длительной работы

парикмахера, свирепое бритое лицо, светло-коричневый костюм и серое пальто.

– Здравствуйте, господин инспектор, – сказал он.

– Здравствуй, Гюгюс, – сказал Прюнье. – Ну, как дела?

– Так себе, господин инспектор.

– Хочешь папиросу?

Гюгюса очень обеспокоила такая неожиданная любезность со стороны полицейского инспектора; он привык к другому обращению, и эта перемена тона не предвещала ничего доброго.

– Ты всегда был хорошим парнем, в сущности, – сказал Прюнье. – Конечно, у тебя были кое-какие недоразумения, но у кого их не бывает?

– Это правильно, господин инспектор.

– Ну вот, видишь. Ты знаешь, что мы делаем все, чтобы не доставлять тебе неприятностей: ты живешь как хочешь, работаешь как хочешь и мы тебе не мешаем, потому что мы уверены в твоей порядочности.

Прюнье посмотрел на него довольно пристально. Гюгюс отвел глаза.

– Но, с другой стороны, ты понимаешь, так как мы тебе оказываем услугу, то мы рассчитываем на твою лояльность. Мы знаем, что если бы нам понадобились некоторые справки, то ты нам их дашь. Не правда ли?

– Да, господин инспектор.

– Откуда у тебя появилась статуэтка, которую ты дал Габи?

– Я не понимаю, о чем вы говорите, господин инспектор.

– Ты видишь, тебе все-таки верить до конца нельзя. Жаль. Потому что, ты понимаешь, все благополучно только до тех пор, пока мы тебе верим. Но если бы мы захотели к тебе придраться, это было бы нетрудно. Пошли бы опять допросы, – ты знаешь, что это такое, – заинтересовались бы твоим прошлым, – ты тоже знаешь, что это такое, – и так далее. Понимаешь? И тогда я бы тебя уж не мог защищать. Я бы сказал: Гюгюс, я ничего не могу для тебя сделать, потому что ты обманул мое доверие. Это ты, я надеюсь, понимаешь? Теперь я прибавлю, что у меня мало времени. Последний раз: откуда у тебя статуэтка?

– Я нашел ее в мусорном ящике, господин инспектор.

– Хорошо, – сказал Прюнье, вставая, – Я вижу, что тебе надоела спокойная жизнь. Что ж, будем действовать иначе.

– Господин инспектор, мне дал ее на хранение Амар.

– Вот это другое дело. Как раз недавно был о тебе разговор, и я сказал моим коллегам: ребята, я за Гюгюса всегда готов поручиться. Я очень рад, что оказался прав. Когда он тебе ее передал?

– В ночь на двенадцатое февраля, господин инспектор.

* * *

Я не знал ничего обо всем, что происходило в это время, когда я был предоставлен своим собственным размышлениям. И я думал о том, что моя судьба решается сейчас, именно в эти дни, и что ее решение не зависит от меня ни в какой степени. Меньше, чем когда бы то ни было, все, что мне предстояло в жизни, могло определяться тем, что я из себя представлял, или тем, к чему я стремился. Я вернулся к этим же размышлениям позже и констатировал лишний раз, что это действительно не имело никакого значения. Важно было то, что существовала золотая статуэтка с квадратным срезом внизу, важно было то, что старый антиквар в очках и ермолке подробно описал ее полицейскому инспектору; важно было то, что Томас Вилкинс, владелец цветочного магазина в городе Чикаго, питал слабость к спиртным напиткам и женскому полу и отличался забывчивостью в пьяном виде. Важно было то, что была на свете Габи и что она работала в районе Больших бульваров. И важно было то, что в этом неправдоподобном соединении пьянства, пристрастия к цветам, продажных женских тел и малограмотных сутенеров возникало золотое воплощение великого мудреца, об учении которого никто из его кратковременных владельцев, ни Вилкинс, ни Габи, ни Гюгюс, ничего не знали – и в возможности его вещественного приближения ко мне заключалось мое спасение. А вместе с тем, что, казалось, кроме слепой и неумолимой механики случая, могло связать мою судьбу, мой длительный бред и мои блуждания с клиентурой цветочного магазина в столице одного из американских штатов, – клиентурой, существование которой позволяло Вилкинсу совершать поездки в Париж? С плохо залеченным сифилисом Габи и Гюгюса и с

неизвестной мне жизнью индусского артиста, бесспорному и в какой-то мере крамольному искусству которого золотой Будда был обязан своим возникновением? Может быть, этот неведомый мастер, работая над статуэткой, надеялся, что через сотни или тысячи лет, воскресая и перевоплощаясь десятки и десятки раз, он достигнет наконец совершенства и станет почти похожим на величайшего мудреца всех времен и народов, – вместо того, чтобы, прожив обычную человеческую жизнь, не отмеченную ни одной особенной заслугой, умереть и проснуться парией и быть окруженным гениями тьмы. И я подумал, что, говоря с Павлом Александровичем о том, что и я мог бы, при известных условиях, стать буддистом, я был далек от истины, в частности, потому, что моя судьба в этой жизни слишком живо все-таки интересовала меня, и я нетерпеливо ждал своего освобождения.

Этот день наступил через три недели. Меня опять привели в кабинет следователя. Он поздоровался со мной – чего раньше никогда не делал – и сказал:

– Я мог бы вас не вызывать, но мне хотелось вас видеть и у меня оказалось немного свободного времени.

Он расстегнул свой портфель – и в следующую секунду я увидел в его руках золотого Будду.

– Вот ваш спаситель, – сказал он. – Его, однако, было не так легко найти.

Он внимательно смотрел на статуэтку.

– Вещь действительно замечательная, – сказал он, – но я не нахожу в ней никакого сходства со святым Иеронимом, и я боюсь, что это ваше сравнение чрезвычайно произвольно. Какую именно картину вы имеете в виду?

– Должен вам признаться, что я плохой знаток живописи, – сказал я. – Я имею в виду анонимную картину, на которую я обратил внимание в Лувре. Она приписывается, если не ошибаюсь, школе Синьорелли. Мне казалось, что в ее исполнении участвовали двое. Картина изображает святого Иеронима в религиозном экстазе. Он прижимает к голой груди камень, из-под которого течет кровь. Его лицо поднято к небу, глаза закатываются в священном исступлении, губы его старческого рта почти провалились; и в воздухе, над его головой, летит изображение Распятия. Мне казалось, что в исполнении картины участвовали двое, потому что воздушное

Распятие выполнено небрежно и неубедительно по сравнению с необыкновенной силой выражения, вложенной художником в лицо святого Иеронима. Статуэтка меня поразила с первого же раза именно этим выражением экстаза, которое кажется таким неожиданным у Будды, потому что его лицо на всех его изображениях, которые мне пришлось видеть, олимпийски спокойно.

– Я надеюсь, что мы как-нибудь поговорим с вами об этом, – сказал он. – Сегодня вечером вы будете спать в вашей собственной постели. Амар еще не арестован, но это, конечно, вопрос времени.

– Ордер о моем освобождении уже подписан? – спросил я. – Я хочу сказать, могу ли я теперь разговаривать с вами как частное лицо?

– Конечно.

Тогда я привел ему свои соображения по поводу Амара и повторил ему то, о чем я думал неоднократно, именно, что Амар не был способен, по-моему, нанести удар такой силы и точности.

– Я его видел, – сказал я. – Это человек физически слабый, изнуренный, по-видимому, болезнью. Стоит посмотреть на одну его походку, – он волочит ногу, – чтобы убедиться в этом.

– Мне этот пункт тоже представлялся необъяснимым сначала, – ответил он. – Но впоследствии я имел возможность оперировать данными, которыми вы, конечно, не могли располагать.

– Именно?

– Результаты вскрытия – во-первых. Досье Амара – во-вторых.

– Что показало вскрытие?

– Удар был нанесен не обыкновенным ножом, а трехгранным оружием, несколько похожим на штык. Таким ножом бьют скотину на бойнях.

– Вы хотите сказать...

– Я хочу сказать, что до своей болезни Амар работал на бойнях в Тунисе.

– Да, – сказал я. – Я понимаю. Именно так это и должно было быть.

* * *

Вспоминая потом это время, я должен был констатировать преобладание в нем двух вещей: непривычной легкости и такого впечатления, точно я только что присутствовал при исчезновении целого мира. Это было новое и несколько тревожное чувство свободы, и мне все казалось, что в любую минуту это может прекратиться и что я вновь исчезну из этой действительности, поглощенный очередным приливом той иррациональной стихии, которая до сих пор играла такую значительную роль в моей жизни. Но каждый раз я убеждался, что мои опасения были напрасны или во всяком случае преждевременны.

Лида пришла ко мне, как только узнала о моем освобождении. На лице ее были следы слез, она не могла удержаться от всхлипываний, говоря о Павле Александровиче. По ее словам, она была так же далека от убийства, как я, она никогда даже не допускала возможности такой чудовищной вещи. Амар, о проектах которого она не имела представления, действовал, по-видимому, в припадке неудержимой ревности. Счастье недолго баловало ее, – то счастье, которое она заслужила столькими годами безотрадной жизни. Зачем она выписала Амара? Она знала, что я был о ней незаслуженно плохого мнения, и готова была мне это простить, потому что я, конечно, не пройдя через ее жизненный опыт, не был в состоянии понять ее побуждений, ее желаний, ее любви. Она была готова искупить свою невольную вину чем угодно.

– Вот я сижу перед вами, – сказала она, – совершенно разбитая и уничтоженная. Судьба отняла то небольшое, что у меня было, и у меня ничего не осталось. Я спрашиваю вас, что мне делать. Скажите мне это, и я обещаю вам, что буду следовать всем вашим советам.

Я слушал ее рассеянно и думал о том, кто ей мог подсказать эти слова. Если это была ее собственная инициатива, то это лишний раз доказывало, что она была умнее, чем этого можно было ожидать.

– Я не вижу, почему именно я должен вам давать советы, – сказал я. – До сих пор вы без них обходились. Вы говорите так, точно мы связаны какой-то взаимной ответственностью. Это не соответствует действительности.

– Вы полагаете, что мы ничем не связаны? У Павла Александровича был друг, это вы, и была женщина, которую он любил. И вы считаете, что память о нем вас ни к чему не обязывает?

– Извините меня, я не очень понимаю, что вы хотите сказать.

Она подняла на меня свои тяжелые глаза.

– Вы сказали мне однажды, в ответ на мою фразу, – которая вам не понравилась, – о том, что мы принадлежим к двум разным мирам, вы сказали мне тогда, что в вашем мире все по-другому, чем в моем. Иначе говоря, я думала, что если в том мире, к которому я имею несчастье принадлежать, я не могу рассчитывать ни на что, кроме ненависти, матерьяльных соображений и животных чувств, в вашем мире я вправе была бы ожидать другого: сочувствия, понимания, какого-то движения души, не продиктованного корыстными соображениями.

Я с удивлением на нее смотрел. Кто ее научил так говорить и так думать?

– Я вижу, что действительно мало знал о вас, – сказал я, – только то, в конце концов, что вы нашли нужным мне сообщить. Но я не мог ожидать, что любовница Амара будет говорить таким языком. Где вы ему научились?

– Вы невнимательно слушали меня, когда я вам рассказывала о моей жизни. Я несколько лет служила у старого доктора, у него была большая библиотека; я прочла много книг.

– И он умер своей смертью?

Она посмотрела на меня с упреком. Я молчал. Тогда она сказала:

– В вашем мире, оказывается, можно быть еще более жестоким, чем в моем. Да, он умер своей смертью.

– То, в чем судьба, – как вы это называете, – отказала Павлу Александровичу.

– Это была двойная смерть. Потому что мне кажется, что с той минуты, когда он умер, я тоже перестала существовать.

Я слушал ее слова и испытывал сложное чувство – бешенства, отвращения и печали.

– Слушайте, – сказал я, стараясь говорить спокойно, хотя это мне стоило большого усилия. – Я вам скажу, что я думаю. Вы связали вашу жизнь с Амаром.

– Я его любила, – сказала она вялым голосом.

– Вы видели, вероятно, – не даром же вы были в Африке, – выгребные ямы при ярком солнечном свете. Вы видели, что там внизу, в нечистотах, медленно ползают беловатые, короткие черви.

Вероятно, их существование имеет какой-то биологический смысл. Но омерзительнее этого зрелища я ничего не могу себе представить. И я всякий раз, удерживая судорогу отвращения, вспоминаю это, когда думаю об Амаре. Ваша любовь, как вы говорите, к нему окунула вас в эти нечистоты. И никакая сила, никакая готовность следовать чьим бы то ни было советам, никакая вода не смоет с вас этого. Я буду откровенен до конца. Так, как сдают комнаты в гостиницах, так вы сдавали ваше тело, – и скажите мне спасибо за то, что я не употребляю более точного слова, – бедному Павлу Александровичу. Согласитесь, что это не стоило той цены, которую он за это заплатил.

Она неподвижно смотрела на меня своим тяжелым взглядом. Я проглотил слюну, мне было трудно говорить.

– Теперь вы приходите ко мне за советом. Но ваши намерения слишком прозрачны, чтобы я мог в них сомневаться. И одна только мысль о вашем прикосновении вызывает у меня отвращение.

– Правда? – сказала она, поднимаясь с кресла. Я встал со стула, на котором сидел. Ее бледное и чем-то неподдельно страшное лицо, – и я подумал, что не случайно она была любовницей убийцы, – приблизилось ко мне.

– Уходите! – сказал я почти шепотом, потому что у меня прервался голос. – Уходите, или я вас задушю.

Она заплакала, закрывая лицо руками, и вышла из комнаты. Я ощущал раскаяние и сожаление, позднее и напрасное, в сущности, потому что я знал, что ничего нельзя было ни исправить, ни вернуть. И я подумал, что и ее поведение, и ее расчеты были одновременно и неправильны, и естественны. С ее умом она должна была бы понять, что, действуя так, она поступает ошибочно. Но она была жертвой той среды, в которой прожила свою жизнь, тех воспоминаний, которые давили на нее, той совокупности мрачных и печальных вещей, которые составляли ее существование. Никакие прочитанные книги не могли этого изменить. Было бы, конечно, несправедливо обвинять ее в том, что она не походила на героиню добродетельного романа. Но она была именно такой, какой была, и из этого выткано все, вплоть до выбора ее любовника и ответственности за него. Я, впрочем, не верил, что она ничего не знала о проекте убийства, я только был убежден в том, что она никому бы этого не сказала. И чтобы это узнать, нужно было ждать ареста и признаний Амара.

Он скрылся в тот день, когда за ним пришли, и исчез так же, казалось, бесследно, как незадолго до этого исчезла статуэтка Будды. Прюнье предполагал, что ему, может быть, удалось вернуться в Тунис. Во всяком случае, дни проходили, и полиция не могла обнаружить не только его самого, но даже следов его пребывания там, где его искали. И все-таки, когда следователь сказал мне, что его арест – вопрос времени, он знал, что говорил. Рано или поздно кто-либо из его знакомых или друзей, которому он когда-нибудь резко ответил, или который завидовал его временному парижскому благополучию, или который хотел застраховаться перед полицией на всякий случай, в силу этой причины или другой, еще менее значительной на первый взгляд, должен был дать знать кому следует, что Амар скрывается там-то или бывает в таком-то кафе. Это могло произойти в Париже, или в Ницце, или в Лионе, или в Тунисе, но это было неизбежно. Он мог бы уехать в Южную Америку, – на это у него не было, вероятно, средств, и вряд ли он думал об этом. Как выяснилось впоследствии, он прожил некоторое время в Марселе и затем вернулся в Париж.

Его обнаружили в одном из кафе возле place d'Italie. Он бросился бежать. Описывая потом обстоятельства его ареста, некоторые газеты называли его трусом. Я думаю, что это было несправедливо. У него, конечно, не было морального мужества, как это выяснилось при допросах и позднее, на процессе. Но он обладал несомненной физической храбростью. Он плохо и медленно понимал вещи, которые с ним происходили, это был свирепый и примитивный человек, едва умевший читать и писать. Ни его душевной силы, ни его умственных способностей никогда не хватило бы, чтобы понять необходимость или возможность сопротивления после того, как даже ему стало бы ясно, что его положение безвыходно. Он не был способен понять, что может существовать какая-то иная реальность, кроме той, которая определяется простейшим материальным соотношением сил. Но у него было мужество преследуемого и защищающегося животного. Все поведение его доказывало, что он плохо, конечно, учитывал положение: если бы он мог это сразу понять – что было нетрудно, – он сдался бы без сопротивления. Его преследовали двое полицейских. На что он мог рассчитывать в своем бегстве? Он волочил ногу, и было очевидно, что он далеко не уйдет. Его окончательно погубила ошибка в маршруте: он свернул в тупик, думая, что это улица. Когда первый

полицейский догнал его, он ударил его ножом – опаснейшим в его руках оружием, которым он владел, как виртуоз. Оказалось, однако, что этот полицейский стоил любого противника, вооруженного ножом, потому что он успел с необыкновенной быстротой подставить под удар свою толстую синюю накидку. Если бы он сделал это движение на какую-то часть секунды позже, он был бы убит. В это время подоспел второй полицейский, который свалил Амара ударом в подбородок. Еще через полминуты все было кончено – и в вечерних газетах уже появились фотографии арестованного.

Его решение не отвечать на вопросы было сломлено очень быстро, и он рассказал, не скрывая ни одной подробности, как все произошло.

Это началось, по его словам, с того, что Зина посоветовала дочери внушить Павлу Александровичу мысль о необходимости составить завещание. Щербаков в течение некоторого времени уклонялся от разговоров на эту тему, но потом однажды сказал, что завещание сделано и лежит у нотариуса. Ни Зина, ни мышастый стрелок, ни сам Амар, ни даже Лида не сомневались, что Павел Александрович все оставляет, конечно, ей: как это могло бы быть иначе? После этого начались длительные и почти ежедневные обсуждения того, как именно его следует устранить. В ожидании окончательного решения Амар, по совету Зины, стал брать уроки автомобильной езды, – тотчас же после получения наследства он собирался купить машину. У них всех было преувеличенное представление о состоянии Павла Александровича, они были убеждены, что он крупный миллионер. Сожитель Зины предлагал постепенное отравление мышьяком. Зина считала, что лучше открыть газовый кран, когда он заснет. У Лиды не было никаких собственных предположений, и хотя она не протестовала против этих семейных проектов, но относилась к ним очень сдержанно.

Но в общем ни один из этих способов не получил единогласного одобрения и никакого решения принято не было. Надо было ждать подходящего случая, чего-то неопределенного и далекого. Амару хотелось иметь автомобиль, он хотел лично распоряжаться деньгами, которые останутся после Щербакова, и не мог больше ждать. Поэтому он решил привести в исполнение свой собственный план. Обстоятельства, на первый взгляд, ему благоприятствовали. Он знал,

что я бываю у Павла Александровича, и хотя он никогда меня не видел, но имел обо мне вполне определенное представление, и Лида даже сказала ему однажды:

– Этот тип может оказаться опасным.

Внешний расчет Амара был чрезвычайно прост и соблазнителен, но его воображение не шло дальше самых непосредственных вещей. Все улики были против меня. Ему не пришла в голову мысль поставить себя на мое место и попытаться рассуждать так, как должен был бы рассуждать я, если бы у меня действительно появилось чудовищное и бессмысленное намерение убить Павла Александровича. Ему казалось, что его план непогрешим. В дансинге, когда Лида танцевала с одним из многочисленных кавалеров, он достал из ее сумки ключи от квартиры Щербакова и положил их в карман. Затем он сказал ей, что уходит на короткое время и скоро вернется, вышел на улицу, взял такси и доехал до угла гае Chardon Lagache и гае Molitor. Было около часу ночи. Он стал ждать, когда я уйду.

– Через несколько минут, – рассказывал он следователю, – я увидел, как он вышел из дому. Он постоял немного, посмотрел по сторонам и, засунув руки в карманы, пошел вниз, к гае Chardon Lagache. Я подождал еще четверть часа, потом открыл ключом дверь и вошел.

Павел Александрович спал, сидя в кресле, и ничего не слышал. Амар на цыпочках подошел к нему сзади и ударил его ножом в затылок. Смерть была мгновенной. Он вытер кровь с ножа платком и в эту секунду вдруг увидел на полке золотую статуэтку Будды. Он снял ее, чтобы лучше рассмотреть, и, не думая ни о чем, сунул ее в карман. Потом он вышел на улицу и запер за собой дверь.

Все было тихо, вокруг не было ни души. Дойдя до Сены, он наколол окровавленный платок на нож, сделал вокруг него узел и бросил это в реку. Затем он перешел на другой берег и опять взял такси, на котором доехал почти до угла той улицы, где находился дансинг. Здесь же он встретил Гюгюса, которому отдал статуэтку, прося сохранить ее некоторое время. Потом он вернулся в дансинг. Оркестр продолжал играть, Лида по-прежнему танцевала.

– Это было так, как будто ничего не случилось, – сказал он.

Он положил ключи обратно в сумку. Лида, кончив танец, подошла к столику и спросила Амара, где он был. Он ответил:

– Ты можешь меня поблагодарить, дело сделано. Но когда несколько позже он рассказал ей, как все это было, она, по его словам, пришла в бешенство. Она сказала ему, что он действовал как последний дурак, что он погубил их всех, что мне, несомненно, удастся доказать свою непричастность к убийству, что и инспектора и следователь отнесутся ко мне не так, как отнеслись бы к нему.

После этого Амар совершил непоправимую ошибку: он скрыл от Лиды, что взял статуэтку Будды.

Показания Лиды существенно разнились от версии Амара: она ничего не знала об убийстве до того, как оно было официально обнаружено, когда уборщица, приходившая к Щербакову каждое утро, отворила дверь, – у нее был ключ от квартиры, – и нашла труп Павла Александровича, о чем тотчас же дала знать в комиссариат. Лида и ее семья никогда не обсуждали проектов убийства; те разговоры, на которые ссылается Амар, носили явно шуточный характер: и Лида и ее родители прекрасно относились к Щербакову и меньше всего желали его смерти. О необходимости составить завещание с ней заговорил сам Павел Александрович, но только потому, что у него была сердечная болезнь и было благоразумно ее предвидеть. Она не могла дать знать в полицию, что убийца – Амар, так как он пригрозил ей, что убьет и ее, если она скажет кому-нибудь хоть одно слово.

Я узнал все эти подробности из газетных отчетов; и, столкнувшись непосредственно с трагическими событиями, положившими конец существованию Павла Александровича Щербакова и обусловившими мое освобождение и мою матерьяльную обеспеченность, неожиданную почти как его богатство, – я все больше и больше проникался той мыслью, что судьба Амара и Лиды, так же как смерть Павла Александровича, составляли часть сложной схемы, не лишенной некоторой зловещей и последовательной логики. Когда Амар был раздет, на его груди полицейский врач увидел татуированную надпись – «Enfant de malheur»^[41]. Теперь его ждала гильотина или бессрочная каторга. То, что он совершил это убийство, против которого Лида протестовала не в принципе, а только по чисто техническим соображениям, не было случайно. Это был последний эпизод его борьбы против того мира, в который ему был закрыт

доступ – потому что он был полуараб, полуполяк, потому что он был едва грамотен, потому что он был беден, потому что он был чахоточным, потому что он был сутенер, потому что там говорили о вещах, которых он не знал, языком, которого он не понимал. И вместе с тем, ему хотелось туда проникнуть оттого, что там были деньги, хорошие квартиры и автомобили, главное – деньги. И его побуждало даже не только это, а еще и какое-то смутное сознание, что есть другая, лучшая жизнь, для перехода в которую достаточно перешагнуть через труп пожилого и неспособного защищаться человека. В этом заключалась его отвлеченная ошибка – в этом желании уйти от тех условий жизни, в которых он родился и вырос. Он наивно полагал, что для осуществления этой цели у него в руках есть достаточное оружие – трехгранный нож. Он рассчитывал, что вечерний визит к его жертве другого человека, почти такого же, как тот, которого он убьет, введет в заблуждение следователя и всех остальных. Он не мог понять, что перед этими людьми он был беззащитен, как ребенок, и что за эту отчаянную и незаконную попытку изменить существующий порядок вещей заплатит своей собственной жизнью. Он был осужден заранее, и судьба его была давно предрешена, каковы бы ни были обстоятельства его существования. Конечно, все это казалось результатом ряда случайностей: Тунис, встреча с Лидой, ее парижское знакомство с Павлом Александровичем. Но внутренний смысл этих случайностей оставался неизменным и был бы таким же, если бы вместо них были другие. Это не изменило бы ничего – или почти ничего.

Он был предоставлен теперь самому себе, его участь не разделил никто, и он не мог рассчитывать ни на чью помощь и ни на чье сочувствие. Лида не поддержала его потому, что была слишком умна для этого, другие отказались от него, – его товарищи, – потому что, в сущности, его личная судьба была им безразлична. И позже ни следователь, ни люди, которые его судили, не испытывали по отношению к нему ненависти, не были воодушевлены жаждой мщения; он подпадал под такую-то статью закона, далекий составитель которого, конечно, не имел в виду никого в особенности. И для всех, кто, казалось, играл известную роль в решении его участи, было совершенно неважно, что вот он, именно он, Амар, через некоторое время перестанет существовать. В этом была, конечно,

какая-то, на первый взгляд, легко доказуемая справедливость – того же порядка, что своеобразная логика его жизни, приведшая его на гильотину. Но она была чрезвычайно далека от классического торжества положительного начала над отрицательным. Никто никогда не терял времени на объяснение Амару разницы между добром и злом и глубочайшей условности этих понятий. Бели он что-нибудь понял из всего, что с ним произошло, то это могло быть только одно: он совершил какую-то ошибку в расчете. Не сделай он ее, никакое сознание своей вины, никакое раскаяние никогда бы не мучило его. Деньги Павла Александровича были бы истрачены, и все было бы в порядке – до той минуты, пока не появились бы какие-нибудь новые факты, которые привели бы его приблизительно к тому, что происходило сейчас. Но вернее всего, он умер бы до этого своей смертью, от чахотки. Он имел несчастье принадлежать к тому огромному большинству людей, – вне его личной принадлежности к уголовному миру, – на интересы которого неизменно ссылались все создатели государственных принципов, все социальные и почти все философские теории, которое составляло материал для статистических выводов и сопоставлений и во имя которого как будто бы происходили революции и объявлялись войны. Но это был только материал. До тех пор, пока Амар работал на бойнях в Тунисе, покрытый зловонной кровавой слизью, и получал в месяц столько, сколько тратил его адвокат в течение одного вечера, проведенного в Париже с любовницей, его существование было экономически и социально оправдано, хотя он этого и не знал. Но с того дня, что он перестал работать, он сделался не нужен. Что он мог бы сказать в свою защиту, кому и зачем была необходима его жизнь? Он не представлял собой больше единицы рабочей силы, он не был ни служащим, ни каменщиком, ни артистом, ни художником; и безмолвный, не фигурирующий ни в одном своде или кодексе, но неумолимый общественный закон не признавал больше за ним морального права на жизнь.

И даже чисто внешне – им в какой-то мере интересовались только до той минуты, пока он не успел сказать, что это он убил Щербакова. После этого признания вокруг него образовалась пустота, и в пустоте была смерть. Даже адвокат, который его защищал, рассматривал его только как удобный предлог для упражнения в судебном красноречии

– потому что, в конце концов, что значила для него, мэтра такого-то, жившего в удобной квартире, хорошо зарабатывающего молодого человека, ежедневно принимавшего ванну, имевшего заботливую жену, читавшего книги современных авторов, любившего пьесы Жироду и философию Бергсона, – что значила для этого далекого господина судьба грязного и больного убийцы-араба?

Теперь все было кончено: он был присужден к смерти и ждал того дня, когда приговор будет приведен в исполнение. Я вспомнил его страшное, темное лицо на процессе, черные и мертвые его глаза. Он, вероятно, не понял ни речи прокурора, ни речи защитника; он понял только то, что приговорен к смерти. Слушая сначала слова прокурора, затем речь защитника, я готов был пожать плечами, настолько ясной казалась искусственность их построений. Но, конечно, это было неизбежно – потому что в юридическом преломлении всякий факт человеческой жизни не мог не претерпеть существенного искажения. Прокурор сказал:

– Мы здесь не для того, чтобы нападать, мы пришли сюда, чтобы защищаться. Вынося смертный приговор обвиняемому, мы защищаем те великие принципы, на которых строится существование современного общества и всякого человеческого коллектива вообще. Я имею в виду прежде всего священное право каждого человека на жизнь. Я бы хотел, чтобы все было выяснено и не оставалось никаких сомнений.

– Я заранее отрицаю возможность ссылки на какие бы то ни было смягчающие обстоятельства. Я бы хотел, чтобы они существовали, потому что их отсутствие равно смертному приговору, и если бы моя совесть позволила мне не настаивать на таком решении суда, я без колебаний обратился бы к анализу этих смягчающих обстоятельств. К сожалению, как я только что сказал, их нет. И я полагаю, что нарушил бы свой долг, если бы не напомнил вам, что мы судим сейчас человека, который является убийцей вдвойне. Первое преступление, к несчастью, безвозвратно. Но тот, кто должен был стать второй жертвой обвиняемого, избежал участи Щербакова только благодаря безошибочному в данном случае действию аппарата правосудия, того самого правосудия, во имя которого я обращаюсь к вам. План обвиняемого был построен так, что подозрение в убийстве должно было пасть на невинного человека, лучшего друга убитого, молодого

студента, перед которым впереди вся жизнь. Если бы проекты обвиняемого могли быть выполнены так, как он хотел, на скамье подсудимых сидел бы человек, смерть которого была бы на его совести. К счастью, это не так. Но этот человек обязан своей жизнью и свободой вовсе не великодушию обвиняемого. С тем же холодным зверством, с каким он убил свою первую жертву, он отправил бы вторую на гильотину. Поэтому я подчеркиваю, что он убийца вдвойне. И если бы его участь вызвала у вас сожаление, вспомните о том, что вашим здравым и беспристрастным суждением вы спасете, быть может, еще несколько существований.

– Я обращаю ваше внимание еще на одно обстоятельство. В этих двух убийствах – одном осуществленном, другом неосуществившемся – никогда, ни на одну секунду не появляется ничего, кроме холодного расчета. Я первый готов признать, что не всякое убийство заслуживает автоматически смертного приговора тому, кто его совершил. Есть убийство как результат законной самозащиты. Есть мщение за поруганную честь или издевательство. Перед нами целая гамма человеческих чувств, из которых каждое может привести к трагическому концу. В том убийстве, которое совершил человек, находящийся перед вами, мы тщетно стали бы искать какой-либо романтической причины. Возможность этого преступления ни в какой мере не вытекала из отношений между участниками короткой трагедии, которую вы призваны здесь разрешить. Обвиняемый не знал своей жертвы, никогда ее не видел и не мог к ней питать каких-либо чувств. Оправдание или объяснение этого убийства личными эмоциональными мотивами, – если допустить, что личные мотивы могут быть оправданием такого преступления, – здесь отсутствует вполне. Я не буду подчеркивать отвратительность этого поступка: факты настолько красноречивы и убедительны, что всякие комментарии к ним излишни. Но я позволю себе обратить ваше внимание на следующее соображение: если в первом случае убийца, тупой и темный человек, руководствовался интересами самого низменного и матерьяльного порядка, то во втором он был готов отправить на эшафот или на каторгу человека, исчезновение которого не принесло бы ему ни одного лишнего франка.

– Нетрудно предвидеть, что защита будет утверждать несостоятельность обвинения во втором, несбывшемся преступлении.

Но, повторяю, то, что оно не имело места, следует меньше всего приписать внезапному сомнению или колебаниям обвиняемого. Возвращаясь все время к этому второму преступлению, я хочу указать вам на то, что обвиняемый не случайный убийца. Я обращаюсь к вам и говорю: остановите эту серию убийств. Остановите ее, – потому что если вы этого не сделаете и если через несколько лет обвиняемый выйдет на свободу, то смерть его следующей жертвы будет на вашей совести.

Такова была приблизительно речь прокурора, таковы были, во всяком случае, ее основные положения. Я менее внимательно слушал ту ее часть, где он описывал, как именно произошло убийство, не пропуская ни одной подробности и всячески подчеркивая зверскую, как он сказал, жестокость, с которой оно было совершено. Говоря о жизни Амара, он ограничился только упоминаниями о том, что он неоднократно судился за кражи в Тунисе и был, в сущности, профессиональным сутенером. Мне показалась несколько странной та настойчивость, с которой он говорил о втором преступлении, я склонен был думать, что именно с юридической точки зрения можно было обвинять Амара в намерении обмануть правосудие, но все-таки не в убийстве, о котором он не думал и которого он, в конце концов, не совершал. Но так или иначе, из всей речи прокурора было ясно, что подсудимый сам по себе его интересовал не больше, чем других; он рассматривал случай, он точно доказывал какую-то психологическую теорему, упрощая ее до крайности и сводя ее решение к наиболее краткой формуле.

Я не думаю, что Амар был в состоянии внимательно слушать речь этого человека, который отправлял его на гильотину. Но это не имело значения, потому что даже если бы он не пропустил ни одного слова, он все равно не понял бы ее. Он понимал только одно, что его посылают на смерть, и это было для него самое главное – в противоположность другим, для которых наиболее важным было то, как именно и с какой степенью ораторской убедительности, в каких именно метафорах и выражениях, это будет сделано. О Лиде и ее родителях прокурор сказал только вскользь: формального обвинения им предъявлено не было, и он предостерегал судей от той ошибки, которую они могли бы совершить, если бы были склонны придавать

преувеличенное значение влиянию этой семьи на подсудимого вообще.

Но настоящую обвинительную речь против них произнес защитник Амара. Прокурор был худой и желтый, весь точно прокурорный человек, говоривший высоким и неожиданно патетическим голосом. Он был предельно сух и походил на аскетическое изображение, небрежно и временно воплощенное в тощем человеческом теле. Казалось, нельзя себе было представить, что он мог бы произносить лирический монолог или быть раздетым и держать в своих объятиях женщину. У защитника было наивное розовое лицо, одновременно звучный и низкий голос, и слушать его было менее утомительно, чем прокурора. Его речь отличалась от прокурорской тем, что была построена в расчете на чисто эмоциональное восприятие.

– Господин председатель, господа судьи, – сказал он, – мне кажется, что с самого начала мы должны постараться избежать соблазна того упрощенного толкования событий, на котором сознательно или случайно настаивало обвинение. Я сразу же хочу предупредить вас, что у меня нет ни одного вещественного аргумента, который мог бы облегчить мою задачу. Я располагаю только тем матерьялом, которым располагало обвинение, и в этом деле нет ни одного факта, о котором знал бы я и не знала бы противная сторона. Как видите, я заранее обезоружен. Но я хотел бы предостеречь вас от преждевременных заключений, которые могли бы казаться логически непогрешимыми, но в которых отсутствовал бы тот элемент проникновенного понимания и милосердия, которые тоже являются основой правосудия. И на защите этих основных принципов правосудия я настаиваю со всей силой моего убеждения. Но перейдем к личности подсудимого и к его двум убийствам, о которых так упорно говорил обвинитель. «Тупой и темный человек», – сказал прокурор. Да, тупой и темный человек, убивший Щербакова и устроивший все так, чтобы обвинили другого, который рисковал своей головой. Вы согласитесь со мной, что второе преступление, в отличие от первого, не было матерьяльно осуществлено, и так как мы призваны рассматривать здесь только установленные факты, то ничего не могло бы быть более бесспорным, чем простой отвод этого обвинения. Но я пойду дальше: первое преступление, первое убийство

тоже заслуживает более пристального внимания. Был ли Амар действительно убийцей или был просто исполнителем преступного проекта, который созрел в мозгу других людей, – проекта, которого у него, Амара, никогда не было? Вот вопрос, который мне кажется самым существенным.

– Сравните биографию этого человека с биографиями тех, кто его окружал. Амар родился и вырос в нищете, не получил никакого образования, работал на бойнях в Тунисе и вел бедную и убогую жизнь, которую ведут обездоленные туземцы наших африканских департаментов. Кто мог ему внушить стремление к другой жизни, кто знал дорогие рестораны, кабаре, авеню Елисейских полей, ночной Париж, разврат и расточительность, переходы от богатства к бедности и от нищеты к богатству? Кто посоветовал Лиде настаивать на необходимости завещания? Кто обсуждал разные возможности – не убийства, конечно, а устранения Щербакова, кому были нужны его деньги? Сравните показания Амара с показаниями Лиды и Зины. Амар не умеет ничего скрыть, он не может даже солгать. В том, что говорят Лида и Зина, вы не найдете ни одной тактической ошибки. Они ничего не знали об убийстве, они были искренно привязаны к Щербакову, они питали к нему самые положительные чувства. Разве вы не видите в этом нестерпимой и явной фальши? Любить человека – и настаивать на завещании; любить человека – и проводить ночи с другим; любить человека – и хладнокровно целыми вечерами обсуждать, как именно безопаснее и удобнее всего от него избавиться.

– Есть в этом деле еще некоторые данные, точного значения которых мы не можем учесть, но их существования нельзя отрицать, и оно ставит под сомнение возможность того простейшего и категорического толкования, которое было выдвинуто обвинением. В частности, роль молодого человека, на которого вначале пало подозрение и которому Щербаков, по совершенно неизвестным для нас побуждениям, оставил все свое состояние, – роль этого студента тоже менее ясна, чем кажется на первый взгляд. Он имел отчетливое представление о нравственном облике Лиды и ее матери, и он знал о существовании Амара. Почему, будучи лучшим другом покойного, он не предупредил его об опасности подобной связи? Что значит, наконец, его загадочный ответ во время следствия, когда он, отрицая, что он убийца, произнес эти непонятные слова: «Это было

произвольное логическое построение»? Я не оспариваю его фактической непричастности к убийству, после признаний Амара это было бы бессмысленно. Но одно то, что он это считал почему-то логически допустимым и, стало быть, возможным, кажется чрезвычайно странным, и это, может быть, заслуживало бы дополнительного следствия.

В общем, его защита была построена на первом его утверждении, именно, что Амар был только исполнителем чужой и преступной воли и что его следует судить только как исполнителя. Всю вину он переносил на Зину и Лиду, биографии которых он рассказал с таким богатством подробностей, которое доказывало его исключительный интерес к этому делу. Очевидно, он относился к своей роли защитника чрезвычайно добросовестно, но это все-таки не мешало тому, что участь Амара интересовала его лишь постольку, поскольку она была связана с успехом его выступления в суде. Он возражал против каждого положения прокурора – с большей или меньшей убедительностью, но, в противоположность своему противнику, не уделял достаточного внимания чисто логическим построениям, и в этом, как мне казалось, заключалась его ошибка. Он кончил свою речь обращением к судьям, не менее патетическим, чем обращение прокурора:

– Обвинение призвало вас остановить эту серию убийств, которую, по его мнению, нельзя не предвидеть в дальнейшем. Я беру на себя смелость утверждать, что до вмешательства правосудия об этом позаботилась жестокая судьба подсудимого. Вы можете быть спокойны: с его стороны никому больше не угрожает никакая опасность. Он болен тяжелой формой туберкулеза, из его легких идет кровь, и было бы, мне кажется, в одинаковой степени бессмысленно и жестоко, если бы правосудие взяло на себя ту печальную задачу, которая уже разрешена болезнью. При всех обстоятельствах Амару недолго остается жить: дни его сочтены. И я взываю к вашему милосердию: дайте ему умереть собственной смертью. Разница во времени будет ничтожна, разницы в результате не будет вовсе. Он все равно приговорен к смерти; не берите на себя неблагодарную задачу заменить собой его неумолимую судьбу. Как я только что сказал, во всех случаях результат будет один и тот же. Но если вы его не осудите, на вашей совести будет одним смертным приговором меньше и этот

человек умрет в тюремной больнице, унося с собой благодарное воспоминание о том, что, будучи предан своими друзьями и женщиной, ради которой он рисковал своей убогой жизнью, он встретил милосердие со стороны тех, кто увидел его впервые на скамье подсудимых и кто сумел понять до конца этого бедного и темного араба, взявшего на себя расплату за преступность людей, толкнувших его на убийство.

Приговор был объявлен после часового перерыва: Амар был приговорен к смертной казни. Я посмотрел на него: губы его тряслись, он говорил что-то отрывистое и бессвязное, и на темное его лицо легла тяжелая тень. Он видел, что все было кончено, – и я подумал тогда, что еще в течение некоторого короткого времени продолжится призрачное существование этих мертвых черных глаз, этого худого и смуглого тела с татуированной надписью на груди, но это будет только затянувшейся формальностью, и что, в сущности говоря, этот человек ничем не отличается теперь от тех, кто был убит на войне, кто умер от тяжелой болезни, от того, кто был заколот трехгранным ножом и чья тень так жестоко отомстила ему.

* * *

Когда я вернулся домой после нескольких недель заключения, меня поразила невозмутимая неизменность всего, что я покинул в день моего ареста и что я обретал теперь. Те же люди проходили по той же улице, те же знакомые обедали в том же ресторане; это был все тот же городской и человеческий пейзаж, который я так хорошо знал. И тогда я с особенной силой ощутил зловещую неподвижность существования, характерную для людей, живших на моей улице и о которой я думал в тот вечер, казавшийся мне теперь бесконечно далеким, когда я стоял у окна и вспоминал «Страшный Суд» Микеланджело. Когда я привел в порядок свою комнату, принял ванну, начал бриться и посмотрел на себя в зеркало, я опять встретил в нем все то же самое, чем-то враждебное отражение своего лица. И прежние размышления с новой силой вернулись ко мне, нечто похожее на непрекращающуюся головную боль, эти постоянные и столь же упорные, сколь бесплодные поиски какого-то призрачного и

гармонического оправдания жизни. Я не мог его не искать, потому что, в отличие от людей, которые верили в почти рациональное существование некоего божественного начала, я был склонен к тому убеждению, что это неутолимое желание обрести нечто неуловимое объяснялось, вероятно, несовершенством моих органов восприятия; это мне казалось бесспорным, как закон притяжения или несомненность сферической формы земли. Но хотя я это давно знал, я не мог остановиться. Слушая некоторые курсы лекций в университете и читая некоторые книги, имевшие к ним непосредственное отношение, я невольно завидовал профессору или автору, для которых почти все было ясно и которым история человечества представлялась стройной последовательностью фактов, единственный и несомненный смысл которых был тот, что они подтверждали основные выводы и положения их политических и социальных теорий. В этом было нечто утешительное и идиллическое, какая-то недостижимая для меня метафизическая уютность.

Был мартовский холодный вечер; я надел пальто, вышел из дому и долго бродил по улицам, стараясь не думать ни о чем, кроме того, что в воздухе чувствуется приближение неверной парижской весны, что горят фонари и едут автомобили и что больше нет ни тюрьмы, ни обвинения в убийстве, ни, наконец, первый раз за всю мою жизнь, никаких матерьяльных забот о будущем. Я старался проникнуться как можно глубже этим сознанием своего бесспорного благополучия и все перебирал, одно за другим, положительные данные моего теперешнего состояния: свобода, здоровье, деньги, полная возможность делать то, что я хочу, идти или ехать куда я хочу. Это было совершенно бесспорно; но, к сожалению, это было так же неубедительно, как бесспорно. И я почувствовал опять, что мной постепенно овладевает та тяжелая и беспричинная печаль, от припадков которой я никогда и ничем не мог себя предохранить.

Я шел по одной из маленьких и тихих улиц, выходящих на бульвар Распай. В первом этаже дома, мимо которого я проходил, вдруг отворилось на очень короткое время окно и в холодном воздухе прозвучала музыкальная фраза, – там кто-то играл на пианино, – заставившая меня остановиться на месте. Я сразу узнал эту мелодию: она называлась «Воспоминание», и я слышал ее впервые несколько лет тому назад на концерте Крейсера. Я был на этом концерте в Плейель

вместе с Катрин; она сидела рядом со мной, и мне казалось, что туманная ее нежность точно подчеркивала смысл мелодии и углубляла тему воспоминания, о котором играл Крейслер. Когда я пытался перевести на мой бедный язык словесных понятий это движение звуков, то это значило приблизительно следующее: ощущение счастливой полноты кратковременно и иллюзорно, от него останется потом только сожаление, и именно таково это печальное и соблазнительное предостережение; и оттого, что я знал неповторимость этой минуты, я с особенной отчетливостью, тоже, быть может, неповторимой, воспринимал это скрипичное волшебство. Это было в том году, когда Катрин приехала в Париж учиться и когда я познакомился с ней в маленьком ресторане Латинского квартала, где мы завтракали каждый день и где огромная плита находилась в той же комнате, что наши столики. Там сияли красные кастрюли, шипели многочисленные соусы в закрытых судках, пахло жареным мясом и крепким бульоном и над декоративной красочностью еды и кухни, словно перенесенной сюда чудом с голландских картин, царила громадная и веселая хозяйка, с дерзкими и радостными глазами, с черными волосами, высокой грудью, полными и стройными ногами и с этим незабываемым ее контральто, в котором как будто слышалось безошибочное звуковое отражение ее рубенсовской силы. – Ты помнишь ее, Катрин? – сказал вслух и тотчас же оглянулся, боясь, что кто-нибудь услышит мои слова. Но никого не было вокруг. Я пошел дальше и думал о том, что я сказал бы ей, если бы я ее увидел.

Я бы спросил ее, помнит ли она концерт Крейслера. Я бы спросил ее, не забыла ли она ту теплую апрельскую ночь, когда мы шли с ней по улицам Парижа и она рассказывала, путая английский и французский языки, о Мельбурне, где она родилась и выросла, об Австралии, о ее первой детской влюбленности – опереточный тенор, вскоре женившийся на богатой американке, – о кораблях, которые подходят к пристаням, о грохоте якорных цепей, о красно-желтом блеске меди, в солнечном свете, на крейсерах и миноносцах. Я бы спросил ее, не забыла ли она тех слов, которые она мне говорила. Я бы спросил ее, помнит ли она о своем обещании. Я слышал каждую интонацию ее голоса:

– Где бы ты ни был и когда бы это ни произошло, не забывай одного: как только ты почувствуешь себя достаточно сильным, как

только ясность твоего рассудка не будет ничем больше омрачена, дай мне знать. Я брошу все и приеду к тебе.

Я бы сказал ей, что я вспоминал эти слова в тюрьме в те первые дни моего заключения, когда я еще не знал, стану ли я вновь свободным человеком.

Я бы сказал ей, что у нее было неузнаваемое, искаженное лицо, когда она заговорила со мной о том, что ждет ребенка, что это смерть, что этого не должно быть, что это будет потом, что ей двадцать лет и перед нами вся жизнь. Этого, я думаю, она не забыла: клиника, стены которой были выкрашены белой масляной краской, маленькая докторша неопределенной национальности, с бегающими глазами, мучительная операция без наркоза и дребезжание такси, на котором я отвез ее домой, в номер гостиницы, ее обмороки во время этого переезда и то, как я нес ее из автомобиля до кровати, то, как она держала мою шею руками и как дрожала и билась маленькая жилка под ее коленом. Два месяца после этого я не завтракал и не обедал, питаюсь хлебом и молоком и платя долги всем моим товарищам, потому что денег на операцию не было ни у нее, ни у меня. И вечером этого же дня в первом этаже здания, находившегося против ее гостиницы, была свадьба консьержкиной дочери, которая выходила замуж за прыщавого молодого человека в черном костюме, мелкого служащего из бюро похоронных процессий. Окна были отворены, и был виден стол со свадебной снедью, неподвижно-радостное, деревянное лицо невесты и густо рдевшие в электрическом свете прыщи новобрачного. За столом сидели многочисленные родственники, которые время от времени принимались петь в унисон, оскорбительный и фальшивый, какой-то музыкальный мусор. Голоса, однако, становились все более хрипыми, все слабели и наконец умолкли. Катрин заснула, и я просидел в кресле рядом с ней всю ночь. Утром, когда она открыла глаза и увидела меня, она сказала:

– Все это неважно, потому что это кончилось. Ты очень смешной, когда ты небритый.

И потом, в тот день, когда я почувствовал, что меня властно захватывает эта странная болезнь, с которой у меня не было сил бороться, я сказал ей об этом и она смотрела на меня расширенными от удивления глазами. Я сказал, что не считаю себя вправе связывать

ее каким-либо обязательством, что я болен и что если бы это было иначе...

И затем, всякий раз, когда моя мысль возвращалась к ней, я заставлял себя думать о другом. Она покинула Латинский квартал, и я знал ее теперешний адрес: она жила на rue de Courcelles, в квартире своей тетки, которая то приезжала, то уезжала, но за которой эта квартира оставалась всегда. Я много раз провожал туда Катрин и много раз ждал ее на улице.

Я не знал, как проходит теперь ее жизнь, о чем она думает и помнит ли она все то, что помнил я об этом времени нашего существования. Я не знал, дрогнет ли ее голос, когда она ответит на первые слова, которые я ей скажу, я не знал даже, продолжает ли она быть такой, какой она была на концерте Крейсlera и в своем номере гостиницы, – и вспоминала ли она за это время обо мне. Ей было теперь двадцать три года, и было бы, конечно, неправдоподобно, если бы она все это время ждала моего проблематического возвращения. Ее обещание так же принадлежало прошлому, как то, что составляло ее жизнь три года тому назад, и я не вправе был бы ее обвинять, если бы оказалось, что она не может его сдержать. Все это становилось ясно с первой минуты размышления. Но это не останавливало меня; и побуждения, заставившие меня сделать эту отчаянную попытку вернуться к Катрин, были слишком повелительны, чтобы им могли помешать эти соображения. Мне казалось, что то множество чувств, которое возникало во мне, когда я думал о ней или когда я ощущал рядом с собой ее присутствие, не могло быть заменено ничем. В том хаотическом мире, которому мне было, в сущности, нечего противопоставить, так как все, что я знал, казалось мне вялым и неубедительным или непостижимо далеким, ее существование возникало передо мной, как единственный воплощенный мираж. Даже по внешности она напоминала мне иногда, особенно вечером или в сумерках, легкий призрак, идущий рядом со мной. У нее были белые волосы, сквозь которые проходил свет, бледное лицо и бледные губы, тусклые синие глаза и тело пятнадцатилетней девочки. Но ее жизнь, заполнявшая мое воображение, перерастала его и возникала там, где все мне казалось чуждым или враждебным.

И теперь, обретя эту двойную свободу, непосредственную потому, что меня выпустили из тюрьмы, и душевную оттого, что это

потрясение как будто излечило меня, может быть, окончательно, – я чувствовал вокруг себя пустоту, и мне казалось, что никто, кроме Катрин, не заслонит ее от меня. Я искал у нее защиты, я очень устал от одиночества и отчаяния, и я думал, что теперь, почему-то именно теперь, я заслужил право на другую жизнь. И, возвращаясь домой, я решил завтра же поехать на rue de Courcelles.

В десять часов утра я был уже там. Я любил этот квартал – тихие улицы и высокие дома темного цвета, с большими окнами, за которыми текла такая размеренная жизнь, где были соображения о доходах, об акциях, о подходящей партии, о наследстве; это был упорный девятнадцатый век, архаический и наивный, медленное умирание которого продолжалось уже много десятков лет. В доме, где жила тетка Катрин, был лифт стариннейшей системы, поднимавшийся на нескольких ремнях, и когда я ехал в нем на четвертый этаж, он как-то слегка дымил, и мне даже показалось, что в этом дыму проскочило несколько искр. Я позвонил; мне отворила полная женщина с седыми волосами, спросившая, что мне нужно. Она говорила по-французски свободно, но с акцентом. Я сказал, что хотел бы видеть Катрин.

– Катрин? – повторила она. – Катрин уехала в Австралию год тому назад.

– Ах да, в Австралию... – сказал я машинально.

– Она уехала тотчас же после свадьбы.

– Она вышла замуж?

Вероятно, в моем голосе была какая-то неофициальная и, в сущности, ничем не оправданная по отношению к этой женщине, которую я видел первый раз в жизни, интонация, потому что она сказала:

– Войдите, пожалуйста, и садитесь. Простите, как ваша фамилия?

Я ответил.

– Да, да. Катрин мне о вас говорила. Бели бы вы пришли на год раньше, вы бы застали ее еще не замужем.

– Да, я понимаю, – сказал я. – К сожалению, я пришел на год позже.

У нее была очень особенная и располагающая к себе улыбка – и мне показалось, что я знаю эту пожилую даму очень давно. Она прямо посмотрела на меня и спросила:

– Это вы сумасшедший?

– Да, – сказал я, растерявшись. – То есть, это не совсем так, я не сумасшедший...

– Вы меня простите, – сказала она, – я значительно старше вас, и, знаете, у меня впечатление, что вы все это выдумали. Это все оттого, что вы много читаете, недостаточно едите и мало думаете о самом главном в вашем возрасте, о любви.

Я понял из этих ее слов, что Катрин, по-видимому, рассказала ей обо мне довольно много. Я ответил:

– Разрешите вам сказать, что это не очень научный диагноз.

– Он, может быть, не научный, но мне кажется, что он правильный.

Я помолчал, потом спросил:

– За кого Катрин вышла замуж?

– За одного английского художника. Этот портрет, – сказала она, поднимая глаза на стену, – он рисовал, это, кажется, его первая жена.

На картине была изображена неправдоподобная женщина конфетной красоты, в красном бархатном платье, картина была похожа на плохую олеографию. Как Катрин могла этого не видеть?

Я встал и стал прощаться. Она протянула мне руку и попросила меня оставить ей на всякий случай мой адрес.

Лестница была широкая, на ней лежал толстый ковер, и она была не похожа на ту, которая была в Латинском квартале, в гостинице Катрин. Но я подумал, что опять беззвучно спускаюсь из мира, в котором она жила, в ту призрачную пропасть, из которой мне так трудно было уйти.

* * *

Проходили дни, недели и месяцы. Я давно уже уехал из Латинского квартала, деревья на парижских улицах зазеленели, распустились, потом покрылись летней пылью, потом их листья осыпались и наступил октябрь. На рассвете холодной ночи был казнен Амар, я прочел об этом в газетах, где было рассказано, что он выпил рому и выкурил папиросу перед тем, как подняться на гильотину. Потом он обвел глазами людей, окружавших его.

– Du courage!^[42] – сказал ему адвокат. Амар хотел что-то произнести, но не мог, и только в последнюю секунду, в тот условнейший промежуток времени, когда он еще теоретически продолжал существовать, он крикнул высоким голосом – pitie!^[43]

Это было то слово, которое ему удалось наконец вспомнить и которое он, вероятно, хотел сказать уже несколько минут тому назад. Но оно, конечно, не имело теперь смысла – так же, впрочем, как никакое другое слово и никакое другое понятие. «C'est ainsi qu'il a paye sa dette a la society»^[44]. Так кончался отчет об его казни. И в последний раз я подумал о том, что ему, собственно, дало общество: случайное рождение в нищете и пьянстве, голодное детство, работа на бойнях, туберкулез, вялые тела нескольких проституток, потом Лида и убогий соблазн богатства, потом убийство, неотделимое от страшной бедности его воображения, и потом, наконец, после тюрьмы – холодный воздух осеннего рассвета, мостки гильотины, немного рома и одна папироса перед смертью. Такой, каким он был, он, вероятно, не мог прожить другой жизни, и она казалась логически законченной. Если бы он не совершил убийства, он умер бы от чахотки, и в этом его адвокат был, конечно, прав. Одно было очевидно – что в этом мире ему больше не было места, так, точно огромные пространства земли вдруг стали для него тесны.

Я прочел об его казни на следующий день в утренней газете. Я давно жил на улице Молитор, в той самой квартире, в которой был убит Павел Александрович и которую он, как это оказалось при выяснении его дел, приобрел в собственность незадолго до смерти. Я переставил в ней мебель и переменил всюду обои и бобрик; на том месте, где было пианино, стоял большой аппарат радио; я убрал маленький письменный стол и поставил другой, гораздо шире и длиннее, с выдвигаемыми ящиками. Только кресла и книжные полки остались теми же и на тех же местах. Я внимательно просмотрел на досуге всю библиотеку и убедился, что она состояла почти исключительно из классиков, – в этом смысле Павел Александрович был человеком своего времени, и книг современных авторов я нашел у него очень мало. У него не было еще – что мне показалось более удивительным – почти никаких личных бумаг, кроме нескольких писем, посланных ему много лет тому назад по адресу гостиницы на rue de Vuci, где он, стало быть, жил в те времена. Одно письмо было

написано женским почерком, и когда я на него посмотрел, мне сразу же бросились в глаза эти слова – «ты не забыл, я надеюсь, тех минут»... Мне стало тягостно и неловко, и я отложил его, не читая. Зато единственное письмо его брата, того самого, который утонул и от которого ему досталось наследство, я прочел с начала до конца; оно, впрочем, было коротким и почти беспримерным по своей категоричности. Оно кончалось так:

«Ты меня, слава Богу, знаешь хорошо и знаешь, что я всегда любил говорить правду, а не мямлить всякие сентиментальные глупости. То, что ты мой брат, это случайность рождения, за которую я не ответственен. Жизнь, которую ты вел или ведешь, меня не интересует, это твое дело. Я тебя знать не знаю и знать не желаю. На днях я уезжаю отсюда в другую страну, и ты уж не трудись меня разыскивать или мне писать. Я тебе желаю всяческого добра, но на меня не рассчитывай. Это, впрочем, я думаю, ты знал всегда».

И после этих слов, неумная резкость которых казалась просто неправдоподобной, следовала неожиданная подпись: «Твой любящий брат Николай». У этого человека было странное представление о значении некоторых слов, и я подумал – вспомнил ли он о чьей-либо любви, когда понял, что идет ко дну и что все кончено?

Не было ни одной фотографии, ни одного документа, кроме паспорта, выданного в Константинополе в 191... году с французской визой и парижской *carte d'identite*^[45], в которой было написано – холостяк, без профессии. Я узнал, что Павел Александрович родился в Смоленске, но все эти годы, со дня рождения до даты, стоявшей на константинопольском паспорте, были совершенно пустые, – ни бумаг, ни фотографий, ни какого бы то ни было упоминания о том, что он делал и где он был. Затем шел второй перерыв, тоже чрезвычайно длительный – вся его жизнь в Париже, такая же пустая и неизвестная, как та, которая ей предшествовала, – потому что даже на *rue Simon le Franc*, как это мне сказал Джентльмен, Павел Александрович появился только за два года до того дня, когда я его встретил впервые в Люксембургском саду. И я подумал, что я, в сущности, почти ничего не знал об этом человеке, с которым меня связала судьба таким странным и неожиданным образом; и те его облики, которые я вспоминал, – картинный нищий сначала, хорошо одетый и уверенный в себе пожилой мужчина потом, – начинали мне иногда казаться чуть

ли не произвольными, похожими на призрачные и неверные тени того мира, который точно разрезал мою собственную жизнь на две части и о котором я старался теперь забыть. Он как будто бы исчез, и с того дня, что я вышел из тюрьмы, я ни разу не почувствовал его смутного приближения.

Но соображения о судьбе Павла Александровича занимали, как это оказалось, не только меня, – потому что однажды днем я совершенно случайно встретил Джентльмена, который долго жал мне руку своей темной рукой с черными ногтями и смотрел на меня так недвусмысленно выжидательно, что я не мог не пригласить его в кафе. Это происходило возле бульвара St. Michel. Я предложил ему выбрать любой напиток, но он ответил, что никогда не пьет ничего, кроме красного вина. Затем он сказал несколько слов о том, что течение моей жизни ему напоминает, хотя и в другом смысле, судьбу княгини, которая, однако... но тут я его прервал, и тогда он перешел к Щербакову. Замечательно было то, что трагический конец этого человека внушил Джентльмену нечто вроде посмертного уважения к его памяти, потому что он больше не называл его, как раньше, Пашкой Щербаковым, а говорил – «покойный Павел Александрович». В этот день его тянуло почему-то к несколько отвлеченным рассуждениям.

– Вот смотрите, – сказал он, – какой, видите ли, анекдот: умирает Павел Александрович, и вы получаете наследство. А кто вы такой? Я вас очень уважаю, но все-таки вы неизвестный молодой человек, который Бог знает откуда и взялся.

– Да, конечно.

– Но перед этим, – продолжал он, – откуда состояние покойного Павла Александровича? От покойного его брата, который утонул в море. Вы только подумайте, какая это для него была драма.

– Да, я понимаю.

– Нет, так ведь вот в чем дело. Ну, наш брат утонет – это ничего.

– Ну, как сказать, все-таки...

– Нет, в том смысле, что тонуть, так сказать, не жалко. Ну, потонул – потонул. А он-то, старик, вы понимаете? Ведь когда он тонет, что он думает? Боже мой, думает, деньги-то какие пропадают! И вот он все-таки потонул. Хорошо. А до этого – откуда у него состояние? Вероятно, от его родителей. А где родители? И не помнит уж никто, когда померли. Вот и смотрите, как выходит: у каких-то

давно умерших людей было состояние, перешло к старшему сыну – утонул. Перешло к младшему – убили. Так? И вот деньги этих покойных родителей достались вам, – а вас еще и на свете, может быть, не было, когда они умерли. Вот вам, как говорится, гримасы капитализма.

– Вы против капиталистической системы?

– Кто? я? – сказал он. – Я? Костя Воронов? Я за нее с оружием в руках сражался. В приказе было написано: «Отличился неустрашимым мужеством, подавая офицерскому составу и подчиненным пример...» Вот как я за капитализм бился. А опять надо будет, – опять пойду воевать, можете быть спокойны. Нет, я только насчет того, что вам наследство досталось. Дай вам Бог вообще. А жаль, что не мне.

– А что бы вы сделали?

– Я? Снял бы квартиру напротив нее. Вечером подошел бы к окну и сказал: ну что, княгинюшка, а? Ее бы тут и скорчило.

Он пил стакан за стаканом, речь его становилась бессвязной, и все, что он теперь говорил, касалось только княгини. Я наконец оставил его и ушел, подумав напоследок, что в начале его рассуждений заключалась все-таки какая-то парадоксальная, но несомненная истина. Затем я купил несколько книг и вернулся домой.

Мне самому было странно, что я жил в квартире, где произошло убийство, чаще всего совершенно не думал об этом и склонен был это забывать. Через некоторое время мне стало казаться, что она ничем не отличалась от любой другой квартиры и то, что в ней преобладало, – это ее своеобразная, строговатая уютность, которой не мог смутить ни призрак убитого, ни призрак убийцы. Она как-то располагала сама по себе к размеренному порядку, к созерцательной медленности существования. И в течение некоторого времени я жил там так, точно меня подменили, точно мне было пятьдесят лет и моему переселению сюда предшествовала долгая жизнь, от которой я успел устать. В сущности, это впечатление в известной степени совпадало с действительностью, так как моя душевная усталость была несомненной. Я не мог, например, читать книг, которые требовали сколько-нибудь напряженного внимания, и каждый раз, когда моя мысль доходила до какого-нибудь момента, требующего некоторой сосредоточенности, мне вдруг, среди бела дня, начиналось хотеть

спать и я дремал, сидя в кресле. Этому состоянию душевного оцепенения способствовало и то обстоятельство, что материальные условия моей жизни резко изменились и мне не нужно было заботиться ни о чем: в нескольких европейских банках лежали деньги, которые мне принадлежали, в Париже у меня был текущий счет, и осуществилось то, о чем я столько раз мечтал, когда мне было нечем заплатить за обед в ресторане или за папиросы. Я думал тогда о том, как я буду путешествовать, мне снились по ночам каюты трансатлантических пароходов, дичь, омары, купе спальных вагонов, Италия, Калифорния, далекие острова, лунное сияние над океаном, долгий бег ночной волны и смутная прелесть какой-то неизвестной мелодии, звучавшей в моих ушах. И вот теперь, когда для осуществления любого из этих проектов, который еще недавно показался бы мне несбыточным и фантастическим, мне нужно было только позвонить по телефону, навести справки и заказать билет, у меня не было ни малейшего желания это сделать.

И когда я изредка *думал* обо всем этом, я не мог отделаться от той мысли, что опять, как это так часто бывало со мной, я живу случайно и произвольно в чьем-то чужом существовании, реальность которого казалась мне неубедительной, как были неубедительны чеки, которые я подписывал, деньги, которые мне принадлежали, и этот груз дорогих и массивных вещей, которые окружали меня в квартире на улице Молитор.

Я поздно ложился и поздно вставал, принимал теплую ванну, которая еще больше расслабляла меня, медленно пил кофе, долго одевался, читал газету, на которую у меня не хватало терпения, и вспоминал, что давно не был в университете и что цикл лекций, из которых я не слышал ни одной, подходит к концу. Но и университет мне казался совершенно ненужным. Затем я садился за стол, покрытый накрахмаленной скатертью, и съедал завтрак, поданный той же женщиной, Мари, которая служила у Павла Александровича и которая все порывалась мне в сотый раз рассказать, как она отворила ключом дверь, вошла и вдруг увидела кровь на ковре и подумала, что произошло какое-то несчастье.

– И я сразу же подумала, мне не нужно было много времени, чтобы это понять: Боже мой, случилась какая-то катастрофа с этим бедным Mr. Tcherliakoff.

Она упорно коверкала трудную славянскую фамилию, но всегда одинаково, так, что получалось «Мг. Черляков».

После завтрака я уходил в кабинет, куда она приносила мне кофе, брал с полки первую попавшуюся книгу и начинал читать, но вскоре закрывал ее и сидел в кресле, не думая ни о чем. И только очень редко, раз в две или три недели, всегда неожиданно, вечером или днем, я вдруг слышал чей-то отвлеченный голос:

But come you back when all flow'rs are dying,
If I am dead – as dead I well may be –
You'll come and find the place, where I am lying...

и тогда я поспешно раскрывал книгу и с жадным вниманием читал каждое слово и каждую строчку вслух.

Иногда я ходил в кинематограф, но и он утомлял меня. Я жил вообще все в том же спокойном оцепенении, и о чем бы я ни думал, ничто не казалось мне заслуживающим какого бы то ни было усилия с моей стороны. И затем, еще никогда с такой необыкновенной полнотой я не чувствовал своего одиночества. За много месяцев я получил три письма, одно от знакомых, дочери которых я давал уроки французского языка в течение некоторого времени, они приглашали меня обедать, два других – от товарищей. Но я не ответил ни на одно и перестал получать что бы то ни было. Я был несколько раз в Латинском квартале, где прожил четыре года и где я знал каждый дом; но он показался мне чужим и далеким, – так, точно там жил человек, который передал мне все множество своих зрительных впечатлений, произвольно отделив их от тех эмоциональных их отражений, без которых они теряли всякий смысл и всякую выразительность. И я начинал иногда думать, что, действительно, наследство Щербакова было, вероятно, предназначено все-таки не мне, хотя я знал теперь, почему именно он составил завещание в мою пользу – и это тоже было результатом недоразумения. Перед тем как из мебельного магазина мне должны были привезти новый письменный стол и взять тот, который был раньше, я вынул из его правого ящика несколько листов бумаги, которые там были забыты. Среди них был разорванный пополам кусок плотного почтового конверта, и на нем

было написано карандашом: «Сост. зав. Студ. в благ, за 10 фр.» – «Составить завещание. Студенту в благодарность за десять франков», те десять франков, которые я ему дал в Люксембургском саду. Он не знал, что я просто не мог поступить иначе, у меня не было никакого выбора и никакой возможности сделать по-другому. До конца месяца, когда я должен был получить свою стипендию, оставалась еще неделя и в моем бумажнике было только два кредитных билета, один в сто, второй в десять франков. Больше у меня не было ни одного сантима, я не мог ему дать сто франков и был лишен возможности дать меньше десяти. Это было незначительное материальное недоразумение, в результате которого у него возникло неправильное представление о моем мнимом великодушии: то, что он принял за великодушие, было просто следствием моей бедности. И этой явной ошибке суждения я был обязан всем, что у меня было сейчас и о чем так верно, в сущности, сказал Костя Воронов: «Но все-таки вы – неизвестный молодой человек, который Бог знает откуда взялся». И в этой случайной фразе, сказанной пьяным нищим, заключалось очень короткое и совершенно правильное определение, хотя Джентльмен был далек, конечно, от желания наиболее точно выразить то, что составляло печальную особенность всей моей жизни.

Была опять зима с пронзительным холодом и ветром, сухая, мерзлая пыль летела вдоль улицы и с легким шорохом ложилась на мостовую и на тротуары. Однажды днем, стряхнув с себя постоянную душевную неподвижность, к которой я давно привык, я вышел из дому и направился в Булонский лес. Там было тихо и безлюдно; аллеи были усыпаны опавшими листьями, слабо пахло промерзшей землей, ветер гнал маленькие волны по поверхности холодных и пустынных озер. Часа два я медленно кружил по лесу и вернулся домой, когда давно уже было темно и на улицах горели мутные фонари. Обед был готов, на столе стояло красное вино, которое Мари упорно мне подавала каждый раз, хотя я никогда до него не дотрагивался. Но в тот вечер, после долгой прогулки, я впервые за все время налил себе стакан и сразу вылил его; вино было крепкое и сладковатое, довольно приятного вкуса.

Затем со стола было убрано, Мари пожелала мне спокойной ночи и ушла, я остался один и перешел в кабинет. Там я сел в кресло, не зная еще, что я буду делать, и не думая ни о чем. Взгляд мой случайно

упал на передвижной календарь, за которым внимательно следила Мари. Календарь показывал одиннадцатое февраля. Я смутно помнил, как мне казалось, что эта дата была чем-то знаменательна. Может быть, с ней было связано какое-нибудь историческое событие, привлекавшее когда-то и почему-то мое внимание?

И вдруг я вспомнил – и мне стало стыдно, что я столько времени это искал. В эту ночь, ровно год тому назад, в том кабинете, где я сейчас сидел, был убит Павел Александрович Щербаков.

Я встал с кресла, достал с полки какую-то книгу и открыл ее.

«Et ces memes fureurs que vous me dбpeignez,
Ces bras que dans le sang vous avez vu baignds...»^[46]

Нет, я меньше всего был настроен читать Ифигению. Я достал вторую книгу, тоже наугад; это был знаменитый дневник Пипса.

«To the King's theatre, where we saw „Midsummer Night's Dream“, which I had never seen before nor shall ever again, for it is the most insipid ridiculous play that ever I saw in my life».
^[47]

Я поставил книгу на место. Помимо моего желания, я думал об этой февральской дате, о том, что ей непосредственно предшествовало и что за ней последовало. Потом я поднял глаза на книжную полку, находившуюся надо мной. Там все было так же, как год тому назад: тот же порядок, те же плотные корешки переплетов и перед ними, посередине полки, – золотой Будда с неподвижно-исступленным лицом. Я посмотрел на него и вспомнил слова следователя:

– Бели нам удастся разыскать статуэтку, то вы вернетесь домой...

Я снял Будду и смотрел на него с труднопередаваемым и сложным чувством. Все-таки нельзя было забыть, что его возвращение дало мне свободу. Это был тот же самый Будда, которого держала темная рука Амара, который потом стоял в комнате проститутки, окруженный облаками дешевых духов, который путешествовал в кожаном портфеле следователя и которого появление или исчезновение значило еще многое другое, и в частности то, что

никакие события, связанные с его возвращением, никакие движения чувств, никакие попытки понимания никогда не объяснят подлинного смысла его загадочной восторженности, как никакие годы Лувра не объяснят состояние души давно умершего художника, который изобразил экстаз святого Иеронима.

Свет лампы падал на статуэтку, и я смотрел на нее остановившимися глазами. За окном был вечерний мороз. В кабинете горела только лампа, стоявшая на столе, стены и мебель смутно проступали из ночной тени. Вокруг стояла неподвижная тишина.

Я продолжал смотреть на Будду и вдруг увидел, что в какую-то секунду его лицо расплылось и исчезло, оставив на том месте, где оно только что было, желтое пятно, которое незаметно расширялось, захватывая все большее и большее пространство. Потом оно переросло комнату, очертания его исчезли, и в ту же минуту я понял, что уже некоторое время в моих ушах звучит какой-то мотив в странном соединении гитары и скрипки. Я узнал его, но не мог его вспомнить как следует и все искал, судорожно и напрасно, где и когда я его слышал. В конце далекой желтоватой перспективы, которая незаметно как возникла передо мной в необычайном и неправдоподобном отдалении, несколько закругленных ступенек вели к эстраде, где трагически блестел черный рояль, за которым сидел пожилой человек во фраке. Справа от меня, беззвучно, как во сне, прошел медленными шагами какой-то мужчина; лацканы его смокинга лежали как отлитые на крахмальной груди. Я знал его лицо настолько хорошо, что в обычное время не мог бы ошибиться, но сейчас мне показалось, что моя память не поспевала за зрительными впечатлениями; я сделал необыкновенное усилие и вдруг понял, что это было лицо Джентльмена. Очень розовый молодой человек в очках прошел слева от меня, поддерживая под руку пожилую женщину; на ее морщинистой шее шло в несколько кругов массивное жемчужное ожерелье. Ее я тоже как будто знал, я уже видел где-то эту почти танцующую, юношескую походку, неожиданную для ее преклонных лет. Зал постепенно и все так же беззвучно наполнялся людьми в вечерних туалетах, и в каждом из них, как мне казалось, я смутно узнавал знакомые, но забытые движения или выражения лиц. Затем я посмотрел выше человеческих голов, на стену, и вдруг похолодел. Это был неизвестно как перенесенный сюда тот горный пейзаж,

воспоминание о котором я пронес через мою далекую смерть. Я узнал эту отвесную скалу с выступами и маленькими кустами; обломавшаяся ветка высохшего дерева была изображена с неправдоподобной отчетливостью. По бокам этой скалы высились другие, и получался огромный колодец. И внизу, отбросив в сторону левую руку и подогнув под себя правую, на каменистом берегу бурной и узкой речки лежал труп человека, одетого в коричневый горный костюм.

Я сделал шаг назад, но за мной была мягкая бархатная стена. Я посмотрел по сторонам, потом обратил глаза туда, откуда входили люди и где должна была, по всей видимости, находиться дверь. Но двери не было: на ее месте, возвышаясь почти во всю стену, висел гигантский лубочный портрет низколобого мужчины в полувоенном пиджаке, украшенном разнообразными орденами.

И в это время – зал был уже почти полон – раздался грохот и крик. Мужские и женские голоса сливались в одну звуковую массу, в которой лишь изредка можно было расслышать отдельные фразы на разных языках. Потом наступила пауза, и в неожиданной тишине послышался тяжелый хруст, тотчас сменившийся смертельным хрипением. Кто-то упал посередине зала, и там сразу образовалась толпа; но в это время пианист во фраке, сидевший до сих пор за роялем с непонятной и каменной неподвижностью, начал играть какой-то необыкновенно шумный и пляшущий мотив, в который немедленно вступили скрипка и гитара. Затем бесформенный гул стал стихать, одновременно с ним все глуше и глуше звучал рояль, и через несколько секунд опять наступила тишина. И тогда, двигаясь в темном воздухе без тех колебаний, которые естественны для каждого идущего человека, медленно удаляясь от меня в этой далекой перспективе, прошел силуэт высокого мужчины в синем костюме. Он поднялся на эстраду, потом исчез и тотчас же снова появился, и мне показалось, что я уловил его холодный и прозрачный взгляд. До меня донесся его невыразительный голос, произнесший короткую фразу, которой я не разобрал. Он сказал эти слова и пропал. Уже в течение некоторого времени поминутно двоящимся и слепнущим сознанием я понимал, что происходит сейчас, и у меня было ощущение, что нет ни спасения, ни возможности борьбы – вне какой-то короткой последовательности магических слов, которых я не знаю и которых, может быть, не

существует вовсе. В отчаянии я посмотрел вокруг себя – и в желтоватой полутьме зала я отчетливо увидел проступающее сквозь смутную тень лицо с характерным арабским профилем, мертвый черный глаз и прыгающие губы. С эстрады опять раздались звуки рояля. Я посмотрел туда; рядом с пианистом в белом бальном платье, обтягивавшем посередине узкое тело, стояла женщина с тяжелыми глазами. Через секунду я услышал ее низкий голос, но эстрада вдруг ушла так далеко, что звуки стали слабеть, и я уже не мог различить ни мотива, ни слов ее песни. Так прошла минута, другая – и голос, наконец, стал приближаться, донося до меня свою мелодическую силу. Я услышал только последнюю строфу и ощутил знакомую боль в левой стороне груди, вспомнив другой голос, легкий, чистый и прозрачный – голос Катрин, который столько раз пел эти же самые слова:

And I shall hear though soft you tread above me,
And all my grave shall warmer, sweeter be,
For you shall bend and tell me that you love me
And I shall sleep in peace until you come to me. [\[48\]](#)

Мне сразу стало трудно дышать, и опять все мускулы моего тела были напряжены до боли, и у меня было смутное сознание, что от того, выдержу ли я это непонятное и последнее усилие или нет, – зависит все мое будущее и возможность этого будущего. И вот, с удивительной медленностью, перспектива зала стала постепенно суживаться, желтоватый свет стал понемногу сгущаться, и через несколько минут этого длительного томления передо мной возникли темные очертания моего кабинета, золотое лицо Будды и побелевшие пальцы моей руки, до боли сжимавшие статуэтку. У меня был влажный лоб, я ощущал тяжесть в голове, но это казалось мне совершенно несущественным и лишенным всякого значения по сравнению с тем бурным чувством свободы, которое я испытывал, – потому что впервые за все время я был обязан победе над этим призрачным миром не внешнему толчку и не случайности пробуждения, а усилию своей собственной воли.

Со следующего дня я стал жить иначе, чем жил до сих пор. Вместо теплых ванн я брал по утрам холодный душ и после этого ехал в университет. Я несколько раз был в кинематографе и кабаре, откуда возвращался пешком в эти холодные февральские ночи, глотая морозный воздух. Вернувшись домой, я засыпал мертвым сном.

* * *

Однажды утром я получил письмо – в плотном синем конверте с австралийской маркой.

«Почему там, в Париже, ты так долго не приходишь ко мне? Я так ждала тебя. Ты знаешь теперь все, что произошло после твоего напрасного исчезновения. Человек, за которым я была замужем, уехал в Англию, и я послала ему развод. Я не могу вернуться в Европу по материальным соображениям, и я знаю, что у тебя тоже нет денег на путешествие в Мельбурн. Но, может быть, мы все-таки еще увидимся, и мне кажется сейчас, что я готова ждать тебя всю мою жизнь.

Ты помнишь тот сентиментальный романс, которому я тебя учила: „Oh, Danny-boy!“? Каждый раз, когда я вспоминаю этот мотив, я думаю о тебе и мне хочется плакать».

Через несколько дней я уезжал в Австралию. И когда я смотрел с палубы на уходящие берега Франции, я подумал, что в числе множества одинаково произвольных предположений о том, что значило для меня путешествие и возвращение Будды и каков был подлинный смысл моей личной судьбы в эти последние годы моей жизни, следовало, может быть, допустить и то, что это было только томительное ожидание этого далекого морского перехода, – ожидание, значение которого я не умел понять до последней минуты.

Пилигримы*

«Dear God, give us strength to accept with serenity the things that cannot be changed Give us courage to change the things that can and should be changed. And give us wisdom to distinguish one from the other».

Слова, приписываемые адмиралу Харту^[49].

Когда Роберт читал романы, он почти каждый раз испытывал по отношению к их героям нечто вроде бессознательной зависти. Если книга, которая ему попадалась, была написана с известной степенью литературной убедительности, у него не возникало сомнения, что ее герои могли прожить именно такую жизнь и пройти именно через те чувства и события, изложение которых являлось содержанием романа. Как почти всякий читатель, он ставил себя на место того или иного героя, и его воображение послушно следовало за авторским замыслом. Но когда он прочитывал последнюю страницу, он снова оставался один – в том мире и в той действительности, где не было и, казалось, не могло быть ничего похожего на это богатство происшествий и чувств. В его личной жизни, как он думал, никогда ничего не происходило. Он упорно старался найти объяснение этому, но объяснения, казалось, не было. Ему не пришлось испытать ни очень сильных чувств, ни бурных желаний; и сколько он ни искал в своей памяти, он не мог вспомнить за все время ни одного периода его существования, о котором он мог бы сказать, что тогда он был по-настоящему счастлив или по-настоящему несчастен или что достижение той или иной цели казалось бы ему вопросом жизни или смерти. И оттого, что его личная судьба была так бедна душевно по сравнению с судьбой других людей, о которых были написаны эти книги, он начинал смутно жалеть о чем-то неопределенном, что могло бы быть и чего не было.

Может быть, отчасти это происходило так потому, что он никогда не знал никакой нужды. Его отец, крупный краснолицый человек пятидесяти лет, начал свою трудовую жизнь механиком. Но это было

давно, почти тридцать лет тому назад. Теперь он был владельцем автомобильного завода и акций нескольких предприятий. Своему сыну он не отказывал ни в чем и только неизменно удивлялся, что требования Роберта были такими скромными. Он не понимал, почему Роберту, с его возможностью иметь много денег и тратить их как ему нравилось, нужны были только такие незначительные суммы. Он не понимал, почему его сын, атлетический молодой человек, недавно кончивший университет, никуда не ходит, ничем не интересуется и большую часть времени проводит дома, за книгами. – Когда же ты будешь жить? – спрашивал он его. – Я вовсе не требую от тебя, чтобы ты вел себя Бог знает как. Но скажи мне, пожалуйста, на кой же черт я работал всю жизнь, как негр? Ты бы хоть в Folies Bergeres пошел.

Такие разговоры происходили довольно часто, не непременно в этой форме, но всегда об одном и том же. И каждый раз они не приводили ни к чему. Роберт Бертье не испытывал ни малейшего тяготения к той жизни, о которой мечтали многие его сверстники – и не только они. Он находил, что программы огромных мюзик-холлов чаще всего отличаются дурным вкусом, который неизменно его коробил. Ночные кабаре вызывали у него скуку или отвращение. Он бывал неоднократно во всех этих местах – в период кратковременного своего брака с Жоржеттой, которая была готова там проводить сутки.

Он сидел в своем любимом кресле у окна и думал о Жоржетте. Он вспоминал, как радовался его отец, Андрэ Бертье, как он заказывал свадебный обед и как бурно он поздравлял Роберта. Он понимал, что женщины типа Жоржетты должны были нравиться его отцу. Но сам Роберт начал уставать от ее присутствия через неделю после брака.

Она родилась в Вильфранш, на берегу Средиземного моря, и в ней издали можно было узнать южанку – по черным ее волосам, по блестящим глазам такого удивительно темного цвета, которого потом Роберт никогда не встречал, по звонкому ее голосу и по необыкновенной быстроте ее речи. У нее было чуть полноватое для восемнадцатилетней девушки тело, на котором после малейшего усилия выступали капельки пота. И этот запах ее разгоряченного тела был именно тем, что больше всего запомнилось Роберту. Ее любовь казалась ему слишком шумной и слишком бурной, ее укусы и крики во время объятий невольно раздражали его. Но главное, что он ставил ей в вину, – что, кроме этого бурного движения, у нее не было ничего.

Она никогда ни о чем не задумывалась, у нее не хватало терпения прочесть хоть одну книгу до конца, и с ней не о чем было говорить. Она могла танцевать сколько угодно, два раза ужинать или обедать, ехать куда угодно и когда угодно, потом лечь в постель и мгновенно, на полуслове, заснуть. Но, проснувшись, она вскакивала с кровати, и все опять начиналось сначала. Он прожил с ней ровно шесть месяцев. Она несколько раз плакала, звучно всхлипывая, сморкаясь и упрекая его в жестокости, но через минуту забывала об этом и уходила переодеваться, чтобы опять с ним куда-нибудь ехать – в доказательство того, что их ссора забыта и что они все простили друг другу. Она знала все танцы, все модные романсы, все кабаре, всех певцов, певиц и скрипачей из цыганских или румынских оркестров, все рестораны и все блюда, которыми они славились. И когда однажды она уехала на неделю в Вильфранш, к матери, как она говорила, – потом выяснилось, что это была неправда и она оставалась в Париже, – и затем вернулась и сказала Роберту с непривычно серьезным выражением лица, что надо иметь мужество смотреть истине в глаза, – он взглянул на нее с нескрываемым удивлением, – и что они не созданы друг для друга, он впервые за все время испытал необыкновенное облегчение.

– Мне тоже так кажется, – сказал он, – и я давно об этом думал, но мне не хотелось тебя огорчать.

Она тут же рассказала ему, что познакомилась с одним очаровательным человеком, которого зовут Антонио и который не так давно приехал из Боливии, – и что хотела бы получить развод. Роберт тотчас на это согласился.

Теперь она жила в Боливии со своим мужем, у нее было двое детей, она время от времени писала Роберту письма и присылала фотографии то каждого ребенка в отдельности, то обоих вместе, то себя с мужем, то себя одну, на террасе, в кресле, с книгой в руках. Роберт вспоминал о ней теперь, три года спустя, без всякого раздражения; и так как ее постоянное присутствие больше не стесняло его, он отдавал должное – с трехлетним опозданием – и ее несомненному очарованию, и ее непосредственности, и тому, что она была слишком простодушна, чтобы кого-либо обманывать. Но когда она его спрашивала каждые пять минут, независимо от обстоятельств, в которых это происходило, – тебе хорошо со мной? тебе хорошо со

мной? – на пятый или шестой раз он должен был делать над собой усилие, чтобы не ответить ей резкостью, чего она, в конце концов, – теперь он понимал это, – не заслуживала.

Он вспоминал иногда свой короткий роман с ней, кончившийся таким же быстрым и неожиданным браком. Это было совершенно не похоже на все остальное в его жизни, и со стороны ему самому иногда начинало казаться, что он прочел это в какой-то дешевой маленькой книжке, вроде тех, которые читают в метро. Тут было соединение всех классических элементов – солнце, Ривьера, неподвижная поверхность моря и Вильфранш, где он остановился, чтобы выкупаться. Он встретил ее далеко от берега; она плыла на спине, смеясь Бог знает чему, совершенно одна. Он проплыл мимо нее, она что-то крикнула, чего он не разобрал. Он обернулся и спросил:

– Вы что-то сказали, mademoiselle?

– Здесь глубоко, вы этого не знали? – сказала она, продолжая смеяться.

Она подняла обе руки вверх, погрузилась в воду и мгновенно поднялась на поверхность. Вода шумела и булькала вокруг ее.

– Вы видите, я не достаю дна. Вы из Парижа?

– Да, – сказал Роберт, улыбаясь. – А вы, наверное, нет, не правда ли?

– Нет, я отсюда, я родилась здесь.

Роберт никогда не испытывал такого удовольствия от какого бы то ни было разговора. У нее был голос одновременно глубокий и звучный, не похожий ни на чей другой. Она говорила с ним так просто и доверчиво, точно была заранее уверена в его дружеских чувствах к ней, и Роберту стало казаться, что он готов сделать все для этой девушки, говорящей с легким южным акцентом. После этой встречи в море они не расставались до поздней ночи, когда он привез ее в своем автомобиле к той вилле с невысокой железной решеткой, где она жила. До этого они были в ресторане, в кинематографе и в дансинге. Прощаясь с ним, она сказала:

– Роберт, вы мне очень нравитесь, хотя вы и парижанин. Я особенно ценю в вас то, что вы не позволили себе за весь вечер ни одной вольности по отношению ко мне: я вам за это благодарна.

– Я очень рад, Жоржетта, что я вам понравился не за то, что я сделал, а за то, чего я не сделал.

– Вы можете меня поцеловать теперь, – сказала она, понизив голос.

И когда Роберт почувствовал прикосновение ее влажных и горячих губ, ему вдруг показалось, что он задыхается и что он никогда не знал ничего подобного.

– Я думаю, что я тебя люблю, – сказала Жоржетта, переводя дыхание. – Мы увидимся с тобой завтра.

Когда он предложил ей стать его женой, он знал, что этого не следовало делать. Но он не мог поступить иначе. Он был обезоружен ее безграничным доверием к нему, – она даже не знала его фамилии и вообще ничего не знала о нем в ту августовскую ночь Вильфранша, когда она стала его любовницей, и у него не могло быть сомнений, что он первый мужчина в ее жизни. Кроме того, вначале его физическое тяготение к ней было сильнее всех других соображений. Позже, узнав, что он – Бертье, сын владельца автомобильной фабрики, она обрадовалась и сказала со своим всегдашним простодушием:

– Ах, как хорошо! Ты мог бы быть мелким служащим или коммивояжером, и я все равно тебя бы любила, но это было бы скучно, нам обоим пришлось бы работать. А теперь мы будем жить, как захотим.

Ему оставалось только пожать плечами. Ему, впрочем, пришлось многому удивляться потом, по мере того, как проходило время. Невежественность Жоржетты оказалась просто неправдоподобной, – тем более что, по ее словам, она все-таки несколько лет училась в лицее. Она думала, что свет идет со скоростью тридцати километров в минуту и что закон притяжения был открыт Архимедом. Она знала, правда, несколько имен знаменитых людей, но они не были связаны в ее представлении с тем или иным видом деятельности, это были знакомые звуковые сочетания, лишённые определенного значения. Но при первом взгляде на нее становилось очевидно, что это было неважно; важно было то, что у нее блестящие черные волосы, темные глаза удивительного оттенка, радостная улыбка и простодушное очарование, которого не мог бы отрицать самый пристрастный человек. Родители Роберта ее искренне любили и были очень огорчены, когда узнали о разводе. Даже мать Роберта, «эта бедная Соланж», как неизменно называл ее отец, которая, казалось, не интересовалась в жизни решительно ничем, кроме сложных

соображений о функциях своего собственного организма, – ты знаешь, Андрэ, вчера вечером я приняла слабительное, и можешь себе представить... ах, Роберт, ты не понимаешь своего счастья, тебе не надо думать о печени... Андрэ, я тебе неоднократно говорила, что спаржи мне нельзя, ты забываешь о моих почках... доктор мне сказал, что даже незначительные высоты вредны для моего сердца... – даже она привязалась к Жоржетте.

– Ты не ценишь ее, Роберт, – говорила она сыну, – она просто очаровательна. А ее здоровье! Ты только посмотри на цвет ее лица, посмотри, как она ходит, как она вскакивает, как она играет в теннис! И если ты ее спросишь, что такое самое пустяшное недомогание, она тебя не поймет.

– Но, мама, ты забываешь, что ей восемнадцать лет.

– Ах, милый мой, для болезни нет возраста, ты уж мне поверь. Я не претендую на особенные знания в какой бы то ни было области, но уж это-то я знаю, к сожалению, на собственном опыте.

И когда Роберт уходил, она опять погружалась в чтение – потому что то время, которое у нее оставалось после визитов к докторам и практических забот о здоровье, она посвящала изучению всевозможных трактатов о терапевтике, хирургии и методах клинического исследования.

– Я очень люблю твою мать, это достойнейшая женщина, – говорил Роберту отец. – Но, ты понимаешь, ей совершенно нечего делать и не о чем заботиться. Чтобы заполнить эту пустоту, она выбрала болезни. Между нами говоря, она, к счастью, не больше больна, чем мы с тобой.

В течение того времени, что Роберт был женат на Жоржетте, у его отца не было оснований жаловаться на недостаточные расходы сына. Андрэ Бертэ купил и обставил Роберту квартиру; кроме того, всюду, где появлялась Жоржетта, деньги начинали уходить с необыкновенной быстротой – на театр, концерты, кабаре, дансинги, платья, цветы. Когда она изредка оставалась дома, она читала иллюстрированные журналы и, захлебываясь от детского и наивного восторга, рассказывала Роберту, что в такую-то, непременно самую роскошную, гостиницу на Ривьере прибыли – знаменитая американская артистка и красавица, египетский принц, путешествующий инкогнито и яхта которого стоит в Каннах,

знаменитый писатель, знаменитый декоратор, знаменитый... Он пожимал плечами.

– Не все ли тебе равно?

– Мне так хотелось бы с ними познакомиться.

– Зачем?

– Ну, они такие интересные люди, это не может быть иначе. Вот посмотри на ее фотографию.

И она показывала ему портрет знаменитой артистки. Со страницы журнала на него смотрело прекрасное женское лицо с правильными чертами и с огромными глазами, выражавшими спокойную глупость. Немного ниже был представлен египетский принц с туго напomaженными волосами и парикмахерской физиономией, в которой, однако, проступало нечто человеческое и даже чем-то приятное. Позже, впрочем, выяснилось, что он был не египетским принцем, за которого себя выдавал, а подданным одного из южноамериканских государств, которого разыскивала полиция всех европейских стран за многочисленные мошенничества. Жоржетту нельзя было оторвать от этих журналов, и она искренне не могла понять, почему Роберт смеялся над фотографиями и статьями о частной жизни знаменитых красавиц, гонщиков, боксеров, танцовщиц и певцов, над их перепиской с читателями, напечатанной тут же. Он несколько раз пытался ей объяснить, что он думает по этому поводу, но убедился, что это было напрасной потерей времени.

Он был искренне рад, когда узнал, что она собирается замуж за Антонио, с которым она его познакомила и который, конечно, подходил ей гораздо больше, чем Роберт: он прекрасно танцевал, играл на гавайской гитаре, никогда не ложился спать раньше четырех часов утра и был так же далек в своих взглядах от каких бы то ни было сомнений, как была далека от них Жоржетта. «Мы плывем по огромному океану, – писала она ему с дороги в Боливию, – южная ночь, звезды, играет мексиканский оркестр. Вчера за обедом мы ели замечательную курицу, а после обеда танцевали. Мой дорогой Роберт, поймешь ли ты когда-нибудь, что такое настоящая жизнь?»

Нет, Роберт был убежден, что этого он не поймет никогда. Он не представлял себе, каким образом с ним могла бы произойти такая метаморфоза, в результате которой та жизнь, какую Жоржетта

называла настоящей, вдруг приобрела бы для него хоть малейшую привлекательность.

Но все-таки в чем-то Жоржетта была права. Можно было обладать известной культурой и известным вкусом и относиться с пренебрежением к тому убогому вздору, который она читала с такой жадностью. Но это вовсе не значило, что все это должно было сопровождаться отсутствием того вкуса к жизни, который был так очевиден и у Жоржетты, и у Андрэ Бертье, его отца. Он представлял себе, что с ним будет через десять или двенадцать лет, и от этих мыслей ему становилось неудобно. До сих пор в его существовании не было, казалось, ничего, что стоило бы защищать до конца или чего стоило бы добиваться. Только в спорте, которым он много занимался до последнего времени, ему иногда удавалось заставить себя сделать огромное усилие, чтобы добиться определенного результата или выиграть состязание.

Жоржетта говорила ему:

– По внешнему виду ты ничем не отличаешься от нормального человека. Но я не могу отделаться от впечатления, что в твоих жилах течет не кровь, а вода.

Он напомнил ей эту фразу полусушутя, когда она сказала ему, что собирается замуж за Антонио, и спросил, произвела ли она анализ крови у него, чтобы узнать, нет ли воды и в его жилах. Она расхохоталась, глаза ее сузились, рот открылся, и стало видно ее темно-розовое небо.

– Можешь быть спокоен, – сказала она сквозь смех, – никакого анализа не нужно.

Отец, мать, Жоржетта, – что еще было в его жизни? Пожалуй, единственное, что имело отвлеченную и постоянную ценность, это были книги. Он истратил на них целое состояние. Когда отец пришел к нему однажды, после того как почти вся библиотека была составлена, он только покачал головой и долго смотрел на плотно уставленные корешки. Потом он поднял глаза на сына и сказал:

– Это солидно. Ты все это прочел и понял?

– Мне кажется, что да. Но, может быть, это иллюзия.

– Ну да, один раз ты понимаешь так, другой раз то же самое ты понимаешь иначе. Я себе это так представляю.

Мать посмотрела не очень внимательно и ничего не сказала. Роберт подумал, что ее, вероятно, огорчило отсутствие медицинских книг – без них, с ее точки зрения, всякая библиотека могла иметь только относительную ценность.

Он не задумывался над тем, почему именно книги интересовали его больше, чем все остальное. Но если бы его спросили, что он считает самым важным в жизни, и если бы его природная медлительность не помешала бы ему сразу сосредоточить свое внимание на этом вопросе, он, вероятно, ответил бы, что ему казалось самым существенным – понять, почему люди живут так или иначе, почему возникают те или иные религии или системы идей, как идет жизнь и каков в каждом отдельном случае или в каждом произвольном отрезке времени смысл того или иного факта. Но ему не приходила в голову мысль, – и если бы она пришла, он тотчас же отбросил бы ее, – что это преобладание отвлеченных интересов над непосредственными объяснялось отсутствием в нем той стихийной и нерассуждающей жизненной силы, которая была так характерна для его отца. Он прекрасно понимал теоретически, отчего людей так всецело захватывает жажда личного обогащения, или политическая деятельность, или упорное стремление к какой-то ограниченной цели, незначительность которой со стороны казалась совершенно очевидной. Но так как все эти стремления – в силу разных личных причин – были ему чужды, они казались ему не стоящими усилия.

Но чаще всего он возвращался к размышлениям о своем душевном одиночестве и о своей бесполезности. И после этого он неизменно представлял себе воображаемый роман с женщиной, смутный облик которой медленно возникал перед ним. Он не мог бы сказать, какие у нее были глаза и как звучал ее голос; но в туманное представление о ней он вносил тот лирический оттенок, которого до сих пор не встречал нигде, кроме книг. Он проводил иногда целые часы, думая о том, как все это могло бы произойти, что он мог бы ей сказать, что она могла бы ему ответить, где это было бы и как она была бы одета. Потом он встряхивал головой, вздыхал и уходил из дому.

В течение нескольких лет он бесцельно бродил по парижским улицам. Он знал во многих кварталах все витрины магазинов, все повороты и вид каждого дома. Ему были так же хорошо известны те

части города, где жила беднота, и когда он видел маленьких детей, игравших на тротуаре, заплатанное белье, развешенное над ржавыми балюстрадами окон, простоволосых женщин с огрубевшими от стирки и работы руками и то непередаваемое выражение лица у всех этих людей, которое так резко отличало их от других, более богатых, ему становилось тяжело и почти что стыдно за свой костюм, свою квартиру, свою жизнь. Он думал тогда о том, что против этой очевидной и жестокой несправедливости были бессильны любые государственные и политические теории, потому что во всех странах мира царил в этом смысле железная неизменность: одни жили безбедно и комфортабельно, не переутомляя себя работой, существование других проходило в тяжелом труде и бедности, и никакой коммунизм не мог сделать так, чтобы это стало иначе, – если даже допустить, что он к этому стремился.

Он просидел в кресле, не двигаясь и стараясь не думать ни о чем, до тех пор, пока не раздался телефонный звонок. Андрэ Бертье напоминал ему, что сегодня вечером он ждет его к обеду. Роберт нехотя переоделся, вышел из дому и направился пешком туда, где жили его родители. Это было недалеко, в двадцати минутах ходьбы.

Подходя к дому, он заметил, что перед входом стоит огромный старинный автомобиль, за рулем которого дремал шофер. По летящей цапле на пробке радиатора он тотчас узнал марку – это была «испаносюиза». Он позвонил и вошел, и ему сразу же бросились в глаза цветы, которых обычно не бывало, так как мать Роберта жаловалась, что их запах вызывает у нее головную боль, отзывающуюся, в свою очередь, самым вредным образом на ее печени... С медицинской точки зрения, – как это однажды сказал Бертье врач, – такое явление представлялось необъяснимым и единственным в своем роде. Бертье знал, однако, что, когда Соланж ссылалась на свои болезни, всякое сопротивление ее решениям было бесполезно. Это так же хорошо знал Роберт; и теперь, увидав цветы, он решил, что или болезнь печени у его матери прошла бесследно, или сегодня к ужину приглашен какой-то гость настолько важный, что перед значительностью его визита даже печень Соланж отступала на второй план.

Когда он вошел в столовую, извинившись за опоздание, он застал там очень пожилого человека с мертвым выражением глаз. Андрэ Бертье тотчас же представил сына – и Роберт узнал, что

приглашенный был сенатор Симон, государственный деятель и член комиссии по экономическим делам. Рядом с ним сидела его племянница, белокурая девушка с длинными глазами, немного подведенными, и крупным ртом, похожая на какую-то кинематографическую артистку, какую, он не мог вспомнить. Но девушку он узнал сразу же, и во время ужина он думал о той ночи, когда он ее видел. Сенатор не отличался многословием, и разговор об экономических перспективах Европы, который начал с ним Андрэ Бертье, его явно не интересовал. Он отвечал лаконично и неопределенно, и Роберт заметил, что сенатор не был силен в политической экономии. Это было бесспорно: до начала своей парламентской карьеры он был чиновником почтового ведомства. Он зато сразу оживился, когда Соланж заговорила о своей больной печени. В этой области его познания были несомненны. Тотчас же выяснилось, что у него тоже больная печень, что, кроме того, у него, – так же, как у нее, – неблагополучно с почками: и через несколько минут и он, и Соланж чувствовали себя единственными достойными собеседниками за столом.

– Вы, конечно, знаете, *madame*, – говорил он, – те утренние ощущения, какие характерны для известного периода, который... замечали ли вы, что некоторые физиологические явления, носящие характер весьма далекий, казалось бы, от того, что принято считать результатом недостаточно интенсивного действия печени, нередко объясняются, вопреки распространенному заблуждению.

– Да, да, и кажущаяся трудность диагноза...

– Чисто внешняя, *madame*, чисто внешняя...

– Я именно это хотела сказать. Я имею в виду, например...

Роберт рассеянно слушал их разговор и думал о том вечере, когда, выходя из театра, он встретил одного из своих товарищей, которого не видал год; он пригласил Роберта посидеть где-нибудь несколько минут, как он выразился, и привез его в русское кабаре. Роберт даже не помнил точно, где именно оно находилось. В маленьком зале был полусвет, бритые гарсоны говорили со славянским акцентом, играл под сурдинку небольшой оркестр. Время от времени выступал немолодой мужчина с постоянно ласковым выражением глаз и пел по-французски, по-английски, по-итальянски и по-русски какие-то романсы, которых Роберт не знал и в которых неизменно говорилось

об иллюзорности любви, о невозвратимой поре короткого счастья и о неизбежности расставания. Румынский еврей с печальным и важным лицом играл на скрипке, звуки рояля доходили точно издалека. У Роберта через некоторое время появилось такое ощущение, какого он до тех пор никогда не испытывал ни в одном кабаре, – что он попал к этим странным людям, которые прекрасно понимают все, и в частности то, о чем так часто думал он, Роберт Бертье, и что они знают его уже давно и всячески сочувствуют ему во всех его личных неудачах. И этому – таким же непонятным образом – не мешало то, что это были люди, говорившие и думавшие на чужом языке, и что, вообще, не могло быть ничего более обманчивого и вздорного, чем это впечатление. И все-таки оно оказалось сильнее всего.

И тогда же за соседним столиком он увидел девушку, которая теперь сидела против него, рядом с сенатором. В ту ночь она была совершенно пьяна и размахивала руками в такт музыке, и певец смотрел на нее с эстрады своими наемно-ласковыми и все понимающими глазами. Ее сопровождал молодой человек очень незначительного и очень приличного вида, которого она то обнимала, то отталкивала. До Роберта доходил ее пьяный шепот. Она говорила совершенно вздорные вещи, потом вдруг всхлипывала, но мгновенно успокаивалась и начинала вполголоса подпевать музыке. Ее спутник давно уже предлагал ей уйти, но она категорически отказывалась. И когда Роберт выходил из кабаре, заплатив перед этим по счету какую-то уж слишком крупную сумму, она еще оставалась там: был пятый час утра. Ему запомнилась эта ночь и эта девушка с длинными глазами; но ее он запомнил только потому, что это происходило в русском кабаре, и, как все, что он тогда видел, она была неотделима от этого странного впечатления, – как были неотделимы от него ласковые глаза певца и печально-важное лицо румынского еврея, игравшего на скрипке.

Сейчас, за ужином, он очень скучал. Все было ясно с первой минуты: племянница сенатора могла бы быть, по мнению его родителей, подходящей партией, сенатор мог бы быть полезен во многих отношениях. Роберт смотрел на его лицо и думал, что этот пожилой человек ни в какой степени не представлял собой психологической загадки и все, что о нем следовало сказать, могло быть сведено к нескольким словам. Его, конечно, совершенно не

интересовали его парламентские занятия и раздражали проекты каких бы то ни было изменений в существующем порядке вещей – как это было характерно для большинства людей его возраста. Его всецело занимало, совершенно так же, как мать Роберта, Соланж, и по тем же причинам, состояние его здоровья, и еще точнее, его печени, и почек, и всего, что связано с их функциями. Все остальное было значительно менее важно.

Роберт из приличия заговорил все-таки с племянницей сенатора – и тотчас же выяснил, что все было так, как он предполагал: она любила то, что он презирал, и не понимала того, что он любил.

Когда гости собрались уходить, отец бросил на него быстрый и укоризненный взгляд и через секунду, точно раскаявшись, вновь посмотрел на сына с той улыбкой, которая каждый раз так меняла его лицо, грубое и умное одновременно. Роберт не мог не понять ее значения. Отец не одобрял его поведения, но, в конце концов, извинял его потому, что не все люди должны быть одинаковы. Мать Роберта не заметила ничего: она и сенатор были единственными людьми, которые остались довольны проведенным вечером. Уходя в свою спальню, она остановилась и сказала мужу:

– Очень милый человек Симон. Я редко встречала у людей такое понимание. Что ты об этом думаешь, Андрэ?

– Мне не хотелось бы тебя огорчать, Соланж, – сказал Бертъе. – Но я думаю, что он просто глуп. Я это знал давно, но это никогда не казалось мне так очевидно, как сегодня.

Роберт возвращался домой пешком, так же, как он пришел. Была холодная и ясная ночь, было начало марта. Огромные круглые фонари горели над безлюдным бульваром. Он шел и думал в тысячный раз о том, что так это продолжаться не может, что необходимо это изменить. Надо было найти цель, к достижению которой следовало стремиться, или какой-нибудь вид деятельности, который не казался бы ему явно не стоящим никакого усилия, нужно было перейти от созерцательного метода к экспериментальному, как сказал бы его профессор философии, или, наконец, самое неправдоподобное – чтобы особенное стечение внешних обстоятельств заставило его выйти из той постоянной душевной летаргии, на которую он был так безвозвратно, казалось, осужден.

Но проходили дни и недели, не принося с собой ничего нового. Все оставалось по-прежнему, менялись только названия книг, которые он читал, и каждая прочитанная книга, каково бы ни было ее содержание, словно подчеркивала то, что Роберт знал уже раньше, именно, что жизнь проходила мимо него. Раз в неделю примерно и чаще всего в самый неожиданный час звонил телефон, и голос его отца спрашивал:

– Ты дома? У меня есть немного свободного времени, я сейчас заеду к тебе.

И через четверть часа его автомобиль останавливался у подъезда, а еще через минуту он входил, садился против сына, хлопал его по колену и говорил:

– Ну что, старик, как живем? Представь себе, что этот дурак Ренэ влюбился в какую-то массажистку и стал опаздывать на службу, – понятно, ложится спать черт знает когда, и вообще все у него вкривь и вкось.

Он сидел в глубоком кожаном кресле против сына, и Роберт опять думал о том, что его отец делает все как-то особенно, со вкусом: если он курил, то было видно, что это ему доставляет удовольствие, если он сидел, то со стороны было заметно, что ему удобно сидеть; и живые его глаза на некрасивом и грубом лице смотрели перед собой почти всегда с одним и тем же выражением – спокойно, смело и немного насмешливо. Роберт смотрел на него с завистью. Несмотря на то, что Андрэ Бертье был всегда очень занят и, казалось, перегружен работой, он каким-то образом успевал узнавать множество вещей – вроде биографии или вида занятий этой массажистки, в которую был влюблен Ренэ. Его все интересовало, и, в отличие от Роберта, он находился в центре сложного и быстрого движения, в котором участвовало много людей. Некоторых из них он знал, других никогда не видел, но сведения о них у него были самые подробные, и было совершенно непонятно, когда и где он успел все это узнать и запомнить и, главное, зачем ему это было нужно. И каждый раз после его ухода Роберт думал о законе наследственности и жалел, что ни одно из качеств его отца не передалось ему, кроме, пожалуй,

физической силы, то есть той подробности, которую он считал самой неважной и несущественной.

Для того чтобы выйти из дому, ему приходилось делать над собой усилие. Но зная прекрасно, что его душевное состояние не могло быть названо нормальным для совершенно здорового человека его возраста, он был, однако, очень далек от отчаяния или мысли о самоубийстве. Он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы справиться с любой задачей, которая перед ним возникла бы. Несчастье заключалось в том, что никаких задач не было, и те, какие он мог бы сам себе придумать, или те, которые ему предлагал отец, не казались ему заслуживающими внимания.

Он вышел однажды из дому после раннего обеда, в девятом часу вечера, не зная еще, куда он пойдет и что будет делать. Он дошел до середины улицы Auteuil, потом поехал на Большие бульвары. Был майский вечер, на улицах было много народа, террасы кафе были полны. Он вошел в кинематограф, просмотрел половину знаменитого фильма со знаменитыми артистами и вышел опять на бульвар. Был одиннадцатый час вечера. Он шел по бульвару, потом свернул, сам не зная почему, на гае St. Denis и прошел несколько шагов, рассеянно глядя на темные старые дома, на уличные фонари, на женские силуэты, проходившие мимо него. Вдруг его остановил сдавленный, почти хрипящий, – что сразу обратило на себя его внимание, – голос:

– Ты идешь со мной?

Он не обернулся бы, если бы его не поразил этот особенный сдавленный звук. В двух шагах от него, почти у порога ярко освещенного небольшого кафе, стояла – как ему сначала показалось – девочка лет пятнадцати с испуганными глазами. На ней была серая блузка и очень короткая клетчатая юбка. У нее было асимметричное лицо, глаза средней величины и большой, неумело покрашенный рот, губы которого дрожали. Несколько позади, засунув руки в карманы, стоял высокий узкоплечий человек в сером костюме и в шляпе, сдвинутой набок. Во всем этом было что-то странное, чего Роберт не мог сначала определить, – и вид этой девочки, и непонятно сдавленный ее голос, и эта немая фигура мужчины с покатыми и узкими плечами. До сих пор Роберт никогда не отвечал на обращения проституток и проходил, глядя невидящими глазами мимо них. Но эта была настолько не похожа на других, что он невольно остановился. В

трагическом ее хрипе ему послышалось что-то неподдельно тревожное.

– Иди сюда, – сказал он. Она подошла ближе. Он остановил проезжавшее такси, отворил дверцу, почти втокнул ее туда и сказал шоферу:

– Поезжайте по бульварам к площади Мадлен.

Она неподвижно сидела, откинувшись назад. Автомобиль катился бесшумно. Горели витрины, блестели фонари встречных машин – и ему вдруг показалось, что они едут по огромному и освещенному туннелю и что он уже давно когда-то все это видел и чувствовал, может быть, в забытой книге, может быть, во сне. Наконец он спросил:

– Ты давно занимаешься этим ремеслом?

И тогда она, не отвечая, прижала голову к коленям и заплакала. Ему сразу стало ее жаль. Во всей ее фигуре, в ее худом, скорченном теле и в ее тихом плаче было что-то действительно вызывающее сострадание, и у Роберта передернулось лицо. Но голос его звучал так же спокойно, как всегда.

– Не надо плакать, – сказал он. – Ничего страшного не происходит. Что с тобой?

Он попытался приподнять ее лицо, но она отрицательно и с отчаянием покачала головой и продолжала вздрагивать, уткнувшись в колени. Шофер, повернувшись к Роберту, сказал:

– Мы подъезжаем к площади Мадлен. Куда ехать дальше?

– Спуститесь на набережную и сверните направо, – ответил Роберт. – Я вас остановлю, когда будет нужно.

Они проехали еще несколько сот метров. Плач девочки стал почти неслышным. Он тронул ее за плечо и спросил:

– Ну что? Почему ты плачешь? Ты меня боишься?

– Нет, теперь уже не боюсь, – сказала она, поднимая голову. Лицо ее было пересечено черными вертикальными полосами от риммеля.

– Так что, с тобой можно, наконец, разговаривать? Вытри лицо, ты Бог знает на кого похожа.

Она послушно достала из сумки платок и вытерла щеки и глаза.

– Как тебя зовут?

– Жанина.

– Сколько тебе лет?

– Восемнадцать. Вы не инспектор полиции?

– Нет, – сказал он. Ему показалось удивительным, что она говорила ему «вы», как ему вообще казалось странным все ее поведение.

– Отчего ты плакала?

Она первый раз за все время прямо посмотрела на него. У нее были печальные и серьезные глаза, в глубине которых застыло выражение далекого страха.

Она пожала плечами и ответила:

– Если я вам скажу правду, вы мне не поверите. – Как ты это можешь знать заранее?

Она опять пожала плечами и сказала:

– Вы должны были быть моим первым клиентом.

– Что? – с изумлением спросил он. – Первым клиентом? Это правда?

– Видите, я вам сказала, что вы мне не поверите.

Они подъезжали к мосту Альма. Он остановил автомобиль и расплатился с шофером. Держа ее под руку, – она была на голову ниже его, – он перевел ее через площадь, подошел к стоянке такси, сел в последнюю машину и дал шоферу свой адрес. И когда автомобиль двинулся, он подумал, что, если бы еще час тому назад ему сказали бы, что он ответит на обращение проститутки и повезет ее к себе, он пожал бы плечами и решил бы, что человек, который это говорит, – сумасшедший.

– Куда вы меня везете? – спросила она и, не дождавшись ответа, прибавила:

– Впрочем, мне все равно. Я вас больше не боюсь.

– Мы едем ко мне, в мою квартиру, – сказал Роберт.

– Вы богатый?

– Да, – неохотно сказал он.

Она покачала головой и ничего больше не сказала.

Такси остановилось перед двухэтажным особняком. Роберт жил во втором этаже. Квартира первого, давно и наглухо запертая, принадлежала старому голландцу, который жил в Америке и уже несколько лет не приезжал в Париж. Роберт отворил железную калитку небольшого сада перед домом и нажал на кнопку справа от входа. На первой площадке лестницы зажегся электрический

стеклянный факел, который держала в руке голая бронзовая женщина. Ему давно хотелось убрать ее оттуда, но он не имел права этого делать: бронзовая женщина была собственностью голландца. Они поднялись по белой лестнице на второй этаж. Роберт отворил дверь и машинально, не думая ни о чем, пропустил Жанину вперед. Она с удивлением посмотрела на него.

Он провел ее в кабинет. Она внимательно рассматривала все – стены, картины, полы, кресла. Потом она повернула к нему свое чуть-чуть угловатое лицо и сказала:

– Я никогда не видела таких вещей нигде, кроме как в кинематографе. Это ваша собственная квартира?

Роберт улыбнулся. Она стояла посреди комнаты, теребя в руках сумку. Он усадил ее в кресло, сел против нее, предложил ей папиросу, – она с жадностью закурила, – и сказал:

– Ну, теперь расскажи мне все, что ты можешь рассказать о себе. Только не надо врать, это бесполезно.

– О нет, – сказала она, – я не буду врать. Я скажу вам все. Я из очень бедной семьи. Мой отец был венгр; он давно умер. Моя мать француженка, она была поденщица. Она умерла три месяца тому назад. Я родилась в Париже, мы жили на rue Dunois.

– Где это, rue Dunois?

– Она выходит на Boulevard de la Gare.

– Да, верно, – сказал Роберт, – я ее теперь вспоминаю.

И он действительно вспомнил, как однажды, несколько лет тому назад, он был вместе с отцом на этой улице. Они осматривали там сахарный завод, на котором работали темнолицые, оборванные арабы. Он увидел перед собой эту узкую улицу с низкими домами, окна, заткнутые тряпками, и длинную ее перспективу неправдоподобной мрачности. Он закрыл на секунду глаза, и весь этот район возник в его памяти – район, который он потом обходил пешком: Boulevard de la Gare, rue du Chateau des Rentiers, rue Dunois, rue Chevaleret, rue Jeanne D'Arc – и внизу, на набережной Сены, грязные кафе, татуированные прохожие, неряшливые, простоволосые женщины – та парижская беднота, о которой ему как-то сказал отец:

– Я знаю ее хорошо, я сам из нее вышел. Я с тобой согласен, что это чудовищно и несправедливо и что эти люди заслуживают более

человеческих условий существования. Да, да, я все это знаю. Но я не думаю, чтобы это могло быть изменено.

– Продолжай, – сказал Роберт, обращаясь к Жанине. – Расскажи мне, как ты попала на rue St. Denis и почему я должен был стать твоим первым клиентом.

Она опять прямо посмотрела на него, и он заметил, что ее зрачки расширились и мгновенно сузились снова. Она ни разу до сих пор не улыбнулась ему.

– Когда моя мать умерла, – сказала она, – у меня совсем не было денег и я продолжала свою работу.

– Что ты делала?

– То же, что она, я была поденщицей. Но я скоро ушла с этого места.

Роберт ожидал классического продолжения: хозяин к ней приставал, она оттолкнула... Но он ошибся. Жанина сказала, что ее обвинили в краже денег, вызвали в полицию и долго допрашивали.

– Они всё уговаривали меня сознаться, – сказала она, пожав плечами. – Я им ответила, что не могу сознаться в том, что я не делала.

К счастью для нее, деньги нашли у сына хозяина, молодого человека двадцати лет, и ее отпустили. После этого она поступила на бумажную фабрику. Потом, однажды вечером, подруги уговорили ее пойти в дансинг.

– Где именно?

Она объяснила: дансинг находился недалеко от Больших бульваров, на улице, пересекавшей rue St. Martin. Там она познакомилась с Фредом. Когда она произнесла его имя, на ее лице опять появилось то выражение страха, которое так поразило Роберта на rue St. Denis. Он пошел ее провожать, потом вошел в ее комнату, раздел ее – и в ту же ночь она перестала быть девушкой.

– Он тебе нравился? – спросил Роберт. Ему почему-то нужно было сделать усилие, чтобы задать ей этот вопрос.

– О, нет, – поспешно сказала она. – Но я его боюсь. Его все боятся. Он страшный.

– И что же было дальше?

– Он сказал, чтобы я взяла расчет на фабрике, и отобрал у меня деньги. Потом он объяснил, что я буду работать, а он будет меня

кормить и содержать. У него уже есть две женщины, кроме меня. И вот сегодня вечером я должна была начать работу.

Роберт вспомнил узкоплечего человека в сером костюме.

– Так это был он – в сдвинутой набок шляпе? Это он стоял сзади тебя?

Она утвердительно кивнула головой.

Роберт молчал, сидя в кресле и задумавшись. Был первый час ночи, в квартире стояла полная тишина. По тихой улице изредка проезжали автомобили, и через открытое окно был слышен легкий звук их шуршащих шин. Все было просто, как в уголовной хронике: Жанина, восемнадцать лет, горничная, обвинение в краже, очередной сутенер, rue St. Denis, – и заранее predetermined судьба – тротуар, болезнь, тюрьма, больница, опять тротуар, опять больница, потом анонимная смерть, труп Жанины в морге, потом вскрытие. Больше ничего.

– Больше ничего, – повторил он вслух.

Жанина сидела против него. На ее лице было выражение усталости. Он поднялся с места и сказал:

– Ну, хорошо, мы еще поговорим обо всем этом.

– Я скоро должна вернуться, – сказала она, не поднимая глаз.

– Куда?

– Туда, на rue St. Denis. Он меня ждет.

Он внимательно посмотрел на нее и в эту минуту отчетливо понял то, в чем до сих пор не успел себе сознаться: в присутствии этой девушки было нечто настолько притягательное для него, что мысль о ее уходе казалась ему совершенно дикой. Он не мог бы сказать, в чем именно заключалась эта притягательность – в интонациях ее тусклого голоса, в общем выражении ее лица, в ее зрачках или, может быть, в каких-то движениях ее тела, которые он видел, о которых он забыл и которые запечатлелись в бессознательной и безошибочной памяти его мускулов и нервов, недоступной анализу. И он не мог бы сказать, когда именно это успело произойти.

Он отрицательно покачал головой.

– Я думаю, что ты туда больше не вернешься.

– Нет, нет, – сказала она испуганно, – я не могу не вернуться. Он меня убьет.

– Можешь быть спокойна, – сказал он. – Если тебе угрожает только эта опасность, ты проживешь до ста лет. Идем. Ты, наверное, устала?

– Да.

– Прими теплую ванну, это очень хорошо против усталости.

Он взял ее за руку и провел через всю квартиру к ванной. Там он открыл оба крана – холодной и горячей воды. Жанина смотрела своими испуганными глазами на матовый отблеск ванны, на сверкание никелированных кранов.

– Подожди одну минуту. – Он вышел и вернулся, неся в руках один из купальных халатов Жоржетты, который он достал из стенного шкафа. Затем он оставил Жанину одну и ушел. Через минуту он услышал, что вода перестала наполнять ванну, и еще через несколько минут до него донесся легкий плеск тела, погружавшегося в воду.

Он стоял на пороге комнаты, из которой был ход в ванную, и испытывал непонятное томление, такое же неожиданное, как та неопределимая притягательность Жанины, о которой он подумал несколько минут тому назад. Он невольно представил себе ее тело в ванне, – колени, худые плечи, грудь, – и, встряхнув головой, вышел из комнаты.

Он вернулся в кабинет и снова сел в кресло. Мысли его шли с непривычной беспорядочностью. «У тебя в жилах не кровь, а вода...», rue St. Denis, Фред, Жанина, будущая ее судьба – если все будет так, как должно быть. А если это будет иначе? Окно было открыто, ставни прикрыты неплотно, за окном была неподвижная майская ночь.

Она вошла, беззвучно ступая по ковру, и показалась ему неузнаваемой в белом мохнатом халате Жоржетты. Он сначала встал с кресла, потом снова сел, затем опять встал. Она сказала:

– Спасибо вам за то, что вы были так добры ко мне. Он рассеянно слушал ее голос, не очень понимая, что она говорит. Потом он подошел к ней совсем близко – она не двинулась с места, прямо глядя в его лицо, – затем он обнял ее, и тогда она охватила его шею руками и поцеловала его в губы с девичьей нежностью, которая показалась ему трогательной и невыразимой. Потом, оторвавшись от него, она спросила:

– Как твое имя?

– Это неважно, – сказал он, делая над собой усилие. – Меня зовут Роберт.

Он провел с ней большую часть ночи, глядя в ее расширенные глаза и слушая то, что она говорила и что он знал давно, со всеми вариантами и повторениями, и что было тысячи раз написано в романах о любви – она никогда не любила никого, она никогда не понимала, что это значит, и понимает это только теперь, и она никогда не забудет этого и всю жизнь... Он слушал ее, и время от времени низкий и вкрадчивый голос той женщины из русского кабаре, которая сменила певца с ласковыми глазами, смутно доходил до него, принося с собой неопределимую лирическую мелодию, стремившуюся, в сущности, передать то, что он чувствовал сейчас, охватив руками худое и теплое тело Жанины и видя так близко перед собой ее разгоряченное и изменившееся лицо. И все, что она говорила ему и что во всяких других обстоятельствах вызвало бы у него только пренебрежительную улыбку над убожеством и неубедительностью этих выражений, казалось ему необыкновенно значительным и самым замечательным, что он слышал до сих пор. Это была первая ночь в его жизни, когда все, что составляло его существование, вдруг забылось и исчезло, и смутное, огромное представление о внешнем мире приняло очертания Жанины – ее лицо, груди, живот, ноги, – и он чувствовал, что его сознание почти растворяется в этой близости к ней и что по сравнению с этим все остальное неважно.

Он поднялся с кровати, когда уже начинало светать, Жанина только что заснула, повернувшись лицом к стене. Он посмотрел прояснившимися, наконец, глазами на ее взлохмаченную голову и ровную юношескую спину, не прикрытую простыней, и вышел из комнаты. Затем он взял из ванной все ее вещи и спрятал их в стенной шкаф, который запер на ключ. Потом он пошел в другую комнату, постелил себе кровать, лег и мгновенно заснул крепким сном.

* * *

Ему снилось чье-то лицо, одновременно знакомое и неузнаваемое, которое смотрело на него с немой выразительностью. Вокруг был тропический пейзаж – красные скалы, раскаленные

солнцем, желтый песок на берегу океана, ствол пальмы, обвитый ползучим растением, легкий плеск волны невдалеке. Он открыл глаза и увидел Жанину, которая сидела на краю постели.

– Доброе утро, Роберт, – сказала она, и ему показалось, что ее голос стал звучнее, чем вчера.

– Здравствуй, Жанина, – сказал он. – Ты давно встала?

– Да, уже больше часа.

Он смотрел на нее с улыбкой.

– И ты не нашла своих вещей?

Она отрицательно покачала головой.

– Ты хотела одеться и уйти, чтобы я тебя не видел?

– Да.

– Тебе здесь нехорошо?

– О! Как ты можешь это спрашивать? – сказала она. – Ты знаешь, почему я хотела уйти.

– Потому что ты его боишься? Она ответила:

– Теперь больше, чем когда-нибудь. Потому что раньше я боялась за себя. Сейчас я боюсь за тебя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось по моей вине.

– Ложись рядом со мной, – сказал Роберт. – Я успел по тебе соскучиться.

Она сбросила халат и опять осталась совершенно голой, и он отчетливее, чем вчера, увидел ее невысокие, далеко расставленные груди, впалый живот и длинные ноги с большими ступнями. Через четверть часа она сказала:

– Я не такая дура, как ты, может быть, думаешь. Я знаю, что это не может так продолжаться, как сейчас. И это мне очень жаль, потому что я тебя люблю.

И она сказала, что никогда не забудет, как она была счастлива в эту ночь – даже если этой ночи суждено быть единственной в ее жизни.

– Ты богатый, Роберт, – говорила она, обнимая его шею рукой, – у тебя есть родители, квартира, состояние. Что ты хочешь сделать со мной? Ты хочешь, чтобы я осталась здесь на две недели, – а потом ты мне дашь денег и скажешь, чтобы я возвращалась на rue St. Denis?

– Продолжай, – сказал он, улыбнувшись.

– Ты напрасно улыбаешься, – сказала она. – Если я уйду сегодня, я буду вспоминать всегда о том, как я была счастлива. Если я уйду через две недели, это будет в тысячу раз тяжелей. И если ты меня любишь, отпусти меня теперь.

Он молчал, закинув руки за голову и глядя в потолок далекими глазами. Потом он повернул к ней лицо, на котором было выражение холодной восторженности, и сказал:

– Все это неважно, Жанина. Важно то, что ты останешься здесь совсем.

Она вскрикнула от неожиданности, как вскрикнула бы от укола или от удара.

– Ты сошел с ума, Роберт! Это невозможно, это невыносимо!

– Почему? – спросил он своим спокойным голосом.

– Послушай, – сказала она терпеливо. – Я вчера должна была стать проституткой. До этого я работала поденщицей, потом я была на фабрике. Вот моя жизнь. Кроме того, ты ничего не знаешь обо мне: может быть, я воровка; может быть, я преступница. Ты увидел меня вчера первый раз в жизни. А потом еще *крутое*...

– Да, да, я слушаю.

Она запнулась, потом проговорила:

– Если бы я действительно осталась здесь, – что ты сказал бы твоим родителям и твоим знакомым? И как бы ты им меня показал? Нет, нет, об этом не может быть речи.

– Ты уступила Фреду неделю тому назад? А мне ты уступить не хочешь?

На ее глазах показались слезы, и ему стало жаль, что он сказал эту неловкую и ненужную фразу.

– Я не уступила ему, я сопротивлялась, – сказала она. – Но я его боялась до дрожи. Тебя я не боюсь, и мне нужно сделать усилие, чтобы оторваться от тебя. И если бы я тебе уступила, как ты говоришь, я каждый день боялась бы за твою жизнь.

– Я себя сумею защитить, Жанина.

– Ты его не знаешь, я тебе говорю, что это самый страшный человек, которого я видела. Достаточно посмотреть в его глаза, чтобы в этом убедиться.

– Ну, хорошо, – сказал Роберт. – Теперь я пойду в ванную, а потом мы будем пить кофе.

Через полчаса они оба сидели за столом. С лица Жанины все не сходило выражение тревоги, но иногда она улыбалась широкой и откровенной улыбкой, сразу ее менявшей. Роберт потом часто вспоминал это первое утро, которое он провел вместе с ней. Они говорили сначала о каких-то пустяках, которые он забыл, настолько они были незначительны. Затем, по его просьбе, она стала рассказывать ему, как она жила с родителями и как у них никогда не было денег, – потому что отец все проигрывал на скачках, хотя у него было хорошее ремесло.

– Какое именно?

– Он работал у портного, он был закройщиком. Роберт кивнул головой.

Но у него испортилось зрение – и это его погубило. Нередко, когда он шел по улице, – как он это рассказывал жене, – перед его глазами вдруг возникало туманное облако, сквозь которое ничего не было видно, ни домов, ни автомобилей, ни людей. В тот день, когда он не вернулся домой с работы, это, вероятно, было именно так: он переходил улицу, движение было сравнительно небольшое, но в это время перед ним снова появилось его облако, о котором, как сказала Жанина, никто не знал, ни полицейский, стоявший на углу, ни шофер огромного грузовика, спускавшегося по направлению к ближайшей площади, ни прохожие, находившиеся там в эту минуту. – Это облако, – сказала Жанина, – это была его смерть.

Он попал под грузовик и был убит на месте. Всю свою жизнь он мечтал, со слепой и упрямой наивностью бедного, что однажды он выиграет... Никакие годы опыта не могли его ничему научить. Это была его единственная надежда на улучшение – другим путем он не мог его добиться. И еще утром этого дня, последнего дня его существования, он говорил о том, что все пойдет лучше, что они поедут летом к морю, что он обратится к главному врачу, настоящему, а не такому, как в госпитале, и что после этого над ним перестанут смеяться его товарищи по мастерской, все станет иначе, и они переедут в другой квартал. Он бормотал все это утром, выворачивая карманы, и повторял:

– Вот вы увидите, сегодня будет что-то необыкновенное.

Но так как он произносил эту фразу почти каждый раз, то ни его жена, ни маленькая Жанина не обратили на нее внимания. И только

потом, когда мать Жанины вспомнила ее, зловещая ее точность вдруг стала ей понятна: неузнаваемый, изуродованный труп ее мужа лежал в анатомическом театре – с раздавленной головой, переломанной грудной клеткой и окоченевшими руками, – и только по засаленной и просроченной *carte d'identite* можно было узнать, что эти бедные человеческие останки принадлежали Анатолию Ковачу, сорока двух лет, женатому, портному по профессии, жившему на rue Dunois.

Это случилось восемь лет тому назад. Жанина хорошо помнила отца и подробно описала его: он был маленький, лысый, очень тихий человек, который разговаривал сам с собой и сам себе повторял одну и ту же теорию о том, как все устроено на земле: бедным ничего нельзя, богатым можно, бедные живут плохо, богатые хорошо, и богатые не хотят, чтобы бедные становились богатыми, и всячески их преследуют. И они, чуть что, требуют у бедных деньги: государство, которое тратит миллиарды, посылает своих служащих к несчастному иностранцу, венгерскому портному, и эти служащие говорят, что он должен платить налог, как будто он миллионер; а хозяин дома, который сам живет в роскошной квартире на таком бульваре, куда бедных не пускают, угрожает выгнать его, Ковача, за неплатеж. Ковач плохо говорил по-французски, – с чем он никогда не хотел согласиться, хоть это было совершенно очевидно, – но был уверен, что понимает все и, главное, понимает самое важное – этот заговор богатых против бедных. Как это ни странно, однако он не осуждал богатых. Он только констатировал именно такое положение вещей, и его личная цель состояла в том, чтобы перейти из одной категории в другую. Законность этого противопоставления казалась ему несомненной, и он был далек от стремления изменить эту систему распределения богатств, единственный недостаток которой заключался в том, что он, Анатолий Ковач, попал по ошибке в низшую категорию, а не в высшую. Но один выигрыш на скачках мог бы изменить все – и тогда в наивном его воображении мир принимал идиллические очертания.

По вечерам он сидел за столом, опустив голову, и бормотал, как всегда, нечто длинное и почти бессвязное, комментируя постоянную свою теорию, которая обогащалась новыми данными по мере того, как проходило время. «Богатые не хотят, чтобы бедные...» Потом он брал на колени Жанину и рассказывал ей, что он снимет большую квартиру

и будет сам принимать заказы, и к нему будут приходить клиенты, а в столовой будет стоять аппарат радио, по которому можно слушать Америку. Первого августа он повесит на двери картон с надписью: «Закрывается до пятнадцатого сентября по случаю каникул» – и они уедут скорым поездом на юг Франции, к берегу Средиземного моря, и там будут ходить в белых костюмах, как миллионеры, и если его будут спрашивать о его профессии, то он даст свою визитную карточку, где будет номер телефона и адрес и будет написано, что он берет заказы на штатское и военное платье и ручается за добросовестное и быстрое выполнение по ценам вне конкуренции.

Таким был Анатолий Ковач, отец Жанины. Таким, во всяком случае, он представлялся Роберту – по беспорядочному ее рассказу. И Роберт подумал, что, может быть, тогда, в это последнее утро своей жизни, когда венгерский портной переходил бульвар и перед его глазами возникло смертельное облако, он мечтал о несбыточных каникулах на берегу Средиземного моря и видел себя в белом костюме на Promenade des Anglais – и этот бедный поэтический бред вдруг так трагически оборвался в какую-то незначительную часть секунды – потому что, пересекая ему дорогу, с тяжелой стремительностью проехал грузовик, тоже принадлежавший, вероятно, богатому человеку.

Он сидел, задумавшись над судьбою этого человека. Если бы в тот день Ковач остался жив, если бы во всем, что этому предшествовало и что за этим последовало, произошло бы одно незначительное изменение, то вчерашняя ночь ничем, вероятно, не отличалась бы от других и лицо Жанины, на которое он смотрел сейчас с такой жадной пристальностью, не возникло бы никогда даже в его воображении. И смерть ее отца приобретала, таким образом, значение, которого нельзя было знать тогда, восемь лет тому назад, и которое заключалось в том, что для него, Роберта Бертье, одного из богатых людей, состоявших в воображаемом заговоре против бедных, жизнь приобретала смысл, какого не имела до сих пор. Он понимал, насколько эти мысли было легко опровергнуть: далекая смерть венгерского портного была взята с предельной произвольностью, не говоря о том, что новый смысл жизни мог быть, конечно, иллюзорным. Но он впервые почувствовал с непривычной отчетливостью, что все происходящее, которое до сих пор послушно

поддавалось его суждению и почти всегда укладывалось в ту или иную отрицательную схему идей, мгновенно возникавшую в его мозгу, – чего бы это ни касалось, – что все происходящее теперь приобрело живую и непреодолимую убедительность, и по сравнению с ней никакая отвлеченная схема не имела ни малейшего значения.

Он думал обо всем этом, не переставая смотреть на лицо Жанины пристальными и далекими глазами. Потом он сказал с интонацией, к которой она уже начала привыкать:

– Продолжай, Жанина. Рассказывай дальше.

– Что я могу тебе рассказать? – сказала она. – Ты, наверное, знаешь столько замечательных вещей, – может ли тебя интересовать моя жизнь, в которой ничего не было, кроме бедности и огорчений? Но я тебе все-таки расскажу, чтобы ты знал обо мне все. Может быть, потом ты будешь вспоминать обо мне.

Через некоторое время после смерти и похорон отца ее мать сошлась с другим человеком, которого Жанина не любила и боялась, хотя он никогда не сделал ей зла. Он был кровельщик по профессии, но часто оставался без работы, потому что был горьким пьяницей. Материальное положение семьи еще ухудшилось. Тогда мать отправила Жанину в деревню, объяснив ей, что так будет лучше.

– Я только позже поняла, – сказала Жанина, – что я ей просто мешала. У нас была одна комната на всех, и это ее стесняло.

Она провела почти шесть лет в деревне, у деда и бабушки: у них был маленький домик, несколько кур, две утки и собака. Они жили на пенсию, которую получал дед, выслуживший ее на железной дороге. Он так до самого конца своей жизни и не мог представить себе существования вне этого: поздно вечером, когда бабушка уже давно спала, он говорил внучке, слыша отдаленный гудок паровоза:

– Ты слышишь, Жанина? Это парижский экспресс. Смотри, он опаздывает на сорок три секунды.

Днем она нередко сопровождала его; неизменно направляясь к железнодорожному полотну, он шел по полю, медленно переставляя ноги и опираясь на палку. Потом он доходил, наконец, до своего любимого поворота, садился на невысокий бугорок, всегда тот же самый, набивал свою трубку серым табаком, закуривал и ждал поезда, который через пятнадцать или двадцать минут проносился мимо него

в пыли и грохоте колес. Он следил за ним глазами и каждый раз говорил одну и ту же фразу:

– Да, тут, милая моя, колесам туго приходится! Смотри, какой поворот. Ты слышишь, как они стонут? Вот, тебе будут в школе говорить, что металлы бесчувственны. Это неправда: металлу так же может быть больно, как нам с тобой.

Он строго говорил маленькой Жанине:

– Ты не думай, что это так просто – топить паровоз. Тебе кажется, что это как печка? Нет, милая моя. Вот, смотри.

И он медленно поднимался с кресла – он был стар, и было видно, что каждое движение требовало от него усилия, – и начинал бросать дрожащими руками воображаемые лопаты угля в незримую топку.

– Видишь, Жанина? Это круговое движение. Раз, два, три. Раз, два, три. Если же ты будешь бросать как попало, то у тебя потекут трубы. И, главное, не забывай манометра.

Девочка никогда не видала топки паровоза и не знала, что такое манометр. Но дедушку она слушала с увлечением – и ей казалось иногда, что они вдвоем с ним совершают далекое путешествие на огромном черном локомотиве, и вот ночью навстречу ему летит воздушная тьма, сыплются искры на землю, и в открытую, нестерпимо жаркую топку равномерно падает уголь; дедушка стоит с трубкой и смотрит на загадочный манометр.

В деревне была церковь с высокими сводами и сине-золотыми витражами, и в церкви был сумасшедший аббат, всегда говоривший непонятные вещи. Когда-то в молодости он был светским человеком и ушел в монастырь из-за любовного несчастья. Он очень не любил деда Жанины, потому что тот не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь и никогда не бывал в церкви. Но внучке он не запрещал туда ходить. Она любила неизменный полусвет в ней, гулкий звук органа, латинские слова службы, непонятные и торжественные. Крестьяне считали аббата сумасшедшим потому, что он часто говорил так, что они его не понимали. Он сказал однажды Жанине удивительные слова о ее дедушке, смысл которых остался для нее загадочным до сих пор, но которые она запомнила, потому что они ее поразили:

– Жизнь твоего деда, Жанина, была уклонением от человеческой ответственности. Люди ездят на поездах, чтобы куда-нибудь приехать и достигнуть какой-то цели: жениться, умереть, получить наследство

или утонуть. Твой дед провел всю жизнь на поездах, но он никогда никуда не ехал. Он только перевозил других людей со слепой безразличностью. Жизнь прошла мимо него, он не выполнил того долга, который был определен ему Богом, и Бог наказал его неверием. И так как он неверующий, то он попадет туда, где язычники. И если там есть подземная справедливость, то Харон уйдет в отставку, и он займет его место, которое он давно заслужил.

Он говорил это десятилетней девочке, которая слушала его с широко открытыми глазами, – и не думал о том, что она не может его понять. Она запомнила, однако, эти слова и странное ожесточение, с которым он их произносил, правую руку аббата, угрожающим жестом поднятую вверх, и то, как он уходил потом, в солнечном свете летнего дня, и как легкий ветер раздувал его черную сутану. Она потом рассказала это деду. Он невнимательно выслушал ее и ответил, что аббат сумасшедший, что это давно всем известно и что на него не надо обращать внимания. Был летний вечер, бабушка дремала, как всегда, сидя в кресле, и дедушка сказал:

– Самый неверный час – это сумерки. Каждый механик тебе это подтвердит.

Затем он дождался парижского экспресса и только потом лег спать – и таким он ей запомнился навсегда: в вязаном теплом белье, в плотном ночном колпаке на голове, с седой щетиной на морщинистых щеках, со своими неправдоподобно ровными вставными зубами, – таким, каким его нашли однажды, в то зимнее утро, когда она его видела последний раз.

Ей было тогда пятнадцать лет, она плохо себя чувствовала и часто плакала без причины, по ночам ей снились скалы, обрушивающиеся на нее, и поезда, врывающиеся в темные туннели. Это состояние продолжалось целый год, тот самый год, который прошел от смерти деда до смерти бабушки. Бабушка умерла от воспаления легких, зимой, вскоре после того, как Жанине исполнилось шестнадцать лет. Ей было шестьдесят четыре года, она никогда до этого не знала недомоганий, и если бы у нее оставалась хоть малейшая воля к жизни, она бы, наверное, поправилась. Но воля к жизни покинула ее тогда, когда похоронили деда. Она прожила с ним сорок шесть лет в этом маленьком домике, где она столько раз ждала его возвращения с работы, где она родила ему дочь, – и вне этого, как вне его

постоянного присутствия, жизнь не имела для нее никакого смысла. Она была простая женщина и едва умела читать, но если бы она была способна точно выразить то, в чем заключалось для нее главное значение ее существования, она, вероятно, определила бы его именно так: он и то, что окружало его, эти стены, эти кровати, эта черепичная крыша над тем небольшим пространством, где прошла ее жизнь рядом с ним, в таком бесконечно долгом соседстве. Она даже не могла бы, наверное, сказать, любила ли она его и была ли она счастлива; вероятно, любила и, вероятно, была счастлива, но и тот и другой вопрос как-то не имел отношения к ней. Самое главное было то, что это была двойная жизнь – ее и его, или его и ее, – и после его смерти ее собственное существование сразу потеряло то значение, которое возникло сорок шесть лет тому назад и которого теперь не стало.

На похороны приехала мать Жанины, – как она приезжала год назад на похороны деда, – в том же дешевом черном платье и черном пальто, которое было ей широко; она очень похудела за последнее время, под ее глазами были глубокие синие круги, цвет ее лица приобрел тревожно-сероватый оттенок, и если бы Жанина имела какое-нибудь представление о болезнях, для нее было бы ясно, что срок жизни ее матери определяется теперь, быть может, несколькими месяцами. Домик был продан, маленькое наследство получено, и Жанина вернулась с матерью в Париж. Они остались вдвоем – потому что кровельщик ушел уже некоторое время тому назад, бормоча в пьяном виде, что сказка, как он сказал, прожита и кончена, и это было первый и последний раз, что он произнес слово «сказка», которое звучало в его устах с такой дикой неестественностью. Через некоторое время мать Жанины оперировали: у нее был рак груди.

– Они так изрезали это бедное тело, – сказала Жанина, и слезы выступили на ее глазах.

Она долго и мучительно болела, и Жанина провела много месяцев, ухаживая за ней, покупая лекарства, вызывая докторов, которые смотрели мимо нее невыразительными глазами и явно не хотели сказать того, что она сама прекрасно понимала, то есть что на выздоровление или даже просто улучшение не было никакой надежды. Но в тот день, когда ее мать умерла, Жанина плакала, глотая слюну и слезы, – плакала о матери и о себе, от сознания, что теперь, в этом огромном и враждебном мире, она осталась одна и ее некому

защитить. После этих четырех смертей, так незаслуженно, как ей казалось, обрушившихся на нее, вокруг нее возникло пустое и холодное пространство. Ей вспомнился сон, преследовавший ее несколько лет тому назад, и мучительное ощущение, его неизменно сопровождавшее. Ей снилось, что она идет в сумерках по огромному снежному полю, – такому, какое она видела один раз в жизни, в особенно суровую зиму, – совершенно одна, и у нее не хватает сил пройти до какого-то места, до которого еще очень далеко, она движется с трудом в морозном воздухе, и, сколько хватает глаз, не видно ни одной живой души. Наконец она падает на белую, мерзлую землю, и ей кажется, что она слышит чьи-то голоса. Она делает необыкновенное усилие и встает – и вот вокруг нее та же мертвая тишина и тот же ледяной воздух, которым больно дышать.

Роберт слушал ее с напряженным вниманием. Она прервала себя и сказала:

– Вот видишь, это, кажется, все. Это не может быть для тебя интересным. И это не похоже на те необыкновенные вещи, которые показывают в фильмах.

– Да, несомненно, – сказал он.

– И я у тебя хотела спросить одну вещь.

– Да?

– Кто был Харон, о котором говорил аббат?

– Как тебе это сказать? Древние греки верили, что души умерших людей попадают в подземное царство – поэтому аббат говорил о подземной справедливости. Там они совершают странствие и, в частности, переправляются через реку Стикс. Харон был лодочник, который перевозил их с одного берега на другой. Он только это и делал всю свою жизнь, вернее, вечность. Вот почему сумасшедший, как ты говоришь, аббат сравнивал с ним твоего деда.

– Этого мне никто не мог объяснить до сих пор, – сказала Жанина. – Я спрашивала разных людей, но они этого не знали.

– А самого аббата ты не спросила?

– Нет, – сказала она, улыбаясь. – Я слишком его боялась, чтобы задавать ему вопросы.

Андрэ Бертье, единственный человек, с которым Роберт хотел поговорить и с мнением которого он считался, был в отъезде. Роберт знал, что его отец вел переговоры в Англии и в Испании и что он

вернется не раньше, чем через десять-двенадцать дней. Он ждал его с нетерпением. За это время он два раза обедал дома, вдвоем с матерью; она небрежно спрашивала его, как он поживает и что делает, но невнимательно слушала его ответы и была занята, как всегда, своими постоянными заботами о здоровье, диетой, докторами, новыми лекарствами, словом, тем, чем она занималась много лет. Но даже она, при всем отсутствии интереса к жизни собственного сына, заметила то новое выражение, которое появилось в лице Роберта. Она, впрочем, истолковала это по-своему.

– У меня такое впечатление, что ты как-то изменился, – сказала она в конце обеда. – Нет, вы же знаете, что я никогда не пью кофе, – заметила она горничной, которая по ошибке подошла к ней с кофейником. – Скажи, милый друг, ты действительно хорошо себя чувствуешь? Ты знаешь, болезнь иногда тебя сваливает сразу, но иногда она подкрадывается незаметно, и когда ты спохватишься, бывает слишком поздно. Так было с моей школьной подругой, Дениз, – ты ее помнишь? И я была единственной, которая ее своевременно предупреждала, но она не хотела даже слушать то, что я ей говорила, она была тогда увлечена какой-то там любовью. А результат ты знаешь: мы похоронили ее два года тому назад.

– Да, да, – рассеянно сказал Роберт. – То есть я хочу сказать, что в данном случае дело обстоит не так, я прекрасно себя чувствую, лучше, чем когда-либо.

Соланж покачала головой.

– Вспомни Дениз, – сказала она опять.

Роберт прекрасно помнил Дениз, худенькую моложавую женщину с огромными глазами, *La Grande Amoureuse*^[50], как ее называли те, кто ее хорошо знал. Он помнил ее родинку в левом углу накрашенного рта, ее легкие движения, быструю походку и голос, в котором все время точно слышался сдержанный смех. Она четыре раза была замужем, жила шумно и беспорядочно, в постоянной и совершенно неразрешимой сложности своих любовных отношений с разными людьми, и если вообще существовало что-либо, что ей было абсолютно чуждо и представление о чем никогда, казалось бы, не могло возникнуть при мысли о ней, это возможность чего бы то ни было трагического во всем, что касалось ее. Но однажды, уехав на автомобиле за город с тем, кто должен был стать через некоторое

время ее пятым мужем, она внезапно умерла в номере провинциальной гостиницы от какого-то чрезвычайно короткого и страшного припадка, который продолжался всего несколько часов. Из двух врачей, присутствовавших при ее последних минутах, – лицо ее потемнело, она не приходила в себя, – ни один не мог определить, от чего, собственно, она умерла. Было объявлено, что произошло мгновенное заражение крови, совершенно необъяснимое, – и причину которого знала только Соланж Бертье – вероятно, потому, что она никогда не сомневалась в правильности своих суждений, и потому, что она ничего не понимала в медицине. И Роберт ничего не возразил матери, поступив так же, как поступал в таких случаях его отец. И так же, как его отец, он понимал, что они оба так бережно относились к ней потому, что каждый из них любил в ней не эту блеклую Соланж со своими надоедливymi и вздорными рассуждениями о болезнях, а те воспоминания, которых не существовало бы без нее и которыми они были обязаны именно ей, и только ей: Роберт – о своем детстве, Андрэ – о своей молодости. Тогда она была другой; и они продолжали ее любить такой, какой она была тогда, и против этой любви были бессильны время и те изменения в ней, которые оно принесло с собой.

Эти первые две недели, проведенные с Жаниной, были наполнены для Роберта той значительностью, которой он так тщетно искал раньше и которой не находил ни в чем. Он засыпал рядом с Жаниной и просыпался с мыслью о ней, так, как если бы она была далеко, – в то время как их кровати разделяло расстояние в несколько сантиметров. Он никогда столько не говорил, как в эти дни, объясняя ей множество вещей, о которых она ничего не знала, потому что в том мире, откуда она пришла, их не существовало. Днем он водил ее в Булонский лес или возил на автомобиле за город, и в течение всего этого времени он не прочел ни одной строки, что тоже случилось с ним первый раз в жизни.

Все его внимание было сосредоточено на мысли о ней. Несмотря на то, что ему бессознательно льстило ее обожание, несмотря на то, что он всякий раз испытывал непонятное волнение, когда она останавливала на нем свои широко открытые глаза, и было совершенно очевидно, что она искренне считает его высшим существом, несмотря на непреодолимое тяготение к ней, вне которого он не представлял себе в данный момент своей жизни, он не мог не

понимать, что между ним и Жаниной было огромное расстояние и что просто пренебречь этим нельзя. В сотый раз он думал о том, что, может быть, творческое напряжение, необходимое для того, чтобы приблизить к себе Жанину и добиться ее хотя бы приблизительного равенства с собой, – что это напряжение окажется ему не под силу. Он никогда до сих пор не задумывался над тем, имеет ли его собственный умственный и культурный багаж какую-либо ценность, и был бы склонен скорее полагать, что она, в сущности, незначительна. Но сейчас этот багаж мешал ему. Он думал о Жоржетте и о наивной ее невежественности во многом; но все-таки даже сравнение Жанины с Жоржеттой было невозможно. Он утешал себя тем, что с чисто социальной точки зрения Жанина была более приемлема, чем многие его знакомые, принадлежавшие к его кругу и с которыми он не мог найти общего языка, потому что они были в культурном смысле малограмотны и душевно примитивны.

Но он не заметил того, что за это время Жанина – с необыкновенной легкостью – изменилась так, как этого от нее требовали те неожиданные обстоятельства, в которых она оказалась. Во всем, что происходило теперь, не было ничего, что она знала бы раньше, и то, с чем она сталкивалась, возникало для нее впервые. Это было похоже на кинематограф, с той разницей, что там это касалось каких-то почти отвлеченных красавиц, а здесь была она сама, Жанина, дочь венгерского портного и французской поденщицы. И все это исчезало в том стремительном и безвозвратном движении, которое меняло все и не оставляло времени даже, чтобы обернуться и постараться понять, когда и как это началось и почему это стало возможно. В те редкие часы, когда она оставалась одна и смотрела на себя в зеркало, она не узнавала своего собственного лица. У нее потемнели и углубились глаза; и в них появилось выражение, которого она не могла определить сама и которое, вероятно, показалось бы чужим и далеким для всех, кто так хорошо знал ее раньше, для матери, деда, бабушки и даже, может быть, для сумасшедшего аббата, если бы он остановил на ее лице свой дикий взгляд из-под мохнатых седых бровей.

Но, в отличие от Роберта, никогда не думавшего о том, что непосредственно предшествовало появлению Жанины в его жизни, она не могла ни на один день забыть о rue St. Denis и о страшном лице

Фреда, которое все время преследовало ее. Она боялась его больше всего на свете. Она знала со слов тех, кто ей говорил о нем, что человеческая жизнь для него не играет роли, что ему неизвестно чувство страха и что он сам глубоко убежден в своей собственной необыкновенности, в том, что ему предстоит исключительная судьба и нет препятствий, которые могли бы его остановить. Так ей о нем говорили. Но сама она ничего не знала о его прошлом, – ни кто он был, ни откуда он появился, – и это только усиливало ее ужас перед ним. Если вдруг ему удастся найти ее след и обнаружить ее теперешнее местопребывание, то тогда... Каждый день она собиралась незаметно уйти, вернуться на rue St. Denis и избавить Роберта от угрозы, которая нависла над ним. Но у нее не хватало сил это сделать. Она смутно надеялась, сама не зная на что, но чаще всего у нее было томительное ощущение временности и хрупкости ее теперешней жизни. И то, чего она не знала, – это что сознание ежедневной опасности и готовности к тому, что это может насильственно и страшно оборваться каждую минуту, придавало ее чувству к Роберту ту зыбкую глубину и то душевное изнеможение, которых не было бы, если бы рядом с ними не было мысли о смерти.

Жанина тоже думала о неравенстве между ней и Робертом, но думала об этом с восторженностью. Она никогда не представляла себе, что могут существовать такие люди, как он. Он все знал, мог ответить на любой вопрос, все читал, видел и понимал; в его обращении с ней была мягкость, которой она тоже до сих пор не встречала, – в его движениях, в интонациях его голоса, во взгляде его глаз, в его постоянной сдержанности. И только в редкие минуты, когда она ощущала, обнимая его шею руками и приблизив к нему свое лицо, прикосновение его твердого тела, его губы вдруг начинали вздрагивать, выдавая его волнение. Она смотрела в его глаза и не смела повторить ему того, что она сказала ему в первый день: что она боится за его жизнь и что даже эта боязнь не может ее оторвать от него. Ей казалось, так же, как ему, что это самый важный период ее жизни, и, в конце концов, по сравнению с пониманием этого все остальное теряло на минуту то значение, которое должно было иметь.

Андрэ Бертье вернулся в Париж после пятнадцатидневного отсутствия. Роберт позвонил ему на квартиру, и когда он услышал, наконец, этот голос, который он так хорошо знал, у него внутри что-то

дрогнуло, как это бывало с ним в детстве после очередной провинности.

– Да, да, приезжай ко мне на фабрику, часа в три.

Фабрика Бертье была далеко за городом, на берегу реки. Роберт проехал по набережной мимо ровно посаженных каштановых деревьев и остановил автомобиль против окон директорского кабинета. Через две минуты он увидел отца, сидевшего за столом в своем всегдашнем вращающемся кресле.

Он чувствовал непривычное волнение и впервые за долгое время не знал, с чего начать. Но он не успел еще ничего произнести. Андрэ Бертье поднялся с кресла, взял его за плечи, посмотрел ему в лицо и спросил:

– Что-нибудь случилось? А?

– Да, – сказал Роберт неуверенным голосом. – Я все это время ждал твоего приезда и никогда еще так не жалел о твоем отсутствии, как теперь.

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо сказал отец. – Ты только скажи: все благополучно?

– Да, конечно.

– Но что-то произошло, о чем тебе трудно говорить? Какая-нибудь темная история? Это на тебя не похоже.

– Я тебе просто расскажу все по порядку, – сказал Роберт. – На следующий день после твоего отъезда...

Когда Андрэ Бертье слушал рассказ сына, в его глазах стояло то выражение далекой насмешки, которое почти неизменно появлялось в них каждый раз, когда Соланж говорила о медицине. Кончив рассказ, Роберт замолчал и вопросительно посмотрел на отца.

– Хорош, милый мой, хорош, – сказал Андрэ Бертье. – Так вот, если ты хочешь знать мое мнение, то я нахожу, что, кажется, первый раз за все время ты поступил как живой человек, а не как ходячая библиотека. Я не хочу этим сказать, что ты действовал очень умно или очень хорошо. В частности, то, что с тебя должна была начинаться ее карьера, звучит настолько глупо и невероятно, что, по-видимому, это, действительно, правда. Но из всякого положения есть выход. И ты знаешь, что ты всегда можешь рассчитывать на меня.

Он задумался на минуту, потом сказал:

– Я приду к тебе завтра обедать.

Он протянул руку к телефону, который звонил уже несколько секунд, но на который он до сих пор не обращал внимания.

– И пусть она приготовит курицу.

Когда Роберт после прощанья с отцом подходил к своему автомобилю, он вдруг заметил, что насвистывает венский вальс. У него было необыкновенно легко на душе. Все было так, точно он избавился от смутного сознания своей ответственности за то, что произошло с ним, – хотя это сознание появилось у него только вчера, когда он звонил отцу, до этого его не было. Отец сказал ему, что он одобряет его поведение и берет на себя устранение тех трудностей, которые могли бы возникнуть. Он, правда, не сказал ничего похожего на это, но это было очевидно, настолько очевидно, что венский вальс был звуковым подтверждением этого. Он ехал домой, не замечая дороги, не видя улиц и почти не зная того, что уже давно идет довольно сильный дождь.

Когда он отпер ключом дверь, Жанина, – он знал, что это не могло быть иначе, – стояла почти на пороге, и он сразу увидел ее расширенные глаза.

– Ну, что? – спросила она почти неслышным от волнения голосом.

Он, не отвечая, обнял ее талию и, насвистывая все тот же вальс, стал кружиться с ней по комнате.

– Ты с ума сошел, – сказала она, смеясь. – Я тебя спрашиваю о серьезных вещах.

Но он продолжал свистеть, заставляя ее следовать за собой в танце. Потом он остановился и сказал:

– Нет ничего хуже ковра, когда танцуешь.

– Ответь мне на мой вопрос.

– Хорошо. Ты умеешь жарить курицу?

– Какое это имеет отношение к тому, о чем я тебя спрашиваю?

– Самое непосредственное, – сказал Роберт. – Завтра вечером мой отец обедает у нас, и он просил меня передать тебе, что ему хотелось бы есть жареную курицу.

– Боже мой! – сказала она, опускаясь в кресло. – Я умру от страха, Роберт.

Но на следующий день все прошло благополучно. Жанина, которая действительно испытывала неподдельный страх при одной

мысли о встрече с отцом Роберта, вначале говорила едва слышно, но потом оправилась: Андрэ Бертье обращался с ней так, точно они были давно знакомы. И когда после обеда они переходили из столовой в кабинет и он обнял одной рукой плечи сына, другой – плечи Жанины, она почувствовала к нему необыкновенное доверие, и последние следы ее боязни исчезли.

В течение всего вечера разговор ни разу не коснулся того самого важного вопроса, из-за которого Андрэ Бертье приехал обедать к сыну. Он рассказывал смешные истории о своем заводе, о рабочих, о сенаторе Симоне, и быстрые его глаза переходили с Жанины на Роберта. Когда была подана курица, он стал говорить о вегетарианцах, до этого он смеялся над Робертом и его книгами – в общем, было впечатление, что этот человек пришел обедать к хорошим знакомым, к которым он искренне расположен, и что во всем этом нет ничего ни особенного, ни значительного.

Но когда Роберт вышел его провожать, он увидел, что лицо отца стало серьезным. Они прошли молча несколько шагов. Бертье сказал:

– Да, в ней что-то есть. В ранней молодости такой была твоя мать. Я не говорю, конечно, о внешнем сходстве.

Роберт кивнул головой. Бертье, поняв причину его молчания, прибавил:

– Я хочу сказать следующее: есть сравнительно мало женщин, при виде которых ты рискнешь подумать – с ней могу связать мою жизнь. Понимаешь? В хорошем и плохом.

– Я об этом не думал, – сказал Роберт откровенно.

– Неудивительно. А я подумал сразу же. Я могу ошибиться в расчете. Но не во впечатлении, понимаешь?

– Я все время чего-то боюсь, – сказал Роберт, – хотя ей об этом, конечно, не говорю. Я не знаю сам, чего именно, какой-то катастрофы, которой я не могу определить. Вдруг она выйдет на улицу и попадет под автомобиль, как ее отец. Кроме того, я боюсь еще, что в один прекрасный день она уйдет из дому и не вернется, чтобы избавить меня от той опасности, которую она так преувеличивает.

Они дошли до угла и повернули обратно.

– Если все будет благополучно, то в дальнейшем мы постепенно устроим разные вещи, – сказал Бертье. – В сущности, никто не обязан

знать ее биографии, в которой, кстати, нет ничего плохого, – кроме эпизода с Фредом, конечно. В остальном...

Он пожал плечами.

– Торопиться вообще ни с чем не следует. Ты мог бы уехать с ней в провинцию или в путешествие. Но это потом будет виднее.

Затем прибавил:

– А бояться не нужно, это бесполезно. Нужно знать, чего ты хочешь, и быть готовым это защищать. Это, может быть, не Бог вещь какая философия, но этому меня научила моя жизнь.

И когда он уже садился в автомобиль и Роберт стоял у дверцы, он вдруг сказал:

– Разница между ней и тобой, конечно, большая. И ты ее не сгладишь, я думаю, никогда. Но, может быть, это не так плохо, как кажется.

Когда Роберт вернулся, она ждала его у порога, как всегда. Он отворил дверь, увидел ее лицо, ее фигуру в синем платье, вспомнил о той, какой она была, когда он встретил ее впервые на rue St. Denis, – ее клетчатую короткую юбку, испуганные глаза, сдавленный голос, – и подумал, что самая властная сила в мире – это сила случая, не поддающаяся ни предвидению, ни определению. Он смутно думал о том, ощущая на своих щеках прикосновение ее теплого лица и глядя в ее глаза, которые были так близко, что он видел только их цвет и их дрожащую влажность.

Прошло еще несколько дней. Он ездил в город вместе с Жаниной, они делали покупки в магазинах, по его настоянию она заказала себе четыре платья и выбрала купальный костюм, потому что подходило лето и он сказал ей, что они поедут к морю. И он не обратил особенного внимания на то, что, когда они выходили из магазина на rue Lafayette и когда он отпер ключом дверцу своего автомобиля, полицейский огромного роста, прохаживавшийся по тротуару, сказал ему с улыбкой:

– Есть все-таки любители чужих автомобилей, monsieur. Только что один такой тип очень внимательно осматривал вашу машину, вероятно, ему кузов понравился. Но на его счастье он вовремя обернулся и увидел меня. После этого он не задерживался.

Роберт пожал плечами и сказал:

– Значит, мне на этот раз повезло.

На следующий день он с утра уехал в Латинский квартал, где купил несколько книг для Жанины, именно тех, которых не было в его библиотеке и которые, по его мнению, были ей нужны. Он вернулся в начале двенадцатого, вошел в квартиру и *вдруг* сразу остановился на месте. Потом он прислушался. Стояла тишина, которая почему-то показалась ему тревожной. У него сразу пересохло во рту от волнения, он проплотил слюну и крикнул:

– Жанина!

Ответа не было. Он быстро прошел в одну комнату, в другую, в ванную, в кухню. Жанины не было нигде. Он вошел в кабинет – и почувствовал незнакомую ему боль в левой стороне груди: посередине стола лежал лист бумаги, на котором он увидел подпись Жанины. Он несколько раз, не понимая, прочел эти строки. Это было, конечно, именно то, чего он боялся. Она писала, что она уходит, потому что не может перенести того, что его жизнь подвергается ежедневной опасности из-за нее. Она прибавляла, что хотела бы ему сказать еще очень много, но слезы мешают ей писать, и она боится, что он может вернуться каждую минуту, и она знает, что второй раз у нее не хватит силы принять это решение.

Он простоял несколько секунд неподвижно. Потом у него начали трястись плечи. Наконец он закрыл глаза, набрал воздуха в легкие, подошел к телефону и позвонил отцу. Голос Бертье сказал:

– Алло, я слушаю.

Роберт не мог произнести ни слова. Через секунду тот же голос повторил с нетерпеливой интонацией:

– Алло, я слушаю.

– Это я, папа, – сказал Роберт.

Голос Андрэ Бертье опять изменился, сделавшись глубже и мягче.

– Да, мой милый. В чем дело?

У Роберта опять спазматически сжалось горло. Через секунду он сказал без всякой выразительности:

– Жанина ушла сегодня утром.

Последовало короткое молчание. Потом Бертье ответил:

– Этого надо было ждать. Приезжай немедленно ко мне.

Сенатор Симон, кутаясь в теплый мохнатый халат, пил кофе утром один, как всегда, в своей огромной столовой, где его невысокая фигура совершенно терялась среди больших стульев, громадного стола, покрытого бесконечно длинной скатертью, и потолков, почти пропадавших вверху. Утренние часы были для него самыми неприятными – потому что он плохо спал, потому что он сам отчетливо чувствовал свой собственный старческий запах размякшего за ночь тела, потому что у него все болело, голова, грудь, поясница, и еще потому, что именно утром он находился в таком состоянии, вспоминая о котором он говорил иногда очередному собеседнику:

– Да, да. И если вы дадите себе труд немного подумать, вы увидите, что человеческая жизнь, в сущности, некрасивая штука.

И для того, чтобы так говорить, у него были, конечно, совершенно достаточные основания, так как, высказывая это суждение общего порядка, он каждый раз имел в виду именно свою собственную жизнь. Он, однако, давно забыл то далекое время, когда он был почтовым чиновником в маленьком провинциальном городе и когда никто не мог бы предсказать карьеры, которая была ему суждена.

Сначала он был выбран муниципальным советником. Через год он был помощником мэра. Еще через три года, истратив на выборную кампанию свои последние сбережения, – как он говорил об этом всем, – он стал депутатом. Дальнейшее разворачивалось автоматически, почти не встречая препятствий. Он никогда не отличался преувеличенным честолюбием, и поэтому к нему относились терпимее, чем к другим. Чисто политические вопросы его не интересовали в такой степени, чтобы ради них поступиться какой-либо непосредственной выгодой. Его продвижению не мешали никакие сильные страсти: он не был игроком, был почти равнодушен к женщинам, не любил и не понимал скачек, пил в умеренном количестве красное вино и полагал, что существующий порядок вещей достаточно хорош уже хотя бы потому, что он обеспечивал ему, Пьеру Симону, ту жизнь, которую он вел и которая могла бы только ухудшиться, если бы произошло какое-либо изменение этого порядка. Когда он выставлял свою кандидатуру в депутаты, вопросы общего порядка не играли для него никакой роли; это было долгосрочное коммерческое предприятие, не сопряженное ни с риском, ни с угрозой банкротства, ни с опасностью переутомления. За все годы своего

пребывания в парламенте он не произнес ни одной речи, если не считать тех застольных и очень коротких тостов, которые были обязательны для банкетов и содержание которых было всегда одним и тем же: мы принимаем близко к сердцу интересы такой-то корпорации, и принципы, определяющие нашу политику, остаются неизменными – жизненное благополучие народа и защита наших национальных достижений. В молодости он любил банкеты, теперь они утомляли его. Уже много лет тому назад он потерял способность предпочитать одно блюдо другому. Он постоянно ощущал во рту всевозможные неприятные привкусы – то мыла, то зубной пасты, то непонятно как возникшую горечь дегтя, и каждый раз все, что он ел, отзывалось именно зубной пастой, мылом или дегтем. Врач объяснил ему, что это происходит от недостаточно интенсивного действия печени. Но, так или иначе, это было чрезвычайно неприятно и повлекло за собой исчезновение целой области ощущений, которая доставляла ему столько удовольствия в прежние времена. Этого он не предвидел, того, что было характерно для теперешнего периода его жизни: именно, что в результате многолетних и иногда довольно сложных финансовых комбинаций, составив себе крупное состояние, он будет лишен возможности жить по-человечески, без этих мучительных ощущений, которые отравляли ему существование. Он прекрасно понимал, что это было в известной мере естественно для его возраста, но все-таки это казалось ему несправедливым и, главное, незаслуженным. Он не мог об этом думать без раздражения особенно потому, что член той же финансовой комиссии сената, что и он, и его соперник Рибо, который проиграл несколько состояний на скачках и беспечно прожил бурную и беспорядочную жизнь, этот Рибо был теперь так же свеж и весел, так же щелкал пальцами и языком и так же говорил о блондиночках и ресторанах, как тридцать лет тому назад. Все, что всегда доставляло Симону неизменное удовлетворение – то, что он соглашался числиться членом правления в таком-то коммерческом предприятии, куда он являлся раз в полгода на четверть часа и получал ежемесячное жалованье, превышавшее его депутатский оклад, то, что ему платили крупный гонорар за право поставить его подпись под статьей об основных принципах экономического либерализма, статьей, которой он даже не читал, то, что он делался, в нарушение этих же принципов, владельцем

известного количества тех или иных акций, – одним словом, почти все, что составляло главный интерес его жизни, было как-то незаконно скомпрометировано этой глупейшей печенью, почками и еще десятком других явлений этого же порядка, тех самых, которые в такой идеальной степени отсутствовали у Рибо. И когда Рибо скоропостижно умер от удара, после завтрака, у себя на квартире, Симон почувствовал нечто вроде удовлетворения, хотя не был злым человеком по природе и хотя понимал, что смерть Рибо никак не может восстановить правильного действия печени или заставить исчезнуть мыльный привкус во рту. И своему соседу в сенате он сказал:

– Что вы хотите, этот человек прожил беспорядочную жизнь. За такие вещи расплачиваются дорогой ценой.

Но когда сенатор повернулся к нему, Симон понял, что его фраза не могла быть оценена, так как увидел, что в этот день его сосед опять забыл дома свой слуховой аппарат, без которого мир представлялся ему чем-то похожим на огромное, но совершенно беззвучное движение.

Вернувшись домой в день смерти Рибо, он снова вспомнил о нем и потом стал думать о том, что стало со многими людьми, которые были ему близки когда-то, в начале его карьеры. Он вспоминал фамилии дельцов, с которыми был некогда связан, финансовые скандалы, газетные разоблачения, аресты, допросы. Обычно эти люди, проведя известное время в тюрьме, потом все-таки опять появлялись, чаще всего в провинции, и держались в тени. Потом они умирали от старости или болезни, и над их могилами ставили мраморные памятники. Все это было закономерно, и в этом можно было усмотреть проявление какого-то трудноопределимого, но несомненно иерархического принципа. Но Симон никогда не был теоретиком и говорил, что предпочитает иметь дело с положительными понятиями, в которых есть реальное содержание, а не с абстракциями, как бы они ни назывались; и, не будучи силен в терминологии, он ошибочно называл это позитивизмом. Он не отдавал себе отчета в том, что он склонен сам, именно он, Пьер Симон, к иллюзии и отвлеченности – потому что деньги в его представлении имели мистическую ценность, которая совершенно не соответствовала действительности и не могла ей соответствовать ни в каких обстоятельствах. Он бессознательно

придавал им это мистическое значение, и поэтому ему казалось, что в его личной судьбе было нечто несправедливое и незаслуженное: Рибо, который умел только тратить и не умел зарабатывать, чувствовал себя превосходно, а Симон, который мало тратил и много зарабатывал, проводил свою жизнь в ежедневной борьбе с мучительными недомоганиями. И даже смерть Рибо была, в конце концов, недостаточно убедительна, потому что была похожа на мгновенную катастрофу и не могла рассматриваться как настоящее возмездие за это пренебрежение к тому, вне чего для Симона все остальное могло иметь лишь относительную и случайную ценность.

Но, помимо всех этих соображений, у него были еще другие основания для беспокойства и огорчения. Он думал прежде всего о своей племяннице, которую воспитал после того, как она осталась круглой сиротой. Она была дочерью его младшего брата, который, действительно, умер много лет тому назад. Но она не была круглой сиротой, потому что ее мать была, к сожалению, жива. Она, правда, носила теперь другую фамилию и официально, для всех, она вскоре последовала за своим мужем, и Симон, предвидя неизбежный вопрос о том, от чего она умерла и где она похоронена, выработал версию, которой никогда не изменял: жена его брата погибла в море, на маленьком судне, которое неизвестно почему пошло ко дну и с которого никто не спасся. *Perdu corps et biens*^[51]. Это судно, однако, существовало только в воображении Симона. Анна – ее звали Анна – была жива.

Того, что она была очень хороша собой, никто никогда не отрицал. Симон прекрасно помнил ее огромные пьяные глаза и те особенные интонации ее голоса, которые делали ее непохожей на других. Но вся жизнь этой женщины целиком укладывалась, – как сказал о ней один из ее кратковременных любовников, адвокат по профессии, – в уголовный кодекс. Всюду, где она появлялась, начинались драмы, скандалы, револьверные выстрелы, бурные объяснения, растраты и уходы из дому. У нее была одна положительная черта: она была бескорытна, и материальные соображения не играли роли в ее жизни. И, кроме этого, она была по-своему очаровательна, хотя в ее привлекательности, в этих огромных ее глазах и в ее голосе было нечто по-настоящему трагическое, и с первого же взгляда становилось ясно, что ее любовь меньше всего

должна быть похожа на безоблачное счастье. Она изменяла шоферу с адвокатом, адвокату с матросом, матросу с учителем – в хаотической последовательности разных мест, квартир и условий жизни. Несколько раз она попадала в тюрьму, несколько раз она была в клинике, где ее лечили от наркомании, но, как только она выходила оттуда, все начиналось сначала. Она отличалась необыкновенным здоровьем, которого ничто не могло сломить, и когда Симон встретил ее в последний раз в Марселе, – ей было тогда за сорок, – у нее был вид двадцатипятилетней женщины. Из Марселя она уехала в Африку, и с тех пор он ее не видел. Но один тот факт, что она существовала, не давал ему покоя. Он представлял себе, что было бы, если бы это стало известно.

То, что это оставалось неизвестным, стоило ему ежегодно крупной суммы денег. Она сама, вероятно, об этом не знала; и если бы даже знала, она бы не придавала этому никакого значения и не сделала бы ничего, чтобы это изменить. Уже давно Симон стал жертвой шантажа, против которого был бессилён. Он знал, что обращаться за помощью к ней было бы бесполезно. Он помнил, как однажды он попытался заговорить с ней о денежных делах, это было как раз после смерти ее мужа, он никогда не мог потом ей простить того высокомерного презрения, с которым она его слушала. И когда он кончил излагать ей свои соображения, она сказала, покачивая головой:

– Бедняга!

Потом она вышла из комнаты, не взглянув на него, – и он увидел ее только через пять лет после этого разговора. У него были тогда десятки готовых возражений, он мог бы ей сказать, в частности, что для нее, конечно, объятия какого-нибудь случайного мерзавца значили больше, чем все другие соображения; но та непонятная робость, которую он всегда испытывал в ее присутствии, помешала ему сказать что бы то ни было.

И вот к нему однажды явился в Париже очень благообразный, лысый человек, уже немолодой, по фамилии Шарпантье, мелкий служащий страхового общества, примерный гражданин и отец семейства, который обстоятельно изложил ему свою биографию и упомянул о стесненном материальном положении. Когда он заговорил об этом, Симон ощутил ту печальную тревогу, которую ощущал всякий раз, когда ему предстоял непредвиденный заранее расход. Но

это оказалось гораздо хуже, чем он мог предполагать. Шарпантье, подобострастно вежливый и говоривший тихим голосом, после многократных извинений – вы понимаете, господин сенатор, я никогда не позволил бы себе... то уважение, которое я к вам питаю... ваша репутация, господин сенатор, которой вправе гордиться наша страна... ваше положение в парламенте... действительно, только трагические финансовые обстоятельства и забота о моих детях, будущих гражданах того государства, которого вы являетесь столь достойным представителем... – сказал, в конце концов, Симону, что, благодаря слепой случайности, ему стал известен один факт, который... Он был любовником Анны в течение нескольких часов – и когда она заснула, он долго рылся в ее сумке, надеясь найти там деньги. Денег в ней, однако, не оказалось; но зато он нашел нечто более важное, ее бумаги. И тогда он выяснил, что эта пьяная женщина более чем сомнительной нравственности была вдовой человека, которого звали Марсель Симон и который в свою очередь был родным братом того самого сенатора Пьера Симона, имя которого он так хорошо знал. Он потратил несколько месяцев на собирание необходимых ему сведений, и когда это было сделано, он явился лично к сенатору, чтобы его шантажировать. Он долго это обдумывал и предвидел все возможности – и Симон был бессилён против него. Но, как это ни странно, неизменно огорчаясь по поводу необходимости платить Шарпантье за сохранение секрета, Симон не питал к нему никакой личной ненависти; этот человек ему даже нравился. Шарпантье точно соответствовал типу гражданина, который Симон считал положительным: он служил, был отцом семейства, платил небольшие налоги, воспитывал детей в консервативном духе, говорил о своей жене, верной подруге его жизни, отличался здравым взглядом на вещи, был чрезвычайно экономен и вносил деньги в сберегательную кассу Правда, он был шантажистом. Но это, в конце концов, была подробность, которой можно было бы пренебречь, если бы его жертвой стал кто-нибудь другой, а не он сам, Пьер Симон. Но так как, к сожалению, этой жертвой оказался именно он, то после каждого очередного взноса он заболел и проводил два или три дня в постели. У него начиналось нечто вроде чисто физиологического отравления. Лежа часами в кровати, с серо-желтым, небритым лицом, он не мог без ненависти думать об этой пьяной развратнице, которая

была виной всего, – потому что если бы она действительно умерла, то Шарпантье совершенно приблизился бы к идеалу положительного гражданина, так как был бы лишен возможности заниматься вымогательством и увеличивать свои вклады в сберегательную кассу за счет сенатора Симона.

Но это было еще не все. Оставалась племянница, дочь Анны, Валентина, *mademoiselle Valentine Simon*, студентка последнего курса юридического факультета. В ней было немного меньше той размашистости поведения и того презрения ко всему, что о ней могли сказать, которые были так характерны для ее матери. Этим она несколько отличалась от Анны. Кроме того, она, кажется, не была наркоманкой, по крайней мере, до последнего времени. Но в остальном она была ее достойной дочерью. Когда ей было двенадцать лет и она совершила какой-то проступок, – он не мог теперь вспомнить, какой именно, – он сделал ей строгий выговор и сказал, что так поступать нельзя, потому что это нехорошо.

– А почему это нехорошо?

– Потому что так нельзя поступать. Так девочки не делают.

– А почему нельзя делать нехорошие вещи, если это приятно?

– Довольно болтовни, – сказал он. – Иди спать.

Много позже он вспомнил об этом разговоре, похожем на тысячи разговоров между родителями и детьми. Того, что Валентина не понимала тогда, когда ей был двенадцать лет, она продолжала не понимать теперь, когда ей шел двадцать третий год. Что значит нехорошие поступки и почему нельзя их совершать, если они доставляют мне удовольствие? Самым тревожным было, однако, не то, что она восставала против общепринятой морали во имя других, более рациональных или более справедливых принципов, – это было бы терпимо, – а то, что ее поведение и вся ее жизнь определялись только одним: доставляло ей это удовольствие или нет.

– Для этой девушки, господин сенатор, нет ничего святого, – говорила Симону ее воспитательница в лицее. – Я прошу у вас прощения за то, что так резко выражаюсь. Но я не могу найти других слов: ничего святого.

Он отправил ее в монастырь, но через две недели его очень почтительно попросили ее оттуда взять, и пожилая настоятельница с ледяными синими глазами – Симон взглянул на нее и с беглым

сожалением подумал, что она, вероятно, была очень хороша в молодости, – даже отказалась ему сказать, почему именно необходимо, чтобы Валентина немедленно покинула монастырь. Она не дала никаких объяснений, но была совершенно непреклонна.

– Что ты там опять натворила? – спросил он Валентину с раздражением.

Она сидела рядом с ним в автомобиле. Глядя на него туманными глазами, – он вдруг с ужасом вспомнил, что у ее матери иногда бывал такой же взгляд, – она сказала:

– Глупости, ничего особенного. Я им объяснила вещи, которые все знают, и это привело в ужас эту старую ДУРУ.

– Я тебе запрещаю говорить в таком тоне о настоятельнице, – сердито сказал он. – Если бы ты была наполовину так умна, как эта почтенная женщина...

Пришлось ее снова отдать в лицей. Со сдержанной злобой он думал, что, если бы он был просто Дюпон или Дюран, он выгнал бы ее из дому. Но в его положении он не мог этого сделать. Он не мог даже не платить ее долгов. Каждый день он ждал, что ему пришлют счет из магазина или из ресторана, как это было в тот раз, когда Валентина пригласила туда своих подруг и угостила их обедом, никого об этом не спрашивая и не предупреждая. Когда ей представили счет, она сказала пьяным голосом – перед этим было много выпито:

– Это меня не интересует, ваш счет. Отправьте его моему дяде по этому адресу.

– Mademoiselle, – сказал бесстрастным тоном метрдотель, – за такие вещи, извините меня, пожалуйста, бывает сначала полицейский участок, потом уголовный суд.

– Не говорите глупостей, это меня утомляет, – лениво сказала она. – Я вам даю визитную карточку, а вы стоите, как истукан, и не берете ее.

Метрдотель взял протянутую карточку, взглянул на нее, и лицо его мгновенно изменилось.

– Ради Бога, простите меня, mademoiselle, – сказал он, – я имел несчастье не знать... извините меня... я надеюсь, что этот незначительный инцидент...

– Идите к черту, – сказала она. – В следующий раз будете знать. Мне наплевать.

– Как твой университетский диплом? – спросил ее однажды Симон.

– Когда-нибудь я его, наверное, получу, – сказала она. – Но вряд ли я буду заниматься практикой.

– Почему?

– Это меня не интересует.

Это была фраза, которую она чаще всего произносила.

– А что же тебя интересует?

– Другие вещи, – ответила она. – Совершенно другие, такие, которых ты, наверное, даже не знаешь.

– И рад, что не знаю, – сердито сказал он.

Когда ей было восемнадцать лет, она пришла к нему и заявила, что ей нужно три тысячи франков.

– Даже не думай об этом, – сказал Симон. – Ты мне достаточно дорого стоишь и без этого.

– Ты меня, по-видимому, не понял, дядя, – сказала она своим неторопливым голосом. – Ты непременно хочешь, чтобы я тебе объяснила, зачем мне необходимы эти деньги?

Ему кровь бросилась в лицо и показалось, что не хватает воздуха. Губы его начали дрожать.

– Какой ты впечатлительный, – сказала она. – В твоём возрасте следует относиться к вещам более спокойно.

– Уходи сейчас же отсюда! – закричал он. – И чтобы я больше тебя не видел!

Он выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда три тысячефранковых купюры.

– Спасибо, – сказала она. – Я, вероятно, буду дома завтра к вечеру.

Он не знал, с кем она встречается и где проводит время, и предпочитал об этом не думать. Несколько раз, глубокой ночью или под утро, ее привозили домой чрезвычайно почтительные широкоплечие люди с бесстрастными лицами, приехавшие в синем открытом автомобиле. После одного из таких возвращений, в морозную январскую ночь, он пришел в необыкновенную ярость, начал топтать ногами и кричать что-то совершенно нечленораздельное, но вдруг захрипел, втянул в себя воздух со странным, булькающим звуком и свалился на толстый ковер, неловко подвернув руку. Его

перенесли на диван, и вызванный по телефону доктор сказал значительным голосом, что с сенатором случился апоплексический удар.

На следующий день, в сумерках, когда Пьер Симон неподвижно лежал в кровати, глядя пустыми глазами в высокий потолок, Валентина сидела за столиком кафе с молодым человеком в синем пальто и между двумя длительными поцелуями говорила:

– Я должна возвращаться домой, у дяди вчера ночью был удар. Может быть, он умер, и тогда я получу наследство. Но я не выйду за тебя замуж, потому что ты сволочь. Да, я не спорю, ты умеешь целоваться. Но этого недостаточно.

Вернувшись домой и войдя в комнату дяди, она увидела, что он еще не двигался. Но в его глазах уже опять появилось то выражение, которое было в них всегда, когда он смотрел на нее, – смешанное выражение бешенства и презрения. И она поняла, что ему стало лучше, потому что, когда она уходила, его глаза были безжизненными и пустыми и смотрели на нее без всякой враждебности.

Он, действительно, оправился через несколько дней. Но смысл этого предостережения был для него ясен. И он подумал тогда не без некоторого облегчения, что, вероятнее всего, он умрет не от печени и не от почек, а так же, примерно, как умер Рибо, от того, что в какую-то минуту – со счастливой невозможностью ее предвидеть, без этого длительного предсмертного томления, которого он так боялся всю жизнь, – у него мгновенно остановится сердце, и все будет кончено.

Врач предписал ему длительный покой и непрерывный сон после завтрака. Он послушно ложился на диван, накрывался пледом, подкладывал себе под голову подушки, но почти никогда не засыпал. И так как он не спал и ему было нечего делать, он невольно начинал размышлять о самых разных и случайных вещах. До удара этого с ним почти не бывало. И самое неприятное было то, что его рассуждения нередко касались именно отвлеченных вещей, к которым он до сих пор всегда относился с презрением. Что-то было не так, как нужно, во всей его жизни. Не то чтобы он испытывал раскаяние или вдруг поверил в загробное возмездие. И если бы ему пришлось начинать сначала, он, вероятно, опять поступал бы так же. Но главное было не это. Вопрос заключался в следующем: стоило ли это делать, стоило ли навлекать на себя презрение огромного количества так называемых

порядочных людей, – на этот счет у Симона не было никаких иллюзий, – для достижения того, что у него было сейчас? Может быть, действительно, для того, чтобы в конце жизни почувствовать некоторое нравственное удовлетворение, следовало действовать во имя чего-то, одного из тех отвлеченных принципов, упоминание о которых его неизменно раздражало? Он вдруг вспомнил ту презрительную интонацию, с которой Анна ему сказала: *rauvge homme!*^[52] Тогда его привело в бессильное бешенство то, как она это произнесла, и он не задумался над тем, что она хотела сказать. Теперь, столько лет спустя, он думал именно об этом. Сенатор Пьер Симон – *rauvge homme*? Так вот что она хотела сказать – что он был неспособен понять ничего бескорыстного. Она презирала его за то, что непосредственно после смерти его брата, которому она изменила уже тогда, когда он лежал на своем смертном одре, когда ее преследовали два одинаково сильных чувства – печаль, которую она испытывала, глядя своими туманными глазами на труп мужа, и одновременно с этим неудержимое и почти кощунственное в эти дни тяготение к новому любовнику, – что он, Пьер, не видел и не понимал ни того, ни другого и думал в это время о денежных делах и о том, как все это, то есть измена, смерть, печаль и начало новой любви, как именно это все отразится на его бюджете. Это было единственное, что ему казалось важным, и дальше этого он не мог пойти.

Вот что значила ее интонация. Он слышал как сейчас ее голос и вспомнил с необыкновенной отчетливостью узкую улицу Авиньона, где это происходило, старый дом с темными стенами, сумерки в комнате покойного, его мертвое, небритое лицо и темные волосы Анны, когда она стояла на коленях перед его кроватью, положив голову возле его худой желтой руки с синеватыми ногтями. Он повернулся лицом к стене – и вдруг заплакал старческими слезами, только теперь смутно поняв, что все непоправимо, что смерть, вероятно, близка и, стало быть, все неправильно и ничто не имеет значения.

Он никогда не был женат. В молодости он полагал, что не может себе позволить такого расхода. Позже, когда у него было достаточно денег, – потому что он все-таки до конца рассматривал брак прежде всего как известное финансовое обязательство, нечто вроде частного и тягостного налога, – как-то не пришлось. Кроме того, он никогда не

испытывал по отношению к женщинам таких сильных чувств, из-за которых стоило бы пожертвовать всеми другими соображениями.

У него не было ни жены, ни детей, и единственной его наследницей была Валентина. Когда он думал об этом, его охватывало отчаяние. Какому мерзавцу достанется в конце концов его состояние, результат сорокалетнего труда? С кем она встречается в эти поздние вечера? – она никогда не возвращалась домой раньше двух-трех часов ночи.

И вдруг это изменилось: это произошло после его удара. Она опять стала посещать лекции в университете, по вечерам она сидела дома за книгами, и он не мог понять, чем все это объяснялось. Ему начало казаться, что, может быть, он ошибался в своем суждении о ней, может быть, наследственность не так беспощадна и, может быть, вообще все это завершится каким-то благополучным концом.

Именно в этот период времени он встретил Андрэ Бертье, с которым его познакомил Ренэ, коммерческий директор автомобильной фабрики Бертье, – и Симон был приглашен вместе с Валентиной на обед, где должен был присутствовать Роберт.

* * *

Фред не знал, какой национальности был Лазарис. Этого, впрочем, не знал никто. Лазарис свободно говорил на нескольких языках, сохраняя, однако, во всех обстоятельствах какой-то неопределимый акцент. Это был старый, согнувшийся человек с желтым, как пергамент, лицом и выцветшими серыми глазами, всегда одетый в один и тот же черный лоснящийся халат. У него были худые руки с длинными пальцами, тупой нос и тонкие губы, постоянно улыбавшиеся. Но улыбка его была тоже особенная, характерная именно для него и от которой каждому его собеседнику как-то становилось не по себе. Он был собственником небольшого магазина готового платья, на узкой и темной улице, недалеко от Hotel de Ville. Его известность – он был скупщиком краденых вещей – была такова, что становилось непонятно, почему об этом не знает полиция и чем объясняется то, что у него никогда не было никаких недоразумений. Фред знал его давно, но избегал к нему обращаться, во-первых,

потому, что он ему инстинктивно не доверял, во-вторых, оттого, что Лазарис платил совершенно ничтожные цены. Но в тех случаях, когда сбыть что-либо оказывалось совершенно невозможно, приходилось идти к нему, так как он был единственным человеком, который не боялся покупать любую краденую вещь, если она действительно имела известную ценность. И в то утро, когда Жинетта принесла Фреду огромный золотой хронометр с эмалевой крышкой, который она украла у одного из своих клиентов, Фред отправился к Лазарису.

Лазарис принял его со своей обычной улыбкой, но когда Фред показал ему хронометр, его лицо стало совершенно бесстрастным. Он открыл крышку, посмотрел на эмалевую поверхность, изображавшую миниатюрного пастушка, игравшего на свирели перед пастушкой, которая лежала, окруженная почему-то стеблями сверкающего тростника, – каждый стебель был сделан из крохотных бриллиантов, – посмотрел затем на механизм, потом пожал плечами и вернул часы Фреду.

– Что это значит? – спросил Фред.

– Это значит, – сказал Лазарис, – что хронометр меня не интересует. Я мог бы его купить для себя лично, но вопрос об этом не возникает. Продать его кому-нибудь другому нельзя.

– Что ты мне рассказываешь? – раздраженно сказал Фред. – Ты думаешь, что я слепой и что я сам не вижу, насколько это дорогая вещь?

Улыбка Лазариса стала еще шире.

– Ты всегда был умницей, Фред, – сказал он, – но ты многого не знаешь. Вот чего тебе не хватает, Фред, – знаний.

– Что ты хочешь сказать?

– Я хочу сказать, что был такой знаменитый мастер, которого звали Jean Pierre Nuand и который был специалист по эмали. Он умер в Женеве в 1680 году. Эта эмаль его работы. Она стоит очень дорого. Но у нее есть еще одна особенность: тот, кто вздумал бы ее продавать, немедленно и автоматически попал бы в тюрьму. Теперь ты понимаешь? Я уже прожил большую часть своей жизни – и даже для того, чтобы доставить тебе удовольствие, я все-таки не хотел бы провести мои последние годы в заключении.

Эта манера говорить тоже всегда казалась подозрительной Фреду: Лазарис был слишком красноречив для скупщика краденого.

– Другими словами, сколько ты даешь за хронометр? Лазарис опять пожал плечами.

– Сто франков.

Черные неподвижные глаза Фреда пристально смотрели в его лицо. Он знал, по давнему опыту, что его взгляда боялись все, даже самые тупые и самые отчаянные люди. Но лицо Лазариса хранило свое бесстрастное выражение. Так продолжалось две или три секунды. Потом Фред протянул ему часы и сказал:

– Хорошо, я согласен.

Из-за прилавка вдруг появилась бутылка коньяку и две рюмки. Лазарис налил обе, подвинул одну из них Фреду и сказал:

– Пью за твои успехи.

Фред кивнул головой и молча выпил. Лазарис передал ему деньги и небрежным движением положил хронометр в карман.

– Замечательно сделан тростник, – сказал Фред. – Совершенно верно – замечательно. Фигуры пастушка и пастушки тоже хороши. А ты успел это рассмотреть, сынок?

– Я тебе сказал, что я не слепой.

Лазарис посмотрел на него со своей всегдашней улыбкой.

– Ты хороший парень, Фред, – сказал он, полуобернувшись и делая вид, что собирается отойти от прилавка.

Фред понял, что ему пора уходить. – И так как я к тебе дружески расположен, то я дам тебе один совет. Я делаю это потому, – он вздохнул, – что, мне кажется, у тебя есть данные, которые позволяют предполагать, что ты плохо кончишь. Вот тебе мой совет: никогда не имей дела с людьми, которые стоят выше тебя, ты понимаешь? Оставайся в той среде, где ты живешь. Не стремись выше – потому что это гибель.

– Ты знаешь, что я ничего не боюсь.

– Это неважно. Я хочу сказать, что есть случаи, когда никакая храбрость тебя не спасет.

– Ты говоришь так, точно очень хорошо это знаешь. – Я стар, Фред, я видел много вещей. Желаю тебе успеха.

Фред дотронулся до шляпы и вышел из магазина. Лазарис вынул из кармана лупу и еще раз внимательно посмотрел на эмаль: в магазине было темновато, и в неверном освещении казалось, что на тростнике дрожат и переливаются радужные капли воды.

Фред шел по улице, засунув руки в карманы, и выражение его лица оставалось таким же мрачным, каким было до визита к Лазарису: Фред был недоволен. Но он вообще всегда был недоволен. Слова Лазариса преследовали его: «никогда не имей дела с людьми, стоящими выше тебя». Если бы он следовал этому совету, он остался бы на всю жизнь в том деревянном бараке возле Porte d'Italie, где прошло его детство, в глубокой и безвыходной нищете; красное вино, побои, драки, распухшее лицо его матери с постоянными кровоподтеками от ударов и тот ненавистный жилистый человек с деревянной ногой, ее сожитель, который бил его, Фреда, ремнем по щекам – до тех пор, пока однажды пятнадцатилетний Фред не ударил его ножом в бок. Калека согнулся вдвое, выронил из руки ремень и прохрипел:

– Сволочь, ты меня убил!

Фред поднял с полу ремень и, сколько было сил, отхлестал его по лицу, не произнося ни слова. Потом он ушел из барака и никогда больше туда не вернулся. Он узнал значительно позже, что калека выжил и что он, конечно, не обратился в полицию: люди оттуда никогда не обращались в полицию. После этого Фред работал некоторое время недалеко от Notre Dame de Paris. Целыми днями он стоял на одном и том же месте, с жестяной кружкой в руке; на глазах его были черные очки, на груди кусок картона с надписью «слепой от рождения». Он проработал так довольно долго, у него были уже отложенные деньги, он жил в подвальной комнате, на одной из маленьких улиц возле avenue de Gobelins. И вот однажды к нему подошли справа и слева одновременно двое мужчин, которые взяли его под руки и повели в комиссариат. Один из них сорвал с него очки и положил их себе в карман. Фреду было тогда шестнадцать лет. Он рванулся было бежать, но после первой же попытки понял, что его держат крепко. Из комиссариата он попал в тюрьму, из тюрьмы в исправительный дом. Оттуда его послали работать к крестьянину; он проработал два дня, потом сбежал и после трех суток утомительного перехода, ночуя в заброшенных зданиях или в туннелях, проходивших под железнодорожным полотном, добрался до Парижа. В первую же ночь, в Париже, его взяла к себе немолодая накрашенная женщина, которая натолкнулась на него, когда он сидел над Сеной, плотая от голода слюну и глядя на темную поверхность реки. Она тронула его за

плечо. Он быстрым движением поднял голову и увидел ее лицо с тупыми и добрыми глазами.

– Ты что здесь делаешь? – спросила она.

– Ничего.

– Ты совсем мальчик, – сказала она, всмотревшись в него внимательнее. В неверном свете фонаря на нее смотрело худое юношеское лицо с неподвижными черными глазами.

– Ты голодный?

– Нет.

– Говори правду, – сказала она. В ее голосе было что-то настолько простое и доверчивое, что он опять проглотил слюну и ответил:

– Да.

– Идем со мной.

Она привела его в сырую комнату на третьем этаже гостиницы. Они прошли по узкому коридору, едва освещенному голыми желтыми лампочками, и остановились перед набухшей дверью, которую она отперла своим ключом, достав его из потертой кожаной сумки. Потом она повернула выключатель. В комнате стояла двуспальная кровать, на стене было зеркало, над зеркалом были приколоты веерами фотографии разных людей, военных и штатских, с усами и без усов, молодых и среднего возраста. В углу стоял небольшой стол, перед ним стул. В другом углу белел маленький умывальник. Обои с огромными желтыми цветами были в разводах от сырости.

Она накормила его колбасой и хлебом, потом разделась. В тусклом электрическом свете он увидел ее белый и мягкий, опадающий живот, короткие полные ноги и круглые плечи. Она легла в кровать и сказала:

– Раздевайся, ложись рядом со мной. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?

Он лег рядом с ней и впервые за все это последнее время, в эту холодную октябрьскую ночь, почувствовал тепло от прикосновения к ее мягкому и вялому телу. До этой минуты он не знал женщин.

Через полчаса он заснул крепким сном, но она скоро его разбудила.

– Вставай, милый, – сказала она, – он вот-вот придет, и если он тебя здесь застанет...

Он плохо понимал спросонья, что она говорила.

– Я бы хотела остаться с тобой, – сказала она, – потому что я его больше не люблю и потому что он только одно знает – в морду. Раньше, когда я его любила...

– Я ему скажу, чтобы он уходил, – сказал Фред.

– Он избьет и меня, и тебя.

– Это мы увидим, – сказал он сквозь сонную муть.

В кровати было тепло, ему не хотелось уходить. Через несколько минут он опять заснул.

Он проснулся от пощечины. Он вскочил с кровати и увидел человека в хорошем костюме. На бледном бритом его лице был большой шрам. Прежде чем Фред успел выпрямиться, мягкая рука с кольцами опять хлестнула его по щеке.

– Оставь его, это ребенок, – сказала женщина. – Он сейчас уйдет.

Человек в хорошем костюме приблизился к Фреду, который стоял у кровати совершенно голый. Он занес над ним руку, но вдруг встретил его неподвижный взгляд, и Фред понял, что он испугался. Тогда Фред уцепился обеими руками за лацканы его пиджака, потом, смешно присев, подпрыгнул вертикально вверх и ударил его головой в подбородок. Его научил этому удару мальчишка-поляк в исправительном доме. Человек в костюме замертво свалился на пол. Фред быстро обыскал его карманы и вытащил оттуда бумажник и небольшой браунинг. Он положил их под подушку. Затем он набрал воды в плохо вымытый стакан, стоявший на умывальнике, и плеснул ему в лицо несколько раз. Человек в костюме с трудом поднялся на ноги. Мутные его глаза смотрели, не понимая, на Фреда.

– Убирайся теперь отсюда, – сказал Фред. – Я взял у тебя бумажник и револьвер. Если ты вздумаешь еще когда-нибудь сюда вернуться, это будет твоим смертным приговором. Понял?

Женщина, которая в течение всего этого времени оставалась в постели, смотрела на Фреда с восхищением.

– Ты настоящий мужчина, – сказала она. – Я тебя обожаю. Я буду работать для тебя.

Ее звали Одетт, и он прожил с ней несколько месяцев. Это она назвала его Фредом – потому что она тогда читала в иллюстрированном журнале авантюрный роман, герой которого носил это имя. Развернув журнал и глядя на рисунок, изображавший

широкоплечего мужчину, который держал в вытянутой руке револьвер, она сказала:

– Он англичанин, Фред. Он мне очень нравится, я буду тебя так называть. Хорошо?

Однажды под утро, вернувшись домой, он нашел ее труп: она была задушена полотенцем. Его тотчас арестовали по обвинению в убийстве и через три дня выпустили. Он сказал инспектору полиции:

– Можете быть спокойны, он от меня не уйдет.

– Глупости, – ответил инспектор. – Ты ничего ему не сделаешь: он сидит в сумасшедшем доме.

Инспектор говорил правду: Одетт стала жертвой маньяка, железнодорожного служащего, которого посадили в отделение буйнопомешанных, где он умер несколько месяцев спустя.

Фред давно привык к тому, что не было ничего более хрупкого, чем человеческая жизнь. Одетт была задушена; мать Фреда утонула, упав ночью в реку; на рассвете зимнего дня в одном из пригородов Парижа был найден труп жилистого калеки с тремя пулями в животе. Потом были арестованы его убийцы, которых Фред тоже знал. Теперь они отбывали многолетнее наказание в тюрьме. Из всех, с кем встречался Фред, только один Лазарис жил так, что ему, казалось, ничто не угрожало. Может быть, это объяснялось тем, что он знал много вещей, и среди них был секрет долгой жизни.

Он вернулся домой к одиннадцати часам дня. Он жил теперь вместе с Жинеттой на rue St. Denis, в большой и светлой комнате с центральным отоплением и горячей водой. Соседнюю комнату он снял для Ренэ, которая тоже работала на него. Когда он вошел, Жинетта лежала на кровати и лакировала себе ногти.

– Он взял? – спросила она.

– Не твое дело, – сказал Фред.

– Как хочешь.

Он сел в кресло, не снимая шляпы, и просидел, не двигаясь и не произнося ни слова, около часу. Жинетта взглядывала на него несколько раз – он продолжал сидеть в той же позе, прищулив один глаз и о чем-то, по-видимому, размышляя.

– О чем ты думаешь? – спросила она, наконец.

Он точно очнулся – и быстро посмотрел на нее. Потом он сделал гримасу и сказал:

– Если бы я попытался тебе объяснить, ты бы не поняла. Не утомляй себя напрасно.

Затем они позавтракали в маленьком ресторане. Завтрак тоже прошел в молчании. Потом Фред сказал:

– У меня дела, я ухожу.

И, выйдя из ресторана, он пошел по направлению к Большим бульварам.

Его все время занимала одна и та же мысль: почему Лазарис сказал ему сегодня утром эти слова и что они значили. Фред привык считаться только со своим собственным мнением, и то, что говорили и думали другие, его не интересовало. Но его уже несколько лет, с тех пор, как началась его сознательная жизнь, преследовало давно знакомое чувство непонятной неудовлетворенности. Жинетта говорила подругам, пожимая плечами:

– Вы же знаете, он никогда не бывает доволен.

Это было чрезвычайно странное ощущение, нечто вроде душевной жажды. Он привык быть окруженным людьми, которые были готовы воспользоваться первой его минутой невнимания или слабости, чтобы занять его место и захватить то, что ему принадлежало. Его могла ждать судьба жилистого калеки или Одета. Для того чтобы этого не случилось, нужно было быть сильнее других. Это было несомненно и ясно, он именно так и поступал, никто не сомневался, что он был готов во всех обстоятельствах к мгновенной защите или нападению, – он доказал это много раз, – и что, кроме того, ему было действительно неизвестно чувство страха. Этого было достаточно, чтобы его теперешнему положению не угрожала немедленная опасность. Но то, чего не знал ни один из его товарищей и в чем он сам себе не признавался, было то, что он не был уверен – стоило ли действительно все это защищать.

Но он думал сейчас не об этом. У него не выходили из головы загадочные слова Лазариса, и он упорно возвращался к ним – потому что несколько дней тому назад, проходя по rue Lafayette, он вдруг увидел, что у тротуара остановился автомобиль и из него вышла Жанина в сопровождении человека, который увез ее на такси в тот вечер, когда она исчезла. Он остановился в изумлении. Потом он подошел к автомобилю и заглянул внутрь. На маленькой металлической дощечке были выгравированы слова: Роберт Бертье, 71,

gue Poussin. Он оглянулся по сторонам: в нескольких шагах от него стоял огромного роста полицейский, равнодушно поигрывая свистком и поглядывая в его сторону. Фред неторопливо пошел дальше. Когда он через несколько минут вернулся к этому месту, автомобиля уже не было.

Он давно терялся в догадках – чем объяснялось ее неожиданное исчезновение? Он думал о несчастном случае, об автомобильной катастрофе, отравлении газом. Никто за это время ни разу и нигде не встречал Жанины, и в газетах о ней тоже не было ни слова. Может быть, ее увезли в провинцию, может быть, отправили в Буэнос-Айрес? И вот теперь оказывалось, что она в Париже, с этим самым человеком, собственником автомобиля, которого зовут Роберт Бертье и который живет на rue Poussin. Он посмотрел по плану Парижа, где находится эта улица. Это было совсем близко от скакового поля Auteuil.

Он не питал никаких чувств к Жанине. Его раздражало неизменно печальное выражение ее лица, раздражала ее постоянная робость. Но она принадлежала ему, и он не мог допустить, чтобы кто-либо захватил то, что ему принадлежало. Он вспомнил с пренебрежительной гримасой заботливое выражение на лице Роберта и то, как он помог Жанине выйти из автомобиля. Теперь, когда он знал, где именно она находится, вопрос о ее возвращении должен был быть разрешен немедленно. Он, однако, откладывал – и он сам не мог понять почему – свою поездку на rue Poussin со дня на день. И вот, наконец, после того как он был утром у Лазариса, позавтракав с Жинеттой и сказав, что он уходит по делам, он сел в метро и поехал на Porte d'Auteuil. Перед этим он еще раз пощупал в кармане пиджака свой браунинг. Он не думал, что ему придется прибегнуть к угрозе оружием, но был готов на все, – как всегда.

* * *

Роберт ехал к отцу хорошо знакомой дорогой, по улицам, где он знал каждый дом и каждый угол, но он, конечно, не мог бы сказать, почему именно он поворачивал там, а не здесь и почему в известных местах он начинал тормозить. Он делал это совершенно автоматически. Он не мог сколько-нибудь ясно подумать о том, что

привело его в это почти сомнамбулическое состояние. Он только повторял про себя имя Жанины, и это звуковое соединение было единственной вещью, сохранившей для него какое-то реальное – и трагическое – значение. Но он не сделал ни одной ошибки, ни одного неверного поворота, ни одного лишнего движения и остановил автомобиль именно там, где было нужно.

Он вошел в кабинет отца, забыв постучаться. Андрэ Бертье посмотрел на него с сочувствием и сказал:

– Здравствуй, Роберт.

– Извини меня, папа, – сказал он. – Я совершенно потерял голову.

– Ну, ну, успокойся. Я надеюсь, что все устроится.

– Что? – спросил Роберт, не понимая.

– Я говорю, что мы ее найдем. Но расскажи мне, как все произошло.

– Я вернулся домой...

– Значит, ты уходил?

– Я уехал утром в Латинский квартал, чтобы купить несколько книг.

То, что отец разговаривал так спокойно, невольно подействовало на Роберта. Он понимал, что Андрэ Бертье не мог равнодушно отнестись к тому, что его сын считал катастрофой, и если он был так спокоен, то, стало быть, для этого у него были какие-то основания. Роберт не думал именно так; но он это чувствовал.

– И когда ты вернулся...

– Ее не было, она оставила записку.

– Что она написала?

Роберт помнил каждое слово, как он помнил наивный прямой почерк Жанины.

– В котором часу это было?

– Я вернулся около одиннадцати.

– А в котором часу ты вышел из дому?

– В девять.

Бертье повернул быстрым движением левую руку: часы показывали двадцать пять минут двенадцатого.

– Когда ты уходил, она была одета?

– Да, мы выпили кофе.

Бертье опять посмотрел на часы, и в это время раздался телефонный звонок. Он неторопливо снял трубку и сказал, ничего не спрашивая и как будто ни к кому не обращаясь:

– Я занят.

И повесил трубку.

– Надо полагать, что она ушла от половины десятого до десяти.

Он смотрел прямо перед собой задумчивыми глазами.

– Если бы я знал, где она сейчас! – сказал Роберт с отчаянием.

Андрэ Бертье утвердительно кивнул головой. Потом он опять прямо посмотрел перед собой и сказал:

– Я надеюсь это узнать с минуты на минуту.

– Что? – с невольным недоверием в голосе спросил Роберт. – Узнать? Каким образом?

– За ней следят, – сказал Бертье, откидываясь назад в своем вращающемся кресле. – Начиная с того дня, что я у тебя обедал, против твоего дома, от девяти утра до восьми вечера, дежурит человек, который должен был последовать за Жаниной, если бы она вышла из дому одна. Ты не заметил его? Это высокий мужчина в коричневой шляпе и непромокаемом плаще.

– Но как тебе пришла в голову эта мысль? – Милый мой, ты же говорил мне, что боишься ее ухода. С моей стороны было совершенно естественно принять какие-то меры предосторожности, о которых ты, конечно, не мог подумать.

Теперь зазвонил второй телефон, на другом столе, чуть-чуть дальше. Андрэ Бертье протянул руку к трубке, снял ее с некоторым усилием – она была далеко – и сказал:

– Алло, я слушаю. Да. Да, да. Хорошо. Не знаю, что именно? Отказывается сказать? Boulevard de la Gare? Поднимитесь немедленно в ее комнату. Да. Что хотите. Очень хорошо. Да, да. В крайнем случае, взломайте дверь. Скажите ей, что я прошу ее подождать меня несколько минут. Да.

Роберт смотрел на него широко открытыми глазами. Андрэ Бертье поднялся со своего места с юношеской быстротой, сказал сыну – идем! – и выбежал из кабинета. Роберт первый раз в жизни видел, чтобы его отец бежал.

Он помнил, что отец втолкнул его в автомобиль, что тотчас тихо зашумел мотор и через несколько секунд машина, набирая скорость,

неслась по набережным Сены. Бертье говорил:

– Она вышла из дому, села в метро и поехала на place d'Italie. Оттуда она пошла вниз по Boulevard de la Gare и зашла в аптеку, где что-то купила: аптекарь отказался сообщить, что именно. Затем она вошла в гостиницу, немного ниже аптеки, и сейчас находится там, под охраной моего агента. Я сказал ему, чтобы он поднялся в ее номер и попросил ее подождать меня. Я надеюсь, что она не успела ничего предпринять за это время.

– Боже мой! – сказал Роберт.

– Как в романе, – сказал Андрэ Бертье, пожав плечами.

В разных частях города вслед машине несколько раз неслись полицейские свистки, но шофер не замедлял хода.

– Прекрасно правит, – сказал Бертье. – Один из лучших шоферов, которых я знал. А знал я многих.

Автомобиль уже спускался по Boulevard de la Gare. Роберту казалось, что мостовая струится под его колесами, как быстрая каменная река.

– Стоп! – сказал Андрэ Бертье. Он вышел из машины, Роберт, как тень, следовал за ним. Бертье вошел в маленькую контору гостиницы, что-то сказал хозяйке и стал быстро подниматься по лестнице. Затем он остановился у седьмого номера, постучался и отворил дверь. С порога Роберт увидел безумные, как ему тогда показалось, глаза Жанины и прямо против нее профессионально-равнодушное лицо высокого человека в непромокаемом плаще. Андрэ Бертье посмотрел через плечо, обернувшись на сына, и сказал:

– Я вас жду внизу.

Обратно они ехали в такси. Андрэ Бертье укоризненно посмотрел на Жанину и уехал со своим шофером. Тотчас же выяснилось, что Жанина хотела принять гарденал, который ей продали в этой аптеке, потому что очень хорошо ее знали: именно там она покупала в течение долгих месяцев все лекарства для своей матери. Но она не успела не только принять его, но даже подумать об этом, потому что в комнату вошел незнакомый человек, который ей сказал, что Андрэ Бертье просит ее несколько минут подождать его и что он сейчас будет здесь. Она не могла понять ни появления и присутствия этого равнодушного мужчины, ни того, каким образом ее местопребывание стало известно, ни, наконец, необъяснимого вмешательства Андрэ

Бертъе. На выяснение этих подробностей ушло несколько минут. Она почувствовала себя совершенно разбитой, и когда они вернулись домой, Роберт уложил ее в постель.

Он задернул занавески окна и вышел из комнаты, притворив дверь. Но она знала, что он недалеко. Он, действительно, сидел в кресле, почти у ее порога, и читал книгу, которая ему подвернулась, – и только прочтя целую страницу, заметил, что не помнит ни одного слова.

Жанина лежала на кровати с закрытыми глазами, и у нее было впечатление, что этим теперешним минутам предшествовало нечто похожее на смерть или исчезновение. Ее уход стоил ей необыкновенного напряжения, и сейчас она чувствовала, что у нее не хватило бы сил даже подняться. Всю предыдущую ночь она не спала и, прислушиваясь время от времени к ровному дыханию Роберта, она повторяла себе, что это последний раз и на следующую ночь не будет ни Роберта, ни этой кровати, ни настоящего, ни будущего и вместо этого наступит, вероятно, холодная тьма. Она думала обо всем, что предшествовало этой последней ночи, – о своем детстве, о деревне, о том, как ее преследовали огромное снежное поле и зимние сумерки во сне. Она боялась смерти, которая ее ожидала, и когда она думала, что больше никогда не увидит Роберта, у нее каждый раз сжималось горло. Но ее решение уйти и покончить с собой было неизменно. Когда она поняла, что у нее, может быть, не хватит мужества это сделать и это окажется невыполнимым, было уже слишком поздно, – так, точно она пропустила ту минуту, в которую еще было можно это остановить. Она знала уже давно, не понимая его, этот странный закон невозможности остановиться, когда было принято очень важное решение и когда вдруг появлялось слишком позднее сознание его явной неправильности. Так было в этом случае: она покидала Роберта, и без него ее жизнь не имела смысла. Все ее душевные силы сопротивлялись этому, но это слепое движение было неудержимо. Ее собственной воли хватило на то, чтобы принять это решение; но чтобы изменить его, нужно было вмешательство какой-то внешней и механической силы. Она ехала, как во сне, сидя в вагоне метро; и когда она шла по Boulevard de la Gare, она вдруг поняла, что каждый ее шаг приближает ее к смерти. Она отчетливо понимала это, и в то же самое время она знала, что такая простая вещь, как вернуться

назад, снова сесть в метро и через некоторое время войти опять в квартиру Роберта, – она знала, что это было невозможно, хотя и не могла бы сказать почему. Между ней и смертью было пустое пространство, которое уменьшалось с каждой секундой, – и в конце этого воздушного коридора она почти физически ощущала присутствие того, что было самым страшным и к чему она так неудержимо приближалась. Она запомнила навсегда белобрысое лицо приказчика из овощного магазина, который пересыпал помидоры из одной корзины в другую, и гарсона кафе, уносившего с террасы поднос, его слишком короткие черные брюки над стоптанными башмаками, бедную простоволосую женщину, с трудом катившую по тротуару ручную тележку, нагруженную узлами белья, ее лицо – огромная лиловая мышь на левой щеке и две бородавки на подбородке. Это были люди, мимо которых она проходила, и она успела подумать, что они последние, которых ей суждено видеть в ее жизни. Она почти не слышала голоса толстой пожилой женщины, которой она заплатила за номер гостиницы. И когда она, наконец, легла на кровать, с ощущением нестерпимого холода внутри, вдруг раздался стук в дверь, и, не дожидаясь ее ответа, в комнату поспешно вошел этот человек в плаще, который ей сказал, что Андрэ Бертье сейчас приедет и просит ее подождать его несколько минут. И тогда тот мир, который секунду тому назад уходил от нее в этом слепом и безвозвратном, казалось бы, движении, – простоволосая женщина с тележкой, гарсон кафе, приказчик, метро, Роберт, – этот мир вдруг вновь возник перед ней таким, каким он был до вчерашней ночи, когда она приняла свое решение. Теперь это движение было остановлено необъяснимым появлением этого незнакомого человека, который заслонил собой ее смерть. Она быстро посмотрела на него: у него было не очень хорошо выбритое лицо, потертый воротник плаща, мягкая шляпа, серый полинявший галстук. Он сохранял выражение профессиональной вежливости – такое выражение могло бы быть у швейцара, шофера, контролера на железной дороге. Выцветшие его глаза смотрели мимо Жанины, и он, конечно, меньше всего мог бы думать, что его присутствие здесь имело важное значение в жизни нескольких людей, судьба которых его интересовала только в той мере, в какой была связана с его служебным вознаграждением.

Жанина вспомнила сейчас его лицо, вздрогнула, зажмурилась и снова открыла глаза. В комнате было темно и тихо.

– Роберт! – сказала она негромко.

В просвете двери тотчас показалась его фигура.

– Я очень устала, – сказала она. – Ты простишь меня за все, что я сделала?

И когда он нагнулся над ней, она обняла его шею руками и поцеловала его. Потом руки ее разжались и голова упала на подушку. Через несколько секунд она уже спала. Он вздохнул и вышел из комнаты. Он снова сел в кресло, закинул руки за голову, вытянул ноги и подумал, что только теперь понимает, что значит для него присутствие Жанины. Это было неверно: он понял уже давно. Но ему было приятно так думать.

* * *

Несколько позже Роберт с удивлением вспоминал, что после возвращения Жанины все вопросы казались разрешенными, и в частности, та угроза появления Фреда и опасность, связанная с ней, которая заставила ее решиться на уход и самоубийство. Это было результатом странного психологического заблуждения, так как Фред продолжал существовать где-то в окрестности rue St. Denis, и в этом смысле возвращение Жанины ничего не изменило. Но и Роберт, и Жанина одновременно перестали думать об этом. Ни с его, ни с ее стороны это не определялось никаким расчетом, – это вышло само собой. И в этом состояла ошибка Роберта – потому что через три дня после его поездки с Жаниной в магазин на rue Lafayette, около одиннадцати часов утра, раздался звонок, и когда Роберт отворил дверь, перед ним стоял Фред.

Роберт сразу узнал его по сдвинутой набок шляпе и покатым плечам; таким он запомнился ему в тот вечер, когда он увидел его позади Жанины, на rue St. Denis. Он почувствовал холодное томление, когда Фред молча посмотрел на него своими неподвижными глазами, и успел подумать, что в этом человеке было, действительно, что-то внушавшее страх всем, кто с ним сталкивался.

Он отступил на шаг, и Фред вошел вслед за ним, захлопнув за собой дверь. Он не снял шляпы и не вынул рук из карманов. Потом он коротко сказал с вопросительной интонацией:

– Ну?

Роберт молчал. Он боялся, что Жанина вдруг войдет в комнату. Но она, к счастью, не появлялась. За эти несколько секунд он успел подумать о многом, и в частности, о том, что убедить в чем бы то ни было Фреда нельзя и что он, Роберт, впервые поставлен перед необходимостью защищать свою жизнь. При этой мысли он испытывал почти что ужас. Но, в отличие от других людей, с которыми Фреду приходилось иметь дело до сих пор, то, что сейчас чувствовал Роберт, объяснялось не физической трусостью, а другими, почти отвлеченными причинами. Фред не мог этого понять, тем более что нерешительное поведение Роберта внешне было таким же, как поведение других, которых он знал и к которым он всегда чувствовал презрение.

– Ну? – повторил он. – Пусть она выходит. Я ее беру с собой. Она у меня узнает, что значит убежать от Фреда.

И тогда Роберт произнес свои первые слова за все это время. Голос его звучал неуверенно.

– Я думаю, что это невозможно, – сказал он. – Что?

– Я думаю, что это невозможно, – повторил Роберт.

Его голос стал немного тверже.

– Значит, ты меня плохо знаешь, – сказал Фред. – Я всегда добиваюсь своей цели. Тебе Жанина не говорила об этом?

– Нет, – сказал Роберт. – Но надо полагать, что цели у тебя очень скромные.

– Почему?

– Если ты всегда добиваешься всего, что хочешь, и если в результате этого ты только бедный сутенер...

Роберт не мог угадать, что хотел сделать Фред, когда он рванулся к нему в следующую секунду. Но он знал, что эта секунда решает все, и до того, как движение Фреда успело принять какую-либо форму, он ударил его кулаком в подбородок. Фред тяжело рухнул на пол. С порога комнаты раздался короткий крик. Роберт обернулся и увидел бледное лицо Жанины с расширенными глазами.

– Разговор кончен, Жанина, – сказал он. – Возьми, пожалуйста, в правом ящике моего стола шнуры для занавесок, которые мы на днях купили, и принеси мне.

Он опустился на колени и обыскал Фреда. В правом кармане его пиджака он нашел браунинг, который вынул и положил на стол. Затем он туго связал шнурком руки Фреда, заложив их за спину. Потом он легко поднял его, внес в ванную и подставил его голову под кран с холодной водой. Через некоторое время Фред открыл глаза. Роберт, держа его за воротник пиджака, – ноги Фреда волочились по полу, – потащил его до следующей комнаты и посадил в кресло. После этого Роберт подошел к телефону и позвонил в полицейский комиссариат.

Фред мутно смотрел на него. В голове его стоял гул, он не понимал, что произошло и что происходит теперь. Он слышал точно издали голос Роберта и не понимал значения его слов. Он делал страшные усилия, чтобы вернуть себя к действительности, но это ему не удавалось. Ему вдруг начинало казаться, что он проваливается в мягкую и холодную яму; потом перед ним появлялась неясная фигура человека, находившегося в этой же комнате, и он не мог вспомнить, где он его уже видел и почему он здесь. Затем ему стало казаться, что где-то между его глазами и затылком струится ледяная вода, причиняющая ему нестерпимую боль. Он закрыл глаза и опять потерял сознание.

С улицы донесся приближающийся звук автомобильной полицейской сирены. Через несколько секунд раздался звонок и вошел инспектор в сопровождении двух полицейских. Он вежливо снял шляпу и поздоровался с Робертом, пожав ему руку. Роберт объяснил, что подвергся нападению неизвестного субъекта, в кармане которого был револьвер. Он взял со стола браунинг и передал его инспектору. Инспектор подошел к креслу, поднял пальцем подбородок Фреда, голова которого после этого снова упала на грудь, и сказал:

– Господин Бертъе, я думаю, – он улыбнулся, – что если тут кому-нибудь угрожала опасность, то это, скорее, ему, – он посмотрел в сторону Фреда, – чем вам. Поздравляю.

– Я боюсь, что плохо рассчитал удар, – сказал Роберт. – К сожалению, у меня не было для этого времени.

– Бели бы вы действовали иначе, – сказал инспектор, – то это могло для вас скверно кончиться. Вы, без сомнения, занимались

боксом?

– Да, немного, – сказал Роберт, пожав плечами. Потом полицейские вынесли Фреда, – один взял его под мышки, другой поддерживал ноги. Из окна Роберт видел, как они положили его на заднюю скамейку машины; затем опять завывла сирена, и они уехали. Жанина стояла рядом с Робертом и смотрела на автомобиль, пока он не завернул за угол. Она подумала, что еще несколько минут тому назад от этого человека, голова которого так беспомощно и страшно свисала вниз и тело которого только что небрежно волокли полицейские, зависела ее жизнь. Она повернула голову и взглянула на Роберта. Лицо его было спокойно, и в глазах стояло далекое выражение, которое она запомнила с того вечера, когда впервые увидела его.

Когда на следующее утро Роберт позвонил в комиссариат и назвал себя, голос вчерашнего инспектора ответил ему, что Фред лежит в тюремной больнице и врач отказывается от окончательного диагноза: возможно, кровоизлияние в мозг, возможно, что-нибудь другое. – Вероятнее всего, он все-таки выживет, – сказал инспектор. Он прибавил тут же, что его, Роберта, беспокоить не будут понапрасну. – C'est un repris de justice^[53], – сказал он, – и вдобавок профессиональный сутенер. Мы никогда не позволили бы себе надоедать вам по этому поводу.

– Дело в том, – сказал Роберт, – что я собираюсь уезжать на днях, но если бы мое присутствие было необходимо...

– Нет, нет, господин Бертье, – сказал инспектор. – Разрешите вам пожелать приятного путешествия.

– Ты уезжаешь? – спросила Жанина, стоявшая рядом.

– Мы уезжаем, – сказал он, улыбнувшись. – Разве ты забыла, что я говорил тебе об этом?

Весь день он укладывал вещи и возился в гараже с автомобилем. На следующее утро он рано разбудил Жанину и сказал ей, что надо торопиться, так как предстоит длительное путешествие. В восемь часов утра они выехали из дому. Они завтракали в дороге, в лесу, ужинали в каком-то маленьком местечке, названия которого она не запомнила, и там же провели ночь, в комнате с низким потолком и огромной двуспальной кроватью. Было около четырех часов дня, когда Роберт остановил автомобиль перед невысокими железными

воротами, за которыми был парк. В глубине парка был виден дом того желтовато-красного цвета, который был характерен для Прованса. Вокруг был лес: сосны, дубы, эвкалипты вперемежку с густым кустарником. Кричали цикады, пахло раскаленными стволами деревьев, солнце высоко стояло в синем безоблачном небе. Роберт позвонил, через некоторое время пожилой человек в берете отворил ворота, почтительно поздоровавшись с Робертом, и автомобиль въехал в парк.

– Это называется «Ласточка», – сказал Роберт. – Мой отец купил это имение много лет тому назад, в день рождения моей матери. Но он не знал тогда, что она не переносит жары.

Потом он улыбнулся и прибавил вполголоса: – Впрочем, на свете вообще мало вещей, которые она переносит.

На несколько километров вокруг не было ни домов, ни людей – только деревья да тугая зеленая листва кустарника, лысины красноватой земли, какие-то маленькие зверьки, которые убегали так быстро, что их нельзя было рассмотреть и за которыми охотился огромный черный пес, стороживший имение, со странным человеческим именем Онезим. Провизия покупалась в деревне, отстоявшей от имения в двух километрах, куда Луи, сторож, ездил на скрипящем велосипеде с педалями разной длины. Недалеко от входа в парк проходила желтовато-красная дорога, усыпанная мелкими камнями, которые трещали под автомобильными шинами. Она шла круглыми изгибами вниз, среди деревьев и кустарника, потом пересекала большую дорогу и обрывалась над бурыми скалами, которые расступались; и там, где они расступались, было несколько сосен и желтый песок, а за соснами и песком – море.

Днем Роберт и Жанина купались; под вечер, когда спадала жара, они гуляли по лесу, почти никого не встречая. Их неизменно сопровождал Онезим. Они шли по мягкой дороге, среди высоких деревьев, и он говорил ей о том, что он считал необходимым знать и чего она не знала. Впервые в жизни, – он замечал вообще, что все, происходившее с ним теперь, было всегда впервые, и этим, как он думал, он был обязан ее присутствию, – его знания нашли в себе практическое применение. Дома он диктовал ей целые страницы, которые она послушно писала, объяснял ей, почему одни слова надо произносить так, а другие иначе, почему следует употреблять эти

выражения, а не те. Потом она читала ему вслух, и он терпеливо поправлял ее ошибки. Она обладала способностью быстро усваивать, по крайней мере внешне, все, что она слышала, и он с удовольствием замечал, что она постепенно теряет ту манеру говорить, которая была для нее характерна вначале и по которой можно было безошибочно определить ее социальное положение.

Вещи и понятия, которые Роберт объяснял Жанине, приобретали для него значение, какого раньше не имели. Он настолько привык полагать, что всякое определение неточно, всякое утверждение может оказаться в некоторых случаях необоснованным, всякая истина относительной, что вся сумма его знаний представлялась ему чем-то не особенно ценным. Рассказывая о самых разных вещах Жанине, он думал о той совокупности понятий, которая определялась словом «культура»: это было то, чего нельзя было не знать. Миллионы и миллионы людей были чужды этим понятиям и этой культуре. И в том, что ее можно было передать женщине, которую он любил, он находил удовлетворение, какого не знал раньше, – ни тогда, когда ему казалось, что он приближается к пониманию далекой истины, найденной много лет тому назад умершим философом, ни тогда, когда ему удавалось построить более или менее гармоничную теорию в той или иной области.

Но самое важное, в чем главная роль принадлежала Жанине, – хотя он и не отдавал себе в этом отчета, – и чем объяснялась для него невозможность представить теперь себе существование вне ее присутствия, это были их любовные отношения. Она нигде не могла бы научиться этому, это было заложено в нее природой. Когда Роберт пытался это понять, ему казалось, что даже тело Жанины, которое он так хорошо знал, заключало в себе – в том или ином повороте бедер, в движении плеч – возможности, каких он до сих пор не мог себе представить. У него было впечатление, что каждый раз она уступает ему не так, как это было вчера или третьего дня, хотя на самом деле это никогда не было уступкой с ее стороны, а вызывалось именно и ее желанием. То, как в ее положении вела себя Жоржетта, его раздражало и утомляло, – то самое, что теперь казалось ему совершенно иным и бесконечно лучшим. Жоржетта была чувственной девчонкой, как он ее определял, когда она засыпала рядом с ним, а он еще не спал. О Жанине он никогда так не думал, и ему не приходила в голову мысль,

что ее чувственность была несравненно длительней и глубже, чем бурные и быстрые реакции Жоржетты. Но он твердо знал, что теперь перед ним возник целый мир такой эмоциональной глубины, о которой он раньше не подозревал и которой, может быть, не существовало вообще вне Жанины и того, как она уступала ему.

И лишь изредка он вдруг испытывал приступы прозрачной печали – именно оттого, что все было так замечательно. Он думал тогда, что между всем тем трагическим и отрицательным, к чему сводилось его представление о мире и о человеческой жизни, и тем, что он испытывал теперь, было расстояние, которое, казалось бы, должно было исчезнуть и которое не укладывалось ни в какую теорию. Он думал еще, что все, происходившее в его жизни до появления Жанины, было очень давно и совершенно незначительно. То, ради чего стоило жить, возникло именно тогда, в тот вечер, когда он не досмотрел фильма в кинематографе и в случайной своей прогулке свернул с Больших бульваров на узкую улицу, спускавшуюся к Сене и проходившую через один из самых мрачных кварталов Парижа.

Проходило лето, уже раньше начинало темнеть, но стояла все та же сухая жара и море было таким же теплым. Они продолжали жить, ни о чем не думая и не заботясь. И он сказал как-то, разговаривая с Жаниной, что деньги, ценность которых он никогда не был склонен преувеличивать, имеют все-таки свою хорошую сторону, – потому что ему не нужно ни возвращаться к определенному сроку, ни спешить куда бы то ни было, и что в этом есть известная приятность, которая до сих пор от него ускользала. Он посмотрел на календарь: было восемнадцатое сентября. Но этот день отличался от других, как ему казалось, только тем, что Жанина была по-иному ближе ему, чем накануне, или два дня, или две недели тому назад.

Когда Фред пришел в себя, он увидел, что лежит на кровати, в большой комнате, стены которой были выкрашены белой масляной краской. Через открытое окно пахло летним днем. Он не знал, сколько времени он находился здесь, и ему понадобилось необыкновенное усилие памяти, чтобы понять, как он сюда попал. Первое, что он вспомнил, было лицо Лазариса; потом завтрак с Жинеттой; потом метро... Роберт Бертъе! Фред дернулся на постели и сразу почувствовал, что очень ослабел. В эту минуту вошел пожилой

человек в белом халате, за которым следовало двое молодых. Он подошел к Фреду и резко поднял его подбородок своей прохладной и необыкновенно чистой рукой. Затем он посмотрел в его глаза равнодушным взглядом и сказал, обращаясь к одному из спутников:

– Скоро его можно выставить, все кончено.

– Послушайте, вы... – начал Фред.

Но второй молодой человек холодно сказал ему:

– Заткни плотку.

И все трое пошли дальше. Фред хорошо знал этот тон и эти интонации: так разговаривали с ним в полиции. Этот голос объяснил ему то, чего не хватало в его представлениях: было очевидно, что он находился в тюремной больнице. Он вспомнил ощущение холодной воды, которую ему лили на голову: но где это было и кто это делал? Он вспомнил голос Роберта, произносивший невнятные слова. Он упорно восстанавливал в памяти все, что доходило до него короткими обрывками издали, и старался связать это в более или менее ясную последовательность фактов, которые привели его сюда. Он много раз начинал сначала: утром он был у Лазариса... Наконец он дошел до своего разговора с Робертом и вспомнил, что он бросился на него. Но после этого начинался провал. Он напряженно думал. Вероятно, Роберт ударил его и он потерял сознание. И тут впервые он почувствовал, одновременно с неопределенной враждебностью к этому человеку, удивление. Это был тот самый мужчина с разнеженным лицом, который помогал Жанине выйти из автомобиля и который, когда Фред заговорил с ним, так испугался, что голос его звучал едва слышно? В этом было что-то странное, почти необъяснимое. Каким образом этот человек мог обладать такой быстротой движений и таким страшным ударом? Фред не мог этого понять. За его жизнь ему пришлось участвовать в многочисленных драках с разными противниками, и он знал, что его всегда спасало то, что он думал и действовал быстрее, чем они. И это были люди, которые знали, что они делали, и ни у одного из них, конечно, не могло быть такого выражения расслабленности, как у Роберта. И вот оказалось, что он, Фред, которого боялись все и который сам, в свою очередь, не боялся никого, потерпел такое поражение, первое за всю его жизнь. Это было настолько чудовищно по неожиданности и настолько непереносимо, что он не переставал об этом думать.

В тот же день его допрашивали. Он успел заранее все обдумать и знал, что рискует не очень многим, так как, в сущности, не совершил никакого преступления. Он так и сказал полицейскому инспектору:

– Я никому не причинил зла.

– Потому что не успел, – сказал инспектор. – Ты был нокаутирован раньше, чем собрался что-либо предпринять. Это была чистая работа. Ты имел дело с человеком, против которого ты рылом не вышел.

Фред молчал, стиснув зубы.

Он объяснил свое поведение: он позвонил в эту квартиру, потому что видал неоднократно, почти каждый раз, когда приезжал на скачки в Auteuil, как туда входила девушка, которая ему очень нравилась. Он хотел с ней поговорить и познакомиться.

– И чтобы лучше с ней разговаривать, ты взял с собой револьвер?

– У меня не было револьвера, господин инспектор. Я не знаю, откуда он появился.

– Не валяй дурака.

Инспектор знал, что Фред лжет во всем. Он был в этом так же уверен, как в том, что Роберт говорил правду, – и иначе это быть не могло.

– Опиши мне эту девушку, – сказал он.

Но Фред ответил, что он едва помнит все случившееся и, в частности, не мог бы, наверное, даже узнать эту девушку. – Не забывайте, господин инспектор, что я был между жизнью и смертью.

Он повторил фразу, которую сказал о нем врач тюремной больницы и о которой он узнал до того, как идти на допрос.

В конце концов, он был присужден к месяцу тюрьмы за незаконное ношение оружия. Он осунулся за это время, и на похудевшем его лице черные глаза казались еще более пронзительными и неподвижными. В тюрьме он познакомился с невысоким, но совершенно квадратным человеком, у которого были раздавлены уши и нос. Его звали Дуду, он отбывал наказание за мелкую кражу. Он отличался двумя особенностями: он был неизменно равнодушен ко всем неприятностям и его способность понимать что бы то ни было сколько-нибудь отвлеченное была ничтожна. Фред долго смотрел на его могучую шею, литые плечи и лоб без морщин и подумал, что этот человек может ему оказаться полезным. Он не был

похож ни на кого из тех, с кем ему приходилось до сих пор встречаться; у него не было ни желания, ни возможности иметь о чем-либо собственное мнение, и это было именно то, что Фреду казалось в нем наиболее ценным. Он узнал, что Дуду недавно приехал из Лиона, где жил раньше, и что он вынужден был отказаться от боксерской карьеры.

– Почему? – спросил Фред.

– Потому что у меня слабая голова, – сказал Дуду. И он объяснил, что способен перенести любой удар или любые удары без особенного ущерба; но достаточно попасть ему в лоб, чтобы его сопротивление было сломлено. Боксеры знали это, Дуду в результате этого потерпел много поражений, и его менеджер отказался от него. Тогда он приехал в Париж, где вел очень случайное существование.

– Я тебе все устрою, – сказал Фред. – Ты увидишь, что такое настоящая жизнь.

Когда его выпустили из тюрьмы, он направился на rue St. Denis. Дуду следовал за ним. Дверь комнаты, где Фред жил с Жинеттой, была заперта на ключ. Он постучал. Голос Жинетты спросил:

– Кто там?

Фред пробормотал что-то нежное. Дверь немного приотворилась, и он увидел заспанное лицо Жинетты. Она вскрикнула от неожиданности и хотела ее захлопнуть. Но было слишком поздно: Фред уже входил в комнату.

В кровати Жинетты лежал незнакомый молодой человек со смуглым лицом и темными волосами.

– Вставай! – сказал Фред.

Молодой человек поднялся и стал быстро одеваться дрожащими руками.

– Он позавчера приехал в Париж, – сказала Жинетта, – он корсиканец. Он хочет теперь работать здесь.

– Ты молчи, с тобой я поговорю потом, – сказал Фред.

Когда молодой человек оделся, Фред надавал ему пощечин и вытолкал его из комнаты. Потом он сел на кровать и сказал Жинетте:

– Поди купи нам папирос. Принеси сэндвичи и пива. Поторапливайся.

Жинетта набросила на себя пальто, взяла сумку и вышла.

– Ты будешь жить рядом со мной, – сказал Фред, обращаясь к Дуду. – Единственное, что ты должен делать, это слушать, что я говорю.

И через несколько дней все стало так, как было раньше. Жинетта и Ренэ по-прежнему работали каждый день и отдавали Фреду все деньги, он по-прежнему ходил в соседние бары, и внешне, казалось, ничего не изменилось. Дуду, в новом костюме и новой шляпе, повсюду сопровождал его. Он поселился в комнате Ренэ и автоматически, по назначению Фреда, стал ее покровителем. Когда она приходила под утро, она нередко заставляла его уже спящим, и ее удивляло, что он часто смеялся во сне особенным, почти беззвучным смехом. Было что-то настолько странное в этом смеющемся лице с раздавленным носом и закрытыми глазами, что она его спросила:

– Почему ты смеешься во сне? тебе очень весело?

– Не знаю, – сказал Дуду. – Я смеюсь во сне?

– Да, я несколько раз замечала.

Он пожал плечами.

– Первый раз слышу.

Она ему говорила:

– Как мужчина ты не очень хорош. Это странно, потому что ты силен, как бык.

– Это ничего не значит, – ответил он. – Я никогда не увлекался женщинами, я спортсмен.

Он был равнодушен к женщинам в той же степени, как ко всему остальному вообще. И единственным человеком, к которому он относился иначе, чем к другим, был Фред.

В жизни Фреда с недавнего времени появилось нечто новое, и этого не знал никто, кроме него. Во-первых, он хотел отомстить Роберту. Во-вторых, – и это было еще важнее, – ему хотелось доказать Лазарису, что он, Фред, не похож на других его клиентов, и то, что может сделать он, не может никто, и, в конце концов, люди, о которых упоминал Лазарис и которые, по его мнению, стоят выше Фреда, будут так же бояться его, как те, среди кого проходит его существование теперь. Он не знал еще, каким путем он добьется того и другого. Он представлял себе это чрезвычайно смутно, но думал, что этого достигнет непременно и какой угодно ценой. Он понимал, что это потребует с его стороны длительной подготовки и нового

подхода к вещам. Если бы Жанина ушла от него к другому, такому же, как он сам, он очень скоро разыскал бы его и потребовал бы ее возвращения. Отказа быть не могло: отказ значил бы для этого человека смерть или тяжелое увечье. И Жанина вернулась бы на rue St. Denis.

Но поступить совершенно так же по отношению к Роберту Бертю он не мог. Роберт жил в далеком и тихом квартале, был сыном владельца автомобильной фабрики, – он собрал о нем все справки, – его защищала полиция, и он был, в сущности, почти недостижим. Кроме того, Жанина жила в таких условиях, о которых никогда не могла бы мечтать: он вспомнил дом, где жил Роберт, и единственную комнату его квартиры, которую он успел увидеть.

Он впервые задумался о том, что, помимо среды, в которой он вырос, и другой, в которую он попал позже, есть еще иные и совсем особенные люди, с которыми он никогда еще не сталкивался. Они были чужды ему так, как если бы это были существа с другой планеты, все, о ком он читал иногда в газетах, – собственники скаковых конюшен, артисты, дипломаты, владельцы предприятий, где работали тысячи людей, зависевших от них, посетители Оперы, дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах, говорившие на иностранных языках, какие-то академики, философы, художники. Собственно, почему это было так? Все, кого он когда-либо знал, не имели никакого отношения к таким людям. Одни жили так, как он, Фред, и его товарищи, другие работали – одни на фабриках, другие в гаражах, третьи в кафе или на железной дороге, смазчиками, истопниками, электротехниками, некоторые разгружали баржи на Сене, некоторые уезжали на север, в шахты. Вероятно, это было так нужно, и у него не возникало мысли о протесте против этого порядка вещей; то, как жили люди, от которых зависели другие, было ему совершенно чуждо. Они существовали иначе, – больше ничего. Но он не мог допустить мысли, что он, Фред, самый умный и самый опасный человек, ничего не боявшийся, вдруг окажется ниже этих людей, и, попав в их среду, он почему-то автоматически потеряет все те преимущества, которые так бесспорны и в ценности которых он никогда не сомневался.

Он условно представлял себе нечто вроде вертикального разреза в том порядке вещей, о котором он недавно впервые подумал:

правительство, – над ним все смеялись, но оно все-таки было на самом верху, – полиция, Опера, кварталы города, где были квартиры таких людей, как Бертъе, и, с другой стороны, ниже – rue St. Denis, Жинетта, Ренэ, Дуду, Фред и существование, которое они вели, потом все, кто работал на набережных Сены или на фабриках и на железной дороге, и, наконец, – деревянные нищие бараки на окраинах Парижа, где жили, пока они были живы, его мать и жилистый калека. Почему все это было именно так? И было ли это случайно или были какие-то причины для этого? До сих пор ему не приходили в голову мысли об этих ненужных, в сущности, вещах. Но у него всегда было сомнение в том, что жизнь, которую он ведет, действительно стоит той жестокой борьбы за нее, какую ему приходилось выдерживать. Этим он отличался от своих товарищей, и это имела в виду Жинетта, когда говорила, что он никогда не бывает доволен.

Он сидел однажды один на террасе кафе. За соседний столик сели двое: один – седой, загорелый человек со светлыми глазами, другой – бледный, молодой, с очень особенным и необыкновенно узким лицом. Седой человек, продолжая, по-видимому, разговор, сказал:

– Очень хорошо, я совершенно согласен с тем, что основные элементы европейской культуры, как вы говорите, цитируя Валери, – эллинское наследие, христианство и Возрождение. Но это, в сущности, классификация, то есть наименее интересная часть анализа и наиболее легкая. И это, так сказать, хронологическое сочетание решительно ничего не объясняет. Я должен вам признаться, что мне просто представляется непостижимым, как можно настаивать на каком бы то ни было объединительном признаке, который бы подходил к любому явлению в истории европейской культуры. Примеры бесчисленны: нельзя же ставить рядом какие-то проявления человеческого гения, совершенно между собой различные, и всех их произвольно объединять – живопись Джотто и философию Лейбница, портреты Рембрандта и поэзию Шелли, работы Бенвенуто Челлини и пьесы Шекспира?

Человек с узким лицом ответил:

– Я вынужден протестовать против такого толкования. Мы не утверждаем, что общее определение «европейская культура» может нам дать объяснение того или иного явления. Но таких объяснений,

мне кажется, вообще не существует. Здесь мы вступаем в область, конечно, иррациональную. Вы правы, конечно, что это классификация скорее, чем что-либо другое. Мы хотим только сказать, что нельзя себе представить истории европейской культуры вне влияния хотя бы одного из этих элементов, вне Эллады, или вне христианства, или вне Возрождения. И тот факт, что эта культура отличается невероятным богатством и разнообразием проявлений, только свидетельствует лишней раз о неисчислимых потенциальных возможностях этих элементов.

Фред подозвал гарсона, расплатился и вышел из кафе. Был солнечный летний день. Он шел по тротуару, задумавшись и ничего не замечая вокруг себя. О чем спорили эти люди? Он ничего не понял ни из того, что сказал первый, ни из того, что ответил второй. И какое значение в жизни каждого из них могла иметь история европейской культуры? Чем они оба занимались? Каким ремеслом? Он повторял про себя: эллинское наследство, христианство, классификация, иррациональная область, – это звучало как непонятные слова иностранного языка. Для понимания этого нужны были какие-то сведения, может быть, те самые, об отсутствии которых говорил Лазарис. Он вспомнил это ненавистное улыбающееся лицо.

– Вот чего тебе не хватает, Фред, – знаний.

Но зачем вообще все это было нужно и какую ценность это могло иметь? На первый взгляд это была просто ненужная болтовня. Но человек со светлыми глазами на загорелом лице не был похож на пустомелю. Другой, узколицый, впрочем, тоже. То, что Фред не мог бы принять участие в их споре, было не так важно. Важно было другое: почему такие вопросы могли интересовать этих людей и в чем было значение этих вопросов.

Он никому не мог бы сказать об этом, потому что никто бы его не понял. Он вернулся домой – и комната гостиницы показалась ему темной и бедной, как никогда. Дуду и Жинетта играли в карты.

– Да, я забыла тебе рассказать сегодня, – сказала Жинетта, и он подумал, что у нее дребезжащий голос, – вчера у меня был клиент, очень курьезный, я говорила это Дуду, мы так смеялись.

– Молчи, – сказал Фред далеким и спокойным голосом. – Ты просто падай.

– Ты всегда скажешь что-нибудь приятное.

Фред вышел из комнаты. После минутного молчания Жинетта сказала:

– Ты видишь, Дуду, я тебе говорила, что он никогда не бывает доволен. Но я его люблю, ты понимаешь.

* * *

Было двенадцатое июля, летняя ночь, светили уличные фонари, едва слышно шумели листья на деревьях, и над дансингом «Золотая звезда» горели электрические трубки рекламы. Жерар, хозяин дансинга, фамильярно и почтительно в одно и то же время, опершись локтями о стойку, разговаривал с человеком, хорошо, но как-то безлично одетым, в синем костюме и черной шляпе. Жерар был в пиджаке и рубашке с галстуком. Но человек в синем костюме, разговаривавший с ним, полицейский инспектор, знал, что руки, плечи и грудь Жерара были покрыты сложной татуировкой – с надписями, пронзенными сердцами, якорями и змеями. Жерар был на голову выше любого посетителя дансинга; у него было широкое лицо, одновременно улыбающееся и свирепое. Единственное оружие, которого он боялся, был револьвер, единственные люди, которых он особенно остерегался, были полицейские. Он знал множество разных вещей: что такое алиби, что такое конкуренция, что такое тюрьма, что такое свобода. Он не знал только будущего. Он всегда мечтал, как он уйдет на покой, поселится в маленьком домике на берегу моря и будет ловить рыбу. Но на пути к достижению этой идиллической цели были препятствия, значения которых он не мог заранее учесть. Могло случиться, что через несколько лет он действительно будет жить где-нибудь между Марселем и Тулоном и «Золотая звезда» станет далеким воспоминанием. Но могло быть и так, что однажды ночью или утром его татуированный труп найдут где-нибудь в окрестностях Парижа и в маленьком домике на берегу моря будет жить кто-то другой, не имеющий представления ни о дансинге «Золотая звезда», ни о многом ином, что предопределило жизнь – и смерть – Жерара. До сих пор ему всегда удавалось выходить сухим из воды, но некоторые из тех, кого он хорошо знал и с кем был связан деловыми отношениями, давно были на том свете, и ни один из них не умер от

старости. Франсуа Кадэ, беспощадный человек, любивший повторять, что он никогда не ошибается, был убит ударом ножа в спину на пароходе, между Марселем и Корсикой. Тот, кого называли Куницей, умер в комнате парижской гостиницы от припадка астмы – первого и последнего, так как никто никогда не знал, что он был подвержен этой болезни. Антуан, полуполяк-полуфранцуз, пользовавшийся неограниченным кредитом у всех держателей кафе в известных районах Парижа, исчез в один прекрасный день, точно испарился, и лишь значительно позже, в случайном разговоре, Жерар узнал, что именно с ним произошло: Антуан повесился в Шанхае, и было непонятно, зачем ему было нужно ехать так далеко и кто внушил ему мысль о необходимости этого путешествия. Марго осталась на всю жизнь в Порт-Саиде, задыхаясь от жары и жестоко страдая от палюдизма, та самая Марго, с которой он, Жерар, танцевал на Boulevard de Belleville четырнадцатого июля, Марго, у которой были такие маленькие груди и такие глубокие глаза. Он бы не узнал ее никогда, это она узнала его в Порт-Саиде, и тогда, сидя рядом с ней, в ее убогой комнате, на ее кровати, он вдруг почувствовал, что его глаза наполнились слезами от бешенства и сожаления в то время, как она рассказывала ему, почему она попала сюда. Того человека, по вине которого это произошло, тоже теперь не было в живых, он умер накануне отъезда Жерара из Порт-Саида. Но это было слишком поздно, и ничто уже не могло спасти Марго и вновь сделать ее такой, какой она была четырнадцатого июля, – ничья смерть и ничье желание. Смерть была всюду – и Жерар это знал лучше, чем кто-либо другой: в Париже и в Уайт-чепеле, в Марселе и в Бирмингеме, в холодный и туманный день европейской зимы или в тропическую ночь, на пароходе или в гостинице, на углу улицы или на берегу океана. Но его гигантское татуированное тело прошло там, где были остановлены – раз навсегда – его прежние товарищи. К сожалению, до Средиземноморского побережья было еще далеко, и Жерар знал, что ручаться за что бы то ни было можно только на несколько часов вперед, не больше. И он был готов ко всему.

Сейчас он разговаривал с полицейским инспектором, который хотел знать, кто именно приходит в дансинг, из кого состоит клиентура «Золотой звезды».

– Вы хорошо знаете, господин инспектор, – говорил Жерар, – что у нас район небогатый и большинство посетителей – люди скромные.

– Но у вас полно каждый вечер?

– Что вы хотите, господин инспектор, это молодежь.

Он пожал плечами.

– Горничные, кухарки? – спросил инспектор. – Главным образом горничные, – сказал Жерар. – Кухарка, господин инспектор, это чаще всего толстая женщина, у нее красные руки, от нее пахнет салом... Нет, из кухарок бывают только эмансипированные, которых немного.

– Еще кто?

– Другие, – сказал Жерар, – представительницы других профессий, мы, дирекция, их об этом спрашивать не можем, вы сами понимаете. Единственное, что от них требуется, это прилично себя вести и платить, больше ничего. Много работниц с фабрики.

– А мужчины?

– Чаще всего из рабочих, – сказал Жерар. – Электротехники, механики, подмастерья. Молодежь, господин инспектор. Трудящаяся молодежь.

– А дамы? Я хочу сказать, настоящие дамы?

– Я понимаю, господин инспектор. Не те, которые служат горничными, а те, у кого служат горничные?

– Совершенно точно.

– Очень редко, господин инспектор. Вы знаете, они все ездят на rue de Larre. У нас еще нет достаточной репутации...

– Вы понимаете, Жерар, меня, в сущности, совершенно не касается, как вы ведете дело.

– Я живу, как в стеклянной клетке, господин инспектор. Моя отчетность всегда в порядке, и все обо мне всё знают. Мне нечего скрывать...

– Тем лучше, тем лучше. Мне только хотелось поставить вам на вид, что было бы желательно, чтобы у вас не происходило никаких историй, вы понимаете. Если бы случился какой-нибудь инцидент и если бы это попало в газеты, мне лично было бы очень неприятно.

– Господин инспектор, если вам это было бы просто неприятно, то для меня это была бы катастрофа. Пока я жив, этого не произойдет. Мне не двадцать лет, я думаю о своей старости, и мне пора на покой... И я вообще не люблю историй.

Разговор происходил под музыку; оркестр состоял из двух гармоник и рояля. Первый гармонист был красивый немолодой мужчина, которому несколько лет тому назад ампутировали левую ногу до колена. Второй был молодой человек с напомаженными волосами и толстым розовым лицом, который в свое время попался в довольно крупной краже, отбыл срок тюремного заключения и под влиянием Жерара решил вести честную жизнь. Пианиста звали Жаклина – и с первого взгляда становилось понятно почему: у него было напудренное лицо, подведенные глаза, галстук бабочкой на тонкой белой шее и пиджак в талию, подчеркивавший нарочитую женственность его фигуры. Гарсоны проскальзывали между столиками, неся в руках подносы, уставленные стаканами, и с жонглерской ловкостью лавируя в толпе танцующих. В смещающихся движениях проходили мужские и женские плечи, появлялись и тотчас сменялись другими десятки человеческих глаз, почти всегда сохранявших серьезное выражение. И в звуках этой музыки, и в лицах танцующих была очень своеобразная печальная пронзительность – убожество той жизни, которую они вели, будущее, которое чаще всего их ожидало, бедные радости, которые им давала «Золотая звезда» – потому что другие были им недоступны. Среди этой толпы обращали на себя внимание очень хорошо, в отличие от других, одетые люди с мягкими движениями и бархатными глазами, в шелковых рубашках с вышитыми инициалами и в галстуках скромной расцветки. У них были разные лица, но все-таки в них было нечто общее, и становилось очевидно, что они все принадлежали к одной и той же корпорации, неопределимой для неискушенного глаза. Это было тем легче заметить, что они держались отдельной группой, и женщины, которых они сопровождали, были одеты лучше других.

Инспектор бросил быстрый и внимательный взгляд в их сторону и коротко спросил:

– Шулера?

– Клиенты, господин инспектор, – сказал Жерар. – Как вы хотите, чтобы я знал их профессию? Вот если бы у меня был такой наметанный глаз, как у вас...

Инспектор пожал плечами. В известном смысле Жерар был прав: инспектор определял профессию этих людей по их внешнему виду. Жерару незачем было этим заниматься: он знал их всех лично.

Когда инспектор уходил, Жерар еще раз сказал ему:

– Вы можете быть спокойны, историй у меня не было и не будет.

Это точно соответствовало действительности. Посетители дансинга должны были подчиняться строжайшим правилам, и Жерар сам следил за тем, чтобы они выполнялись. Для тех, кто его знал, было очевидно, что это было лучшей гарантией, какая могла существовать.

Было около половины первого ночи, когда в дансинг вошел Фред. Дуду следовал за ним. Они с трудом нашли свободный столик, заказали себе пива, и Дуду потом не пропускал ни одного танца, непрерывно меняя партнерш. Он танцевал очень особенно, широко расставляя локти и прижимая голову к левому плечу, отчего его лицо с раздавленным носом принимало почти горизонтальное положение.

– Я от музыки делаюсь печальным, – говорил он своей даме, – и мне начинает хотеться танцевать. Вы здесь недалеко работаете?

После танца он присаживался на минуту, выпивал плоток пива, и как только музыка снова начинала играть, его уже не было.

– Я делаюсь от музыки печальным, – опять говорил он, – и мне хочется танцевать. Вы здесь недалеко работаете?

Перед входом в «Золотую звезду» остановился автомобиль, потом хлопнула дверца, и с высоты своего гигантского роста Жерар увидел, что вошли две дамы, очень молодые. Он вышел из-за стойки и спустился в зал, навстречу новым посетительницам. Все столики были заняты. Он провел их к тому, который был ближе всего от стойки и за которым сидели двое мужчин в кепках. Жерар сказал:

– Mesdames, вот вам столик. Мои друзья, – он показал кивком головы на мужчин в кепках, – только что предупредили меня, что они уходят и освобождают место.

Те поднялись и пошли расплачиваться. Валентина Симон сказала своей спутнице, красивой даме с фарфоровым цветом лица:

– You will see, it will be exciting. ^[54]

Музыка продолжала играть, плечи Жаклины тряслись над роялем, и особенная, дребезжащая печаль гармоник также лилась музыкальными волнами в накуренном воздухе. Валентина вспомнила, как недавно один из ее поклонников сказал ей, что звуки гармоники чем-то напоминают ему поэзию Верлена: та же пронзительная печаль, вызывающая одновременно презрение и жалость. Никто не

приглашал танцевать ни Валентину, ни ее спутницу. Тогда из-за стойки вновь спустился Жерар. Он подошел к Валентине, поклонился и спросил, не согласна ли она... Она поднялась и пошла танцевать с ним.

Фред давно следил за ней своими неподвижными глазами. Он увидел тотчас, – так же, как Жерар, – что Валентина принадлежала к другой общественной категории, чем обычные посетители «Золотой звезды», может быть, к той самой, что Роберт Бертье и люди, говорившие в его присутствии об истории европейской культуры. Надо было сделать все возможное, чтобы получить о ней более точное представление. Может быть, эта девушка... Когда танец кончился и Жерар отвел Валентину к ее столику, – Фред видел, что там уже стояло шампанское, которого обычно никто не заказывал в «Золотой звезде», – он поднялся и направился туда. Но когда он проходил мимо стойки, Жерар бросил в его сторону выразительный взгляд, в значении которого нельзя было ошибиться. Фред приблизился.

– Здравствуй, мой милый, – сказал Жерар.

Рот его был раздвинут в улыбке, но глаза смотрели холодно и свирепо.

– Здравствуй, патрон, – ответил Фред.

Жерар не любил, когда к нему так обращались. Он предпочитал, чтобы его называли «господин Жерар». Но он сделал вид, что не обратил на это внимания. Он понизил голос и сказал:

– Если ты собираешься пригласить эту барышню...

– С вашего разрешения, патрон.

– Конечно, – сказал Жерар. – Я только хотел тебя предупредить, что обращаться с ней надо чрезвычайно деликатно. Если бы тебе пришла фантазия разговаривать с ней, как с Жинеттой или Ренэ, это было бы крайне неуместно и могло бы иметь самые печальные, – он подчеркнул эти слова, – последствия. Ты понимаешь?

– Господин Жерар, – сказал Фред, – я не слепой, у меня есть глаза. Вы можете быть совершенно спокойны.

– Я спокоен, – сказал Жерар. – Если кому из нас придется волноваться, то это тебе, а не мне. Я знаю твою репутацию, но помни, что есть случаи, в которых никакие личные качества помочь не могут. И верь мне, я знаю, что я говорю. Но я знаю также, что ты хороший парень.

Фред успел подумать, что за последнее время он наталкивается на препятствия, которых раньше как будто не было. Он закусил губу, но ничего не сказал и направился к столику Валентины.

Она давно была пьяна, он увидел это по ее туманным глазам. Почти не глядя на него, она положила ему руку на плечо и пошла танцевать. Его поразило ощущение свежести, которую он почувствовал, приблизившись к ней, белизна ее легкой блузки, длинные и чистые ее пальцы, квадратные часики на массивном золотом браслете. Он молчал первые секунды, не находя слов. О чем можно было с ней говорить?

Она заговорила первая. Ее взгляд упал на его башмаки с белым верхом и желтым низом, она улыбнулась широкой улыбкой и спросила пьяным голосом:

– Вы сутенер, да?

– Почему?

– Я не специалистка, – сказала она. От нее пахло холодным шампанским. – Но это видно по вашим башмакам.

Фред не понимал.

– Вы не знали? Двухцветные башмаки носят чаще всего сутенеры. Я об этом много раз читала. Расскажите мне, как вы работаете.

– Это не так просто, *mademoiselle*, – сказал Фред, – на это потребовалось бы много времени.

– Но у нас вся ночь впереди, – сказала Валентина. – Мы будем пить шампанское, и вы будете мне рассказывать, как вы работаете.

– Вас, вероятно, ждут ваши родители дома, *mademoiselle*, – сказал он.

– У меня нет родителей, – ответила она своим пьяным голосом. – Мой отец давно умер, мать тоже. Я живу у дяди. Эта старая обезьяна меня ненавидит, но он ничего не может сделать, потому что в его положении это невозможно.

– В его положении?

– Ну, да, – сказала Валентина, – он сенатор. Я вам говорю – старая скупая обезьяна.

– *Mademoiselle*, – сказал он, – если это вас действительно интересует, мы можем с вами как-нибудь встретиться, я с удовольствием...

– Хорошо, позвоните мне по телефону до двенадцати часов дня, – сказала она. Она была совершенно пьяна. – Если вам ответит горничная, попросите mademoiselle Valentine. Вот номер, – она дала ему номер телефона. – Как ваше имя?

– Фред.

– А? – сказала она с удивлением. – Вы английского происхождения?

– Нет, меня так называют. Мое настоящее имя Франсис.

– Хорошо, скажите, что звонит Фред. Вы не забудете?

– Будьте покойны, mademoiselle Valentine, – сказал он, – я не забуду.

Танец кончился, он отвел ее к месту и ушел.

– Хорошая бабенка, – сказал ему Дуду. – Я приглашу ее на следующий танец.

– Боже тебя храни даже думать об этом, – сказал Фред. – Забудь о ее существовании.

Дуду пожал плечами.

– Это неважно. Не то чтобы меня интересовала одна какая-нибудь девушка больше, чем другие. Я люблю музыку и танец, ты понимаешь?

– Да, – сказал Фред.

Через десять минут они выходили из дансинга. Недалеко от входа стояли двое полицейских, немного дальше – такси с опущенным флажком счетчика. Шофер в сером халате прохаживался по тротуару.

– Задержан? – спросил его Фред, остановившись на минуту.

– Жду уже полтора часа.

– Не скучаешь?

– А как ты думаешь? Счетчик идет, километров не делаешь, бензина не тратишь – одно удовольствие. И не гоняешь машину по всем улицам. Так спокойнее. А я люблю спокойствие, что ты хочешь. Я такой.

– Ты полон благоразумия, – сказал Фред, хлопнув его по плечу. – А я вот не люблю спокойствия.

– Il faut de tout pour faire un monde^[55], – сказал шофер. – Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответил Фред.

– Il faut de tout pour faire un monde, – повторил Дуду. – Что он, собственно, хотел сказать?

– Он хотел сказать, – ответил Фред – глаза его пристально смотрели на матовый белый шар уличного фонаря, в котором мягко растворялся взгляд, упирившийся в светлую муть, – что ты хороший парень, но что пороха ты никогда не выдумаешь.

Дуду посмотрел на него и ничего не ответил.

А в «Золотой звезде» Валентина допивала шампанское. Все смутно плыло перед ее глазами, по-прежнему играли гармоника, сквозь которые временами доходили звуки рояля. Напудренное лицо Жаклины смотрело в сторону Валентины с ненавистью, как ей казалось. Она вспомнила почему-то портрет Рембо, юношеское и преступное его лицо, – и вдруг что-то обожгло ее на секунду, какое-то понимание, мгновенно от нее ускользнувшее. Она не знала, что это было, – может быть, Жаклина, может быть, Рембо, может быть, мысль о том, что за этим дымом, за прохладным туманом шампанского, за гармониками и роялем вдруг возникает, как во сне, черная и холодная пропасть. Она покачнулась на стуле и едва не упала. Жерар, все время следивший за ней, подошел к ее столику.

– Я не мог бы вам быть чем-нибудь полезен?

Спутница Валентины была тоже совершенно пьяна.

– Да, пожалуйста, – сказала Валентина. – Вот деньги, – она открыла сумку. – И доведите нас до такси, которое нас ждет.

Жерар поклонился. Через две минуты автомобиль увозил Валентину по ночным улицам Парижа, и шофер, привычно глядя перед собой на огни встречных машин и черную блестящую мостовую, думал, что скажет жене, вернувшись домой, чтобы завтра к обеду она приготовила кролика. Это было то, чего ему давно хотелось и чего он не мог вспомнить, когда ждал своих клиенток: ему было легче думать во время движения автомобиля. Когда он стоял, это было гораздо труднее.

* * *

На следующий день после того, как она была в «Золотой звезде», Валентина встала очень поздно, с легкой головной болью и

ощущением мути, от которого не могла избавиться. Она приняла горячую ванну, и когда вышла, наконец, в столовую, она узнала, что дядя приглашен на какой-то официальный завтрак и будет дома не раньше четырех часов. Ей предстоял неприятный разговор с ним: было тринадцатое июля и от денег, которые он выдавал ей каждое первое число месяца, ничего не осталось. Она знала, что это вызовет очередной скандал.

Но она не думала все-таки, что объяснение будет носить такой бурный характер. Симон, вернувшийся домой с чувством тяжести в голове и желудке, был вообще в дурном настроении. Но когда Валентина пришла к нему и сказала ему тем вялым голосом, каким она всегда начинала говорить, как только речь заходила о деньгах, что у нее ничего не осталось и что ей нечем заплатить за билет метро или автобуса, он пришел в бешенство. Лицо его побагровело, он плотал воздух и несколько *секунд*, не мог сказать ни слова. Потом он начал кричать нечто бессвязное и непонятное, так что это было больше похоже на звуковой протест, чем на сколько-нибудь логическую аргументацию. Валентина только поняла, что у него нет фабрики фальшивых денег и что он об этом жалеет, что у него зато есть бюджет, которого он не может превысить, что он заслужил право не умереть в нищете и в самое ближайшее время, то есть не позже чем сегодня вечером, ему предстоит очередной крупный расход, так как явится этот мерзавец Шарпантье.

– Подожди немного, – сказала она, морщась от его крика. – Кто такой Шарпантье?

– Кто такой Шарпантье? Кто такой Шарпантье? Ей показалось, что на его губах выступает пена. – Ты меня спрашиваешь, кто такой Шарпантье?

Нет, это действительно превышает всякую меру! Шарпантье – шантажист, которому я плачу, чтобы он молчал и не предавал гласности некоторые вещи, ты понимаешь?

– Что же ты скрываешь?

Он хотел что-то ответить, но не мог и упал в кресло. Затем он сделал ей повелительный знак своей дрожащей рукой: она налила стакан воды и передала ему. И как только он выпил его, он закричал:

– Мне лично нечего скрывать! Моя жизнь безупречна! Но я не могу сказать того же о других!

Он вдруг понял, что Валентина не должна была ничего знать об этом, и даже пожалел, что упомянул о Шарпантье. И когда он подумал об этом, он сразу стал спокойнее.

– Не будем об этом говорить, – сказал он примирительно. – Ни я, ни ты в этом не виноваты: я расплачиваюсь за вину других людей, Шарпантье знает, что я не могу ничего сделать, и поэтому он меня шантажирует, постепенно увеличивая сумму, которую я ему плачу. Это понижает значительную часть моих доходов. Поэтому я стеснен в средствах.

– И ты не можешь просто отказать ему?

– Если ты думаешь, что для понимания такой возможности мне нужно было ждать твоего совета...

– И ничего нельзя сделать? Он пожал плечами.

– А какой это Шарпантье? Это тот высокий, лысый человек, который иногда приходит?

Он утвердительно кивнул головой. Потом он сделал рукой усталый жест, достал бумажник, вынул оттуда несколько кредитных билетов и передал их Валентине.

– А теперь иди, – сказал он. – Постарайся быть менее расточительной. Иди, мне надо отдохнуть. Это проклятая утка и бургундское...

Уходя в свою комнату, Валентина думала о том, что в ее доме есть какая-то тайна, есть шантаж и это очень забавно. Когда Шарпантье, действительно, пришел за деньгами в тот же вечер, она была дома и внимательно осмотрела его. Она вспомнила его костюм с поблескивающими локтями пиджака, его походку – он ходил, выворачивая в сторону носки ног, – его лысину, желтоватую кожу его лица и общее впечатление скрытой нечистоплотности, которое он производил, точно этот человек никогда не принимал ванны. И она подумала, что типичный шантажист должен быть именно таким. Он недолго пробыл у Симона и ушел своей странной походкой, зажимая под мышкой потертый портфель и несколько склонив голову набок. Она смотрела ему вслед с любопытством и легким отвращением, но без какого бы то ни было враждебного чувства. Шарпантье почтительно поклонился ей, проходя через гостиную, где она сидела с книгой в руках, и подумал, как это думали все, кто видел Валентину, что племянница сенатора была похожа на кинематографическую

артистку. Он вспомнил о той, давно прошедшей ночи, когда ее мать ему принадлежала, и эта мысль заключала в себе почти бессознательное ощущение его превосходства над этой девушкой. Он встретил на секунду безразличный взгляд ее светлых глаз – и вдруг испытал мгновенное и совершенно необъяснимое чувство страха, настолько сильное, что у него начали трястись руки. Выйдя на улицу, он оправился, и, когда он вспомнил об этом чувстве страха, оно показалось ему непонятным и вздорным. Он подумал, что нужно, пожалуй, пить меньше черного кофе, и пошел по направлению к метро.

По дороге он подводил в уме свой месячный итог. Потом он едва заметно покачал головой с удовлетворением. Вечером, дома, разговаривая с женой, он сказал, что иногда некоторые отрицательные поступки могут иметь положительные последствия. Эта фраза не требовала никаких комментариев, это было философское изречение. Но оно не было таким отвлеченным, каким могло показаться на первый взгляд.' Говоря об отрицательных поступках, он имел в виду поведение Анны, матери Валентины; говоря о положительных последствиях, он думал о том, что это дало ему возможность значительно увеличить свои собственные доходы, шантажируя сенатора Симона. Это был, в сущности, один из непредвиденных вариантов закона достаточного основания. Но эта сторона вопроса его не интересовала как таковая.

Фред позвонил Валентине через два дня, он долго думал об этом перед тем, как опустить жетон в телефонный ящик и составить номер, который был у него записан. Валентина так же отличалась от других девушек, тех, которых он хорошо знал, как Роберт Бертье и люди, говорившие в кафе об истории европейской культуры, отличались от него самого. Он думал именно об этом, не о том, чем каждый из них не походил на другого, а о чем-то, что у них было общего. И Валентина, и Роберт, и эти люди в кафе могли быть совершенно не похожи друг на друга, но ему казалось, что в самом главном, что отличало их от тех, кого он знал до сих пор, они были одинаковы. Он вспомнил это особенное ощущение свежести, которое было характерно для Валентины, ее небрежные движения, ее голос, голос девушки, которая привыкла никого не бояться. Этим же голосом она могла бы, вероятно, говорить с судебным следователем или

полицейским инспектором. И у нее, конечно, не было никакого страха перед Фредом, и даже если бы она знала его репутацию, это, наверно, не испугало бы ее. Она бессознательно чувствовала свое превосходство над ним. Чем оно объяснялось? Все тем же непонятым отличием, заключавшимся в том, что она знала какие-то ненужные вещи, которых не знал он?

Она назначила ему свидание в большом кафе на Елисейских полях. Он обыкновенно приходил на каждое свидание с небольшим опозданием: он знал, что его должны были ждать. Но теперь он пришел на пять минут раньше назначенного часа. Валентина явилась через несколько минут; он видел, как она подъехала на такси. Она была в светло-сером костюме, с другой сумкой и с другой прической, и на этот раз у нее были совершенно ясные глаза. Она подала ему свою прохладную руку и заказала себе черного кофе.

– Я никогда еще не встречала таких людей, как вы, – сказала она ему. – Расскажите мне о себе. Как вы жили раньше, как вы стали заниматься этой профессией?

– Это вас, наверно, забавляет, *mademoiselle Valentine*? – спросил он. – Да?

Но она была теперь не такой, какой он ее запомнил в тот вечер, когда танцевал с ней. Ее лицо было серьезно, и ее глаза смотрели на него со спокойным вниманием. Он даже подумал, что в ее взгляде было что-то почти доброжелательное.

– Нет, – сказала она. – Забавляет – это не то слово. Я бы сказала – интересуется.

И вдруг Фред, первый раз в своей жизни, почувствовал непостижимое желание рассказать ей то, чего он до тех пор не рассказывал никому. Он не отдавал себе отчета в том, почему ему захотелось сказать это именно ей, бесконечно далекой и чужой *mademoiselle Valentine*. Он понял это потом, много позже; но тогда, в ту минуту, он этого не понимал.

– Если вы думаете, что в этом есть что-нибудь веселое, *mademoiselle*, – сказал он, – то вы ошибаетесь. Я не знаю, интересно ли это.

Он бессознательно старался говорить так, как говорили люди в кафе.

– Я вас слушаю со вниманием.

Она увидела, что на его юношеском худом лице вдруг дернулся рот.

– Видели ли вы когда-нибудь деревянные домики на окраинах Парижа?

– Нет, – ответила она. – Я где-то читала о них, это, кажется, был какой-то репортаж. Но я их никогда не видела.

– Я там родился, – сказал он. – Это было возле Porte d'Italie.

Она заметила, что у него немного дрожали руки.

– Это было двадцать два года тому назад, – сказал он. – Я не знаю, кто был мой отец, моя мать тоже этого не знала. И, вероятно, он тоже не знал, что я был его сыном. Я не имею о нем никакого представления. Я не знаю, жив ли он. Может быть, нет. У нас легко умирают, mademoiselle Valentine.

Она кивнула головой.

Он рассказал ей о своем детстве, о том, как он питался, как он был счастлив однажды, когда нашел в мусорном ящике настоящий сэндвич с ветчиной. Ему было тогда семь лет. Он рассказал ей о бесконечных побоях, о жилистом калеке, о том, как он попал в исправительный дом, как он работал у крестьянина, как просил милостыню, притворяясь слепым.

– И вы никогда не встретили никого, кто бы к вам хорошо отнесся?

– Si^[56], – сказал он. – Это была немолодая женщина. Она была проститутка – как другие.

– Вы с ней потом расстались?

– Да, – сказал Фред. – Однажды утром я нашел ее задушенной.

– Вы узнали, кто ее задушил?

– Да, mademoiselle, это был маньяк. Через некоторое время он умер в сумасшедшем доме.

Валентина молчала несколько секунд. Это было совсем не то, чего она ожидала. То, что рассказал ей Фред, было тягостно и скучно. Она думала, что знакомство с ним окажется более интересным.

Фред, в свою очередь, задал ей несколько вопросов. Он узнал, что она учится на юридическом факультете, что она живет у дяди, что она собирается уехать на лето в Англию, что ее дядя болезненный и скупой старик, что, не считая шофера, горничной и кухарки, они живут с ним вдвоем в огромной квартире, и когда она уходит, он

остается долгими часами совершенно один. Затем она взглянула на часы, сказала, что ей пора идти, что, может быть, еще встретится с ним после возвращения из Англии, и ушла. Ей было теперь ясно, что эта встреча и рассказ Фреда – все это было лишним, и она подумала об этом не без некоторой досады. Ей казалось теперь, что она могла бы не сообщать Фреду даже тех незначительных сведений о себе, которые она дала. Но она чувствовала по отношению к нему нечто вроде морального обязательства после того, что он рассказал ей о себе. Уходя, она знала, что никогда больше не увидит этого человека – во всяком случае, если это будет зависеть от ее желания.

Фред вышел из кафе через несколько минут после нее. Но вместо того, чтобы вернуться домой, он пошел пешком по Елисейским полям, направляясь к *place d'Etoile*. До сих пор ему почти не приходилось бывать в этом квартале города. Он спустился по *avenue Foch* и вошел в Булонский лес. Там он свернул в одну из боковых аллей и, найдя удобное, как ему показалось, место, лег на траву, подпер голову рукой и опять углубился в те мысли, которые овладели его воображением за последнее время. Они были сейчас крайне неясными и расплывчатыми, но одну вещь он знал твердо: он не хотел продолжать жить так, как он жил до сих пор.

За его спиной послышался звук копыт. Он обернулся: по аллее ехали верхом двое, молодой человек и девушка. Лошади шли шагом и обмахивались хвостами. До слуха Фреда донеслось несколько слов, которые произнес молодой человек, и фраза девушки, ответившей ему. Они говорили на иностранном языке. Он долго смотрел им вслед, жуя блеклую травинку и думая все о том же. Бросить *rue St. Denis*, *Жинетту*, *Ренэ*, *Дуду*, уйти однажды утром и не вернуться. Даже больше – исчезнуть, сделать так, чтобы Фред перестал существовать и чтобы через несколько лет... Но его воображение отказывалось идти дальше.

Тогда он стал думать о практической стороне своего проекта, который показался бы непонятным и необъяснимым для всех, кто его знал. Нельзя было, конечно, откладывать каждый день какую-то сумму денег, на это потребовалось бы слишком много времени и терпения. Деньги нужны были сразу. Но до всего этого надо было встретить Роберта Бертье, это было самое плавное. Он вспомнил с досадой, что Роберта не было в Париже, он, вероятно, уехал куда-

нибудь на лето с Жаниной, и, может быть, теперь, где-то за сотни километров отсюда, они говорят о нем, Фреде, и смеются над его неудачей. Очень возможно, что Роберт больше не боялся его. Бели это было так, то он был не прав, потому что Фред был не таким, как другие, и тем, кто был склонен это забывать, придется дорого заплатить за свою ошибку.

Он поднялся с травы и пошел по направлению к городу. В правом кармане его пиджака лежал револьвер. Он шел, прямо глядя перед собой, чувствуя каждое движение своего тела, и думал о том, что нет опасности, которая застала бы его врасплох: он был готов к действию в любую минуту. Но аллеи Булонского леса были пустынные, был мирный июльский день в Париже, не было никакой опасности и никакой необходимости действовать, было тепло, был сонный воздух, и в высоком небе неподвижно стояли белые перистые облака.

* * *

Труп Шарпантье был найден в лесу, возле дороги, недалеко от Фонтенбло, на рассвете дождливого дня, четвертого августа. Его увидели жандармы, проезжавшие на велосипедах. Шарпантье лежал, уткнувшись лицом в придорожную траву, и кровь густо запеклась на его голове: у него был проломлен череп. Согласно заключению полицейского врача, смерть последовала от того, что Шарпантье, падая, ударился со всего размаха головой о каменную тумбу с указанием числа километров от этого места до Парижа. На трупе нашли бумажник, по-видимому, нетронутый, потому что там была известная сумма денег – около трехсот франков, – несколько фотографий, изображавших голых женщин в разных позах, и визитную карточку, на которой было написано: «Виктор Шарпантье, помощник бухгалтера, 265, бульвар Анатоль Франс, Монруж». Секретарь ближайшего комиссариата составил соответствующий протокол: «в четыре часа шесть минут утра»... «около семидесяти метров от места, называющегося»... «смерть последовала много часов тому назад»... «никаких других знаков насилия»... Полицейское следствие установило целый ряд фактов, относившихся к жизни Шарпантье, но их совокупность не могла дать никакого объяснения

его смерти. Шарпантье был на отличном счету в своем предприятии, был примерным семьянином, вел образцовый образ жизни, никогда подолгу не отсутствовал из дому, не имел подозрительных знакомств и отличался еще, в довершение всего, отсутствием каких бы то ни было разорительных страстей. Накануне того дня, когда его труп был найден около Фонтенбло, он ушел утром из дому, как всегда, и проработал в конторе до вечера. Затем он вышел оттуда, как выходил, кончив работу, каждый день, – и исчез. Куда он направился и что случилось потом, было невозможно установить, как нельзя было понять, почему он очутился вечером на дороге в Фонтенбло. Все сведения, собранные о нем, были самыми положительными. В конце концов, выяснилось только одно обстоятельство, которое не могло не показаться несколько странным; в сберегательной кассе и в банке, где у Шарпантье был текущий счет, оказалась довольно крупная сумма денег, настолько крупная, что вряд ли он мог ее сэкономить, даже если предположить, что он откладывал максимум того, что мог, всю свою жизнь. Но предположение, напрашивавшееся само собой, о том, что доверенная ему отчетность могла бы дать этому достаточное объяснение, оказалось ошибочным: отчетность была в идеальном порядке, и директор предприятия сказал, что Шарпантье можно было дать миллионы и быть уверенным, что ни один франк не пропадет. Тот факт, что в его бумажнике были неприличные фотографии, тоже ни в какой мере не был показательным: Шарпантье был немолодым человеком и в этом «эротическом уклоне», как это назвал в своем отчете репортер распространенной вечерней газеты, не было ничего странного. Предположение о самоубийстве, – помимо того, что у Шарпантье не было для этого никаких оснований, – отпадало тоже: согласно рапорту полицейского врача, Шарпантье, по всей вероятности, был выброшен из автомобиля на полном ходу. Другими словами, – без того, чтобы это можно было утверждать с абсолютной достоверностью, – надо было полагать, что Шарпантье был убит неизвестным человеком или неизвестными людьми четвертого августа – по неизвестным причинам.

«Нам остается надеяться, – писал тот же репортер, – что полицейскому следствию удастся пролить свет на те загадочные обстоятельства, при которых произошло это преступление. Можно сказать без преувеличения, что оно бросает вызов самой

элементарной логике и всем нашим представлениям о том, какими именно соображениями объясняются убийства вообще. Одно можно утверждать, не рискуя ошибиться: беспричинных убийств почти никогда не бывает и, может быть, причина тем глубже, чем более она кажется непонятной. Здесь речь идет о профессиональной чести полиции, которая должна, если она не хочет, чтобы ее престижу был нанесен непоправимый удар, выяснить, как и почему это произошло. Мы не допускаем мысли, что это убийство может остаться безнаказанным. Мы хотим знать, – и мы имеем на это право, – как и почему умер помощник бухгалтера Шарпантье».

Эти последние строки отчета должны были, однако, рассматриваться просто как стилистическая виньетка. Репортер был достаточно опытным человеком и понимал, что задача полиции в данном случае была почти неразрешима. Впрочем, вся жизнь Шарпантье не давала, казалось бы, решительно никаких оснований для сколько-нибудь произвольных предположений о том, что он из себя представлял. Было неизбежно, конечно, что будет написано несколько строк о его двойной жизни, но тот бесспорный факт, что все его времяпрепровождение всегда можно было установить с необыкновенной легкостью и точностью в любой период его существования, лишал эту теорию всякой убедительности. Единственное событие, несколько отличавшееся от тех, которые составляли ежедневное, ежемесячное и ежегодное существование Шарпантье, никогда не бравшего, по экономическим соображениям, отпуска, произошло десять лет тому назад, когда он был послан своим предприятием в Марсель для проверки некоторых итогов тамошнего отделения фирмы. Он провел там четыре дня и, выполнив за это время свою работу, вернулся в Париж. Полиция заинтересовалась вопросом о том, когда именно Шарпантье внес в банк ту сумму, размеры которой не могли не удивить всех, кто знал его скромные доходы. Но как раз в годы, непосредственно предшествовавшие его путешествию в Марсель и непосредственно за ним следовавшие, он не сделал ни одного вклада. Они начались значительно позже и чаще всего совпадали с началом месяца. Было ясно только одно: в жизни Шарпантье было нечто, что так или иначе предопределило его трагическую и, вероятно, насильственную смерть. Это могла быть какая-то ошибка в сложном расчете, это могла быть какая-то личная

его особенность, о которой знали только он и тот или те, кто совершил убийство – если он действительно стал жертвой убийства. Но для того, чтобы прийти к этому выводу, вовсе не было необходимости прибегать к помощи полицейского следствия. Он вытекал из того факта, что, по всей вероятности, – как это было сказано в заключении врача, – Шарпантье был именно убит, а не умер своей смертью.

Не считая семьи покойного, где его неожиданный уход из жизни, впрочем, не вызвал особенно бурных реакций ни со стороны его детей, к которым он был неизменно строг и которые его не очень любили, ни со стороны его жены, в существовании которой он давно перестал играть главную роль, не считая его сослуживцев и начальников, отнесшихся к этому как к любому другому факту газетной хроники, – был один человек, испытавший нечто вроде удовлетворения, когда он прочел об этом в уголовной рубрике вечернего листка: сенатор Симон. Ему сразу бросился в глаза заголовок: «Таинственное убийство в лесу Фонтенбло». Он находился в это время в Виши. Он внимательно прочел заметку об этом, и когда он убедился, что речь шла действительно о помощнике бухгалтера, Викторе Шарпантье, примерном отце семейства и нравственно безупречном человеке, он отложил газету и задумался на несколько минут. По-видимому, Шарпантье был менее осторожен, чем это казалось на первый взгляд, и у него были знакомства, которых следовало избегать. Это было единственное объяснение, которое ему пришло в голову. Если бы ему сказали, что была какая-то связь между тем, что Шарпантье долго шантажировал его, Симона, и тем, что он потом был убит, он бы пожал плечами. Он испытал необыкновенное облегчение и почувствовал, что избавился от неприятного груза. – Тем лучше, – пробормотал он про себя, – тем лучше. – Он был почти благодарен судьбе, которая позаботилась о том, чтобы убрать Шарпантье из его жизни. Таким образом, и с этой стороны полицейское следствие не могло ожидать никаких разъяснений; и причина этого преступления до конца осталась непонятной, как если бы ее не существовало вообще. Следствие было фактически прекращено. Журналист вечерней газеты, все тот же, написал статью, где приводил ряд почти отвлеченных криминологических соображений и приходил к заключению, что это убийство следовало рассматривать как классический пример преступления, в расчете

которого не было допущено ни одной ошибки. Особенное совершенство выполнения он видел в том, что убийце или убийцам удалось сделать так, что причина преступления осталась неразгаданной, – главное и, в сущности, непреодолимое препятствие для всякого следствия. Он высказывал, однако, убеждение, что только недостаток некоторых основных данных, а не идеальная отвлеченная неразрешимость, мешает беспристрастному исследователю установить, как именно и почему именно это произошло.

Его статья была последним по времени упоминанием о Шарпантье. Потом о нем перестали писать и перестали им интересоваться. Преступление осталось нераскрытым, и никто из тех, кому было поручено обнаружить убийц, даже не узнал, что, собственно, предопределило участь Шарпантье. Это было понятно и неизбежно, – потому что никому в голову не могла прийти мысль, что в вопросе о жизни или смерти этого человека главную роль, решившую его участь, играли некоторые анатомические особенности Маргариты, эльзасской девушки, анатомические особенности, делавшие понятным ее пристрастие к физически сильным людям. При другом стечении обстоятельств эта ее особенность в выборе любовников могла бы не повлечь за собой никаких неприятностей для кого бы то ни было. Но в данном случае это ее пристрастие предопределило судьбу Шарпантье – потому что Маргарита была горничной у сенатора Симона, потому что она познакомилась некоторое время тому назад с Дуду, потому что от Дуду у нее не было секретов и потому что, лежа с ним в кровати, в своей комнате, и глядя на него влюбленными глазами, она рассказала ему о Шарпантье, которому Симон сказал во время его очередного посещения:

– У меня нет денег, я могу вам дать только чек. Если вы непременно хотите наличными, приходите в среду вечером после вашей работы, и вы сразу получите все двадцать тысяч. И не опаздывайте, потому что я уезжаю в Виши вечерним поездом.

Маргарита слышала этот разговор и рассказала о нем Дуду, как она рассказывала ему все, что происходило в ее несложной жизни: прачка не вернула ей одной простыни, слесарь обещал прийти в четыре, а пришел только в пять. И Дуду так же, быть может, не обратил бы на это внимания.

Но за Дуду стоял Фред. Он давно следил за домом сенатора и думал о том, как именно следует действовать. Ему нужно было знать, где Симон хранит свои деньги и драгоценности, есть ли у него несгораемый шкаф, и если есть, то какой приблизительно системы. Это он узнал, что полная девушка с маленькими голубыми глазами и явным эльзасским акцентом служит горничной у сенатора. Его собственная попытка завязать с ней знакомство не привела ни к чему, и тогда он послал вместо себя Дуду. Когда Дуду передал ему слова Маргариты, Фред сказал:

– В среду вечером мы это устроим. Я все беру на себя, ты будешь делать только то, что я тебе буду говорить.

В понедельник утром Маргарита уехала на две недели в Эльзас. Во вторник вечером Дуду, – который до того, как выступать на ринге, был шофером, – увел синий четырехместный автомобиль, который принадлежал какому-то коммивояжеру и который показал ему Фред. В среду вечером этот автомобиль стоял недалеко от дома, в котором жил сенатор Симон. Дуду был у руля; в глубине машины сидел Фред. В половине восьмого Шарпантье, поднявшись по бульвару, позвонил у двери сенатора. Без четверти восемь он появился на пороге и затворил за собой дверь. Фред вышел из автомобиля и, не обернувшись к Дуду, пошел наперерез Шарпантье. По тротуарам шли люди, по бульвару проезжали автомобили. Небо было покрыто тучами, и, несмотря на ранний час, казалось, что начинает темнеть. Фред приблизился к Шарпантье и сказал:

– Будьте любезны следовать за мной.

Если бы Шарпантье не испытал того смертельного испуга, который совершенно парализовал его волю, он, вероятно, спросил бы Фреда, кто он такой и на каком основании он, Шарпантье, должен следовать за ним. Но он так испугался, что на некоторое время потерял дар речи. Кроме того, в его кармане лежало двадцать тысяч франков, и, может быть, это было известно, и, может быть, было известно, каким путем они получены. Он шел на обмякших ногах рядом с Фредом. Фред втолкнул его в автомобиль, и машина сразу двинулась. Они проехали по окраинным бульварам, пересекли реку и помчались опять по прямой линии. Шарпантье спросил едва слышно – в горле у него пересохло:

– Куда вы меня везете?

– Пожалуйста, без вопросов, – холодно сказал Фред.

Автомобиль проехал через Вильжюиф и, набирая скорость, шел теперь по дороге в Фонтенбло. Фред молчал. Шарпантье смотрел мутными, отчаянными глазами на широкие плечи Дуду и его невыразительный, равнодушный затылок. У него учащенно билось сердце, и когда он провел рукой по лицу, его вдруг точно издали удивило ее холодное прикосновение. Он сделал над собой усилие и еще раз спросил:

– Я все-таки хочу знать, куда мы едем?

И тотчас же он почувствовал, что в его правый бок упирается дуло револьвера.

– Еще одно слово – и конец, – сказал Фред. Навстречу автомобилю неслись темные деревья.

Начал идти дождь, и по стеклам машины заструились капли воды. И тогда, именно в эту минуту, Шарпантье вдруг понял, что он погиб. Он хотел что-то сказать, но вспомнил предупреждение Фреда и не посмел. Рубашка его была мокрой от пота. Ему было трудно дышать. Потом перед ним появились на секунду далекие и туманные глаза Анны – тогда в Марселе... Он был близок к обмороку. Фред сказал, обращаясь к Дуду:

– Остановись с правой стороны, за этим поворотом.

Автомобиль остановился. Фред сказал Шарпантье:

– Бумажник.

Шарпантье вынул бумажник и отдал его Фреду. Фред пересчитал деньги, взял двадцать тысяч, оставил триста франков и вернул бумажник Шарпантье. Потом он спросил:

– За что старик платит тебе деньги?

По крыше автомобиля стучал дождь, капли воды безостановочно текли по стеклам. Шарпантье молчал и смотрел перед собой отчаянными глазами.

– Я тебя предупреждаю, что если ты мне не ответишь, для тебя все кончено, – сказал Фред.

Шарпантье тяжело дышал, но не произносил ни слова.

– Ну, – сказал Фред.

Дуло револьвера опять уперлось в бок Шарпантье.

Тогда он рассказал невыразительным и прерывающимся голосом, как все произошло. Когда он кончил говорить, Фред сказал:

– Забудь теперь дорогу туда. Этим займусь я. Твое дело кончено. Если ты еще когда-нибудь там появишься... Теперь выходи.

Дорога была пустынна. На ровной ее поверхности вскакивали и лопались пузыри дождя. Шарпантье вышел из машины и пошел слепо и прямо перед собой. Он боялся обернуться, ему казалось, что Фред стоит в двух шагах от него с револьвером в *руке*.

Дуду, беззвучно смеясь, разогнал машину и, поравнявшись с Шарпантье, надавил на клаксон. Шарпантье в ужасе метнулся в сторону, нога его зацепилась за проволоку, проходившую невысоко над землей, и в конце своего стремительного падения он ударился со всего размаха головой о каменную придорожную тумбу. Потом он дернулся еще раз и остался неподвижен.

– Ты сбил его с ног, дурак! – закричал Фред.

– Я до него не дотронулся, – испуганно сказал Дуду – Честное слово... Я хотел его немного напугать... А править я умею... ты мне поверь...

Они вернулись в Париж. На одной из улиц, пересекавших avenue d'Italie, они оставили автомобиль, поехали в метро на rue St. Denis и пошли обедать в маленький ресторан, где обедали обычно.

* * *

Сенатор Симон вернулся из Виши в конце августа. Как всегда, он чувствовал себя теперь значительно лучше, чем до отъезда. Но того, на что он надеялся, все-таки не произошло. Он думал, что те мысли, которые его занимали последнее время, объяснились в первую очередь причинами физиологического порядка и что, как только он почувствует себя лучше, они сами собой исчезнут. Но этого не случилось. Хотя врачи единодушно говорили ему, что состояние его здоровья не оставляет желать лучшего и единственное, чего ему следует остерегаться, это переутомления сердца; хотя, с другой стороны, некоторые внешние обстоятельства, доставлявшие ему до сих пор много огорчений, перестали существовать – Валентина, вопреки обыкновению, вела себя прилично и ее пребывание в Англии обошлось без единого скандала, Шарпантье умер и одновременно с его смертью отпала эта постоянная угроза шантажа, – несмотря на все

это, сенатор Симон упорно возвращался к тем соображениям, которые впервые пришли ему в голову незадолго до его сердечного припадка. В Виши он об этом почти не думал. Но, вернувшись в Париж, он снова каждое утро чувствовал с постоянной тревогой свою физическую незначительность и хрупкость. Он впервые за много лет, выходя из ванны, стал рассматривать свое тело, потому что накануне ему попался иллюстрированный журнал, на обложке которого был изображен «самый красивый атлет мира», голый мужчина с выпуклыми мускулами. Он вспомнил о нем, когда стоял в купальном халате перед зеркалом. Он распахнул его полы, увидел свое собственное тело и сам поразился его физической несостоятельности. Он подумал, что это непоправимо, – и пошел пить кофе. Его мысль все время цеплялась за это слово – непоправимо, – это была отправная точка его рассуждений, и это беспощадное слово было приложимо не только к виду его тела, но и ко всему остальному. Все было непоправимо, потому что обратного движения быть не могло, совершенно так же, как не могло быть чудес. Жизнь была на девять десятых прожита, и нельзя было изменить ни того, что она прожита, ни того, как она была прожита. *Думая* об этом, он был вынужден констатировать одну несомненную ошибку, допущенную в самом начале. Она заключалась в убеждении, что, достигнув определенных результатов, которые он поставил себе целью, он будет испытывать глубокое удовлетворение. Только теперь он понимал, как ему казалось, что перспектива этого удовлетворения, заставлявшая его совершать некоторые поступки, которых можно было не совершать, была совершенно произвольным предположением и ничему реальному не соответствовала. Что, собственно говоря, давало ему возможность полагать, что это будет именно так, и как можно было в этом быть уверенным?

Он сидел перед остывшим кофе, с небритым желтым лицом и потухшими глазами. Часовая стрелка на огромных стенных часах подходила к половине одиннадцатого, ему давно нужно было быть одетым и ехать по делам. Но не хотелось двигаться. Что он знал за свою жизнь, кроме этого периодического напряжения каждый раз, когда возникал вопрос о более или менее значительной сумме денег, которую ему предстоит получить благодаря той или иной комбинации? Какие-то люди стрелялись из-за неудачной любви, гибли

в арктических или тропических экспедициях, перелетали океан, пересекали пустыни, открывали новые законы мира, создавали сложные познавательные теории, и, вероятно, у каждого из них было сознание, что в конце того или иного испытания или в результате длительного труда его ждет награда нравственного удовлетворения. Были другие, огромное большинство людей, которые не совершали в своей жизни ничего героического, но которые бывали то счастливы, то несчастны, и последовательность радостей и огорчений не давала им времени подумать ни о чем ином. Когда они были счастливы, они радовались, когда они были несчастны, они огорчались, и жизнь их была полна... И все это прошло мимо него. Может быть, это было неважно. Но то, ради чего он жил и работал, имело, вероятно, еще меньшую ценность, чем то, ради чего жили все эти разные категории людей.

Он встал, наконец, со своего кресла и пошел бриться. Когда он поднялся, он опять ощутил тупую боль в сердце, ту самую, которая у него бывала до отъезда в Виши. Он остановился и оперся рукой о стол. В этом мучительном и чисто физическом, казалось бы, ощущении непонятным образом было заключено все остальное, все, о чем он так упорно думал последнее время и в чем было сознание непоправимости, не менее несомненное, чем это мускульное сжатие – или расширение – в левой стороне груди.

После возвращения из Виши он стал проводить так почти каждое утро. Необыкновенное количество давно забытых вещей вдруг всплыло в его памяти; но не было ни одного, которое было бы ему приятно. Он вспоминал людей, обращавшихся к нему с просьбами. Каждый раз у них была единственная надежда, только он мог их спасти... его влияние... его авторитет... Он не отказывал лишь тогда, когда знал, что может потом извлечь из этого выгоду. Были совершенно сумасшедшие люди – вроде одного редактора провинциальной газеты, рекомендованного ему его избирательным агентом и который был настолько простодушен, что обратился к нему с просьбой о довольно значительной ссуде. Он тоже говорил, что это его последняя надежда, но в данном случае те же самые слова имели иное значение: получив отказ, он вернулся в провинцию, и на следующий день сенатор Симон узнал о его самоубийстве. Он тогда сказал, что в каждой человеческой жизни неизбежны ошибки. Он

теперь понимал, что это не было, собственно говоря, мыслью в точном значении этого слова. Сказать, что ошибки неизбежны в человеческой жизни, или сказать, как он это делал в своих речах, что правильно поняты национальные интересы требуют от нас сознательного отношения к тем проблемам, которые возникают, – это была не мысль, а проявление нежелания или неспособности мыслить. Однако так или почти так он говорил всегда. Но если бы сейчас предложили кому-нибудь из тех людей, его анонимных избирателей, доверие которых по отношению к нему могло, конечно, объясняться только их наивностью, – поменяться с ним своей судьбой, тот, вероятно, не согласился бы. Может быть, его, сенатора Симона, не нужно было жалеть. Но завидовать ему тоже не стоило.

Мыльный вкус во рту, который его так раздражал, теперь исчез и сменился другим, металлическим привкусом; и как раньше, все, что он ел или пил, пахло мылом, так теперь это отзывалось не то жостью, не то оловом. Но в этом новом ощущении был какой-то трагический оттенок, которого не было раньше. И это тоже объяснялось недостаточным действием печени. Но ему было не с кем говорить о своих недомоганиях. Когда он как-то сказал об этом Валентине, – она на днях вернулась из Англии, – она посмотрела на него немного удивленными глазами и ответила, что это, вероятно, возраст. Он с раздражением бросил на нее быстрый взгляд: ей было двадцать два года, она была идеально здорова – и что она могла понять в чьих бы то ни было недомоганиях?

Находясь в Англии, она прочла газетную заметку о смерти Шарпантье. Она тотчас же подумала, что теперь у Симона будет одним удобным предлогом меньше для отказа в деньгах, которые ей могли понадобиться. Когда она сказала ему об этом, он возмутился:

– Это, кажется, единственное, что тебя интересует, – сказал он. – Ты не думаешь, что за то, чтобы у тебя было больше денег, этот человек заплатил своей жизнью?

Она пожала плечами.

– Он был шантажист, – сказала она, – это опасная профессия. На что другое он мог рассчитывать в конечном итоге?

– У него была жена и дети.

– Это ничего не меняет и не делает его добродетельнее, чем он был.

– У него был здравый взгляд на вещи, – задумчиво сказал Симон: он вспомнил свои короткие разговоры с Шарпантье о падении авторитета власти, о необходимости другого воспитания молодежи, более строгого, о том, что политика должна была бы руководствоваться в первую очередь принципами христианской морали.

Она ничего не ответила и ушла.

Проходили дни, не принося никакого улучшения. Даже коллеги Симона по сенату, у каждого из которых было достаточно забот о своем собственном здоровье и у которых поэтому не оставалось времени думать о других, даже они заметили, что Симон начал сдавать. Он стал неестественно рассеянным, явно не интересовался окружающим и немного оживлялся только тогда, когда разговор заходил о его самочувствии. Теперь он просиживал целыми часами дома в кресле, совершенно один, сумрачно глядя в противоположную стену и думая, что никакое понимание чего бы то ни было теперь не имеет для него практического значения: слишком поздно, и ничего изменить нельзя.

Он сидел так однажды вечером, в пустой квартире, Валентины не было дома, как всегда, Маргарита давно ушла, кончив свою работу. Было около одиннадцати часов вечера. Он вдруг услышал шум чьих-то шагов. Он обернулся и остался неподвижен.

В двух шагах от него стоял незнакомый, очень молодой человек с худым лицом и неподвижными глазами. В правой руке он держал револьвер.

– Господин сенатор, – сказал он голосом, который, как показалось Симону, звучал неестественно, – я хочу вам сказать только несколько слов.

Он посмотрел на Симона и положил револьвер в карман.

– Вы знаете, что Шарпантье умер. Перед смертью, однако, он поручил мне обратиться к вам и передать, что теперь его место занимаю я.

Но Симон едва слышал его. Железный вкус во рту вдруг необыкновенно усилился, сердце заболело так, что он едва не потерял сознание, и ему было совершенно очевидно сейчас, что все остальное не имеет никакого значения. Но в глазах его не отразилось ничего, они были так же мутны, невыразительны и спокойны.

– Я должен вам сказать... – продолжал Фред.

Перед Симоном внезапно возникло очень далекое тусклое бело-красное пламя. Он понял, что это была смерть. Он сказал:

– Значит, это так!

Это были единственные слова, которые он мог произнести. Затем его тело соскользнуло с кресла, и через секунду он лежал на полу, открыв рот, губы которого стали лиловыми. Фред стоял над его трупом, засунув руки в карманы и глядя на него расширенными глазами. Потом он посмотрел по сторонам и вышел из комнаты на цыпочках. Он ушел тем же путем, что проник в квартиру: дверь кухни, выходящая на черный ход, не была заперта на ключ, потому что Маргарита постоянно забывала это делать – и он это знал.

Его никто не видел и никто не остановил. Он вышел на улицу и шел, глубоко задумавшись, мимо фонарей и деревьев, ничего не видя перед собой, пока не наткнулся на какого-то высокого мужчину, который закричал свирепым голосом:

– Не можете быть внимательнее? болван! Фред, не понимая, взглянул в его лицо.

– Нечего теперь на меня смотреть, надо было смотреть раньше! – так же свирепо сказал мужчина. – Я вас научу вежливости!

Фред вынул из кармана револьвер и направил его на этого человека. В его глазах стояло то же далекое и задумчивое выражение.

– Это так близко, смерть? – сказал он с вопросительной интонацией.

Он опять увидел перед собой худое старческое тело Симона на полу и его лиловые губы.

– Это так легко? Умоляю вас... – сказал человек изменившимся голосом.

Фред сунул револьвер в карман и пошел дальше. Была мягкая сентябрьская ночь, дул легкий южный ветер, направо от бульвара темнел Булонский лес, по которому время от времени пробегали широкие световые полосы автомобильных фар, освещавшие деревья, траву и листья.

* * *

Роберт вернулся в Париж вместе с Жаниной двадцать восьмого сентября. Они приехали бы раньше, если бы по дороге Роберт не свернул в сторону и не сделал бы значительного круга; ему непременно хотелось увидеть деревню, где прошло детство Жанины. Они пробыли там целый день. Это был поселок, состоявший из маленьких, чаще всего одноэтажных домов с толстыми деревянными ставнями на окнах, с почерневшей черепицей крыш. Они побывали везде – на кладбище, в церкви, где уже не было прежнего аббата, переведенного в другое место, в поле и в небольшом лесу, который находился недалеко отсюда. Был серый и прохладный день, над землей стоял легкий туман.

– Вот дом, в котором я жила, – сказала Жанина, – за домом двор, во дворе колодец, который скрипит, когда начинается ветер. – Она смотрела на это небольшое здание, на эту узкую улицу и думала, какое оно бедное и маленькое и как бесконечно далеко то время, когда она девочкой жила здесь. – Вот отсюда мы выходили с дедушкой, – сказала она, посмотрев Роберту в лицо; в ее глазах было выражение далекой нежности. – Хочешь, я поведу тебя той дорогой, которой мы с ним ходили столько раз?

– Да, да, конечно, – сказал он.

Они свернули на немощеную сельскую улицу и через несколько минут вышли из деревни. Навстречу им попался обтрепанный старик-горбун, который взглянул на них, пробормотал что-то невнятное и пошел дальше, оборачиваясь время от времени.

– Это Жюль, – сказала Жанина, – он самый бедный в деревне. Он всегда был такой, каким ты его видишь, грязный, оборванный и несчастный. Бабушка мне говорила, что он в молодости хотел жениться на одной из наших девушек, но она отказала ему, и с тех пор он такой печальный. Но, может быть, это просто деревенские рассказы.

Они долго шли по неровному полю с вытоптанной травой и редким кустарником, через прохладную осеннюю печаль этого плоского пейзажа. Наконец они дошли до невысокого бугорка; в нескольких шагах от него лежали холодные и влажные рельсы.

– Вот тут мы с ним сидели и ждали экспресса, – сказала Жанина, не улыбаясь, – и он вынимал свои огромные часы, чтобы посмотреть, через сколько времени покажется поезд. А там, ты

видишь, – она показала рукой, – крутой поворот, тот самый, на котором всегда скрежетали колеса.

Она стояла рядом с ним, положив ему руку на плечо. Он повернул голову в ее сторону и увидел, что ее лицо было мокро от слез.

– Не надо плакать, – сказал он. Она кивнула головой.

– Все они ушли, – сказала она, – мама, бабушка, бабушка. Они были простые и бедные люди. И я думаю, что они были бы счастливы, если бы видели меня сейчас здесь, с тобой. Это было бы четыре раза счастье, – наивно сказала она. – Но ты видишь, судьба не хотела быть такой великодушной, из четырех раз она оставила только один. И только потому, что это была слепая случайность. Что было бы теперь со мной, если бы ты проходил по rue St. Denis на десять минут позже?

– Это было невозможно, – сказал он, улыбаясь. – Я не мог опоздать.

– Ты меня не бросишь, Роберт? Я теперь не могла бы жить без тебя.

Он был взволнован и тронут не столько тем, что она сказала, сколько интонацией ее голоса. И чтобы скрыть это волнение, он ответил совсем не то, что хотел:

– Тот факт, что ты не могла бы без меня жить, не имеет особенного значения, потому что в этом не представляется никакой необходимости.

И он обнял ее с такой силой, что у нее занялось дыхание и она сказала:

– Я согласна на все, только не надо со мной так жестоко обращаться.

Они приехали в Париж вечером, приняли ванну, переоделись и пошли в ресторан обедать. Когда они вернулись, Жанина сказала:

– Ты знаешь, я себя не очень хорошо чувствую.

Он посмотрел на нее с удивлением и беспокойством.

– Что с тобой?

– Не знаю, какая-то внутренняя боль.

– Хочешь, я вызову доктора?

– Нет, нет, это пройдет. Мне уже немного лучше.

Но утром, когда Роберт открыл глаза, он увидел ее страдальчески сморщенное и усталое лицо. Она призналась ему, что почти не спала,

но не хотела его будить. Он поднялся с кровати и, не одеваясь, в пижаме, позвонил доктору, который обещал приехать через полчаса. Роберт его знал, – это был спокойный пожилой человек с очень живыми глазами и седой головой. Он осмотрел Жанину и сказал:

– Это припадок аппендицита, ее надо немедленно оперировать. Если вы этого не сделаете, через несколько часов может начаться перитонит. Вот вам адрес клиники. Где ваш телефон? Я предупрежу хирурга, это мой друг.

Когда Роберт привез Жанину в клинику, доктор в белом халате, сверкающем от крахмала, сказал профессионально-небрежным голосом:

– Совершенные пустяки... Если бы все операции были такими.

Роберт стоял и смотрел на его руки с необычайно чистыми, толстыми и длинными пальцами. Как только он увидел эти руки, он почувствовал к этому человеку неограниченное доверие. У него было впечатление, что все движения доктора должны были отличаться необыкновенной точностью и, наверное, эти удивительные пальцы занимали именно то место, которое было нужно, и не смещались ни на миллиметр.

– Операция будет часов в двенадцать, – сказал доктор. – Вы можете прийти немного позже. Через несколько дней она вернется домой.

Операция прошла благополучно, и когда Роберт вернулся в клинику, Жанина сказала ему, что чувствует себя прекрасно. Она лежала на узкой кровати, простыни которой отличались, как показалось Роберту, той же особенной белизной, что и халат доктора. Он просидел у нее два часа, потом поехал повидать свою мать, которой он не застал дома. Тогда он поехал на фабрику, к отцу, вместе с ним вернулся в квартиру родителей, где, наконец, увидел Соланж, поужинал там и приехал домой только поздним вечером. За это время он два раза звонил в клинику. Ему неизменно и лаконически отвечали, что Жанина чувствует себя прекрасно.

Он подъезжал к дому с каким-то неприятным чувством, которого никак не мог понять. Жанина, вероятно, в это время спала в своей комнате, и ее состояние теперь не внушало ни малейших опасений, у его родителей все обстояло благополучно. Чем могло быть вызвано

тягостное ощущение, которое он испытывал? Он напряженно думал об этом и не находил никакого объяснения.

Но когда он проезжал мимо уголовного дома, он вдруг заметил в неверном свете фонаря и в течение одной короткой части секунды знакомую линию узких плеч и надетую набок шляпу – и вспомнил о существовании Фреда, который, очевидно, ждал его возвращения.

Он совсем забыл о нем там, в Провансе. Ему казалось, что за это время он узнал столько вещей, что все предшествовавшее этому периоду его жизни отодвинулось очень далеко, даже самые недавние события. Но мир, в котором проходило его существование, стоял – или двигался – сам по себе: Роберт мог быть счастлив или несчастен, беден или богат, здоров или болен, rue St. Denis при всех условиях оставалась такой, какой была раньше, и этого не следовало забывать. И появление перед его глазами этой шляпы и этой линии плеч сразу вернуло его к той действительности, где не было места бесконечным воспоминаниям о Жанине и тщетным попыткам теоретически определить, что такое счастье, – но где была непосредственная угроза всему этому, угроза, которой можно было противопоставить только силу.

Он поставил автомобиль в гараж и поднялся к себе. Он мог, конечно, позвонить по телефону в полицию, но он знал, что он этого не сделает. Он подумал при этом, насколько сильны в нем какие-то вздорные этические предрассудки: он предпочел бы любой риск тому, чтобы его считали трусом. Он прекрасно понимал теоретически, что это бесплодное и ненужное тщеславие. Но он знал в то же время, что этот опасный вздор всегда и во всех обстоятельствах окажется сильнее любого рассуждения, даже самого непогрешимого.

Он обдумывал теперь план действий. У него было преимущество, которого не было в первый раз: он был готов к тому, что Фред может явиться с минуты на минуту. Если он один, то его опять ждет фиаско – при сколько-нибудь удачном для Роберта обороте, который примут события. Но если их хотя бы двое... Он не сомневался, что на этот раз Фред будет себя вести иначе, чем во время первого визита. Он вспомнил его глаза и почувствовал холод в спине. Потом он внимательно осмотрел все – и понял, что исход его неизбежной встречи с Фредом будет зависеть главным образом от одной технической подробности: электрический выключатель, дававший

свет в переднюю, находился не с внутренней, а с внешней стороны двери. Если Фред войдет в освещенную комнату, шансы Роберта будут скомпрометированы. Если он войдет в темную комнату, преимущество окажется на стороне Роберта.

Он потушил свет в передней, зажег лампу в следующей комнате и плотно затворил туда дверь. Из темной передней была видна только световая щель непосредственно между полом и дверью второй комнаты, и получалось впечатление, что Роберт находился именно там. Он не запер входную дверь на ключ, придвинул кресло к стене направо от порога, сел и начал ждать. В доме стояла тишина, и он явственно слышал свое собственное дыхание. По мере того как проходило время и это длительное ожидание все больше и больше раздражало его, он начал чувствовать почти что ненависть к этому примитивному и свирепому человеку – каким представлялся ему Фред, – который не учитывал самых простых вещей и с тупой настойчивостью стремился вернуть Жанину, не понимая, что теперь это было слишком поздно. Он думал о нем с презрением и гневом, морща в темноте лицо так, как если бы до него дошло какое-то удушливое зловоние.

Потом внимание его стало притупляться, и он начал думать о другом. Он увидел перед собой неправильный треугольник маленького морского заливчика, прибрежный песок, верхушки сосен над головой и загорелое тело Жанины в купальном костюме, ее влажные волосы и прозрачные капельки воды на ее коже. Затем он вспомнил, как, идя рядом с ней в мягкой тьме летней ночи и чувствуя ее руку на своем плече, он силился представить себе, что они расстались, он вернулся домой один, и подумал, что она больше никогда не придет и он никогда не увидит ее глаз. И эта детская игра воображения доставляла ему особенно пронзительное ощущение счастья, потому что он чувствовал прикосновение ее тела к своему правому боку и, когда он опускал глаза вниз, он видел ее ноги в белых туфлях, которые отделялись от дороги одновременно с его сандалиями.

На лестнице раздались шаги поднимающегося человека. У Роберта захватило дыхание. Он встал со своего кресла и замер. Еще через секунду он услышал шорох ключа в замке. Потом последовал тихий скрежет, и дверь отворилась. Темная человеческая фигура

остановилась на пороге, слабо освещенная далеким уличным фонарем. Эти знакомые ему очертания – шляпа и плечи – оставались неподвижными короткое время и потом беззвучно двинулись по направлению к двери, из-под которой был виден свет. И тогда Роберт оттолкнулся руками от стены и бросил всю тяжесть своего тела вперед.

Фред не успел понять, что происходит. Ему показалось, что на него, как в мучительном сне, обрушилась стена. Он упал лицом вниз, и его правая рука, державшая револьвер, оказалась придавленной его собственным телом, и он не мог ее освободить. Левая была вытянута вдоль туловища, ее кисть была захвачена пальцами Роберта и прижата к спине. Потом он ощутил нестерпимую боль в плече и услышал короткий хруст, значения которого он не понял. На *секунду* он потерял сознание, и когда он пришел в себя, револьвера в его правой руке уже не было, она была так же неумолимо загнута на его спине, как перед этим левая, и опять, словно в кошмаре, повторилась та же невыносимая боль, и снова раздался такой же короткий и страшный хруст. Потом ощущение каменной тяжести на его теле исчезло, но он не мог пошевелиться. Когда он попытался сделать первое движение, он застонал. Затем над его головой зажегся свет и он увидел свой револьвер, который лежал на полу, в двух шагах от него. Но было совершенно очевидно, что он был бесполезен.

Роберт поднял его – Фред опять застонал – и посадил в кресло. Потом он покачал головой и сказал коротко:

– Ну вот.

– Подожди, придет моя очередь, – неуверенно сказал Фред. Он с удивлением заметил, что, в сущности, даже не испытывает никакой ненависти к Роберту. Он не чувствовал, вместе с тем, страха ни перед Робертом, ни перед чем бы то ни было, что ему могло предстоять: он находился в состоянии спокойного безразличия, которого до сих пор никогда не знал. Было похоже на то, что он следит со стороны за всем, что происходит, и его собственная судьба его интересует только так, как она интересовала бы какого-то постороннего и далекого человека.

Роберт отрицательно покачал головой. Затем он сказал голосом, в котором Фред услышал сожаление и насмешку:

– Вот твой револьвер. Чего ты ждешь, чтобы им воспользоваться?

Фред, не отвечая, смотрел перед собой мутными глазами. И как это неоднократно бывало с ним в последнее время, перед ним на секунду возникло желтое и худое лицо Лазариса. Потом оно расплылось и исчезло. Он собрал свои силы и произнес:

– Мне так больно, что мне трудно говорить. Что ты сейчас со мной сделаешь?

Роберт пожал плечами.

– А ты на что, собственно, рассчитывал?

– Я рассчитывал с этим покончить, – сказал Фред.

– Я полагаю, что это тебе удалось. Сейчас я позвоню в полицию – как в первый раз, когда ты пришел. Я не могу поступить иначе. Но я тебя предупреждаю, что, если ты еще раз что-нибудь попробуешь, ты живым не уйдешь. Сегодня я тебя пожалел.

Фред бледно улыбнулся, несмотря на страшную боль.

– Я никогда ничего не боюсь.

– Это неважно, – ответил Роберт рассеянно. – Сегодня, вероятно, ты тоже не боялся.

– Что ты со мной сделал? – спросил Фред, и Роберту показалось, что в его голосе прозвучало нечто вроде упрека. – Я не могу пошевелить ни правой, ни левой рукой. Я останусь калекой?

Роберт подумал, что если бы события шли иначе, – другими словами, если бы свет в передней зажигался только изнутри, – то, вероятно, ничего похожего на этот разговор не могло бы быть. Он сказал:

– Нет, ты не останешься калекой. У тебя вывихнуты плечи.

– С тобой опасно иметь дело, – сказал Фред. – Я понимаю: ты не способен нападать, но ты еще можешь защищаться.

– Да, да, – сказал Роберт, думая о другом. Он вышел из комнаты, прошел в свой кабинет и вызвал по телефону полицейский комиссариат. Недоверчивый голос инспектора спросил:

– Как? Опять он?

– Да.

– Это называется последовательный человек, – сказал инспектор. – Через несколько минут мы избавим вас от его присутствия. И вам опять удалось стать хозяином положения? Невероятно, невероятно. Но очевидность, конечно, сильнее всего.

Когда Роберт вернулся в переднюю, он увидел, что Фред сидел на полу, в неловком положении, вытянув перед собой ноги и положив на них локти. Рядом с ним лежал револьвер. Он посмотрел на Роберта, лицо его сморщилось, и он сказал:

– Я даже не мог его взять.

Через несколько минут явились полицейские. Инспектор взглянул на Фреда и заметил:

– На этот раз он в другом виде.

– Да, но не в лучшем, чем тогда, – сказал Роберт. – У него вывихнуты оба плеча.

Полицейские переглянулись между собой. Потом один из них подобрал револьвер, и Фреда увели. Когда захлопнулась входная дверь, Роберт сел в кресло, закрыл глаза и опять вспомнил с удивительной отчетливостью, как они шли с Жаниной сквозь эту летнюю ночь, на юге, и как ее рука лежала на его плече.

Когда потом Фред вспоминал тюрьму и все, что ей предшествовало, ему неизменно казалось, что это было бесконечно давно. Он помнил, однако, отчетливо каждую подробность. И когда он теперь думал об этом, ему было ясно то, о чем он до сих пор не догадывался. Самое главное произошло до второй встречи с Робертом, это было значительно раньше. Это случилось тогда, когда он впервые понял, что мир, даже для него, Фреда, не ограничивается тем, в чем до этого времени проходила его жизнь. Он видел опять перед собой две темные линии домов, между которыми открывалось небо, тротуары, мостовую, фонари, гостиницу и огромные красные цветы на обоях комнат: rue St. Denis. О том, что существовало нечто другое, знал Лазарис, который был первым человеком, давшим ему понять это. Да, потом эти двое незнакомых людей на террасе кафе, говорившие об истории европейской культуры, потом Жерар и Валентина Симон. Но тогда он еще не понимал как следует, что значило предупреждение Лазариса и почему он, Фред, должен был всегда и неизменно ограничивать свое существование только тем, что происходило в каменном прямоугольнике rue St. Denis. Он дорого заплатил за попытку ворваться силой туда, где законы его среды были неприменимы. Долгими днями в тюрьме он все возвращался к мысли о своем безвозвратном поражении и о том, что за ним последовало. Именно тогда он вдруг понял, что его больше не существует, Фреда –

такого, каким он был до сих пор. В тюремной больнице ему вправили плечи, и через короткое время он был совершенно здоров. Но это был уже не он. До последнего времени он всегда знал, как следует поступать и что следует делать. Теперь перед ним была пустота. Одно было ясно: rue St. Denis больше не будет. Он перестал понимать, зачем нужно было жить так, как он жил всегда, и что это ему давало. Раньше он никогда не ставил себе этого вопроса, и оттого, что он себе его не ставил, все было просто и ясно. Но даже тогда по временам он смутно чувствовал, что в этом не хватает чего-то, чего он не знал и что знали некоторые другие, чуждые ему люди. Затем на него обрушилась эта последовательность неудач – Жанина, Роберт, потом Шарпантье, потом эта мгновенная смерть Симона и то, что он, Фред, стоял тогда, глядя на его грудь, и вдруг понял, что сенатору Симону больше не страшны ни шантаж, ни револьвер, ни угроза, ни вообще что бы то ни было; и то, что Фред продолжал еще некоторое время стоять над ним, только подчеркивало, казалось, с неумолимой насмешливостью всю трагическую беспредметность его поведения. Это он понимал уже тогда. Но все другое осталось бы для него, может быть, таким же смутным и неясным, каким было раньше, если бы не тюрьма и появление в его жизни этого удивительного человека, которого звали Рожэ. О Рожэ ему восторженно говорил в тюрьме юноша с розовым лицом, который попал туда по недоразумению, вскоре выяснившемуся, и который успел сказать Фреду, что Рожэ больше всего занимается малолетними преступниками, но вообще все знает и все может сделать. Он дал Фреду адрес Рожэ и сказал, когда его можно застать.

Фред вспомнил о нем, когда его выпустили из тюрьмы и за ним затворились тяжелые ворота. Было холодное зимнее утро, мостовые блестели от мерзлой влажности, длинная узкая улица, на которую выходила тюрьма, была пустынна. Фред мог отправиться к себе и опять найти Дуду, Жинетту и Ренэ. Но он даже не подумал об этом. Он пошел по тому адресу, который ему дал молодой человек с розовым лицом. С улицы был вход на широкий двор; во дворе слева была прачечная, справа двухэтажный дом с большими окнами, через которые были видны столы, пишущие машинки и многочисленные девушки, которые на них что-то печатали. Несколько дальше он, наконец, увидел дверь с надписью: «консьерж». Он постучал туда и

спросил полную сорокалетнюю женщину с красными руками, где он может найти мр. Рожэ.

– Направо, в глубине двора, второй этаж, первая дверь налево, – сказала она.

Он дошел до этой двери и постучал.

– Войдите, – сказал низкий голос.

Он вошел и увидел человека небольшого роста, лет тридцати пяти, с растрепанной головой и живыми синими глазами. Он не сказал, как Фред этого ожидал, «кто вы такой?», или «что вам нужно?», или «в чем дело?». Он посмотрел на Фреда и произнес с вопросительной интонацией:

– Ну?

И первый раз в жизни Фред осекся. В человеке, который сидел перед ним, было что-то странное, чего он не мог определить и что делало его непохожим на других. Может быть, это была интонация его голоса, может быть, выражение его глаз. Во всяком случае, Фред твердо знал, что он никогда до тех пор не видал никого, с кем он мог бы его сравнить.

– Ну? – повторил он, взглянув на Фреда с выражением веселого удивления.

– Меня зовут Франсис, – сказал Фред, – но все называют меня Фред. Я только что вышел из тюрьмы. Я пришел к вам потому, что мне говорил о вас Андрэ Дюбар.

– А, – сказал Рожэ. – Андрэ? Да, да. Ну, хорошо. За что ты попал в тюрьму? Недоразумение?

– Нет, – ответил Фред, – за дело. Я принадлежу к уголовному миру.

Синие глаза Рожэ пристально смотрели в его лицо.

– Откуда ты это знаешь?

– Это ясно.

Рожэ отрицательно покачал головой.

– Это редко бывает ясно, – сказал он. – Тебе может так казаться, ты можешь в этом быть уверен, но это еще не значит, что это именно так. А потом, я лично думаю, что принадлежность к уголовному миру не есть нечто абсолютно неизменное и постоянное. Сегодня это так, завтра может стать иначе – и наоборот. Ты со мной не согласен?

– Не знаю, – медленно сказал Фред.

– Хорошо, мы еще об этом поговорим. Почему ты пришел ко мне?

– Не знаю, – опять сказал Фред. – Андрэ мне говорил о вас. Он мне говорил, что вам все можно сказать, что вы все знаете и все можете объяснить.

Рожэ улыбнулся, обнажив белые плотные зубы.

– Что же тебе хотелось бы знать? Андрэ ошибся: я знаю очень немного. Но я всегда стараюсь понять, хотя это мне не каждый раз удается. Сказать ты можешь все.

– Это я вижу, – ответил Фред. – Я не вчера родился. У Рожэ была очень широкая и откровенная улыбка.

– Ты и в этом уверен? Ну, рассказывай.

До сих пор Фреду не приходилось никому ничего рассказывать – кроме того дня, когда у него было свидание с Валентиной, в кафе на Елисейских полях. То, что ему нужно было говорить, сводилось всегда к нескольким коротким фразам: «Дэдэ сволочь», «Ренэ стерва», «Жерар опасный тип», «Лазарис вор», «Дуду дурак», «Я иду завтракать», «Скажи ему, что, если он придет, я ему набью морду». Кроме того, он, к своему удивлению, терялся перед Рожэ, хотя в то же время чувствовал к нему полное доверие. Видя, что он испытывает затруднение, Рожэ сказал:

– Ну хорошо, я постараюсь тебе помочь. Ты говоришь, что тебя зовут Франсис, но все называют тебя Фредом. Почему?

– Это меня так назвала одна женщина, когда я пришел в Париж после исправительного дома. Она потом умерла.

– От чего?

– Ее задушили.

Лицо Рожэ стало мрачным.

– Кто?

– Клиент.

– Да, я понимаю.

В комнате, где сидел Рожэ, было тепло и светло. За окном было влажное и холодное утро. Через высокое стекло окна был виден двор и растущее посередине двора дерево с обнаженными ветвями.

– Что было дальше?

Фред начал рассказывать. Он искал слова и часто останавливался. Рожэ не прерывал его. Фреду казалось, что он сам впервые видит, как проходила его жизнь и как постепенно опять встают эти ненавистные

воспоминания: далекая и мрачная нищета его детства и вялая вонь мусорных ящиков, в которых он рылся, отыскивая себе пропитание, тупое и свирепое лицо калеки, высокий и всегда пьяный голос его матери, потом все остальное, вплоть до прихода в Париж и встречи на набережной, первая в его жизни комната гостиницы, влажно-теплая двуспальная кровать, веера фотографий на стене. Он рассказал об этом, опустив голову. Потом он поднял ее и посмотрел на Рожэ: у Рожэ было сосредоточенное и печальное лицо.

– Вам не надоело слушать? – спросил Фред.

– Нет, нет, – ответил Рожэ. – Но это действительно грустно. Не повезло тебе. Продолжай.

Когда Фред дошел до того места, где речь должна была идти о визите к Лазарису, он остановился, подумал и потом сказал:

– Это мне особенно трудно рассказывать, я не знаю, как это сделать.

– Делай как умеешь, говори, как до сих пор. Главное – это искренность, все остальное менее важно.

Фред хотел, чтобы Рожэ понял самое главное – что с того дня, когда у него был разговор с Лазарисом, в его жизни начались изменения, которые, в конце концов, привели его сюда. Он подробно описал Лазариса и его улыбку, от которой всем становилось не по себе, хотя в ней не было ничего страшного.

Стенные часы показывали четверть первого. Рожэ сказал:

– Мне начинает хотеться есть, пора идти завтракать. Идем со мной, тут рядом есть небольшой ресторан.

– У меня нет денег.

Рожэ пожал плечами и сказал, что это неважно.

– Гораздо хуже, что у тебя, я вижу, нет пальто.

– У меня есть и пальто, и деньги, – сказал Фред. – Мне только надо сходить за ними на rue St. Denis.

Рожэ сделал гримасу.

– Не стоит, – сказал он. – Знаешь, говорят, деньги не пахнут. По-моему, это неверно: есть деньги, к которым неприятно прикоснуться. Деньги, это вообще неинтересная, по-моему, вещь. Твои деньги с rue St. Denis...

– Мне теперь все равно, – сказал Фред, – я просто так сказал.

– Не стоит, – повторил Рожэ. – Идем завтракать.

Сидя в ресторане, за маленьким столом, Фред задумался на минуту, и все вдруг показалось ему неправдоподобным – этот столик, лицо Рожэ против него и он сам, неузнаваемый Фред. Ощущение тревожной пустоты, которое он так часто испытывал в последнее время, вернулось к нему с новой силой.

– Тут, между прочим, прекрасный *boeuf bourguignon*^[57], – сказал Рожэ. – Я бы на твоём месте попробовал.

Фред все больше убеждался в том, что Рожэ был действительно ни на кого не похож. Теперь Фреду стала казаться удивительной та свобода, с которой Рожэ себя держал. Он тоже ничего, по-видимому, не боялся, и у него было то же отсутствие страха, которое Фред заметил у Валентины. Но оно, вероятно, имело другие основания. Наверное, этому человеку было нечего скрывать, и, наверное, он ни к кому не питал враждебных намерений. И Фред, который провел всю свою жизнь, в сущности, настороже, сейчас внезапно понял, что есть обстоятельства, когда это совершенно не нужно.

После завтрака они вернулись в кабинет Рожэ, и Фред продолжал говорить. Он рассказал о Жанине, Роберте, Дуду, Шарпантье, Валентине и сенаторе Симоне. Лицо Рожэ было внимательно и серьезно. Когда он кончил свой рассказ, Рожэ молчал несколько минут. Потом он сказал:

– Одним словом, тебя больше не существует. Человек, который жил на *rue St. Denis* и которого звали Фредом, умер. *Que Dieu ait pitié de son Sine.*^[58]

Потом он опять замолчал, и когда он снова поднял голову, Фреда поразило восторженное выражение его синих глаз. Не глядя на него, Рожэ сказал:

– Это похоже на то, как если бы ты возникал из небытия. Но теперь надо жить.

* * *

Андрэ Бертье не говорил с сыном о самых недавних событиях и не сказал ему, в частности, что не мог себе простить своей непредусмотрительности. Предотвратить вторичное появление Фреда на *rue Roussin* было бы так же несложно, как проследить за Жаниной.

Он не подумал об этом, и в течение некоторого времени эта мысль не давала ему покоя. Но одновременно с этим он испытывал удовлетворение оттого, что Роберт оказался оба раза на высоте положения. Говоря об этом со своей женой, он сказал, не сдерживая довольной улыбки:

– Ты могла бы подумать, Соланж, что наш сын, который провел всю жизнь над книгами, вдруг оказался бы способен на такие вещи?

Как все вопросы, не связанные с тем, что ее непосредственно интересовало, вопрос о поведении Роберта, особенно теперь, после того, как опасность миновала, – казался ей второстепенным. Но кроме этого, то, что сделал Роберт, ей вообще не представлялось с его стороны удивительным или неожиданным.

– Ничего странного в этом нет, – сказала она. – Он всегда занимался этим своим глупейшим спортом. Это, впрочем, рано или поздно скажется на нем, дай Бог, чтобы у него не было сердечной болезни. А то, что он так себя вел, это естественно. Он твой сын, Андрэ, ты всегда отличался внутренней грубостью. У него она тоже есть, как видишь, это наследственность.

– Соланж! – сказал он, и впервые за много лет она услышала в его голосе интонацию упрека. – Ты меня обвиняешь во внутренней грубости? Ты хочешь сказать, что тебе пришлось страдать из-за этого?

– Нет, Андрэ, ты не так меня понял. Я не упрекаю тебя в проявлении этой грубости. Тебе всегда удавалось ее побеждать, и ты ни разу в жизни не был груб по отношению ко мне. Но это было результатом твоей борьбы с самим собой. Вся твоя жизнь прошла в ежедневной борьбе, поэтому ты так сохранился, ты видишь. Ты старше меня, но у тебя железное здоровье и ты не знаешь никаких недугов, в то время как я...

Он смотрел на нее с сумрачной нежностью, не отвечая ей и думая о том, что вся его жизнь связана с этой женщиной. Он помнил, что в самые тяжелые дни, во времена их молодости, она неизменно делила с ним все и не боялась никаких испытаний. Она всегда была рядом с ним, и он знал, что во всех обстоятельствах он может рассчитывать на нее до конца. Это все давно прошло, и теперь ему была не нужна ее поддержка. Но ему иногда хотелось, чтобы воспоминание об этом заставило ее задуматься над тем, что значило для него ее участие в его жизни. Потом он вздохнул и подумал, что она слишком поглощена

своим собственным вздорным существованием, которое она себе придумала и которое не оставляло места ни для чего другого.

Потом разговор коснулся смерти Симона. Соланж сказала:

– Для меня в этом не было ничего неожиданного. Я это знала давно; как только я его увидела, я поняла, в чем дело. Когда он обедал с нами, ты, конечно, не заметил выражения его глаз?

– Нет.

– Конечно, здоровые люди ничего не замечают. А для меня это было очевидно. Это было написано на его лице.

– Ты хочешь сказать, это было внешне очевидно?

– Боже мой, конечно, – сказала она. – Ты помнишь напряженное выражение его глаз? Что это значит?

– Не знаю. По-моему, выражение как выражение.

– Нет, милый мой, оно было напряженное. Но это не вызывалось умственным усилием.

– Да, тут я с тобой согласен.

– Это был результат повышенного давления. А повышенное давление в этом возрасте значит, мой дорогой Андрэ, что этого человека ждет смерть от апоплексического удара.

Он кивнул головой – полупочтительно-полунасмешливо – и вышел из комнаты.

Его интересовала судьба Фреда. Он не предполагал, что, выйдя из тюрьмы, Фред опять попытается силой вернуть Жанину и, стало быть, Роберту снова будет угрожать опасность. Такая настойчивость была маловероятна. Но он все-таки хотел знать, что происходит. Он вызвал по телефону человека, стоявшего во главе того частного сыскного агентства, которое прислало ему мужчину в плаще, следившего за Жаниной. Это был плотный пожилой человек, говоривший короткими фразами. Бертье объяснил ему, в чем дело, и сказал, что хотел бы знать, где Фред и что он делает.

– Понимаю, – сказал директор агентства.

– Если вы в ближайшее время дадите мне знать...

– Я буду держать вас в курсе дела.

На следующий день он позвонил Бертье.

– Он вышел из тюрьмы неделю тому назад. Завтра или послезавтра я пришлю вам человека, который вам подробно расскажет обо всем.

Но человек явился только через три дня. Это был все тот же мужчина; вместо плаща на нем было теперь пальто, но шляпа и галстук остались те же.

– Здравствуйте, – сказал Бертье, – что вам удалось узнать?

– Очень странную вещь, мр. Бертье, – ответил он. – Я имею в виду тот факт, что Фред исчез.

– Исчез?

– Именно.

– Что же с ним могло случиться?

– Мы теряемся в догадках, мр. Бертье.

Он сказал это своим обычным невыразительным тоном, и эта фраза прозвучала так, как если бы она значила нечто другое – «мы обычно завтракаем в ресторане» или «мы часто ходим пешком».

– Как же вы это выяснили?

Он подробно рассказал Бертье о результате своих поисков. Установив, что Фред был выпущен из тюрьмы неделю тому назад, он отправился в дансинг «Золотая звезда» и обратился к Жерару. Жерар сказал, что не видал Фреда очень давно, и вызвал Жинетту. Жинетта, явно растерянная, объяснила ему, что и она, и Ренэ, и Дуду с нетерпением ждали возвращения Фреда, но что он до сих пор не появился.

– Может быть, он переменил район?

Но Жинетта полагала, что этого не могло быть; кроме того, если бы это произошло, об этом стало бы известно.

– Но куда же он делся? Она пожала плечами.

Тогда агент частного агентства пошел к Лазарису. Но и Лазарис не мог ему дать никаких сведений. В противоположность всем остальным он, однако, не был удивлен бесследным исчезновением Фреда.

– Я должен вам сказать, что Фред был не совсем похож на своих коллег. Вы понимаете?

– Не похож в каком смысле?

– Это трудно объяснить в двух словах. Я считаю этого человека способным на все – бегство, убийство или даже самоубийство. В нем было что-то странное, я его всегда остерегался. Не в том смысле, что он представлял какую-либо опасность, а в том, что он был способен

совершить неожиданный поступок. А кроме того, вы знаете, человеческая жизнь такая хрупкая вещь...

Но философские соображения были чужды частному агенту, и выслушивать их не входило в его профессиональные обязанности. Он навел справки еще в нескольких барах, где хорошо знали Фреда, но результат был тот же самый: Фред пропал, и никто не знал, что с ним случилось.

В этом было нечто действительно странное, чего никто из знавших его не мог понять. У Фреда не было денег, не было даже зимнего пальто, которое продолжало висеть в его комнате, не было друзей, и он не мог, казалось, не вернуться туда, где жил до сих пор, — потому что вне этого ограниченного мира для него не оставалось ничего, кроме пустоты и неизвестности.

* * *

Фред шел из лесу домой, по знакомой дороге, в темноте, неся на спине дрова, туго стянутые веревкой. Дул холодный ветер; плотный снег лежал уже несколько дней, термометр все время не поднимался выше нуля. В темном зимнем небе блестели звезды. Он дошел, наконец, до незапертых ворот и оглянулся. Вокруг густо стояли деревья, чуть поскрипывающие от ветра. Была особенная тишина, к которой он долго не мог привыкнуть и которая так существенно отличалась от тишины городской. Городская была временным и случайным прекращением шума; в лесной каждый звук приобретал особенное значение. Но звуков почти не бывало — только холод, деревья и снег. Ближайшее село было в двух километрах, ближайший городок — в восьми. Он толкнул плечом ворота и вошел во двор; в глубине стоял маленький деревянный дом, в котором он жил, направо — другой, побольше, налево — крытый сарай, где была столярная мастерская и на стене были аккуратно развешены самые разные инструменты. В левом углу сарая находился огромный дубовый стол с прорезью, в которой вращался зубчатый диск пилы, приводимой в движение небольшим мотором. За постройками, окружая двор, шла низкая кирпичная стена, над которой склонялись ветви деревьев. Фред свалил дрова в сарае и пошел к себе. Был восьмой час вечера, и Рожд

должен был приехать с минуты на минуту. Фред накрыл небольшой стол, поставил два прибора и стал ждать. В домике было тепло от огромной печи. Через квадратный кусок слюды на ее дверце был виден темно-красный отблеск пламени.

Он жил здесь совершенно один уже третий месяц. После того как он вышел из тюрьмы и провел несколько дней в Париже, в маленькой комнате гостиницы, которую ему снял Рожэ, он приехал вместе с ним сюда. До этого Рожэ все звонил по телефону, уходил, вел какие-то переговоры и, наконец, сказал Фреду, что все устроено.

– Я тебе нашел место, – сказал он. – Это не здесь, а в девяноста километрах от Парижа, в лесу, брат, замечательная вещь! Ты увидишь.

– Что я там буду делать? – спросил Фред. – Я почти ничего не умею, вы знаете.

– Ты будешь сторожить дом, – сказал Рожэ. – Это маленькое имение одного моего старого приятеля, который там очень редко бывает. До сих пор за домом присматривала местная крестьянка, но она уходит. Я ему предложил взять тебя. Ты будешь сторожить, значит, дом, топить печи, рубить дрова, и больше ничего. Он тебе будет платить небольшое жалованье. Пищу ты будешь покупать в деревне, в двух километрах отсюда, и в конце каждого месяца он будет платить в лавочку. Понимаешь?

– Понимаю, – ответил Фред. – И там никого не будет, кроме меня?

– Никого. Но там, в доме, очень хорошая библиотека. Ты знаешь, откровенно говоря, я тебе завидую. Я бы хотел быть на твоём месте. Завтра с утра мы туда поедём, и я тебе все покажу. А я буду приезжать к тебе каждую субботу и оставаться до понедельника.

Фреду казалось совершенно естественным, что он действительно должен поехать туда и жить теперь там, так как Рожэ находил это необходимым. Он питал к Рожэ необыкновенное доверие. Он смутно понимал, что в жизни, которая ему предстояла и о которой он не имел никакого представления, потому что в ней не было ни одного из элементов, составлявших его существование до сих пор, – что в этой новой области Рожэ, конечно, знал все гораздо лучше, чем он. Ему казалось, что с недавнего времени началось какое-то движение, в котором ему, Фреду, предстояла важная роль, – движение, возникшее потому, что существовал Рожэ, и потому, что Рожэ участвовал в нём наравне с Фредом. И он впервые за свою жизнь подумал, что

обмануть этого человека нельзя и что он этого не сделает ни при каких условиях.

Он сидел перед печкой, вытянув ноги и наслаждаясь теплом. Он вспоминал сейчас первый день своих разговоров с Рожэ, когда они вернулись из маленького ресторана и Рожэ предложил Фреду кресло, а в другое сел сам. Одно было бархатное, другое кожаное, и оба были порваны. Рожэ сказал:

– Видишь ли, Франсис, – он сразу же начал называть его настоящим его именем, – видишь ли, старик, дело представляется так: если ты ни о чем не думаешь, все просто. Когда ты начинаешь размышлять, ты убеждаешься, что очень простых вещей мало. Другими словами, что-нибудь тебе кажется ясным как день. Но если ты как следует подумаешь, почему это так, ты видишь, что этому предшествовало множество всякой всячины. И чтобы понять эту простую вещь, надо знать и понимать эту всякую всячину. Понимаешь?

Фред кивнул головой.

– Тебя поразило в кафе то, что говорили эти люди об истории культуры, настолько поразило, что ты даже запомнил слова, которые они произносили, и имена, которые они приводили. Тебе показалось удивительным, что они говорят о вещах, о которых ты не имеешь представления. Так? – Да.

– Никакого чуда тут нет, однако, – сказал Рожэ. – Эти люди такие же, как мы с тобой, – может быть, скажем, другого роста или другого вида, но это неважно.

– Мы с вами разные, – сказал Фред. – Вы – это одно, я – другое.

– Конечно, – ответил Рожэ, – двух одинаковых людей в мире не бывает. Но некоторые вещи, которые понимает один, может понять и другой. Не всегда и не непременно, но часто может. А самое главное, это знать, для чего ты живешь, понимаешь?

– Я никогда об этом не думал, – сказал Фред. – Я только думал – почему одни могут, а другие не могут. Я не умею говорить, мне трудно объяснить это.

– Почему одни могут говорить о культуре, а другие нет?

– И это тоже.

– Это сравнительно просто, – сказал Рожэ. – Если бы ты получил такое же образование, как эти люди, ты мог бы говорить, как они. Но

ты недоумевал, почему такие вещи могут их интересовать?

– Да.

– Для этого есть много причин, мы позже поговорим с тобой об этом обстоятельнее. Одна из них, которая сейчас тебе будет наиболее понятной, это та, что у них меньше матерьяльных забот, чем у других, и больше свободного времени.

– И эти люди знают, зачем они живут?

– Вероятно, знают или думают, что знают.

– А зачем вообще люди живут? Роже улыбнулся.

– Это не так просто. Все, однако, живут для чего-то. Если ты отнимешь у человека какую-то цель, которую он преследует, его существование делается ненужным. Но есть цели, которые стоят того, чтобы их добиваться, и есть цели, которым грош цена. Понимаешь?

– А как узнать, какая цель важная и какая неважная?

– На это, милый мой, Бог тебе дал две вещи: совесть и разум.

– Я однажды слышал проповедника из Армии Спасения, – сказал Фред. – Он тоже говорил о совести.

– И тебе было смешно?

– Нет, мне никогда не бывает смешно. Мне было скучно.

Роже покачал головой и спросил:

– Вот эти самые люди из Армии Спасения – ты думаешь, они глупее нас с тобой?

Он редко говорил «я», чаще всего «мы» и «мы с тобой». Но это получалось у него естественно и просто, и казалось очевидно, что он действительно не делал разницы между собой и Фредом.

– Не знаю, – сказал Фред.

– А ты об этом подумай. Тебе вообще о многом надо подумать. Я понимаю, что это трудно, но я постараюсь тебе помочь. Мы с тобой будем работать вдвоем. И я считаю, что мы не хуже других и то, что другие могут понять, мы тоже можем. Не так ли?

– Я постараюсь, – сказал Фред. – Мне это очень нужно.

Но в течение нескольких дней Роже был занят. Затем, когда он приехал сюда, в это маленькое имение, которое так плотно обступил со всех сторон лес, он показывал Фреду, как действует пила, где нужно рубить дрова, где лежат инструменты и как ими пользоваться, как и на чем точить топор и много другого, о чем Фред до сих пор не имел никакого представления. Потом, в воскресенье вечером, он уехал

в Париж на том же маленьком старом автомобиле, на котором привез Фреда. Фред вышел его провожать и доехал с ним до большой дороги. Там они расстались, и Рожэ сказал, что приедет в следующую субботу. Фред один пошел обратно. Он шел в холодной тьме, смутно различая стволы деревьев и стараясь не уклониться в сторону от узкой дороги с замерзшими кочками твердой глиняной земли. Он шагал, глубоко задумавшись, и ему казалось, что за этим ледяным мраком, который отделял его сейчас от всего, что предшествовало его приезду сюда, есть что-то новое, чего он не знал и что, вероятно, было лучшим, чем его прежняя жизнь. Но он ни разу не подумал, что он совершенно свободен и ничто не мешает ему вернуться на rue St. Denis. Он не подумал об этом потому, что это не соответствовало бы действительности, и потому, что он потерял свою свободу окончательно в тот день, когда он пришел к Рожэ.

С этого дня прошло около трех месяцев. И когда он вспоминал это, ему начинало казаться удивительным, что он тогда мог не понимать некоторых очевидных вещей, которые понимал теперь. Рожэ подолгу с ним разговаривал, приезжая каждую субботу и оставаясь до понедельника. У Фреда было впечатление, что этот человек знает все и может ответить на любой вопрос, чего бы он ни касался. Он однажды спросил его:

- Откуда вы все это знаете?
- Что? – удивился Рожэ.
- Все, что вы мне объясняете.

Рожэ махнул рукой и ответил, что это пустяки, это неважно и то, что знает он, знает каждый средний человек. Он никогда не учил Фреда, он быстро объяснял ему в разговоре, что это так, а это иначе, не задерживаясь подолгу ни на чем и не стараясь как будто бы заставить Фреда непременно думать так же, как он сам. Во время первого же своего приезда он повел его в тот дом, где жил хозяин имения, – когда он там бывал, – и показал ему библиотеку, которая занимала всю стену. Он сказал:

– У тебя много свободного времени, я бы на твоём месте занялся чтением. Тут есть интересные вещи.

Фред до тех пор никогда не читал книг, – не потому, что он полагал, что это потеря времени, а оттого, что это не приходило ему в голову и никто из тех, среди кого проходила его жизнь, тоже никогда

не читал, кроме этой несчастной Одетт. Ни его мать, ни калека, ни его товарищи, ни Дуду – никто не читал книг, и этот вопрос совершенно естественно даже не возникал. Он знал грамоту, его научили этому в школе, где он пробыл очень недолго и куда его посылала мать, чтобы он не надоедал ей дома. Но его скоро взяли оттуда.

И когда он захватил из библиотеки несколько томов, которые ему указал Рожэ, и начал читать вечером, сидя перед печкой, у него появилось необыкновенное ощущение, которого он до сих пор не мог бы себе представить. Ему было трудно изложить это своими словами. Но когда через неделю приехал Рожэ, Фред ему сказал:

– Я не мог даже подумать, что есть такие вещи. Мг. Рожэ, я все понимаю. И я понимаю, как живут другие люди, о которых это написано. Но это все правда? Это так и было?

– Было – или могло быть, – сказал Рожэ.

– И вы все это читали?

– Да-да, – сказал Рожэ. – Вот ты увидишь, что будет дальше. Ты поймешь много вещей, о которых ты до сих пор не думал. Я очень доволен. Ты сдвинулся с места, и теперь я надеюсь, что ты не остановишься.

Свое свободное время Фред посвящал исключительно чтению, и с каждым днем он все явственнее ощущал то, о чем ему было бы трудно рассказать, но в чем была одна очевидная истина: как бы ни сложилась в дальнейшем его жизнь, она никогда и ничем не будет похожа на ту, какую он вел до встречи с Рожэ. В том, прежнем существовании для него не оставалось места.

Он ждал теперь Рожэ с особенным нетерпением. Уезжая в прошлый понедельник, он сказал ему:

– В следующий раз, когда я приеду, мы, может быть, поговорим с тобой об очень важных вещах. Некоторое время тому назад это было бы трудно. Теперь, я думаю, это возможно.

В вечерней морозной тишине Фред услышал, наконец, треск шин по мерзлой земле и шум автомобильного мотора. Он вышел из дома и распахнул ворота. Рожэ въехал во двор и поставил машину возле сарая.

– Вы немного опоздали сегодня, – сказал Фред.

– То, что я опоздал, это неудивительно, – ответил Рожэ со своей широкой улыбкой. – Гораздо удивительней то, что я все-таки доехал.

Эта проклятая машина, которая портится каждые десять километров... Я надеюсь, ты позаботился об ужине? Я умираю с голода.

После ужина он сел в кресло и, глядя своими живыми глазами на Фреда, спросил:

– Ну, как тебе живется? Не скучаешь?

– Вы обещали, что сегодня вы будете говорить о важных вещах.

– Да-да, я не забыл. Пойдем в библиотеку, там как-то удобней.

В библиотеке он сел, но тотчас же встал со своего места и начал ходить взад и вперед, вдоль стены, заставленной книжными полками. В слабом освещении комнаты – горела только небольшая лампа на столе – Фреду показалось, что у Рожэ было особенное выражение, которого он у него еще не замечал никогда. Он решил, что, вероятно, Рожэ действительно думает об очень важных вещах. Рожэ долго ходил из одного конца комнаты в другой и молчал. Потом он остановился и спросил:

– Ты заметил, что ты изменился за последнее время?

– Да.

– Что именно с тобой произошло?

– Мне это трудно сказать. Я думаю, что понимаю некоторые вещи, которых раньше не понимал.

Рожэ пристально смотрел на него. В полутьме его лицо казалось белее, чем обычно.

– Я постараюсь тебе сказать, в чем дело, хотя это мне не легче, чем тебе. Бели бы тебя спросили, зачем ты живешь на свете, что бы ты ответил?

– Я бы сказал, что я не знаю.

– Хорошо. Бели бы об этом тебя спросили полгода тому назад – или теперь: какая была бы разница?

– Очень большая, – сказал Фред. – Я бы не знал, что ответить и тогда, и сейчас. Но это совершенно разные вещи.

В комнате стояла тишина. Звучный голос Рожэ сказал:

– Ты этого не знал бы ни тогда, ни теперь. Но это верно – ты не знал бы по-разному. Когда мне было столько лет, сколько тебе, я тоже задавал себе этот вопрос и тоже не умел на него ответить. Но теперь я знаю.

Фред смотрел на него с напряженным вниманием.

– Вот я родился столько-то лет тому назад и проживу какое-то время, сколько – никто не знает, и потом я умру, – сказал Рожэ. – И то же самое произойдет с тобой. Мой труп будет лежать в земле, и от всего, что я знал и любил в этой жизни, не останется ничего. Так я думал тогда, и мне казалось, что в этом есть что-то неправильное и несправедливое.

Он стоял в противоположном углу комнаты, и у Фреда было впечатление, что голос его звучал почти что издалека.

– Моя мать умирала от тяжелой болезни, – сказал он, – и я знал, что ее нельзя было спасти. Но если бы меня спросили тогда, согласен ли я умереть, чтобы она осталась жива, я бы не колебался ни минуты. Так мне казалось.

Фред смотрел неподвижными глазами на белое пятно его лица и сжимал зубы от непонятного волнения.

– Ты понимаешь?

Фреду было трудно говорить, он кивнул головой.

– Потом, когда все было кончено, я опять начал думать об этом. Я думал – вот, я хотел бы умереть вместо нее. Значит, существуют какие-то вещи, за которые ты готов отдать свою жизнь, то есть единственное, что у тебя есть. Что это такое? Ты бы не мог об этом подумать, если бы твоя мысль останавливалась там, где останавливается твоя жизнь. Ты понимаешь? Потому что когда ты готов отдать свою жизнь, то это решаешь ты, а не кто-то другой. Значит, ты продолжаешь существовать после того, как ты дошел до конца своей жизни. И я подумал тогда, что, вероятно, смерти нет. Есть страшный переход из одного состояния в другое. Я думаю, что почти для всякого человека это самое ужасное, что он может себе представить. Но это только переход.

Он, наконец, сдвинулся с места и подошел к Фреду. Потом он повернулся и пошел обратно. Фред видел в течение нескольких секунд только его затылок и слышал измененный звук его голоса.

– И если это так, ты понимаешь? то вся наша жизнь принимает другой смысл. Мы должны жить иначе, чем мы жили бы, если бы за смертью не было ничего. Я вижу, например, людей, которые выбиваются из сил, чтобы достигнуть совершенно незначительной цели. И когда им это, наконец, удастся, у них не остается сил, чтобы

воспользоваться тем, что они сделали. Но, помимо всего, то, чего они добиваются, не стоит труда.

Он вдруг улыбнулся.

– Ты знаешь, Франсис, мне однажды было нужно достать крупную сумму денег. Я отправился к одному человеку, у которого много миллионов. Он мне отказал. Он сказал мне, что согласился бы дать деньги только в том случае, если бы был абсолютно уверен, что они будут разумно использованы. Он прибавил еще, что с деньгами нужно уметь обращаться и что они не должны попадать в недостойные руки. Он так и сказал – недостойные руки.

Рожэ засмеялся.

– Я ушел и на прощанье сказал, что выражаю ему свое сочувствие. Он удивился. Тогда я сказал ему, что хотя он и миллионер, но ведет себя как нищий и, в конечном итоге, фактически он не богаче последнего оборванного бродяги, который ночует под мостом. Потому что, если бы я обратился к такому бродяге с той же просьбой, что к нему, результат был бы одинаковый.

Затем его голос изменился, и он сказал серьезно: – Кто из нас мог бы утверждать – в конце своей жизни, – что он прожил даром и если бы его судили за все, что он делал, у него было бы какое-то оправдание? Я долго думал над этим и пришел к одному выводу. Он не новый, он известен тысячи лет. И он очень простой. Если у тебя есть силы, если у тебя есть стойкость, если ты способен сопротивляться несчастью и беде, если ты не теряешь надежды на то, что все может стать лучше, вспомни, что у других нет ни этих сил, ни этой способности сопротивления. И ты можешь им помочь. Ты понимаешь? Для меня лично в этом смысл человеческой деятельности. Фред слушал его, не пропуская ни слова.

– Меня спрашивали: зачем это делать? или: почему надо так поступать? Мне как-то сказали: вы говорите так, потому что вы христианин и потому что вы верите в Бога. Но я знал людей неверующих, знал других, которые едва слышали о христианстве и которые поступали именно так. Самое замечательное в этом то, что такая деятельность не нуждается ни в оправдании, ни в доказательстве своей пользы. Я верю в Бога, но, вероятно, я плохой христианин, потому что есть люди, которых я презираю. Если бы я сказал, что это не так, я бы солгал. Правда, я замечал, что презираю не

тех, кого обычно презирают другие, и не за то, за что людей чаще всего презирают. Но огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир.

Он говорил просто, не повышая голоса.

– Нас, то есть таких, кто думает, как я, нередко называли сумасшедшими. Но многих из тех, которые так говорили, давно уже нет, давно забыты их имена и то, что они считали правильным и нужным, а мы еще существуем. И я думаю, что пока будет стоять мир, это будет так. И, в конце концов, не так важно, быть может, как это будет называться: гуманизм, христианство или что-нибудь другое. Сущность остается одна и та же, и сущность эта заключается в том, что такая жизнь, о которой я тебе говорю, не нуждается в оправдании. И я тебе скажу больше – то, что я лично думаю: только такая жизнь стоит того, чтобы ее прожить.

Он замолчал. Фред тоже не произносил ни слова.

– Я часто думал о тебе, – сказал Рожэ. – Какая-то случайность предшествовала твоему рождению. Ты был брошен в этот мир, и ты погрузился в небытие. В тех условиях, в которых ты жил, это не могло быть иначе. Но, начиная с известного момента, всякий человек становится ответственным за то, что он делает. Уклониться от этой ответственности – это значит вести себя, как последний трус. Есть еще другие категории людей, которые от нее уклоняются. Есть люди слабые. Есть люди, ум которых недостаточно развит, чтобы в этом разбираться. И есть мерзавцы. Я всегда спрашивал себя, зачем нужно их существование? Вероятно, затем, чтобы мы, глядя на них, лучше понимали, как не надо жить, и их роль – в этом постоянном напоминании. Я думаю, что ты не принадлежишь ни к одной из этих категорий, и я уверен, что ты не трус. Если бы это было иначе, мы бы с тобой сейчас здесь не разговаривали. Это то, что я хотел тебе сказать сегодня.

* * *

Роберт ничего не сказал Жанине о втором приходе Фреда непосредственно после того, как это произошло. Он заговорил об этом впервые через две недели после ее возвращения из клиники. Это

было ночью, она лежала рядом с ним. Он поцеловал розоватый шрам на ее животе и сказал:

– Да, Жанина, я совсем забыл. Когда тебя только что оперировали...

Она поднялась на локте.

– Что тогда случилось?

– Ничего страшного, – ответил он. – Фред приходил опять.

– И ты мне до сих пор ничего не говорил? Боже мой, что же было?

Он рассказал ей, как все произошло. Она покачала головой и сказала:

– Ты знаешь, я начинаю думать, что из тебя вышел бы неплохой гангстер.

– Это очень сомнительно, – сказал он, улыбаясь. – Во-первых, я слишком ленив. Во-вторых... не знаю, меня как-то не тянет к этому.

Она помолчала.

– Что же теперь будет? Неужели опять сидеть и ждать, что он снова явится? Я тебя предупреждаю, Роберт, что второй раз я не уйду, я больше не могу.

– Да-да, – сказал он. – Нет, мне почему-то кажется, что вряд ли он придет в третий раз. У него был какой-то странный вид тогда, ты знаешь... и странные глаза... Нет, я думаю, он не вернется.

Она лежала рядом с ним, закинув руки за голову и глядя в потолок.

– О чем ты думаешь? Она улыбнулась.

– Когда мне было одиннадцать лет, и я уже жила в деревне, и мама приехала потом на две недели, недалеко от нас, на огромном пустыре, расположился цыганский табор. Я помню, что я была очень удивлена: я никогда не видела таких людей. Первая же вещь меня поразила. Старая цыганка готовила пищу для своей семьи, и знаешь, что она делала? Она обдирала ежа. Ты себе представляешь?

– Действительно странное блюдо, – сказал он.

– Ты видал когда-нибудь цыган, Роберт?

– Да, – сказал он. Он вспомнил, как несколько раз он проезжал на автомобиле мимо тех мест возле дороги, где почти каждое лето останавливались цыганские возки; там паслись маленькие пегие лошади, было множество детей, очень смуглых и грязных, были

небритые мужчины дикого, как ему казалось, вида и женщины в длинных, почти до пят юбках и в цветных кофтах, надетых на голое тело. И один раз, когда он остановил машину, потому что ему послышался какой-то подозрительный звук в шуме мотора, к нему подошла молодая цыганка, держа маленькую афишку, и спросила его, не может ли он ей сказать, что тут написано. Он взял из ее темной руки листок и прочел, что здесь, на площади этого местечка, завтра вечером будет выступление знаменитого китайского фокусника Ли-Фур и будут показаны научные опыты первый раз в Европе, и в их числе магический сундук и летающая женщина. Он хорошо помнил ее смуглое лицо, темные глаза, порванную ее кофту, очень открытую впереди, так что было видно начало ее узких грудей, неподвижный воздух знойного августовского дня в Провансе.

– Спасибо, monsieur, – сказала она ему, – что ты прочел мне афишу. А сколько стоит вход?

– Три франка.

– Ну, дай мне руку, я тебе погадаю. Я скажу тебе о женщине, которая тебя будет любить, и я тебе скажу, что надо делать, чтобы быть богатым.

Он засмеялся.

– Ты все это знаешь?

– Я цыганка, – сказала она. – Я знаю все.

Он хотел ее спросить – «а буквы»? Но он не сказал этого. Он только отрицательно покачал головой, продолжая улыбаться, и дал ей пять франков.

– Спасибо, – сказала она. – Я тебе все-таки скажу самое главное: у тебя будет счастливая судьба.

Он сел в автомобиль и помахал ей рукой на прощанье. Когда он обернулся, проехав двести или триста метров, он увидел, что она все стояла на том же месте и смотрела ему вслед.

Он рассказал это Жанине и прибавил:

– Но этим и ограничивается мое знакомство с цыганами. О том, что они едят, например, я совершенно не осведомлен.

– Мне тоже гадала цыганка, – сказала Жанина. – Она предсказала мне то же самое: что я встречу человека, который меня полюбит, и что я буду богата. Я рассказала это дома. Мама и бабушка смеялись, а дедушка сказал, что все может быть.

Она продолжала смотреть в потолок, и потом ее верхняя губа дернулась.

– Я вспомнила о ее предсказании в тот день, когда Фред мне сказал, что я буду работать на него.

– Ты хорошо помнишь эту цыганку? Она кивнула головой.

– Да. Она была не похожа на ту, которая тебя спрашивала, что написано на афише. Она была старая, с черными маленькими глазами и очень хриплым голосом.

И не так давно, несколько дней тому назад, когда я опять вспомнила о ней, я подумала: вот, она предсказала мне счастье и богатство. Что она знала об этом? и что это такое в ее представлении? Может быть, то, что другим казалось бедностью, ей казалось богатством. Даже вернее всего это так.

– И вот видишь, она все-таки была права. Ты знаешь, Жанина, я как-то разговаривал с моим отцом об участии разных людей, и он сказал вещь, которая показалась мне правильной. Он сказал, что у каждого человека две судьбы. Одна – это та, которая есть. Другая – та, которая должна была бы быть. Понимаешь? Иногда эти две судьбы совпадают, но далеко не всегда. И далеко не всегда это зависит от личных усилий или стремлений.

– Ты думаешь, что в каждой человеческой судьбе есть какая-то справедливость?

– Справедливость? – спросил он задумчиво. – Не знаю. Я думаю, что есть приговор.

Как каждую ночь, она заснула первой, даже не успев накрыться одеялом. Он лежал рядом с ней, оперев голову на руку и глядя на ее смуглое тело с двумя ровными белыми пятнами на груди и белым треугольным поясом на нижней части живота, где точно отпечатался ее купальный костюм. И как каждую ночь, он испытывал чувство, которого не мог бы описать. Но сегодня, кроме того, он думал о цыганках и предсказаниях. Он пролежал так несколько минут, потом приподнялся, накрыл Жанину одеялом, потушил лампу, стоящую на ночном столике, и остался в темноте. Но он не спал. В сотый раз он с ужасом представлял себе, какой могла бы быть судьба Жанины. И когда он думал, что это тело могло стать тем, что из него хотел сделать Фред, и что эта самая Жанина, дыхание которой он слышал сейчас, должна была бы пройти через тягчайшие человеческие

унижения, у него кровь прилиwała к липу, и он чувствовал, что если бы это зависело от него, – в каком-то идеально-теоретическом плане, – то, чтобы помешать этому, он не остановился бы ни перед чем, даже перед убийством. Он вспомнил Фреда и подумал, что сказала Жанина о старой цыганке: «Может быть, то, что другим казалось бедностью, ей казалось богатством». Да, вероятно, у этой женщины, которая не умела читать и ела ежей, были свои собственные представления обо всем. И, вероятно, Фреду тоже казалось, что та работа, к которой он предназначал Жанину, могла рассматриваться как естественная и, в сущности, неплохая для нее карьера, лучше, чем участь поденщицы или служба на фабрике. Но Роберт не досмотрел фильма – и все это исчезло, не оставив ничего, кроме соображений о том, что могло бы быть и что должно было произойти, но чего не произошло. Теперь будущность Жанины была определена.

За эти несколько месяцев она совершенно изменилась во всем, вплоть до походки и интонаций ее негромкого голоса. Та природная мягкость, которая в ней была всегда, приобрела особый оттенок – так же, как ее движения или манера сидеть за столом. Все это время он посвятил тому, чтобы приблизить ее к себе. Она впитывала в себя как губка то, чему он ее учил, и следовала за ним с легкостью, которая его удивляла. Но он не строил себе чрезмерных иллюзий и знал, что тот мир отвлеченных построений и холодной восторженности разума, в котором он привык существовать, останется ей чужд навсегда. Это, впрочем, могло бы быть так, даже если бы она выросла в тех же условиях, что он.

Он сам не отдавал себе отчета в том, насколько глубоки и насколько внешне очевидны были изменения, которые в ней произошли. Об этом ему сказал отец, которого он попросил прийти к нему обедать, как тогда, в самом начале ее пребывания на rue Roussin. Когда он вышел, один провожать отца, Андрэ Бертье сказал, что он даже не надеялся на такие результаты и что теперь Жанину можно показать кому угодно.

Она была, наконец, представлена Соланж. Роберт предупредил ее, что разговор, вероятно, коснется медицины.

– Ты же знаешь, что я в ней ничего не понимаю.

– Это не так важно, – сказал он. – Тебе нужно будет время от времени только подавать незначительные реплики. Говорить будет

моя мать.

Все прошло еще благополучнее, чем он думал. Соланж нашла, что у Жанины прекрасный вид, что ей идет ее прическа, что она чрезвычайно мила и очень неглупа, хотя немного робка. Андрэ Бертье сказал Роберту, когда они остались вдвоем на несколько минут:

– Твоя мать плохо разбирается в людях и, кроме того, крайне к ним невнимательна. Но на этот раз я совершенно согласен с ее суждением.

* * *

С того дня, когда в газетах появилось сообщение о смерти сенатора Симона, прошел год. Давно были забыты его похороны и речь над его могилой, которую произнес по назначению один из его коллег, маленький старичок с розовой лысиной и блеклыми глазами на небольшом лице, постоянно сохранявшем одно и то же выражение – встревоженности и незначительности. «Высокая мораль и честность по отношению к самому себе и по отношению к другим, – читал он хриплым голосом, – являлись главной особенностью покойного. Мы, те, кто имел счастье работать вместе с ним многие годы, мы все сумели оценить с самого начала его удивительную личную скромность, отсутствие какого бы то ни было честолюбия и его неизменную благожелательность ко всем. Если бы правящие круги государства насчитывали в своих рядах много людей, похожих на Пьера Симона, мы могли бы со спокойной гордостью сказать, что будущее нашей страны обеспечено. Но наш строй рдеет. Не так давно умер ближайший друг покойного, сенатор Рибо, теперь настала очередь Пьера Симона. Мы знаем, что пути Господни неисповедимы. Но от этого горькое чувство непоправимой потери не становится менее тягостным. Мы можем только сказать, что Пьер Симон прожил жизнь, полную труда, и умер с сознанием выполненного долга».

Могила Рибо, действительно, находилась недалеко от того места, где опустили в землю гроб, в который был положен худой и короткий труп Симона. На обеих могилах были приблизительно одинаковые мраморные плиты. На мраморных плитах были написаны приблизительно те же слова: «здесь покоится...». Но в течение долгих

дней, недель и месяцев, которые проходили после смерти каждого из них, на могилу Рибо какие-то пожилые дамы в черном, одни высокие, другие среднего роста, третьи маленькие, приносили разные цветы, которые медленно увядали рядом с золотыми буквами. На могиле Симона никогда не бывало цветов. Жизнь Рибо оставила после себя нечто похожее на фосфорную линию, пересекавшую существование нескольких женщин, и в этом была своеобразная призрачная утешительность. О жизни Симона – и о его смерти – было некому вспоминать. И только приблизительно через год после его похорон его фамилия была вновь упомянута в газетах в связи с автомобильной катастрофой, единственным свидетелем которой, по странному стечению обстоятельств, оказался Жерар, бывший владелец дансинга «Золотая звезда».

Он жил уже некоторое время в небольшой вилле, недалеко от дороги, проходившей по берегу моря. Его давняя мечта исполнилась, хотя все произошло не совсем так, как он это себе представлял. Это началось с того, что несколько месяцев тому назад он сидел у себя в кабинете, отделенном от дансинга длинным коридором. Был зимний вечер, было около шести часов. Он просматривал счета, когда раздался телефонный звонок.

– Алло? – сказал он, сняв трубку.

– Алло, Жерар? – сказал знакомый голос. – Приезжайте ко мне сегодня вечером, мы вместе пообедаем. Вот адрес: 226, rue Perronet, Neuilly. Буду ждать вас к восьми часам. Мне надо с вами поговорить.

Жерар не знал этого адреса. Он задумался на несколько секунд, потом пожал плечами. В половине восьмого он вышел на улицу. В свете фонарей косо падали частые капли ледяного зимнего дождя, желтыми электрическими буквами горела надпись «Золотой звезды». Он дошел до угла, остановил такси и дал адрес, сообщенный ему по телефону. Через четверть часа автомобиль остановился перед железной решеткой, за которой был сад. Аллея, усыпанная гравием, вела к полуторазэтажному особняку, над дверью которого горел фонарь. Расплатившись с шофером, он позвонил. Калитка распахнулась. Он шел по освещенной аллее; справа и слева темнели редкие деревья. Выпрямившись во весь свой гигантский рост, он шагнул по середине дороги, и ему казалось, что из-за опущенных ставен на него смотрят чьи-то глаза. Когда он позвонил, дверь тотчас

же отворилась, и его встретила горничная, которая сняла с него пальто, взяла его шляпу и перчатки и провела его в гостиную. Вдоль стен шел темный дубовый карниз, под потолком висела старинная люстра, на стенах были картины, которых он не рассмотрел. Он сел в кресло и закурил папиросу. Через минуту вошел Лазарис. Он был в синем костюме и крахмальной рубашке с темным галстуком. Жерар встал.

– Здравствуйте, Жерар, – сказал он. – Обед нас ждет, идемте в столовую.

Жерар был удивлен и этой обстановкой, и этим приемом. Он не мог понять, почему Лазарис заставил его прийти именно сюда.

За обедом Лазарис говорил о незначительных вещах и ни словом не обмолвился ни о чем, что имело бы отношение к делам. После обеда они перешли в другую комнату, с глубокими креслами и тяжелыми этажерками.

– Мой дорогой Жерар, – Жерару показалось, что в голосе Лазариса звучала какая-то непривычная интонация, – я пригласил вас сюда, чтобы поставить вас в известность о некоторых решениях, которые я принял.

Он закурил папиросу. Жерар никогда до этой минуты не видел Лазариса курящим.

– Несколько дней тому назад, на той улице, где находится мой магазин, умер от чахотки один молодой человек, рабочий. Я знал его с детства. Их было двое на свете – он и его бабушка. Они были очень бедные. Пока он мог работать, он содержал ее. Теперь он умер, и она осталась без всяких средств. Это очень печальная история, Жерар, вы не находите?

– Несомненно.

– Но вы еще не знаете самого печального. Бабушка пришла ко мне, в магазин, так, как она приходила ко всем на этой улице. Она пришла, чтобы еще раз рассказать, как умирал ее маленький Пьеро и как он плакал перед смертью оттого, что ему было жаль оставлять бабушку одну. И вы знаете, что я сделал, Жерар?

– Нет.

Лазарис задумчиво смотрел перед собой.

– Я дал ей денег.

Жерар молчал, вопросительно глядя на Лазариса.

– Вы понимаете, Жерар? Я дал ей денег. Это очень плохо. Это значит, Жерар, что я начинаю сдавать. Вы понимаете, что я хочу сказать?

– Откровенно говоря, не совсем.

– Это верно, Жерар, вы никогда не были деловым человеком, вы были просто бандитом. Но если бы вы были коммерсантом, вы бы знали, что всякое человеческое чувство, введенное в эту область, вносит туда эмоциональный элемент, которому там нет места и который следует рассматривать как самую гибельную и опасную вещь, какая только может существовать. Я знаю, что вы в вашей бурной жизни руководствовались другими соображениями и поэтому совершали поступки, которые не имели логического смысла. вспомните, в частности, тот факт, что вы могли заработать очень крупную сумму в Порт-Саиде. Но вы были вынуждены спешно покинуть этот город в результате некоторых поступков, которые шли вразрез с вашими коммерческими интересами.

Жерар заметил, что Лазарис ни разу не улыбнулся за весь вечер. Это было не похоже на него и было так же странно, как все остальное.

– Я знал, что это рано или поздно может случиться. И я давно дал себе слово, что в тот день, когда это произойдет, я ликвидирую свои дела и уйду на отдых. Этот день наступил. Надо уметь остановиться вовремя. Большинство людей, занимающихся не вполне легальными профессиями, кончают плохо именно потому, что не понимают этой истины. Сколько вы мне должны, Жерар?

– Я точно не помню. Если хотите, я завтра сообщу вам эту сумму.

– Не стоит, – сказал Лазарис. – Я знаю ее. Вы были мне должны еще до вашего последнего отъезда из Франции. Когда вы вернулись, я дал вам денег на открытие вашего дансинга с тем, что, помимо уплаты мне этих расходов целиком, я буду получать половину вашей выручки. Так?

– Совершенно точно.

– До сих пор вы вносили мне только проценты на ваш возрастающий долг. Я не требовал с вас остального, потому что я знал, что вы не можете от меня уйти.

Он еще глубже сел в кресло.

– В вашем распоряжении сейчас находятся крупные суммы. Если бы не долг мне, вы были бы богатым человеком и могли бы поселиться

на Ривьере, как вы об этом мечтали. Не так ли?

– Да.

– Я старею, Жерар, – сказал Лазарис с интонацией искреннего сожаления в голосе. – Я прожил долгую жизнь, и всякий другой человек на моем месте был бы давно в могиле. И вот сейчас я выяснил, что только чудо спасло меня от преждевременной гибели. Я хочу этим сказать, что во мне всегда, оказывается, существовали человеческие чувства, те самые, о которых я вам уже говорил. Извините, что я так многословен: это дань моему юридическому образованию. Короче говоря, Жерар, я предлагаю вам считать, что все ваши долговые обязательства по отношению ко мне аннулированы.

Жерар не верил своим ушам.

– Вы говорите серьезно?

– Совершенно серьезно.

Жерар растерялся. Он видел много вещей за свою жизнь, но никогда даже не слышал ни о чем похожем на то, что происходило сейчас. До сих пор денежные деловые расчеты заключали в себе для него и для всех других только две возможности: платить – или стрелять. В данном случае эта альтернатива оказывалась беспредметной. Он сказал неуверенным голосом:

– Я не знаю, как вас благодарить...

Лазарис пожал плечами. Потом он взглянул на Жерара, и в его глазах стояло очень странное, далекое выражение.

– Мне кажется, Жерар, что мы все похожи на пилигримов, которые в пути забыли о цели их странствия. Но когда мы приближаемся к концу нашего путешествия, мы начинаем понимать, что другого пути для нас, может быть, не было и что, во всяком случае, он был не таким, каким мы себе его представляли. Я не знаю, поймете ли вы меня. Но это, в конце концов, неважно.

Он встал с кресла. Жерару казалось, что ему все это снится. Эта огромная комната с книгами, высокая фигура Лазариса в синем костюме, его желтая рука с длинными пальцами, держащими папиросу, темные картины на стенах и это невероятное аннулирование долга – все это было совершенно неправдоподобно.

– Мир существует помимо нас – и можем ли мы в нем что-либо изменить, Жерар? Мне кажется, что наши возможности в этом смысле чрезвычайно ограничены. Вы могли в этом убедиться, вы, Жерар,

двенадцать лет тому назад, в тот день, когда вы встретили Марго в Порт-Саиде. Я хорошо ее знал. Она была единственной женщиной, ради которой я был готов на убийство. В этом у меня никогда не возникало сомнений. То, что вы избавили меня от необходимости стать убийцей, объясняет мое сегодняшнее решение. Я говорю вам это потому, что мне не хотелось бы быть превратно понятым.

Он стоял прямо против Жерара, и Жерар с удивлением заметил, что его пальцы, державшие папиросу, дрожали.

– Я знаю всю вашу жизнь, Жерар. В ней нет ничего, что заслуживало бы награды. Но вот случилось, что в этой жизни было несколько дней, когда вы действовали именно так, как было нужно. То, что вы рисковали в эти дни головой, не так важно, это был не первый и не последний раз за все время. Но вы поступили так, как хотел бы поступать я и как я поступил бы, если бы вы не сделали этого за меня. Может быть, это было совпадение – или случайность. Но это предопределило мое отношение к вам и, в частности, наш сегодняшний разговор со всеми последствиями, которые из него вытекают. Это заключение того, что произошло двенадцать лет тому назад в Порт-Саиде.

– Monsieur Лазарис, – сказал Жерар, вставая, – я не умею говорить, как вы, и не нахожу слов. Но я благодарю вас со всей искренностью, на которую я способен.

Лазарис протянул ему руку и проводил его до передней. Жерар надел пальто, шляпу и перчатки и вышел из дому. Деревья были неподвижны, в саду стояла тишина, которую нарушал только треск гравия под его ногами. Когда он захлопнул за собой железную калитку и вышел на пустынную улицу, он вдруг ощутил непонятную усталость и подумал, что он тоже стареет и что, действительно, пора переезжать на юг, подальше от «Золотой звезды» и ее клиентов, от Парижа, полицейских инспекторов, Больших бульваров и Лазариса – потому что Лазарис был единственным человеком, которого он боялся.

Он выждал две недели, в течение которых ничего не случилось. Тогда он занялся ликвидацией своих дел и продажей «Золотой звезды», и через месяц после того вечера, когда он обедал у Лазариса, он взял билет на поезд, идущий из Парижа в Ниццу. Еще через две недели он поселился окончательно в этой небольшой вилле,

окруженной садом с пальмами и соснами; сад кончался невысоким обрывом, за которым было море.

Он долго не мог привыкнуть к тишине, которую нарушал только треск цикад в жаркие дни и легкий плеск волн. Но еще труднее было привыкнуть к ощущению безопасности.

Он выходил иногда поздно вечером один и бесцельно шел по дороге, не думая о направлении. Во время таких прогулок ему нередко вспоминались давно прошедшие времена и люди, с которыми он был связан. Большинства из них не было в живых, и это, в общем, следовало считать положительным фактом, так как если бы они были живы, Жерар не испытывал бы чувства безопасности. Он шел в теплой темноте по дороге и время от времени перед его глазами вставали набережные Сан-Франциско, освещенные калифорнийским солнцем, улицы Шанхая, погруженные во влажный зной, от которого одежда прилипала к телу, зимние площади европейских городов. Все это было кончено, – благодаря непонятному великодушию Лазариса.

Он шел так однажды поздним вечером июльского дня. Огромные звезды стояли в темном небе. Перед ним смутно чернела дорога; иногда, оглядываясь назад, он видел огни фонарей, освещавших ее небольшой отрезок и поворот, пропадавший во тьме. Справа от дороги были холмы, заросшие густым твердолиственным кустарником, слева – обрывы и скалы над морем. Он шел и думал, что жизнь, в сущности, кончена, не столько потому, что он больше ничего не делал и жил на покое, сколько оттого, что прекратилось длительное ожидание, которое он так хорошо знал всегда. Ему казалось, что вся его жизнь была наполнена этим ожиданием, которое принимало разные формы, но оставалось, в конце концов, тем же. Иногда он ждал свободы, иногда он ждал минуты, когда он начнет действовать, иногда он ждал результата того или иного его поступка, иногда он ждал – в парке, в кафе, в лесу или на углу улицы – появления знакомого силуэта, иногда он ждал расплаты. Но ждал он всегда. И вот теперь ждать было больше нечего, и от этого в его жизни появилась неподвижность, о которой раньше он не имел представления. Она была полна еще воспоминаний, и Жерар за эти короткие месяцы успел подумать о множестве вещей, для размышления о которых у него до сих пор не было времени. Но в этой неподвижности для него было что-то обидное. И он думал, что, если бы ему снова пришлось вернуться к

своей прежней деятельности, у него не хватило бы на это сил. Он вспомнил, что «Золотая звезда» продолжает существовать без него – и перед его глазами появились далекие желтые огни ее вывески.

Он вдруг остановился. Из далекой тьмы два желтых огня автомобиля шли стремительными зигзагами, приближаясь к тому месту, где он стоял. Он успел подумать, что сейчас произойдет катастрофа, и быстро сошел с дороги в кустарник. Еще через несколько секунд фары вильнули влево, потом слепо и прямо понеслись вперед и, наконец, в последнем движении, свернули вправо и исчезли. Тотчас же до него донесся звук глухого и страшного удара. Перебежав дорогу, он стал быстро спускаться по камням к морю, к тому месту, где повисла машина, остановленная в своем падении прибрежной скалой. Он зажег карманный фонарь. Колеса автомобиля были погнуты, стекла разбиты, правая сторона, на которой он лежал, была раздавлена. Сквозь стекла дверцы, треснувшие мелкими жилками, он увидел две головы, женскую и мужскую. Дверцу заклинило. Он уперся коленом в кузов машины и потянул ее к себе. Мускулы его огромного торса напряглись до боли, лицо покрылось потом, но замок медленно начал сдавать. Потом раздался железный хруст, и дверца распахнулась. Он направил свет фонаря внутрь и остался неподвижен.

В автомобиле были двое – женщина и мужчина. Оба были, по-видимому, мертвы. Но в этом было нечто кощунственное: и женщина, и мужчина были голыми снизу до пояса, и даже смерть не разделила их тел. Он смотрел на их трупы остановившимися глазами. Потом он снял с себя пиджак и набросил его на это сплетение еще теплых ног. Он случайно дотронулся до тела женщины, и когда он посмотрел потом на свою руку, он увидел, что она была в крови.

Он поднялся по скалам наверх и пошел в том направлении, откуда доходил далекий свет огней. Через некоторое время он услышал сзади себя шум. Тогда он стал посередине дороги и широко расставил руки. Огромный грузовик едва не наехал на него и остановился, захрипев тормозами.

– В чем дело? – закричал шофер.

Жерар сел рядом с ним и сказал почти беззвучно: – Второй поворот направо, полицейский комиссариат. Ты остановишься там.

Только что здесь разбился автомобиль. Он лежит внизу, над морем. В нем двое убитых.

– Ай-ай-ай! – сказал шофер. И грузовик рванулся вперед.

Жерар поехал потом с полицейскими, чтобы показать, где именно лежал упавший с дороги автомобиль. При свете сильного прожектора трупы были вынуты из машины в их уже заочневшей наготе. Мертвое лицо женщины не было обезображено смертью. Жерар посмотрел внимательно, и ему показалось, что он уже видел где-то этот особенный, продолговатый разрез глаз, эти широкие губы и именно этот оттенок белокурых волос. Но он видел столько женщин в своей жизни, что его память отказывалась точно восстановить время, место и обстоятельства, при которых он заметил это лицо. На полу автомобиля лежали части женской и мужской одежды и дамская сумка. По найденным там бумагам выяснилось, что мужчину звали Поль Лафит. Он был журналистом. Женщина была студенткой юридического факультета. Ее звали Валентина Симон.

Их трупы были перевезены в Париж и там похоронены. Во всех газетах были описаны обстоятельства катастрофы – в одних это было сказано почти прямо, другие ограничились намеками. Потом в одном из еженедельников появился некролог, посвященный памяти Поля Лафита и подписанный главным редактором, близко знавшим покойного. Полю Лафиту не было тридцати лет, и, по словам редактора, ему предстояла блестящая карьера, – как это часто говорится в подобных случаях, независимо от того, в какой степени это утверждение соответствует действительности. Но вторая, не менее пространная, часть некролога была посвящена Валентине, которую редактор знал, по-видимому, очень хорошо.

«Я всегда думал, – писал он, – что нельзя себе представить ничего менее правдоподобного, чем мирная старость и спокойная смерть этой девушки, и здесь оказывались несостоятельными любые усилия воображения. Мне всегда казалось, что она должна была погибнуть именно так. Неудержимая стремительность ее чувств, органическое непонимание того, что такое страх, и полное пренебрежение к материальным препятствиям, – что было для нее особенно характерно, – не могли логически привести ни к чему другому. Ее всегда мучила жажда чего-то еще неосуществленного, чего-то, что ей было еще неизвестно. Она никогда не задумывалась

над вопросом о ценности человеческой жизни, даже своей собственной, и ее блистательная молодость делала ее неуязвимой всякий раз, когда возникала проблема смерти в ее отвлеченном или непосредственном значении. А между тем, этой идеей смерти было пронизано все ее существование. Для нее была непостижима та спасительная иллюзия, которая позволяет нам полагать, что длительность человеческих чувств может в некоторых случаях равняться длительности нашей жизни. Ее воображение не шло дальше очень короткого периода, в течение которого полнота этих чувств раскрывалась до конца. Но это было похоже на блистательный фейерверк. Ничто, выходящее за пределы ее теперешних возможностей, не интересовало ее. И те трагические обстоятельства, в которых она погибла, только оттеняют особенность ее облика, не похожего ни на чей другой.

Мы, в частности, склонны осуждать людей, только когда они испытывают то, что мы не способны испытывать, когда они идут туда, где их ждет опасность и куда мы на их месте не шли бы, потому что нас удержал бы страх. Я не принадлежу к категории тех, кто готов осудить Валентину Симон. Я сохраню о ней благодарное воспоминание. С нерассуждающей смелостью она рисковала погибнуть за ту иллюзию, которой у нее не было, за то чувство, в которое она не верила. И этот риск оказался смертельным».

Жерар прочел эту статью случайно, потому что еженедельник, в котором она была напечатана, попался ему на глаза, когда он ждал своей очереди у парикмахера в Сан-Рафаэле, куда он приехал на несколько часов. Для него было непонятно, что, собственно, хотел сказать автор некролога, как в свое время осталось непонятным, почему Лазарис сравнивал себя и его с пилигримами, о которых Жерар имел самое смутное представление. Но он отчетливо вспомнил эту теплую ночь, дорогу, зигзаги приближавшихся огней, глухой удар автомобиля о скалу, то, что он увидел потом, при свете карманного фонаря, и липкую кровь на своей руке. И когда парикмахер его стриг и над его ухом раздавалось равномерное металлическое щелканье ножниц, он думал о том, что количество трагических вещей в жизни значительно превосходит возможности его воображения и его огромный личный опыт.

Если бы Фреду когда-нибудь сказали, что не только он, а вообще кто бы то ни было может жить так, как он жил теперь, ему это показалось бы диким. Прошло немногим меньше года с того дня, когда Рожэ привез его сюда на своем автомобильчике. В Париже за это время, вероятно, произошло много событий; где-то недалеко отсюда шла шумная и бурная жизнь, но здесь, в том, что его окружало, ничего не менялось. Он знал теперь чуть ли не каждое дерево в лесу, знал, на какой высоте стучит дятел, откуда идет печальный крик кукушки, где лисья нора, куда тонкой и непрерывной линией идут крупные красные муравьи из муравейника. Летом, когда было тепло, он выходил в лес с книгой, ложился на мягкий слой прошлогодних листьев и читал, время от времени поднимая голову и прислушиваясь к одинокому птичьему крику или к легкому, воздушному шуршанью крыльев. Иногда он следил долгими минутами за мерными кругами ястреба, высоко в небе, иногда он закрывал глаза и слушал невнятный лепет листьев под летним ветром.

Каждые два дня он ездил на старом велосипеде в соседнюю деревню, где покупал себе провизию; и так как он не умел готовить и не придавал особенного значения тому, что и как ел, то покупал обычно все одно и то же. Затем он спешил домой, где его ждала очередная книга. За это время он прочел очень много. Каждый раз, когда приезжал Рожэ, он спрашивал:

– А что мне теперь читать?

Роже вынимал несколько томов из плотных рядов этажерки и откладывал их в сторону. И неизменно к его следующему приезду они были прочтены. Вначале Рожэ давал ему преимущественно беллетристику. Потом однажды он достал с полки четыре толстых книги и сказал:

– Вот, Франсис, это история культуры. Той самой, о которой говорили эти люди в кафе. Когда ты кончишь её, ты поймешь, что они имели в виду в тот день, когда их разговор так тебя поразил.

Фред всегда был молчалив. Но теперь, живя так долго в одиночестве, он привык разговаривать сам с собой вслух, хотя все-таки каждый раз неизменно понижал голос. Иногда он ловил себя на

том, что произносит длинный монолог, ставя себя на место очередного героя. Тогда он спохватывался, точно кто-нибудь мог его слышать, и умолкал. В один из приездов Рожэ он рассказал ему об этом – и когда он кончил говорить, на сумрачном его лице появилась улыбка.

– А! – с радостным удивлением сказал Рожэ. – Я очень доволен.

– Чем именно?

Рожэ покачал головой.

– За все время, что я тебя знаю, я первый раз вижу, что ты улыбаешься.

Потом он задумался на минуту и прибавил:

– Правда, до сих пор у тебя, собственно, не было причин улыбаться. Но это все кончено, Франсис. Это кончено, ты понимаешь?

Еще через несколько недель он сказал Фреду:

– Я бы на твоём месте сделал перерыв в чтении дней на десять. Тебе надо отдохнуть, нельзя так себя переутомлять.

– Вы думаете?

– Уверен.

Но когда Фред остался без книг, это показалось ему жестоким наказанием. Он много раз подходил к полкам и машинальным движением протягивал к ним руку, но тотчас отдергивал ее. Когда Рожэ приехал через неделю, он его спросил:

– Ты что-нибудь читал за это время?

– Нет. Вы сказали мне, что надо сделать перерыв.

– И тебе не хотелось читать?

– Очень хотелось, – сказал Фред.

– Теперь ты понимаешь, что происходит? – спросил Рожэ. – Я тебе посоветовал не читать, ты со мной согласился, то есть, вернее, не возражал. Я уехал с уверенностью, что ты последуешь моему совету. И ты действительно это сделал. Почему?

– Но как же я мог поступить иначе?

– Я знал, что ты поступишь именно так. Я от тебя этого не требовал, и я тебя этому не учил. Но ты не сделал этого потому, что ты не хотел обмануть мое доверие. Ты понимаешь? Сейчас ты становишься таким, каким ты был бы всегда, если бы тебя не искалечили внешние обстоятельства. Теперь я мог бы послать тебя на

rue St. Denis – я знаю, что с тобой ничего не случилось бы и ты бы там не остался.

– Этим я всецело обязан вам, – сказал Фред.

– Это неверно, – ответил Рожэ. – Переделать человека нельзя. Можно постараться избавить его от тех причин, которые ему мешают быть таким, каким его создала природа. Это то, что я хотел сделать по отношению к тебе. Но я – только стенка, о которую ты оперся, чтобы не упасть. Я только стенка. Je ne suis qu'un mur. ^[59]

– Вы знаете, mr. Рожэ, – сказал Фред, – я много думал все эти дни, когда у меня не было книг. И главное, что меня беспокоило, было следующее. Я подумал: что я собой представляю, если отбросить все, в чем я вырос и как жил потом? То есть мое далекое детство и то, что было недавно, вплоть до убийства Шарпантье и смерти Симона?

– Шарпантье не был убит, он умер в результате неловкого падения, и невольным виновником этого был Дуду, который не хотел ему зла. Симон умер от разрыва сердца, – быстро сказал Рожэ. – Но продолжай, я тебя слушаю.

– Я думал: если этого нет или если это надо отбросить, – что остается от меня? Я оказываюсь в пустоте. Вокруг меня пустота, mr. Рожэ, и я не знаю, кто я такой.

– Построение мира! – сказал Рожэ. – Ты должен построить целый мир, Франсис. Мы ощущаем наши очертания потому, что мы окружены внешним миром, – таким, каким мы его видим и каким мы его создали. Тот, в котором ты жил, исчез, его больше нет. Ты строишь другой. И это очень долгая работа. Когда он будет кончен, ответ на твой вопрос будет найден автоматически. А теперь, я думаю, ты можешь опять приняться за чтение.

Однажды осенью – был ясный октябрьский день – Фред шел по лесу, краем плубокого оврага, и вдруг увидел, что недалеко от его середины стоял маленький, старый человек в охотничьей куртке и коричневых штанах очень плотной материи. В руке он держал шляпу, и легкий ветер поднимал его пушистые, седые волосы. На его левом боку висела матерчатая сумка. Фред знал в лицо всех обитателей этого района. Но этого старичка он никогда не видал. Проходя мимо него, он поклонился и пошел дальше. Он сделал уже несколько шагов, когда услышал голос:

– Молодой человек!

Он обернулся и подошел к старичку. Тот посмотрел на него выцветшими глазами, улыбнулся и сказал:

– Простите меня, пожалуйста, я хотел попросить вас об одном одолжении.

Фред заметил, что он говорил на совершенно правильном французском языке, но не с тем произношением, с каким говорили местные жители.

– Я старик, вы знаете, – сказал он извиняющимся тоном, – мне трудно делать некоторые вещи, которые для вас, наверное, пустяк. Я поэтому позволил себе вас побеспокоить.

– Я к вашим услугам, – сказал Фред. – Что нужно сделать?

Старичок показал ему рукой на дно оврага.

– Видите там это растение с продолговатыми овальными листьями?

– Вижу.

– Вы не могли бы мне его достать?

– С удовольствием.

Он быстро спустился вниз, сорвал это растение – у него был особенный, горьковатый запах – и, поднявшись наверх, протянул его старику.

– Благодарю вас, – сказал тот. – Вы не понимаете вашего счастья, молодой человек! Сколько бы я дал, чтобы иметь возможность так лазить по оврагам, как вы! Вы здесь постоянно живете?

– Да, – ответил Фред. Он еще раз взглянул на него. В выражении его выцветших глаз была особенная мягкость, игрушечные седые волосы развевались на его голове, и здесь, в осеннем лесу, на краю оврага, освещенного октябрьским солнцем, он был похож на маленького старичка из какой-то забытой сказки.

– Очень вам благодарен, – повторил он. – Я вас попросил достать мне это, потому что, вы знаете, я лечу людей травами, это моя специальность. Я живу в Швейцарии. Я приехал сюда, чтобы помочь одной родственнице, которая заболела. Теперь ей значительно лучше, и я уезжаю домой. И так как я всегда собираю травы, то я пошел в этот лес посмотреть, нет ли тут чего-нибудь для меня. И вот, видите, нашел. Судьба мне послала вас, сам бы я не рискнул спуститься в овраг.

– Но как же вы делаете в Швейцарии? – спросил Фред.

И он подумал, что за много месяцев он впервые с кем-то разговаривает. За все это время он слышал только голос Рожэ или обменивался несколькими словами с местными крестьянами.

– Дело обстоит очень плохо, – сказал старик. – У меня есть еще небольшой запас, которым я пользуюсь. Когда он придет к концу, ну что же, придется уходить на покой. Лазить по горам и доставать оттуда то, что мне нужно, я больше не могу. Я задыхаюсь; мне трудно одолеть самый незначительный подъем. И это очень обидно, потому что десятки, если не сотни, людей будут лишены моей помощи. А я всегда полагал, что людям надо помогать.

Фред внимательно посмотрел на него – и вдруг спросил:

– И у вас нет помощника?

– Нет, – ответил старик. – Это работа не очень выгодная для молодого человека и редко кого интересующая. Молодым хочется жить самим, а не заботиться о чужих жизнях, это понятно.

Потом он поднял глаза на Фреда и спросил:

– А вас бы это могло интересовать?

– Очень, – сказал Фред.

– Прекрасно, – сказал старичок, – прекрасно. Поступайте ко мне, будем работать вместе. Только поспешите, – прибавил он с улыбкой, – потому что мне самому не так уж много осталось жить. Я вас рад буду взять, когда хотите.

– Вы говорите серьезно?

– Совершенно серьезно. Я уезжаю сегодня вечером из Франции, но я оставлю вам мой адрес, и если вы примете решение приехать, дайте мне только знать, я буду ждать вас. Если вы готовы для этого бросить ваше ремесло...

Он вынул записную книжку, вырвал из нее листок и написал карандашом свою фамилию и адрес. Потом он пожал руку Фреду и сказал:

– Ну вот, надеюсь, до скорого свиданья. Как вас зовут?

– Франсис, – быстро ответил Фред.

– Очень хорошо. До свиданья, Франсис.

– До свиданья.

Фред не заметил, как дошел до дому. Был вторник, до субботы оставалось еще бесконечно много времени. Он с нетерпением ждал Рожэ, и впервые за все свое пребывание здесь он не мог как следует

сосредоточиться на том, что читал. Когда, наконец, Рожэ должен был приехать, он вышел его встречать на большую дорогу. Едва успев с ним поздороваться, он сказал:

– Mr. Рожэ, на этот раз мне нужно с вами очень серьезно поговорить.

– Что-нибудь случилось? – Да.

– Хорошо, рассказывай, я слушаю.

Фред подробно рассказал ему о встрече со старичком и о своем разговоре с ним. Он прибавил, что ему хотелось бы поехать в Швейцарию и стать помощником собирателя трав.

– Вы понимаете, mr. Рожэ, – говорил он с непривычной для него быстротой, – это настоящая работа. И как раз та, о которой вы мне говорили давно, я этого не забыл: именно такая, которая не требует ни оправдания, ни доказательства того, что она полезна.

– Да, да, конечно, – сказал Рожэ. – Только подожди, надо выяснить, что это за человек, не шарлатан ли он.

– Нет, этого не может быть.

– Судя по твоему описанию, он не похож на шарлатана. Но на первое впечатление не всегда можно полагаться.

– А если бы выяснилось, что он порядочный человек, как бы вы отнеслись к тому, что я сказал?

– Очень положительно, – ответил Рожэ. – Что может быть лучше?

Уезжая в Париж, он обещал Фреду навести справки о собирателе трав. Вторая неделя прошла для Фреда в таком же нетерпеливом ожидании. Он все время думал о Швейцарии, и все время перед ним стоял его будущий учитель – маленькая фигура в охотничьей куртке, седые развевающиеся волосы и эта мягкость выражения в его глазах, которая определяла его такой особенный облик. Когда Рожэ, наконец, снова приехал, он сказал:

– Ну вот, Франсис, я узнал все, что мог. Этот старичок очень известен, и он действительно совершенно порядочный человек. Многих он лечит бесплатно. Он, впрочем, кажется, богат, хотя деньги, насколько я понимаю, его не очень интересуют. Я думаю, ты можешь ему написать, что ты согласен поступить к нему на службу.

Он смотрел перед собой задумчивыми глазами.

– Я узнавал, как все это происходит, – сказал он. – Работать тебе придется весной, летом и осенью. Зимой, как ты понимаешь, трав не

собирают. Тебе надо будет научиться ходить на лыжах. Так как зимой ты будешь сравнительно свободен, ты можешь стать гидом, это очень соблазнительно. Но ты все это увидишь сам. Давай теперь составим ему письмо.

Еще через неделю, получив от старичка ответ, Фред уезжал в Швейцарию с Лионского вокзала в Париже. Его провожал Рожэ. До отхода поезда оставалось несколько минут. Фред стоял рядом с Рожэ на перроне. Ему хотелось сказать очень многое, но он испытывал необыкновенное волнение и не находил слов.

– Мг. Рожэ, – сказал он, наконец, сдавленным голосом, – вы все понимаете. Вы понимаете, что я хотел бы вам сказать, если бы умел и мог. Я всем обязан вам. Я никогда этого не забуду. Помните, что вам достаточно будет написать мне одно слово и если я для чего-нибудь могу вам быть полезен, нет вещей, которые помешали бы моему возвращению.

– Спасибо, Франсис, – ответил Рожэ, – я это знаю. Я тебя искренне люблю. Я приеду к тебе в Швейцарию, мы еще увидимся. Я отправляю тебя со спокойной душой: я знаю, что ты оправдаешь наше доверие – твоего старичка и мое.

Он пожал ему руку. Когда поезд отошел, он долго еще продолжал стоять на краю перрона и смотрел вверх, туда, где за электрическими проводами, столбами и водокачками открывалось высокое небо. Оно было таким же, как всегда. Он видел тот же его сверкающий, прозрачный свод в незабываемые дни Голгофы и в далекие времена крестовых походов. Он был убежден, что он существовал всегда, и ему казалось, что он помнит тогдашнее небо – совершенно такое же, как теперь.

* * *

В жизни Роберта многое изменилось с того дня, когда он привез к себе Жанину, которая навсегда осталась с ним. Когда он подумал об этом почти через год, он вдруг понял, что нашел ту душевную свободу, которой у него раньше не было. Все его сомнения по поводу ценности тех или иных понятий, тех или иных отвлеченных систем и непосредственных проблем, возникавших перед ним, потускнели и

отошли на второй план, оттесненные личными переживаниями, которые были важнее всего остального. Он знал самое главное – все другое было второстепенное. Жанина пополнила и изменилась; но прежнее выражение ее глаз всякий раз, когда она встречала взгляд Роберта, неизменно вызывало в нем тот же прилив чувства, что раньше, и этого ничто, казалось, не могло изменить.

С недавнего времени у него появилось еще одно, чего тоже не было до сих пор, – сознание личной ответственности за себя и за Жанину. Он стал чуть ли не ежедневно бывать на фабрике и проводить там несколько часов подряд, интересуясь всем, что там происходило. Через полгода он знал почти все, что нужно было знать об этом. Постепенно вышло так, что все окружающие стали смотреть на Роберта как на лицо, менее значительное, чем Андрэ Бертье, но более значительное, чем директор. Вначале это стесняло его, но потом он к этому привык. Со временем он настолько втянулся в работу, что, когда он почему-либо не бывал на заводе несколько дней, ему хотелось туда вернуться, чтобы посмотреть – все ли идет так, как он привык это видеть.

Но больше всего времени он все-таки проводил с Жаниной. Ему казалось, что его собственная жизнь похожа на блистательный день, за которым, насколько хватало его воображения, не было видно ни сумерек, ни ночи. Он никогда не был способен испытывать бурные чувства, и его чувство к Жанине было спокойным. Но то, что вне этого чувства его жизнь теперь была бы лишена смысла, – эта мысль была в нем так же сильна, как в первые дни и недели его близости с ней. Ему неизменно казалось, что до встречи с ней в его существовании вообще ничего не было, и в известной мере это было верно, – ничего, если не считать его длительных сомнений в достаточной или недостаточной обоснованности какого-то отвлеченного морального принципа, в относительности или бесспорности очередного изменения в теории эволюции. Эти вопросы не потеряли для него своего интереса. Но это были отвлеченные сомнения по поводу далеких вещей.

В противоположность ему, Жанине было что вспоминать. Но так как все или почти все ее воспоминания были печальные, то она никогда не думала ни о своей работе, ни о своих родителях, и только время от времени она возвращалась к мысли о своем детстве, когда она жила в деревне. Но и это теперь настолько отдалилось от нее, что

ей начинало казаться, будто эти ранние годы ее жизни прожила какая-то другая девочка, а не она сама, девочка, совершенно похожая на нее и все-таки чем-то чужая.

Однажды, когда Роберт сидел в кресле и читал газету, она посмотрела через его плечо и вдруг сказала:

– Покажи-ка.

Он протянул ей газету и увидел, что она внимательно смотрит на фотографию молодой женщины, помещенную под заголовком «Ренэ Фишэ, указательница адресов». В небольшой заметке было сказано, что завтра начинается процесс Ренэ и ее сообщника, Эдуарда Мартэна, которого называли Дуду. Ренэ поступала горничной в богатые дома, которые она потом обкрадывала с помощью Дуду. Жанина прочла статью и вздохнула.

– Почему ты вздыхаешь? – спросил Роберт. – Потому что я знаю Ренэ, – сказала она. – Ренэ раньше работала для Фреда.

– Для Фреда? Ах, да, – сказал он. Он сразу вспомнил фигуру с покатыми плечами, шляпу набекрень и неподвижные глаза на худом лице. – Что с ним стало, интересно знать?

– Наверное, продолжает жить так же, как раньше, – ответила Жанина.

– Не знаю, не знаю, – сказал Роберт. – Я в этом не уверен.

– А почему бы это могло быть иначе?

Она сидела на ручке его кресла.

– Этого я не могу тебе сказать, Жанина. Но все поиски его были безрезультатны: он исчез. Может быть, он погиб в каком-нибудь сведении счетов, может быть, уехал из Парижа и живет в другом месте. Но он, во всяком случае, пропал.

– Он все-таки страшный человек, – сказала Жанина. – Даже теперь я не могу вспоминать о нем без ужаса.

– Что-то в нем было странное, – сказал Роберт. – Я не забуду выражения его глаз, когда он сидел на полу, рядом со своим револьвером, и когда он мне сказал, что даже не мог его взять. Где он? Что с ним?

– Я надеюсь только на одно, – сказала Жанина, – что я больше никогда его не увижу.

Но кроме Роберта и Жанины, внимание которой было привлечено фотографией Ренэ, вызвавшей по понятным причинам почти забытое

представление о человеке, с которым было связано начало ее теперешней жизни, и кроме Рожэ, постоянно думавшего о нем, – никто не вспоминал Фреда. Люди, близко знавшие его, вообще не были расположены к воспоминаниям, кроме того, у них была их собственная жизнь и собственные заботы, как у Ренэ или Дуду. Все было так, как если бы Фред умер, не оставив после себя следа. В том мире, где он жил, не было места для бесплодных чувств или бесплодных сожалений, и все, что там происходило, могло быть сведено к нескольким словам, последовательность которых никогда не менялась: жизнь, рана или болезнь, смерть, морг, забвение. После того как Фред не вернулся на rue St. Denis, было ясно, что он умер или переменил образ жизни, – что было, в сущности, одним и тем же. И уже через несколько месяцев все, что было связано с ним, было забыто. Даже его фотография, висевшая на стене в комнате Жинетты, была снята, разорвана и выброшена в мусорный ящик. По-прежнему горели желтым светом электрические буквы над «Золотой звездой», и пианист Жаклина, со своим узким напудренным лицом и пиджаком в талию, играл на рояле, и те же посетители или другие, чрезвычайно похожие на них, танцевали в облаках папиросного дыма, и полицейские со скучающими выражениями по-прежнему стояли на ближайшем углу улицы. Но вместо огромного Жерара за стойкой суетился невысокий человек со смуглым лицом и черными завитыми волосами, новый хозяин дансинга. Вместо Лазариса в его маленьком магазине был теперь польский еврей, который действительно торговал готовым платьем и не занимался ничем другим. Но это были чисто поверхностные изменения, в остальном все было по-прежнему. И в этой жизни исчезновение Фреда не имело никакого значения. Пока он существовал и жил в комнате гостиницы на rue St. Denis, его знали и боялись. Теперь его не стало – больше ничего.

И это было тем более законно и естественно, что тот Фред, который был известен на rue St. Denis, действительно перестал существовать, – как это ему уже давно сказал Рожэ, – и вместо него появился другой человек, которого звали Франсис и который жил, окруженный тревожной пустотой, где медленно возникал новый мир, не имевший ничего общего с тем, откуда он пришел. Фред сам забыл о своем прошлом, и ему не нужно было для этого никакого усилия. Но те слова, которые ему говорил Рожэ, с каждым днем приобретали для

него все более глубокое значение. Он неоднократно повторял их себе и чувствовал при этом восторженное исступление. «Этим людям надо помочь. Для меня лично в этом смысл человеческой деятельности. Огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир». Фред был готов отдать все свои силы на это, чтобы оказаться достойным доверия Рожэ. В этом было определение всего, и в этом он видел теперь смысл своего существования. Ему казалось, что каждый шаг приближает его к подлинному пониманию того, что является самым главным и по сравнению с чем любые испытания не имеют никакого значения.

Он думал об этом поздней осенью, в Швейцарии, возвращаясь к тому домику, который днем, при ясной погоде, был виден оттуда, где он находился, но который сейчас скрывало от него сумеречное неверное освещение. Он шел знакомой дорогой, уже почти в темноте, над глубокой скалистой пропастью, в которую он столько раз пристально смотрел днем. Несколько минут тому назад огромный камень, который сместился по неизвестной причине, скатился в нее где-то впереди, и шум его падения отозвался в повторяющемся эхе. Стало совсем темно. Фред шел вперед своей легкой походкой, и ему опять показалось с необыкновенной убедительностью, что каждый шаг действительно приближает его к тому, о чем говорил Рожэ, и что теперь нет в мире силы, которая могла бы его остановить и заставить его отказаться от этого.

Но он не мог знать, что для этого понимания и выполнения того, что было теперь его главной целью, и для жизни в этом новом, блистательном мире у него не оставалось времени – потому что кусок скалы, падение которого он слышал несколько минут тому назад, сорвал и увлек за собой часть узкой тропинки, огибавшей отвесный выступ горы, – тропинки, по которой проходил его путь. Стало очень холодно и темно, на облачном небе не было ни луны, ни звезд. Фред шел вперед, приближаясь к тому месту, где недавно, с грохотом цепляясь за скалу, пролетел оторвавшийся камень. Он не видел ничего перед собой – и вдруг земля ушла из-под его ног. Его труп подняли через несколько дней. Тело его было разбито, руки и ноги сломаны, но лицо не пострадало, и мертвые его глаза прямо и слепо смотрели перед собой – в то небытие, из которого он появился и которое вновь сомкнулось над ним в холодной и безмолвной тьме.

Рассказы

Шрам*

У меня никогда не было точного представления о многом из того, что меня интересовало в жизни Наташи, хотя я знал ее давно и, казалось бы, близко. Ее собственные признания касались всегда незначительных и неважных вещей, и если бы я судил только по ним, то я должен был бы прийти к выводу, что ее существование протекало почти спокойно и почти безбурно. Вместе с тем, было очевидно, что она прожила жизнь, в которой вместились множество событий, и одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, почему это не могло быть иначе. Она была чрезвычайно далека от типа классической красавицы, у нее был неодинаковый разрез глаз, чуть-чуть скошенный рот, небольшое углубление посередине лба, но все это, вместе взятое, производило впечатление повелительной привлекательности, совершенно бесспорной для всех, кто ее знал. И наряду с этой внешней резкостью ее притягательности у нее был медленный и ленивый голос. Ее всегда спрашивали, не поет ли она, она отвечала – немного, – и это была неправда, потому что она была неспособна запомнить самый простой мотив или отличить одну ноту от другой. И так же, как она лгала в этом, она лгала во многом другом. В конце концов, это даже не было ложью в точном смысле слова; она просто не возражала против того, что о ней думал ее собеседник. Бели ей говорили: – Вы такая мягкая, вас так легко обидеть, – она неопределенно улыбалась, храня при этом смутное выражение нежности, и у того, кто ей это сказал, оставалось впечатление, что он совершенно прав и что она действительно такая. Бели ей говорили: – Я думаю, что вы никого не любили, кроме меня, – она с такой же неопределенностью и такой же улыбкой кивала головой, и это опять, при некоторой небольшой натяжке, можно было принять за ее согласие. И так как каждому хотелось, чтобы она была именно такой, какой он себе ее представлял, то почти никто не сомневался, что прав он и ошибаются все остальные.

Я думаю, – в противоположность всему, что о ней говорилось, – что она вообще, вплоть до самого последнего времени, никого не любила в том смысле, в каком это понимали те, кто ее любил. У нее

было горячее и неисчерпаемое великолепное тело, которому как-то удивительно не соответствовала ее душевная незначительность. Ничто сколько-нибудь отвлеченное ее никогда особенно не интересовало. Наряду с этим во всем, что касалось человеческих отношений, она разбиралась быстро и хорошо, у нее была прекрасная память, она почти никогда не оказывалась в положении непонимающей собеседницы, и никто из любивших ее людей не сомневался, что она по-настоящему умна. Но кажется, этому она меньше всего была склонна придавать значение. И пожалуй, самой характерной ее чертой было полное отсутствие нравственных принципов; но она очень хорошо знала, какую ценность они имели в глазах других людей, и старалась по возможности их этим не шокировать, – может быть, из какого-то своеобразного сожаления, ей обычно несвойственного.

Ей было двадцать два года, когда я с ней встретился впервые, и она жила тогда, так же, как я, на одном из Принцевых островов, в Босфоре. В течение двух недель я с ней видался ежедневно – мы гуляли и разговаривали, и я помню взгляд ее спокойных глаз и их постоянное насмешливо-сочувственное выражение. Потом однажды я у нее завтракал, и этот день и утро, которые я с ней провел, ничем не отличались от других, и в ее поведении не было ничего, что обратило бы на себя мое внимание. После завтрака, не убирая со стола, она пересела со стула на диван. Я вижу как сейчас две ровных лестнички солнечных теней на стене от затворенных ставень прямо над ее головой, помню полуденную и знойную тишину над морем и звук чьих-то одиноких шагов вдалеке. Я думал в ту минуту об отвлеченных вещах, но когда я поднял голову, я увидел ее глаза, и в них было тогда такое ничем не передаваемое выражение, что даже я, несмотря на всю мою молодость и на то, что я никогда до этого не знал физической близости с женщиной, – даже я понял его. Это было тягостное и непреодолимое полупонимание-полуощущение, и в следующую секунду я подумал; что, может быть, лучше уйти, хотя, я уже знал, что было слишком поздно.

– Идите сюда, – сказала Наташа. Это были единственные слова, которые она произнесла. Только через полчаса она меня спросила с улыбкой:

– Первый раз?

Я кивнул головой.

– Ну, повезло тебе, – сказала она.

Мне всегда было неприятно думать потом, много лет спустя, о какой-то сравнительной ценности женщин, мне казалось, что в таком сопоставлении есть нечто одинаково унижительное и для того, кто об этом думает, и для тех, о ком он думает., И все-таки каждый раз, возвращаясь к этому, я не мог не вспомнить о том, что Наташа была самой замечательной женщиной, какую я мог себе представить. Правда, ее замечательность касалась преимущественно одной стороны любви, той, о которой почти не принято говорить. Но в этом отношении она была несравненна. Она очень хорошо это знала о себе, я помню, как она мне сказала:

– Ты мальчишка, ты не можешь этого ни понять, ни оценить.

Она была старше меня на четыре года, и эта разница исчезла потом, и затем, всю жизнь, она была моложе меня на эти же приблизительно четыре года. И это казалось тем более правдоподобно, что она менялась чрезвычайно медленно и до самого последнего времени сохраняла почти такой же вид, как тогда, много лет тому назад, в Босфоре.

Я провел с ней в те времена целый месяц – и благодарная моя память сохранила его, я думаю, на всю мою жизнь. Вместе с тем, мне всегда казалось, что я ее не любил, – так же, впрочем, как она не любила ни меня, ни кого бы то ни было другого. И ее тогдашняя нежность ко мне и почти трогательная обо мне заботливость были выражением все того же самого, несколько видоизмененного, чувства, которое могло называться любовью лишь в очень условном и ограниченном смысле. Но именно это чувство было главным в ее жизни, и оно же предопределило всю ее судьбу, – оно и еще тот выбор людей, которые в разные времена играли более или менее значительную роль в ее существовании.

В ней была еще одна, и самая опасная, черта – это любовь к вызову и поощрение нелепых и безрассудных поступков. Она могла сказать, например:

– Ты говоришь, что ты меня любишь? Докажи мне это. Прыгни сейчас в море.

Или:

– Бели я тебя о чем-нибудь попрошу, ты это для меня сделаешь? Постарайся украсть в магазине халвы.

Из-за этого ее пристрастия к такому дикому спорту совершенно порядочные люди попадали в очень неприятные истории, это случалось тогда, когда ее власть над ними была особенно сильна. Я очень многого о ней не знал, но я почти уверен в том, что она не встретила никого, кто бы ее бросил, наоборот, первой всегда уходила именно она.

Только из рассказов случайных знакомых я иногда узнавал о некоторых эпизодах ее жизни. Когда она исчезла с Принцевых островов, я долго не знал, что с ней и где она; потом оказалось, что она прожила некоторое время в Афинах, затем была в Вене и вернулась на два месяца в Турцию. Весь ее маршрут был, однако, разработан до отъезда; и в Афинах ее ждали с таким же нетерпением, как в Вене, и с такой же, я полагаю, напрасной надеждой, что она там останется навсегда. Я забыл сказать, что она одинаково плохо говорила на многих языках, что ей, впрочем, никогда не мешало.

– Сколько у тебя было любовников? – спросил я ее однажды.

Она посмотрела на меня насмешливыми глазами и ответила, что находит мой вопрос нескромным. Это было в Париже, в Булонском лесу, ранней осенью не помню которого года. Она ехала в автомобиле с каким-то седым человеком – я успел только заметить его загорелое лицо и глаза с беспокойным, как мне показалось, выражением, увидела меня, замахала мне рукой, и автомобиль остановился. Она вышла оттуда, сказала несколько слов своему спутнику, которые, по-видимому, ему очень не понравились, потом прибавила – я это явственно слышал: – Говорю вам, уезжайте, – и он уехал. Она подошла ко мне и взяла меня под руку, так, точно мы расстались с ней вчера. Я не видел ее несколько лет и даже не знал, что она в Париже. Она всегда обращалась со мной иначе, чем с другими, в ее голосе слышалась насмешливая нежность, почти искренняя. Может быть, это объяснялось тем, что она тоже не забыла Босфора, когда она относилась ко мне, как к мальчику, и в силу непонятной душевной инерции нечто похожее на это сохранилось у нее до конца.

Она рассказала мне, что живет в Париже уже много месяцев, что до этого была в других местах, – не говоря, где именно, – и что собиралась все эти годы выйти замуж.

– Все эти годы? сколько же лет? и за кого? – Три-четыре года, – сказала она уклончиво. – За кого? За человека, которого я люблю.

– В твоём возрасте это трогательно, – сказал я и посмотрел вниз; я увидел её стройные ноги, с безошибочной быстротой и точностью ступающие по аллее – такой походкой ходят только очень здоровые люди. Я вспомнил – сквозь столько лет – всю линию её тела и почувствовал, как кровь медленно прилиwała к моему лицу. Я не знаю, как она угадала или ощутила это, – она, впрочем, была необыкновенно чутка в таких вещах, эту область жизни она знала до конца, – и спросила, даже не давая себе труда объяснить что бы то ни было и зная, что я не могу её не понять:

– Не забыл ещё?

– Ты знаешь, – сказал я, не отвечая, – мне иногда кажется, что ты плохо кончишь. Тебе будет больше пятидесяти лет, и тебя найдут в комнате гостиницы голую и мертвую, а через несколько дней арестуют того субъекта в кепке, который тебя задушит, соблазвившись содержимым твоей сумки.

– Умру бабушкой, – сказала она, смеясь, – и ты ещё придешь, я надеюсь, на мои похороны – таким, знаешь, чистеньким, покашливающим старичком с дрожащими коленками.

Разговаривая с ней тогда, я не мог не заметить в ней некоторых изменений; раньше она была, я бы сказал, менее развита и менее словоохотлива, чем теперь, и судя по тому, что она произнесла несколько слов о живописи, о какой-то модной книге и о концерте, на котором была недавно, и по тому, что в своих суждениях она не сделала ни одной резкой ошибки, я понял, что за эти годы она была близко знакома с довольно разными и сравнительно культурными людьми. Я заметил не только это: под левым её глазом виднелся беловатый шрам, которого раньше не было. Он не был похож на обыкновенный след от разреза, это было нечто вроде тупой и сравнительно широкой полоски кожи, как будто сорванной с лица. И расставшись с Наташей, – она усиленно приглашала меня прийти к ней как-нибудь на днях, – я все видел перед собой этот шрам, Я глубоко задумался, возвращаясь один пешком из Булонского леса; в светлом и прозрачном воздухе этого солнечного осеннего дня я несколько раз едва не натыкался на прохожих. Я силился и не мог вспомнить, где я уже слышал или читал что-то трагическое, что было

непонятным образом связано с впечатлением от этого шрама. Но моя память мне на этот раз изменила – и я не мог этого найти.

Я шел и думал о Наташе, жизнь которой всегда так интересовала меня, несмотря на то, что меня с ней, в сущности, почти ничто не связывало, особенно теперь; ничего, кроме воспоминаний, но воспоминаний у меня и так было слишком много, и если бы я возвращался к каждому из них, вся моя жизнь заключалась бы в постоянном беге назад, в прошедшие и исчезнувшие времена. Мне хотелось знать другое – не случится ли, наконец, что-нибудь в ее существовании, что остановит, рано или поздно, это ее неутомимое движение?

Она, конечно, никого не любила – в том смысле, что не существовал, я думаю, человек, без которого она не могла бы себе представить свою жизнь. Но к каждому своему любовнику в начале каждого нового романа она относилась не так, как к другим, это не было повторением того, что предшествовало, и в пределах ее немногочисленных душевных возможностей это все-таки была любовь. Иначе она не умела или не могла. Но те, с кем она расставалась, никак не могли этого постигнуть, им все казалось, что это с ее стороны либо нежелание, либо невозможность понять свои собственные чувства, которые – в представлении этих людей – должны были быть по отношению к ним, почему-то именно по отношению к каждому из них в отдельности, неизменными. И из-за этого в ее жизни было столько драм, и в основе всех этих драм всегда находилось какое-то идеально произвольное и ничему не соответствующее представление разных людей о том, какой должна быть Наташа, они все думали, что она именно такая, и никак не хотели согласиться с бесспорнейшими фактами, неизменно опровергавшими это представление. С совершенно таким же упорством они не понимали, как, после нескольких месяцев близости, Наташа, не покидая их окончательно и продолжая к ним, в сущности, хорошо относиться, могла иметь еще одного любовника. Вместе с тем, было ясно, что она была такой до встречи с ними и будет такой после того, как с ними расстанется, и рассчитывать на ее перерождение каждый раз – было бы по меньшей мере преждевременно.

Но что мне казалось самым удивительным, это что никто, ни один человек среди тех, которые испытали из-за нее мучительные и долгие чувства, иногда тянувшиеся целые годы, – никто не относился к ней отрицательно, и каждый, если бы Наташа пришла завтра к нему, бросил бы все и полагал бы, что теперь он будет счастлив. Она за свою жизнь была виновницей огромного количества ничем не оправданных иллюзий, не делая для этого почти никаких усилий и только не мешая никому думать о ней то, что ему хочется. В этом была ее несомненная и бессознательная сила – и даже расставшись с ней, они сохраняли каким-то непонятным образом эти иллюзии. В ней было что-то, что пробуждало в этих людях, в сущности, лучшие их и самые длительные чувства, совсем, казалось бы, неуместные по отношению к ней; и в этом соединении ее измен и их иллюзий и состояла, я думаю, та своеобразная отравка, которая так медленно проходила у ее покинутых любовников и которая делала их жизнь более важной и значительной, чем та, какая была до встречи и расставания с ней.

Я всегда полагал, что не принадлежу к категории всех этих, покинутых Наташей, более или менее кратковременных ее спутников; впрочем, число тех, с кем ее связывали действительно длительные и действительно серьезные отношения, – насколько это было для нее доступно, – было не очень велико, значительно меньше, во всяком случае, чем могло показаться на первый взгляд. Другие ее романы носили очень короткий и случайный характер и происходили чаще всего одновременно и параллельно с главными. Так было, например, в тот раз, когда, проездом в Италию, где ее с нетерпением ждал ее тогдашний любовник, она остановилась на один день в небольшом пансионе Ниццы: за завтраком она познакомилась с американским журналистом, приехавшим для какого-то репортажа о Французской Ривьере, – и в течение трех недель она с ним не расставалась. Я жил тогда в том же самом пансионе, его адрес Наташа узнала через меня, я его сообщил ей в одном из тех десяти или двенадцати писем, которые я написал ей за шестнадцать лет нашего знакомства, – и я был свидетелем этого. Из Рима ей присылались бесконечные телеграммы, простые и с оплаченным ответом, ей несколько раз в день оттуда звонили по телефону – она спускалась вниз, в халате на голое тело, и отвечала своим медленным и ленивым голосом, что она сегодня выехать не может, наверное, выедет завтра и что по приезде она все

объяснит. Почему-то герой ее романа, появления которого я с нетерпением ждал, никак не мог приехать, я даже спросил Наташу, не в тюрьме ли он. Я не знаю, какой репортаж получился у журналиста, времени для газетной работы у него, по-моему, не оставалось. Потом она все-таки, наконец, уехала и из Рима даже прислала американцу какую-то открытку. Я видел, как он ее читал и встряхивал головой. Я так же не мог себе представить, какие объяснения Наташа дала своему римскому корреспонденту – во всяком случае, никакой трагедии там не произошло, и после этого она прожила с ним еще два года.

Итак, я не принадлежал к числу Наташиных спутников – и не влачил за собой, как они, никакого груза надежд и иллюзий. Мне казалось, что она в моей жизни была совершенно случайна, и она осталась слишком мне чужда во всех ее чувствах и романах. У меня не могло с ней быть даже дружбы, я виделся с ней раз в два или три года, и при каждой встрече она рассказывала о себе все какие-то незначительные вещи. Но я ловил себя на мысли о том, что я слежу за всеми изменениями ее существования с постоянным и неослабевающим любопытством. У меня были о ней только случайные сведения, но я никогда не пропускал возможности их узнать и поддерживал, например, знакомство с людьми, единственный интерес которых заключался в том, что в течение известного времени они были ей близки. Выходило так, точно я с нетерпением ждал какой-то катастрофы в ее жизни, того дня, когда она, наконец, споткнется и с ней произойдет, быть может, то, что так часто происходило с героями ее романов, – это или нечто похожее на это. И я сравнивал себя, шутя, когда говорил с ней об этом, с анекдотическим англичанином, который переезжал вместе с цирком из города в город, ожидая дня, когда, наконец, лев разорвет своего укротителя. Но годы шли, и все было сравнительно благополучно, если вообще это слово могло иметь какое-то значение в жизни Наташи.

И я знаю, в сущности, почему я так следил за ее существованием. В Наташе было несомненное, хотя и жестокое, человеческое величие, и я со стороны не мог не любить, совершенно бескорыстно, ее непередаваемую животную прелесть. И потом мне было досадно, что все-таки ее жизнь похожа на плохой роман, и когда я встречал некоторых – правда, всегда наиболее кратковременных – ее спутников, меня не мог не коробить ее дурной вкус. Короче говоря,

если бы это могло зависеть от меня – в каком-то отвлеченном и предположительном смысле, – я бы заставил ее прожить не такую жизнь, и мне казалось, что та, которую бы я для нее придумал, была бы и интереснее, и значительнее и заключала бы в себе непреходящий элемент трагического отражения, которое сама Наташа, была, по-видимому, неспособна создать и без которого мое представление о ней носило чем-то обидный и незаконченный характер.

После встречи с Наташей в Булонском лесу я пришел к ней однажды вечером – по тому адресу, который она мне дала. Она жила в меблированной квартире возле place de L'Etoile; в смысле обстановки это была какая-то безличная розовая ерунда, и было видно, что здесь подолгу люди не живут. Она приняла меня в синем бархатном халате, который мог сойти за платье – она вообще любила такие промежуточные и уклончивые вещи, – и меня удивило выражение ее лица, одновременно умиленное и серьезное. Мне показалось, что глаза ее блестели больше, чем всегда. В вечернем электрическом освещении на ее лице сильнее белел ее шрам.

– Что с тобой? – спросил я, поздоровавшись.

– Ты ничего не замечаешь? – сказала она с некоторым усилием. – Ты всегда был ненаблюдательный, это правда.

– Мне кажется, что ты в каком-то ненормальном состоянии, – сказал я.

– Я пьяна, – сказала она.

Я знал, что в прежние времена она не пила – или, во всяком случае, не пила до опьянения. Хотя, в конце концов, – что я знал о ней вообще, кроме очень немногих вещей?

– Это я в Америке научилась пить, – сказала она извиняющимся голосом. – Садись сюда, поговорим. Я так давно тебя не видела. Ты был первым человеком, которого я любила, – сказала она вдруг без всякого перехода.

– Теперь я вижу, насколько ты, действительно, пьяна. Сделать тебе теплого молока?

– Ты никогда ничего не понимал, – продолжала она, не раздражаясь. – Это правда, я тебя очень любила, ты этого так и не узнал бы до конца, если бы не застал меня сегодня в пьяном виде.

– Я боюсь, что этот разговор нас завел бы очень далеко, – сказал я. – Кроме того, этот вопрос не имеет особенного значения, и я предполагаю, что ты любила не только меня.

– Я не говорю – только. Я говорю, что ты был первый.

– Чтобы доставить тебе удовольствие, я готов с этим согласиться.

Она сидела рядом со мной, чем-то взволнованная и молчаливая; вырез халата на ее груди сходиллся большим треугольником, и под ровной смугловатой кожей угадывались плоские переливы ее мускулов.

– Ты счастлив? – спросила она.

– Я думаю, что тебе действительно вредно пить, Наташа.

– Ты мне не ответил на мой вопрос.

– Не все ли тебе равно?

– Нет, скажи.

– Не надо капризничать. Расскажи мне лучше о себе, я уверен, что у тебя больше материала, чем у меня.

– Ты знаешь, что я не умею рассказывать. Спрашивай, я буду отвечать. Пользуйся случаем, я сегодня откровенна, это редко бывает. Я тебе отвечу на три вопроса, знаешь, как в сказках, – сказала она, глубже усаживаясь на диване. – Любые три вопроса. Хочешь?

– Хорошо.

И я сказал, что мне прежде всего хотелось бы знать, во-первых, что она написала американскому журналисту, во-вторых, какие объяснения она дала своему корреспонденту и что из этого вышло. Я напомнил ей: ее ниццкое приключение.

– А, – сказала она, нахмутив на секунду брови и ища это в своей памяти, – Я написала ему: «Мой дорогой, желаю вам всего хорошего. Мне очень жаль, что мы не можем встретиться в ближайшее время. Наташа».

– А что было в Риме?

Она улыбнулась очень широкой и пьяной улыбкой.

– Я рассказала ему всю правду, он смеялся и не поверил ни одному слову, и этим все кончилось.

Мне оставалось только пожать плечами, я не нашелся, как реагировать иначе на этот удивительный Наташин лаконизм и на какую-то странную естественность ее поведения.

– Ну, теперь третий вопрос, – сказала она, – последний.

– Хорошо, последний. Откуда у тебя этот шрам на щеке?

Она вдруг встала и сделала несколько шагов по комнате, не произнося ни слова.

– Что с тобой? – спросил я. – Не считай это за четвертый вопрос, пожалуйста.

– Можно не отвечать на третий вопрос?

– Конечно, можно.

Она очень пристально на меня посмотрела, и глаза ее на секунду стали сердитыми.

– Ты приняла на себя, может быть, непосильное обязательство, – сказал я, – и я вовсе не хочу пользоваться этим. Хочешь, я переменю вопрос, я спрошу тебя, например, любишь ли ты по-прежнему теннис?

В глубине души я упрекал себя за то, что дразню Наташу. Но чем яснее для меня становилось, что этот вопрос имеет неожиданно важное значение, тем больше мне хотелось знать, в чем дело.

– Хорошо, я расскажу тебе это. Я только выпью еще немного коньяку.

Она, действительно, выпила рюмку коньяку, потом села опять рядом со мной и стала рассказывать.

Это происходило в Америке, зимой, несколько лет тому назад. Она сказала, что любила одного человека – это была давно мне знакомая классическая ее формула, – с которым жила за городом, далеко от его родных и семьи, для этого, по ее словам, были достаточные основания. Это был хороший и веселый человек, любивший выпить и отличавшийся страстью держать самые разнообразные пари. У него бывали иногда два его товарища по колледжу, такие же, в сущности, как он. Она прибавила еще несколько слов по этому поводу, и у меня создалось впечатление, что эти трое товарищей были действительно похожи друг на друга – одно воспитание, одна среда, одни интересы. Было еще другое, о чем Наташа не говорила, но что мне казалось почти несомненным, именно, что они все питали к ней одинаковые чувства. Я не знал, в какой мере она отвечала им на это, но тон ее был несколько странный, и я подумал, что она сама не могла бы сказать, кого именно она любила. Они нередко вчетвером устраивали кутежи. И вот однажды

Наташе, которая в тот вечер была совершенно пьяна, пришла в голову нелепая и страшная мысль – научить их играть в кукушку.

– Ты знаешь, что это такое? – спросила она, перебивая себя.

– Знаю, тушат свет, у всех в руках револьверы, каждый играющий обязан время от времени подавать голос, и по направлению его голоса в него стреляют. Так?

– Да. Что бы ты сказал, если бы тебе предложили такую игру?

– Отказался бы, – сказал я, пожав плечами.

– А если бы ты был пьян и женщина, которую ты любишь, обвинила бы тебя в трусости?

– Не знаю, думаю, что все равно отказался бы.

И вдруг я понял, как мне показалось, чем был вызван этот безумный поступок Наташи, и я почувствовал холод в спине. И я почти с ужасом смотрел на это лицо, которое я так давно и хорошо знал, и на эти остановившиеся глаза. Потом я сказал:

– И ты устроила лотерею?

– Нет, нет, нет, – с силой сказала она. Но именно по силе этого ее отчаянного отрицания я понял, что это было так.

Она повторила, что была мертвецки пьяна и что ей море было по колено. Они пошли в переднюю, она и один из товарищей ее любовника, и выключили электрический счетчик. Потом они вернулись – и началась эта страшная забава. Наташа сказала, что в течение первых минут они все молчали. Я подумал, что если кто-нибудь из них, вдруг протрезвившись и поняв все безумие этого, даже хотел бы что-либо сказать и положить этому конец, – он не мог бы этого сделать, зная, что за первым звуком его голоса последует выстрел. И я представил себе эту тьму, троих товарищей с револьверами в руках и смертельно томительное молчание первых минут. Потом, наконец, ее любовник крикнул совершенно неестественным, по ее словам, голосом: – Я здесь!

– I am here!^[60] – повторила Наташа. И после этого началась стрельба. Выстрелов и криков было столько, что у нее звенело в ушах, и она уже ничего не понимала. Потом ей обожгло щеку, и рядом с ней раздался нечеловеческий, как она сказала, хруст – и все было кончено. Ее любовник и один из его товарищей были убиты. Третий участник игры был очень тяжело ранен.

Наташа кончила рассказ, было уже очень поздно. Я сделал над собой усилие и поднялся, чтобы уходить.

– Останься еще со мной, – сказала она, и я с удивлением услышал в ее медленном голосе какую-то новую интонацию, которой до сих пор никогда не знал. – Я никогда не скучаю, но сегодня мне неприятно одиночество, мне не хочется, чтобы ты уходил.

И я остался и пробыл с ней до рассвета. Это была долгая октябрьская ночь, я сидел в нелепом кресле розового цвета, под лампой с низким абажуром, Наташа – против меня, на диване. Мы пили сначала кофе, потом чай, потом опять кофе. И именно в эту ночь она была откровенна со мной – единственный раз в жизни, и говорила о вещах, которые обычно обходила упорным молчанием, неизменным во всех обстоятельствах. И из ее тогдашнего разговора было ясно, что, в общем, эта жизнь тяготила ее.

– Наша игра кончена? – сказал я. – Я опять могу спрашивать тебя о чем-нибудь?

Она улыбнулась и утвердительно кивнула головой.

– Ты знаешь, по крайней мере, чего бы тебе хотелось? Какой должна была бы быть твоя жизнь, чтобы это удовлетворяло тебя?

Она ответила, что это невозможно. Ей хотелось бы, как она сказала, чтобы вчерашний день был не похож на сегодняшний и чтобы сегодняшний был не похож на завтрашний. И ей хотелось бы, чтобы менялось все: люди, обстановка, страны и даже климат.

– И тебе кажется, что если бы это было так, ты была бы счастлива?

– Оставь мне эту иллюзию, – сказала она, опять улыбаясь.

– Иллюзию! – сказал я. – Это ты говоришь об иллюзиях? Я думал, что это участь только твоих спутников. Правда, у них другие иллюзии, и как раз противоположные.

– И такие же, в конце концов, напрасные.

Я не знаю почему, но мне казалось, что эта сентябрьская ночь была чем-то похожа на тот далекий босфорский полдень, о котором я навсегда сохранил воспоминание. И я несколько раз поднимал глаза на стену, и мне казалось, что если бы я вновь увидел на ней эти ровные и параллельные полосы света, одна над другой – от затворенных ставень, как тогда, это бы несколько меня не удивило. Но только теперь у меня не было томительного предчувствия того, что вот

сейчас, в течение ближайших минут, изменится мир в моем представлении, – все было неподвижно, прозрачно и печально; за это время множество вещей и множество душевных способностей успели во мне умереть. И я вдруг, на очень короткое время, ощутил на себе тяжесть этих долгих лет и невозможность испытывать те чувства, которые я испытывал раньше. Это было чем-то, пожалуй, похоже на непоправимое открытие акробата, который в один прекрасный день замечает, что он больше не способен к тому мускульному усилию, которое было ему так легко всегда в прежнее время.

В эту ночь я узнал о Наташе больше, чем за все годы нашего знакомства. В общем ее жизнь приблизительно соответствовала представлению, которое у меня было о ней, – с той разницей, что для Наташи не все проходило так легко и бесследно, как мне казалось. Ее в особенности волновала судьба третьего участника игры в кукушку, единственного, который остался жив. Это и был тот человек, которого она, по ее словам, любила и за которого она собиралась все эти годы выйти замуж, как она мне это сказала при нашем первом свидании. В течение долгого времени он был между жизнью и смертью. Когда он, наконец, выздоровел, его посадили в тюрьму, откуда он вышел только через несколько лет. У него не осталось ничего, и доступ в его прежнюю среду ему был закрыт. Последние сведения, которые у нее были о нем, это что он работал в какой-то конторе, в одном из портов Южной Америки. Это рассказал ей один из их общих знакомых, американец, который был проездом во Франции и которого она встретила год тому назад. Она дала ему адрес своей тетки, постоянно жившей в Париже, и сказала, что по этому адресу ей можно писать. Но за все время она не получила ни одного письма.

– Значит, то, что ты собиралась выйти за него замуж, это был твой личный проект? – спросил я. – Он, по-видимому, этого не знал?

– Я предполагаю, что он тоже об этом думал, – сказала она особенно медленным голосом.

После этого я поцеловал ей руку И ушел, она сказала, что я могу прийти в любой день без предупреждения и что вечером она обычно дома.

То, чего я не сказал Наташе, это что я знал уже раньше почти все об этой трагической ночи в окрестностях Сан-Франциско. Я прочел

это несколько лет тому назад, совершенно случайно, в номере американской газеты. Это было то, что я так тщетно искал в моей памяти, когда думал о Наташином шраме. В газетном отчете рассказывалась со всеми подробностями эта драма, причину которой не понимали ни полицейские, ни журналисты. Там была еще одна подробность, о которой Наташа не говорила мне: все трое товарищей были офицерами американского флота. Там было еще сказано, что по оттискам пальцев на револьверах было установлено, что каждым из них пользовался только тот, кому револьвер принадлежал, и что это снимало всякое подозрение о непосредственном участии в двойном убийстве той женщины, которая была найдена рядом с трупами и которая лежала в глубоком обмороке. Приводилось ее показание: все были пьяны, возникла ссора, причины которой она не помнила, потом потух свет и началась стрельба, она была легко ранена и потеряла сознание. Журналист, которому был поручен отчет, писал, что эта женщина, «подданная одного из славянских государств», обнаружила редкое присутствие духа и почти непостижимое равнодушие к своей собственной судьбе. «Может быть, – писал он, – это не первая трагедия в ее жизни и она забудет о ней, как забыла о других, и единственным напоминанием об этом будет тот шрам, который, несомненно, останется на ее левой щеке». Когда я читал в свое время эту статью, я был предельно далек от мысли о Наташе. Но едва только она начала рассказывать мне об этом, я тотчас же, конечно, вспомнил все – в особенности из-за последних слов отчета: «будет тот шрам, который...».

И всю дорогу домой и потом уже дома, поздним и холодным вечером, я все не мог забыть об этом. Когда я ехал в метро, через эту бесконечную последовательность электрических ламп, серых стен туннеля, медленно уносившихся в непередаваемом железном шуме колес и рельс, и отплывавших назад пассажиров, остающихся на перроне, я упорно возвращался к тому, что я только что узнал. Но труднее всего мне было бы сказать, что именно я тогда думал, потому что это меньше всего походило на мысли вообще, это было скорее особенно острое сознание непоправимости всего, что произошло, и едва проступающее сквозь это – непонятное чувство моей собственной вины, так легко опровергаемое самым элементарным здравым смыслом и так неизменно возвращающееся всякий раз.

В течение трех недель я собирался к Наташе каждый вечер, но какие-то незначительные вещи все мешали мне к ней пойти. Мой визит откладывался и откладывался и, наконец, потерял всякий смысл. Так прошла зима, и вот однажды в марте, совершенно случайно оказавшись в девять часов вечера недалеко от ее квартиры, я решил туда зайти, чтобы узнать, продолжает ли она там жить. К моему удивлению, она жила все там же. Я поднялся и позвонил, мне тотчас же отворили.

Наташа была дома, в платье другого цвета, но таком же плотном и так же похожем на халат. Она встретила меня без особенного удивления. Едва взглянув на нее, я не мог не заметить изменившегося выражения ее глаз. Что-то с ней случилось за это время – и я ощутил мгновенную и смутную тревогу.

– Что-нибудь произошло? – спросил я.

– Я получила, наконец, письмо.

Я молчал, выжидательно глядя на нее. Она вышла из комнаты и вернулась с письмом, которое протянула мне, – и в этом ее движении, как мне показалось, было нечто беззащитное и совершенно ей раньше несвойственное. Я придвинул розовое кресло ближе к лампе и стал читать.

Ее корреспондент писал, что он молчал до сих пор, так как не был уверен, что будет в состоянии составить письмо так, чтобы впоследствии об этом не жалеть и не раскаиваться. В том, что следовало за первыми строками, действительно угадывалось судорожное желание сдержанности, и – что мне казалось особенно странным – по тому, как оно было написано, почти явственно ощущалось, что между началом и концом письма как будто поднялась и опустилась какая-то далекая чувственная волна, умиравшая на последних строчках.

Это было очень замечательное в своем роде письмо, и я жалею, что не мог запомнить его целиком. Содержание его сводилось к тому, что он желал Наташе всего хорошего.

«Вы можете быть совершенно спокойны, никакая опасность вам не будет угрожать с моей стороны, где бы вы ни находились. Я верю, что вы любите меня». Дальше было несколько строк, так густо и старательно зачеркнутых, что нельзя было разобрать ни одного слова. «Я жалею, что не нахожу в себе той огромной благодарности к вам,

которую я должен был бы испытывать. Я надеюсь, что вы извините меня за это. Я знаю, что вы ни в чем не виноваты, но меня отделяет теперь от того времени, когда вы меня любили, – опять целая строка была зачеркнута, – смерть двух лучших моих товарищей, мое собственное неудачное умирание, годы тюрьмы и некоторые другие огорчения. Я полагаю, что заплатил за вас очень дорогую цену. Я не сомневаюсь, что вы стоите этого и, может быть, даже гораздо большего. Но я слишком беден для вас, и у меня ничего теперь не осталось. Все могло бы быть иначе только в том случае, если бы мои душевные богатства позволяли мне тратить, не считая, жизнь моих товарищей и мою собственную и то, что я любил – кроме вас и до вас. Но мое состояние мне этого не позволяет. Желаю вам всего хорошего. Я думаю, что если бы Джонни и Фред были живы, они бы присоединились к моему пожеланию, – и, может быть, у нас троих, вместе взятых, хватило бы средств, чтобы разрешить себе, по вашему выбору, одному из нас, роскошь вас любить. Но вы не захотели нам оставить этой возможности, и вы лишили нас этой надежды в ту самую ночь, на вилле Джонни, когда – вы помните? вы помните? – вы свели наш счет с таким страшным и непоправимым результатом. Я очень надеюсь, я почти уверен, что воспоминание об этом инциденте не будет преследовать вас. Но для Джонни, Фреда и меня это представляется иначе, и я полагаю, что вы найдете в себе достаточно снисходительности, чтобы извинить нас за это. Еще раз желаю вам всего хорошего. Простите меня за зачеркнутые строки».

– Теперь ты можешь вспомнить твой анекдот с англичанином и укротителем, – сказала Наташа.

Но я был далек от мысли о каких бы то ни было анекдотах. Я испытывал в эти минуты такую душевную тяжесть, точно и на мне, Бог знает каким образом, лежала ответственность за эту трагедию в Сан-Франциско. Это усиливалось смутным ощущением того, что теперь я вряд ли буду еще видеть Наташу. Во всем этом была какая-то непреодолимая для меня вещь – так, как будто в ту ночь и я находился на этой вилле и так же не мог этого забыть, как человек, написавший письмо Наташе. Я думаю, что это было напрасное и неверное чувство, но я не мог его не испытывать.

И я понял тогда, что меня влекло к Наташе преступное и бессознательное желание власти над ней и столь же преступное и

нетерпеливое ожидание катастрофы, которая наказала бы ее за ее небрежный уход от меня, – и что, переживая это длительное волнение, я был, в сущности, не меньше виноват, чем она. И это сознание моей душевной вины перед ней было так непреодолимо, что оно навсегда лишило меня возможности сделать над собой то усилие, – к которому я теперь был неспособен и которое мне было бы нужно, – чтобы встретить ее и увидеть еще один раз ее наверное изменившиеся глаза и этот шрам на ее лице.

Княжна Мэри*

Их всегда было четверо, трое мужчин и одна женщина, и раз в два-три дня они приходили в одно и то же кафе, недалеко от скакового поля, садились за столик, заказывали красное вино и начинали играть в карты. Потому, что все они были очень бедно одеты, и потому, что каждый из них давно перестал заботиться о своей наружности, было трудно определить их возраст. Но все они принадлежали приблизительно к одному поколению, и каждому из них было, конечно, за пятьдесят. Женщина, которая их сопровождала, – или которую они сопровождали, – была всегда в одном и том же черном, лоснящемся платье, худая и темнолицая: было очевидно, что ей пришлось пройти в своей жизни через множество разрушительных испытаний. У нее был хриловатый, низкий голос и особенное выражение какой-то запоздавшей дерзости в глазах, которая теперь казалась явно неуместной. Один из мужчин, человек с черно-седой щетиной на лице, всегда приблизительно одинаковой, так что получалось странное впечатление – можно было подумать, что он никогда не брился, но, в силу удивительной игры природы, его щетина не делалась ни длиннее, ни короче, как у покойника, – был одет, казалось, раз навсегда, в очень запачканный серый дождевик – зимой, весной и летом. Шляпы, приобретенной, вероятно, одновременно со всем остальным, он никогда не снимал. Против женщины сидел человек в кепке, рыжем пиджаке и черных штанах; он был единственным из четверых, чье прошлое было легко определить по раздавленному носу и расплюснутым ушам, по тому, что он был широк в плечах и его движения сохранили до сих пор, несмотря на годы, тяжеловатую точность. И, наконец, последний был невысокий человек с дергающимися щеками и особенным выражением лица, тревожным и незначительным в то же время. Он отличался от других тем, что у него было несколько костюмов и два пальто. Но так как все эти костюмы и оба пальто были давно и безнадежно заношены в одинаковой степени, то явное его пристрастие к переодеванию было, в сущности, совершенно напрасной тратой времени.

В начале вечера они все были молчаливы. Мне пришлось – в силу целого ряда случайностей – неоднократно встречать их в этом маленьком кафе, возле скакового поля, и первое время все получалось так, что я уходил оттуда вскоре после того, как они там появлялись. Я их, однако, запомнил сразу же, с той ненужной и автоматической точностью, от которой мне было так трудно избавиться и которая перегружала мою память множеством совершенно липших вещей. Несколько позже, когда мне приходилось оставаться в этом кафе до ночи, я слышал их разговор за игрой и мало-помалу составил себе приблизительное представление о том, что определяло сложную систему их отношений между собой. Как это ни казалось – в одинаковой степени – печально и оскорбительно, эту женщину с каждым из ее спутников связывало то, что они называли любовью. Насколько я понял, в центре этих – в конце концов эмоциональных – движений находились женщина и человек в дождевике и шляпе. Двое других, бывший боксер и четвертый спутник, казалось, проводили время в постоянном ожидании счастливого случая, который позволит им занять место ее избранника со щетиной. Было трудно сказать, на что именно они рассчитывали: на скоропостижную смерть их счастливого соперника, на случайный припадок слабости их героини, на ту степень опьянения, когда становится возможным то, о чем в трезвом виде остается только бесплодно мечтать. Так или иначе, но на этой почве между ними никогда не было никаких недоразумений.

Самым удивительным мне показалось то, что человек со щетиной и шляпой, которую он не снимал ни при каких обстоятельствах, пользовался и со стороны женщины и со стороны ее спутников несомненным уважением, причина которого мне долго была непонятна. Только значительно позже я узнал, отчего это происходило – из короткого разговора, поводом для которого послужили соображения, относившиеся к только что конченной игре в карты. Это был первый спор между ними, который я услышал. И тогда же я заметил, что человек со щетиной, в отличие от своих партнеров, говорил по-французски неправильно и с сильным русским акцентом. Защищая его от нападок бывшего боксера и худенького мужчины с прыгающими щеками, темнолицая женщина сказала своим хрипловатым голосом, что они оба ему в подметки не годятся и что они должны понимать его бесспорное превосходство. Никто из них

против этого не возражал, и было очевидно, что они с этим были согласны. Только человек с тревожным и незначительным лицом ответил, что, конечно, он все понимает, но ведь он тоже не первый встречный – как он выразился.

– Не забывай, что я артист, – сказал он. Я думаю, что он должен был тотчас же пожалеть о своих словах, так как женщина не дала ему продолжать.

– Артист? – сказала она с необыкновенным презрением в голосе. – Артист? – Она была настолько возмущена, что перешла на «вы». – Вы артист? В каких пьесах вы играли? В каких театрах? Когда?

– Я играл... – сказал он чрезвычайно неуверенным голосом. Было очевидно, что катастрофический для него исход этого спора был предрешен.

– Вы играли двадцать пять лет тому назад, – сказала она, – и вас выгнали из театра потому, что у вас не было таланта, monsieur.

Мне показалось, что лицо боксера побледнело, когда он услышал это слово – monsieur. Худой человек умолк, но женщина продолжала говорить все в том же презрительном тоне. Она, во-первых, отрицала, что человек со щетиной играл не так, как нужно, – в чем его обвиняли его партнеры. Во-вторых, по ее словам, если даже допустить, что он играл действительно не совсем так, как следовало, то они, боксер и худой человек, не должны были забывать, что, соглашаясь сесть с ними за стол, он оказывает им честь, и они должны это ценить. Никто ей не возражал, и спор прекратился.

Два слова, «monsieur» и «honneur»^[61], могли показаться удивительными в устах этой женщины. Но я знал, что идеи иерархического предпочтения сохраняли свою силу почти во всех кругах человеческого общества и среди несчастных, обездоленных людей, на том отрезке их жизни, который отделял их от смерти на улице или в тюремной больнице, понятие о чести или социальном преимуществе упорно продолжало существовать, несмотря на то, что, казалось, давно потеряло какой бы то ни было смысл. Мне хотелось понять, чем объясняется это загадочное и несомненно иллюзорное превосходство человека со щетиной над его партнерами, настолько бесспорное, что они против этого не возражали. Я обратился за справками к гарсону. Он сообщил мне о них все, что знал. Человека со

щетиной звали почему-то женским именем – Мария. Бывшего боксера звали Марсель, художавого человека – Пьер. Имя женщины было Мадлэн. Художавый человек действительно в свое время был актером, но очень недолго. Марсель действительно был боксером, и, когда гарсон назвал мне его фамилию, я вспомнил отчеты о его матчах, лет пятнадцать, двадцать тому назад, которые я нашел однажды, роаясь в архивах спортивного журнала. Мадлэн в свое время была портнихой. Преждевременный конец карьеры каждого из них объяснялся, по словам гарсона, одним и тем же: пристрастием к азартным играм и красному вину. О человеке с женским именем гарсон сказал вещь, которая мне показалась явно неправдоподобной: мужчина, по имени Мария, был известным русским писателем.

Я их увидел еще раз, через несколько дней после этого разговора с гарсоном. Был вечер зимнего, холодного дня. На дворе шел мелкий снег, сквозь легкий туман мутно светили уличные фонари. Не знаю почему, все в тот вечер доходило до меня сквозь эту мутную призрачность снега, фонарей, зимних пустынных улиц. Я шел пешком из одного конца города в другой и, как это уже неоднократно со мной бывало, потерял точное представление о том, где я нахожусь и когда это происходит. Это могло быть где угодно – в Лондоне или Амстердаме – эта перспектива зимней улицы, фонари, мутное освещение витрин, беззвучное движение сквозь снег и холод, неверность того, что было вчера, неизвестность того, что будет завтра, ускользящее сознание своего собственного существования и все преследовавшие меня в тот вечер чьи-то чужие и далекие воспоминания о Петербурге, и эти магические слова – «Ночь, улица, фонарь, аптека», – весь тот исчезнувший мир, которого я никогда не знал, но который неоднократно возникал в моем воображении с такой силой, какой не было у других воспоминаний о том, что действительно происходило со мной за эти долгие годы, наполненные спокойным отчаянием и ожиданием чего-то, чему, быть может, никогда не было суждено случиться.

И именно в этот вечер я опять увидел их в том же кафе, где они бывали и куда я вошел машинально, даже не думая, зачем я это делаю. Они сидели, как всегда, за столом и играли, как всегда, в карты. Но, вероятно, от того, что я находился в особенном, необычном расположении духа, они мне все показались не такими, какими

казались всегда. И несмотря на то, что угол кафе, где они сидели, был освещен не больше и не меньше, чем каждый вечер, мне показалось, что они возникают в почти рембрандтовских сумерках, из неопределимого прошлого. Я подумал о том, что в них всех были какие-то элементы вечности: с тех пор, как существовали люди, во всех странах и во все времена, существовало и то, что определяло жизнь каждого из них, вино, карты и нищета; и их профессии – портниха, актер, боксер или гладиатор и, наконец, писатель. И вдруг мне показалось, что я совершенно отчетливо услышал чей-то далекий голос, который сказал по-французски эту фразу:

– Mais ils ne sont sortis de l'ternite que pour s'y per-dre de nouveau.

[62]

* * *

Я перестал бывать в этом квартале Парижа и в этом кафе и только случайно вернулся туда почти через два года после того, как последний раз видел там этих людей. Их там не было. На следующий раз, через несколько дней, тоже. Наконец, однажды, когда я снова туда пришел, я увидел Марию. Но он был один. Он сидел за тем же столиком, где раньше они сидели вчетвером, перед стаканом красного вина и неподвижными глазами смотрел прямо перед собой. Его, казалось, ничто не могло изменить – та же щетина, та же шляпа, тот же дождевик. И тот же акцент, – я в этом убедился через несколько минут, когда возникло недоразумение между ним и гарсоном, который не хотел больше верить ему в кредит и грозил вызвать полицейского. Я подумал, что судьба дает мне удобный предлог для знакомства, заплатил за его вино и предложил ему выпить еще, на что он немедленно согласился. Я сел против него, заказал себе кофе и спросил по-русски:

– Простите, пожалуйста, что стало с вашими спутниками?

– А? – сказал он. – Вы их знали?

– Да, я неоднократно вас видел здесь всех вместе, это было года два тому назад.

– Да, да, – сказал он. – Это было хорошее время. С тех пор многое изменилось. Они оба умерли – и Марсель и Пьер. Пьер как-то

вернулся домой немного выпивши и забыл закрыть газ в кухне. Марсель умер скоростижно, на улице – сердце. Мадлэн сейчас в больнице, вот уже третий месяц. Почему вас все это интересует?

Потом он наконец заговорил о литературе, и тогда стало очевидно, что это действительно было главное в его жизни. Он не сказал мне, что именно он пишет теперь, и только упомянул о том, что он сотрудник одного из самых распространенных русских журналов и что ему приходится много работать за ничтожную плату. Зато он говорил о другом, о своих прежних произведениях и их печальной судьбе. Он страдал, как мне показалось, особенной формой мании преследования, впрочем, довольно распространенной: он был жертвой зависти, интриг и безмолвного литературного заговора, в котором участвовали самые разные люди. Одни из них завидовали его таланту, другие боялись его конкуренции, и поэтому, как он сказал, его нигде не печатали. По его словам, он печатался в прежнее время, в России, где у него был большой успех. По одному этому наивному выражению «большой успех» можно было судить о его простодушии, как по остальным его высказываниям – о его неиспорченности, против которой оказались бессильны жестокие внешние обстоятельства его жизни и множество других, не менее неблагоприятных вещей. Даже тех, кто делал все, чтобы не дать ему возможности печататься здесь, за границей, он не склонен был очень обвинять.

– Вы знаете, – сказал он мне, – эти люди держатся за свои места в редакциях, это понятно. Другие, помоложе, эти самые модернисты, они из кожи лезут вон, чтобы выдумать что-нибудь необыкновенное. А я художник. Я пишу о том, что вижу, больше ничего. И это есть настоящая литература.

Через некоторое время я снова встретил его в том же кафе, опять одного. Он никогда не бывал по-настоящему пьян; но с таким же правом можно было сказать, что он никогда не был трезв; он неизменно находился в промежуточном состоянии, похожем на какой-то, ускользающий от точного определения, переходный момент алкогольной эволюции. Он был близок к опьянению, но не пьян, и в этом было нечто вроде почти математической недостижимости, как в теореме о пределах вписанных и описанных многоугольников.

В тот раз он вынул из кармана рукопись, напечатанную на машинке, и дал мне ее, чтобы я ее прочел.

Это был довольно короткий роман – и я читал его с чувством тягостной неловкости. Он был написан от первого лица, и его героиней была женщина. Несмотря на дурной вкус, с которым это было сделано, на невероятное количество многоточий и восклицательных знаков, на явную, нищенскую бедность языка, было очевидно, что выполнению этой книги предшествовало огромное и мучительное усилие воображения. Каждое физическое и душевное состояние героини было описано во всех подробностях. Это было неправдоподобно, но было сделано с необыкновенным богатством деталей и с явной любовью к этому сюжету, который не стоил и десятка строк. Конечно, героиня была очень красивой женщиной, никто никогда не мог оценить ее редкого душевного очарования, и она кончала самоубийством. Роман назывался «Жизнь Антонины Гальской».

В тот день – это было начало февраля, – когда он передал мне свою рукопись, я видел его последний раз в моей жизни. Когда я вернулся в это кафе, примерно через месяц, гарсон сказал мне, что он умер в больнице от болезни печени. Гарсон передал мне записку на разграфленной в клетку бумаге, такой же самой, на какой был напечатан его роман. В этой записке, написанной по-французски с орфографическими ошибками, меня просили прийти в это же кафе, тогда-то, в таком-то часу. Записка была подписана Мадлэн.

Свидание было на следующий день. Мадлэн пришла, в своем черном платье, такая же худая и темнолицая, как всегда. Но мутные ее глаза были печальны, и в них оставалось больше того запоздалого выражения дерзости, которое поразило меня, когда я увидел ее первый раз. Она говорила мало и с усилием. Она сказала мне, что он умер, что он был известным русским писателем, что на его имя продолжают приходить письма от читательниц. Она просила меня пойти с ней и взять его рукописи. Он ей сказал перед смертью, что их надо передать именно мне, потому что я был единственным человеком, который его по-настоящему понял и оценил. Мадлэн не могла захватить их с собой, так как с утра ушла в город и не успела побывать дома. Я пошел с ней.

Мы долго поднимались по узкой каменной лестнице, мимо темных дверей с давно облупившейся краской. Над нами и под нами, в неподвижном холодном воздухе, на разных этажах, слоями стояли запахи кухни, белья, капусты, лука, золы, плыла далекая струя оскорбительно-одуряющих духов: по-видимому, некоторое время тому назад наверх прошла какая-то проститутка, и ее одеколонный след пересекал эту вертикальную последовательность удушливых прослоек. На самом верху лестницы, на последней ее площадке, Мадлэн отворила дверь, которая, вероятно, никогда не запиралась, и мы вошли в комнату, точно похожую на те, описания которых в бульварных романах мне всегда казались преувеличенными. В ней был земляной пол, две кровати из ржавого железа, разбитое зеркало, выщербленный таз для умывания, две табуретки, гвозди, вбитые в стену вместо вешалок, и маленький узкий стол, на котором стояла керосиновая лампа с жестяным рефлектором.

– Мы прожили с ним здесь вместе много лет, – сказала Мадлэн. – Иногда к нам приходили друзья, Пьер и Марсель. Они оба умерли, так же, как и он. И все это случилось так быстро, *monsieur*, так быстро.

Я слушал ее отрывистые слова – и меня вдруг поразила необыкновенная выразительность ее низкого и хриплого голоса. И мне показалось – это было нечто вроде слуховой галлюцинации, – что именно этот голос произнес ту фразу, которой никогда никто не говорил и которую слышал только я:

– *Mais ils ne sont sortis de l'eternite que pour s'y per-dre de nouveau.*

Я взял сверток рукописей. Мадлэн сказала:

– Благодарю вас, *monsieur*. Он мне сказал, что вы к нему хорошо относились. Бели я могу вам быть полезной, рассчитывайте на меня.

– Если я могу быть вам полезной... – В этом было какое-то странное смешение понятий, насколько неестественное и почти что жуткое, что мне на минуту стало не по себе. Я поблагодарил Мадлэн и пожал на прощание ее жесткую руку.

– Он сотрудничал в русском журнале «Парижская неделя», – сказала она, – я не могу вам дать номера этого журнала, я оставила их себе на память.

Я сказал, что я понимаю ее, и ушел.

Я стал разбирать эти рукописи в тот же вечер. Я был один в своей квартире, и, после того как я побывал в комнате Мадлэн, я испытывал тягостное ощущение напрасного стыда за все, что меня окружало и на что я до сих пор никогда не обращал внимания: обои, ковры, вешалки, диван, кресла, ванна, книги на полках. Первая же статья, которую я начал читать, меня удивила. Она называлась «Женщина в сорок лет» и начиналась так:

«Время бежит незаметно. Жизнь ткёт свою пряжу. Казалось, только вчера вам было двадцать лет. Сегодня вам может быть тридцать два года. Еще немного, и вот уже приближаются фатальные сорок лет. Но не надо отчаиваться. Если вы юны и стройны, то только ваше лицо может выдать ваш возраст, поэтому надо обратить все внимание на макияж».

Дальше шли подробные советы – как следует пудриться, каким должен быть крем для лица и так далее. «Будьте осторожны в выборе красок. Контрасты, – избегайте контрастов! Сглаживайте дефекты. Употребляйте палевые тона для век. Одно яркое пятно на вашем лице – рот. Он придает лицу мягкость». «Воздерживайтесь от крепких спиртных напитков». «Если вы будете всегда в ровном настроении, с ясной душой, вы долго еще на радость тем, кого вы любите, будете юны не только душой, но и туловищем».

Статья была подписана: «Княжна Мэри». Я стал читать дальше – все было приблизительно то же самое. «Культурные нации давно поняли, что массаж лица не только не мешает, а, наоборот, способствует культуре духа. Об этом писали еще римляне». «Для массажа подбородка – давите сильнее. Не бойтесь, это безопасно, так как там у вас кость». «Избегайте слишком сильно пудрить нос: от этого он увеличивается в размере».

«В светском разговоре необходимо показать скромный, культурный блеск. Цитируйте стихи. Но не те, которые все знают наизусть. Цитируйте, например, такие стихотворения, как то, которое напечатано в одном из предыдущих номеров нашего журнала:

Грациозна и смугла,
Вся и счастье и измена,
Улыбался прошла

Кадиксаяская морена.»

Потом шли описания туалетов. «Очень элегантен, хотя несколько строг ансамбль из черного крепдешина. Зеленые листья инкрустированы возле талии и по всему манто труа кар». «Вечером носят светлые тона: цикламен, гелиотроп, лиловый». «Платье шемизье классического фасона».

И всюду одна и та же подпись: «Княжна Мэри». Я отложил рукописи в сторону. В тот вечер я ощутил с необыкновенной отчетливостью, которой потом, позже, не могли восстановить никакие усилия моего воображения, всю призрачность этой человеческой жизни. Все, что казалось чем-то печально неопровержимым и непоправимым в существовании этого человека, все это были неважные, в конце концов, подробности. Все: и жестокая нищета, и одутловатое от вина, небритое лицо, и дряблое мужское тело, и порванный дождевик, и брюки с бахромой, и дурные запахи, и плохое знание французского языка, и невежественность, и полная невозможность присутствовать когда бы то ни было на каком бы то ни было «светском приеме», где надо цитировать стихи и показывать скромный, культурный блеск, – все это было совершенно несущественно. Потому что, когда этот человек оставался один, в том мире, который был для него единственной реальностью, с ним происходило чудесное и торжественное превращение. Все приходило в движение: смещались мускулы, сбегались линии, звучали стихи и мелодии, вспыхивали электрические люстры, в воздухе плыли классические и строгие ансамбли из черного крепдешина, раздавался безупречный французский выговор: вечерний прием у британского посла в Париже, на rue du Fg. St. Нопогё. И если бы у моего бедного знакомого, судьба которого так внезапно пересекла мою жизнь, хватило сил на последнее творческое усилие, то на серой простыне больничной койки, вместо окостеневшего трупа старого нищего, лежало бы юное тело княжны Мэри – во всем своем торжестве над невозможностью, временем и смертью.

Судьба Саломеи*

Я познакомился с Андреем еще в мои студенческие годы, в Париже. Он был довольно способным человеком: некоторые его рисунки были очень высоко оценены компетентными людьми, которые обычно в своих суждениях не ошибались и которые предсказывали Андрею блестящее будущее. Две или три поэмы, которые он написал в несколько недель, были не менее замечательны, чем его рисунки. Но у него не хватало творческой или душевной силы довести что бы то ни было до конца, и время доказало, что и те, кто оценил его рисунки, и те, кто находил замечательными его поэмы, жестоко ошиблись – не в своих суждениях об их эстетических достоинствах, а в том, что Андрею предстояло большое будущее в живописи или литературе. Но в те далекие времена все мы верили в будущее, и Андрей в этом смысле не составлял исключения. Соображения об искусстве играли в его жизни очень значительную роль. Но все-таки главное место в его существовании занимали те бурные чувства, которые он был склонен испытывать и которые оттесняли вопросы искусства на второй план.

Приблизительно в эти же времена в Латинском квартале и на Монпарнасе стала бывать женщина, которой было суждено сыграть в жизни Андрея очень важную роль. Когда она как-то проходила по кафе, подняв голову и прямо глядя перед собой, один из наших товарищей сказал, что она похожа на Саломею. С тех пор никто из нас ее иначе не называл. Между прочим, в этом замечании было что-то очень верное: со стороны казалось, будто эта женщина действительно несет в руках невидимый поднос. Она была очень красива. Она была красива настолько, что даже ее нелепый грим – вместо бровей у нее были две тонкие линии, нарисованные черным карандашом и резко загибавшиеся кверху, губы она красила кармином, в котором преобладал фиолетовый цвет, – даже этот грим не производил того убийственного впечатления, которое он должен был бы производить. Волосы ее были выкрашены в бледно-желтый цвет. Позже, познакомившись с ней ближе, я узнал, что каждое утро она проделывала над своим лицом не меньшую работу, чем актер, который гримируется перед выходом на сцену. Это, впрочем, не мешало ей

повторять, что ее наружность ее совершенно не интересует. Но конечно, если бы все ограничивалось только ее наружностью, она никогда не имела бы того успеха, который сопровождал ее всюду, где она появлялась. Фамилия ее была Martin, по-французски она говорила с ошибками и иностранным акцентом. Martin она была по мужу, которого мы никогда не видели и о котором ничего не знали. Когда речь заходила о нем, она говорила, что его больше не существует, именно так – *il n'existe plus*, – хотя это вовсе не значило, что он умер. Сама она по национальности была румынкой, вдобавок, кажется, с примесью цыганской и еврейской крови. Она поступила на историко-филологический факультет Сорбонны в качестве вольнослушательницы, так как, по ее словам, у нее были какие-то недоразумения с аттестатом зрелости. Через некоторое время я понял, что этого аттестата у нее никогда не было и не могло быть, хотя она и говорила, что кончила какое-то среднее учебное заведение в Румынии. Она не знала таких вещей, как скорость света, разница между арифметической и геометрической прогрессией, логарифмы или закон притяжения. Но в области искусства у нее были познания столь же обширные, сколь неожиданные. Впрочем, ее интересовало только это, все остальное казалось ей не заслуживающим внимания. Денег у нее было очень мало, жила она в небольшой гостинице Латинского квартала. Откуда она получала те скудные средства на жизнь, которыми она располагала, тоже долго было неизвестно, и только однажды совершенно случайно выяснилось, что некоторую сумму каждый месяц ей присылал тот самый ее бывший муж, которого, как она говорила, не существовало. Ей было в эти времена двадцать два или двадцать три года.

То, я думаю, чего она совершенно, казалось, не выносила, это была простота. Простота в искусстве или в человеческих отношениях ей казалась чем-то унизительно примитивным. Это проявлялось даже в самых обыкновенных разговорах – она, например, никогда не отвечала на поставленный ей вопрос: «Ты будешь завтра в университете?»

Она как будто была просто неспособна прямо ответить – да, буду, – или – нет, не буду. Она говорила: «Почему это тебя может интересовать?» или: «Не все ли тебе равно?» Поэтому сколько-нибудь

длительное пребывание с ней было утомительно, несмотря на то, что она нередко бывала интересной собеседницей.

У нее были большие серые глаза с неизменно сердитым выражением, и даже в ее смехе всегда слышался оттенок какого-то непонятого и, в сущности, беспредметного гнева. Множество ее поступков отличалось раздражающей непоследовательностью. Она уславливалась с кем-нибудь идти в кинематограф, за ней заходили в гостиницу, ее не оказывалось дома, или она оставляла записку – я раздумала. Она обещала прийти и не приходила. Но другим она никогда не прощала ни непоследовательности, ни неточности. Ей же это чаще всего прощалось – потому что ни у кого из нас не возникало сомнения о том, что за всей этой раздражающей ее внешней неприемлемостью должен существовать или не может не существовать целый мир, эмоциональная напряженность которого была одновременно бесспорна и неудержимо соблазнительна. Надо было только преодолеть эти внешние препятствия. И ради того, чтобы проникнуть наконец в этот мир, это, конечно, стоило сделать.

Если в этом были убеждены не все или, вернее, не все были убеждены до конца, то Андрей для этого был готов на любое испытание. Со стороны можно было подумать, что он был создан именно для того, чтобы стать ее жертвой. С самого начала установилось то, что определило их отношения: ей было позволено все, ему не прощались ни одна ошибка. Причем ошибкой могло быть все: не та интонация, недостаточная быстрота или точность ответа, неверное движение – все, что угодно. Он как-то пришел ко мне с сияющим видом и сказал, что Саломея наконец согласилась принять от него в подарок книгу стихов, выбор которой она предоставляла ему. Но когда я встретил его на следующий день, он был мрачен, печален и неразговорчив.

– Какую книгу ты купил и как она была принята? – спросил я. Он пожал плечами, вздохнул и ответил, что он купил ей Верлена. Она вернула ему книгу, сказав, что она ей не нужна, и попросив его при этом больше не приходиться к ней. Он ушел в отчаянии, совершенно не понимая причины ее внезапного и необъяснимого раздражения. Каждый раз, когда он звонил ей по телефону, она, узнав его голос, немедленно вешала трубку.

– Да пошли ты ее к дьяволу, – сказал я ему, когда он рассказал мне это.

– Этой эмоциональной возможности у меня нет, – ответил он. – Бели бы ты знал ее лучше, ты понял бы почему.

Мне было его жаль, я спросил Саломею, почему она жестоко обошлась с ним.

– Я хотела, чтобы он купил мне Heredia, – сказала она, – а он, дурак, не мог догадаться.

Я передал ему это. Тогда он купил ей несколько книг, в том числе Heredia, и оставил ей этот пакет в гостинице. Через два дня он решился опять позвонить ей по телефону. Он стоял у аппарата, плотая от волнения слюну и ожидая ее ответа. Она сказала:

– Что же ты так давно не звонил и не был? Я по тебе соскучилась.

Когда он первый раз обнял ее, она дала ему пощечину и сказала, что такой подлости она даже от него не ожидала и что между ними все кончено. После этого он не спал две ночи. На третий день вечером она пришла к нему – у него была небольшая квартира возле Булонского леса, в которой он жил один. Она вошла, взглянула на него своими гневными глазами и жадно его поцеловала. Она провела у него всю ночь, и рано утром он отвез ее на такси в ее гостиницу. После этого, пьяный от восторга, он явился ко мне, разбудил меня и стал кричать, что я никогда не пойму, что я не могу себе представить, что это... Я поздно лег накануне, мне очень хотелось спать, кроме того, я действительно не понимал, что могло привести его в такое состояние. Когда он наконец объяснил мне, в чем дело, я только сказал ему:

– Ну, желаю тебе дальнейшего счастья, милый друг, – и заснул. Когда я проснулся, его не было, но пепельница была полна окурков – он, по-видимому, просидел в моей комнате часа два, восстанавливая в памяти все, что произошло, и думая о своем ослепительном счастье.

Много позже, стараясь себе представить, что, в сущности, определяло ту вздорную жизнь, которую вела Саломея и которую она, когда могла, заставляла вести других, я пришел к выводу, что это было желание не принимать того, что происходило, а создавать то, что должно было происходить. Тот, с кем она начинала какой-то разговор, о котором она раньше думала, должен был отвечать так, как она себе это заранее представила. То, что случалось, должно было происходить именно так, как это уже произошло в ее воображении. В этом был

какой-то абсурдный и неизлечимый эгоцентризм: и для того, чтобы поступки и поведение человека соответствовали ее представлениям, нужно было бы, чтобы он перестал быть самим собой и стал бы чем-то вроде книги, которую она написала. Это, конечно, так быть не могло, она это прекрасно знала и понимала, но это неизменно приводило ее в бешенство. Кроме того, она упорно отказывалась от ответственности за свои поступки и от выводов, которые из них могли быть сделаны. Когда Андрей, придя к ней на следующий вечер, положил ей руку на плечо, она сбросила ее резким движением и сказала ему, что просит никогда больше этого не делать. Он опять впал в отчаяние – состояние, в которое он приходил очень часто и очень легко. На этот раз оно продолжалось пять дней, после этого повторилось то, что было у него на квартире. Через некоторое время он совершенно потерял представление о действительности, ничего не знал и ни в чем не был уверен, кроме того, что вне Саломеи его жизнь не имеет никакого смысла. Это было в известной степени верно: вне Саломеи его жизнь действительно не имела смысла. Но и с Саломеей тоже – с чем он, однако, никогда не согласился бы.

– Ты, конечно, не тот человек, который мне нужен, – сказала она ему однажды. – Ты понимаешь, тот, кому я отдала бы себя всю, должен был бы быть прежде всего выше меня во всех отношениях. Я должна была бы все время чувствовать над собой его умственное и физическое превосходство. Его понимание искусства должно было бы быть непогрешимым. Его душевные движения увлекали бы меня за собой. Это должен был бы быть человек, который выделяется среди всех остальных. Ты понимаешь? А что ты из себя представляешь? У тебя есть некоторые способности, но это все. Этого для меня недостаточно.

Через некоторое время Андрей получил известие о том, что его отец, живущий в Тулузе, тяжело болен. Андрей показал Саломее телеграмму от доктора и сказал, что он должен ехать в Тулузу и пришел с ней попрощаться. Она взглянула на него своими сердитыми глазами и сказала:

– Неужели ты думаешь, что в такие минуты я оставлю тебя одного? Неужели ты мог сомневаться в том, что я поеду вместе с тобой? Ты представишь меня твоему отцу как свою невесту.

Она действительно поехала с Андреем в Тулузу и провела там два месяца, в течение которых отец Андрея умирал от рака печени. Она проявила необыкновенную самоотверженность, не отходила от постели больного, не спала ночами – и когда, после похорон, она вернулась в Париж, Андрей, по первому ее слову, был готов сделать все, что она потребовала бы. Я подумал тогда, что он был прав, сказав мне однажды, что Саломея способна на все и поступков ее нельзя предвидеть.

Он как-то сказал ей, набравшись храбрости: – Ты считаешь себя умнее всех, кого ты знаешь? – Нет, – сказала она. – Себя я не считаю особенно умной. Я только считаю глупыми других, во всяком случае – многих.

– Кроме того теоретического человека, который тебе был бы нужен?

– Кроме этого человека, – сказала Саломея. – Она всегда считает, что поступает правильно и живет именно так, как нужно, – сказал мне после этого Андрей, – и разубедить ее в этом нельзя.

Я знал о ней то, чего не знал Андрей. То, что произошло вчера, ни к чему не обязывало ее сегодня. Какая-то значительная часть душевной жизни у нее была просто атрофирована. У нее не было воспоминаний. Сегодняшний день, с наступлением темноты, уходил в небытие, и то, что произошло за этот день, переставало существовать. Она очень любила музыку, хотя была совершенно лишена музыкального слуха и не могла отличить одну мелодию от другой. Последовательность этих звуков приводила ее в состояние необыкновенного душевного возбуждения. Но запомнить эти звуки она не могла. Она забывала их так же, как она забывала свои чувства и свою собственную жизнь и жизнь тех, кто был с ней связан и кто уходил в прошлое, в котором у нее не оставалось воспоминаний.

* * *

Саломея и Андрей прожили вместе несколько лет. Она много раз уезжала и уходила от него, он посылал ей телеграммы, длинные, как письма, затем она возвращалась, и все начиналось сначала. Потом была объявлена война, и Андрей был мобилизован.

Перед тем как немецкая армия заняла Париж, Саломея исчезла. Андрей был в плену, в Германии. Я слышал от одного из наших товарищей, что Саломея оказалась на юге, приняла деятельное участие в партизанском движении, вышла будто бы во время войны замуж за еврейского банкира, отказалась уехать с ним из Франции – и была убита во время боя партизанского отряда с частями французской милиции. Ее похоронили в братской могиле, где-то недалеко от Монпелье. Андрей узнал об этом, вернувшись из плена.

Я не видел его около десяти лет. Когда я случайно встретил его в Париже, я не сразу его узнал: он постарел, облысел, изменился. Но он узнал меня. Мы вошли с ним в кафе, это было на Больших бульварах. Он сразу заговорил о Саломее, сказал, что ездил разыскивать ее могилу и не нашел ее.

– Даже этого утешения у меня нет, – сказал он. – Как она погибла, о чем она думала в последние минуты, чье имя она произнесла?

– Ты был на войне, – сказал я. – Как ты можешь ставить такие вопросы? Ты знаешь, что в этих обстоятельствах люди чаще всего не успевают ни о чем подумать и не произносят никаких имен.

– И меня не было рядом с ней!

– Это не твоя вина.

– Зачем я теперь существую, я не очень знаю.

Чтобы переменить разговор, я спросил его, что он делает. На его лице появилось выражение отвращения.

– Что такое? – спросил я.

– Я искренно жалею, что не погиб там, как погибла она, – сказал он. – Я веду позорную жизнь.

– Это на тебя мало похоже.

– Вместе с тем это так. Если бы ты знал, что я делаю, ты бы отказался подать мне руку.

– Ты всегда был склонен к преувеличениям, – сказал я. – Я этому поверить не могу. Что в твоей жизни позорного?

Он объяснил мне, что во время войны он потерял все, что у него было, и теперь вынужден зарабатывать на жизнь. Он долго искал работы, писал статьи об искусстве и рецензии о книгах, но денег, которые он этим зарабатывал, едва хватало на пропитание. И тогда ему сделали предложение, на которое он согласился.

– Что, торговля женщинами, что ли?

– Нет, – сказал он, – еще хуже. Те, кто торгуют женщинами, ты понимаешь, это профессиональные мерзавцами. Я не хочу сказать, что я их оправдываю. Но они живут в своем собственном прокаженном мире, им каждую минуту угрожает тюрьма, допросы в полиции, общественное презрение и так далее. Я делаю работу не менее подлую, чем они, но с той разницей, что мне ничто не угрожает.

– Что же ты делаешь, в конце концов?

Он опять сморщился от отвращения и сказал:

– Я пишу слова для песенок и куплеты для опереток. Ты понимаешь? Вспомни наши университетские годы, Малармэ, Валери, Рильке. И после этого...

– Но кроме этого ты что-нибудь пишешь? для себя?

– Я пробовал, я не могу, – сказал он. – Я настолько пропитан теперь этой опереточной пошлятиной и этим идиотизмом, что я чувствую себя хронически отравленным.

Потом он посмотрел на меня с отчаянием и сказал: – Ты представляешь себе, что сказала бы Саломея, если бы она была жива? – Об этом он, конечно, много думал, – что сказала бы Саломея.

Но для его теперешней жизни, помимо прибавившихся к его прошлому лет и неотступного воспоминания о Саломее, было характерно то, что и раньше было одной из главных его особенностей: он жил не так, как хотел, и не делал ничего, чтобы изменить свою жизнь. В сущности, ничто не заставляло его непременно заниматься тем ремеслом, которое он считал позорным. Но сделать усилие, необходимое для того, чтобы избавиться от этого, он не мог.

* * *

У него, в общем, ничего не осталось: ни тех смутных надежд на какое-то будущее в искусстве, которые были у него в молодости, ни того смысла жизни, который представляла для него Саломея. И, конечно, для человека с его эстетическими взглядами то, чем он вынужден был заниматься, казалось последней степенью падения. Трудно было надеяться, что теперь, в его возрасте, он вдруг начнет

другую жизнь, В этом ему мешало, в частности, воспоминание о Саломее: никакая другая женщина не могла занять ее места. И так как прошли годы и годы с того дня, когда они расстались, и воспоминание о ней оставалось таким же, каким оно было в самом начале, то казалось очевидным, что это уже не могло измениться. Я узнал через некоторое время, что он написал о ней целую книгу. Ни одно издательство не приняло ее, потому что Саломея была описана так наивно романтически и так фальшиво, что это делало всю книгу о ней совершенно неубедительной.

Я думал, конечно, и о Саломее. Что осталось от нее? Наши воспоминания о ней и история ее трагической гибели, о которой в свое время писалось в газетах, но которая теперь была забыта, как почти все, происходившее в годы войны. Но все-таки, думая о Саломее, можно было теоретически предполагать, что только смерть остановила ее на том пути, который ей предстоял и который, быть может, был бы блистательным. И конечно, если бы она была жива, то и жизнь Андрея сложилась бы иначе.

Через год после моей встречи с ним, путешествуя по Италии, я поселился на некоторое время во Флоренции. Я жил на *via del Proconsulo*, в маленьком пансионе, с хозяином которого вечерами вел длинные разговоры... Он был пожилой итальянец, говоривший со мной на том языке, который он искренно считал французским, но который в действительности представлял собой результат его личного творческого усилия и был одинаково далек и от итальянского, и от французского, напоминая, однако, и тот и другой одновременно. Он рассказывал мне о своих соседях – владельце книжного магазина, хозяине кафе, о своих жильцах, о жителях Флоренции вообще; он говорил о судьбе Италии и даже об искусстве, которое, по его мнению, перестало существовать приблизительно в первой половине семнадцатого столетия. Он заговорил однажды о том, что война заставила многих флорентийцев покинуть родной город, из которого при других обстоятельствах они никогда не уехали бы, и идти рисковать своей жизнью в чужих странах – в холодной России, в жаркой Африке, во Франции. Он рассказал мне при этом историю того сапожника, который жил недалеко от его пансиона и которого он был постоянным клиентом. Сапожник этот родился и вырос во Флоренции, и ему никогда даже не приходила в голову мысль, что он

может покинуть свою улицу и свой город. Такой прекрасный сапожник и такой хороший человек. И вот, во время войны, он был мобилизован и попал в те части итальянской армии, которые оккупировали юг Франции. После поражения Италии он поступил в какой-то французский партизанский отряд, где был тяжело ранен. Только через несколько лет, когда война кончилась, он, наконец, вернулся во Флоренцию. Из Франции, между прочим, он привез с собой француженку, это тоже было не нужно, во Флоренции достаточно итальянок. Но он женился на своей француженке и вернулся к тому сапожному делу, которого никогда не должен был бы бросать. Жена его ему помогает. Она старше его, раньше сапожного ремесла совсем не знала, но теперь научилась хорошо работать.

– А что же она делала во Франции?

– Была, вероятно, бедная одинокая женщина, – сказал он. – Ей повезло, она нашла человека с хорошим ремеслом, он неплохо зарабатывает, в прошлом году они даже ездили на море летом. Вот, смотри, как сложилась судьба этих людей. Он мог бы никогда отсюда не уезжать, она бы доживала свою одинокую жизнь во Франции. Ему бы не хватало ее, ей не хватало бы его. Но оттого, что Муссолини вступил в войну потому, что считал себя каким-то итальянским Наполеоном, наш сапожник оказался во Франции и она приехала во Флоренцию, о которой до этого она, может быть, ничего не знала.

Вероятно, я был значительно менее склонен к философствованию, чем хозяин моего пансиона, потому что история флорентийского сапожника не произвела на меня особенного впечатления. Любая деталь в скульптуре Микеланджело, в бронзе Донателло или Бенвенуто Челлини казалась мне бесконечно более важной в истории человечества, чем та или другая война, смерть того или иного диктатора и участь их современников, в том числе флорентийского сапожника и его жены. Я думал тогда о других вещах и, в частности, о том, что всякий раз, когда я вырывался из той жизни, которую вел и которая была ограничена кругом незначительных, в сущности, идей и представлений, и возвращался к созерцанию картин Тинторетто или Боттичелли или статуй Микеланджело, я впадал в состояние иступленного и трагического восторга, по сравнению с которым все остальное казалось совершенно неважным.

Я шел однажды вечером по городу, без определенной цели, думая об этом, – и вдруг вспомнил один из разговоров, который у меня был с Андреем много лет тому назад. Мы шли с ним тогда по бульвару St. Michel, была прозрачная сентябрьская ночь. За несколько дней до этого он вернулся из Венеции, где был первый раз, и рассказывал мне о своих впечатлениях. Из всего, что он видел, ему больше всего запомнились тогда – Иоанн Креститель Донателло и «Вознесение» Тинторетто.

– Высокий нищий в бронзовых складках своих лохмотьев, которого нельзя забыть, – говорил он. – И «Вознесение». Ты понимаешь: множество крыльев ангелов, летящих вверх, и в середине этого неудержимого движения Христос, возносящийся на небо. Какой чудовищный гений надо было иметь, чтобы создать эти вещи. После этого начинает казаться, что жить так, как ты жил до сих пор, больше нельзя.

– Мне всегда кажется, что жить так, как мы живем, нельзя, – сказал я. – Может быть, то, что ты видел в Венеции, только подчеркивает это, делает это понимание более выпуклым, если хочешь. Но если ты дашь себе труд вспомнить о том, что ты думал до поездки в Италию, ты увидишь, что ты знал это уже раньше.

– Да, но не так, – сказал он, – и не то. То, что меня убивает, ты понимаешь, это одновременное и параллельное существование таких разных миров и это нестерпимое разнообразие ощущений, которых никакая сила воображения не может соединить в одно. Каждый из нас ведет несколько существований, и то огромное расстояние, которое их разделяет, для меня непостижимо и страшно. Я не могу себя в этом найти.

Он остановился и опустил голову – и со стороны получалось впечатление, что ночью на бульваре стоит человек, который внимательно смотрит на свои ноги. Потом он поднял голову и сказал:

– Я не могу понять, что человек, который следит за разливом симфонии, за тем, как она растет и расширяется, потом вдруг чудесно суживается и возвращается к тем двум нотам, из которых она родилась, – я думаю сейчас о Пятой симфонии Бетховена – этот человек, который в течение долгих минут живет в этом мире и в которого навсегда вошло это необычайное движение звуков – как

может этот человек после этого, выйдя из концертного зала, безболезненно вернуться к тому же, что было до сих пор.

– Я не вижу в этом непримиримого противоречия, – сказал я.

– Я не говорю о противоречии, я не сопоставляю постижение искусства с другими человеческими чувствами, – сказал он. – Но меня пугает расстояние, разделяющее на разные миры то пространство, в котором я потерялся когда-то давным-давно и в котором я больше не могу найти себя.

– Может быть, гений, в частности, обладает способностью одновременного постижения всех этих разных миров – той способностью, которой органически лишены простые смертные. Не построения теоретической концепции, в которую с одинаковым правом вошли бы все человеческие чувства в их невероятном разнообразии, – а чего-то другого – стихийного и безошибочного постижения всего этого.

– Может быть, – сказал он. – Но в таком случае следует сказать, что понимание гения нам недоступно. Не его проявления, а его природы.

Я шел теперь по длинной и узкой флорентийской улице. Была поздняя ночь с неподвижным воздухом и звездным небом. Четверть века тому назад, в Париже, когда мы говорили с Андреем, те же неразрешимые вопросы занимали мое внимание. Бели бы мне сказали тогда, что мы проживем двадцать пять лет, пройдем через разрушительную войну, будем свидетелями гибели миллионов людей – и после всего этого опять вернемся к тем же вопросам, я бы не поверил. Я бы сказал, что этого не может быть, что нас ждет медленное и естественное душевное оцепенение, через которое мы так же медленно будем идти к смерти, все будет постепенно терять свое значение – и чувства других людей, и произведения искусства, и природа гения. Но это оказалось не так. Каждому из нас был дан его особенный мир, законы которого не изменялись от времени. Поэтому теперь во Флоренции я думал о том же, о чем думал тогда в Париже – с той же бесплодной и безнадежной настойчивостью. И поэтому же Андрей вел теперь такую жизнь, испытывая отвращение к тому, что он делал, и, думая о том, что сказала бы Саломея.

Однажды днем я шел сначала по *via Ghibellina*, а затем свернул в узенькую улицу, отходившую от нее под прямым углом. Здесь жили очень бедные люди, занимавшиеся собиранием железного хлама. Первый, кого я увидел, был смуглый мальчик лет пятнадцати, который с выражением наивного торжества в лице нес в руках несколько заржавевших пружин из какого-то развалившегося дивана. Сквозь узкие входы в дома были иногда видны дворы, заваленные ржавым железом самого разного происхождения. Дойдя до середины улицы, я увидел мастерскую того самого сапожника, о котором мне рассказывал хозяин моего пансиона. Это был широкоплечий человек со смуглой кожей: в недостаточном освещении – улица была темная – неподвижное его лицо мне показалось похожим на бронзовый профиль. Против него сидела его жена, та самая женщина, которую он привез из Франции. Когда я остановился у его окна, она подняла голову и взглянула на меня – и я должен был сделать над собой усилие, чтобы не вскрикнуть от удивления. Я встретил знакомый неизменившийся взгляд серых сердитых глаз и узнал Саломею.

Я повернулся и быстро пошел к своему пансиону. Там я вызвал горничную и попросил ее отнести записку жене сапожника. В этой записке я просил Саломею прийти на следующий вечер, в семь часов, на вокзал, где я буду ее ждать.

Когда после войны мне сказали, что она убита, я испытал чувство глубокой печали. Но это было ничто по сравнению с тем холодным отчаянием, которое охватило меня в тот вечер, когда я ждал ее на вокзале. Мимо столика, за которым я сидел, проходили туристы, немцы, англичане, американцы, французы, до меня доходили их слова, которые я слышал, не понимая их смысла. Я видел перед собой лицо Андрея – не того облысевшего человека, который писал теперь слова для песенок и испытывал отвращение к самому себе и своим клиентам, а Андрея двадцать пять лет тому назад, с его далекими и восторженными глазами, и слышал его слова: – Нет, ты не можешь понять, ты никогда не поймешь. Нет, это было слишком жестоко. Если бы Саломея была жива...

Я думал, что она не придет. Но она пришла. Когда она приблизилась к моему столику и я встал и придвинул ей стул, она пристально посмотрела на меня – так, точно чего-то опасалась. Я не

знал у нее этого выражения глаз. Проглотив слюну от волнения, я спросил ее:

– Как все это могло произойти?

Не ответив на мой вопрос, она спросила:

– Он жив?

– Жив. Он думает – так же, как думал я до вчерашнего дня, – что ты была убита. Он так же мало похож сейчас на того, каким был до войны, как ты не похожа на прежнюю Саломею.

– Ты находишь, что я очень изменилась?

Нет, внешне она изменилась меньше, чем можно было ожидать. Ее лицо отяжелело, над ртом появились морщины, но она была еще хороша.

– Я не имел в виду внешние изменения. Но ты мне не ответила, как все это произошло. Повторяю, мы все были уверены, что ты была убита на юге Франции во время войны.

– Я была очень тяжело ранена, – сказала Саломея. – Я думала, что я умру, я в этом не сомневалась. Потом произошла обыкновенная сусальная история, знаешь, как пишут в глупых сентиментальных книгах: меня подобрал молодой итальянец, донес меня до госпиталя и потом приходил ко мне каждый день. Через неделю доктор сказал мне, что я останусь жива.

Она вынула папиросу и закурила. Я вспомнил, что раньше она не курила.

– Ты помнишь, что было во время войны? Для многих людей, в том числе для меня, все сложное исчезло. Остались самые простые вещи: голод, опасность, страх смерти, холод, боли, усталость и бессознательное понимание того, что все в жизни просто и страшно. А то, о чем можно мечтать, это только тепло, сон, еда, безопасность, крыша над головой – что еще?

– Да, да, я понимаю, – сказал я. – Но каменный век кончается.

– Когда мы потом приехали с ним во Флоренцию, – сказала она, – война была кончена, опасности больше не было. Маленькие дети играли на улицах, светило солнце, было тепло. Но все, что было раньше, перестало существовать. Разве ты не заметил, что того мира, который был до войны, больше не существует?

– Это можно было бы сказать, даже если бы войны не было. Конечно, того мира больше не существует. Но тот, который сменил

его, не непременно должен быть ограничен окном сапожника на узкой улице, выходящей на via Ghibellina, и тем, что представляет теперь твоя жизнь. Стоило прожить такую жизнь, пройти через такие испытания и уцелеть – чтобы все кончилось так? Мне кажется, что ты заслуживаешь лучшего.

– Ты уверен, что то, о чем ты думаешь, лучше?

– Нет, – сказал я. – Может быть, это недостаток воображения, но мне все-таки кажется, что нельзя больше искалечить свое существование, чем ты это сделала. Я помню, что в прежние времена ты мечтала о другом.

– А может быть, счастье в том, что тебе удастся ограничить себя и понять, что главное – это несколько несложных вещей?

– Так живут десятки миллионов людей. Но есть другие, которым этого недостаточно.

Я посмотрел в ее глаза и вдруг с удивлением увидел, что в них стояло спокойное и равнодушное выражение, с тем легким оттенком превосходства, который я знал раньше, но который сейчас мне казался неуместным и необъяснимым. Прежнее отчаяние охватило меня, я подумал, что так это оставить нельзя. Я сказал:

– Я предлагаю тебе следующее. Сейчас мы выйдем отсюда. Моя машина стоит за углом. Я заеду на несколько минут в пансион и расплачусь. У тебя есть какое-нибудь удостоверение личности? Завтра мы будем на французской границе. Завтра вечером ты будешь в Париже, а еще через неделю ты забудешь все, что предшествовало твоему возвращению.

– Нет, – сказала она. – Ты уедешь из Флоренции и вернешься в Париж без меня.

– Ты категорически отказываешься ехать?

– Что я буду делать – в этом далеком чужом городе?

Только в первую минуту разговора с ней я услышал в ее голосе волнение, это было тогда, когда она спросила, жив ли Андрей. Все остальное время она была спокойна – состояние, которое ей было совершенно несвойственно раньше.

– Ты забываешь о времени, мой друг, – сказала она, вставая. – То, в чем ты живешь, это движение теней. От того, каким ты был раньше, не осталось самого главного, и ты упорно отказываешься это принять. Ты хочешь повернуть время назад – этого не может даже Бог. Если бы

я послушала тебя и уехала с тобой в Париж, я бы потеряла то, что у меня есть теперь, и осталась бы в пустоте, которую нельзя заполнить никакими воспоминаниями. Проводи меня домой. Потому что теперь у меня есть дом, ты знаешь? Раньше у меня его не было, я не знала этого понятия.

Мы вышли с вокзала. Я шел молча некоторое время. Потом я сказал, повторяя ее слова:

– «Потеряла бы то, что у меня есть». Другими словами, соседство человека, который не понимает одной десятой того, что понимаешь ты?

– Когда я увидела тебя в окне, это меня потрясло, – сказала она. – И я знала, что ты не поймешь того, что я тебе скажу. Может быть, ты поймешь это позже. Но для этого нужно, чтобы ты представил себе совершенно другой мир, которого ты не знаешь и в котором я живу.

– Это какая-то литература.

– Нет, литература у меня кончилась, – сказала она. – Литература – это у тебя. И до тех пор, пока ты от нее не отделаешься, ты не поймешь того, что нужно.

Мы дошли с ней до угла *via Ghibellina*.

– Ты помнишь? – сказал я. – *Rue de Vaugirard, rue Monsieur le Prince, rue de Tournon, rue de Buci, Boulevard St. Germain, rue de Saints Peres?*

– Да, вспоминаю, – сказала она. – Но тех, кто там жил в эти времена, больше не существует. До свидания.

Она прошла несколько шагов, потом вернулась и сказала:

– Я не так с тобой попрощалась.

Она прижала на секунду свои чужие губы к моим губам и ушла. Я смотрел ей вслед – она сохранила свою прямую гибкую походку, за которую ее называли Саломеей. Потом я вернулся на вокзал. Затем приехал оттуда в свой пансион и пролежал полночи, не засыпая, упорно следя за тем, что она назвала движением теней, – вне которого она жила теперь, а я не мог себе представить своего существования.

Когда я возвращался в Париж, я все вспоминал разговор с Саломеей. Все, что она говорила, не могло объяснить того непоправимого превращения, которое с ней произошло. То, что я считал ее недостатком, это отсутствие воспоминаний, теперь спасало ее: если бы она помнила то, что было раньше, она не могла бы так

жить. Ее превращение, как мне казалось, произошло оттого, что она увидела перед собой смерть. Дошла до нее и потом испытала животную радость возвращении к жизни. И вот единственные обстоятельства, которых она не забыла, были именно те, когда она поняла этот возврат к жизни, которым она была обязана молодому итальянцу. Последнее лицо, которое она видела перед собой, когда думала, что умрет, это было его лицо. И первое, которое она увидела уже другими глазами, когда она почувствовала, что будет жить, это было его лицо. И это было самое сильное и единственное воспоминание, которое определило и ее превращение и ее теперешнюю жизнь. Инстинкт самосохранения закрыл перед ней все, что было раньше, и вот почему мое появление в витрине ее так потрясло, как она сказала. То, что я ей предложил – вернуться в Париж, – конечно, было невозможно, потому что городу, где она раньше жила, в ее теперешней жизни не оставалось места. Я думал и о том, что Андрею, конечно, нельзя было рассказать о Саломее; он решил бы, что это результат трагического недоразумения или измены. Но это не было ни недоразумением, ни изменой. Это была смерть. Не Саломеи, которая теперь жила на маленькой улице, выходящей на *via Ghibellina*, а того мира, частью которого она была для нас, которого больше действительно не было, но вне призрачного воспоминания о котором мы не представляли себе нашего существования.

Андрея я встретил зимой в небольшом кафе на углу *rue de Vuci* и *Boulevard St. Germain*, куда я вошел, чтобы выпить кофе. Он был так же печален, как всегда, и теперь мне было его особенно жаль, потому что я так отчетливо помнил ту сентябрьскую ночь во Флоренции, когда я расстался с Саломеей. Мы говорили с ним о разных вещах, потом он опять вернулся к тому, что было до войны, снова заговорил – это было неизбежно – о Саломее и сказал:

– Тебе это, может быть, покажется сентиментальностью, но я бы все-таки просто хотел знать, где ее могила. Ты знаешь, что я искал ее и не нашел.

– Вероятно, потому, – сказал я, – что у тебя об этом были неправильные сведения и ты искал ее не там, где нужно.

Панихида*

Это было в жестокие и печальные времена немецкой оккупации Парижа. Война захватывала все большие и большие пространства. Сотни тысяч людей двигались по замерзшим дорогам России, шли бои в Африке, взрывались бомбы в Европе. По вечерам Париж погружался в ледяную тьму, нигде не горели фонари и не светились окна. Только в редкие зимние ночи луна освещала этот замерзший, почти призрачный город, точно созданный чьим-то чудовищным воображением и забытый в апокалипсической глубине времен. В многоэтажных домах, которые давно перестали отапливаться, стояла ледяная сырость. По вечерам в квартирах с плотно завешенными окнами зажигались стеклянные доски аппаратов радио и сквозь треск глушения раздавался голос: «Ici Londres. Voici notre bulletin d'information...»^[63]

Люди были плохо одеты, на улицах было мало народа, автомобильное движение давно прекратилось, по городу ездили в экипажах, запряженных лошадьми, и это еще усиливало то впечатление трагической неправдоподобности происходящего, в котором жила вся страна в течение нескольких лет.

В те времена я пришел однажды в небольшое кафе, в одном из предместий Парижа, где у меня было свидание со случайным знакомым. Это было вечером, лютой зимой сорок второго года. В кафе было много народа. У стойки хорошо одетые люди – шарфы, меховые воротники, выглаженные костюмы – пили коньяк, кофе с ромом и ликеры, ели бутерброды с ветчиной, которой я давно не видал. Я узнал потом, чем объяснялась эта ветчина, этот коньяк и все остальное: завсегдатаями кафе, в которое я случайно попал, были русские, занимавшиеся черной биржей. До войны, в мирные и сытые времена, большинство этих людей были безработными – не потому, что не находили работы, а оттого, что не хотели работать из какого-то непонятного и упорного нежелания жить так, как жили все другие: ходить на завод, снимать комнату в плохой гостинице и получать жалованье раз в две недели. Эти люди жили в состоянии хронического и чаще всего бессознательного бунта против той европейской

действительности, которая их окружала. Многие из них проводили ночи в деревянных бараках, сколоченных из досок и мрачно черневших на лохматых пустырях парижских окраин. Они знали все ночлежные дома Парижа, скудный желтый свет над железными кроватями огромных дортуаров, сырую прохладу этих мрачных мест, их постоянную кислую вонь. Они знали Армию Спасения, притоны и нищие кафе place Maubert, куда сходились собиратели окурков, оцепенелый сон на скамейках подземных станций метро и бесконечные блуждания по Парижу. Многие изъездили и исходили французскую провинцию – Лион, Ницца, Марсель, Тулуза, Лилль.

И вот после того, как немецкая армия заняла больше половины французской территории, в жизни этих людей произошли необыкновенные изменения. Им была дана внезапная и чудесная возможность разбогатеть – без особенных усилий и, в сущности, почти не работая. Немецкая армия и учреждения, связанные с ней, покупали оптом, не торгуясь, все товары, которые им предлагались: сапоги и зубные щетки, мыло и гвозди, золото и уголь, одежду и топоры, провода и машины, цемент и шелк – все. Эти люди стали посредниками между немецкими покупателями и французскими коммерсантами, продававшими свои товары. И как в арабской сказке, вчерашние безработные разбогатели.

Они жили теперь в теплых квартирах, из которых уехали их бывшие хозяева, оставив картины непонятного содержания, хорошие ковры и удобные кресла. Они носили на руке золотые часы с золотыми браслетами, на их пальцах были кольца с настоящими драгоценными камнями. У каждого из них в прошлом была сложная жизнь – города, дороги и улицы в различных странах, огромные расстояния, которые они прошли пешком, – и вот теперь они дошли до того, о чем никогда не могли мечтать.

Я познакомился сначала с одним из них, Григорием Тимофеевичем, худощавым немолодым человеком с глубоко сидящими глазами и острым подбородком. Я встретил его у моего друга, бывшего певца, выступавшего в свое время в кабаре и кафе. Но в те времена, когда я его знал, все это отошло в прошлое. Он был тяжело болен чахоткой и редко вставал с кровати. Но каждый раз, когда я приходил к нему, он снимал худыми руками со стены огромную гитару, звучащую, как рояль, и пел своим глубоким голосом, на котором

удивительным образом совершенно не отразилась его болезнь, всевозможные романсы и песни – и меня поражало богатство его репертуара. Григорий Тимофеевич знал его с детства, оба они были родом из какого-то маленького городка под Орлом. Григория Тимофеевича никто, кроме меня, никогда не называл по имени и отчеству, и был он всегда Гриша, или Гришка. Певца, наоборот, никто не называл по имени, все звали Василием Ивановичем.

– Вот, Василий Иванович, купил я, значит, картину, – говорил Гриша. – Я тебе, между прочим, жареную курицу принес.

– Спасибо, – сказал Василий Иванович. – Какую же ты картину купил, Гриша?

– Картина, Василий Иванович, не простая. Деньги за нее такие заплатил – вспомнить страшно. Но сюжет уж очень роскошный.

– Что же там нарисовано?

– Изображен там, Василий Иванович, огромный орел, и куда-то он летит, а у него на спине, понимаешь, такой молодой юноша, которого он вроде как уносит. Не совсем понятно, правда, но орел, я тебе скажу, лучше не бывает. Много раз я эту картину рассматривал – и каждый раз одно и то же: замечательная картина, ничего не скажешь.

– А какого художника?

– Этого я не знаю, – сказал Гриша. – Какой-то очень знаменитый. Мне продавец фамилию сказал, я забыл. Только помню, он сказал, что по сравнению с ним Репин, говорит, это просто бревно. И название картины сказал, но я, знаешь, его как-то даже не слушал, до того у меня дыхание захватило.

Я видел потом эту картину в квартире Гриши: это была копия рубенсовского «Похищения Ганимеда».

Картины, впрочем, покупали все или почти все клиенты этого кафе, так же, как они покупали золотые вещи или монеты. У этих людей, у которых никогда ничего не было, вдруг пробудилось какое-то порывистое и беспорядочное стяжательство, никогда, впрочем, не принимавшее западной формы механического накопления денег. Но тратили они еще больше, тратили без толку и зря, с какой-то особенной нелепостью. Помню одного из них, высокого и унылого человека с черной бородой; звали его Спиридон Иванович. Он стоял в

кафе и пил коньяк. По улице в это время проходил стекольник, кричавший заунывным голосом:

– Vitrier! Vitrier!^[64]

– Не могу я этого крика слышать, – сказал Спиридон Иванович. – Не могу, нервы не те. И ведь без толку кричит, ну кому он нужен?

С улицы опять донесся крик:

– Vitrier! Vitrier!

Спиридон Иванович выбежал из кафе, подошел к стекольщику и сказал ему по-русски:

– Не надрывай ты мне душу, Христа ради, замолчи! Сколько все твое барахло стоит?

Потом, спохватившись, он повторил свой вопрос на ломаном французском языке. Удивленный стекольник, помявшись, ответил. Спиридон Иванович вынул бумажник, заплатил столько, сколько стоил весь товар, подождал, пока стекольник уйдет, и вернулся к стойке допивать свой коньяк, который как-то особенно звучно булькал и переливался в его горле, сопровождаемый движением острого кадыка.

– Весь день маешься, – бормотал Спиридон Иванович, – с утра неприятности, того не доставили, там товару не оказалось, а тут еще душу человек надрывает. Только вечером и отдохнешь. Придешь домой, зажжешь отопление и ляжешь в кровать. Лежишь и думаешь: дорвался, Спиридон Иванович, дошел, наконец. Отдохнуть нам, ребята, нужно, а не со стекольщиками лаяться, отдохнуть.

– На том свете отдохнешь, Спиридон Иванович, – сказал Володя, атлетический мужчина лет сорока, специалист по золоту. – Стекольщиков там, я так полагаю, не должно быть, какие там стекла? только облака да ангелы, больше ничего.

– И золота тоже нету, – сказал один из посетителей.

– Это еще неизвестно, – сказал Володя. – Я как-то был в соборе Парижской Богоматери, там кружка висит для пожертвований. Смотрю, а на ней написано: «для душ, находящихся в чистилище». Значит, в чистилище какие-то средства поступают.

– Это их католическое дело, – сказал Григорий Тимофеевич. – Деньги-то, конечно, идут на церковь, чтобы молились здесь за тех, которые, как они думают, должны быть в чистилище. Но это ты прав, странно, конечно, написано.

Я особенно почему-то запомнил этот день, когда Спиридон Иванович произносил свой монолог – хриплый звук его голоса, движение кадыка на его худой и длинной шее и эти слова – отдохнуть нам, ребята, нужно, – запомнил выражение его пьяных и усталых глаз, зимние сумерки и смесь алкогольных запахов в кафе.

А когда Григорий Тимофеевич вышел, Володя сказал мне:

– Напрасно это я о том свете заговорил, помолчал бы лучше. Боюсь я за Гришу, всем нам его жаль. Хороший человек, только не жилец он, давно у него чахотка.

Потом Володя заговорил о своих делах. Разговор его, как всегда, был переполнен техническими терминами – проценты, сплавы, караты, то или иное гранение камней. Было ясно, что вряд ли он мог, за короткое время, которое прошло с того дня, когда немцы заняли Париж, усвоить все эти вещи. Когда я его спросил однажды, откуда у него такие познания, он ответил, что его всегда интересовало все, что касалось золота и драгоценностей. До войны он, как и все его друзья по кафе, бывал чаще всего безработным и нередко бездомным. Но он проводил целые часы перед витринами ювелирных магазинов на rue de la Paix, читал со словарем какие-то технические книги, знал, при какой температуре плавится тот или иной металл, в каких отраслях промышленности нужна платина – и этот оборванный в те времена и почти нищий человек мог бы быть экспертом ювелирного дела. Но до войны его интерес ко всему этому носил совершенно бескорыстный характер, и он никогда не представлял себе, что наступит день, когда это витринное и недостижимое золото вдруг окажется в его руках. По его словам, он только раз встретил достойного собеседника, который знал все это так же хорошо, как он: это был голландец с белокурой бородой и голубыми глазами, известный взломщик несгораемых шкафов, с которым Володя просидел несколько часов в общей камере Центральной парижской тюрьмы, куда попал за бродяжничество – то есть за то, что у него не было ни денег, ни постоянного адреса.

Глядя на Володю, я нередко возвращался к мысли о том, насколько условны могут быть так называемые социальные различия: этому бездомному человеку следовало бы быть собственником крупного ювелирного магазина где-нибудь на rue du Faubourg St. Нопогё.

Другие посетители кафе, друзья Володи и Григория Тимофеевича, были лишены такой резко выраженной индивидуальности. Все они много пили, тратили деньги, не считая, у большинства были жены или любовницы очень определенного типа – ретушированной фотографии с обложки дамского журнала, блондинки в меховых шубах, купленных по знакомству у какого-то отчаянного еврея, который уже отправил свою семью в безопасное место и теперь, рискуя жизнью, распродал все, что у него осталось от его мехового магазина. Весь день клиенты кафе проводили в ожидании очередной партии товара и в телефонных разговорах, а вечером играли в карты, проигрывая и выигрывая крупные суммы.

Григорий Тимофеевич мне говорил:

– Живу я теперь хорошо, конечно. Но только вижу, что раньше я неправильно мечтал. Вот, например, помню я одну ночь в Лионе, зимой. Денег нет, работы нет, комнаты нет. Ночевал я на стройке, все-таки крыша, хоть дождь не заливает. Холодно, накрыться нечем. Лежал я тогда, знаете, на досках, не мог заснуть – никак не согреться – и мечтал. Вот, думаю, квартиру бы вам, Григорий Тимофеевич, с центральным, черт возьми, отоплением, кроватьку бы с простынями. А вечером жена ужин подает: колбаса, закуска, бифштексы. Вот это была бы жизнь.

Глаза его стали задумчивыми.

– А вышло, что все это неправильно. Не в этом дело. Вернее, не только в этом. В чем – не знаю, только знаю, что не в этом. Теперь у меня все это есть: и квартира, и обед, и жена, и даже ванна – живи, не хочу. Но оказывается, все это не то. Я так теперь думаю. Вот попадет человек в беду, например, или, скажем, в нищету. Ему, дураку, кажется, что это самое главное. Не будь этой нищеты, все было бы хорошо. Ну ладно. Взяли его и как в сказке одели, обули, дали ему квартиру и все остальное и говорят – ну, теперь живи, будь счастлив. А где же его взять, счастье-то? В ванне, что ли? Вот на руке у меня золотые часы «Longines», у Володи купил. Заплатил я за них столько, сколько в прежнее время за полгода не прожил бы. Смотрю на стрелки – что они говорят? А говорят они ясно что: вам, Григорий Тимофеевич, мы время отсчитываем. Было пять, а теперь шесть часов. Значит, часом меньше вам жить осталось.

Он, действительно, посмотрел на свои часы.

– Семь часов? Еще часом меньше. Но это меня не пугает. Мне одного жаль: столько лет прожил, а так и не понял, в чем же счастье человеческое? Ну, хорошо – согрелся, закусил, выпил. А дальше?

Как-то случилось, что я не приходил в это кафе около двух недель. Затем пришел – поздним февральским вечером. Григория Тимофеевича не было, и когда я спросил, что с ним, мне сказали, что он болен, лежит. Я пошел к нему, он жил неподалеку.

Он лежал в постели, исхудавший и небритый, глаза у него были горячие и печальные. Над его кроватью, под зажженной люстрой, крылья рубенсовского орла отливали синеватым светом. Я спросил его, как он себя чувствует, он ответил, что плохо.

– Одеяло уже кажется тяжелым, – сказал он, – это последнее дело. Конец мне пришел. Умру – и так и не пойму, чего же мне в жизни было нужно.

Он умер ночью, через три дня после того, как я у него был. Володя сказал мне:

– Скончался Григорий Тимофеевич. Завтра хоронить будем, отслужим панихиду. Придете? Отпевание будет на квартире Григория Тимофеевича, в четыре часа дня.

Володя никогда не называл Григория Тимофеевича иначе, как Гришей или Гришкой, я даже не был уверен, что он знает его отчество. И теперь получалось впечатление, что вот жил Гриша, а умер другой человек, Григорий Тимофеевич. На следующий день, когда я пришел, я увидел, что вся квартира Григория Тимофеевича была заставлена венками цветов. Где Володя достал эти цветы, в феврале месяце сорок третьего года, в голодном Париже, и сколько они стоили, этого я не мог себе представить. Все посетители кафе, друзья Григория Тимофеевича, были уже там, у всех были те изменившиеся, почти неузнаваемые лица, которые бывают у людей в этих обстоятельствах.

– Ждем батюшку, – тихо сказал Володя. Батюшка, старый человек с хриловатым от простуды голосом, приехал через четверть часа. На нем была поношенная ряса, вид у него был печальный и усталый. Он вошел, перекрестился, губы его беззвучно произнесли какую-то фразу. В гробу, покрытом цветами, лежало тело Григория Тимофеевича, одетое в черный костюм, и мертвое его лицо смотрело, казалось, в то небо, куда поднимался орел, уносящий Ганимеда.

– Из каких мест покойный? – спросил священник.

Володя ответил – такого-то уезда, Орловской губернии.

– Сосед, значит, – сказал батюшка. – Я сам оттуда же, и тридцати верст не будет. Вот беда, не знал я, что земляка хоронить придется. А как звали?

– Григорий.

Священник молчал некоторое время. Видно было, что эта подробность – то, что покойный был из тех же мест, что и он, – произвела на него особенное впечатление. Мне показалось, что он, может быть, подумал – вот и до наших очередь дошла. Потом священник вздохнул, снова перекрестился и сказал:

– Будь бы другие времена, я бы по нем настоящую панихиду отслужил, как у нас в монастырях служат. Да только вот голос у меня хриплый, одному мне трудно, так что тут дай Бог хоть короткую панихиду совершить. Может быть, кто-нибудь из вас мне все-таки поможет, подтянет? поддержит меня?

Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было такое, каким я себе никогда не мог бы его представить – трагическое и торжественное.

– Служите, батюшка, как в монастыре, – сказал он, – а мы вас поддержим, не собьемся.

Он обернулся к своим товарищам, поднял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом, – священник посмотрел на него с удивлением, – и началась панихида.

Нигде и никогда, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли слушать пение. Хрипловатому и печальному голосу священника отвечал хор, которым управлял Володя.

«Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобретаем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе цари и нищие».

И затем опять это беспощадное напоминание:

«Таков живот наш есть: цвет и дым и роса утренняя воистину: придите ибо узрим на гробех ясно, где доброта телесная; где юность; где суть очеса и зрак плотский; вся увядоша яко трава, вся потребишася».

Когда я закрывал глаза, мне начинало казаться, что поет чей-то один могучий голос, то понижающийся, то повышающийся, и его звуковое движение заполняет все пространство вокруг меня. Мой взгляд упал на гроб, и в эту минуту хор пел:

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту – безобразну, бесславну, не имеющую вида».

Никогда панихида не казалась мне такой потрясающей, как в этот сумрачный зимний день в Париже. Никогда я не чувствовал с такой судорожной силой, что ни в чем, быть может, человеческий гений не достигал такого страшного совершенства, как в этом сочетании раскаленных и торжественных слов с тем движением звуков, в котором они возникали. Никогда до этого я не понимал с такой пронзительной безнадежностью неудержимое приближение смерти ко всем, кого я любил и знал и за кого возносилась та же молитва, которую пел хор:

«Со святыми упокой...»

И я думал, что в этот страшный час, который неумолимо придет и для меня, когда перестанет существовать все, ради чего стоило – быть может – жить, никакие слова и никакие звуки, кроме тех, которые я слышал сейчас, не могут выразить ту обреченность, вне которой нет ни понятия о том, что такое жизнь, ни представления о том, что такое смерть. И это было самое главное, а все остальное не имело значения.

«Вси бо исчезаем, вси умрем, цари же и князи, судьи и насильницы, богатые и убогие и всё естество человеческое».

И над умершим будут звучать эти же раскаленные, как железо, слова.

Когда отпевание кончилось, я спросил Володю:

– Откуда это все у вас? Каким это чудом все вышло, как вы составили такой хор?

– Да просто так, – сказал он. – Кто в опере когда-то пел, кто в оперетке, кто просто в кабаке. И все в хоре пели, конечно. А уж церковную службу мы с детства знаем – до последнего вздоха.

Затем гроб с телом Григория Тимофеевича закрыли, вынесли, поставили на катафалк и увезли на кладбище, за город. Потом наступили февральские сумерки, потом Париж погрузился в свою обычную для этого времени ледяную тьму, и эта ночь заволокла собой

все, что только что происходило. И после того, как прошло некоторое время, мне начало казаться, что ничего этого вообще не было, что это было видение, кратковременное вторжение вечности в ту случайную историческую действительность, в которой мы жили, говоря чужие слова на чужом языке, не зная, куда мы идем, и забыв, откуда мы вышли.

Интеллектуальный трест*

Я никогда не имел прямого отношения к коммерции и то, что многие люди были способны тратить на это всю свою жизненную и душевную энергию, мне представлялось загадочным и непонятным. Я не мог, конечно, отрицать того, что в некоторых случаях материальные выгоды такой деятельности были совершенно бесспорны. Но это бывало далеко не всегда, и, чтобы в этом преуспеть, нужен был какой-то особенный вид вдохновения, не имеющий часто ничего общего с вдохновением артистическим, например.

Поэтому я был очень удивлен, когда однажды ко мне явился мой старый товарищ, поэт Алексеев, Василий Семенович, и сказал:

– Я к тебе по делу. Мы начинаем коммерческое предприятие и предлагаем тебе работать с нами.

На цыганском его лице было какое-то такое выражение, которого я никогда до тех пор у него не видел.

– Какое предприятие? – спросил я. – И кто это мы? Тогда он мне объяснил, что мы – это он сам, затем Александр Александрович Борисов, тоже поэт и «почтительный ценитель культуры», как он себя иногда называл, и, наконец, еще один человек, которого я не знал, Аристарх Пантелеймонович Смирнов. Четвертым членом ассоциации должен был стать я, – не потому, однако, что основатели предприятия были бы склонны переоценивать мои таланты в этой области, которые мне мешало до сих пор проявить неблагоприятное стечение обстоятельств, а оттого, что я умел править автомобилем. Характер этого начинания мне показался крайне спорным: предполагалось развозить по частным домам молочные продукты – сыр, масло, яйца.

– Кому же вы это будете доставлять? – спросил я. – И в каких количествах?

– У нас уже есть известная клиентура, – сказал Алексеев. – Кроме того, мы предполагаем ее значительно расширить по мере поступления средств и увеличения оборотного капитала.

Эти выражения – «поступление средств», «увеличение оборотного капитала» – в его устах звучали как-то тревожно-неестественно. Если бы речь шла о лирике, романтизме, о некоторых

особенностях амфибрахия, о метафоричности, о символистах, это было бы нормально. Но в том, что он, Вася Алексеев, мог говорить о расширении клиентуры, было, как мне показалось, какое-то мрачное символическое предзнаменование. Кроме того, количества предполагаемых продуктов для предполагаемой клиентуры поразили меня своей незначительностью: полфунта или четверть фунта масла, полдюжины яиц, «немного сыра».

– А почему, собственно, твой клиент будет сидеть и ждать, пока ты привезешь ему четверть фунта масла, вместо того чтобы просто послать горничную за угол и купить это же самое масло в первой лавочке?

– В психологии клиента, – сказал Вася, – есть некоторые специфические факторы, которых ты не учиываешь. Но ты увидишь, как это будет на практике.

Мне лично был предложен выбор: либо вступить в ассоциацию на равных правах с другими и получать четвертую часть доходов, либо брать скромное ежедневное жалованье. Во втором случае я должен был рассматриваться как служащий, а не акционер. Я тотчас же отказался от четвертой части доходов и от почетного звания акционера, и Вася меня предупредил, что я, вероятно, скоро пожалею о своем решении. После этого мы поехали смотреть автомобиль, который был накануне приобретен. В темном гараже, где-то возле Porte de Chatillon, стояла та удивительная машина, которой было суждено стать движущейся базой этого коммерческого предприятия. Это был открытый шестисильный «рено», производивший необыкновенное впечатление на всех, кто его хоть раз видел. Когда на него смотрели с левой стороны, то становилось очевидно, что у него должен быть сильный крен направо. Но достаточно было зайти с правой стороны – и это впечатление оказывалось ошибочным: крена не было. Эта непостижимая, на первый взгляд, особенность объяснялась тем, что правое заднее колесо было значительно больше трех остальных. Когда мы выехали из гаража на улицу, я тотчас же убедился в том, что от ножного тормоза сохранилась только внешняя педаль. Он совершенно не действовал, и дело было бы совсем плохо, если бы не было ручного тормоза, необыкновенной силы и огромных размеров. Он был, по-видимому, в свое время снят с какого-то крупного грузовика, потому что его рукоятка находилась на уровне

моей головы. Автомобиль вообще был собран из очень разных частей, произвольное соединение которых могло рассматриваться как вызов элементарным законам физики и механики. Там было, в частности, множество проволок и электрических проводов, скрепленных между собой прочнейшими английскими булавками, и это сплетение имело, вероятно, какой-то магический смысл, потому что чисто механического его значения я так и не мог выяснить до конца.

– И сколько ты за все это заплатил? – спросил я.

– Две тысячи, франков. Я не верил своим ушам.

– Две тысячи? – сказал я. – Да ты с ума сошел? Ему красная цена пятьсот франков.

Он сделал небрежный жест рукой и сказал, что это не имеет значения. Мне показалось странным его равнодушие к цене – и только позже я узнал его причину: ассоциация предполагала приступить к уплате за автомобиль только после того, как ее заранее вычисленные доходы достигнут таких внушительных цифр, при которых разница в тысячу или две действительно не играла бы никакой роли.

Александр Александрович Борисов спросил меня, как я нахожу автомобиль.

– Мне бы не хотелось, – сказал я, – чтобы вы заподозрили меня в непочтительности. Мне кажется, что он достоин вашего коммерческого предприятия.

– Благодарю вас, – сказал Борисов. – Я только полагаю, что при оценке этой машины было бы полезно отказаться на один раз от тех эстетических концепций, которые мы до сих пор считали в известной мере обязательными.

Он всегда говорил очень академическим языком.

В тот же день я познакомился с Аристархом Пантелеймоновичем, который оказался любителем исторических сопоставлений, социологии и рассуждений о судьбах России. В этой удивительной ассоциации вообще о коммерции говорилось меньше всего.

Мне было бы чрезвычайно трудно представить графическую схему, по которой было бы видно, как именно протекала коммерческая деятельность ассоциации. Я думаю, однако, что как автомобиль предприятия был живым опровержением законов механики, так его коммерция была нарушением всех правил экономики. Клиентура состояла чаще всего из личных знакомых акционеров, которые

соглашались остаться без масла два или три дня, чтобы потом купить у Алексеева или Борисова полфунта желтовато-белой массы в пергаментной бумаге – несколько более дорогой и менее свежей, чем в магазине. Раза три в неделю Алексеев завтракал у своих клиентов, никогда, впрочем, нас об этом не предупреждая. Мы сидели в автомобиле, мерзли и ждали его, а он там не спеша закусывал, пил кофе, курил и разговаривал о поэзии. Александр Александрович говорил:

– Я предполагаю, что Василий Алексеевич сейчас консомирует. Пожелаем ему мысленно приятного аппетита, и будь он проклят.

А Александр Александрович никак не мог прийти на работу рано. Он являлся в одиннадцать часов утра и объяснял:

– Вчера вечером я имел неосторожность открыть Плутарха. Я читал полночи. И нахожу, что это написано божественно.

Когда мы отъезжали, он обращался ко мне:

– Николай Петрович, не откажите в любезности остановить машину перед 68-м номером. Там живет одна гадюка, которая мне должна известную сумму денег.

К этой гадюке он заезжал несколько раз и оставался там довольно долго. Когда я ему как-то сказал, что за это время можно было погасить любую задолженность, он ответил мне очень академическим монологом, смысл которого сводился к тому, что коммерческая деятельность не должна вытеснять из жизни человека все другие, как он сказал, стремления и побуждения. Я поспешил заметить, что я меньше всего склонен настаивать на уточнении. Он пожал плечами и ответил, что секрета никакого нет: каждый раз, когда он там бывал, он принимал ванну.

Когда была уже поздняя весна, Алексеев где-то приобрел по небывало низкой цене бочку сельдей, на которой должен был, по его словам, заработать огромные деньги. Ограничение коммерческой деятельности только продажей молочных продуктов представлялось ему нецелесообразным и могло, в сущности, рассматриваться как посягательство на свободу торговли.

– В плане чисто экономическом, – сказал Александр Александрович, – ваша аргументация, конечно, неотразима. Но было бы, быть может, полезно выяснить другой вопрос: замечали ли вы

среди широких масс вашей клиентуры пробуждение внезапного интереса именно к этому виду товара?

– Другими словами, – сказал я, – будет ли кто-нибудь у тебя покупать эту малоаппетитную рыбную сволочь?

– Заметили ли вы, – продолжал Борисов, – на вашей бочке надпись, значение которой мне показалось несколько тревожным: «скоропортящийся продукт»?

– Господа, – сказал Алексеев, – ближайшее будущее покажет нам подлинное значение этой коммерческой операции самым неопровержимым образом. Мы все будем смеяться над нашими опасениями.

То, что накануне было будущим, на следующий день становится настоящим. И по мере того, как будущее превращалось в настоящее, выяснилось, что надпись «скоропортящийся продукт» отнюдь не могла рассматриваться как метафора, и я лично был чрезвычайно далек от желания смеяться. Наоборот, всякий раз, что автомобиль встряхивало, из бочки поднималась густая воздушная волна такой едкости, что у меня на глазах появлялись слезы. Я запротестовал. Тогда Алексеев переставил бочки в самый далекий угол машины и принял великодушное решение давать эти сельди клиентам в виде премии – знаете, как это делают в больших магазинах.

Но несмотря на то, что бочка была переставлена и сельди щедро раздавались клиентам, дела ассоциации оставляли желать лучшего, и пора было подумать о расширении клиентуры. И вот однажды Александр Александрович явился раньше обычного и сказал, что в ближайшие дни мы приобретем новые возможности сбыта, которые нам даст один молодой человек, тоже доставлявший молочные продукты.

– Вы его увидите завтра, – сказал он. – На него стоит посмотреть, это совершенный итальянский примитив. В частности, овал его лица в этом смысле чрезвычайно интересен. Сам он недавно из России.

Итальянский примитив явился на следующий день. На нем был удивительный плащ, плащ заговорщика, и он, действительно, в какой-то степени был похож на наемного флорентийского убийцу: под его плащом можно было спрятать целый арсенал. Я не знаю, за какую именно сумму он продал ассоциации свою клиентуру. Несомненно только то, что эта сумма превышала действительную стоимость

клиентуры ровно на ту цифру, в которой она выражалась. Когда мы стали объезжать новых клиентов, выяснилось, что итальянский примитив не знал ни одного названия улицы и вообще не имел представления о латинском алфавите. – Вот как мост, переехать, вторая улица направо, по левой стороне, рядом с прачечной, мимо мордастой булочницы.

Париж для этого человека был, как Вологда, только разве побольше.

Но, несмотря на это расширение сбыта, деятельность ассоциации неуклонно приближалась к своему логическому завершению, и становилось очевидно, что законы арифметики должны все-таки восторжествовать. Особенно символичным мне показалось то, что Александр Александрович в последнее время перечитывал Екклесиаста.

Я всегда думал, что в том небрежном и произвольном сочетании разнородных механических частей, которое представлял собой автомобиль ассоциации и которое, конечно, могло носить только чисто временный характер, единственная вещь, которая была сделана *sub specie aeternitatis*^[65], как выражался Борисов, был ручной тормоз. Я думал, что тормоз переживет и автомобиль, и ассоциацию. Но я ошибся. И поэтому в тот день, когда ручной тормоз отказался служить, я понял, что все кончено.

Мы ехали вдвоем с Александром Александровичем – он сидел рядом со мной и читал Екклесиаста – из Кламара в Париж, и нам предстоял длинный спуск. На одном из первых поворотов раздался довольно сильный треск, и автомобиль сразу ускорил ход. Борисов дочитал до конца фразу и, не закрывая книги, сказал:

– У меня получилось впечатление, что в машине что-то сломалось. Не ошибся ли я?

– К сожалению, нет, – ответил я.

Он помолчал. Автомобиль катился вниз все быстрее. Тогда он спросил:

– А что бы это могло быть, по вашему мнению?

– Ручной тормоз.

– Благодарю вас, – сказал он. – Если мне не изменяет память, то ножной тормоз перестал действовать уже раньше?

– С самого начала.

– Если я вас правильно понял, – сказал Александр Александрович своим всегдашним академическим голосом, – мы едем вниз со скоростью, которая увеличивается в некоторой нежелательной прогрессии, и у нас нет никакого тормоза?

– Это именно то, что происходит.

Улица, к счастью, была пустынна. Мы летели вниз, как в пропасть, мимо нас мелькали дома, фонари и испуганные лица людей.

– А у вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, как мы могли бы остановиться, если бы это оказалось необходимо?

– Да, кое-какие.

– Прекрасно, – сказал Александр Александрович, – прекрасно.

Положение, однако, было отчаянным. Когда мы уже приближались к тому месту, где гора кончалась, я поставил вторую скорость. Раздался скрежет и вой, последовал сильный толчок, но скорость включилась, и автомобиль замедлил ход. Затем я поставил первую скорость и, наконец, в последнюю секунду, – задний ход. Автомобиль подпрыгнул и стал.

Несколько секунд мы молчали. Потом Александр Александрович сказал:

– Я полагаю, что, если бы мы с вами выступали в цирке, это могло бы быть выгоднее, чем наша коммерческая деятельность.

После того как автомобиль был доставлен в гараж и механик его осмотрел, выяснилось, что сумма, которую нужно было бы заплатить за починку тормозов, в несколько раз превышала самые смелые бюджетные предположения ассоциации. В обсуждении этого приняли участие все акционеры, и было приведено сравнение с Ватерлоо. Александр Александрович высказал мысль о том, что эпоха головокружительных обогащений, примеры которых являет конец XIX и начало XX столетия, миновала, и напомнил нам знаменитые строки:

Я поздно встал – и на дороге
Застигнут ночью Рима был.

Таково было преждевременное завершение этого удивительного предприятия, которое началось терминами политической экономии и кончилось цитатой из Тютчева. С тех пор прошло много лет. Аристарх

Пантелеймонович исчез, и никто не знает, что с ним стало. Борисов живет в Сицилии и пишет стихи, Алексеев – в Америке. И в центре этого пространства, которое они были склонны уподобить их коммерческому Ватерлоо, я остался один. Надо иметь мужество признать свое поражение: мы не могли победить ни механики, ни экономики. Но, с другой стороны, было бы также ошибочно преувеличивать значение нашего краха – и с моральной, и с экономической точки зрения. С моральной потому, что Плутарх и Екклесиаст оставались по-прежнему прекрасны и недосягаемы, и их величие не могло быть поколеблено никаким финансовым банкротством, и с экономической потому, что, когда мы начинали налгу деятельность, наш оборотный капитал выражался суммой в триста франков, и в день ее прекращения, как Феникс из пепла, возникла эта же самая цифра во всей ее коммерческой неотразимости.

Из блокнота*

* * *

Председатель русской благотворительной организации рассказывает:

– В тридцатых годах среди других просителей и профессиональных стрелков с классическим – «находясь временно в затруднительном положении...» – является ко мне пожилой, небритый, оборванный человек. Середина октября, холод, дождь. На нем рваные штаны, башмаки с отстающими подошвами, рваный пиджак, рваная шляпа и рубашка неопределенного цвета. Говорит хрипловатым голосом: – Мне сказали, что у вас благотворительная организация. – Да. – И что здесь можно получить кое-какую одежду. – Да. – Так вот, не можете ли вы дать мне пиджак? Мой, как видите, износился. – Смотрю на него внимательно. Хмурое лицо, человеческое выражение выцветших глаз. Чем-то он не похож на обыкновенного стрелка. Знаете, когда у вас такой огромный опыт общения с людьми, как у нас, глаз становится наметанным. Есть какая-то, так сказать, нивелирующая сила в нищете и пороке. Огромное большинство нищих и пьяниц постепенно становятся похожи друг на друга. Это нечто вроде братства в несчастье, если хотите. Как-то незаметно стираются различия – и получается средний тип пьяницы, средний тип стрелка, вообще человека, который ушел из мира тех этических понятий, которые мы считаем обязательными или нормальными.

Мы сидим с ним в кабинете его квартиры; теперь тоже октябрь. В этом году кончилась война. За окном холодный дождь – как тогда, когда к нему приходил этот проситель. Слушаю его спокойный голос, в кабинете тепло, горит печь, сквозь ее слюдяное оконце виден огонь. Что-то диккенсовское в этом вечере. Мой собеседник продолжает: – Я его спросил: – Вы говорите, вам нужен пиджак? Только пиджак? – Да, благодарю вас, только пиджак. – Но, простите, пожалуйста, ваши штаны не в лучшем состоянии. А кроме того, я вижу, у вас нет пальто,

а теперь не лето. – Нет, пожалуйста, ни штанов, ни пальто не давайте. – Почему? – Продам и пропью. Вы их кому-нибудь другому отдайте, а мне не стоит. – Как же так? Непременно продадите и пропьете? Это так неизбежно? – Да, – говорит задумчиво. – Я, знаете, алкоголик... – Где вы живете? – Нигде. – То есть как нигде? У вас нет своего угла? – Давно нет. Я бродяга. – Но как же вы существуете? – Неинтересно рассказывать, зачем я у вас время буду отнимать? Дайте только мне пиджак, и я пойду дальше. – Нет, нет, я очень хотел бы знать... – Так вот, видите ли, я уже много лет хожу. Знаете, как в прежнее время по России ходили странники, богомольцы. Хожу по Франции, из деревни в деревню. Французские крестьяне не знают, что я русский. – А как же акцент? – У меня нет акцента. – Каким образом? – Всю жизнь, всегда говорил по-французски, с детства. – И что же? – Ну, вот, иду. Вхожу, принимают. Народ скуповатый, французские крестьяне... Помните Мопассана? Он их правильно описывал. Попросите хлеба – откажут. А вот в стакане красного вина – никогда. Ну, а к вину и сыр, и кусок хлеба. Переночую в амбаре или на сеновале, а утром дальше. Опять дорога, поля, леса. Летом хорошо, а вот осенью и зимой тяжеловато. – И давно вы так ходите? – Много лет уже. – И вас никогда никто не останавливал? Полиция или жандармерия?.. – Останавливали. Сидел в тюрьме за бродяжничество. Но теперь все это кончено, узаконено. – Как узаконено? – Да так вышло. Ну, первый раз меня задержали, отсидел день в тюрьме, выпустили. Второй раз – три дня тюрьмы. Третий – неделя. И так дальше. Предпоследний раз, когда меня арестовали, я отсидел в Орлеанской тюрьме три месяца. Но я, признаться, был даже доволен: январь, февраль, март – самое холодное время. Ну вот. А в апреле, недалеко от Лиона, опять останавливают на дороге; спрашивают адрес и есть ли деньги. – Нет, говорю, ни адреса, ни денег. – Значит, бродяга? – Бродяга, говорю.

Посадили меня в тюрьму. Потом вызывают к следователю – молодой человек. – Ты русский? – Русский. – Бродяга? – Бродяга. – Ты пробовал найти работу? – Нет, говорю, какой из меня работник. Вы, говорю, господин следователь, и я, мы живем в двух совсем разных мирах, основные понятия которых не совпадают. – Он нахмурился и спрашивает: – Вы действительно русский? – Действительно. – Почему ж вы говорите по-французски без ошибок и без акцента? Вы получили

образование во Франции? – Нет. Я окончил университет в России. – Как же могло случиться, что вы стали бродягой? – Я алкоголик. – Вас уже не первый раз арестовывают, и не первый раз вы в тюрьме? – О, далеко не первый. – Но ведь каждый раз срок заключения автоматически удлиняется. И кончится дело тем, что вас продержат в тюрьме год, а потом вышлют из Франции. – Вероятнее всего, так и будет. – Нет, так нельзя, надо что-то делать. – Что ж тут сделать? – А об этом надо подумать. Но скажите, как же вы можете так жить? – Я говорю: – Извините меня, господин следователь, вы человек молодой, и, может быть, вам, не приходилось задумываться над тем, как чудовищно многообразны пути человеческих существований. Вы этого не знаете. Мы знаем только направление. Мы все, одни медленно, другие быстро, одни в кабинетах судебных следователей, другие на дорогах той или иной страны, третьи еще где-нибудь, – мы все идем к смерти. И если вы себе представите, что что бы вы ни делали, как бы вы ни жили, здесь или там, в таких или других условиях, все равно и вам, и мне суждены, может быть, разные пути, но и у вас, и у меня всегда одно и то же назначение – если вы себе представите это, то логически из этого вытекает другая мысль: не все ли равно, какой дорогой мы дойдем до неизбежного конца нашего земного странствования? Конечно, это, может быть, сомнительная философия бродяги, философия, на которой лежит отпечаток того, что вы, французы, называете *deformation professionnelle*^[66]. Но я готов был бы защищать эту философию, если бы считал, что в мире вообще есть философские системы, которые стоит защищать. – Следователь покачал головой и сказал: – А все-таки, хоть я с вами и не согласен, сделать что-то нужно. И я об этом подумаю.

Через три дня он меня вызвал. Выражение глаз у него было веселое. – Нашел выход! – сказал он. – Я же вам говорил, надо только подумать. Вот ваше новое удостоверение личности. Видите, в этой графе: «профессия». Видите? Теперь тут написано: «кочевник». Понимаете? И теперь вас арестовать уже больше не могут. Вы – кочевник и не обязаны иметь постоянного местожительства. А сейчас – вы свободны. Счастливого пути. – Я искренне поблагодарил его и ушел.

– Хорошо, говорю я, – продолжал свой рассказ мой собеседник, – ну, дам я вам пиджак, а что дальше? Опять пойдете странствовать? –

Нет, – сказал он. – Больше не могу, сил нет. Раньше, еще несколько лет тому назад, мне все было нипочем: холод, жара, дождь, снег, расстояние. А теперь устаю, муть в глазах, деревья передо мной качаются, поля точно в тумане уплывают из-под ног, а когда холодно, то мне кажется, что я несу в себе какую-то ледяную тяжесть. Не могу больше. И вот недавно я прочел в газете, что в русскую церковь, в одном из городов на побережье Средиземного моря назначен дьяконом отец Василий Сидоров. И приведена его биография, – родился, дескать, в Твери, учился там-то и там-то и так дальше. Я сразу догадался – да ведь это же Васька Сидоров, я его с детства знаю, я тоже из Твери. Ну, думаю, старый товарищ, он меня в беде не оставит. И вот я решил – пойду-ка туда, прямо к нему, и скажу: устрой меня, Васька, где-нибудь там при церкви. Много мне не надо, только бы угол да поесть чего время от времени. А климат там мягкий – пальмы, тепло. Вот это и будет концом моего пути, вернее, его последним этапом. Только пиджак мне все-таки нужен.

– А как же вы попадете из Парижа на Ривьеру? Ведь это около тысячи километров. – Как всегда, пешком. Месяца за три дойду, если не упаду по дороге. – Нет, – говорю я, – это не дело. Я вам дам пиджак, брюки, башмаки, пальто и железнодорожный билет до места назначения, почти что до самой церкви. – Боже вас сохрани! – говорит он. – Все пропью... – Нет, – говорю, – не пропьете. Не удастся. Все получите в последний день, и я сам вас посажу в поезд. – Так я и сделал. Сел он в поезд – неузнаваемый, другой человек – бритый, прилично одетый. Но те же печальные глаза, то же выражение лица.

– Где, – говорит, – ближайшая остановка поезда? – Я называю остановку. – Далек, – говорит, – не купят билета. Вы правы, не удастся пропить. Спасибо, прощайте.

Председатель благотворительной организации говорит:

– ...Было это в конце октября, дождь, как теперь. И когда поезд ушел, знаете, что я вспомнил? Андрея Белого:

Поезд плачется, в дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные,
Пролетаю в поля: умереть.

И потом он сказал:

– Не знаю уж, что стало с моим клиентом. Доехать-то он доехал, наверное, и Ваську Сидорова, я думаю, нашел. Так, вероятно, и суждено ему было окончить свои дни не на дорогах Франции, а в непосредственном соседстве с русской церковью, рядом с изображениями святых и угодников – тех самых, на поклонение которым когда-то ходили наши странники, иногда, может быть, и такие, как мой парижский кочевник.

* * *

Объявление в русской газете: «Натираю полы, все чищу и привожу в порядок, могу по телефону. Александр». Спрашиваю одного приятеля, который знает весь «нижний этаж» русской колонии в Париже, – что это за телефонный полотер?

– Блестящий человек, все его коллеги ему бешено завидуют.

– Почему?

– Он работает со своей пылью.

– Как со своей пылью?

– Нанимается натереть полы, скажем, в такой-то квартире, за определенную сумму. Приходит на работу и приносит с собой кожаный мешок. А в этом мешке у него пыль. Кончит работу – высыпает целую гору этой пыли у порога. Потом показывает хозяйке и говорит – смотрите, мадам, как я усердно трудился, видите, сколько пыли? Может, прибавите что-нибудь? Хозяйка видит – действительно, подумать только, как должен был работать этот человек. И прибавляет – без отказа. Как он до этого додумался, непонятно. Никому это в голову не пришло, а он изобрел: блестящий человек.

Потом добавляет: – Ньютон открыл закон притяжения, Гарвей – систему кровообращения, Эйнштейн – теорию относительности. А полотер Александр – собственную пыль; каждому свое. «Ибо земля еси и в землю отыдеши». Другими словами, прах. И вот, в день Страшного. Суда, кто знает? Мы придем туда с пустыми руками, а Александр подымет на небо со своим кожаным мешком и своей пылью. На всякий случай: может быть, там тоже полотеры требуются?

Глухая парижская провинция 15-го «аррондисмана». Летним вечером, у русской пожилой дамы, Анны Васильевны Морозовой, мой знакомый пьет чай. Муж дамы, почтенный человек лет шестидесяти, бывший военный, только что попрощался и ушел на работу.

– Грех жаловаться, – говорит она, – место у Михаила Петровича хорошее, не каждый такое может получить. Ночной сторож в гараже, А какое ему доверие! Нет, что ни говорите, где бы человек ни был, рано или поздно его оценят по достоинствам.

Потом вздыхает и прибавляет:

– Вот, Бог даст, большевиков свергнут, поедем в Россию, и Михаил Петрович будет одесским губернатором.

– Почему же именно губернатором?

– Как почему? Что же, вы думаете, мало мы страдали?

Знакомый говорит задумчиво:

– За страдания, Анна Васильевна, это в угодники попадают, а не в губернаторы.

* * *

Зима, глубокая ночь, кафе на Монпарнасе. У стойки небритый, плохо одетый человек в пальто явно с чужого плеча – рукава длиннее рук, полы чуть не до земли. Перед ним пустая чашка, в которой был кофе. С ним спорит пожилая женщина в черном балахоне, похожая на заблудившуюся кухарку. В руках у нее клеенчатая сумка для провизии. Эта внешность, однако, обманчива: женщина занимается проституцией. Спор идет о том, какая из двух стран имеет право называться передовой – Франция или Россия. Женщина говорит на простонародном французском языке, ее собеседник с сильнейшим русским акцентом едва объясняется по-французски при помощи глаголов в неопределенном наклонении и существительных неизвестно какого рода. Исчерпав все свои аргументы (он доказывает, что Россия всегда была передовым государством, а Франция, как всем известно, страна отсталая), – он обращается ко мне за поддержкой. Отвечаю по-русски. Денег на вторую чашку кофе у него нет. Заказываю гарсону для него кофе с молоком и бутерброд. Он объясняет: – Я, знаете, временно без работы. – А что вы делали в

России? – Командовал батареей. Моя фамилия Смирнов, полковник артиллерии. А здесь работаю электротехником. Но дело нерегулярное: работаешь – хорошо, а потом гуляй себе по улицам, если работы нет. – А где вы живете? – Где придется. До октября жил на кладбище, тут недалеко, там один знакомый предприниматель сдавал походные кровати с одеялами. А зимой холодно все-таки, потом, если дождь, тоже нехорошо.

Выпив кофе с молоком, съев бутерброд и закулив папиросу, полковник Смирнов говорит:

– Вы человек молодой, так что у вас, наверное, еще, может быть, есть какие-нибудь сомнения. А мы – наша песенка спета. Что осталось? Воспоминания и жизненная труха, ничего больше. История, как говорится, нам подложила свинью. И теперь я твердо знаю, в чем дело и какая должна быть правильная философия.

– Какая же?

– А вот. Разная там политика, благо родины, такая партия, другая партия, – все это барахло. Это еще Соломон понимал – дескать, суета сует и ничего больше. Единственное, что важно, – это личная жизнь и ход времени.

Потом долго думает о чем-то и прибавляет, точно произносит цитату:

– И горячий взгляд женских глаз.

– Это вы откуда?

– Мои собственные слова, только переделанные. Это я такое стихотворение написал, когда был влюблен, еще в России.

– В размер как-то не укладывается.

– Ну, чудак вы человек, в стихотворении моем было иначе. Разве можно в стихах так выражаться – «и горячий взгляд женских глаз»? Это последняя проза, ерунда, ничего поэтического.

– А как же у вас было в стихотворении? Он закрывает глаза и цитирует:

И пламенный взор твоих глаз,
Который в моих отражался.

Потом опять читает:

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот,
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

– Но это уже не мое...

Мне почему-то неловко сказать, что я знаю эти стихи. Думаю о том, как все это нелепо: ночь, Париж, старый оборванец у стойки кафе цитирует Блока. Спрашиваю, не нужно ли ему денег?

– Конечно, нужно. Всем деньги нужны, даже Ротшильду или Рокфеллеру. Им даже больше, чем мне. Потому что – что такое Ротшильд без денег? – дырка, ничто. А я – такой, как я есть, и с деньгами и без денег. Спасибо за предложение, но я у вас не возьму. Обойдусь.

Проходит несколько дней – опять встречаю его у стойки, опять ночной разговор. Говорит он, я слушаю. Говорит о том, что воспоминания обычно неподвижны. И потом прибавляет:

– Но не всегда, конечно. Жил я не так давно в небольшом городке, здесь, во Франции. Работал на фабрике. И вот как-то выпил я и вышел за город, в поле. Солнце уже заходило, лето, тепло. И вот иду я, и что-то со мной странное, не могу понять. Потом останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу: за мной, как в строю, беззвучно идут люди, десятки людей: товарищи, которые давно убиты, другие, о которых я ничего не знаю, – как будто вот я двигаюсь и вся моя жизнь волнами льется за мной. Ну, думаю, допился. Страшно было, знаете. Не дай Бог, когда воспоминания приходят в движение.

Так прошла зима. Я его встречал раз в неделю, раз в две недели, – все такой же, без работы, в том же пальто. Но крепкий человек – ясные глаза, уверенный взгляд. Прошла весна, наступило лето. И вот однажды, совсем под утро, когда я вошел в кафе, он точно из-под земли вынырнул и оказался рядом со мной.

– Я вас всю ночь ждал. Предлагают работу в провинции. На билет, чтобы доехать, нужны деньги, там комнату снять и прожить неделю, – тоже надо заплатить. Помните, вы мне предлагали? Теперь я у вас могу попросить, – знаю, что верну.

Я дал ему деньги, он пожал мою руку, ушел – и пропал.

Проходили недели, месяцы, – как в воду канул. Опять наступила зима. И вот как-то в январе или феврале я вошел ночью в кафе и увидел его: котелок, черное пальто, бритое лицо, воротничок, галстук.

– Разрешите вас приветствовать шампанским и, кстати, вернуть вам мой долг.

– Как работа?

– Ничего, благодарю вас. Провинция только, знаете, скучновато. Люблю Париж.

– Но зарабатываете-то вы прилично?

Пожимает плечами: – Какое это имеет значение? Мы вышли с ним из кафе, он небрежным жестом остановил проезжавшее такси – и уехал на вокзал.

А еще через полгода он опять появился – в таком же виде, в каком я его встретил первый раз.

– Что случилось?

– Да все то же самое. – Он морщится, ему явно неловко. – Как это в Библии сказано? «Возвращается ветер на крути своя». Сколько раз уже было. Живешь, работаешь. А потом, в один прекрасный день, – вдруг та же самая мысль: для чего? И зальешься. А потом придешь в себя, – все ухнуло, все пошло к чертовой матери.

Потом полковник Смирнов снова исчез. Опять прошло много месяцев. Однажды днем иду по бульвару Пор Руаяль, слышу, кто-то бежит за мной. Оборачиваюсь – он: опять в совершенно приличном виде. – Нашел работу. – Где, какую? – Как всегда. Я ведь по специальности инженер-электротехник.

Об этом он мне сказал только на третий год знакомства.

Потом я видел его много раз. Он знал мой адрес и время от времени приходил ко мне. Как-то явился ранней осенью и сказал, что ему нужно тридцать франков.

– Можно узнать, почему именно тридцать?

Он посмотрел на меня, выражение глаз у него было такое, точно он смотрел куда-то вдаль. Потом сказал:

– До зарезу. Букет цветов, обед, комната в гостинице: сегодня вечером из Ниццы приезжает Нина. Вы можете себе это представить: Нина!

– Я не знал, что она приезжает. Простите, а кто такая Нина?

Он покачал головой и ответил:

– Этого вы никогда не поймете. Но без тридцати франков я не уйду.

Потом он вышел, потом опять позвонил и, не переступив порога, сказал:

– Никто так не умел любить, как она. И бросился бегом вниз по лестнице.

За год до начала войны – давно ушел поезд, в котором Нина уехала из Парижа, – он пришел попрощаться: он уезжал, как он сказал, к «чухне», то есть в какое-то балтийское государство, – куда его будто бы пригласили преподавать баллистику в военном училище.

* * *

Ходит по Парижу старичок-калмык, с узкими монгольскими глазами и бесчисленными морщинами на желтом широком лице. – Обращается к прохожим и бормочет:

– Мелочи имеете? Мелочи имеете?

Никто, кроме русских, его, конечно, не понимает, пожимают плечами, считают, вероятно, тихо помешанным. Когда он задает мне свой обычный вопрос: – Мелочи имеете? – я спрашиваю: – Почему мелочи? – Крупные не дашь.

Проходит несколько месяцев. Зимой он появляется в чем-то похожем на длинную ватную кофту, точно это и не Париж, а Оренбургская степь. И опять этот виляющий взгляд узких монгольских глаз и древнее лицо: я сразу вижу перед собой безводные степи, юрту, тень Чингисхана. – Мелочи имеете? Мелочи имеете? – Свои несложные фразы он всегда повторяет почему-то два раза.

– Что, старик, трудно жить? – Трудно, трудно, мелочь надо, кушать надо, мелочь надо, кушать надо. – И сквозь это его бормотанье на чужом языке, которое я потом долго вспоминаю, всегда возникает – точно через степные столетия – это древнее желтое лицо. – Читать умеешь? – Кому читать нужно? Кому читать нужно? Жить нужно, читать не нужно.

Действительно, что же ему читать? Зачем?

Проходит несколько лет. Рассказываю одному знакомому о калмыке. Он спрашивает: – А вы знаете, чем он занимался и чем все это кончилось? Не читали в газетах года два тому назад? – Нет. Знаю, что просил милостыню. – Не только это.

И вот оказалось, что калмык давал таким же нищим, как он, деньги в рост, под какие-то чудовищные проценты. Был богат и все свое состояние носил с собой, довольно крупную сумму. Какой-то юноша, незадолго до этого выпущенный из тюрьмы, ночью зарезал старика-калмыка, и сбежал с его деньгами, но через несколько часов был пойман, снова посажен в тюрьму и позднее гильотинирован.

* * *

В трудные времена, первые послевоенные годы, звонок; отворяю дверь, на пороге высокий, очень пожилой человек. – Разрешите войти? – Пожалуйста. – Он курит папиросу с длинным мундштуком. Когда начинает говорить, у него все время то съезжают, то поднимаются вверх плохо сделанные вставные зубы какого-то редкого лило-ватого цвета. Через некоторое время выясняется, что он ошибся адресом – он думал, что я имею какое-то отношение к благотворительному обществу. – Нет, я никакого отношения к благотворительным организациям не имею. – Но у вас есть знакомства? – Конечно, у кого их нет? – Так вот, дело в следующем. – За этим идет длинейший рассказ о его жизни. Он бывший присяжный поверенный, что, впрочем, видно по его любви к метафорическому стилю: «в вихре революционных событий», «в огне гражданской войны», «на фоне этой исторической трагедии». Вспоминаю фразу, которую я читал в воспоминаниях какого-то знаменитого адвоката, что-то вроде этого: «И на мрачном фоне зарождающейся реформы ярко горела персональным факелом индивидуальная совесть молодого помощника присяжного поверенного...» Словом, «жизнь прошла». В подтверждение этого он приводит цитату в стихах. Средств никаких. Сын его давно в Америке, но денег не присылает и на письма не отвечает. Нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Даю адрес

благотворительной организации, который случайно знаю. Он благодарит и уходит.

А через несколько месяцев является опять, такой же длинный, с тем же мундштуком, с тем же выражением глаз. – Вы знаете, я всегда любил Ривьеру. Мне надо жить на Ривьере. Климат для меня подходящий, у меня больное сердце, тяжелый груз личных воспоминаний, как у всех, кого волны жестоко трепали в житейском море. Кроме того, боли в желудке, вы сами понимаете. Надо что-то сделать. Необходимо поехать на Ривьеру, там нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Что вы думаете? Как нужно действовать? – Не знаю, как вам помочь. – Он вздыхает и говорит:

– Я давно пришел к убеждению, что энергия побеждает в жизни все. Я всегда надеялся только на свою собственную энергию, и вот, смотрите, другой бы на моем месте, может быть, давно умер, а я жив, и у меня даже сын в Америке – а какой с него толк? Ну, простите, что я вас побеспокоил. Я бедный человек, вы знаете, бедный, старый человек, и все, что у меня осталось, это немного воспоминаний и немного энергии. Но разве на это можно прожить и поехать на Ривьеру?

Ничего не могу сказать о его воспоминаниях. Но если у него их столько же, сколько энергии, он мог бы написать много томов. Он обходит все благотворительные общества, по многу раз рассказывает свою жизнь, объясняет, что у него боли в желудке, говорит, что он любил Ривьеру еще до первой мировой войны, что ему так мало надо, и, в конце концов, добивается своего: ему дают деньги на дорогу, на комнату, на жизнь, и он уезжает, наконец, в Juan les Pins, где поселяется в гостинице. И, прожив там два месяца, скоропостижно умирает.

37-38 год, опять зима, ночь и то же кафе против монпарнасского вокзала, в котором я бывал много лет подряд и где знал всех, начиная с хозяйки и гарсонов и кончая посетителями, очень малопочтенными: сутенеры, проститутки, вору. Время от времени перед кафе останавливаются полицейские машины. Это – облава: обычно в несколько минут забирают почти всех. И потом в кафе остаются четверо: хозяйка, гарсон, мой собеседник, которого я описал в книге

«Ночные дороги» под именем Платона, и я. А на следующую ночь кафе опять полно, – отпущенные посетители возвращаются.

И вот, раза два в неделю, в кафе ночью приходит небольшой человек лет тридцати, с неизменно грустными глазами, хмуро глядящими из-под кепки. У него покатые плечи и удивительные руки, руки музыканта или гравера, Приходит он всегда в перчатках и только потом их снимает. Мы знаем друг друга уже несколько лет. Разговорчивостью он не отличается – здравствуй, как поживаешь? как дела? Пьет, в отличие от других, не коньяк, не вино, а пиво. Зовут его Дэдэ.

Как-то раз я спросил его:

– Почему ты всегда такой грустный?

– Я?

– Ты.

– Я? Грустный? Если бы ты занимался моим ремеслом, тоже был бы грустный.

– А какое твое ремесло?

Он смотрит на меня недоверчиво:

– Хочешь сказать, что не знаешь?

– Понятия не имею.

– Смеешься?

Мне удается его убедить, что я действительно не знаю, каким ремеслом он занимается.

– Тебе повезло с работой, – говорит он, – а моя – хуже не бывает.

И он объясняет мне, что по специальности он взломщик несгораемых шкафов.

– Выгодное дело, – говорю я. Он начинает сердиться.

– Выгодное дело! Не говори о том, чего не знаешь. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты этим занимался. Попробуй, и увидишь выгоду.

– Хорошо, – говорю я, – предположим, ты вскрыл, скажем, где-то там шкаф. В нем на миллион драгоценностей. Сколько ты на этом зарабатываешь?

– А сколько ты думаешь?

– Не знаю, тысяч шестьсот, пятьсот?

Он качает головой. Ему жаль меня, моего невежества. И он насмешливо спрашивает, верю ли я в Деда Мороза?

– Почему? Меньше половины?

– А восемьдесят тысяч не хочешь? Да-да, восемьдесят тысяч. Ты не понимаешь, не понесу же я товар (все, что он достает из вскрытых несгораемых шкафов он называет товаром) на rue de la Paix? Тогда лучше прямо в тюрьму. Значит, надо нести к скупщику. А он что говорит? Это товар непродажный, я у тебя его возьму только по дружбе, потому, что у меня доброе сердце и я знаю, ты хороший парень, и не забудь, на какой риск я иду...

Дэдэ смотрит на меня сердито и говорит с упреком:

– А работа, это ты не считаешь? А инструменты? а расходы? а время на подготовку дела? А ты спрашиваешь, почему я грустный.

И потом, посасывая холодное пиво, он говорит нравоучительно:

– Так-то, брат, устроена жизнь. Одним везет, другим нет. Есть люди, которым суждено быть счастливыми, а есть такие, как я. От работы я не отказываюсь, никто не скажет, что я лентяй. Но есть люди, у которых всегда много денег и которые никогда не работают, а есть, как я, которые всегда работают и всегда в дураках.

Он говорит на непереводаемом французском языке, смесь простонародного говора с арго. «Total – j suis toujours chocolate».^[67]

– Теперь понимаешь, почему я грустный?

Потом он куда-то исчез и появился только года через два – пришел ночью в кафе. Та же кепка, те же хмурые глаза.

– Как дела, Дэдэ?

– Плохо, – говорит. – Только недавно на свободе.

Он говорит это иначе, но это непереводаемо:

– Il n'y a pas longtemps que j suis dehors.^[68]

Я знаю язык, на котором он говорит, я знаю мир, в котором он живет, печальный, убогий, преступный. Я знаю много, чего он не знает и что отделяет меня от него. Но я знаю его жизнь: родители – алкоголики, восемь человек детей в одной комнате, мрачный и нищий квартал Парижа, голод, вонь, потом – приют для малолетних преступников – вот биография Дэдэ.

– Теперь ты понимаешь, почему я грустный?

* * *

Жаркие летние сумерки в Нью-Йорке – та душная, влажная жара нью-йоркского лета, которую так трудно выносить. Иду по Bowery. На мостовой, возле тротуара, лежит человек в лохмотьях. Труп? Пьяница?

Подходит высокий пожилой человек с окурком во рту и просит огня. – Можете себе представить, забыл спички дома. – И, прикурив, начинает хохотать, как сумасшедший. – Вы только подумайте, я никогда ничего не забываю, все это знают, и вдруг я забыл спички. – И удаляется, продолжая гулко хохотать. Потом хохот переходит в рыдания. Он стоит на краю тротуара и горько плачет: – Я никогда ничего не забываю. Никогда, никогда! – Я ухожу и слышу, как он продолжает отчаянным голосом кричать это одно слово: – Never! Never!^[69] – которое вдруг приобретает такой трагический смысл, точно в нем действительно выражена невозможность что-либо когда-либо в чем-либо изменить.

Иду дальше – мрачный дом, гостиница. На гостинице надпись: «Только для мужчин». «For men only». Каких мужчин? Таких, как тот, который ничего не забывает? или таких, которые все забыли?

Еще дальше – кабаре: «Bowery – Folies». У стойки на высоких табуретах сидят неподвижные, молчаливые, пьяные люди. А на эстраде старые женщины с перьями на голове танцуют канкан, подымая неверными движениями голые ноги с чудовищно надутыми синими жилами. Глаза у них усталые, на морщинистых лицах и шеях блестит пот.

Потом вхожу – это уже недалеко от китайского квартала – в кафе, где за стойкой суется старый китаец с золотыми передними зубами. И там я вижу лицо, которое до сих пор преследует меня, – я никогда не видел ничего страшнее: это огромный человек с остановившимися глазами на физиономии непередаваемого цвета – помесь негра с китаянкой или китаец с негритянкой. Ни в каком film d'ouvrage^[70] я ничего более страшного не видел. А такие глаза я видал, много лет тому назад, на одной из ферм во Франции, у взбешенного быка-производителя.

В одном из русских ресторанов Парижа за столиком сидят двое – бывший военный прокурор с длинными усами желтого цвета и оловянными глазами, чрезвычайно вежливый – «как вы изволили заметить», «я позволю себе сделать некоторые примечания» и так далее, – и дама необыкновенно свирепого вида с густыми седыми бровями. Обоим под восемьдесят. На стенах вокруг них картины: тройки, бородастые ямщики, дуги, колеса, полозья саней. Дама говорит хриплым голосом: – Василий Петрович недавно скончался. Какой человек был! Я его прекрасно знала. Пользовался всеобщим уважением. Вы знаете, он служил в том полку, который писатель Куприн вывел в «Поединке». Василий Петрович был начальником хозяйственной части. Солдаты так о нем и говорили – отец. До него был другой – просто ужас: солдаты ходили чуть ли не оборванные, кормили Бог знает как, а он все в карты играл. Ну, и кончилось дело растратой, конечно. А Василий Петрович – при нем часть прямо в рай попала. Солдаты сыты, довольны, все вовремя, обмундирование – лучше не бывает. Офицерам – один обед, другой обед. Прямо на руках носили. А отчетность в таком порядке, что никогда такой и не бывало.

По седым густым бровям пробегает какое-то движение – так рожь гнется под ветром. Потом дама говорит:

– И в первый же год тридцать тысяч в банк положил.

Бывший военный прокурор качает головой – глаза его силятся изменить выражение, но взгляд его больше не повинуется ему, и они остаются такими же оловянными, как всегда.

Такими они оба врезались в мою память: свирепое лицо и брови старухи, оловянный взгляд бывшего военного прокурора – и между ними, в далеком, воображаемом пространстве, – призрак покойного Василия Петровича, такого уважаемого человека.

В некрологической заметке о нем было написано: «Да будет ему легка земля чужой страны, куда его забросила судьба, далеко от той России, которую он так любил и бескорыстному служению которой он отдал свои лучшие годы».

Нищий*

Наверху, на Елисейских полях, где в это зимнее время уже с четырех часов дня зажигались световые рекламы и освещались витрины огромных кафе, шли ледяные дожди со снегом, а внизу, в длинных переходах метро, воздух был теплый и неподвижный. Посередине одного из этих переходов, всегда на том же самом месте, стоял старый, оборванный человек без шапки, с грязно-розовой лысиной, вокруг которой, над висками и над затылком, торчали во все стороны седые волосы. Как большинство парижских нищих, он был одет во что-то бесформенное. И его пальто и его штаны имели такой вид, точно они никогда не были другими, как будто их сделали по заказу именно такими, с этими мягкими складками, с этим отсутствием сколько-нибудь определенных линий и контуров, как платье или рубище, в которое одевались бы люди, принадлежавшие к какому-то другому миру, а не к тому, который их окружал. Этот человек стоял недалеко от слепого юноши, игравшего на гармонии целыми часами одну и ту же мелодию – «Болеро» Равеля, между двумя рекламами: на одной был изображен ухмыляющийся усатый мужчина, державший в руке чашку кофе, марка и качество были указаны внизу, в том месте, где тело этого человека было отрублено прямой линией, под которой было сказано, что лучшего кофе не бывает. На второй рекламе юная блондинка с блаженно счастливым выражением фарфорово-розового лица развешивала на веревке простыни мертвенно-белого цвета, выстиранные в теплой воде, куда был всыпан особенный порошок, придающий белью невиданную белизну. Огромные бумажные листы с этими рекламами годами висели на одном и том же месте, так же, как годами там стоял старый нищий, такой же неподвижный, как усатый мужчина с чашкой кофе и блондинка с застывшей на бумаге рукой, протянутой к простыне. Но он не видел этих реклам; вернее, они не вызывали никакого отражения в его глазах, и если бы его спросили, что было на этих листах бумаги, он не мог бы вспомнить.

Но его никто ни о чем не спрашивал. Уже много лет, с тех пор как он стал нищим, одной из особенностей его существования было то,

что он почти перестал говорить, не только оттого, что он этого не хотел, а еще и потому, что в этом не было никакой необходимости. Слова, и их значение, так же давно потеряли для него свой прежний смысл, как все то, что предшествовало его теперешней жизни. Однажды он увидел брошенную кем-то газету: она лежала на сером полу коридора метро, и на первой ее странице огромными буквами были напечатаны слова: «Война в Корее». Он посмотрел на газету своими тусклыми глазами и не запомнил ни этого сочетания букв, ни их значения. Этой войны, за которой следили миллионы людей во всем мире, для него не было, как не было и ничего другого, кроме его собственного длительного бреда, через который он медленно и неуклонно приближался к смерти. Иногда, когда он выходил ночью из метро и шел по безлюдным улицам Парижа, через весь город, к тому пустырю на окраине, где стоял огромный деревянный ящик, в котором он ночевал, его останавливали полицейские и спрашивали, как его зовут, где он живет и есть ли у него деньги. Не глядя на тех, кто задавал ему эти вопросы, он отвечал, что его зовут Густав Вердые и что он живет возле Porte d'Italie. Потом он вынимал из кармана и показывал им несколько кредитных билетов, всегда одних и тех же. Полицейские отпускали его, и он продолжал свой путь. Поздней ночью он добирался до своего ящика, отворял дощатую дверь, запиравшуюся на крючок, нагибался, входил и сразу ложился на матрац, служивший ему постелью. Этот ящик достался ему после того, как старик, такой же нищий, как и он, который сам себе его построил и откуда-то достал матрац, умер летней ночью от сердечного припадка и его через несколько дней обнаружили полицейские, которые узнали о его смерти потому, что было жарко и труп старика начал разлагаться. И когда ящик освободился, Густав Вердые вошел туда и с тех пор там оставался. Ящик был пропитан трупным смрадом, к которому он привык и который потом постепенно менялся, приобретал все новые и новые оттенки. От вони в ящике сначала захватывало дух; но затем становилось легче, так, точно в этом отравленном воздухе устанавливалось какое-то неопределенное равновесие между опасностью задохнуться и возможностью дышать. В этом ящике, от старика, который в нем умер, осталось небольшое зеркало из полированной стали – все, что отражалось в нем, приобретало холодный металлический оттенок;

осталась еще свеча, коробка серных спичек, тазик для воды, маленькое ведро, выщербленная бритва, кусок мыла и серая тряпка, сквозь которую был виден свет и которая служила ему полотенцем. Все это, входившее в то последнее представление о мире, которое старик унес с собой в могилу, было на картонной коробке из-под консервов, кроме ведра, стоявшего в углу. Больше у старика не было ничего.

Все это – и ящик с матрацем, и долгие часы в переходах метро, и медленные ночные странствования через заснувший город, и то, что большинство людей, которых он встречал или которые проходили мимо него, явно его сторонились и смотрели на него невидящим взглядом, как смотрят на пустое место, все это представлялось ему в течение последних месяцев и недель в крайне смутных и неверных очертаниях, точно сквозь пелену тумана. Он давно уже забыл о том, что можно испытывать желание есть: голодать ему никогда не приходилось, всегда были деньги на кусок хлеба, сыр и вино; кроме того, ранним утром в мусорных ящиках, стоявших на улицах, было легко найти остатки пищи, выброшенной хозяйками; на Центральном рынке достаточно было пройти небольшое пространство, чтобы набить свою сумку овощами, подобранными с земли. Но теперь ему, чтобы насытиться, нужно было очень мало. Он засыпал и просыпался с одним и тем же шумом в голове, который начался в последнее время и сквозь который все другие звуки доходили до него заглушёнными и неясными. Иногда у него было такое ощущение, что его грудь вдруг охватывалась точно железным обручем, он начинал задыхаться, и все, что было вокруг него, сразу тонуло в этом ощущении боли и переставало существовать. Тогда он закрывал глаза и прислонялся к стене, почти теряя сознание. Но через несколько минут боль отпускала, он опять открывал глаза и мутно смотрел перед собой, на серые стены, окружавшие его, на людей, которые проходили мимо, на рекламы, которых он не видел. Он уже давно перестал не только обдумывать что бы то ни было, но и думать вообще; это было то же самое, что исчезнувшая необходимость говорить. И в этой немой и бездумной жизни оставалась только смена ощущений – шум в голове, боль, сон, зуд кожи от укусов насекомых, тяжелая вонь ящика, которую он чувствовал, входя туда после долгого пребывания на воздухе, холод, жара, жажда. И вот в последнее время к этому прибавилось что-то новое, это тоже было ощущение, но очень

особенное, ледяное и неотступное. И тогда он впервые за все последние годы сделал над собой усилие, от которого давно отвык, подумал об этом и сразу понял и значение шума в голове, и ощущение железного обруча вокруг груди. Он вспомнил свой возраст – ему было семьдесят шесть лет, – и ему стало ясно, что долгая его жизнь подходит к концу и что этого ничто не может теперь изменить. С этого дня, стоя в коридоре метро, то закрывая, то открывая глаза, он вновь начал думать о том, что занимало его мысли много лет тому назад. Это было бесконечно давно, задолго до того, как он стал таким, каким он был теперь. Вопрос, который в то время неотступно стоял перед ним и на который, как он знал это и тогда и теперь, не было и не могло быть ответа, – это был вопрос о том, какой смысл имела его жизнь, зачем она была нужна и для какой таинственной цели возникло это долгое движение, которое теперь привело его сюда, в этот теплый каменный туннель под Елисейскими полями. Сквозь шум в голове он опять услышал ту мелодию, которую играл слепой юноша с гармонью. До сих пор он был настолько далек от окружающего, что воспринимал эту музыку как механическое раздражение слуха, не отдавая себе отчета в том, что это такое.

Теперь он вдруг узнал эту мелодию и вспомнил, что это было «Болеро» Равеля, которого еще в прежнее время он терпеть не мог; ему всегда казалось, что в этом тупом повторении одних и тех же варварских звуков, в их дикарском и примитивном ритме было что-то, действующее на нервы. «Болеро» вызывало у него почти физическое отвращение. Когда он это слышал последний раз? Он сделал усилие и вспомнил, что это было очень давно, на концерте. Он отчетливо увидел перед собой концертный зал, фрак дирижера, его лысую голову, ряды кресел, множество знакомых лиц, мужских и женских, которые возникали перед ним или в черно-белых рамках смокингов, воротничков и галстуков, или в вялых цветах напудренной кожи женских шей и плеч, обрывавшихся там, где кончались платья, над вырезанными линиями которых сверкали разными световыми отливами ожерелья. Он вспомнил, как судорожно дергался дирижер в ритм музыки и такими же дергающимися движениями вверх и вниз по струнам скрипок подымались и опускались смычки. Он сидел тогда во втором ряду, не поворачивая головы в сторону жены, чтобы не видеть ее лица и холодно-глупого выражения ее глаз. Был декабрьский

вечер с таким же ледяным дождем, как теперь, но в концертном зале было теплее, чем в переходах метро. После концерта был ночной ресторан, белое вино и устрицы, и в ресторане ему было так же неприятно, как в концертном зале, и он с тоской смотрел, как неумоимо действовали толстые пальцы его жены, которыми она держала раковины, и думал о том, когда он наконец вернется домой и останется один с ощущением иллюзорной и кратковременной свободы. И вот это возвращение домой, в тот пригород Парижа, где находился особняк, в котором он жил, то, что он входил в свою спальню и затворял за собой дверь, – это, в сущности, было похоже на его возвращение в тот ящик, где он жил теперь, с той разницей, что теперь он был свободен.

Слепой юноша перестал на некоторое время играть, и «Болеро» умолкло. Старик продолжал думать, все стараясь понять что-то, как ему казалось, необыкновенно важное, возможность какого-то объяснения всего, которое от него ускользало. Он был теперь свободен – потому, что он был никому не нужен; у него не было ни имущества, ни денег, ни возможности какого бы то ни было влияния где бы то ни было, ни возможности кому бы то ни было, чем бы то ни было помочь или повредить, одним словом, ничего, что связывало бы его с другими людьми и устанавливало какую бы то ни было зависимость между ним и ими. У него даже не было имени, потому что людей с его фамилией были тысячи и тысячи, так что она становилась почти анонимной и никому в голову не могла прийти мысль, что нищий с грязно-розовой лысиной и окружавшим ее бордюром седых волос, стоявший в коридоре метро под Елисейскими полями, и тот Вердье, который был на концерте, где исполнялось «Болеро» Равеля, и об исчезновении которого много лет тому назад писали все газеты, могут иметь между собой что-то общее. О причинах этого исчезновения никто не догадался, и ни одно из тех предположений, которые высказывались тогда в газетных статьях, не имело никакого отношения к действительности – самоубийство, неудержимая страсть к какой-то неизвестной женщине, двойная жизнь, которая этому предшествовала, состояние дел. Дела оказались в полном порядке, никакой двойной жизни не было, как не было ни страсти, ни неизвестной женщины. Люди, которые принадлежали к той же среде, что и он, не были бы способны понять, как такой человек, как Вердье,

мог отказаться от жизни, которую он вел, и стать бродягой и нищим – без того, чтобы его вынудили к этому какие-то повелительные причины, – банкротство, разорение, помешательство, алкоголизм.

Но ничего этого не было – и поэтому, в области тех понятий, которые определяли все возможности поступков в этой среде, не было и не могло быть никакого объяснения тому, что произошло. В этой среде были, однако, люди так называемых передовых взглядов; некоторые из них писали исторические или социологические исследования о причинах той или иной революции или бунта обездоленных людей против своей судьбы и тех, кого они считали в ней виновными, против класса собственников. Но никому из авторов таких исследований не могла прийти в голову мысль, что возможен добровольный отказ от того самого благосостояния, во имя проблематического достижения которого совершались – по их мнению – революции. И настолько естественно было представить себе бедного, который стремился к благосостоянию или богатству, настолько неестественно было вообразить обратное движение, то есть богатого, который стремился бы стать бедным. Вердье прекрасно понимал это. Из этих слов – богатство, бедность и бунт – можно было составить разные сочетания; но главное слово, это все-таки было слово «бунт». У Вердье не было никакой ненависти к богатству и никакого стремления к бедности или нищете. Но всю свою жизнь – до тех пор, пока он не добился свободы, отказавшись от того, что другие считали величайшим благом, – он безмолвно и постоянно бунтовал против той системы насилия над ним, которая его окружала со всех сторон и которая заставляла его жить не так, как он хотел, а так, как он должен был жить. Никто никогда его не спрашивал, хочет он этого или не хочет. Это было неважно, этого вопроса не существовало. Существовала фирма «Вердье и сын», которая производила точные измерительные приборы для металлургических заводов. В этой фирме были служащие и рабочие, начиная от директора и кончая подметальщиками. И фирма эта принадлежала Вердье, сначала отцу, потом сыну.

У владельца этой фирмы было множество обязательств по отношению к самым разным людям, так или иначе с ним связанным. Был дом, была экена. были дети, прислуга, шофер, пожертвования, банковские операции, приемы, театры, концерты, переговоры с

депутатами парламента, знакомства, выслушивание докладов о положении дел, о реорганизации того или иного отделения, необходимость быть там-то в таком-то часу, отвечать на такую-то речь, говорить об экономической эволюции, ехать в поезде, на автомобиле, на пароходе, лететь на аэроплане туда-то или туда-то, останавливаться в такой-то гостинице, читать такую-то газету, иметь суждение о таких-то композиторах или художниках – вот как выглядела та система постоянного насилия над ним, из которой он долго не видел выхода. Он мог, конечно, развестись с женой, хотя в его положении и возрасте и по отношению к его детям – взрослому сыну, молодому инженеру, который уже начинал лысеть, и дочери, полнощекой девушке с холодными, как у матери, глазами и пронзительным голосом, – этого не следовало, казалось бы, делать. Он мог развестись, хотя это вызвало бы целый ряд новых осложнений. Но кроме этого, развод не избавлял его от других обязательств, которые оставались бы такими же. До тех пор пока он учился, сначала в лицее, затем в университете, до тех пор пока он, как выражался его отец, не «вступил по-настоящему в жизнь», он почти не страдал от этой системы насилия, хотя уже тогда он ставил себе тот вопрос, на который никогда не мог найти ответа и который мучил его всю жизнь: какое таинственное и непостижимое соединение миллионов и миллионов разных причин или случайностей определило сперва его появление на свет, а потом его жизнь, каков был смысл этого и чем он отличался от смысла существования других людей? И если этого смысла не было – что казалось наиболее правдоподобным, – то что было вместо этого? Пустота? С другой стороны, если не существовало понятия смысла, то, значит, не существовало морали. Но если бы не было морали, то было бы то, о чем кто-то сказал, что не будь угрозы возмездия, полиции и государственной власти и люди действовали бы, как это свойственно их природе, то на земном шаре остались бы только развалины, трупы и беременные женщины. Но тогда выходило, что мораль – это государство и полиция, то есть воплощение коллективной охраны, инстинкт самосохранения общества, а так называемая индивидуальная мораль – это страх, наследственность, брезгливость, но отнюдь не блистательное и совершенное отражение смысла и назначения человека на земле. В молодости, когда об этом думал, это была, в сущности, отвлеченная проблема. А когда

произошло «вступление в жизнь», это с самого начала приобрело тот трагический характер, по сравнению с которым все, что предшествовало этому периоду, казалось идиллическим и счастливым. Как все это могло случиться? Вердье вспомнил, как он вернулся из Англии, куда его отправил в свое время отец, считавший, что он должен кончить университет именно там, в Оксфорде.

Ему было двадцать четыре года, и его интересовало многое – музыка, живопись, литература, философия. Меньше всего он думал о делах, и в этом не было необходимости. Он собирался стать писателем, ему казалось, что именно в этом его призвание, и он все искал сюжета для своего первого романа – и только потом, значительно позже, понял, что ни при каких обстоятельствах он писателем не стал бы, – именно потому, что искал сюжета. Не найдя сюжета, он стал думать о необходимости написать нечто вроде трактата об особенностях английской прозы, но и в этом дальше нескольких фраз не пошел. В июле следующего года, через два дня после того как он приехал на юг, где собирался провести лето, он получил телеграмму, в которой было сказано, что его отец тяжело заболел. И когда он вернулся домой, он увидел только труп отца, который умер накануне от апоплексического удара. Потом были похороны, речи, введение в права наследства, и затем началось то закрепощение, от которого нельзя было уйти, все эти бесконечные обязательства и все, что было с ними связано. Через несколько месяцев он понял, что – до тех пор пока это будет продолжаться, – у него никогда не будет времени на то, что называется личной жизнью. Его мать, здоровье которой становилось все хуже и хуже, говорила ему слабым голосом, что семья Вердье должна иметь наследника, надо подумать о том, что жизнь не ждет, годы идут и так далее, словом, необходимо жениться. И с такой же неизбежностью, с какой Вердье присутствовал на похоронах своего отца, которого он, в сущности, мало знал, потому что, когда был мальчиком, он редко его видел, так как отец был всегда занят, а позже видел его еще меньше, потому что учился и жил за границей, с такой же неизбежностью он потом присутствовал на своей собственной свадьбе; со своей будущей женой он был знаком в общем недолго и потом спрашивал себя, как все это произошло. Только позже он нашел на это ответ, в одинаковой степени печальный и нелестный для себя. В ней была тогда, в то время,

несмотря на холодную пустоту ее глаз, – ту самую пустоту, в которой позже он отчетливо увидел уже нечто другое, что без колебания определил как глупость, – в ней была, – в ее движениях, в линиях ее тела, – какая-то животная и теплая привлекательность. Это было одно. Второе это то, что с самого начала их знакомства она вела себя с непоколебимой уверенностью в том, что все должно произойти именно так, а не иначе, как будто все было ясно и заранее определено, и так как это все равно было неизбежно, то Вердье тоже невольно усвоил этот же тон, и когда он вдруг подумал, что он собирается сделать нечто важное, чего он совсем не хочет, то было уже слишком поздно. Может быть, это было не совсем так, но так казалось ему теперь, и он подумал, что память семидесятишестилетнего старика не может восстановить тех чувств, которые он испытывал тогда, когда ему было двадцать пять лет и когда он был другим, в сущности, человеком. Может быть, это было не так, может быть, было все-таки какое-то чувство, забытое совершенно безвозвратно, и которое было значительно слабее, чем, например, воспоминание о вкусе устриц после концерта, на котором исполнялось «Болеро» Равеля. Потом у него были любовницы, покорно раздевавшиеся, когда он приходил к ним по вечерам. Он и тогда знал, что ни одна из них его не любила по-настоящему, и это было понятно: у него самого никогда не было ни неудержимого тяготения к женщине, ни того чувства любви, о котором он столько читал в книгах. Было вместо этого нечто вроде физической жажды, досадной, утомительной и раздражающей; и когда жажда была утолена, от всего этого оставался только неприятный осадок, и больше ничего. Позже он понял, что он был слишком беден душевно, чтобы испытать настоящее чувство, и в течение некоторого времени эта мысль была ему очень неприятна. Но потом он перестал об этом думать.

Он вспомнил, что у него была репутация очень доброго и щедрого человека, который помогал всем, кто обращался к нему за помощью. Но и это было неверно: он не был, в сущности, ни добр, ни щедр. Он действительно никому не отказывал, но поступал так потому, что его раздражали люди, рассказывавшие ему скучными словами о своем бедственном положении, которое его совершенно не интересовало. Он всегда спешил избавиться от этих разговоров и охотно давал сумму, о которой его просили. Кроме того, денег ему

действительно не было жаль, но не потому, что он был щедр, а оттого, что он никогда не понимал, как люди могут придавать им какую-то особенную ценность, которой они не имеют. Ему деньги были нужны только для других – жены, детей, служащих его фирмы, еще кого-то, но не для себя.

Вдалеке, за поворотом длинного коридора, прошумел последний поезд метро. Вердье сдвинулся со своего места, медленно поднялся по лестнице и вышел на Елисейские поля. Дождя с жидким снегом больше не было, но дул ледяной ветер. Волоча ноги по холодным плитам тротуара, он опять начал свое долгое путешествие через город, туда, где кончались, возле Porte d'Italie, освещенные места и где чернел пустырь, на котором стоял его ящик. Он шел знакомой дорогой, не глядя по сторонам, и продолжал думать о тех вещах, которые, казалось, давно и безвозвратно были похоронены и забыты, но которые теперь опять возникали перед ним. Когда ему было около пятидесяти лет и когда все, что он вынужден был делать, его утомляло и раздражало, когда не осталось даже того немногого, в чем он раньше находил некоторое удовлетворение – особенный оттенок во вкусе вина в ресторане, ощущение мягкой постели, в которую он ложился поздним вечером, блаженное состояние, когда он чувствовал, что сейчас заснет, – в этот период времени он опять начал читать. До этого, в течение многих лет, он читал только газеты. Теперь он взялся за книги, те самые, которые он читал когда-то в университете и содержание которых тогда так захватывало его. Теперь это все изменилось до неузнаваемости. Вернее, изменилось не то, что было в этих книгах. Нет, это было гораздо трагичнее. По мере того как он читал разных авторов, он убеждался в том, что он потерял способность понимать те побуждения и чувства, которые заставляли героев этих произведений совершать те или иные поступки. Зачем нужно было жертвовать всем в своей жизни, чтобы добиться богатства или власти? – потому что богатство не имеет ценности, а власть создает утомительную ответственность. Зачем воевать? – потому что всякая война бессмысленна. Зачем нужно было Гамлету убивать Полония? Зачем люди шли на лишения и смерть, особенно на смерть, которая все равно придет, рано или поздно, и которую незачем торопить?

Зачем проводить бессонные ночи, думая о том, что моя возлюбленная оставила меня и ушла к другому, и зачем пытаться удерживать ее, потому что даже если бы это удалось, то ее присутствие не имело бы больше никакой ценности? Зачем завидовать и, главное, чему можно завидовать? Это был единственный период его жизни, когда в его существование ворвалось что-то действительно по-настоящему трагическое, потому что именно тогда он почувствовал, что все кончено. Он думал об этом – тогда, много лет тому назад, – весь день с утра и все не мог дождаться той минуты, когда он останется один, поздно вечером, у себя. И когда эта минута наконец наступила, он лег в кровать – и вдруг понял, что именно отличает его и от героев книг, которые он читал, и от тех людей, которые его окружали. Он невольно сравнил себя с деревом, у которого сохранился ствол, но внутри ствола все сгнило, осыпалось и умерло. Ему казалось, что в теперешнем его существовании было что-то, похожее на то, как если бы он нес в нем свою собственную смерть. Жить – это значит иметь желания, к чему-то стремиться, что-то защищать. У него ничего этого не было. У него, правда, оставалось одно желание – свободы. Но и в этом тоже не было никакой ценности. Свобода была ему нужна не для того, чтобы иметь возможность сделать что-то, чего он без нее сделать не мог. То, что казалось ему тогда стремлением к свободе, – было просто отказом от всех многочисленных обязательств, которые лежали на нем, отказом от того мира, в котором он жил и в котором он не находил ничего, что оправдывало бы его пребывание в нем или как-то искупало бы это.

Он неоднократно слышал и читал о том, как люди начинали жизнь сначала, какую-то вторую, новую жизнь. Но у него на это не было сил, да кроме того, он просто не видел, ради какой цели, ради чего стоило бы начинать нечто новое, – то есть опять какие-то усилия и другие обязательства. Он перебирал – в тысячный раз – те факторы, которые побуждают людей к труду или подвигам: тщеславие, стремление к богатству или власти, любовь к женщине, любовь к своей стране и желание принести ей пользу, наконец, любовь к ближним и желание им помочь или облегчить их участь. Из всего этого единственное, что казалось ему достойным, была любовь к ближним. Но искусственно создать ее было нельзя. С другой стороны, так же невозможно было продолжать жизнь, которую он вел, в

которой среди множества обязательств самым тягостным было обязательство лгать всем, кто его окружал, и всем вообще, с кем он встречался. Лгать – это значило делать вид, что он такой же человек, как они, и что он готов до конца выполнять свою роль. Ему было нелегко принять то решение, которого так никогда и не понял никто. Он не знал, как сложится потом его жизнь. Но он знал, что в том мире, где он жил до того, он больше оставаться не мог.

И вот теперь, пересекая Париж ночью и направляясь к своему ящику, он думал обо всем этом. Ему было трудно идти, в ушах звенело, болели ноги. В ясном, холодном воздухе зимней ночи фонари казались ему мутными световыми пятнами. Он сел на скамейку и сразу заснул. Ему снилось, что он идет по снежному полю, сквозь метель, что ему очень холодно и что чей-то насмешливый голос говорит ему фразу, которую он никак не может понять, но эти звуки и эти слова все больше и больше приближаются к нему и, в последнюю секунду, кто-то требует, чтобы он повторил эту фразу. Он сделал усилие над собой и наконец повторил эти слова, которые он тотчас же забыл опять. Он проснулся и снова заснул. Потом он проснулся во второй раз, поднялся со скамьи и снова начал шагать, почти уже вслепую, в том направлении, которое он так хорошо знал. Он чувствовал, как подгибаются под ним ноги, так, точно их кости стали мягкими, как уходит из-под них земля, но он все-таки продолжал идти, ценой необыкновенного и бессознательного усилия воли. Ему казалось, что прошли целые часы, пока он добрался наконец до своего ящика и свалился на матрац.

Когда он открыл глаза, он увидел, что сквозь щели досок проходил дневной свет. Он поднялся, с удивлением чувствуя, что его вчерашнее недомогание прошло. Выпив плоток мутной воды, которая оставалась в ведре, он вышел наружу. День был серый, было теплее, чем накануне. Все, о чем он думал, вспомнилось ему с необыкновенной ясностью, и единственное, что оставалось еще, это сделать какие-то окончательные выводы. Но это было труднее всего. Вопреки очевидности, вопреки тому огромному расстоянию, которое отделяло его – такого, каким он был теперь, – от того, каким он был раньше, было ясно, что вся его жизнь – и тогда и теперь – все-таки, несмотря ни на что, имела какой-то смысл и отличалась определенной последовательностью. В том, что он сделал, бросив свой дом и став

бродягой, случайность, о которой он часто думал, не играла никакой роли. «Развалины, трупы и беременные женщины». Нет, не только они. Кроме них остались бы люди – такие, как он: те, у кого нет обычных страстей, обычных стремлений, определяющих человеческую жизнь, те, кто никогда не мечтал стать ни генералом, ни маршалом, ни епископом, ни депутатом, ни банкиром, ни бухгалтером, ни донжуаном, ни героем, ни владельцем ненужного состояния, те, в ком едва мерцает бледный и вялый огонь, который может потухнуть каждую минуту. Вот, в сущности, то, что следовало сказать о нем и о таких, как он. Он родился нищим, и никакое состояние – то, которое оставил ему отец, – и никакие обстоятельства – те, в которых он так долго жил, – не могли этого изменить. И если что-либо в его жизни было случайным, то это не то, что было теперь, а то, что было раньше: «Вердье и сын».

Он дошел до входа метро на Елисейских полях, спустился по лестнице, стал на свое обычное место и опять услышал «Болеро». Какой смысл имела его жизнь? Впервые за все время ему было ясно: он выполнил свое назначение на земле. Чья-то высшая воля, – если допустить, что он существует, что, конечно, может считаться ничем не доказанной гипотезой, но с другой стороны, так же невозможно доказать, что ее нет, – чья-то высшая воля определила его судьбу: избежать соблазнов и страстей и прожить на земле положенный срок, как животное или растение, до той минуты, когда этой жизни придет конец. «Блаженны нищие духом...» Он вдруг увидел перед собой картину, которую он запомнил. Он видел ее в городе Бон. На ней был изображен день Страшного Суда: из растрескавшейся щели поднимаются к свету голые тела людей; которые уже вышли по пояс, у других только видны руки, которыми они раздвигают землю, засыпавшую их могилы.

Он стоял на своем месте, в коридоре метро, и беззвучно смеялся – первый раз за много лет. Они хотели сделать из него почтенного гражданина, кавалера ордена Почетного легиона? владельца предприятия? может быть, депутата? может быть, министра? И никто из них не мог понять такой простой истины, что он был бесконечно далек от всего этого, и то, во имя чего люди страдали, совершали подвиги или преступления или просто подлости, – что для него все это не существовало. Он принадлежал к другому миру. Он был

непохож на тех, кто его окружал, и в этом был смысл его жизни. Он ни у кого этой жизни не просил. Он ничего ни от кого не требовал – ни от той высшей воли, о которой он начал думать в последние дни, ни от людей. Но мир, такой, каким он должен был его принять и каким принимали его окружающие, находившие в нем какую-то законченность и справедливость, – этот мир был ему одновременно враждебен и чужд. Он всегда чувствовал, что там ему не место и что ему нечего делать среди этих людей. Ему дана была жизнь, и в ней он не находил ничего, за что стоило бы бороться или что следовало бы удержать, что оправдывало бы какое-либо усилие. Он был согласен существовать, потому что иначе было нельзя, и об этом опять-таки никто его не спрашивал. Но втиснуть это существование в те рамки, в которых оно должно было проходить, – этого он не мог и не хотел.

Никогда все не казалось ему так ясно, как теперь. И с такой же ясностью он почувствовал, что жизнь медленно уходит из него. Ему становилось трудно дышать, очертания предметов теряли свою определенность, свет неоновых трубок в туннеле метро начал ему казаться серым. Но он не испытывал ни страха, ни сожаления: нечего было бояться и уж, конечно, не о чем было жалеть. И в этом медленном возвращении в небытие был даже какой-то соблазн, сладость неудержимого приближения к вечности – того, о котором он думал, когда был юношей, но которого он не мог себе тогда представить. Опять настала ночь, опять он вышел из метро, чтобы вновь начать свое долгое странствие через Париж, быть может, одно из последних, как он думал. Но сделав несколько шагов, он снова почувствовал железный обруч, сжимавший ему грудь с такой беспощадной силой, какой он никогда до тех пор не испытывал. Он хотел крикнуть и не мог, потом все ухнуло и исчезло. Он не чувствовал, как его поднимали, как его положили в санитарный автомобиль, как его везли в больницу.

Несколько дней он был в бреду, так как у него оказалось, помимо всего, еще воспаление легких, сопровождавшееся высокой температурой. До него смутно доносились иногда отрывки из «Болеро», сквозь которые вдруг прорывались могучие трубные звуки, значения которых он не мог понять. Доктор, который на следующее утро подошел к его кровати, остановился и прислушался с удивлением: нищий старик, которого вчера подобрали на улице,

говорил так, точно он возражал какому-то воображаемому собеседнику. Но он говорил на очень чистом и правильном английском языке. Когда он пришел в себя, на третий день, доктор спросил его:

– Откуда вы знаете английский язык?

Вердье посмотрел на него своими невыразительными, потухшими глазами и ответил, что кончил университет в Англии.

– В Англии, – сказал доктор, – вот в чем дело. Глубокой ночью Вердье, числившийся под номером сорок четвертым, проснулся оттого, что, как ему показалось, его позвал чей-то повелительный голос. Больной поднялся с кровати, стал босыми ногами на каменный пол, сделал несколько шагов, упал и умер.

Но в те двадцать четыре часа, которые отделяли утро того дня, когда доктор спросил больного, откуда он знает английский язык, от утра следующего дня, огромная административная машина пришла в действие, и то, чего до сих пор не знал никто, стало известно. И в одной из вечерних газет была напечатана статья, где все было объяснено: нервное потрясение Вердье, сопровождавшееся потерей памяти, и его внезапное исчезновение. Высказывалось предположение, что он провел много лет за границей и вернулся во Францию только тогда, когда вдруг вспомнил все, что предшествовало его душевной болезни.

После этого тело Вердье было потребовано его наследниками. Состоялись торжественные похороны, и Вердье был погребен в фамильном склепе. Его имя было написано золотыми буквами на тускло сверкавшей плите темно-серого мрамора. Завершение его жизни было внешне именно таким, каким оно должно было быть, и это было, в конце концов, победой того мира, из которого он ушел четверть века тому назад. Это можно было назвать победой этого мира, – но только в том случае, если допустить, что смысл слова «победа» перерастает пределы человеческой жизни и проникает туда, где нет ни пределов, ни жизни, ни смысла, ни слов.

Письма Иванова*

Всякий раз, когда я встречал Николая Францевича, что случалось каждые две-три недели, у меня всегда было впечатление, что этот человек и по своему типу, и по своей манере говорить, и по тому, как он одевался, и по всему его поведению был живым анахронизмом, в самом, впрочем, положительном смысле этого слова. Казалось, что он, родившийся и выросший в эпоху Российской империи, остался таким, каким он был в те времена, и тот факт, что императорская Россия давно ушла в далекое прошлое, никак не отразился на нем. По убеждениям, впрочем, он не был консерватором, избегал говорить о политике, читал современных авторов, посещал выставки современной живописи, слушал музыку современных композиторов, и его взгляды на все это отличались несколько подчеркнутым академизмом. Конечно, не может быть ничего более примитивного на первый взгляд, чем некоторые произведения так называемой абстрактной живописи, но сами по себе поиски новой формы в искусстве – вещь совершенно естественная. Это же относится к современной музыке, которая нередко нам режет слух. Может быть, мы присутствуем при каком-то перерождении вкуса, изменении темпа, каком-то, если хотите, биологическом потрясении, проявления которого иногда принимают форму, которая нам кажется спорной, чтобы не сказать неприемлемой. Но смена стилей в исторической перспективе есть явление, в конце концов, не только неизбежное, но и законное.

Николай Францевич возникал в моей памяти как персонаж из какой-то ненаписанной книги, как образ, явно созданный чьим-то воображением, кем-то подробно обрисованный, но в который неизвестному автору не удалось вдохнуть подлинную жизнь, отчего этот герой казался несколько искусственным, условным и незаконченным в том смысле, что ему не хватало той бытовой убедительности, которая была у любой прачки и любого бухгалтера. Я не могу сказать, чем объяснялось это впечатление, от которого мне было трудно отделаться, тем более что в Николае Францевиче не было ничего неправдоподобного. Мне всегда казалось, что он чего-то не

договаривает или что-то скрывает, хотя скрывать ему как будто было нечего. Ни о ком так часто не говорили слова «кажется», как о нем. – Он, кажется, из какой-то очень северной губернии. – Он, кажется, жил одно время на Ближнем Востоке. – Он, кажется, был женат. – Он, кажется, в свое время был состоятельным человеком. – Он, кажется, пишет какие-то статьи по экономическим вопросам. – Он, кажется, кончил университет за границей.

Николай Францевич иногда приглашал к себе друзей – трех-четыре человек и угощал их очень хорошим обедом. У него была довольно просторная квартира в одном из тихих районов Парижа, на правом берегу Сены. На стенах висели картины, чаще всего изображавшие парусные суда на море и пляжи с пальмами, а центральное место занимала прекрасно сделанная копия горящего фрегата Тарнера. В одном из углов главной комнаты возвышалась витая колонна темного дерева; на ней под стеклянным колоколом стояли часы, у которых вместо маятника вращалось взад и вперед нечто вроде медного, сверкающего флюгера. В кабинете Николая Францевича были шкафы с книгами разного содержания. Один из них был отведен путешествиям – Марко Поло, Ливингстон, Стэнли, Пржевальский и сочинения каких-то малоизвестных авторов, которые в средние века забирались в дебри далеких стран, и книги по зоологии, биологии, истории культуры. В другом шкафу были французские авторы – Сен-Симон, Боссюэ, Ларошфуко, Монтень, Паскаль, Декарт. Были в его квартире бронзовые статуэтки, в их числе непонятно почему попавший туда какой-то низколобый человек с генеральскими эполетами.

К столу у Николая Францевича подавала молчаливая женщина средних лет, с полными губами и темными глазами на очень бледном лице, с особенным выражением неподвижной печали. Она всегда ходила в черном платье, и вид у нее был такой, точно она только что вернулась с похорон. Когда я однажды спросил Николая Францевича о ней, он ответил, что она итальянка, что итальянки очень любят черный цвет и что она ходит в черном потому, что недавно в Сицилии умер один из ее двоюродных братьев, которого она знала ребенком и которого не видела двадцать лет. Я ни разу не слышал, чтобы она говорила громко; она отвечала, почти беззвучно шевеля своими полными, красными губами, создававшими впечатление контраста с

этим черным платьем, печальным, бледным лицом и всем ее траурным видом.

Точно так же как Николай Францевич не менял ни своих привычек, ни своей манеры одеваться, точно так же казалось – опять-таки именно казалось, – что годы проходили для него бесследно. Он был все таким же: густые, седые волосы, глубокие морщины на лбу, выцветшие глаза. Я не мог себе его представить молодым. – Это понятно, – сказал мне один из наших общих друзей, – он никогда и не был молод. Просто в один прекрасный день, где-то в довоенном Петербурге, хорошо одетый человек средних лет снял квартиру и поселился в ней, и это, собственно, и было появлением на свет Николая Францевича, которого какая-то небесная сила сбросила на нашу землю в совершенно готовом виде, как парашютиста в полном боевом снаряжении.

Во всяком случае, я знал Николая Францевича много лет, и, в то время как окружающие его люди старели, лысели, болели и умирали, он оставался таким же, каким был тогда, когда я его встретил первый раз. Правда, у него не было никаких разрушительных страстей, которые могли бы способствовать его преждевременному увяданию, – он не пил, не проводил бессонных ночей за карточным столом, не знал, казалось, опустошающих сердечных увлечений, а просто хорошо жил, вкусно ел, вставал утром, принимал ванну, гулял по Булонскому лесу, беседовал с друзьями, лето проводил в Швейцарии или на Ривьере, а в октябре месяце, когда в Париже начинали идти осенние дожди, он опять возвращался в свою квартиру, и снова безмолвная и бесшумная женщина в траурном платье заботилась о нем, чтобы у него было все, вплоть, быть может, до тех утешений эмоционального характера, склонность к которым у нее выдавали ее выразительные губы и темные глаза, таившие в себе возможность какого-то другого выражения, которого, впрочем, никто из нас никогда у нее не видал.

Николай Францевич был прекрасным собеседником, одним из лучших, каких мне приходилось встречать. Я не помню, чтобы он с кем-нибудь спорил, и когда я ему об этом как-то заметил, он сказал:

– Видите ли, мой друг, я полагаю, что спорить – это занятие бесполезное. Я разговариваю, скажем, с таким-то человеком. Что меня интересует? То, что он думает, и то, как он думает. Моя задача, задача всякого собеседника, помочь ему выразить свои мысли и ознакомиться

с ними. Я бы даже сказал, что, чем меньше они совпадают с моими собственными взглядами, тем это для меня интереснее. Намерение, которое мне совершенно чуждо, это попытаться убедить моего собеседника в необходимости думать так, как думаю я. И если вы доведете это до логического завершения, то вы увидите, что достижение такой цели привело бы к тому, что этот человек стал бы повторять ваши слова, и беседа потеряла бы всякий интерес. Потому что интерес начинается там, где начинается разница между людьми и их взглядами.

Николай Францевич не был иногда лишен, несмотря на то что он никого ни в чем не хотел убеждать, – не был лишен некоторых дидактических побуждений. Читал он очень много, книги самого разного содержания, вплоть до модных романов. О литературе он говорил очень охотно.

– Человеческая жизнь бедна, огромное большинство людей не умеет видеть то, что происходит вокруг них, и так называемый жизненный опыт состоит чаще всего из нескольких десятков несложных выводов. Но очень многим людям, то есть так называемым читателям, свойственно постоянное желание чего-то, чего они в своей жизни не находят, какого-то другого понимания, каких-то других возможностей. У них нет воображения для того, чтобы представить себе это без посторонней помощи. Вот, собственно говоря, главная *raison d'être*^[71] литературы и искусства, но особенно литературы. А потом, знаете, у некоторых народов есть профессиональные плакальщицы. Их роль заключается в том, чтобы заменять людей, которые не умеют соответствующим образом выражать свои чувства, в данном случае горе – оттого, что умер близкий им человек. И вот плакальщицы, которые покойного в глаза не видали и не имеют о нем представления, за соответствующее вознаграждение рыдают над ним так, как этого не могут делать ни сыновья, ни жены. И есть целая категория писателей, которая выполняет примерно такие же функции по отношению к читателям. Таким, например, в русской литературе был Некрасов. Это, конечно, только часть литературы, но часть довольно важная.

Насколько я помню, Николай Францевич не состоял ни в одном профессиональном объединении, но очень часто бывал на обедах, которые устраивались по случаю празднования стольких-то лет такой-

то деятельности такого-то человека. Речей он не произносил, но внимательно слушал все, что говорилось, даже записывал что-то в блокнот и вообще проявлял всегда необыкновенную любознательность. Его интересовало, почему Иван Петрович стал присяжным поверенным, а Петр Иванович доктором, что определило их призвание и когда это произошло. Он так же внимательно читал газеты, делал из них вырезки – такой-то необыкновенный случай, история такого-то преступления, мемуары знаменитых людей. В личном общении Николай Францевич был чрезвычайно любезен, говорил всем приятные вещи, обо всех отзывался с неизменной благожелательностью, и со стороны получалось впечатление, что он живет в идиллическом мире, состоящем из хороших и приятных людей, его многочисленных знакомых.

Он не любил одного, – чтобы к нему приходили без предупреждения. Те, кто этого не знал и кто хотел навестить его, не сговорившись с ним заранее, никогда не заставали его дома, хотя нередко случалось, что в тот день, когда его не было, и в тот час, когда к нему кто-то пришел и на звонок никто не отвечал, – что Николай Францевич именно в это время разговаривал с кем-то по телефону и должен был быть дома. Одно время распространился слух о том, что Николай Францевич не такой, каким он кажется, кто-то даже говорил, что он имеет отношение к «интелидженс сервис». Но это было настолько неправдоподобно, что даже те, кто это повторял, в это сами не верили. К тому же были люди, которые знали Николая Францевича еще по России, хотя все они были значительно старше его и приближались к тому возрасту, когда недостоверность их воспоминаний была столь же понятна, сколь простительна. Один из таких людей, бывший сенатор Трифонов, благообразнейший седобородый старик, с лицом, перерезанным глубокими морщинами самых разных линий – вертикальными, горизонтальными, полукруглыми, – рассказывал о том, что у Николая Францевича был в молодости роман с какой-то знаменитой артисткой, которая бросила из-за него сцену и покончила жизнь самоубийством. Но бывший сенатор Трифонов рассказал эту историю только один раз, и когда его однажды попросили повторить ее, он уже не мог сделать того усилия памяти, которое было для этого необходимо. Вскоре после этого он умер, заснув и не проснувшись, в зимнюю ночь, в Париже, в

тридцатых годах этого столетия, лишив нас всех возможности когда-либо узнать, существовала ли где-нибудь, кроме его слабеющей памяти или слабеющего воображения, эта неизвестная и знаменитая артистка, покончившая жизнь самоубийством из-за Николая Францевича.

А Николай Францевич продолжал жить все в той же квартире, на тихой улице, где было так мало движения, что сквозь мостовую в некоторых местах прорастала зеленая трава. Под карнизы домов этой улицы постоянно садились и оттуда постоянно вылетали голуби, всегда стояла тишина, и только иногда из какой-нибудь квартиры вдруг раздавался звук рояля. Но в девять часов вечера все замирало, и шаги редких прохожих были слышны с необыкновенной отчетливостью. Именно эта улица, казалось, особенно подходила для Николая Францевича: там можно было прожить много лет, не зная ни о Елисейских полях, ни о Больших бульварах, ни о Монмартре, – так, как люди живут в Тамбове, Вологде или Авиньоне, читая на ночь Плутарха или Боссюэ, думая о тщете всего существующего, в состоянии неподвижной созерцательности, удела немногих, счастливых по-своему людей.

Казалось несомненным, что Николай Францевич принадлежал к их числу и что все его предрасполагало именно к этому. Но то, чего никогда никто не знал, это был вопрос о том, на какие доходы существовал Николай Францевич. Он нигде не служил и нигде не работал. У него не было никакого состояния, и когда он появился в Париже, много лет тому назад, то, по свидетельству тех, кто его хорошо знал тогда, у него не было денег и он первое время жестоко нуждался, перенося лишения с тем достоинством, которое его никогда не покидало. Он не мог, с другой стороны, составить себе состояние в Париже, так как не занимался никакими делами. Никакого наследства он тоже не получал, – впрочем, у него как будто не было даже родственников за границей. В том, что он не занимался нелегальной деятельностью, и в том, что ему никогда не угрожало судебное преследование, сомнений быть не могло.

Я встретил его как-то, однажды, поздним вечером, на ужине, который устраивал союз иностранных журналистов в Париже, куда я попал случайно, соблазнившись уговорами одного из моих знакомых, сотрудника австрийских и швейцарских газет, который проводил

большую часть своего времени в многочисленных барах и ресторанах, так что было непонятно, когда он мог заниматься своей работой. Ужин был очень неплохой, но, к сожалению, с многочисленными речами, которые произносились на разных языках и содержание которых было всегда приблизительно одинаковым: «Мы живем в грозное время, и та ответственность, которую мы несем перед нашими читателями, требует от нас»... «общественное мнение не может оставаться равнодушным»... «в то время, как угроза диктатуры нависла над Европой»... «мы не можем допустить, чтобы»...

Перед этим было выпито много вина, за вином следовал коньяк, и мой знакомый, с которым я пришел, успел за очень короткое время выпить такое же количество вина и коньяку, которое его коллеги выпили за весь вечер, пришел в необыкновенное возбуждение, аплодировал ораторам, и в отуманенном его воображении возникла целая система каких-то фантастических представлений, неверных и расплывчатых, как быстро потерявшие свою определенность контуры его коллег, как качающийся ряд их черных смокингов над белой скатертью стола, покрытой бледно-красными пятнами расплескавшегося вина. И над этим волнистым и движущимся видением с необыкновенной и пьяной убедительностью звучали слова об ответственности и о невозможности допустить, — хотя в действительности не было ни этой ответственности, ни возможности или невозможности что бы то ни было допустить или не допустить; но на некоторое время не только моему знакомому, но и его коллегам стало казаться, что судьба мира зависит от того, что они напишут или чего они не напишут в своих статьях. Было ясно, что эта странная аберрация была вызвана несколькими причинами, которым трудно было бы найти точное объяснение: тем или иным возрастом вина или коньяка, определявшим неуловимые изменения в его действии, той или иной степенью временной атрофии аналитических способностей; но тому, кто оставался трезв, все это казалось явным отказом от элементарной и очевидной логики. К счастью, трезвых людей там было мало и все, что они могли бы сказать, показалось бы неубедительным для тех, кто говорил о долге и ответственности.

Я ушел с этого ужина одновременно с Николаем Францевичем, который, как всегда, пил со вкусом, но немного. Была зимняя ночь с

особенным парижским холодным туманом, в котором призрачно возникали мутные световые пятна фонарей.

Он сказал, что любит иногда гулять по пустынному ночному городу. Я ответил, что разделяю это пристрастие, и мы пошли пешком по направлению к Сене. В зимнем тумане, который то сгушался местами, то редел, перед нами возникали и скрывались несравненные перспективы парижских улиц. В этом неверном освещении, в этом смешении тумана и мутного сияния фонарей Николай Францевич, в его черном пальто, белом шелковом шарфе, с котелком на голове, казался мне в ту ночь еще менее убедительным, чем обычно. Он был среднего роста, довольно плотным человеком и был на первый взгляд таким же, как тысячи и тысячи его современников. И все-таки я никогда не мог избавиться от впечатления, что в нем было что-то недоволенное и почти призрачное. Я спросил, как его здоровье, хотя за много лет знакомства с ним я что-то не помнил, чтобы он когда-либо был болен. Он ответил, что в его возрасте всегда бывают некоторые недомогания, но пока они не принимают катастрофического характера... Как всех здоровых людей, его эта тема явно не интересовала. Затем он сказал, что вообще-то, как человек живет или что он делает, это ему самому чаще всего неинтересно.

– Извольте ли видеть, – сказал он, – я убежден, что каждому или почти каждому человеку интересно не то, как он живет, а то, как он хотел бы или должен был бы жить. Многие люди, как вы знаете, видят себя не такими, какими их видят другие. Огромное большинство знает или полагает, что знает, несколько истин. Во-первых, что они не такие, как все это думают, во-вторых, что они живут не так, как должны были бы жить, в силу целого ряда случайностей, потому что неблагоприятные обстоятельства заставляют их вести именно такое существование. В-третьих, что они заслуживают лучшей участи, чем та, которая выпала на их долю. И наконец, еще одно, быть может, самое важное: множеству людей тесно в тех условиях, которые определяют их существование. Их душа, их разум требуют чего-то другого, так, точно каждому из них нужно было бы прожить несколько жизней, а не одну.

– А не кажется ли вам, Николай Францевич, – сказал я, – что если это действительно так, то это какая-то явная абберрация, как та, при которой мы с вами только что присутствовали? В данном случае речь

шла, как вы помните, об ответственности, которая будто бы лежит на тех людях, которые сегодня произносили патетические тирады об этом и о которой у них представление если не совершенно фантастическое, то очень преувеличенное, мягко говоря?

– Всякое представление, выходящее за какие-то очень узкие бытовые пределы, может быть абберацией. Даже такие понятия примитивного порядка, – с точки зрения человека, настроенного философски, – как прогресс или демократия, – разве это не абберация? Однако из-за них погибли миллионы людей. Это в конце концов неважно – абберация это или нет. Это ощущение, чувство, потребность. И если бы этого не было, если бы у людей не было потребности изменить свою жизнь, то не было бы того, что мы называем историей культуры.

В эту зимнюю ночь улицы Парижа были пустынно. Из тумана, который расстилался перед нами, появились и исчезли фигуры двух полицейских, совершавших свой обход, и Николай Францевич сказал, что это почему-то напомнило ему «Ночную стражу», хотя как будто бы ничего общего со знаменитой картиной Рембрандта в появлении этих полицейских не было. Затем из того же тумана выплыла фигура нищего бродяги, кутавшегося в порванное пальто и волочившего с шаркающим звуком ноги, в стоптанных башмаках, в которых не было шнурков. Когда это шарканье, похожее на короткие и сухие всхлипывания, удалилось, Николай Францевич сказал:

– Вот вам еще одна жертва абберации: это человек, который мог бы оставаться батраком где-нибудь в Оверни или Нормандии каменщиком, мусорщиком, рабочим или шахтером и которому тоже была тесна его жизнь.

Затем Николай Францевич сказал, что иногда, – очень редко, впрочем, вот в такие зимние ночи, как теперь, – Париж вдруг начинал ему напоминать Петербург.

– Заметьте, что эти города совершенно не похожи. Но это несущественно. Вот вы испытываете какое-то ощущение, которое трудно определить, и оно вызывает произвольное впечатление сходства, которого в действительности нет. И в эту минуту вы отдаете себе отчет в том, что время, годы, расстояние – все это понятия чрезвычайно условные и изменчивые. Время идет само собой, мы живем сами собой, до тех пор, пока какая-то механическая сила не

восстановит календарной истины. А в общем, времени нет. Есть воспоминания, есть воображение, есть погружение в прошлое, боязнь будущего, но мы называем все это так – прошлое, будущее, настоящее, – я думаю, только потому, что не даем себе труда задуматься над этим и понять, что все это только ощущения.

Мы шли по набережной Сены. В ночном тумане река была не видна, и мне больше и больше начинало казаться, что рядом со мной идет призрачный человек, которого, может быть, никогда не существовало и никогда, явственнее, чем в эту ночь, Николай Францевич не казался мне таким далеким от этой действительности, в которой мы с ним жили и вне которой я его не знал.

На пустынных Елисейских полях мы с ним расстались, он сел в такси и уехал домой. Я представил себе, как он вернулся в свою квартиру, зажег свет в комнате, где безмолвно и постоянно пылал догорающий фрегат Тарнера, потом лег в кровать и погрузился в то небытие, из которого он вновь появлялся на следующее утро.

Через некоторое время, когда я в числе других был приглашен опять на ужин к Николаю Францевичу, он предстал перед нами таким, каким мы всегда его знали, – неизменно любезным, исключительно тактичным и прекрасным хозяином. Служанка, со своим траурным видом и полными красными губами на бледном лице, подавала устрицы, Николай Францевич разливал белое вино, время текло незаметно, за тугими занавесками окон был зимний холодный вечер. А за столом опять возник Петербург, о котором Николай Францевич говорил много и охотно: музыкальная драма, имена знаменитых артистов и артисток, стихи Блока, концерты Гофмана, Нева, неизбежные цитаты из «Медного Всадника». Во всем этом была успокоительная призрачность, торжество воспоминаний и воображения – и мне казалось в тот вечер, что Николай Францевич с такой же легкостью мог перенестись в другую страну и другую эпоху. Мы впервые оценили в нем необыкновенного рассказчика – до сих пор он нам казался только собеседником. Когда мы расстались с ним, была уже поздняя ночь.

Через несколько дней после этого один из моих друзей, с которым мы ужинали у Николая Францевича, сказал мне:

– Я сохранил приятнейшее воспоминание об этом вечере. Но вам не показалось, что в нем было что-то странное?

– Странное, нет. Но я не знал, что наш друг такой прекрасный рассказчик.

– Вам не показалось, что в этих рассказах, несмотря на бесспорное их мастерство, было что-то фальшивое, что-то недостоверное?

– Нет, я думаю, что все, о чем он рассказывал, происходило именно так, как он говорил.

– Я в этом не сомневаюсь. Но вы знаете, какое у меня было впечатление? Что Николай Францевич никогда не жил в Петербурге, никогда не видел этого города, но прекрасно изучил его историю, его быт, все имена, все события, – все, и точно читал нам отрывки из книги, которую он об этом написал.

– Написал хорошо, во всяком случае.

– Несомненно. Кроме того, он в конце концов действительно петербуржец, и все-таки покойный сенатор Трифонов его знал именно по Петербургу. Но что вы хотите, не верю я этому человеку.

И он пустился в длинные и сумбурные объяснения, явно неубедительные, но в которых парадоксальным образом было что-то, против чего было трудно спорить. И под конец разговора мне стало казаться, что действительно, в один прекрасный день мы опять придем к Николаю Францевичу, но его не окажется дома и потом выяснится, что в этом здании, где он жил много лет, никогда не было ни его квартиры, ни его самого и что это все – пылающий фрегат в его гостиной, его служанка, тяжелая мебель, его ужины и рассказы – все это только возникло в моем воображении, в зимнюю ночь, в Париже, смешавшись с туманом и вкусом устриц и вина.

* * *

Все это происходило до войны, в те времена, которые потом стали казаться нам идиллическими и которые погрузились в такую глубину прошлого, как эпоха последних лет Российской империи. Но и после войны все шло как всегда: та же квартира, тот же фрегат, та же безмолвная служанка, на которой тоже, казалось, никогда не отразилось время. Казалось, что никакой ход истории не мог ничего изменить в облике Николая Францевича, неубедительном и

несокрушимом. Несмотря на преклонный возраст, он сохранил исключительное здоровье и прекрасный аппетит и никогда, казалось, не болел. Но за много лет моего знакомства с Николаем Францевичем я ни разу не видел, чтобы он смеялся. Жизнь его шла как будто без каких бы то ни было затруднений, трагедий в ней, казалось бы, не было и не могло быть. Но иногда он вдруг начинал казаться мне похожим на человека, которому что-то тягостное мешало жить с той безмятежной легкостью, которая должна была бы быть его уделом – так, точно в его безоблачном существовании что-то было не так как нужно, было какое-то сознание вины, какое-то постоянное сожаление. Вероятнее всего, – думал я, – в действительности не было ни этой вины, ни этого сожаления, представлений столь же произвольных, как представление о мнимой невещественности его положительной жизни.

* * *

Затем наступило время, когда мне приходилось надолго уезжать из Парижа, и я гораздо реже видел Николая Францевича. Так прошло еще несколько лет, в течение которых его образ жизни не изменился, как мне об этом писали мои друзья. Но однажды днем мне позвонили по телефону и сообщили, что Николай Францевич умер.

Накануне этого дня мои друзья ужинали у него, и, по их словам, никто из них не мог бы и подумать, что они видят его в последний раз. Все было так же, как всегда, он так же прекрасно принимал своих гостей, ел с таким же аппетитом, был так же любезен и мил и, казалось, совершенно здоров. На следующий день он встал в десятом часу утра, служанка наполнила ему ванну, он погрузился в воду, затем она услышала звук, похожий на короткое всхлипыванье, – вошла в ванную и нашла его мертвым. Потом было отпевание, церковь, панихида, и Николая Францевича похоронили на одном из парижских кладбищ, и через некоторое время на его могиле уже лежала мраморная плита с надписью – «здесь покоится»...

Так кончилась долгая жизнь Николая Францевича, почтенного и уважаемого человека, жившего в хорошей квартире, путешествовавшего за границу, читавшего Декарта и Боссюэ,

прекрасного собеседника и хозяина, не знавшего в течение долгих лет ни забот, ни нужды, оставившего по завещанию своей верной служанке хорошую квартиру, прекрасную мебель и, как это выяснилось несколько позже, некоторую сумму денег. Думая о смерти Николая Францевича, я вспомнил речь, которую на его похоронах произнес один из наших общих друзей.

«Господа, мы хороним нашего многолетнего друга, – он был одним из редких людей, о которых никто не мог сказать ничего отрицательного и которого никто ни в чем не мог упрекнуть. Он был живым воплощением всего, что мы считаем положительными началами в нашей жизни. У каждого человека в прошлом есть поступки, о которых он потом жалеет, есть случаи, когда он действовал не так, как следовало, – такова, в конце концов, человеческая природа. Николай Францевич был счастливым исключением из этого правила: никогда ни одного отрицательного поступка, никогда никакой недоброжелательности по отношению к кому бы то ни было».

Наш общий друг, произносивший эту речь, в свое время кончил Московский университет по юридическому факультету. Жизнь его за границей, однако, сложилась так, что ему никогда не пришлось заниматься адвокатской практикой, его деятельность проходила главным образом на бирже, хотя призвание его было несомненно другим, и, как он нам признавался, в своем воображении он нередко видел себя в суде выигрывавшим сложные дела, добивающимся оправдания обвиняемых и произносящим речи, построенные с безупречной и неопровержимой логикой. Он был полон этих произнесенных речей – и вот теперь на похоронах Николая Францевича он говорил так, точно защищал память покойного от каких-то воображаемых обвинений.

«Николай Францевич не был ни общественным деятелем, ни артистом в какой бы то ни было области, ни автором каких бы то ни было книг или теорий. Но круг его интересов был чрезвычайно широк. Его можно было встретить во всех музеях Европы. Его можно было застать за чтением современных авторов или блаженного Августина, и ни одно явление культуры не проходило мимо его пристального и одновременно благожелательного внимания. И в этом огромном количестве разных вещей Николай Францевич всегда находил свой

собственный путь, свою собственную систему взглядов на жизнь и на то, как следует жить, – систему, которую я определил бы как торжество положительной морали.

Было в нем еще нечто, отличавшее его от всех нас. Он стоял выше личных счетов, мелких практических интересов, которые нередко отравляют нашу жизнь. Он стоял как бы в стороне от бытовых недоразумений, от того, что мы, вульгарно выражаясь, называем будничной прозой существования. Он был лишен честолюбия, он никогда не стремился ни занять чье-то место, ни навязать кому-то свои взгляды, и я не представляю себе, чтобы Николай Францевич мог быть кому-либо чем-то обязан. Беседа с ним всегда была интересной и плодотворной – он принадлежал к числу тех, которые ничего не берут у других, но которые охотно делятся со всеми своим исключительным богатством мыслей и соображений. Его личная судьба сложилась так, что в жизни его не было, насколько мы знаем, ни трагедий, ни испытаний. Но те, кому они выпали на долю, могли всегда рассчитывать на его понимание и сочувствие. Он был человеком редкой независимости, и чувство собственного достоинства не покидало его ни при каких обстоятельствах. И если бы он попал в трудные условия, – чего, к счастью, в его жизни не случилось, – это чувство независимости и собственного достоинства не покинуло бы его – и он остался бы таким, каким он останется в нашей памяти – благожелательным, культурным, умным, прямым и честным человеком, – соединение качеств достаточно редкое и которое особенно следует подчеркнуть, говоря о покойном. Он был христианином – и если представить себе, что и для него наступит день Страшного Суда, то он предстанет перед этим судом с чистой душой и чистым сердцем, и судьи увидят, что он прожил свою жизнь, не совершив ни одного отрицательного поступка, никого не обманув, никого не обидев и стараясь понять тех, кто имел счастье, как мы все, быть его другом и благодарным его современником».

* * *

Через несколько дней после похорон Николая Францевича, вечером, когда я сидел у себя дома, раздался телефонный звонок. Я

поднял трубку и услышал неясный женский голос, который очень быстро что-то говорил по-французски, но с таким волнением и таким акцентом, что я сначала никак не мог понять, в чем дело, и решил, что моя собеседница ошиблась номером. Потом я все-таки понял: звонила экономка Николая Францевича, которая сказала, что она очень хотела бы меня повидать. Я назначил ей свидание на следующее утро.

Она пришла – в своем черном траурном платье, такая же бледная, как всегда, и, уставив на меня свои неподвижные глаза, объяснила, что она не знает, как быть и что именно следует предпринять, чтобы получить имущество, которое Николай Францевич оставил ей в наследство. Она показала мне его завещание, засвидетельствованное у нотариуса. В завещании было кратко сказано, что все, что принадлежало Николаю Францевичу, он оставляет ей. Я объяснил итальянке, что, по-моему, никаких трудностей у нее не будет и что ей надо обратиться к этому же нотариусу. Она поблагодарила меня и потом сказала:

– У него осталось много бумаг на иностранном языке, я не понимаю, что там написано, и не знаю, что с ними делать. Может быть, вы посмотрите, что это за бумаги?

– Хорошо, – сказал я. – Если они носят личный характер, то я читать их не буду, и проще всего будет их уничтожить.

После этого мы отправились на квартиру Николая Францевича – на ту тихую улицу, где он прожил столько лет. Так же, как и раньше, бурно зеленели деревья, наверху было такое же синее небо, но мне показалось, что в этом успокоительном пейзаже – два ряда высоких домов, деревья, небо, – в том воздухе теперь шли медленные волны далекой и созерцательной печали, которой не было ни на этой улице, ни в этом воздухе, до тех пор пока Николай Францевич был жив. Мы подымались на второй этаж, итальянка шла передо мной, и я невольно заметил ту упругую легкость, с которой ее ноги преодолевали ленивые, не крутые ступени мраморной лестницы. Сколько ей могло быть лет, этой женщине? Сорок? сорок пять?

Ящики огромного письменного стола Николая Францевича были наполнены папками с письмами, которых оказалось очень много. Все письма были написаны по-английски, и все они были адресованы некоему Иванову, жившему на улице Муфтар, – далеко от того района, где находилась квартира Николая Францевича. К каждому из этих

писем была приложена копия письма самого Иванова. Его письма были адресованы разным благотворительным обществам и некоторым частным лицам, всегда в далеких странах, преимущественно в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. Я взял одно из них – на многих страницах. В этом письме, отправленном по частному адресу в Калифорнию, Иванов писал:

«До самого последнего времени я считал свое положение безнадежным и поэтому принял решение больше не беспокоить вас никакими просьбами. Я давно примирился со своей участью и с жестокостью судьбы, которая сделала так, что моя жена, которая могла бы мне помочь, лишена этой возможности, так как она после менингита, который едва не стоил ей жизни, почти совершенно ослепла. Я представляю себе ту холодную тьму, в которую она теперь погружена, в этой нашей бедной квартире, где стоит давно потухшая печь, – потому что у нас нет денег на уголь. Мне иногда кажется, что я мог бы перевернуть мир, если бы мне вернули мои силы. Но я продолжаю быть парализованным – и до самого последнего времени мне казалось, что я, в сущности, давно лежу в могиле, – с той разницей между моим трупом и трупами тех, кого хоронят на кладбище, что у меня открыты глаза и что судьба отняла у меня все, кроме способности страдать и видеть страдания этой бедной слепой женщины, – которую я помню молодой, смеющейся, полной сил и надежд на лучшее будущее. Мне кажется в такие минуты, что настоящая смерть в тысячу раз лучше, в тысячу раз легче, в тысячу раз достойнее, чем то судорожное подобие существования, которое я веду теперь.

Простите меня за то, что я пишу вам обо всем этом. Но вы столько для меня сделали, я столько вам обязан, что, отделенный от вас огромным расстоянием, я считаю вас моим далеким другом – и я пишу вам, как другу. Но знаете ли вы, что это первое письмо, которое я пишу сам? До сих пор я диктовал свои письма, так как рука мне не повиновалась. И вот, несколько дней тому назад, я вдруг заметил, что я могу двигать правой рукой. Это было ощущение такой необыкновенной силы, это показалось мне таким чудом, что когда я коснулся этой воскреснувшей рукой своего лица, оно было мокро от счастливых слез, которых я не чувствовал. Доктор мне сказал, что может быть, это только начало, что в дальнейшем я буду двигать и

левой рукой – и кто знает, может быть, через некоторое время я вновь стану таким, каким был много лет тому назад, до того, как меня разбил паралич. То есть значит, я опять буду в состоянии работать – и когда я думаю об этом, мне становится трудно дышать от волнения».

Дальше шло подробное описание жизни Иванова, в которое он время от времени вставлял соображения другого порядка.

«Я иногда готов смеяться над самим собой, потому что мне всегда была свойственна наивная и идиллическая мечта, утопическое видение такого мира, в котором не было бы ни бедности, ни страданий, ни зависти, мира, который был бы построен на огромной и сложной системе гармонического и счастливого равновесия. Но я отвлекся от того, что хотел вам сказать. Если жизнь есть движение, то до самого последнего времени я был вправе считать себя мертвым».

Это длинное письмо было написано с бесконечными отступлениями и представляло собой многословную просьбу о помощи деньгами. К копии этого письма была приколота бумага: «Ответ на 29/11. Калифорния, 16/12, чек № 437».

Другое письмо было адресовано в Мельбурн. В нем Иванов писал, что он вернулся из санатории и что он снова у себя дома: узкая железная кровать, холодная сырость маленькой комнаты, тот же низкий потолок, свод которого иногда напоминает ему изгиб могильного склепа.

Дальше было сказано: «Я вынужден много времени проводить лежа на постели, так как у меня нет сил ни на что другое. Я думаю о разных вещах в эти долгие часы. И первая моя мысль, это обращение к Богу и благодарность за то, что я один и что та медленная смерть, в атмосфере которой я живу все эти долгие годы, никому не причинит никакого вреда. В конце концов, что произойдет от того, что мир не услышит тех симфоний, которые возникают в моем воображении и звуки которых сопровождают меня повсюду? После моей смерти скажут, что вот умер человек, который считал себя композитором и который не написал ничего. И кто, в конце концов, будет знать, что весь этот звуковой океан, который окружает меня, возник именно тогда, когда неумолимая болезнь лишила меня возможности записать эти симфонии и удержать это стремительное движение звуков, вне которого я не представляю себе жизни?»

На этот раз Иванов был композитором, медленно умирающим от чахотки, и которому врачи сказали, что усиленное питание и поездка в Приморские Альпы могут его спасти. Но на это нужны средства. Композитор задавал себе вопрос: имеет ли он моральное право обращаться к кому бы то ни было с просьбой о помощи? Ему казалось, что он может написать такие вещи, которые никто до него не писал. Но, может быть, это была просто иллюзия, может быть, у него не было никакого музыкального дарования? Затем шли рассуждения о природе творчества. «Может быть, симфонии Бетховена существовали до того, как он появился на свет. И та особенность, которую мы называем гением, – и которую мы не можем назвать иначе, – заключается в том, что он был единственным человеком в мире, который слышал эти звуки, то есть ту музыку, которой, кроме него, не слышал никто. И вопрос, который при этом возникает, таков: создал ли он эти бессмертные симфонии, создал ли он этот неповторимый звуковой мир – или он только слышал и записал для всех то, что всегда было? И если это так, то, может быть, и я услышу те звуки, которых, в силу миллиардов и миллиардов случайностей, не знает никто, кроме меня?»

Я просидел над архивом Иванова несколько часов. Меня не могло не удивить разнообразие тех бытовых подробностей, которые он приводил в своих письмах. В некоторых случаях он был одиноким человеком. В других случаях речь шла о тяжелой болезни его жены. Но независимо от того, упоминалось ли о семье или нет, он сам всегда был тяжело болен.

«Я знаю, что я постепенно слепну и ничто этого остановить не может. И когда мои глаза перестанут видеть, я унесу с собой это зрительное воспоминание о мире, который теперь постепенно тускнеет и скрывается от моего напряженного взгляда. Я больше не буду видеть, но я не забуду никогда этих контуров, которые я видел столько лет, этого движения линий, этой игры световых отблесков на море, этих неуловимых переходов от голубого к синему и от зеленого к голубому, за которыми я следил с палубы корабля в океане. Я знаю, что то время, которое мне еще остается прожить, я буду слышать бесчисленные звуки во тьме, но в этом мире я буду чувствовать себя чужим – и я с трудом представляю себе, как я привыкну к этой ослепшей вселенной – без света, без солнца, без сумерек, без ночи?»

В другом письме Иванов, недавно попавший, по его словам, под автомобиль, писал:

«То, что я чаще всего испытываю, это боль в пальцах правой ноги, – ощущение, которое доказывает мне одну истину, которой я раньше не подозревал. Мы считаем – и я всегда думал, – что воображение – это результат умственной деятельности. Говоря „воображение“, я хочу сказать – представление о том, чего в действительности нет, и то, что вы, англичане, называете fiction^[72], слово, трудно переводимое на другие языки. И вот теперь я убедился, что это не так. Наша мускульная и нервная система – эта неодухотворенная, казалось бы, совокупность тканей и узлов – тоже обладает воображением. Потому что чем другим, как не воображением мускулов и нервов, можно объяснить это ощущение в пальцах ампутированной ноги?»

«Я думаю о другом. Какая странная профессия – фабрикант искусственных ног и рук и какая странная отрасль промышленности!»

Содержание этого письма, такого же длинного, как остальные, сводилось к тому, что Иванову необходимо купить искусственную ногу и что у него на это нет денег. Все его письма, впрочем, всегда содержали просьбу о помощи, – но никогда эта просьба не была выражена прямо. Каждое письмо – это был рассказ, и все они были написаны в таком тоне, точно Иванов обращается к людям, которые не могут его не понять, которые вместе с ним склонны рассуждать о превратностях судьбы и о печальной участи их корреспондента. Почти в каждом письме Иванов задавал себе вопрос – имеет ли он, в сущности, моральное право просить кого бы то ни было о помощи? Но этот вопрос носил часто риторический характер.

Среди тех, кому Иванов посылал свои письма, были, судя по всему, самые разнообразные люди, что было видно по содержанию этих писем. Нельзя было не удивиться разнообразию тем, которые обсуждал Иванов – в зависимости от того, кому было написано письмо. Он писал об экономической эволюции мира, о перерождении форм капитализма, о политике, о будущем Франции и ее историческом прошлом, о западной культуре. Были письма, в которых речь шла о последних веках Византии, о живописи, о литературе – и во всем этом у Иванова были необыкновенные познания. Но особенно патетический тон был характерен для тех писем, которые посылались

людям духовного звания и где речь шла о религии. С одним и тем же неизменным вдохновением Иванов писал о католицизме – «в конце концов, история христианства есть история католической церкви, что бы ни говорили об этом те или иные люди, каковы бы ни были ужасы инквизиции, исчезнувшие, растворенные в неизменном и постоянном Возрождении христианской веры в несравненном сиянии Спасителя», о лютеранстве – «только Лютер, только он, понял опасность окостенения христианства, оцепенения и неподвижности его образов, и без него мы не знали бы, что такое настоящая вера», о буддизме – «если мы совершенно объективно должны констатировать, что основное отличие монотеистической религии от разных видов языческих верований, примеры которых нам дают, в частности, Эллада и Рим, – заключается в том, что язычеству чуждо созерцание, вне которого мы не можем себе представить монотеизма, то религия, в которой главную роль играл этот торжественный акт созерцания, это, конечно, буддизм». И к каждому письму была приложена коротенькая лента бумаги с датой его отправки, получения ответа и чека.

Я просидел несколько часов над этими письмами. В каждом из них Иванов менялся: после архитектора появлялся инженер, после инженера бывший преподаватель истории. Я читал и думал о том, какие мучительные усилия воображения были нужны автору этих писем. После этого, конечно, не оставалось больше сомнений в том, откуда Николай Францевич брал средства на жизнь: вторая квартира в бедном районе Парижа, фальшивые бумаги на имя Иванова, которого никогда не существовало, и упорный, многолетний труд. Итальянка несколько раз входила в кабинет, где я сидел, и потом уходила. Я ей сказал под конец, ничего не объясняя, что эти письма она может уничтожить, попрощался и поехал домой.

Был летний вечер, я сидел в своем кресле и думал о том, что я только что узнал. То, что никакого Иванова никогда не было, казалось мне, в конце концов, не таким важным. Не так уж важно было и то, что Николай Францевич зарабатывал деньги именно таким способом. Самое важное было другое: то, что Николая Францевича, того, каким мы все его знали и помнили, – тоже не было, несмотря на обманчивую его вещественность, – квартира, обеды и итальянка. Та изменчивость форм, в которой проходило его существование, то неправдоподобное множество превращений, о котором, свидетельствовали его письма,

все это были, быть может, его судорожные и безуспешные попытки воплощения, бесплодное стремление найти свое место в мире, которое, в силу неизвестных причин, было давно потеряно, как воспоминание о прошлом, которого не могли восстановить никакие усилия памяти и воображения. А кроме того, никакая созерцательная философия и назидательное чтение Боссюэ и Декарта не могли спасти Николая Францевича – в той мере, в какой он существовал, – от этой постоянной лжи, от сознания своей тягостной вины перед доверчивыми людьми, которым он писал свои письма и к которым он обращался во имя тех положительных принципов, которых его жизнь была жестоким и непоправимым отрицанием. Все было ложью и химерой – и его философия, и его жизнь, и эпистолярная литература Иванова, все было неверно и обманчиво, вплоть до календарной даты его похорон, потому что Николай Францевич, которого я знал столько лет и в реальность которого я не мог поверить до конца, растворился и исчез в той пустой могиле, куда был опущен его пустой гроб, не тогда, когда была произнесена речь о несуществующих заслугах этого несуществовавшего человека, а несколькими днями позже, в тот летний вечер, когда я вернулся домой после чтения писем Иванова.

Из записных книжек*

Я ездил каждое лето на юг Франции и неоднократно замечал, что на Ривьере много таких людей, которые редко встречаются в других местах; вернее, в других местах их присутствие и их количество могло показаться странным, в то время как здесь, в окрестностях Ниццы, Канн или Ментоны, это казалось совершенно естественным. Чаще всего это были очень пожилые люди, кончавшие свою жизнь под южным солнцем. Именно там, недалеко от Антиба, жил старый человек, который поразил меня какой-то особенной сосредоточенностью своего взгляда, точно он, не переставая, думал о чем-то очень важном. Он оказался русским художником, звали его Петр Петрович, и, по его словам, в давние времена он занимал очень значительную, хотя несколько странную, должность: он неизменно находился при императоре Николае Втором в качестве придворного живописца батальных сцен. Но это было, – то есть батальная живопись при дворе Николая Второго, – чрезвычайно давно, а теперь Петр Петрович доживал свой век в одной из русских богаделен на Ривьере. Он удивил меня тем, что назвал всю итальянскую живопись незначительной; он предпочитал ей русских художников девятнадцатого столетия, но особенно хвалил одного из современных живописцев, фамилии которого он точно не помнил – не то Иванов, не то Николаев.

Он не любил Францию, не любил моря и сказал мне, что предпочитает Испанию, где он прожил много лет и где его называли дон Педро. – Но вообще моя стихия, – сказал он (мы шли с ним по берегу моря), – это степи. Мое подлинное призвание – это архитектура, и поэтому, в течение долгого времени, я не мог спать днем, от двух до четырех часов. – Простите, но какое отношение архитектура имела к тому, что вы не могли спать после обеда? – Самое непосредственное, – сказал он. – Я это выяснил благодаря помощи моего друга, мадридского епископа, дона Антонио. Он однажды меня спросил: почему вы никогда не спите днем, дон Педро? – Не могу заснуть, дон Антонио. – Необходимо узнать причину этого, – ответил мой друг. – Постарайтесь заснуть хотя бы к

вечеру и увидеть какой-нибудь сон. Он даст нам ответ на все. И вот, представьте себе, я заснул и вижу сон: будто я отдаю распоряжения, находясь в подвале строящегося здания. Вдруг вижу, ко мне приближается женщина с кинжалом в руке. На дворе жаркий день и высокое солнце. Я вскрикиваю и просыпаюсь. Я рассказал этот сон дону Антонио, который сразу же все понял. – Ну, теперь все ясно, дон Педро. Вы были архитектором, и эта женщина, по неизвестным причинам, убила вас ударом кинжала. Это было днем, в часы сиесты, – и вот воспоминание о том, что вы были убиты именно в это время, мешает вам спать после обеда. – Я потом подумал и подсчитал, – действительно, это так и должно было происходить. А было это, я думаю, во второй половине пятнадцатого столетия.

Петр Петрович говорил об этом без тени нерешительности в голосе, ему все было ясно – и способности дона Антонио в качестве толкователя снов, и это убийство, которое вот уже несколько столетий мешало Петру Петровичу спать днем, и даже время, когда оно произошло, – не начало, не конец, а именно вторая половина пятнадцатого столетия.

Через несколько дней после этого разговора Петр Петрович спросил меня, не я ли автор такого-то рассказа, напечатанного в таком-то русском журнале. Когда я ответил утвердительно, он сказал голосом, не лишенным, как мне показалось, некоторой торжественности:

– В таком случае я прошу вас зайти ко мне.

Он жил в маленькой комнате, на стенах были развешены картины средних размеров, на которых, действительно, были изображены сражения, главным образом между всадниками, причем у Петра Петровича было очень своеобразное представление о пропорциях. На одной из этих картин, например, привлечшей мое внимание, была нарисована небольшая лошадь, и на ней сидел огромный мужчина с саблей, которой он рубил своего врага. Выражение его глаз было меланхолически-задумчивым. По-видимому, Петр Петрович именно таким странным образом представлял себе бой в конном строю.

Петр Петрович пристально на меня посмотрел и попросил показать ему ладони моих рук. Он долго их рассматривал, потом вздохнул и сказал:

– Милостивый государь, вы умерли два года тому назад.

После объяснения причин, по которым Петр Петрович не мог спать днем, меня не очень удивило то, что, по его словам, я умер два года тому назад. Но все-таки это прозвучало настолько неожиданно, что я спросил:

– А как вы понимаете, Петр Петрович, тот факт, что я не сумел, так сказать, отдать себе в этом отчет? Или, может быть, говоря о смерти, вы имеете в виду нечто другое, чем прекращение существования?

– Нет, нет, это термин совершенно точный. И тот факт, что вы умерли, я могу вам тотчас же объяснить. Видите ли, я думаю, вы не претендуете на глубокое знание оккультных наук?

– Ни в какой степени.

– Ну, вот видите, я так и думал. С другой стороны – чувствуете ли вы на своей левой руке то, что мы называем магическим браслетом?

– Нет, нет.

Петр Петрович пожал плечами.

– Это было для меня ясно с самого начала, – сказал он. – Дело в том, что человек, который написал этот рассказ, был явно причастен к оккультным наукам и носил на левой руке магический браслет редкой, я бы сказал, силы. Под этим рассказом стоит ваша подпись, но вы его не писали: вы просто не могли его написать.

– Вы знаете, Петр Петрович, у меня было, однако, впечатление...

– Иллюзия, мой друг, иллюзия. Ваша рука водила ручкой по бумаге, но вы писали под неслышную диктовку этого благороднейшего человека, тайны которого мы не знаем. Могу вам только сказать, что он пожертвовал для вас своей жизнью.

– Каким образом?

– Он умер вместо вас два года тому назад. Но он с вами. И все, что вы будете писать, – что бы то ни было, – будет по-прежнему написано под его диктовку. Потому что для нас, я хочу сказать, тех, кто, как он и я, погружены в тайноведение, – для нас настоящей смерти нет. Мы победили ее. Возьмите меня. Эта женщина думала, что она меня убила. И вот, смотрите: со дня этого убийства прошло пятьсот лет, а мы с вами сидим здесь, в этой чужой стране, и разговариваем. Могла ли она себе это представить? Я не знаю, по каким причинам она меня убила, но ясно, что это был акт бессмысленный. То, что делают обыкновенные смертные – вы, она, –

всегда диктуется соображениями, так сказать, местного и кратковременного характера. Ни одна из тех причин, которые могли существовать во второй половине пятнадцатого века, теперь не имеет значения, – вы с этим согласны?

– Совершенно согласен.

– Значит, ясно, что она поступила неправильно.

– Несомненно, Петр Петрович. Неправильно, не говоря уже о том, что преступно.

– Это мне представляется менее очевидным. Потому что она, в конце концов, не достигла своей цели. Она только погрузила меня в обморок, в глубокий сон. И дон Антонио, с которым мы потом много говорили об этом, совершенно правильно сказал: дон Педро, вы спали долгие годы – и потому к вам не идет теперь сон. Вы проспали свое – и теперь мы ждем от вас творческого усилия. И я ему ответил: вы правы, дон Антонио. Я совсем мало сплю, доктор мне говорит, что это возраст. Но это неверно, так как возраста у меня нет, я живу вне этого понятия. И я, поняв незначительность того, что я делал раньше, посвятил себя моему подлинному призванию: я пишу.

И он показал мне несколько исписанных тетрадей: это были своего рода трактаты о том, что он называл тайноведением.

– У вас нет магического браслета, – сказал он мне на прощание, – но у вас есть его следы. Ваша левая рука, например, способна исцелять головную боль у людей. Носите на левой руке золотые часы – это предохранит вас от заболевания раком. И желаю вам всего хорошего.

Я больше никогда не видел этого нелепого человека. В те времена, когда я его встретил, он был уже очень стар, и его, вероятно, нет теперь в живых, – во всяком случае, в том виде, в каком я его знал. Но он остался в моей памяти – с его длинной бородой, худыми пальцами, в картинном, широкополом пальто, которое он носил, несмотря на зной, со своей бессонницей и со своим бессмертием. В силу каких таинственных причин, какого закона наследственности он страдал такой странной формой безобидного безумия, и каким нелепым, действительно, должен был ему казаться тот мир, из которого его вздорное воображение уводило его в пятнадцатое столетие? Тот мир, в котором, в частности, жил я, или, вернее, в котором я умер – теперь уже много лет тому назад, – не поняв, что

меня давно не существует, как не существует ни времени, ни очевидности.

Размеренное, положительное существование – то есть хождение утром в контору или на завод, повторение одних и тех же вещей каждый день, словом, та форма, в которую втиснуты миллионы и миллионы человеческих жизней, – казалось мне всегда чем-то бесконечно печальным и безнадежным. Когда я думал об этом, я вспоминал одного из моих товарищей по университету, члена социалистической партии, убежденного защитника так называемых передовых идей. Слово, которое он произносил чаще всего, было слово «свобода». Он не мог кончить университета по недостатку средств, поступил служить в мебельный магазин, женился, и, когда я встретил его через несколько лет, у него было четверо детей. Утром он отправлялся на работу, вечером возвращался и никуда потом не ходил, кроме как на собрания своих товарищей по партии, на которых обсуждался вопрос о необходимости национализации той или иной отрасли промышленности или о системе ставок социального обеспечения или распределения налогов с того или иного вида доходов. Денег, которые он зарабатывал тяжелым трудом, ему едва хватало на существование; к тому же его жена, болезненная женщина, часто хворала и на ее лечение тоже уходило немало; он только и делал, что урезывал, вычислял, брал деньги в долг, возвращал, покупал в кредит всякие предметы домашнего обихода, и каждое такое-то число ему приносили очередной вексель, по которому он должен был платить. Этим заботам о том, чтобы сохранить какое-то внешнее приличие своей жизни, чему он придавал большое значение, он посвящал все свои умственные и душевные силы. – Прекрасный человек, – говорили о нем все, кто его знал. Его ценил хозяин магазина, в котором он служил, консьерж того дома, где он жил, владелец предприятия, где он пользовался кредитом, – словом, все, кто с ним имел дело. И вот, когда я встретил его и когда вся его жизнь проходила в этих постоянных заботах о том, когда, где и сколько надо заплатить и откуда взять на это деньги, когда он заменял няньку для детей и сиделку для жены, а, кроме того, на очередном партийном собрании читал доклад о целесообразности кооперативной системы, при которой, по его расчетам, соответствующие объединения

потребителей могли выгадать в своем ежемесячном бюджете около четырнадцати целых и двух третей процента, – я пригласил его в кафе, и он мне сказал, что по-прежнему, как и раньше, считает, что всякий сознательный гражданин должен посвятить свои силы борьбе за свободу. – О какой свободе ты говоришь? – О свободе в самом прямом смысле этого слова: свободе жить так, как ты хочешь. – Ты находишь, что у тебя есть эта свобода? – Да, потому что я сам выбрал жизнь, которую я веду. – Ты знаешь, – сказал я, пожав плечами, – я могу сказать, что ты порядочнейший человек. Ты создал сам для себя множество обязательств, которые ты честно выполняешь, – но о какой свободе тут может идти речь? В чем ты ее видишь? – Свобода, – сказал он с пафосом, который мне показался беспредметным, – это твоя совесть и те обязательства, о которых ты говоришь, это обязательства совершенно добровольные. – Другими словами, это свобода выбора: но как только выбор сделан, ты ее теряешь? – Нет, так как сознание того, что этот выбор был свободен, проходит через всю мою жизнь. – Воспоминание о свободе выбора? – Нет, сознание этой свободы. – Свобода в его понимании превращалась в риторическую фигуру, не имевшую ничего общего с действительностью. Это было понятие совершенно отвлеченное, которое, конечно, не могло иметь никакого отношения к мебельному магазину, векселям, пылесосу, желудочным заболеваниям его жены и регулярным взносам разных сумм для уплаты за разные вещи. Свобода – это было нечто другое, что-то вроде торжественной социалистической симфонии – Марат, Дантон, борьба против Робеспьера, восстание сорок восьмого года, – и, действительно, какая могла быть связь между участием того же Робеспьера, тысяча семьсот семьдесят девятым годом и торговлей мебелью или трудностью платить по векселям в тридцатых годах двадцатого столетия?

Единственное, что могло казаться чем-то создающим общественную и семейную ценность этого человека, это то, что он находился в центре сложного движения нескольких жизней – его жены, его детей – и играл известную роль в расчетах его кредиторов, – и в этом движении он был действительно центральной и необходимой фигурой; без него все это должно было рухнуть, как здание, построенное на песке. Это он тоже сказал мне в разговоре, который был у меня с ним в кафе, и тут я готов был с ним согласиться. Это был

наш последний разговор, мы расстались – самым дружеским образом, – и через два года я узнал, что он умер от какой-то эпидемической болезни, оставив жену, детей и известное количество долговых обязательств. Оказалось, однако, что даже это трагическое событие для его близких и его кредиторов не было непоправимым: мебельный магазин взял на себя уплату его долгов и расходы по похоронам, его вдова получила некоторое пособие и через год после его смерти вышла замуж за другого человека, принеся ему в приданое выплаченный пылесос, выплаченные ковры и мебель и толстую связку векселей, на которых стояло то, что мой покойный друг, наверное, назвал бы печатью свободы – слово «уплачено».

* * *

Рядом с небольшим пансионом, недалеко от Ниццы, где я жил летом, была вилла, которая принадлежала пожилой даме, ходившей всегда в черном платье, чрезвычайно приветливой и вежливой, здоровавшейся со всеми соседями, к каждому из которых она питала, казалось, искреннее расположение. Звали ее *madame Georgetta*. Я как-то оказал ей небольшую услугу – помог отворить калитку ее садика, окружавшего виллу, и она пригласила меня зайти к ней выпить чаю. Я воспользовался ее приглашением через несколько дней и тогда разговорился с ней. Она прекрасно знала Париж, где она родилась и провела почти всю свою жизнь. В разговоре она неоднократно упоминала о своем предприятии, владелицей которого она там была, не уточняя, какой именно характер оно носило. Судя по ее облику, она, как мне казалось, могла быть собственницей бельевого или шляпного магазина.

В жизни ее, – насколько я понял из ее рассказов, – самую важную роль играли два человека: ее покойный муж, посвятивший все свое существование научной работе – он был автором нескольких трудов по истории орденов и медалей, – и ее духовик; аббат, отец Иосиф, человек глубокого и всестороннего ума, как она сказала. Оба они, по ее словам отличались возвышенным образом мысли. Но в то время, как муж *m-me Georgette* всецело ушел в науку и обычные человеческие страсти казались ему предметом недостойным ни

внимания, ни изучения, аббат, отец Иосиф, посвятил свою жизнь проникновению в тайны человеческого сердца. И когда однажды муж m-me Georgette высказал аббату сомнение в том, что эти тайны человеческого сердца действительно заслуживают изучения, аббат ответил ему, что именно этот предмет он считает самым важным в жизни и что, в частности, наш Спаситель в своем Божественном совершенстве и в своей непогрешимости не погнушался понять душу грешницы и души разбойников, распятых рядом с Ним. Тут m-me Georgette не могла удержаться от слез. – Впрочем, дорогой друг, – сказал аббат, – суровая дисциплина науки, невольно наложившая свой отпечаток на возвышенный склад вашего ума, не должна, однако, заслонять собой все. Вспомните, что нередко именно человеческие страсти определяли героические подвиги тех, кто был награжден орденами и медалями, в историю, которых вы, дорогой друг, внесли вклад, которого Франция не забудет. – M-me Georgette добавила, что, несмотря на глубокое уважение, которое она питала к науке, и на преклонение перед заслугами ее мужа, то что интересовало аббата, казалось ей не менее достойным внимания, чем медали и ордена, – как мы можем судить о глубинах души и сердца? – указала она. И хотя, по ее словам, она имела возможность узнать о природе человеческого сердца больше, чем другие, так как в числе ее клиентов были самые разные люди, начиная от простых рабочих и кончая министрами, депутатами и сенаторами, даже она, несмотря на весь свой опыт, не могла бы сказать, что она поняла в этой области все, что можно понять. Аббат Иосиф знал гораздо больше, чем она.

Я ушел от нее, несколько удивляясь возвышенному характеру взглядов и унося с собой идиллическое представление о ее жизни, определенной наукой и философией. Мне только показалось несколько странным, что клиентура ее предприятия захватывала такой широкий круг людей, от рабочих до сенаторов. Вскоре после этого разговора с ней я уехал в Париж, а вернувшись на юг следующим летом, узнал, что она умерла и была похоронена на местном кладбище, рядом со своим мужем. Я пошел туда, чтобы взглянуть на ее могилу, и увидел роскошную мраморную плиту, увенчанную бронзовым распятием. На плите золотыми буквами было написано, что здесь покоится Georgette Fricasseaux, закончившая свой жизненный путь такого-то числа такого-то месяца. Я вспомнил летний день прошлого года, хруст

гравия в садике ее виллы, солнечный свет, неподвижные пальмы, росшие перед ее терраской, слезы на ее глазах, когда она повторяла слова аббата Иосифа о грешнице и разбойниках, крик цикад и высокое, безоблачное небо. Я вернулся к себе в невольном раздумье и не находил тех слов, которые могли бы как-то подвести итог этой человеческой жизни, – тех слов, которые, наверное, хорошо знал аббат Иосиф: он, вероятно, сумел бы рассказать о том, как прожила эта женщина, и о том, как мирная ее душа спокойно предстанет перед Господом в день Страшного Суда. И тогда будет сказано, что она посвятила свое существование бескорыстному служению истории орденов и изучению человеческого сердца, и в какой-то незначительной степени – своему коммерческому предприятию. – Кстати, – спросил я хозяина пансиона – чем, собственно, занималась в Париже m-me Georgette? – Как, вы не знаете? – сказал он. – Это была выдающаяся женщина, ей принадлежало два публичных дома.

Я рассказал эту историю одному из моих старых друзей, человеку очень немолодому, у которого было небольшое имение в сотне километров от Парижа. Я приехал к нему тогда зимой, которая в том году была суровой. Я прошел от маленького городка, куда нужно было приехать, чтобы попасть потом к моему другу, шесть километров по дороге, пересекающей лес. Замерзший снег хрустел под ногами, стояли белые, как в России, деревья, морозный воздух был неподвижен, и я невольно вспомнил то время, когда я ходил по такому же зимнему лесу на лыжах в Орловской губернии, – время, которое казалось мне безвозвратно далеким, так, точно это происходило двести лет тому назад. Я дошел, наконец, до высокой стены, окружавшей сад и дом, где жил мой друг.

Он жил там почти безвыездно, годами, ходил за провизией в соседнюю деревню, рубил деревья и колол дрова, доставал воду из колодца, выкопанного во дворе, и сам готовил себе пищу.

Он родился и вырос в Петербурге, и молодость его протекала в последние годы прошлого столетия. Когда я ему рассказал историю m-me Georgette, он ответил, что не находит в ней ничего особенно удивительного. Он сказал, что она напоминает ему нечто похожее, о чем рассказывал его отец, который был по профессии поверенным в делах: все это происходило в восьмидесятых годах.

Был вечер, мы сидели в его кабинете, в печи трещали, всхлипывая, дрова. В числе клиенток его отца была некая Анна Васильевна Смирнова, полная высокая женщина из простых, владелица небольшого предприятия, ничем не отличавшегося от того, о котором изредка упоминала m-me Georgette. Отец моего друга это знал, но дома Смирновой ему не случалось видеть. И вот однажды он получил приглашение на бристольтском картоне: «Анна Васильевна Смирнова просит вас пожаловать на открытие нового помещения, – следовал адрес. – Гостям будет предложено угощение от чистого сердца». Он отправился туда. Небольшая улица, где находилось новое помещение, была запружена каретами. Швейцар, лицо которого было одновременно свирепым и торжественным, распахнул перед ним дверь. Он вошел в огромную гостиную, где застал множество людей чрезвычайно почтенного вида и чаще всего такого же возраста. Он сел на диван. Один из его соседей, обратившись к другому, спросил:

– Где изволили проводить лето, ваше превосходительство?

– Был, знаете, в Висбадене. Очень это как-то освежает. И самые разные недомогания значительно облегчаются. Чрезвычайно вам рекомендую. А вы, ваше превосходительство?

– Я все там же, в Баден-Бадене.

– А в сенате-то, слышали, что происходит? Недавно, знаете, встретил Василия Васильевича, слава Богу, ведь наш современник. И вот, ваше превосходительство, можете себе представить, начинает разговор так: «прогрессивные идеи...» Я говорю – Василий Васильевич, побойся ты Бога, какие это такие прогрессивные идеи, ведь слушать страшно. У тебя имения, ты, говорю, облечен доверием государя императора, ты должен – тут, ваше превосходительство, просто не утерпел, – ты должен, говорю, являть собой пример тем поколениям, которые с надеждой смотрят на тебя. А ты говоришь – прогрессивные идеи, точно недоучившийся семинарист. В какое время мы живем, только подумать.

Он прислушался к другим разговорам: ревматизм, артериосклероз, замедление сердечной деятельности, – нам, знаете, не двадцать лет, вот недавно в газетах... В конце гостиной была дверь, не очень плотно затворенная, он подошел к ней и заглянул в соседнюю комнату, где подковой были расставлены столы, ломившиеся, как он сказал, под тяжестью индеек, гусей, окороков, блюд с заливным,

стеклянных сосудов с икрой, бутылок с разными напитками. – Что ж, господа, – сказал он, – угощение-то готово, а время проходит. – Но в ответ на эти слова он встретил только сердитые или неодобрительные взгляды, – дескать, вот она, невоспитанность нынешних молодых людей, награжденных вдобавок непростительным аппетитом и не знающих ни артериосклероза, ни ревматизма, ни благотворного действия Мариенбада.

И вдруг ему показалось, что все это происходит не наяву, а во сне, так как, с неправдоподобной убедительностью, откуда-то приближалось церковное пение. Ему хотелось протереть глаза: как? откуда? почему церковное пение? Но это был не сон: через минуту в гостиную вошел священник в сопровождении хора, составленного из мальчиков. Священник окропил водой помещение, затем в конце гостиной распахнул дверь, на ее пороге показалась Анна Васильевна Смирнова, перекрестилась, поклонилась всем низко и сказала сдобным и праздничным голосом:

– А теперь, дорогие гости, поблагодарив батюшку за освящение дома, прошу не погнушаться и закусить, чем Бог послал.

– Бели бы я был защитником религии, – сказал мой друг, – я был бы склонен утверждать, что в этом видно величие христианства. Христос не создал мира, Он застал человеческое общество в готовом виде. Оно состояло из купцов и блудниц, императоров и их подданных, воинов и рабов, фарисеев и праведников – и религия была достоянием всех. Блудницы имели на нее такое же право, как рабы и воины. М-me Georgette и Анна Васильевна Смирнова предстанут, как вы говорите, перед Страшным Судом, под звуки архангельских труб, возвещающих воскресение из мертвых. И, может быть, о них тоже будет сказано, что их следует простить, ибо они не ведали, что творили.

Я провел у него в тот раз три дня, и мне казалось, что я погрузился, в давно прошедшее время, что я бесконечно далеко от Парижа, все было так, точно где-то там, в давно исчезнувшей стране, идет жизнь, описание которой можно было теперь найти только в книгах, напечатанных десятки лет тому назад, – сенат, Петербург, прогрессивные идеи, романы писателей-народников о суглинке и мужиках, с этим удивительным русским языком – «давеча», «намедни», «стрел», – бесконечные Златовратские, Решетниковы,

Успенские, множество авторов с двойными фамилиями – Шеллер-Михайлов, Гарин-Михайловский, Мамин-Сибиряк, Гусев-Оренбургский, Салтыков-Щедрин, Адмиралтейская игла, словом, последние десятилетия Российской империи. А перед моим отъездом мой друг рассказал мне еще одну историю, которую я запомнил. Мы говорили с ним о вечных страстях, об игроках, пьяницах и стяжателях.

– Был у моего отца еще один клиент, такой мужичонка, Спиридон Сидоров, едва грамотный, бедно одетый старик, владелец огромного состояния, собственник значительного количества доходных домов в Петербурге, стоивших в общей сложности – по тем временам – около одиннадцати миллионов рублей. Скуп был легендарно – до того, что сам себе в одном из своих домов сдавал квартиру и с сокрушением говорил отцу:

– Беда, Сергей Никитич, все дорожает: на квартиру цену повысили.

Было у него две сестры. Ему самому было сильно за семьдесят, а обеим сестрам немного меньше. Держал он их, конечно, в черном теле. Старшая говорила отцу:

– Вот, Сергей Никитич, братец, даст Бог, околет, тогда я сливочек с бисквитами поем.

У Сидорова служила в качестве экономки Васильевна, бедная старуха, терпевшая все потому, что надеялась – авось, он ей в завещании что-нибудь оставит.

Заболел Спиридон Сидоров. Видит, плохо совсем. Говорит:

– Иди, Васильевна, за доктором, ничего не поделаешь. Хоть расход и большой, но иначе не выходит.

Пришел молодой врач, хорошо знавший Сидорова и жестокую его скупость. Осмотрел его и сказал:

– Ну, старик, конец тебе приходит, не встанешь. Я тебе лекарство пропишу, чтобы облегчить тебе переход в другой мир, но на выздоровление не надейся.

– Я тебя не затем звал, – сказал Сидоров, – чтобы ты мне такое говорил, которое я сам понимаю. Ты мне утешительное скажи, тебе за это деньги платят. А ты мне нехорошее сказал, я тебе теперь не заплачу.

Доктор пожал плечами и ушел. Однако рецепт оставил. Сидоров говорит:

– Пойди, Васильевна, в аптеку, спроси, сколько лекарства будут стоить.

Вернулась Васильевна, говорит:

– Три рубля будут стоить.

– Бога они не боятся, – сказал старик. – Пойди еще раз и скажи так: барин, дескать, все равно помирает. Хотите за лекарства полтинник, берите, а не хотите, он и без лекарств помрет.

Пришла она опять из аптеки. – Ну, что сказали? – Сказали – черт с ним, пусть с лекарствами околевает: дали за полтинник.

Умер старик. Сестрам досталось наследство, каждой по пяти с половиной миллионов. Через две недели пришла старшая.

– Ну что, поела сливок с бисквитами?

– Нет, батюшка, не поела: денег жалко.

Я жил в Париже на четвертом этаже тихого дома, такого тихого, что иногда казалось, будто он населен покойниками, к которым никто никогда не приходил. И только в течение двух или трех недель, каждый год, в марте месяце, на лестницах дома стояли, один в затылок другому, молчаливые люди самого разного вида – молодые, пожилые, женщины и мужчины. Они появлялись в марте – и исчезали потом на год. Весной следующего года они опять появлялись – и по неумолимой точности того периода, когда это происходило, это напоминало миграцию угрей или перелеты птиц. – Что это за люди? – спросил я как-то одного из моих соседей, – его фамилия была Лавиль, – служащего в министерстве финансов. – Как, вы не знаете? Это клиенты *mademoiselle Blanche*, которая живет на третьем этаже, под вами. – А кто такая *m-lle Blanche*? – Как, вы и этого не знаете? – *M-lle Blanche*, которую я видел каждый день, но имени которой я, действительно, не знал, была тихая женщина с постоянным выражением испуга и тревоги на лице. Но, как мне это объяснил Лавиль, в своей специальности она была несравненна. Она служила раньше в налоговом ведомстве, затем оттуда ушла и теперь занималась заполнением налоговых листов тем, кто к ней обращался. Она знала все правила, по которым эти листы должны были составляться, и все отступления от этих правил, допускавшиеся тем

или иным законом, такого-то года, такого-то числа, явно потерявшим иногда свой смысл, но по юридической небрежности или ошибке неотменным, и на который можно было сослаться. Ее налоговые листы были верхом искусства, и, по словам служащего министерства финансов, их составление приносило ежегодно значительный убыток налоговому ведомству Франции. Он рассказал мне историю жизни m-lle Blanche, довольно печальную, главное событие которой заключалось в том, что в свое время ее непосредственный начальник по службе обещал на ней жениться, но обещания не сдержал и женился на другой. Именно это определило всю дальнейшую жизнь m-lle Blanche и ее профессию. То, что она делала, было, в конце концов, своего рода возмездием за то, что произошло во время ее службы в налоговом ведомстве. Никакие логические соображения не играли в этом никакой роли – ни тот факт, что налоговое ведомство нельзя было обвинить в том, что один из его служащих не выполнил своего обещания жениться на ней, ни то, что этот человек был несчастен в своей семейной жизни, спился и умер от цирроза печени, ни то, что все это происходило тридцать лет тому назад. Ничто не могло удержать ее от какого-то бессмысленного стремления к воображаемому торжеству справедливости, которое она, – непостижимым образом, – находила в рядах цифр и вычислениях, цель которых состояла в том, чтобы лишить французское налоговое ведомство известных сумм, на которые оно рассчитывало.

Все это продолжалось много лет. И вот однажды наступил март месяц, и я с удивлением заметил, что лестница дома, где я жил, так же тиха и пустынна, как всегда. Клиенты m-lle Blanche исчезли. – Что случилось? – спросил я Лавиля. – Налоговое ведомство перестало существовать? M-lle Blanche заболела? – Нет, она, слава Богу, здорова, – сказал он, – и налоговое ведомство, увы, продолжает существовать. Но m-lle Blanche больше не занимается составлением налоговых листов, и для ее клиентов это катастрофа. Она недавно вышла замуж, – вас в это время не было в Париже, – и теперь она берет на дом бухгалтерскую работу. – M-lle Blanche действительно вышла замуж за одного из своих клиентов, государственного служащего в отставке, некоего месье Франсуа, очень тихого и мирного человека, который жил на покое, собирая гравюры восемнадцатого столетия и покупая иногда у старьевщиков какие-то

фарфоровые статуэтки, пострадавшие от времени, или предметы, вышедшие из употребления, вроде бронзовых щипцов для завивки волос на париках. Этот брак m-lle Blanche, который, казалось бы, не должен был внести никаких изменений в чью бы то ни было жизнь, – кроме жизни ее мужа, – повлек за собой довольно значительные экономические последствия, отрицательные для ее бывших клиентов и положительные для французского министерства финансов. Это тоже не было логическим завершением какой-то эволюции, это было запоздалым реваншем m-lle Blanche против того, что произошло тридцать лет назад по вине человека, служившего в налоговом ведомстве. Теперь и он, и его служба, и дальнейшая его судьба, все это потеряло значение, все это растворилось в том, о чем Лавиль мне сказал:

– Как после этого можно отрицать важность некоторых эмоциональных явлений, в глубине которых безвозвратно тонут воспоминания, определившие долгие годы жизни тех или иных людей, в частности m-lle Blanche?

* * *

Дом, где жили m-lle Blanche, которая стала m-me Лавиль, и молодой человек, не знавший, какую карьеру выбрать, пианиста или художника, куда переселился муж Blanche, привезя с собой гравюры и щипцы для завивки париков, – этот дом казался мне иногда островом, очень далеким от берегов Франции, жизнь которой отражалась на страницах газет, с парламентскими прениями – «не думает ли господин министр, что политика правительства по отношению к ветеранам войны...», – уголовной хроникой – «вчера ночью воры проникли в помещение банка и, взломав один из несгораемых шкафов...», – драмами на романтической почве – «она сказала ему, что любит другого, он вышел из комнаты и покончил с собой, пустив себе пулю в висок...» – и политическими статьями – «правительство внимательно следит за развитием событий, которые...», – все это проходило мимо обитателей нашего дома. Муж Blanche, в частности, был твердо убежден, что гравюры и предметы, бывшие в употреблении у его предков в восемнадцатом столетии, за несколько

лет до французской революции, гораздо важнее и интереснее содержания газет, а художник-музыкант считал, что история всех парламентов не стоит нескольких лет Ренессанса или одной симфонии Бетховена. И событие, которое интересовало жильцов дома гораздо больше, чем все остальное, – включая парламент и судьбу правительства, – заключалось в том, что большая квартира первого этажа освободилась и туда должен был въехать человек, о котором никто ничего не знал. До тех пор эту квартиру занимал мужчина средних лет, очень надменного вида, один из собственников крупного бюро похоронных процессий. Он вел чрезвычайно замкнутый образ жизни, в квартире его всегда стояла тишина. У его были лакей и горничная, такие же беззвучные, как он сам. Дома он проводил больше времени, чем в своем похоронном бюро. Оно находилось неподалеку, и в огромных его витринах были выставлены гигантские фотографические снимки похорон – какого-то человека, такого-то числа, – с картинными лошадьми, неподвижными, замершими на козлах кучерами и людьми в траурных костюмах, следовавшими за катафалком. Это была обычная коммерческая реклама предприятия, как те афиши, на которых расхваливались необыкновенные качества пылесосов или несокрушимая прочность мебели. Я никогда не мог понять, в чем, собственно, владельцы бюро похоронных процессий видели коммерческую и рекламную пользу этих аршинных фотографий катафалков и лошадей в траурных пополах, что в этом было соблазнительного и должно ли было это зрелище, согласно какому-то их расчету, явно ошибочному, ускорить приближение неизбежной смерти теоретического клиента или внушить ему неудержимое желание умереть, чтобы быть похороненным именно так, заранее оценив это могильное торжество и зная, что потом, после переселения в лучший мир, никакая оценка невозможна. Но, так или иначе, один из тех, кому принадлежало это предприятие и который занимал квартиру первого этажа, однажды ночью неожиданно умер от сердечного припадка.

– Было бы грубейшим, мне кажется, заблуждением, – сказал мне Лавиль, – считать эту смерть таким же событием, как уход из жизни всякого другого человека. Все-таки смерть есть несчастье, и никто, собственно говоря, не живет с тем, чтобы умереть. Но этот человек, в силу его профессиональной деятельности, сделал, если так можно

сказать, смерть целью своей жизни. Вне понятия о смерти он не существовал. Если бы произошло чудо и люди вдруг перестали умирать, его жизнь потеряла бы смысл, который заключался в том, что другие умирали, а он оставался жив и, хороня их, зарабатывал деньги. Конечно, всякая профессия имеет какое-то оправдание. Но в его профессии было что-то, что мне не нравится, и, в конце концов, почему он ее выбрал? – Он был просто коммерсантом, – сказал я. – Да, конечно, но все-таки в этом выборе было какое-то отрицательное начало. И неужели он никогда над этим не задумывался? – Это не входило в его обязанности, в этом не было необходимости. – Да, да, но все-таки... И вот видите, что произошло: он перестал быть одним из владельцев похоронного бюро, для того чтобы стать своим собственным клиентом и единственный раз не извлечь из очередной смерти никакой выгоды. Если хотите, умерев, он поступил неправильно и не по-коммерчески. Случилось то, чего он не предвидел и о чем он никогда не думал: что понятие смерти автоматически уничтожает все другие понятия, в том числе коммерцию, основанную на несчастье, то есть то, чем он занимался всю жизнь...

Так или иначе, просторная квартира из шести комнат, которую он занимал, теперь освободилась, и через некоторое время к дому стали подъезжать грузовики с мебелью нового жильца, – этажерки, книги, огромный письменный стол, картины – преимущественно морские пейзажи. Кроме картин, были статуэтки разных размеров – вроде льва, терзающего антилопу, причем познания неизвестного скульптора в области зоологии, по-видимому, заключали в себе некоторые пробелы, в частности, у антилопы был чрезвычайно странный вид, она была похожа одновременно на осла и на теленка, но отличалась и от того, и от другого очень толстыми и аккуратно загнутыми рогами, характерными для некоторых пород европейских горных баранов. Потом из грузовика в квартиру стали вносить матрасы, диваны, кресла, ковры, стоячие зеркала, окруженные металлическими узорами – один из них представлял голых женщин, обвивающихся вокруг зеркала гирляндой и держащих друг друга за ноги. Это зеркало я где-то уже видел и никак не мог вспомнить, где именно, – может быть, в одном из магазинов Латинского квартала, торгующих такого рода предметами. Мне, однако, казалось, что это

было в другом месте, но где и когда – этого я не мог восстановить в своей памяти.

Потом грузовики уехали, и новый жилец вселился в квартиру. Когда через несколько дней я спросил консьержку, как его фамилия и кто он такой, и она назвала его, я сразу вспомнил, где я видел это удивительное зеркало. Это было на его прежней квартире, где я был только один раз. Он был профессором университета, и я слушал курс его лекций по социологии. Я вспомнил книги, автором которых он был, – история парламентских систем, социальная структура западноевропейских стран, Адам Смит и его современники. Он был очень знающим человеком, причем иногда трудно было даже установить источники тех разнообразных сведений, которыми он располагал, – бытовые особенности некоторых индийских провинций, возникновение полиандрии в Тибете, происхождение некоторых традиций у тех или иных племен Кавказа. Но вся социология в его представлении сводилась, собственно, к классификации – такая-то доктрина, такие-то положения, такие-то статистические данные. Его преподавание состояло в перечислении и изложении, и он был убежденным противником концепций, претендовавших на универсальность, или теорий о том, что представляет собой эволюция современного общества и в каком направлении она должна идти. Так же отрицательно он относился ко всяким историческим выводам и утверждал, что лучшим историком был Фукидид, хотя даже он иногда отступал от чисто объективного изложения фактов. В той мере, в какой из его лекций можно было все-таки сделать известные заключения, его философия представлялась в довольно мрачном виде: наука нам ничего не может дать, кроме сведений о неподвижном материале, неподвижном потому, что время, о котором идет речь, прошло. Нельзя научиться ни тому, как строить общество, ни тому, как надо делать историю. – Так называемый прогресс, – сказал он в одной из своих лекций, – заключается в том, чтобы стать несколько умнее и несколько порядочнее наших предшественников... – В другой раз он сказал, что люди изобретают схемы, в которые они стремятся втиснуть общество, и пытаются направить «поток жизни», как он выразился, по определенному руслу, построив плотины. Потом этот поток плотины сносит или прорывает, и это называется революцией. Всякая война есть результат припадка коллективного безумия, который мы тщетно

пытаемся объяснить экономическим соперничеством, борьбой за рынки или столкновением разных социальных систем. Все эти соображения выражали его личные взгляды, он иногда вставлял это в свои лекции, но в его официальном курсе они, конечно, не фигурировали.

Стоячее зеркало, оббитое голыми бронзовыми женщинами, я видел в его квартире несколько лет тому назад, когда пришел к нему, чтобы задать несколько вопросов, имевших непосредственное отношение к его лекциям. Пожилая горничная подала нам чай в его кабинет, он смотрел на меня усталыми глазами и, обращаясь ко мне, говорил «мой юный друг». Обычно он называл меня иначе – «юный варвар», и как-то, в коридоре университета, остановившись на несколько минут и разговаривая со мной, сказал, что я напоминаю ему тех молодых людей, которые из далеких и диких провинций приезжали учиться в Рим. – Вы очень хорошо знаете, профессор, – сказал я, – что в прошлом России тысячелетняя история, Киевская Русь, византийская культура, сотни лет христианства и, наконец, девятнадцатый век русской литературы. – Все это верно, – сказал он, – но все-таки в вашей природе есть что-то варварское. Не поймите меня превратно – варварское в положительном смысле: какой-то недостаток аналитического начала в его отрицательном аспекте, какая-то вера в возможность создания новых моральных ценностей, то, чего нам, европейцам, не хватает или что мы потеряли. Так что когда я называю вас варваром, это не порицание той, страны, из которой вы приехали, это ее положительная оценка.

– Странный он человек, – сказал я как-то одному из моих товарищей. – Самое главное, – ответил он, – это что его совершенно не интересуют преподавание и научная деятельность. – А что же его интересует? – Как, ты не знаешь? – сказал он. – Он страшнейший донжуан, он все свое время тратит на женщин. – В его годы? С брюшком и седой бородкой? – Ты еще молод, – сказал мне мой товарищ, которому было ровно столько лет, сколько мне. – Когда ты доживешь до его возраста, ты, может быть, это поймешь. – Я не придал значения его словам и забыл об этом разговоре.

Недалеко от дома, в котором я жил, находилось кафе, где бывали все наши жильцы. Его владелец, пожилой краснолицый человек, Рожэ, раньше держал кафе в одном из рабочих пригородов Парижа, но

потом собрался уходить на покой и в ожидании этого ухода, который он все откладывал, переехал в другой район, где он рассчитывал найти нечто похожее на отдых. Он мне объяснял, что хотел было ликвидировать дела, покинуть Париж и вернуться к себе в Овернь, но потом раздумал и решил остаться еще на несколько лет.

– Потому что, видите ли, – сказал он, – я подумал так: что я там буду делать? Заниматься сельским хозяйством? И с кем я буду говорить? Какой смысл будет иметь моя жизнь? И вот я решил остаться, но перейти в более спокойный район. Вероятно, я умру за стойкой, как я прожил за стойкой всю жизнь...

То, что он говорил, это была правда, но было еще другое, о чем он не упоминал. Каждый день он зарабатывал известную сумму денег, это продолжалось всю его жизнь, и если бы он перестал держать кафе, этого дохода больше не было бы. Он не извлекал из этого того, что деньги вообще могут дать, – более легкой жизни, большего комфорта, возможности делать то, что хочется. Того, что деньги представляли собой для миллионов людей, которые мечтали разбогатеть, – то есть далекое побережье тропического моря или мягкий воздух летнего вечера в Венеции, набережные Генуи или Сан-Франциско, картины, музеи, книги, наконец, – спускаясь все ниже и ниже по тому, что мой профессор как-то назвал бесконечной лестницей человеческих желаний, – автомобили, яхты, юные блондинки с синими глазами или ночные кабаре с малоазиатскими или американскими названиями, – этого в его существовании не было никогда, и он об этом никогда не думал. В его представлении деньги были разные. В руки богатых людей они попадали, чтобы быть истраченными. Попадая в руки Рожэ, они приобретали неподвижный характер и превращались в связки старой бумаги или золотой хлам монет, совершенно бесполезных. Он был бедным человеком по природе, и никакие деньги не могли его сделать богаче.

Теперь в его кафе появился новый клиент, мой профессор. Я как-то пришел туда, чтобы просмотреть вечернюю газету, и увидел его. Он сидел один, глаза у него были печальные, перед ним стояла рюмка с коньяком. Я не хотел его беспокоить и сделал вид, что я его не заметил, сел за соседний столик. Но он повернул голову в мою сторону, посмотрел на меня мутным взглядом и сказал:

– Мне кажется, что я вас уже где-то видел. Ошибаюсь я или нет?

– Нет, профессор, и это делает честь вашей памяти.

– А, теперь я вас узнал по голосу, – сказал он. – Варвар? Что вы здесь делаете?

Я сел за его столик, он пристально посмотрел на меня и спросил:

– Считаете ли вы, что наука, и прежде всего те наукообразные теории, которые мы называем философией, имеют какую-то ценность? Я имею в виду ту незначительную часть населения земного шара, у которой есть представление о науке.

– Для этого меньшинства, мне кажется... Он отрицательно покачал головой.

– Нет, вы ошибаетесь. Наука – это попытка уйти от самого главного вопроса.

– Или, наоборот, понять этот вопрос.

– Понять по-настоящему – это значит почувствовать. А как можно почувствовать научную теорию?

– «Эврика» Архимеда.

– Оставим эти детские анекдоты, – сказал он, – мы взрослые люди. То есть это вы взрослый человек, а я старик. Самое страшное – это то, что жизнь уходит и ее нельзя удержать; истина не новая, но от этого она не становится менее трагической. А вы говорите – наука – и стремитесь меня обмануть. Вы хотите мне доказать, что человеческое общество меняется и прогрессирует или идет назад, вы говорите, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым, что есть закон притяжения, координаты, теория относительности и несравненные страницы Платона. Но что все это может мне дать, если я чувствую, что мои силы покидают меня, что я задыхаюсь, поднимаясь по лестнице, что мои мускулы становятся дряблыми и мой взгляд тускнеет? Я вас предупреждаю, что вам не удастся ввести меня в заблуждение.

Он говорил так, как будто давно вел со мной спор об этом и как будто я все время пытался убедить его в том, в чем он со мной был не согласен. Но он почти не смотрел на меня и продолжал произносить свой монолог, мои редкие ответы были ему нужны только для того, чтобы не сбиться в своих размышлениях, как воображаемые перила воображаемой лестницы, на которые он опирался.

– Если вы подведете итог так называемому жизненному опыту, – сказал он, – даже вашему, я хочу сказать, сравнительно

кратковременному, то что вы увидите? То, что мы называем восприятием мира, – это результат сложного движения мускулов и нервов. И вы как варвар должны это понимать. И вот в начале вашей жизни вам кажется, что времени нет. Сколько лет было Канту, когда он писал о категорических императивах? Вы начинаете жить – и в чудовищном богатстве ощущений и впечатлений, которые перекачиваются через вас, нет двух понятий, самых тягостных, самых убийственных: понятия смерти, понятия времени. Но тот, кто вас создал, тот, кому Декарт приписывал возникновение идеи совершенства в нашем воображении, вас жестоко обманул. Потому что наступает момент, когда вы замечаете, что на вас надвигается смерть. Вы не можете знать этого ощущения, но придет время, когда и вы его испытаете. И я вас с этим не поздравляю.

Расставшись с ним, я думал, что заставляет его, почтенного и пожилого человека, автора многих книг, доктора *honoris causa* нескольких иностранных университетов, на авторитет которого ссылались его коллеги, профессора в Америке, в Англии, в Германии, – что заставляет его сидеть в кафе Рожэ, пить плохой коньяк и излагать свои мрачные соображения одному из его бывших учеников?

И вот однажды я заметил, что на столике, за которым сидел профессор, лежала книга. Я посмотрел на ее название и с удивлением подумал – неужели он ее читает? Это был роман известной писательницы, которую я случайно знал. Это была пожилая некрасивая дама, говорившая по-французски с эльзасским акцентом. Все ее книги были написаны на одну и ту же тему, их герои тоже были приблизительно одинаковыми, и все они испытывали одни и те же чувства. Менялись только фамилии и имена персонажей, профессии, цвет волос и рост, некоторые эпизоды их жизни, но все это были варианты одной и той же истории – измена, ревность, драма, самоубийство, в середине книги выяснялось, что отец героя или героини не был его или ее отцом, это вызывало неразрешимый душевный конфликт между молодыми людьми, которые, казалось, были созданы друг для друга. За этим следовала не менее трагическая ошибка женщины, которая, после нескольких лет переживаний и размышлений, вдруг понимала, что она не любит того, с кем она соединила свою жизнь, а любит того, кого она отвергла. Все это было

написано с какой-то очень напористой глупостью, особенно утомительной в тех местах, которые называли «реалистическими описаниями любви». И вот очередной роман лежал на столике профессора. Он заметил мой взгляд и спросил меня, что я думаю об этой книге. Я уклончиво ответил, что воздерживаюсь от категорического суждения, так как недостаточно знаю произведения этой писательницы, но что, по-видимому, в моем эстетическом восприятии есть какие-то крупные недостатки, которые мешают мне оценить некоторые виды литературного творчества. – Короче говоря, вы считаете ее душой? – Нет, нет, я этого не говорил.

– Я был бы, быть может, склонен думать, как вы, – сказал он, – если бы мне не удалось избавиться от некоторых литературных предрассудков. Конечно, форма, в которую облечены ее романы, далека от совершенства, и, может быть, эта писательница, действительно, не очень умна. Но ее сила в том, что она примитивна. В чувствах ее героев нет никакой сложности. – Спешу с вами согласиться, – сказал я.

Мне все время хотелось как-то вернуть профессора к тому, в чем он был действительно умен, о чем он писал книги и читал лекции, и отделить его от того, что происходило сейчас и что мне казалось почти неправдоподобным. Но потом я вспомнил его стоячее зеркало, вокруг которого, хватая друг друга за ноги, обвивались бронзовой гирляндой голые женщины, – и подумал, что этот дурной вкус, который я был склонен приписывать случайности, по-видимому, был ему свойствен вообще в той области, где его отвлеченные соображения, его логика и ум не играли никакой роли и где он был почти так же примитивен, как авторша лежавшего перед ним романа. Его аналитические способности, его суждения о том, что правильно и что неправильно, что умно и что глупо, словом, вся его умственная деятельность, все это было ограничено той самой наукой, ценность которой он отрицал, но в которой у него не могло быть ни грубых ошибок, ни дурного вкуса. Но в том, о чем была написана книга, которую он читал, этот профессор в очках и с седой бородой – в силу какой-то странной и жестокой игры природы – был похож на ту бедную даму, которая была авторшей этого романа.

Литературная критика и эссеистика

О Гоголе*

«Гоголь был человеком с большим талантом, но с узким и темным умом». Это сказал Толстой. В какой-то степени это напоминает очень короткий и беспощадный диагноз или, если угодно, приговор. Но эти слова Толстого, эта его фраза лаконична, как видите, и похожа на алгебраическую формулу, которую следует раскрыть, чтобы понять до конца трагический смысл этого определения. И всякая попытка понять, что же, в конце концов, представлял собой этот удивительный и действительно ни на кого не похожий писатель, убеждает нас в том, что мы оказываемся перед почти неразрешимой задачей.

Первое, что мне хотелось бы сразу же отметить, это необходимость отказаться от тех ложных и необъяснимо наивных представлений о Гоголе, которые обычно фигурируют в учебниках литературы, где о Гоголе говорится, что он писатель-реалист, изображавший быт и действительность в России первой половины XIX столетия, что он родоначальник натуралистической школы, что в «Мертвых душах» впервые представлена подлинная картина помещичьей жизни и так далее. В биографическом очерке Владимира Шенрока, который оказался у меня под рукой и который написан с детской беспомощностью, так и сказано, что Гоголь положил начало реальному направлению, господствующему доньше в русской литературе. Гоголь назван отцом натуральной школы и родоначальником все того же злополучного реального направления. Вообще говоря, сказать, что те или иные писатели представляют реальное направление в литературе, или романтическую школу, или одну из школ, или одно из направлений, можно с известной натяжкой только о писателях второстепенных.

Нет ничего более спорного, чем утверждение о существовании «школ» в литературе. Спорность понятия «школа» в применении к литературе становится особенно очевидной, если мы поставим вопрос – к какой школе можно отнести Шекспира или Сервантеса, Толстого или Бальзака, Достоевского или Пруста? Как можно применить к неповторимому гению Гоголя какие-то понятия о школе или

направлении? Гоголь – это, я думаю, истина неоспоримая, писал так, как не писал никто до него и как не писал никто после него. Это не помешало Белинскому сказать, что, в сущности, неповторимость Гоголя заключалась в том, что он будто бы воспроизводил действительность. Не стоит, однако, мне кажется, упрекать Белинского в этой явной аберрации: над большинством русских критиков и критиков литературы тяготеет какой-то рок. Они написали множество трудов, но достаточно взять любую – или почти любую – книгу по истории русской литературы, чтобы убедиться в том, что ее автор чаще всего – просто плохо разбирается в том, что он читает.

Легенда о Гоголе как представителе реалистического направления в литературе продолжает существовать до сегодняшнего дня, и нет оснований думать, что в дальнейшем это изменится. Вместе с тем для самого неискушенного читателя, который знает творчество Гоголя, совершенно очевидно, что автор «Портрета» или рассказа «Нос» никак не может быть причислен к реалистам. Чтобы покончить с этим недоразумением, отметим еще одну, совершенно азбучную, истину; ни один настоящий писатель никогда не воспроизводил действительности. Каждый писатель создает свой собственный мир, а не воспроизводит действительность, и вне этого подлинного творчества литература, настоящая литература, не существует. Читая Достоевского, Толстой морщился и говорил: «Не говорят так люди, не действуют так люди». Действительно, что может, казалось бы, звучать более фальшиво, чем знаменитые слова: «Не тебе кланяюсь, страданию человеческому кланяюсь». Но чудо заключается в том, что в мире, который создал Достоевский, эти слова звучат убедительно и не кажутся фальшивыми. У Гоголя тоже, в том мире, который был создан его чудовищным воображением, есть необыкновенная убедительность.

Но этот мир Гоголя – действительно страшный мир. Все творчество Гоголя – это какой-то бред, принимающий разные формы, начиная от «Пропавшей грамоты» и «Вия» и кончая «Мертвыми душами», «Ревизором», «Записками сумасшедшего», «Носом» и книгой «Выбранные места из переписки с друзьями».

«Он увидел вдруг такое множество отвратительных рыл, ног и членов, каких не в силах был бы разобрать обхваченный ужасом наблюдатель. Выше всех возвышалось странное существо в виде

правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти со слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, летали и ползали в разных направлениях; одно состояло из головы, другое из отвратительного крыла, летавшего с каким-то нестерпимым шипением».

И дальше:

«Почти насупротив его стояло высокое, которого черный скелет выдвинулся на поверхность и сквозь темные ребра его мелькало желтое тело. В стороне стояло тонкое и длинное как палка, состоявшее из одних только глаз с ресницами. Далее занимало почти всю стену огромное чудовище и стояло в перепутанных волосах, как будто в лесу. Сквозь сеть волос этих глядели два ужасных глаза. Со страхом глянул он вверх: над ним держалось в воздухе что-то вроде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками».

Это цитаты из «Вия», написанного в 1833-34 году; Гоголю было двадцать пять лет в это время. В том же сборнике «Миргород» напечатана «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Там есть описание экипажей, съехавшихся на двор городничего, который давал ассамблею:

«Каких бричек и повозок там не было! Одна – зад широкий, а перед узенький; другая – зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была

похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое».

В этой же повести бурая свинья входит в суд и съедает жалобу Ивана Никифоровича на Ивана Ивановича. Все это, конечно, совершенно неправдоподобно. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – произведение юмористическое. Но юмор это чрезвычайно тревожный. В конце концов, «Нос» тоже рассказ, в сущности, юмористический. Но то, что сам Гоголь называл «видным миру смехом и незримыми, неведомыми ему слезами», нам представляется скорее, как смех сквозь странный бред, похожий на начало безумия.

Я не говорю сейчас о чисто литературном гении Гоголя, его несравненном изобразительном даре, его словесном великолепии и том неудержимом и безошибочном ритме повествования, какого нет ни у одного из наших классиков. «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» по сравнению с «Мертвыми душами» кажутся ученическими сочинениями. Тому, как писал Гоголь, можно посвятить обстоятельное и подробное исследование, но и оно, в конечном счете, не объяснило бы нам, вероятно, самого существенного. Но стоит, быть может, остановиться на некоторых других вопросах, на некоторых противоречиях в творчестве Гоголя. Возьмем «Мертвые души». Сам Гоголь говорил о том, что у него никогда не было воображения и чтобы создать тот или иной тип, он должен был отправляться от кого-то, кого он знал. Не следует, конечно, это понимать слишком буквально. Те, кого видел и знал Гоголь, пройдя через его творческую переплавку, конечно, изменялись настолько, что от оригинала оставалась, быть может, одна черта. Но все-таки, той областью, из которой начинался бред Гоголя, было то, что он знал и видел. Откуда же взяты титанические и беспощадные карикатуры «Мертвых душ»?

Биография Гоголя в этом смысле показательна: того помещичьего быта, который описан в «Мертвых душах», Гоголь не знал. Девятнадцатилетним юношей он уехал в Петербург, где началась его литературная жизнь. Потом были – Москва, Рим, Париж, Флоренция, Неаполь, Германия, общество писателей, сановных людей, – все, что

угодно, но никак не помещицья Россия. Откуда же появилась Коробочка, откуда появились Ноздрев, Собакевич, Манилов? Сам Гоголь дает на это косвенный ответ, говоря, что взял своих героев из того быта, который знал – «только, – как он пишет, – в разжалованном виде из генерала в солдаты». Каким же видел Гоголь тот мир, который он описывал? В каждом из героев «Мертвых душ», мы говорим пока о первой части поэмы, – есть нечто, что его разъедает, как рак: плупость, подлость, ничтожество. Ни одной подлинно человеческой черты – ни у героев, ни у автора, который их описывает: трудно найти что-либо более беспощадное, чем отношение Гоголя к своим героям, трудно найти такое ледяное презрение к людям, как у Гоголя.

По замыслу Гоголя, как известно, в первой части «Мертвых душ» должны были найти отражение отрицательные черты русского общества. Вторая часть должна была прозвучать, как торжественная симфония, в которой нашли бы отражение самые героические и благородные черты русского народа и русского государства. Первый том «Мертвых душ» – одно из самых замечательных произведений в мировой литературе. Но второго тома Гоголь не мог написать. Когда он захотел изобразить людей, которых можно было бы поставить всем в пример по их благородству и высоким нравственным качествам, то он описал читателям откупщика Муразова, состояние которого исчислялось десятками миллионов, и кулака Костанжогло. На большее у Гоголя вдохновения не нашлось.

Трудно себе представить, впрочем, что это могло быть иначе. Какая-то часть мира – область положительных понятий, выражаясь очень приблизительно – была для Гоголя наглухо закрыта. Но в силу явной аберрации Гоголь считал, что его призвание состоит именно в том, чтобы представить России именно эту положительную часть мира. Все его творчество, казалось бы, доказывает, что это никак не могло быть его задачей, но вопреки очевидной невозможности ее выполнить, он всю жизнь стремился к этому. Возьмем его героев: майор Ковалев изображен со свирепой гоголевской убедительностью совершенным идиотом. Иван Федорович Шпонька – то же самое. Даже старосветские помещики, – что может быть более убогим, более, так сказать, душевно-нищим, чем их существование? Врун и дурак Хлестаков, взяточник городничий, взяточники чиновники, наконец, бедный Акакий Акакиевич, тоже описанный с

необыкновенной жестокостью, – вот то, что изображал Гоголь, вот тот мир, который он видел.

Откуда же в этом мире могла бы вдруг прозвучать та торжественная симфония, которая должна была заключаться во второй части «Мертвых душ»? Можно было бы, конечно, сказать, что в Гоголе надо различать несколько начал: его литературный гений, его личность – Гоголь, как человек, – и, наконец, его призвание быть учителем и наставником. Но такое разделение носило бы, мне кажется, искусственный характер. В Гоголе непостижимым образом уживались одновременно все эти противоречивые начала. Гоголь не мог не понимать, что он обладает литературным гением. Когда Анненков, которому Гоголь диктовал шестую главу «Мертвых душ», сказал: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь ответил: «Поверьте, что и другие не хуже ее».

Но тот же Гоголь, рассуждая о «Мертвых душах», пишет: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое – душа и прочное дело жизни». В предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголь говорит: «Мне хотелось хоть сим искупить бесполезность всего мною напечатанного, потому что в письмах моих... находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях».

Эта идея пользы, – вернее, работы на пользу родине, никогда не покидала Гоголя. Надо, однако, сказать, что его представления о том, как именно и в какой области он может принести пользу родине, совершенно не соответствовали действительности. Достаточно вспомнить о его профессорской деятельности в Петербурге, где он короткое время занимал кафедру истории. Матери своей он написал об этом письмо, извещая ее, что занять эту кафедру ему поручила императрица. Это даже не ложь: это все тот же гоголевский бред. О том, как Гоголь преподавал историю, прекрасно рассказано в воспоминаниях Тургенева. Тургенев пишет:

«Я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал историю в Санкт-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, – он не говорил, а шептал что-то несвязное, показывая нам маленькие гравюры на стали, изображавшие

виды Палестины и других восточных стран, – и все время ужасно конфузился. Мы были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли – с совершенно убитой физиономией – и не разевал рта. Спрашивал за него студентов профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими – в виде ушей – концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: „Непризнанным взошел я на кафедру – и непризнанным схожу с нее!“ Он был рожден для того, чтобы быть наставником своих современников, но только не с кафедры».

«Быть наставником своих современников». Тургенев понимал это, конечно, в другом смысле, чем сам Гоголь. Но у Гоголя это стремление быть наставником приняло ту чудовищно-фантастическую форму, которая заставила его выпустить книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголевская мания величия, носившая вначале, так сказать, литературную форму, проскальзывает, в частности, уже в первой части «Мертвых душ», в шестой главе, той самой, которую Анненков назвал гениальной вещью. Гоголь – в лирическом отступлении – пишет:

«Русь, чего же ты хочешь от меня? Что плядишь ты так, и все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»

Это чем-то все-таки напоминает – страшно сказать – Поприщина. «В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я». В самом деле, как можно было думать, что «все, что ни есть в России», устремило свои взоры на Гоголя, ожидая от него чего-то вроде Нагорной проповеди? «Все, что ни есть», – то есть немногочисленная русская интеллигенция того времени, – потому что ни о народе, не знавшем грамоты, ни о государственных чиновниках, большинство которых не слышало имени Гоголя, говорить, конечно, не приходится. Но это было написано в 1841 году. А через пять лет после этого, в декабре 1846 года, была напечатана книга «Выбранные места из переписки с

друзьями». Вот где вспоминается определение Толстого – «Гоголь был человеком с большим талантом, но с узким и темным умом». И все-таки даже это не может объяснить, как Гоголь мог написать такую книгу. Действительно непонятно, почему Гоголь мог считать, в силу какого необъяснимого недоразумения, какой чудовищной ошибки, что он может давать советы всем – помещику, губернаторше, поэтам, вообще кому угодно.

Гоголь, никогда не занимавшийся хозяйством, не имевший об этом никакого понятия, советует помещику объяснить крестьянам, что он родился помещиком и поэтому крестьяне должны ему повиноваться, что не для денег он это делает, «и в доказательство, – пишет Гоголь, – тут же сожги перед ними ассигнацию». Все это следует подкрепить чтением соответствующих мест в Писании. Плохие крестьяне должны снимать шапки, встречая хороших крестьян. «И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро». Грамоте крестьян учить не надо, надо им объяснять, что всякая власть от Бога. И пусть священник им читает Златоуста. И это пишет автор «Мертвых душ» и «Ревизора»! Или заглавие одного из писем: «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». «Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру и во все часы дня: „Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!“ и действуйте в продолжение целого года так, как я Вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это». «Разделите ваши деньги на семь равных куч. В первой куче...» и так далее. «Крепитесь, молитесь, просите Бога...»

Гоголь никогда не был женат и вообще не знал женщин. Что касается финансовых дел, то трудно представить себе в этом смысле более беспомощного человека: его биограф, Шенрок, пишет, что Гоголь, неоднократно обращаясь к правительственной помощи, в просьбах о пособии «всегда указывал с одной стороны на свое горячее желание принести своими сочинениями посильную помощь родине, с другой на то, что он не состоит на службе и не имеет никаких определенных средств к жизни». В 1838 году Николай I отдал распоряжение послать Гоголю в Рим 5000 рублей. В 1845 году, – пишет тот же Шенрок, – «дружным содействием Жуковского, Смирновой и Плетнева Гоголю было исходатайствовано у Государя на

три года пособие по тысяче рублей». И этот человек дает советы помещику, как сделать так, чтобы его мужики гребли деньги лопатой, а жене «в простом домашнем быту», как распределить деньги.

Другой совет – не надо помогать деньгами погорельцу, если ему при этом не делается поучения, как он должен жить. Совет губернаторше: объехать всех чиновников и задать каждому три вопроса. «Первый вопрос: в чем его должность? Предмет и пределы. Второй вопрос: чем именно и сколько в этой должности можно сделать добра? Третий вопрос: сколько можно сделать зла?» И главный совет: «Попросите вашего супруга прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернского правления были честные люди». Что это такое? Бред? Записки сумасшедшего? Но даже в том письме, где говорится, например, о лиризме русских поэтов, Гоголь с восторгом отмечает в этом лиризме одну черту: любовь к царю. Не к тому или другому государю, а к царю вообще. Тому самому царю, который, по словам Гоголя, «сам должен умилиться перед святостью звания своего».

В письме к Языкову по поводу «Одиссеи» в переводе Жуковского что-то совсем удивительное: «Участь „Одиссеи“ странна: в Европе ее не оценили». «Виной этого отчасти недостаток перевода, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы... красоты эллинской речи, отчасти недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера». «Теперь перевод... производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков». И дальше: «Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Нет, народ наш скорее почешет у себя в затылке...» и так далее. В этом непостижимом тексте все неверно с начала до конца. Откуда это фантастическое утверждение, что «Одиссею» будто бы не оценили в Европе? «Недостаток языка, на который ее можно было бы перевести», – а английский, французский, немецкий, испанский, итальянский? Это что – примитивные наречия примитивных народов? Жуковский, к тому же, греческого языка не знал и переводил «Одиссею» с немецкого. Наконец – «народ, который почешет у себя в затылке» – ясно, что речь идет о простых людях – и не соблазнится многобожием – какой это народ будет читать «Одиссею» в каком бы то ни было

переводе, в то время, как этот народ грамоты не знает, да к тому же, в письме к помещику, сам Гоголь пишет, что учить мужика грамоте незачем.

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, – что Вы делаете? Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездной». Это строки из знаменитого письма Белинского Гоголю, написанного в Зальцбрунне 15 июля 1847 года. Бурное негодование Белинского вполне понятно. Но теперь, больше чем через сто лет с того времени, когда было написано это письмо, мы судим о Гоголе, конечно, не с теми чувствами, какие мы могли бы разделить, если бы были современниками Белинского. Теперь это не действительность, а далекая история. И «Выбранные места из переписки с друзьями» нам кажутся показательными не потому, что в них выражены политические взгляды, которые Белинский назвал мракобесием и обскурантизмом, а оттого, что в них, в силу своеобразного возмездия, происходит что-то одновременно парадоксальное и страшное: рукой Гоголя в этой книге точно водят созданные им герои, и прежде всего Манилов, Хлестаков и Поприщин. Потому что, если Гоголь считал, что он может давать советы помещику и губернаторше, то почему, собственно, Хлестаков не мог управлять департаментом, и если Гоголь считал, что вся Россия смотрит на него и ждет от него указаний на то, как ей следует жить, то почему собственно Поприщин не мог себя считать Фердинандом Восьмым, на которого смотрит вся Испания?

Жизнь Гоголя по-настоящему начинается с того дня, когда он – ему было девятнадцать лет – покинул свою родную Малороссию и приехал в Петербург. Там началась его литературная деятельность и возникли его знакомства с теми, кого он впоследствии разжаловал, по его собственным словам, из генералов в солдаты, превратил в Коробочку, Манилова, Плюшкина, Ноздрева, Собакевича и Шпоньку. Что же собой представлял – как человек – писатель Николай Васильевич Гоголь? Белинский в сердцах сказал про него, что он всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул сатану. У меня нет, к сожалению, под рукой очень многих показаний современников Гоголя, людей, которые его хорошо знали лично. Те, которые мне удалось прочесть, в большинстве случаев неинтересны, так как написаны как-то невыразительно: там говорится о незначительных

вещах, и основывать на этих бледных высказываниях какое бы то ни было суждение нельзя. Но есть воспоминания о Гоголе Аксакова и Анненкова, и в этих воспоминаниях есть некоторые замечания, которые дают о Гоголе известное представление. Аксаков писал:

«Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому нравился бы Гоголь и кто ценил бы его вполне».

Знакомым и близким Гоголя его поведение часто казалось непонятным – как, например, его первый судорожный отъезд за границу, когда он из Петербурга уехал вдруг в Любек, откуда очень скоро вернулся. В письме к своей матери он объяснил необходимость своего отъезда тем, что будто бы встретил какую-то замечательную женщину и, в ужасе от охвативших его чувств, должен был бежать из России. Но этой женщины в действительности никогда не существовало. Это был такой же бред, как то, что императрица поручила Гоголю занять кафедру профессора истории в Петербургском университете.

Чаще всего своего поведения, причин тех или иных своих поступков, он не считал нужным объяснять вообще. В лучшем случае, он ограничивался утверждениями, которые считал лишним как бы то ни было обосновывать. «Путешествие и перемена мест мне так же необходимы, как насущный хлеб». Даже обращаясь к Николаю I с просьбой о денежной помощи, он считал, что его аргументация в данном случае неопровержима и уж во всяком случае достаточна: он стремится принести пользу родине своими сочинениями и, кроме того, не состоя на службе, не имеет постоянных источников дохода. Жил он в то время в Риме, где намерен был оставаться еще несколько лет. Если перенести это в область нормальных понятий, то недостаточность подобных доводов становится совершенно очевидной: желание принести пользу родине есть вещь похвальная, но каких бы то ни было ставок для оплаты этого желания не существует; то, что Гоголь не состоял на службе, происходило потому, что он не хотел служить – и опять-таки за то, что человек не служит, ему государство не обязано платить. И, наконец, если бы все то же самое государство считало себя обязанным платить тем, у кого нет постоянных источников дохода, то ему пришлось бы совершенно перестроить весь свой бюджет. Но надо полагать, что Гоголь был

действительно убежден в логической непогрешимости своих доводов, когда писал прошение о пособии. Анненкову Гоголь говорил вполне серьезно, что по своей природе он устроен иначе, чем другие люди: у него извращенный, как он выражался, желудок, кроме того, у него не бывает испарины. В марте 1841 года Гоголь пишет Аксакову: «Меня теперь нужно беречь и лелеять». Он сравнивает себя с вазой, в которой заключено сокровище и которую поэтому нужно беречь.

Все в Гоголе противоречиво. Он был настолько не похож на других людей, что его действительно никто не понимал до конца, ни те, кого он называл друзьями, ни даже его близкие, его семья. За границей – и только за границей, по его словам, – он мог думать о России. А когда он приезжал в Россию, его тотчас же тянуло обратно, за границу. Кажется, единственный город, в котором он мог жить, это был Рим. Он умер сорока трех лет. Литературную деятельность он начал двадцати лет, стало быть она продолжалась двадцать три года, из которых восемнадцать он провел вне России. В общем, всю свою жизнь он точно пытался уйти и уехать от самого себя. Он очень заботился о своем здоровье и очень боялся болезней. Но потом он писал, что человеку необходимы тяжкие недуги, что только тогда он начинает понимать то, чего без них не мог бы понять. Он боялся, впрочем, не только недугов. Ощущение постоянного ужаса было для него особенно характерно. По словам Смирновой, его пугала гроза. Анненков рассказывает, что Гоголь боялся лечь в кровать, и проводил ночь, дремля в кресле, а утром разбрасывал постель, чтоб горничная думала, что он в ней спал. Самые поразительные слова о Гоголе сказал Аксаков. Он пишет:

«Гоголь для меня был так мало похож на живого человека, что я, который боюсь мертвецов и не мог их видеть без ужаса, – я ничего подобного не испытал, когда увидел труп Гоголя».

Последние годы своей жизни Гоголь провел в состоянии, которое можно было бы назвать религиозным исступлением. Оно носило явно болезненный характер, и очень вероятно, что именно оно свело его в могилу. Этот человек и жил не так, как другие, и умер не так, как другие. Все в нем странно, необычно и необъяснимо; его личная жизнь, его литературное творчество, его мания величия, его постоянные утверждения, что он стремится сделать добро людям, и

его ледяное презрение к этим людям. Вспомните в «Мертвых /тушах» описание смерти прокурора:

«Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он, как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: „Ах, Боже мой!“ послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Только тогда с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он, по скромности своей, никогда ее не показывал. А между тем, появление смерти также было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников со своими густыми бровями и мигающими глазами, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем он умер, или зачем жил, – об этом один Бог ведает».

Не менее выразительно то короткое надгробное слово, которое над прокурором произносит Чичиков:

«Он вздохнул, произнеши от души: „Вот, прокурор! жил-жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, и, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови“».

А описание – сделанное, казалось бы, в самых положительных тонах – времяпровождения Ивана Федоровича Шпоньки?..

«Когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной короткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели...». «Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой

человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько: так ли вымыто, так ли сложено; снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать: а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».

Есть в этом, на первый взгляд, благодушном описании что-то беспощадно-издевательское, какое-то почти жуткое отсутствие сколько-нибудь человеческого отношения к герою. А рассуждения Чичикова над списком купленных крестьян?

«Мастер ли ты был или просто мужик и какой смертью тебя прибрало? В кабаке ли или среди дороги переехал тебя, сонного, неуклюжий обоз? – Пробка Степан, плотник, трезвости примерной... где тебя прибрало? Возместился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукой в затылке, примолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“, а сам, подвязавшись веревкой, полез на то место. Григорий доезжай не доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может быть, и сам, лежа на полатах, думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак, а потом в прорубь и поминай как звали? Эх, русский народец! Не любит умирать своею смертью!»

Это написано с таким гениальным литературным искусством, что нужно сделать усилие внимания – и только тогда замечаешь, что, стоя рядом с разбившимся насмерть Степаном Пробкой, дядя Михей говорит: «Эх, Ваня», – вместо того, чтобы сказать – «Эх, Степан!» Вот он, тот русский народ, который описывал в своих рассуждениях Павел Иванович Чичиков и в котором чудовищная фантазия Гоголя увидела читателя «Одиссеи» в переводе Жуковского. Какая жуткая жизнь была у автора «Мертвых душ»! Ни жены, ни детей, ни собственного очага,

ни дома, ни друзей, ни привязанности, ни пристанища, ни любви, ни даже России, из которой его все время тянуло в чужие земли; скитания, унижения, не понятый им самим литературный гений, презрение к тем, кого он хотел любить и кому, по его словам, он стремился принести пользу, безнадежное одиночество, бедность, и мания величия, и смертельный религиозный бред. И кроме того, конечно, страшный, нечеловеческий мир, который создало его чудовищное, распаленное воображение, похожий на видение того раскаленного ада, в котором сгорел Гоголь, оставив нам в наследство то, что было создано его неповторимым литературным гением, и неразрешимую загадку его кратковременного пребывания на земле, и его смерти, – столь же непостижимой, как его жизнь.

«Жизнь и творчество». Сколько раз приходится читать эти слова, и надо признать, что почти никогда книги с такими заглавиями себя не оправдывают. Всякая человеческая жизнь – явление бесконечно сложное, а тем более жизнь такого человека, как Чехов. Рассказать это в одной небольшой книге очень трудно. Но в применении к Чехову, вдобавок, это соединение слов – жизнь и творчество – звучит особенно неубедительно. Это приложимо, конечно, ко всякому таланту: жизнь Толстого не объясняет его творчества, жизнь Пушкина не объясняет его творчества. Жизнь Чехова – меньше всего. И когда думаешь о Чехове, это становится особенно очевидным.

Жизнь Чехова в нескольких словах: глушь южной России, город Таганрог, отец – владелец лавочки, убежденный в нескольких несложных вещах: надо бояться Бога, семью содержать в строгости, детей пороть; братья, сестра, мать, мещанская среда, убожество российской провинции, среднее учебное заведение, уроки в старших классах, затем отъезд в Москву, в университет, бедность, потом короткие юмористические рассказы в плохих журналах, вроде «Будильника» и «Осколков», потом докторский диплом, потом литературная известность и материальная обеспеченность, короткий расцвет, затем начало болезни, потом долгое и медленное умирание, женитьба на Книппер за четыре года до кончины, потом 1904 год, Германия, Баденвейлер, предпоследние слова Чехова – *Ich sterbe* – и смерть. Труп Чехова был доставлен в Москву в вагоне, предназначенном для перевоза устриц, – надо полагать, что среди пограничных властей не было читателей Чехова и им было неизвестно имя одного из самых замечательных писателей России. Одного из самых замечательных – и одного из самых необъяснимых – опять повторяю это слово. Как возникли в воображении Чехова «Степь», «Мужики», «В овраге», «Палата номер шесть», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином»? Вопрос, может быть, праздный, но одно мы

знаем твердо: биография Чехова нам ответа на этот вопрос никак дать не может. Но и в том, что Чехов писал, есть вещи, казалось бы, совершенно несоединимые в одном и том же человеке. Его письма к Книппер, эти ласкательные имена, которыми он ее называет, – лошадка, дусик, гургулька, собачка, конопляночка, роднуля, актрисуля, пупсик, таракашка, – откуда эти слова, которые режут слух и от которых нельзя не поморщиться? Не будем говорить о пьесах Чехова, о «небе в алмазах», «мы отдохнем», «многоуважаемый шкаф». На мой взгляд, его пьесы немногим лучше этих провалов, которые мы находим в его письмах, жене. Значит, иногда у Чехова как-то прорывалось то мещанство, в среде которого началась его жизнь. Но вот, непостижимым образом, оно строго ограничено. В его рассказах нет ведь ни одной погрешности в этом смысле и кажется непонятным, что один и тот же человек мог написать эти письма и такие рассказы, как «Архиерей», «Убийство», «Моя жизнь».

Чехов как человек, – что можно сказать об этом? Мы знаем внешние факты его жизни и их последовательность. Но об остальном, о том, чем он действительно жил, мы можем только строить догадки. Чехов был человеком исключительно сдержанным – черта довольно редкая в русской литературе. Надо полагать, что один из его биографов, написавший о нем книгу, Борис Константинович Зайцев, близок к истине, утверждая, что сильных чувств Чехов в своей жизни не испытал. Характерна в этом смысле фраза из письма к Чехову Лики, той самой Лики, Лидии Стахиевны Мизиновой, которую Чехов изобразил потом в «Чайке» и с которой у него было нечто похожее на роман. Лика пишет ему: «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям». Судьба Лики известна – надо ли ее напоминать? Связь с писателем Потапенко, незаконный ребенок, который потом умер, замужество – она вышла за режиссера Санина, – и потом, в 1937 году в Париже, смерть на больничной койке, почти через полвека после ее первой встречи с Чеховым. «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям».

Бунин в своей книге о Чехове пишет:

«А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства.

Так думал когда-то и я.

Теперь же я твердо скажу: „Испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой“». «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью – это пишет Бунин, – и редким тактом, были для меня открытием».

Воспоминания Авиловой? Как мог Бунин сказать, что они написаны «с блеском и редкой талантливостью»? Единственное объяснение этой удивительной оценки, это что Бунин вложил в воспоминания Авиловой то, чего в них не было. Из плохо написанных, неуклюжих фраз Авиловой воображение Бунина создало блистательную повесть о любви. Иначе – откуда взялись бы этот мнимый блеск и эта мнимая «редкая талантливость»? Вот как Авилова, например, описывает свою встречу с Чеховым – я привожу очень короткую цитату. «Мы просто взглянули близко друг другу в глаза. У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом, взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные». Звучит это донельзя фальшиво. Но это, конечно, ничего не доказывает, кроме того, что Авилова была плохой писательницей. Дальше она многократно повторяет, что она любила Чехова, и только его, и, судя по ее воспоминаниям, Чехов в свою очередь говорил ей, что он ее любил. Но и с ее стороны и с его стороны это было меньше всего похоже на всеобъемлющее и неудержимое чувство. Когда Авилова познакомилась с Чеховым, она была замужем и у нее был ребенок. После встречи с Чеховым она поняла, что любит только его. И тут же она пишет, говоря о своем муже: «Мы уже знали, что у нас будет Левушка». И дальше: «Явилось еще двое детей», характерна эта удивительная безличная форма – «явилось еще двое детей» – так, точно сама Авилова к появлению этих детей не имела никакого отношения. Она встретила с Чеховым в 1889 году. В 1892 году она пишет: «Прошло три года. Я часто вспоминала о нем. У меня было уже трое детей – Лева, Лодя и грудная Ниночка». В чем же, собственно, выразилась эта любовь Авиловой к Чехову? В неосуществленных желаниях? В том, что она ничего не изменила в своей жизни? С другой стороны – в чем проявилось то большое чувство Чехова, о котором пишет Бунин? В редких письмах Чехова к Авиловой о любви даже не упоминается. Остается одно: слова Авиловой о том, что Чехов ее любил. Мы очень хорошо знаем,

что большое, стихийное чувство не останавливается ни перед какими препятствиями. «Сильна, как смерть, любовь...». Что может быть более далекого от этого, чем отношения Чехова и Авиловой, которые не изменили ничего в их жизни? Может быть, это и была любовь, – далекая, неосуществленная, печальная в своем бессилии и своей бесплодности. Но назвать это большим чувством никак нельзя, чувством, которое не считается ни с чем – ни с условностями, ни с бытом, ни с семьей, ни с общественным мнением. Нет, вернее всего, Чехову действительно не было дано в жизни испытать это большое чувство. Но ему было зато дано многое другое.

Нет ничего труднее, чем определить в нескольких словах творчество того или иного писателя и смысл тех или иных произведений. Помнится, Толстому рассказывали, что какой-то критик на двух страницах изложил содержание *Анны Карениной* и объяснил, в чем смысл этого романа. Толстой ответил по-французски «*Il en sait plus long que me!*». Определения творчества Чехова разными людьми – некоторые из них приведены в книге Бунина – поражают всякого читателя своей необоснованностью. Бицилли, например, пишет, что Чехов находился под влиянием Гоголя, под влиянием Тургенева, под влиянием даже Гончарова, затем, что он «перекликался» – этим глаголом почему-то часто злоупотребляют литературные критики – с Прустом, Рильке и Томасом Манном. Но Бог с ним; как известно, суждения литературных критиков далеко не всегда бывают правильны. Писал же когда-то Добролюбов, что «если бы у автора был какой-нибудь артистический дар, то это произведение было бы вредным». Но так как артистического дара у него нет... «Это произведение» – это «Преступление и наказание», а автор, у которого, по мнению Добролюбова, нет артистического дара, Достоевский. Чехова – называли в свое время: «певцом сумерек». Существительное «певец», в применении к писателю, между прочим, по своей странности стоит глагола «перекликаться». Нет, Чехова певцом сумерек назвать, мне кажется, нельзя. Дело обстоит гораздо трагичнее.

Что такое творчество Достоевского или Толстого? Это прежде всего – очень упрощая, говоря схематически, – протест против того, как устроен мир, в котором мы живем; протест против чудовищной несправедливости государства и общепризнанной морали. Это еще и

ужас перед смертью, и невозможность принять наш мир, это загадка бытия, о которой писал еще Пушкин:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал?

Словом, ряд трагических, неразрешимых вопросов, поставленных с необыкновенной силой. И все-таки в этом есть какие-то проблески, какие-то иллюзии, какая-то надежда на то, что это может быть как-то, когда-то изменено к лучшему. Если бы этого не было, то не стоило бы протестовать.

Чехов – один из самых замечательных русских писателей, но это, конечно, не Толстой и не Достоевский. В нем нет ничего титанического. Но в смысле полнейшей безотрадности, полнейшего отсутствия надежд и иллюзий – с Чеховым, мне кажется, нельзя сравнить никого. Он как бы говорит: вот каков мир, в котором мы живем. Он устроен именно так, это не случайность, это не результат ошибки или несправедливости, которую можно исправить. Исправить ничего нельзя. Мир таков, потому что такова человеческая природа.

Вероятно, одна из самых беспощадных вещей Чехова – это рассказ «Мужики». Он написан с необыкновенным искусством, – простыми словами, – ни одного из них нельзя изменить, – без повышения тона, без подчеркиваний, без преувеличений. «Лакей при московской гостинице „Славянский Базар“, Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком». Николай Чикильдеев приезжает с женой и дочерью домой, в деревню: вонь, грязь, пьянство, побои, нищета. Когда его дочь, десятилетнюю Сашу, избил беззубая, костлявая, горбатая старуха, бабка, то, я цитирую: «Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

– Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

– Ну, околеваешь там на печке, ледащий! – крикнула на него Фекла со злобой. – Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!»

Дальше: «Эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно... Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее». «Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, лживых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?»

Николай умирает. Его вдова, Ольга, и дочь, Саша, уходят. Приходят в другое село. «Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

– Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

– Православные христиане, – запела Саша, – подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...»

Так кончается рассказ «Мужики». И человека, который написал этот рассказ, назвали «певцом сумерек». Хороши сумерки.

Идет пароход дальним путем из Владивостока, через Индийский океан, в Россию. На пароходе, рядом на койках, двое чахоточных – солдат Гусев и Павел Иванович, отец которого был духовного звания. Павел Иванович объясняет Гусеву: «Я – воплощенный протест. Вижу произвол – протестую, вижу ханжу и лицемера – протестую, вижу торжествующую свинью – протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать». «Все знакомые говорят мне: „Невыносимейший вы человек, Павел Иванович“. Горжусь такой репутацией. Приятель пишет из России: „Не приезжай“. А я вот возьму, да назло и приеду. Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью».

Солдату Гусеву другой солдат говорит: «Не доедешь ты до России...». И потом спрашивает, страшно ли умирать?

«Страшно, – говорит Гусев. – Мне хозяйства жалко. Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня все пропадет, и отец со старухой, гляди, по миру пойдут».

Но судьба Павла Ивановича и Гусева – и того, который протестует, и того, который не протестует, а жалеет, что хозяйство пропадет и отец с матерью пойдут по миру, как вдова и дочь лакея Чикильдеева, – судьба этих людей одинакова. И в конечном счете совершенно неважно, кто там протестует, а кто не протестует. Оба умирают на пароходе, обоих зашивают в парусину, обоим привязывают к ногам колосники и обоих бросают в море. Вот он – чеховский ответ на те вопросы, которые волнуют Павла Ивановича и Гусева.

Рассказ «В овраге». Воровство, обман, глупость, убийство грудного ребенка, подделка денег, тюрьма и одна строчка от бедного дурака, которого вовлекли в преступление и который пишет из заключения: «Я все болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа».

В рассказе «Бабы» молодая красивая крестьянка Варвара, которую выдали замуж за горбатого пьяницу Алешку, «гуляет», берет за это по полтиннику, и у нее мечта: извести свекра и мужа, отравить их и тогда действительно зажить в свое удовольствие – про одного скажут, что умер от старости, про другого, что издох, как она говорит, от пьянства. И в этом мире, который описывает Чехов, мечта Варвары могла бы сбыться и этому, быть может, было бы какое-то оправдание. И во всяком случае, это было бы естественно. Чего заслуживают те, кого можно назвать худшими – Кирьяк, старик Цыбукин, Аксинья – из «Мужиков», Яков из рассказа «Убийство»? Каторжных работ, тюрьмы, Сибири? Что остается на долю лучших? «Православные Христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой»: тюрьма и сума.

Это мужики, несчастная, нищая, крестьянская Россия конца прошлого столетия. Но мужики, это не все. Есть еще интеллигенция, чиновники, люди, принадлежащие к так называемому свету, те, кто ездит в Италию и во Францию, у кого есть положение, деньги, лакеи. Этот мир конечно, не похож на тот, который Чехов описал в

«Мужиках». Но и тут все так же безнадежно и трагично, хотя несколько по-иному. И тут – воровство, пьянство, подхалимство, глупость, разврат или трагедия людей, которые не могут найти ответа на самые важные вопросы – как профессор из «Скучной истории» или доктор из «Палаты номер шесть». И здесь Чехов никого, в сущности, не осуждает, и только изредка, как, например, в знаменитом рассказе «Человек в футляре», говорит устами своего героя: «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет». «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие». В «Палате номер шесть» больной Иван Дмитрич говорит: «Эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал». А сторож Никита избивает больных, выпускает бедного сумасшедшего еврея Моисейку в город, где тот просит милостыню, и когда Моисейка возвращается, Никита у него все отбирает.

А вот петербургский чиновник Орлов из «Рассказа неизвестного человека». В письме, которое оставляет ему революционер, служивший у него лакеем, – для этого у него были свои причины, – революционер пишет: «Отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие Божие и превратились в трусливое животное?..» «Вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью». И дальше, в том же письме: «Отчего мы утомились? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами потрет свой чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого?» А вот другой чиновник, герой рассказа «Анна на шее», резонер, скупец и подхалим; он женится на бедной девушке, которая гораздо моложе его, считает каждую копейку, делает ей выговоры и потом вдруг, на балу, она покоряет начальство мужа, Его Сиятельство. На следующий день, после бала, к ней входит ее муж.

«И перед ней так же стоял он теперь, с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла

видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: – Подите прочь, болван!»

Героиню рассказа «Княгиня» революционер из «Рассказа неизвестного человека», вероятно, тоже назвал бы трусливым животным и был бы недалек от истины. Княгиня живет в состоянии блаженного умиления перед собственной добротой, перед тем, как все ее будто бы любят, – не желая видеть того, что люди перед ней заискивают потому, что они от нее зависят.

Цитаты можно продолжать без конца. Герои Чехова – или воры, мерзавцы, подхалимы, звери, глупцы и трусливые животные – или люди порядочные, но сознающие свое бессилие что-либо изменить в этом порядке вещей. Правда, есть исключения – Лида из рассказа «Дом с мезонином», которая твердо верит в пользу того, что она делает для народа, и которая так же самоуверенна, как и неумна. Лев Шестов, кажется, сказал, что все, к чему прикасается Чехов, увядает, и в этих словах есть что-то чрезвычайно глубокое и правильное. Вот доктор Старцев, Ионыч, который начинает с романтической любви; но из любви ничего не выходит, и Ионыч быстро забывает о ней, полнеет, богатеет и превращается в человека, раз навсегда утратившего способность к сколько-нибудь «возвышенным» чувствам.

Есть у Чехова рассказы о любви – тот же «Дом с мезонином», «Дама с собачкой». Рассказы прекрасные, но всегда неизменно печальные: не так сложилась жизнь, не то вышло, что надо, и этого нельзя изменить, и это бесконечно грустно. Другими словами, там, где могло бы быть подлинное счастье, единственная, неповторимая любовь, там между людьми, которые были созданы друг для друга, возникают непреодолимые препятствия – и остается только плакать и жалеть о том, что могло бы быть и чего нет, и чего конечно никогда не будет.

Вот, в нескольких словах, то впечатление, которое должен испытывать читатель Чехова. Но чем больше проходит времени, тем отчетливее выступает перед нами Чехов. Странно сказать, что в те времена, когда он жил, говорили – Чехов и Потапенко, Чехов и Глеб Успенский, Чехов и Баранцевич. Время исправило эту ошибку. Теперь о месте Чехова в русской литературе спора быть не может, хотя в свое

время критик Скабичевский и предсказывал, что Чехов умрет в пьяном виде под забором (удивительный пример литературного суждения). Говоря о том, как писал Чехов, следует, может быть, заметить, что он был одним из очень немногих русских авторов, которого можно назвать словом *maitre*, – не знаю русского слова, которое соответствовало бы этому понятию. Его язык – необыкновенно точный, выразительный, каждое слово стоит именно там, где нужно, у Чехова безошибочный ритм повествования, непогрешимый в своем совершенстве. Надо сказать, что этим русская литература не избалована: в ней были или гении, как Гоголь, Достоевский, Толстой, или второстепенные писатели, которые чаще всего плохо представляли себе, что такое литературное искусство.

Чехов не любил «мировоззрений» и не любил ни громких слов, ни повышенного тона, ни выставления напоказ своих чувств, ни надрыва, ни преувеличений. Горький рассказывает, что когда при нем какой-то русский интеллигент жаловался – «рефлексия заела, Антон Павлович», Чехов ему ответил – «а вы водки меньше пейте». Но несмотря на то, что Чехов всегда писал простым языком о самых простых вещах, его творчество – все те же вечные трагические и неразрешимые проблемы, вне приближения к которым не существует ни подлинного искусства, ни подлинной культуры. Что такое мир, в котором мы живем? Что такое жизнь? Что такое наша судьба? Можно ли найти какое-то гармоничное построение в этом бесконечном множестве противоречивых начал? Можно ли найти оправдание тому, что мы видим и знаем? Что такое смерть? Что такое любовь? Что такое мораль? Что такое зло?

Я намеренно упрощаю все в этом перечислении. Все это конечно, бесконечно сложнее. Но это именно то, над чем человеческая мысль бьется тысячелетия. И вот Чехов, всем, что он написал, как бы говорит: «Таким я вижу мир». То, что описывает Чехов, не похоже на чудовищный бред гениального Гоголя. Это также и не Раскольников, сравнивающий себя с Наполеоном, не Иван Карамазов со слезинкой ребенка и легендой о Великом Инквизиторе, не князь Андрей на Аустерлицком поле. Все, что описывает Чехов, гораздо проще, прозаичнее, это обыкновенная жизнь обыкновенных людей. Но все это совершенно безнадежно – и в каком-то смысле похоже на письмо мальчика, который живет у сапожника и пишет «на деревню

дедушке». Пожалуй только, что в отличие от мальчика, Чехов знает, что никакое обращение ничему не поможет и никуда не пойдет.

Вернемся к повторению старой истины: для того, чтобы знать, что такое зло, надо знать, что такое добро. Конечно, если бы Чехову нужно было ответить, каким, по его мнению, должен бы быть мир, у него не возникло бы затруднений, и он, конечно, мог бы построить систему положительной морали, даже в самом обыденном смысле слова, хотя бы той положительной морали, которая определила его собственную жизнь. И если, по словам Страхова, Достоевский был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым, то Чехов не был похож ни на одного из своих героев. Есть у Чехова страницы, где он как бы вырывается на короткое время из того безотрадного мира, в котором живут его герои, и где он пишет о лучшем, как он себе его представляет. Это, например, «Степь», «Архиерей». Следует, однако, подчеркнуть, что содержание и того и другого рассказов символично: герой «Степи», которая ничем не кончается, – мальчик Егорушка, и мы не знаем, какой будет его жизнь. А архиерей умирает.

В течение последних десятилетий необыкновенное распространение получил тот вид деятельности, который в России называется литературоведением. Никогда не печаталось такого количества биографических материалов, писем, воспоминаний современников, разъяснительных статей и т. д. Никогда не выходило столько книг под заглавием: «Творчество такого-то, творчество такого-то». Иногда материалы этого рода бывают чрезвычайно интересны и ценны. Но катастрофа начинается обычно там, где начинаются попытки объяснить, почему такой-то автор написал такую-то вещь и как бытовые условия или личная биография определили облик того или иного писателя или характер его творчества. Талант и гений – явления по своей природе необъяснимые. Возьмите миллион человек, заставьте каждого из них родиться в семье Чехова или соседа Чехова, в 1860 году, в городе Таганроге, заставьте каждого из них кончить среднее учебное заведение, потом приехать в Москву и поступить на медицинский факультет, – словом, поместите каждого из них в совершенно такие же условия, в которых жил Чехов. И потом посмотрите, кто из них напишет «Мужики», «Степь», «Палата номер шесть». Как-то, во время литературного разговора, один из моих

друзей сказал: «Если бы Толстой не участвовал в обороне Севастополя, он не мог бы написать „Войну и мир“». Об этом я не берусь судить, да и вообще нет ничего более опасного в таких вещах, чем сослагательное наклонение. Но то, что я знаю – это, что никто из защитников Севастополя, кроме Толстого, не написал «Войны и мира» и никто не мог бы написать.

Чехов не мог бы так хорошо знать русский народный быт, если бы не был врачом – совершенно верно. Но какие другие врачи, которые тоже прекрасно знали этот быт, написали бы то, что написал Чехов? Нет, его биография – повторяю – его творчества, конечно, не объясняет и не может объяснить. И если надо непременно оставаться в пределах этой схемы – жизнь и творчество то, я думаю, более правдоподобным кажется утверждение, что не жизнь Чехова определила его творчество, а его творчество определило его жизнь. Как все замечательные писатели, он слишком много увидел, слишком много понял, слишком много создал. У него не было тех титанических сил, которые объясняют удивительное долголетие некоторых гениев – Тициана, Микеланджело, Гете или Толстого. Тот груз, который он поднял, – вся эта бесконечная русская печаль, вся безвыходность этой бедной жизни, вся эта безнадежность, это сознание, что ничего нельзя изменить, – этот груз был слишком тяжел для него, и он не выдержал, надорвался и ушел, не оставив в том, что он написал, ни надежд, ни обещаний лучшего будущего.

Памяти Александра Гингера*

Передо мной – недавно вышедшая книга стихов Александра Гингера «Сердце» с его фотографией, очень похожей: именно таким он был в эти последние месяцы своей жизни. То, что он решил поместить свой портрет в этой книге, и то, с какой нехарактерной для него энергией он занимался ее изданием, торопясь во что бы то ни стало ее закончить и выпустить, все это показывает, что он лучше чем кто-нибудь знал, что ему остается мало времени до перехода в иной мир, – перехода, которого он ждал со своим обычным спокойным мужеством.

Трудно найти нужные слова, чтобы сказать о жизни и смерти этого удивительного человека. Он был ни на кого не похож ни в чем, начиная с манеры говорить и кончая манерой одеваться. Его неожиданные, срывающиеся интонации и четкое разделение фраз в разговоре, фонетические подъемы и провалы в чтении стихов – так никто не говорил и не читал, кроме Гингера. И никто не одевался, как он. Зимой он носил вместо пальто какую-то удивительную накидку, сшитую по специальному заказу, похожую на шинели начала девятнадцатого века в России и, конечно, единственную в Париже. Под пиджаком плотной материи у него была клетчатая рубашка без галстука, на ногах башмаки с необыкновенно толстой подметкой, которые можно было купить только в одном магазине, в районе, где живут барышники и конюхи. И в таком виде он мог идти в гости, к друзьям или на литературный вечер. Его лицо, резко некрасивое, нельзя было не запомнить. Его стихи – в этом тоже нельзя было ошибиться – было невозможно приписать кому-нибудь другому.

На прозаизмами богатой лире
Распространиться разрешите мне
О трех страстях, известных в этом мире.
О женщинах, о картах, о вине.

То, что он писал, никогда не было похоже на стихи кого бы то ни было из других поэтов. Он прекрасно знал поэзию – русскую и

французскую, – к тому же в литературе у него был непогрешимый вкус, то, что в музыке называется абсолютным слухом. Но когда он сам начинал писать, это было так, как если бы никто до него никогда не сочинял рифмованных строк.

О нехорошем горе несуразном
Ломаем перья, голосом поем...

Люди, недостаточно знавшие Гингера, не могли его понять. То, что было для него естественным, они считали деланным: не говорят так люди, не одеваются так, не пишут, злоупотребляя архаическими словообразованиями:

Оттого-то широкорамный
Нам не люб низколобый атлет.

Но Гингер не притворялся и не искал оригинальности. Он просто не шел на компромиссы, на уступки: одеваться надо так, в стихи не следует включать некоторые слова, уместные только в прозе. И в преломлении его восприятий все менялось и приобретало особый характер. Наш общий друг Р. как-то сказал ему, – это было давно, в тридцатых годах:

– Гингер, ты помнишь сказку Андерсена о солдате и огниве? Вот взял бы и написал об этом несколько слов.

Через два дня, когда мы опять встретились, Гингер сказал Р.:

– Ты знаешь, я сочинил восемь строк. И прочел:

И как бы немо иль гугниво
Ни проходила жизнь моя,
Солдата и его огниво
Наверно не забуду я.
И помню, было три собаки
С глазами разных величин,
Передник ведьмин у рубаки,
И не боится нижний чин.

Не было человека, который бы относился и к себе самому и к своему творчеству более объективно, который был бы более чужд той мании величия, которой – в той или иной степени страдают почти все поэты и писатели. И за его внешними чудачествами, за всем тем, чем он так резко отличался от других, не всегда легко было угадать две основных его особенности: своеобразную, спокойную мудрость – я не могу найти другого слова – и столь же спокойное мужество.

Гингер бывал иногда, – это было до второй мировой войны, – у известного советского писателя, часто приезжавшего в Париж, которого он давно знал. Как-то он спросил меня, что я о нем думаю.

– Как о писателе или как о человеке?

– И о том и о другом.

– Писатель он, по-моему, плохой, – сказал я. – А как к человеку, к нему можно, по-моему, только испытывать презрение.

Трудно передать выражение глаз Гингера. В них была мягкая насмешка и за ней что-то очень далекое и неопределенное.

– Это все ваше душевное богатство? Больше у вас нет ничего по отношению к этому человеку?

– Кажется, нет, милый друг, – сказал я. – А у вас?

– Презрение к нему вещь понятная, – сказал он, – хотя, вероятно, никого не надо презирать. Но я по отношению к нему испытываю еще жалость.

– Вы знаете, почему я буддист? – спросил он меня однажды. – Меня всегда привлекало это непрекращающееся пантеистическое движение, это понимание того, что ничто не важно и что важно все, этот синтез отрицания и утверждения, который дает нам единственную возможность гармонического видения мира. Собственно, не мира, а миров, которые возникают, исчезают, появляются вновь в преображенном виде, и время – это только бессильный свидетель их бесконечного смещения. Я верю, что ничто не исчезнет бесследно. И если бы я в это не верил, если бы лучшие вещи в нашей жизни были обречены на безвозвратную гибель, было бы слишком трудно, слишком тягостно жить, вы не думаете?

Потом, перейдя на свой обычный шуточный тон, он прибавил:

– Меня удивляет, что вы об этом не думали, и что вы сами не чувствуете себя в какой-то степени буддистом. Вы же все-таки

считаете себя человеком полуинтеллигентным, и мы с вами почти одновременно были в университете.

Четыре года германской оккупации Парижа, когда Гингер рисковал своей жизнью каждый день, дорого стоили всем его друзьям. Убедить Гингера в том, что он должен уехать из Парижа и уж во всяком случае не ходить по городу целыми днями, не было никакой возможности.

– Ах, все это ужасно преувеличено, – говорил он. – Я убежден, что меня не арестуют. Вы знаете, я недавно попал в облаву. Полицейский на меня посмотрел и потом буквально сказал мне следующее:

– Один ваш вид у меня вызывает отвращение. Уходите отсюда, – и я ушел.

Его приходили арестовывать четыре раза – и каждый раз совершенно случайно его не было дома. Иногда по городу распространялись слухи, что ночью может быть очередная облава на евреев. Тогда я заходил к Гингеру и уговаривал его ночевать у меня. Это происходило вечером. Гингер говорил жене, которая была в другой комнате, Анне Присмановой – она была христианка, и ей арест не угрожал:

– Аня, это опять пришел Газданов. Он уверен, что ночью может быть облава, и предлагает мне ночевать у него. Что вы об этом думаете?

После долгих переговоров он соглашался, и мы шли ко мне.

– Откуда у вас эта суетливость, – говорил он по дороге, – и этот хронический страх? Вы должны быть храбрее, вы же кавказец по происхождению. Правда, вы не родились на вершине какого-нибудь Казбека – это смягчающее обстоятельство. Кофе у вас утром будет? Я привык по утрам пить кофе.

Дня через три, встречая меня, он говорил: – Вот я опять из-за вас провел ночь вне дома, а облавы никакой не было.

За несколько дней до взятия Парижа союзными войсками Гингер пришел ко мне и предложил идти играть на бильярде.

– Вы с ума сошли, – сказал я, – какой там бильярд? Вам надо теперь сидеть где-нибудь в подвале и ждать пока уйдут немцы.

– Ах, эта ужасная ваша трусость, – сказал он. – Чего вы боитесь?

– Неужели вам нужно объяснять? Я не еврей, я ничем не рискую. Но вы способны когда-нибудь подумать о себе?

– Я тоже не еврей, – сказал он, – вы же знаете, что я буддист. Слушайте, тоска смертная, идем играть.

В конце концов я согласился, и мы отправились в бильярдную. Кафе, где это происходило, было разделено на две части: в одной была стойка, за которой люди пили те сомнительные жидкие суррогаты, которые подавались в парижских кафе во времена оккупации, в другой стоял бильярд. Мы начали играть – и буквально через десять минут в кафе вошло несколько человек в немецкой военной форме: облава, гестапо. Они арестовали и увели около половины клиентов. Потом один из немцев заглянул в бильярдную, увидел Гингера и меня, молча посмотрел на нас и ушел.

– Видите, – сказал Гингер, – мой расчет был правильный. Что мог подумать этот человек? На это легко ответить: если эти два субъекта в такие дни террора и войны проводят время в бильярдной игре, то это значит, что они, по всей вероятности, не члены подпольной организации и уж наверное не евреи. Ну вот. А вы боялись.

Он был страстным игроком – всю свою жизнь.

– Многие не ценят Гумилева, – сказал он как-то. – А у него есть неплохие строки. Вы помните?

И в заплеванных тавернах
С поздней ночи до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Сам Гингер неоднократно писал об игре.

Вот изменяется чудесно
Несчастных сдач неправый ряд
Четыре дамы жмутся тесно
И о блаженстве говорят.

.....

А масть приходит ежечасно
И квинту вражескую бьет.
Мне внятен, Эрмий, шепот страстный,
Твоих судеб высокий ход.

– Я, вероятно, мог бы проиграть состояние, – говорил он. – Но это остается в сослагательном наклонении, потому что у меня его никогда не было.

Он был человеком атлетического сложения, любил спорт, солнце, воздух – и так бесконечно тягостно было видеть его медленное угасание в последние месяцы его жизни, смотреть на его руки, которые стали худыми и тонкими, как у ребенка, на его потухшие свинцовые глаза. То, о чем он думал и говорил больше всего в эти дни, была его книга. Он точно хотел подвести итог своей жизни. И когда все, что связывало его с этим миром – одним из миров, – постепенно стало уходить от него, то последнее, что оставалось, это была поэзия.

Средь ночи добровольно пленной,
При поощреньи щедрой тьмы
Мы пишем письма всей вселенной,
Живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем, как жених невесте,
Нам перебоев не унять.
Чужим и дальним шлем мы вести
О том, чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат.
Не вспыхнут и не возгорят,
Ответных писем не напишут
И с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопчешь,
Тонический отживший звон,
Зачем поешь, чего ты хочешь,

Куда из сердца рвешься вон?

О поэзии Гингера можно было бы, конечно, написать исследование и, вероятно, это будет когда-нибудь сделано. В общем, о ней надо сказать то же, что о нем самом – ни на кого не похоже, никто не был таким, никто не писал, как он. В ней не было соблазнительной легкости, не было пронзительных лирических нот, не было «красивости». Кто, кроме Гингера, мог бы написать, например:

Эстафетный бег являет взорам
Зрелище, которому найти
Невозможно равного: с которым,
Муза, не тебе ли по пути?

Муза, ты бродячему сюжету
Передачи факела верна,
Если ты о жизни скажешь свету.
Об огне ты говорить должна.

Или другое:

Я люблю на себя непохожих,
Пехотинца, месящего грязь,
Иль лубочного всадника тоже.
Под шрапнелью держащего связь.

Я знал Гингера без малого сорок лет – срок долгий для человеческой жизни, видел его в разных обстоятельствах, и он был одним из немногих людей, о которых можно сказать, что никакие испытания и никакие соблазны не заставят его изменить тому, о чем он никогда не говорил, но вне чего его нельзя было себе представить: мужество, верность в дружбе, душевная мягкость, которую он старался скрыть. Его суждения о людях были чаще всего неумолимо верны и ввести его в заблуждение было очень трудно, он знал цену всем, с кем его сталкивала судьба.

Но он никогда не осуждал тех, кто явно заслуживал осуждения, сознавая свое органическое, если так можно сказать, превосходство над ними – превосходство, которое он упорно отрицал.

И вот наступили страшные дни, когда он понял, что он обречен и когда это поняли мы, его друзья. Он давно уже писал об этом.

Не так ли в зрении сердечном
Есть возрасты и времена?
Все перемененно, все конечно
И жизнь по-разному смутна.

Но постоянно умозрима
Успокоительная ночь.
Случайное проходит мимо,
Условное уходит прочь.

Дела отчаянья и розни
Бесповоротно отмети:
Ревнуй о том, чтоб к смерти поздней
С бесстрашным сердцем подойти.

В потухших его глазах, в неверном и слабом пожатии его руки, в которой не оставалось силы, чувствовалась последняя усталость, та усталость, за которой неминуемо следует смерть. Он уже не вставал с кровати – и ему больше не суждено было встать. Но то, чего в нем не было, это страха смерти. Он оставался наедине с ней, зная, что борьба невозможна, но я убежден, что того последнего, невыносимого ужаса, который вызывает приближение смерти, он не испытывал. И он ждал ее прихода с тем непоколебимым душевным мужеством, с каким он прожил всю свою жизнь.

Осоргин*

В 1942-ом году, незадолго до своей смерти, русский эмигрантский писатель Михаил Андреевич Осоргин, уехавший из Парижа в 1940 году, когда к столице Франции подходили германские войска, и поселившийся в маленьком местечке одной из французских провинций так называемой свободной, то есть не оккупированной зоны, писал одному из своих знакомых:

«Я рад был узнать, что Вы так же относитесь к тому, что происходит, как я. Никакая <нрзб.> победы не может оправдать ни душевной низости, ни преступлений. И каковы бы ни были успехи Гитлера, его режим остается одним из самых отвратительных в истории человечества».

«Победителей не судят». С этим Осоргин никогда не мог бы согласиться. Он принадлежал к числу тех людей, для которых сила или военная мощь того или иного государства никогда не могут быть решающим доводом и не могут повлиять на их суждения. Если бы он жил в Советском Союзе, он кончил бы свои дни на Колыме. Если бы он жил в Гитлеровской Германии, было бы то же самое, с той разницей, что вместо Колымы, <нрзб.> бы <нрзб.> или Дахау.

В Малой Литературной Энциклопедии Осоргину уделено двадцать три строки. В заметке о нем сказано, что во время Второй мировой войны он занял патриотическую позицию и подвергался преследованиям нацистов. В одной короткой фразе две ошибки: патриотической позиции Осоргин не занимал и преследованиям нацистов не подвергался. К слову «патриотизм» он, как все настоящие патриоты, то есть люди, любящие свою родину, относился резко отрицательно. «Быть против своей страны может только человек патологически ненормальный. <Говорить?> о своей любви к родине тоже не следует, это все равно, как хвастаться тем, что человек не вор, не мерзавец или не последний трус». Вторая ошибка – преследованиям нацистов Осоргин не подвергался хотя бы потому, что находился в той части Франции, которая не была оккупирована гитлеровской армией. Пострадала его парижская библиотека, которую разграбили агенты гестапо, кажется, при непосредственном участии

одного второсортного русского журналиста, видного коллаборант<a>, который уже стал советским патриотом, – таких превращений было много после войны, – уехал в Сов<етский> Союз и живет теперь в Москве.

Памяти А. С. Альперина*

Умер Абрам Самойлович Альперин, один из самых удивительных и замечательных людей, каких я знал. Он был широко известен в русской колонии Парижа, и ни одно благотворительное общество не обходилось без его участия. Он был нетороплив и медлителен в движениях, но все успевал делать, и каким-то непонятным образом у него на все хватало времени. О его благотворительной деятельности можно было бы написать целую книгу. Но мне хотелось бы сказать о нем, как о человеке.

Я знал его много лет, и с самого начала почувствовал в нем то, что чувствовали все, кто с ним сталкивался, не исключая начальников немецкого концентрационного лагеря в Компьене, где он был выбран старостой своими товарищами по заключению: это его власть над людьми.

Это трудно было назвать иначе, но следует уточнить, что эта власть объяснялась его несравненным обаянием и его исключительными душевными качествами. Сопrotивляться ему было невозможно – и ни у кого, впрочем, не было желания ему сопротивляться. Его собственные, личные интересы в его жизни никакой роли не играли.

Много лет тому назад я, по его совету, обратился к очень известному адвокату в Париже. Я позвонил ему по телефону, он довольно резко мне ответил, что у него нет времени заниматься моим делом, и повесил трубку. Тогда я вызвал его еще раз и сказал:

– Мне предложил обратиться к вам г. Альперин.

– Ради Бога, извините меня, – сказал адвокат, – я этого не знал. Я в вашем распоряжении, когда угодно.

Однажды Абрам Самойлович вызвал меня к себе, дал мне конверт с довольно крупной суммой денег и объяснил, что эти деньги надо передать нашему общему знакомому, который очень нуждался, но никогда ни к кому не обращался за помощью.

– Он ни в коем случае не должен знать, что деньги эти ему посылаю я, – сказал он, – потому что тогда он их не возьмет.

Придумайте что хотите, но вручите ему эти деньги. Помните, что я на вас рассчитываю.

Я никогда, мне кажется, так не напрягал своего воображения, как тогда. В конце концов, я изобрел сложную историю, в которой не было ни слова правды, и сказал моему знакомому, что получил крупный аванс за книгу, которую я мог написать только потому, что пользовался его советами, и что я поступил бы нечестно, если бы оставил все деньги себе: их следовало разделить пополам. После долгих колебаний он согласился.

Выполнив поручение, я сказал Абраму Самойловичу:

– Я никогда себе не представлял, что мне придется так лгать.

– Это один из тех случаев, – ответил Альперин, – когда можно сказать, что цель оправдывает средство. Мысль эта вообще аморальная, но, как видите, не всегда.

Потом он прищурил глаз, засмеялся и сказал:

– За грехи надо расплачиваться. Я вам это поручил, потому что вы занимаетесь литературой. Если вы можете написать роман, значит, вы можете придумать в нужном случае историю, которая покажется убедительной. А вы думали, что вам всегда это сходит с рук?

Во время германской оккупации Абрам Самойлович с утра до вечера ходил по Парижу по каким-то таинственным адресам. Не заметить его было нельзя. Грузный, пожилой человек с большой седой бородой; его знали и узнавали все. Его друзья уговаривали его быть осторожнее.

Никогда не забуду его ответа:

– Если бы речь шла о моей собственной ничтожной жизни, и я бы думал только о ней, то это было бы достойно просто презрения, как всякая трусость. Но через мои руки проходит много денег, и от того, передам ли я их тем, кому они нужны, или не передам, зависит существование десятков людей. Они питают ко мне доверие. И вот, если бы я это доверие обманул, то это была бы уже не только трусость, а такая низость, на которую – вы меня извините – я пойти не могу.

Потом он добавил:

– Конечно, на меня могут донести. Но вы знаете, я прожил долгую жизнь, и как это ни кажется странно, настоящих врагов у меня никогда не было и, я думаю, и теперь нет.

Это было верно. В доносчиках в те времена недостатка не было, и многие из них знали Абрама Самойловича. Но ни у кого на него не поднялась рука.

Много позже мы узнали, что деятельность Абрама Самойловича заключалась не только в раздаче денег, но что он был одним из главарей еврейского Roseau de Resistance^[73] в Париже. Но никогда он сам об этом не говорил.

Было в этом человеке то, чего я не видел ни у кого другого: спокойная и неотразимая библейская мудрость и неисчерпаемое душевное богатство.

И о нем можно без колебания сказать, что, действительно, после его смерти мир стал беднее. В этом, у тех, кто его знал, не может быть сомнений. И не может быть сомнений в том, что никто из нас, его друзей и неоплатных его должников, его никогда не забудет, как не забывают праведников.

М. М. Тер-Погосьян*

Есть люди, смерть которых кажется совершенно естественной, и когда их хоронят, приходится чаще всего слышать слова о том, что «все там будем», – слова, которые столько раз повторялись, что давно потеряли свою убедительность. Но есть люди, мысль о смерти которых кажется непонятной, и никакие логические доводы этого изменить не могут.

Одним из таких был Михаил Матвеевич Тер-Погосьян. Я не знал более неутомимого человека. В нем был такой запас жизненной силы, такая жажда деятельности, что главным его врагом было безличное и неумолимое время, то, что в сутках только двадцать четыре часа. Про него можно сказать, что он прожил бурную жизнь. Но жил он больше всего для других и меньше всего для себя.

Он родился в 1890 году и умер в декабре 1967 года, семидесяти семи лет от роду. Но слова «возраст» к нему как-то не подходило, он жил вне этого понятия. Он был армянин, родом из Эривани, закончил юридический факультет Петербургского университета в 1912 г., но стать профессиональным адвокатом ему не было суждено. В 1914 г. он был в действующей армии, на фронте, затем, в 1917 г. в Петербурге, при Временном правительстве, потом на Кавказе, где принимал участие в гражданской войне против большевиков, – и наконец в эмиграции, в Париже, где прожил большую часть своей жизни. В течение долгого времени и до своей смерти он был председателем общества «Быстрая помощь», и именно благодаря его хлопотам был расширен и улучшен старческий дом в Ганьи, возле Парижа, где нашли себе убежище многие пожилые русские интеллигенты, у которых не было средств к существованию.

Но это, так сказать, официальная сторона его жизни, как и то, что он принадлежал к той категории людей, которых называют общественными деятелями. Это, конечно, было его призванием и давало выход части его неисчерпаемой душевной энергии. Но определение «общественный деятель» было бы для него все-таки слишком узким.

Он был русским интеллигентом в самом лучшем значении этого слова. И он был в каком-то смысле одним из самых счастливых людей, каких я знал, потому что был органически чужд пессимизму, сомнениям, колебаниям. Как-то, после разговора с Алдановым, которого он очень любил как человека и писателя, он мне сказал:

– Вы знаете, я не понимаю, как у Марка Александровича хватает сил жить. Вы подумайте – он ни во что не верит.

Сам Михаил Матвеевич верил во многое. Он верил, что люди лучше по природе, чем кажутся, что стремление к свободе непобедимо, что рано или поздно гуманизм и демократия восторжествуют повсюду. Человеческая низость во всех ее видах – угодничество, подхалимство, жадность к деньгам, оппортунизм, нечестность – все это было настолько чуждо ему, что ему были нужны необыкновенные усилия воображения, чтобы себе это представить.

После того как союзные войска освободили Париж в 1944 году, французские власти занялись вопросом о тех русских эмигрантах, которые во время оккупации сотрудничали с немцами. Они обратились к Маклакову с просьбой помочь им выяснить, насколько того или иного эмигранта следовало считать виновным в очень неблагоприятном, мягко говоря, поведении. Маклаков ответил, что у него на это нет времени, и посоветовал обратиться к его близкому другу, Тер-Погосьяну. И Михаил Матвеевич стал, таким образом, чем-то вроде арбитра в этих вопросах. И вот, в числе тех, кто рисковал попасть в тюрьму и под суд за сотрудничество с оккупационными властями, был один третьестепенный литератор, которого до войны нигде не печатали – его книги выходили, кажется, только в Китае на русском языке. Когда в Париже открылась газета «Парижский Вестник», которую субсидировали немцы, там стали появляться статьи этого человека под такими заглавиями, как «Налет англо-американских бандитов на завод Рено» и другие в том же роде. В «Парижском Вестнике» он сотрудничал до конца оккупации. Когда союзные войска заняли Париж, он заперся у себя в квартире и боялся выходить. И вот, Михаила Матвеевича спросили, как, по его мнению, следует поступить с этим человеком:

– Арестовать? Судить?

– Оставьте его в покое, – сказал Тер-Погосьян. – Он не отвечает за свои поступки. Никакое наказание, которому вы его могли бы

подвергнуть, не сравнится по своей жестокости с тем, как поступила с ним судьба – более беспощадно, чем любое человеческое правосудие: она сделала его неудачником.

И благодаря заступничеству М<ихаила> М<атвеевича> этого человека не тронули, и он, вероятно, до конца своих дней не знал, кому был обязан тем, что его не посадили в тюрьму.

Во время войны и оккупации М<ихаил> М<атвеевич> был больше занят, чем когда бы то ни было. Чаще всего в эти времена у него и у его жены, Анны Александровны, не было своего угла, хотя у них была квартира в четыре комнаты возле Porte de St. Cloud. Вся эта квартира была занята людьми, которые скрывались от немцев, чаще всего евреями.

Люди, мало знавшие М. М., считали его общественным и политическим деятелем и были склонны думать, что его интересы ограничивались только этой областью. Но нет ничего более ошибочного, чем это мнение. Я присутствовал на нескольких его лекциях, которых я был единственным слушателем. Это случалось тогда, когда я приходил к нему вечером и мы сидели вдвоем и разговаривали. Помню, как он полтора часа говорил об итальянской живописи, которой был знатоком. В другой раз М.М. со своим всегдашним увлечением говорил о Тейяре де Шардене. В третий раз речь шла о декабристах – и этот исторический период он знал так же хорошо, как двадцатые годы нашего столетия. В том, что его интересовало, у него была непогрешимая память – он помнил наизусть стихи Вячеслава Иванова, Белого, Блока, Мандельштама. Я думал о его неутомимой общественной деятельности и недоумевал: когда же у него было время для всего остального? Когда он успел все это узнать, прочесть, запомнить?

Он был болен уже давно – болезнь вызывала у него тоже чрезвычайно своеобразную реакцию. Он никогда не жаловался и не жалел себя, как это часто у больных. Болезнь его раздражала – не потому, что он испытывал страдания, а оттого, что она мешала ему жить так, как он хотел: утром ехать в министерство по делам, потом обедать с друзьями, потом отправляться за город и вечером идти на собрание, где он должен был выступать.

– Вы подумайте, что из-за какой-то глупейшей аорты я должен сидеть дома. Что может быть более унижительного?

Он принадлежал к числу людей, которые никогда не говорят о своих личных чувствах и переживаниях. Но после того, как его жена скоропостижно умерла, его друзья боялись, что он покончит с собой, – и на него было жалко и страшно смотреть. Казалось, что жизнь потеряла для него всякий смысл. Это состояние продолжалось много месяцев, и только потом он постепенно стал приходить в себя. Но таким, каким он был прежде, он уже не стал больше никогда. Всегда было впечатление, что он видит рядом с собой тень, которая заслоняет от него солнце.

Но и это не изменило его отношения к людям. Он бывал часто очень резок и непримирим в своих суждениях. Но когда те, о ком он отзывался так, обращались к нему за помощью, он им не отказывал, и когда ему как-то сказали об этом, он ответил:

– Я не могу дать этому человеку то, чего он не заслуживает, элементарного уважения к нему. Но помочь ему легче, чем подать ему руку. Вы никогда не замечали, как подлецы, которые знают, что они подлецы, и знают, что другие их презирают, – как они могут быть несчастны?

У него было развито чувство юмора. В кругу друзей, рассказывая однажды о своем детстве в Эривани, он сказал, что там в те времена был учитель музыки, необычайно одаренный музыкант. И когда его спрашивали, какое музыкальное достижение он может себе поставить в заслугу, он говорил:

– Я? Да вы знаете, чего я добился? Я даже Тер-Погосьяна научил играть на скрипке гамму.

– Меня иногда одолевает маниловщина, – сказал мне как-то М. М. – Когда это со мной случается, я представляю себе идиллическое государство, где правительство состояло бы исключительно из порядочных и умных людей, где все депутаты парламента культурны и честны и где не нужен уголовный кодекс потому, что нет уголовных преступников. Как это было бы замечательно!

Потом он сделал паузу и прибавил:

– Но жить в таком государстве... я думаю, тоска была бы смертная. Как вы знаете, нет ничего скучнее, чем сплошная добродетель.

У него был глубокий интерес к истории и удивительная сила воображения. Когда он вспоминал, например, об убийстве Павла

Первого, он говорил об этом с таким неподдельным волнением, точно сам был участником этого заговора. Он до конца не мог примириться с тем, что Римская Империя должна была погибнуть под натиском варваров. Иногда, в середине разговора об эмигрантских делах, он вдруг останавливался в раздумье и умолкал.

– Вы что, Михаил Матвеевич?

– Я не понимаю одной вещи. Я просто отказываюсь ее понимать. Не понимаю, хоть убейте.

– Чего именно?

– Я не понимаю, как Наполеон отказался бросить в бой старую гвардию во время Бородинского сражения.

Его интересовало все – Шекспир и аграрная реформа в России, Тинторетто и какой-нибудь роман Симонова, Моцарт и Чайковский, пьесы Кальдерона и очередная постановка «Грозы» Островского. Он очень хорошо знал сравнительную ценность этих вещей, но это все его интересовало.

Меня не было в Париже, когда он умер, и известие о его смерти, – хотя я давно знал, что он тяжело болен, – показалось мне неправдоподобным, не хотелось верить. Он был воплощением необыкновенной жизненной силы, и связать смерть с представлением о нем было трудно. Но встреч с ним больше не будет. Останется только воспоминание о нем и неизгладимая, постоянная благодарность этому человеку за его самоотверженную жизнь и за то, что нельзя назвать иначе, как несравненной душевной силой.

Масонские доклады*

Тема о роли писателя в современном обществе, конечно, настолько широка, и понятия, которыми она может быть определена или может определяться, настолько растяжимы, что в коротком докладе, конечно, нельзя сказать все, что нужно было бы сказать. Поэтому надо ограничиться определенными рамками – и я заранее прошу прощения за эту вынужденную суженность доклада. Надо сказать, что я подумал об этой проблеме, – если это можно назвать проблемой, – прочтя в 83-м номере Нового Журнала стенографический отчет о заседании Союза писателей в Москве, на котором обсуждался вопрос о Пастернаке. Чтение, надо сказать, чрезвычайно назидательное. Привожу несколько цитат. «Творчество Пастернака лежало вне настоящих традиций русской поэзии, которая всегда горячо откликалась на события в жизни народа». О героях романа сказано, что вся их «система поведения не имеет ничего общего с нашим советским образом мышления». Дальше – «величественная история нашего государства». Пастернак – «враг своего народа и литературы». «Политическое и моральное падение Пастернака». Бунину дали Нобелевскую премию как «врагу советского народа». Ее же дали «фашиствующему французскому писателю Камю, который во Франции очень мало известен». Не существует возможности аполитичной литературы. Все это говорит писатель Смирнов, председательствующий на собрании.

«Пастернак ярчайший пример космополита» – писатель Ошанин. Зелинский – «на какую грань может завести это сочувствие эстетическим ценностям, если это сочувствие идет за счет зачеркивания марксистского подхода». Перцов: «Пастернак держит себя так, как будто он свободен от общества». Софронов: «Мы же, товарищи, советские писатели, стоящие на позициях нашей коммунистической партии». Борис Слуцкий – «все, что мы делаем, прямо направлено на торжество идей коммунизма во всем мире». Галина Николаева – «высокое звание советского гражданина». И наконец, Вера Инбер протестует против того, что Пастернак назван в

резюмирует эстетом и декадентом, т<ак> к<ак> это определения литературные и это «не включает в себе будущего предателя».

Цитаты можно было бы продолжать без конца. Трудно не указать сразу же, что они свидетельствуют не только о верноподданнических чувствах их авторов, но чаще всего просто противоречат истине и доказывают невежество, в литературной среде довольно редкое, – в такой степени. Кроме того, эти цитаты идут нередко в разрез с самым элементарным здравым смыслом. «Поведение героев не имеет ничего общего с нашим советским образом мышления». Это верно, скажем, но с советским образом мышления не имеет ничего общего ни мировая литература, ни русская литература, – т. е. настоящая, а не производственные или колхозные романы. Дальше шаблон – «величественная история нашего народа» – в чем величие? В Сталине? В концлагерях? В Дзержинском? В пакте Гитлера-Сталина? В поздравительных телеграммах советского правительства Гитлеру по случаю победы над Францией? В обязательности доносов и предательств? «Враг народа и литературы». «Враг своего народа» это понятие клиническое – таких людей можно найти среди тех, кто содержится в сумасшедших домах – среди тех, кто находится в здравом рассудке, врагов своего народа не бывает. «Фашиствующий французский писатель Камю, который во Франции очень мало известен». Что можно сказать – что человека, который это произнес, надо отправить в начальную школу, где есть словарь слов иностранного происхождения? «Ущерб для марксистского подхода» – какое отношение литература может иметь к марксистскому подходу?

Когда-то, когда за границей появилась книга Герцена, где он рассказывал о Чаадаеве, одном из самых замечательных авторов своего времени, но который был жестоко придавлен режимом Николая 1-го – Чаадаев явился к шефу жандармов, Дуббельту, и стал ему говорить, что он совершенно не ответственен за то, что пишет о нем «господин Герцен», и что он просит это принять во внимание, Дуббельт его успокоил, сказав, что, конечно, Чаадаев за чужие слова не отвечает. И потом он добавил – разговор между ними происходил по-французски: «Ce que vous venez de faire, est une bassesse gratuite». «Ненужная подлость». Трудно не вспомнить об этих словах, читая отчет о заседании Союза писателей в Москве. Но дело даже не в этом, а в том чудовищно искаженном представлении о роли писателя,

которое характерно для тоталитарных стран и согласно которому писатель должен в сущности иллюстрировать в литературе – если это можно назвать литературой – скажем, постановление Центрального комитета или передовые статьи «Правды». Конечно, когда так действует Эренбург или Алексей Толстой, то мы знаем, что они думают не то, что они пишут. Но множество советских писателей совершенно искренно убеждены в том, что именно таков долг литератора по отношению к партии, правительству и советскому народу. Почтительное, чтобы не сказать раболепное отношение к власти в России всегда существовало, но в пушкинские времена, когда известный своим подхалимством Булгарин перешел из польского подданства в русское, то о нем было написано, что он

«Избавил Польшу от позора
И русских братством запятнал».

В советские времена Булгарин даже не выдвинулся бы – чем он отличался бы от других? От той же Марьеты Шагинян? Суркова? Шолохова? и т. д.

Но нет, конечно, ничего легче, чем высказывать отрицательное суждение обо всех подобных вещах. Попробуем подойти к этому вопросу – роль писателя в современном обществе – по-иному. «Для меня политика и литература несовместимы», – пишет в своей последней книге известный итальянский романист Игнацио Силоне. «Политика это стремление к власти, литература это стремление к истине». Следует еще отметить, что в общей иерархии ценностей, если таковую можно установить, конечно, искусство стоит на высшей ступени, а политика на низшей. Политика всегда примитивна, речи государственных деятелей, – не всех, конечно, и не всегда, – я не имею в виду выдающихся людей, построены так, что по своему содержанию они на уровне среднего лавочника. Это то, о чем как-то сказал Клемансо, – который, по его словам, понял, что если он позволит себе в своих выступлениях превысить этот уровень среднего бакалейщика, (Тун ёрлаег тоуен, то его политическая карьера будет кончена.

Наш покойный брат Алданов, как вы знаете, написал книгу, которая называется «Ульмская ночь». Название многозначительное и

смысл которого сразу понятен; в истории культуры Ульмская ночь только одна. Это та зимняя ночь 1619-го года, когда Декарт вдруг понял свое призвание, в ульмской харчевне, сидя перед печью, которая топилась и тогда в его уме возникли те соображения, которые позже легли в основу его знаменитых «Discours de la methode». И Декарт только мельком упоминает о том, что тогда была война, которая еще не была кончена, как он пишет. Это был первый год Тридцатилетней войны, вернее второй, и об этом он упоминает, как я уже сказал, в двух словах. Это чрезвычайно характерно – потому что, в представлении Декарта – что такое Тридцатилетняя война по сравнению со значением Discours de la methode? Такие же соображения могут быть отнесены к искусству и к литературе. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Да, но граждане это все, а поэты немногие. Это не значит, что они лучше их, нет, но они другие и к ним приложимы другие критерии и к ним предъявляются другие требования. И вот мне в голову приходит такое нелепое сравнение: если взять военную иерархию со всей последовательностью чинов, то конечно, в ней Пушкин имел бы право быть генералом, а средний министр или политический деятель – нижним чином. Представление, конечно, условное и настаивать на нем трудно, но какое-то основание для него есть. Во всяком случае, одно несомненно: государственная или политическая власть для литературы не может иметь никакого авторитета. Можно вспомнить знаменитый ответ Ломоносова Екатерине, угрожавшей его отставить от Академии. – «Не меня от Академии, матушка, а Академию от меня». Правда, в те же времена Державин писал в оде о Екатерине о тех местах, где она пребывает:

Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает...
Но это уже другое дело.

Есть ли у писателя определенные обязательства по отношению к обществу? Только в той мере, в которой они у него есть по отношению к самому себе. Надо, конечно, сразу же оговориться, – речь идет о настоящих писателях, а не о коммерсантах, ремесленниках или так

называемых серых тружениках литературы. А этих обязательств много, и первое из них – предельная честность. Второе обязательство – беспристрастность, некоторое отдаление от того, что описывается, только при этом условии литературное описание имеет ценность и может быть убедительным. В советской литературе, между прочим, этого нет, там автор находится в той же плоскости, что его герои, и получается нечто вроде очерков с литературной претензией. В чем задача писателя, автора книги, которая имеет известную литературную ценность? Как-то Ремизов мне сказал – хорошая книга, это такая, которая заставляет человека задуматься – определение, по моему, чрезвычайно верное. Задача писателя – показать читателю созданный им мир, дать ему, читателю, возможность сравнить этот мир со своими собственными представлениями, сделать из этого соответствующие выводы и понять и почувствовать что-то, чего, не прочтя этой книги, он бы, может быть, не понял и не почувствовал. Вот в чем задача писателя. Но для того, чтобы создать свой собственный мир, для этого творческого усилия, необходима полная свобода. Характерно, что писатели, твердо убежденные в незыблемости той или иной доктрины, – политической или религиозной, – и произведения которых построены так, что они призваны еще раз подчеркнуть и доказать непогрешимость данной системы взглядов и понятий – что эти писатели, даже в том случае, если у них есть подлинный литературный дар, обычно не достигают своей цели. Примеров можно привести много – во французской литературе Мориак, автор романов с навязчивой католической моралью, в английской писатель гораздо более одаренный, чем Мориак, Грэхэм Грин. Гоголь хотел написать нечто вроде литературной симфонии, которая была бы торжеством положительных героев, «Мертвые души», но именно их вторая часть не могла быть написана, несмотря на его несравненный литературный гений. Но нет ничего более убогого литературно, чем попытка, скажем, написать роман, в котором доказывалась бы необходимость той или иной аграрной реформы или введения новых методов производства в металлургической промышленности согласно указаниям товарища Сталина, товарища Хрущева или товарища Сидорова. Все эти вещи очевидные. Долг писателя по отношению к обществу? Только один: не лгать. И быть свободным от всех сколько-

нибудь обязательных понятий, от всякой иерархии ценностей. Горький рассказывает в своей небольшой книге о Толстом, что Толстой как-то ехал верхом по берегу моря в Крыму и на узкой дороге, перед домом, в котором они жили, стояло трое великих князей. Толстой прямо на них направил лошадь, и они расступились и дали ему дорогу. Он молча проехал некоторое расстояние и потом сказал Горькому: – Узнали, дураки.

Великие князья, вероятно, не были дураками, и вряд ли Толстой это думал. Но слово «дурак» по-русски значит многое, не только глупец. Ясно, однако, что Толстой себя ставил выше великих князей в какой-то неписаной табели о рангах, – и был, конечно, прав.

Общество и писатель, это противопоставление искусственное и вымышленное. Никто не пишет для себя, никто сам себе не рассказывает о том мире, который он открыл и создал. Всякое литературное произведение оправдывает себя тогда, когда оно становится достоянием других, когда к этим другим переходит часть того душевного богатства, которое теоретически должно быть у писателя. Но отличие писателя от других людей в том, что ему удалось освободиться от сложной системы тех обязательных понятий, которые ему стараются внушить, понятий о непогрешимости той или иной иерархии, той или иной религии, того или иного государственного строя. Для писателя все люди имеют одинаковое право на уважение или презрение, на положительную или отрицательную оценку, – крестьяне и министры, пастухи и депутаты парламента, государственные деятели и ремесленники. И вот, только в том случае, если писатель строит свое творчество именно так, мы можем сказать, что он выполняет свою роль и обязательства – и по отношению к своей собственной совести и по отношению к обществу.

II

Десять лет тому назад, в возрасте семидесяти одного года умер Марк Александрович Алданов, один из наиболее известных эмигрантских писателей, автор многих романов, политических портретов и одной из последних по времени его книг «Ульмская ночь» – книга, посвященная изложению философии случая. Можно сказать, не рискуя ошибиться, что известности своей Марк Александрович Алданов был обязан главным образом серии исторических романов, «Девятое Термидора», «Чертов Мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров».

Все помнят, наверное, слова Ключевского, которые много раз цитировались: «Русские авторы исторических романов обыкновенно плохо знают историю. Исключение составляет граф Салиас: он ее совсем не знает», я помню, давным-давно, читал статью Амфитеатрова, которая называлась так: «Римский император и русский литератор» – и Амфитеатров перечислял в ней исторические ошибки Мережковского, довольно грубые. Не знаю, почему, может быть, в силу какой-то роковой случайности, призвание того или иного литератора к историческим романам характерно для людей, которые действительно плохо знают историю – и слова Ключевского звучат в этих случаях не как шутка, а как печальная истина. За примерами далеко ходить не надо: в пятидесятых годах вышел исторический роман Ульянова «Атосса», свидетельствующий об удивительной невежественности автора, и надо ли напоминать романы Антонина Ладинского, где, например, римский сенатор, глядя на обнаженную вакханку, думал, по наивному представлению автора, о том, как в ее теле мерно вращается кровь – римляне, как известно, считали, что кровь неподвижна и кровообращение было открыто английским ученым Harvey в семнадцатом веке. Ничего подобного у Алданова нельзя было найти: в его исторических романах ошибок не было и не могло быть. Это объяснялось и его исключительными познаниями – он был человеком универсально образованным, в отличие от других исторических романистов, прекрасно знал иностранные языки, был совершенно лишен какой бы то ни было наивности и был одарен еще

редким качеством – историю он действительно понимал. Кроме того, не было человека более добросовестного, чем Алданов, более прилежного в изучении исторических источников, проводившего больше времени, чем он, в Национальной библиотеке в Париже.

Можно сказать без преувеличения, что Алданов был одним из самых читаемых авторов в эмиграции и у читателей пользовался неизменным успехом. Что касается критиков и писателей, это было не совсем так, не всегда так, и Марк Александрович, чрезвычайно чувствительный к отзывам о его творчестве, болезненно переживал всякое критическое замечание. Здесь, быть может, следует сказать несколько слов об этом литературном жанре, историческом романе. Эта форма литературного творчества, которая, в сущности, лишает автора творческой свободы. В идеальном аспекте, так сказать, писатель – это человек, который создает мир, и в этом мире он единственный хозяин. Его персонажи действуют так, как они должны действовать в соответствии с его замыслом, их судьбы, их жизнь, их поступки зависят от воли того, кто их создает. Все подчинено автору – время года, пейзажи, страна, люди, душевные движения героев, их наружность, то, что они говорят, и то, что они думают. В историческом романе автор этой свободы лишен. В сущности, там все заранее известно и автор движется в мире, ограниченном фактами, которых нельзя изменить, так же, как нельзя заставить героев действовать иначе, чем они действовали. Поэтому исторический роман – если, конечно, это не фантастическое и недостоверное повествование наивного и невежественного человека, то есть то, что мы видим чаще всего, – если это роман, который точно соответствует историческим событиям, это, в сущности, нечто среднее между историческим исследованием и литературным комментарием. Это в какой-то мере неполноценное творчество. Нельзя отрицать, что некоторые авторы в этой области достигли блистательных результатов, достаточно привести такие имена, как Роберт Грейвс или – в несколько другом роде, – Литтон Стрейчи. Но в русской литературе ничего, что можно было бы с этим сравнить, я не знаю. И вот, можно сказать, что Алданов был первым русским автором исторических романов европейского масштаба.

Любимым автором Алданова был Толстой. Надо сказать, что у Алданова с Толстым не было ничего общего. Помните, что о Толстом

сказал Charles du Bos – если бы жизнь могла писать, она писала бы, как Толстой. Та неисчерпаемая жизненная и творческая сила, которая была у Толстого, это было то, что вызывало преклонение Алданова перед автором «Войны и мира». Но у Алданова ничего похожего на это не было. У Толстого во всем была жизнь. У Алданова – была история. Грубо говоря, Толстой создавал трагедию – «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича» – Алданов, который не мог этого сделать, брал то, что было уже создано – смерть Павла 1-го, кончина Екатерины Второй, Наполеон на острове Святой Елены. Алданов не был творцом, он был комментатором. Но искусство этого литературного комментария было у него таким, что оно невольно вызывало уважение. У Алданова не было того словесного дара, который был, например, у Бунина, но этот недостаток он возмещал упорной работой над тем материалом, которым он располагал. То, что когда-нибудь историки литературы назовут ошибкой Алданова, это то, что он писал не только исторические романы, но то, что можно назвать беллетристикой, – романы из эмигрантской современной ему жизни. Беллетристом он не был и, я думаю, он это понимал, поэтому одно из его последних произведений, «Истоки», это опять возвращение к историческому роману. Это – и политические портреты, – это и было его областью.

Мы здесь не можем ставить своей целью литературное исследование о творчестве Алданова и то, что я сказал, это только попытка набросать в нескольких словах его литературный портрет. Но есть другое, более важное, и что гораздо труднее определить, это человеческий облик Алданова, несравненно более сложный, чем его литературная приблизительная характеристика. Алданов, конечно, был исключительно умен. Это странным образом не мешало ему не понимать иногда некоторых вещей – в частности того, что роман должен быть произведением органическим, а не мозаикой разных частей, связанных между собой чисто механически. Я помню, как он удивил меня этим в Ницце, во время одного из наших разговоров, сказав, что если один роман не вышел, то не надо ничего выбрасывать, потому что потом написанное можно вставить в другой роман. Этим объясняется то, что в один из его романов, например, вставлена театральная пьеса, или в повествование вдруг попадает неизвестно почему прекрасно написанный исторический очерк о смерти

Валленштейна. Может быть, это опять-таки следует объяснить тем, что он не был, строго говоря, беллетристом. Но во всяком случае, это непонимание у Алданова кажется странным. Я должен к тому же заметить, что в последние годы жизни Алданов, как мне казалось, страдал каким-то трудноопределимым душевно-психологическим недугом, и это отражалось на том, что он писал. Одно из самых несомненных доказательств этого, как мне кажется, это одна из его последних книг, не роман и не повествование, а нечто вроде философского трактата «Ульмская ночь». Я помню, что когда я увидел это название, у меня сразу же возник вопрос – как, почему Алданову пришла в голову мысль взять это заглавие? «Fetais alors en Allemagne ou l'occasion des guerres qui n'y sont pas encore finies m'avait appele...» Это начало II-й части *Discours de la methode*, Ульм, зима 1619-1620-го и les guerres qui n'y sont pas encore finies это Тридцатилетняя война, которая кончилась только в 1648-м году. И вот, в эту Ульмскую ночь в голове Декарта возникло то, из чего потом вышла *Discours de la methode*, и, конечно, заглавие книги Алданова не могло быть основано ни на чем другом. Это очень печальная книга, – печальная не только по своему содержанию, а еще и потому, что она, как мне кажется, свидетельствует о том, что Алданов больше не мог и не должен был писать. То, что его философия случая кажется неубедительной, это еще не самое важное. Но то странное смешение имен и понятий, которое есть в этой книге, где наряду с цитатами из Канта приводятся отрывки из речей русских политических деятелей времен 17-го года, это действительно кажется тревожным. Для нас всех, кто хорошо знал и любил Марка Александровича, стало ясно, что Алданов как писатель кончен и что его душевному и физическому здоровью угрожает опасность, против которой бороться нельзя. Он прожил еще несколько лет после этого, усердно по-прежнему работая каждый день, в Ницце, на av. Georges Clemenceau. Но это уже были явно последние годы его жизни.

Помню еще один разговор с Алдановым, тотчас же после войны, в 45-м, если мне не изменяет память, году. Когда он вернулся во Францию из С<оединенных> Ш<татов>. Мы встретились, мой приятель, Владимир Варшавский, Алданов и я в одном кафе на place du Palais Royal. Варшавский спросил Алданова, – М. А. как вы смотрите на будущее? – Володя, вы неисправимы, – сказал я, – нельзя

быть более наивным. Разве вы не знаете, что М. А. всегда смотрит на будущее самым мрачным образом?

– Представьте себе, что это в данном случае не так, – сказал Алданов. – Я смотрю на будущее скорее оптимистически. Не потому, что я себе его представляю в розовом свете, а оттого, что у меня, знаете, камни в почках, и я убежден, что особенных мерзостей, которые могут произойти, я уже не увижу.

Вот это Алданов называл словом «оптимистически».

Вскоре после смерти Марка Александровича, – я был тогда в Мюнхене, – я приехал в Париж на короткое время и делал о нем доклад у нас. Я не помню, что я говорил тогда, не помню даже, было ли это написано или это просто была речь. Но одно я помню, – и мне хочется повторить, потому что мне это кажется важным. Есть то, что можно назвать загадкой Алданова. Он не верил ни в какие положительные вещи, – ни в прогресс, ни в возможность морального улучшения человека, ни в демократию, ни в так называемый суд истории, ни в торжество добра, ни в христианство, ни в какую религию, ни в существование чего-либо священного, ни в пользу общественной деятельности, ни в литературу, ни в смысл человеческой жизни – ни во что. И он прожил всю жизнь в этом безотрадном мире без иллюзий. Как у него на это хватало сил? И вместе с тем, не было человека, существование которого было бы более честным и мужественным выполнением долга порядочнейшего человека, которому нельзя поставить в вину ни одного отрицательного поступка. Он был добр и внимателен ко всему, он был джентльменом в полном смысле слова и никто не заслужил уважения тех, кто его знал, в такой мере, как он. Как и почему все это было возможно? Я неоднократно ставил себе этот вопрос и никогда не мог найти на него ответа – и я думаю, что этот ответ М. А. Алданов унес с собой в могилу.

Комментарии

В третий том собрания сочинений вошли романы и рассказы, созданные после войны, за исключением «Призрака Александра Вольфа», начатого в годы войны. Все они опубликованы в эмигрантских журналах в послевоенное время. Отдельными изданиями при жизни автора на русском языке не выходили. В том включены также послевоенная литературная критика и эссеистика, а также масонские доклады писателя 1960-х гг.

Комментарии к прозе писателя подготовлены: Л. Сыроватко, Ст. Никоненко, Л. Диенешем, Т. Красавченко, к разделу «Литературная критика и эссеистика» – Т. Красавченко, Ст. Никоненко, к «Масонским докладам» – А. Серковым.

Призрак Александра Вольфа*

Впервые – Новый журнал. 1947. № 16–17; 1948. № 18 (фрагмент романа под названием «Матч» опубликован в 1945 г. в журнале «Встреча», № 1).

Впервые в России – *Газданов Г.* Призрак Александра Вольфа: Романы / Сост., вступ. ст., подгот. текста Ст. Никоненко. М.: Худож. лит., 1990.

Архив Газданова. Тетради 11,12.

Газданов начал писать роман в годы Второй мировой войны, закончил первую редакцию в мае 1944 г., но не был удовлетворен сделанным и в октябре 1946 г. завершил вторую редакцию. В «Архиве Газданова» сохранились рукописи с тремя концовками романа: в одном варианте Вольф кончает жизнь самоубийством, в другом – Вольф ранит Елену Николаевну, а герой убивает Вольфа, в третьем варианте ничего не происходит (все остаются живы). В начале 1947 г. писатель отдал окончательный вариант романа в «Новый журнал», избрав единственный возможный, «правильный» в этой ситуации конец (см. подробнее: *Орлова ОМ.* Гайто Газданов: История создания образа. [Публикация трех концовок романа «Призрак Александра Вольфа» – из «Архива. Газданова» в Хотонской библиотеке Гарвардского университета // РЖ Социальные и гуманитарные науки.

Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. ИНИОН РАН. М., 1999. № 3. С. 165–193.

«Призрак Александра Вольфа» – первое произведение Газданова, заинтересовавшее иностранных издателей. В 1950 г. роман выходит в английском переводе в Нью-Йорке и Лондоне; в 1951 г. – во французском переводе в Париже, в 1952 г. – в итальянском переводе в Милане, а в 1955 г. – в испанском переводе в Барселоне.

Критика доброжелательно оценила роман Газданова. В рецензии на английский перевод Рене Фьюлон-Миллер одну из причин успеха книги видит в том, что она представляет собой «странную, но искусную смесь романа, психологического исследования и репортажа» (*The New York Times Book Review*. 1950. March 19). Анни Бриер, рецензируя французский перевод романа, отмечала мастерство Газданова в создании определенной атмосферы, глубокую психологичность и точность деталей. По ее мнению, Газданов первым же своим романом, вышедшим на французском, заявил о себе как о писателе уровня Альбера Камю, Жюльена Грина, Марио Сольдати (*Nouvelles Uttenures*. 1952.17janv.).

Рецензии на роман появились и в русской зарубежной прессе. Высоко оценил роман Григорий Аронсон в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (13 октября 1947 г.). Глеб Струве в книге «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956), так отозвался о вышедших в послевоенное время романах Газданова «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды»: «...композиция их стала крепче, состав их разнообразнее, персонажи зажили более обособленной от рассказчика жизнью. В романах Газданова много разнородных элементов: элементы психологического романа соседствуют с элементами романа полицейского, авантюрный роман сплетается со светским...» (с. 293).

«Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple». – Цитата из новеллы Эдгара По «Сказка извилистых гор» (1844).

...мне хотелось бы его сравнить с одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство... подчеркивалось тем... что именно на этой лошади я ехал карьером навстречу моей собственной смерти... – Здесь возникает мотив смерти как абсолютного начала, ее воплощение – один из четырех всадников Апокалипсиса: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник,

которому имя „смерть“; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными» (Откр. 6, 8). На то, что именно этот всадник из четырех имеется в виду, указывает, помимо прямой оценки Вольфа, и сохранение последовательности Откровения («конь вороной» – «конь бледный»).

...by Alexander Wolf. – Wolf (англ.) – волк; фамилия служит нагнетанию атмосферы мистического ужаса, ирреальности, окутывающей героя. Волкодлак, оборотень, человек-хищник в европейских и славянских легендах после смерти становится «живым мертвецом», упырем.

Не надо ничего... – Романс из репертуара Вари Паниной (1872–1911).

...одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами... – Шарль Бодлер Пьер (1821–1867) – французский поэт, автор книги стихов «Цветы зла» (1857), поэтического сборника «Обломки» (1866), цикла стихотворений в прозе «Парижский сплин» (1869), переводчик Э. По. Лирический герой Бодлера близок повествователю своей «раздвоенностью» – противоречием чувствительной души, «обнаженного сердца» и трезвого, беспощадного ума, превращающего душу в объект аналитической вивисекции. Основной творческий принцип Бодлера – «теория соответствий», аффективно-ассоциативная связь: каждое явление психофизического мира (вещи, звуки, цвета, эмоциональные переживания) вызывает ассоциации, порой относящиеся к иной области восприятия, пробуждает воспоминания, создает фантастические образы; т. е. бытие – цель взаимоперетекающих чувственных впечатлений, связь между которыми рационально непостижима. Этот принцип близок газдановскому «лирическому фону», «беззвучной симфонии мира».

...по прозвищу Боссюэ... – Боссюэ Жак Бенинь (1627/1704) – епископ, автор исторических и политико-философских сочинений, церковных проповедей. Его «Надгробные речи» (опубл. 1669) признаны образцом ораторской прозы того времени.

...нужно ли всякий раз дожидаться двенадцатого праздника... – В православном календаре (Лето Господне) двенадцатыми праздниками называются двенадцать великих праздников в честь

Иисуса Христа (Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Крещение, Сретение, Преображение, Вход в Иерусалим, или Вербное воскресенье, Вознесение, Пятидесятница, или Сошествие Святого Духа на апостолов) и Божьей Матери (Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение).

За много лет, из сотен боксеров, в памяти историков спорта останется вообще лишь несколько имен; последние из них – Карпантье, Дэмпей... – Карпантье Жорж (1894–1975) – французский боксер; в 1911 г. – чемпион Европы в полусреднем, затем в среднем весе; в 1920 г. – чемпион мира в полутяжелом весе, потерял это звание в 1922 г.; провел 116 боев, одержал 93 победы.

Дэмпей (Демпси, наст. имя Уильям Гаррисон, Джек Дэмпси; 1895–1983) – американский боксер; с 1919 г. и в течение семи абсолютный чемпион мира. Провел 79 боев, из них 47 выиграл нокаутом. Впоследствии – владелец ресторана в Нью-Йорке.

– *Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей... Путь змеи на скале... Путь орла в небе... И путь женского сердца к сердцу мужскому.* – Неточная цитата из Притчей Соломона (30, 18–19): «... четырех (вещей. – *Коммент.*) я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Из библейских текстов у Газданова, пожалуй, наиболее часты ссылки на «Соломонов» цикл (Песнь Песней, Екклесиаст, Притчи).

...ты ведешь себя, совершенно как апаши. – *Апаши* – так во Франции так называют хулиганов, бандитов.

«*Золотой осел*» – роман римского писателя Луция Апулея (ок. 135 – ок. 180) о быте и нравах римской провинции II в. н. э. – ироничный, сатирический, эротичный.

...у тебя нечто вроде душевного пневмоторакса. – *Пневмоторакс* – скопление воздуха в плевральной полости (обычно от нарушения ее целостности). Воздух сдавливает легкие и сердце и не дает сделать глубокий вдох.

Два года тому назад в Лондоне... – См. коммент. к с. 83.

...играл на рояле вещи Скрябина. – В творчестве Газданова упоминание исполняемого музыкального произведения обычно служит характеристике персонажа. Музыка, по выражению А. Ф. Лосева, «оргийного экстатика» Александра Николаевича Скрябина (1871–1915) – ее титанизм, демонизм, развитие в ней некоторых

положений философии Ницше (в частности, идеи сверхчеловека), – созвучна образу Вольфа.

Играл оркестр венгерских цыган... – Обстановка знакомства Елены Николаевны с Вольфом в Лондоне, сомнамбулическое состояние героини во время их связи созвучны мотивам «готического» романа второй половины XIX в. («Дракула» Брэма Стокера).

...вы найдете это в «Шагреновой коже» Бальзака. – См. коммент. к роману «Ночные дороги» в т. 2, с. 705–706. Приведенное Вольфом высказывание из «Шагреновой кожи» Газданов не раз цитирует в других произведениях и использует как эпитафия к одному из рассказов.

...я за несколько часов написал большую статью... о некоторых особенностях Мопассана. – Этот текст явно автобиографичен: в 1929 г. в пражском журнале «Воля России» (№ 5/6) Газданов опубликовал статью «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане».

Шекспир не мог быть счастлив. Микеланджело не мог быть счастлив.

– А Франциск Ассизский?

Создатели титанических образов и трагических коллизий Шекспир и Микеланджело противопоставлены Франциску Ассизскому, святому, духовному поэту (см. о нем также коммент. к рассказу «Дракон». Т. 1, с. 849). Проповедь аскетизма и неукоснительное следование суровому обету соединялись в св. Франциске с детской кротостью, созерцательно-умиленным и любовным отношением ко всему живому, младенчески-наивным восхищением красотой тварного мира, в котором он видел дары Духа Святого. Предание рисует Франциска обнимающим прокаженного и отдающим ему свою одежду, проповедующим Слово Божие птицам, обращающимся к животным «брат Волк, сестричка Овца».

...Христос был неизменно печален, и вне этой печали христианство немыслимо вообще. – В Новом Завете нет прямых указаний на печаль Христа; судя по евангельским текстам, достаточно скупым в портретных и психологических характеристиках, Ему присуще состояние созерцательной сосредоточенности и гармонии духа, нарушаемое только в преддверье Страстей («душа моя скорбит смертельно»), и – крайне редко – гнева (изгнание торгующих из храма, кара бесплодной смоковницы). Слезы Христа мы видим

дважды: над мертвым Лазарем и в Гефсимании (Моление о чаше). По православной традиции, отрицающей громкое веселье и угнетенное состояние духа как крайности, в которых проявляется несмирение – следствие «смятения», неполноты бытия, власти страстей, – печаль чужда совершенству. «Уныние» и в православии, и в католицизме входит в число семи смертных грехов («Уныние – мать греха»).

...Дульцинея была несравненна. – Имеется в виду, что иллюзорный образ часто ярче любой действительности (неряшливая служанка в трактире в глазах Дон Кихота – символ красоты).

Я любил ее больше, чем кого бы то ни было, и, конечно, больше, чем себя, и вот, раз в жизни, в силу этого жадного чувства я приблизился бы к евангельскому идеалу – если бы Евангелие говорило о такой любви. – Под евангельским идеалом подразумевается Заповедь Любви: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди... люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19,17–19); «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,12–13; 34).

...безличную притягательность убийства... с которой началась история мира – в тот день, когда Каин убил своего брата. – Согласно Священному Писанию и Священному Преданию, именно Каин и его потомки, «каиниты», стали «отцами цивилизации» – изобретателями орудий, ремесел, оружия, музыкальных инструментов и т. п. Тем самым был продолжен «путь знания и греха», начавшийся вкушением запретного плода.

«Ибо не ведаете ни дня, ни часа...» – В Евангелии от Матфея (25,13), а также Марка (13,33) эти слова завершают притчу о мудрых и неразумных девах и содержат призыв поддерживать «огонь светильников», чтобы, «когда грядет Жених», не оказаться «во тьме внешней» и быть допущенными на «брачный пир» (т. е. не оказаться душевно не готовыми ко Второму Пришествию Мессии и Страшному Суду и быть достойными Царства Божия). Использование евангельской цитаты в контексте романа придает ей противоположный смысл: не радостное, хотя и ответственное, ожидание справедливого суда и Вечной Жизни, а ожидание неизбежной казни неминуемой смерти, тем более жестокое, что неизвестно, когда приговор будет приведен в исполнение.

...он иногда читал книги, и в частности романы Декобра, которые ему очень нравились. – Морис Декобра (псевд. Мориса Тесье; 1885–1975) – французский беллетрист, модный в 1920-е гг., наиболее известный его роман – «Мадонна спальных вагонов» (1925).

Возвращение Будды*

Впервые – Новый журнал. 1949. № 22; 1950. № 23.

Впервые в России – Газданов Г. Призрак Александра Вольфа: Романы / Сост., вступ. ст., подгот. текста Ст. Никоненко. М.: Худож. литература, 1990.

Архив Газданова. Рукопись романа существует в двух редакциях: первая датирована июлем 1948 г., вторая – апрелем 1949 г. – она и была напечатана в «Новом журнале».

Григорий Аронсон (Новое русское слово. Нью-Йорк. 1959. 12 февр.) высоко оценивает роман и называет Газданова одним из наиболее крупных (вместе с Набоковым) современных русских писателей. Помимо влияния Достоевского и Пруста, рецензент усматривает также влияние Кафки – в эпизоде, где рассказчик в своих кошмарных галлюцинациях попадает в некое тоталитарное Центральное Государство.

В. Сечкарев, отметив аналогию между сценой удушения и подобным эпизодом в романе В. Набокова «Transparent Things» (1972), делает вывод о влиянии Газданова на Набокова (см. об этом.: L. Dienes. Russian Literature in Exile: The Life and Work of Gaito Gazdanov (München. 1982. P. 138).

...читал заметки о путешествии Карамзина. – Путешествие двадцатитрехлетнего Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), впоследствии автора многотомной «Истории Государства Российского», продолжалось с 17 мая 1789 г. по сентябрь 1790 г.; маршрут его проходил через Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию. «Заметки» («Письма русского путешественника») печатались в издаваемом Карамзиным «Московском журнале» в 1791–1792 гг.; первое полное издание вышло в 1801 г. Неудивительно, что этот «исповедальный дневник русского человека, попавшего в огромный, неизвестный им мир духовной и общественной жизни европейских стран» (Макогоненко Г. Николай Карамзин и его «Письма русского путешественника» // Карамзин М.

Н. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1988. С. 16), привлек внимание Газданова.

...чувствуется только что исчезнувший солнечный луч... такое освещение я видел на некоторых картинах, и в частности на одном полотне Корреджио... – Корреджо (собств.: Антонио Аллегри; ок. 1489–1534) – пармский живописец эпохи Высокого Возрождения, глубоко лиричный, «христианин, создавший свое небо язычника и живописца» (П. Муратов. Образы Италии). Мастер тонких световых эффектов в диапазоне от «Дня» (так современники прозвали его «Мадонну Сан-Джироламо», «расплавленный металл дневного света») до «Ночи» («Поклонение пастухов» из Дрезденской галереи – возможно, именно эту картину имеет в виду повествователь романа Газданова).

...теории Дюркгейма об «общественном принуждения»... – Эмиль Дюркгейм (1858–1917) – французский социолог, философ-позитивист; преподавал в Сорбонне. Считал общество и личность различными духовными сущностями: личность организуется индивидуальной психикой, общество основано на коллективных представлениях (мораль, право, религия), которые оно принудительно навязывает каждому своему члену.

...Я думал еще о Великом Инквизиторе, и о трагической судьбе его автора, и о том, что личная, даже иллюзорная свобода может оказаться, в сущности, отрицательной ценностью, смысл и значение которой нередко остаются неизвестными, потому что в ней заключены, с предельно неустойчивым равновесием, начала противоположных движений. – Основной упрек Великого Инквизитора Христу – то, что Он «стоял за свободу, когда был на земле». Свобода, по мнению Великого Инквизитора, противоположна счастью: «Свобода их веры была Тебе дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад... Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой... Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою... Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ перед собою, – но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора?» («Братья Карамазовы», кн. 5, «Pro и contra», гл. V, «Великий

Инквизитор»). Для Газданова проблема свободы – метафизическая: свобода («бездна» Паскаля, Бодлера, Э. По) противостоит «основанию» («путь Декарта», материальная и духовная реальность мира); человек ищет «воплощения», «остановки» – но пока он не уверен в их истинности, он обречен на «путешествие» без конца. Попытка успокоиться на «основании», в истинности которого они не уверены, для героев Газданова неприемлема.

...О трагической судьбе его автора... – Возможно, речь идет о самом Достоевском, в судьбе и исканиях которого проблема свободы, истины и веры сыграла определяющую роль («через какое горнило сомнений моя осанна прошла»), а может быть, об авторе «поэмы» в романе – Иване Карамазове, оплачивающем свой выбор безумием.

...в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории. – Фамилия «представителя Центрального Государства» (по своим устоям весьма смахивающего на реализацию проекта Шигалёва) созвучна фамилии одного из «наших», «маленького фанатика» Эркеля («Бесы» Достоевского). Смысловое родство этих двух персонажей очевидно: «Эркель был такой „дурачок“, у которого только плавного толку не было в голове... но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости... Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры – о, конечно, не иначе как ради „общего“ или „великого“ дела... чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц... и безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при... убиении».

В романе картины Центрального Государства непосредственно соседствуют с размышлениями повествователя о бремени свободы, также связанными с Достоевским. Таким образом, композиционно подтверждено отсутствие альтернативы «пути Христа»: «путь Великого Инквизитора» – Центральное Государство и «маленькие фанатики» Эркели.

...я плохой философ и уж наверное не стоик. Я хочу сказать, что для философа внешние условия жизни – вспомните пример Эзона – не должны были бы играть никакой роли в развитии человеческой мысли. – Имеется в виду этическое учение стоиков, согласно которому

идеал человека – истинный философ, достигший бесстрастия (апатии) и невозмутимости (атараксии), принимающий все не зависящее от его воли и выбора (и потому не являющееся ни добром, ни злом). Человек не может изменить обстоятельства своей жизни, но в его власти – отношение к этим обстоятельствам, он может позволить им вывести себя из умеренно-радостного состояния духа или «возвыситься» над ними.

Эзон – полулегендарный греческий баснописец VI в. до н. э., народный мудрец, для стоиков – образец атараксии и апатии: безобразный и хромой, раб по рождению, безвинно осужденный, он искал опору не во внешнем мире, а в себе. Его басни переводились и обрабатывались европейскими баснописцами от Федра и Лафонтена до И. А. Крылова.

...передо мной возник «Страшный Суд» Микеланджело, и одновременно с этим я почему-то вспомнил его последнее письмо, в котором он говорит, что не может больше писать... эта рука, которая не могла писать, высекла из мрамора Давида и Моисея... – «Страшный Суд» – фреска на алтарной стене Сикстинской капеллы (1535–1541): Микеланджело изображает не сцену суда, в которой уже произошло разделение на праведных и грешных, как это принято в канонической композиции, а предшествующий ему момент: «... восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24,30,31). Происходящее в трактовке Микеланджело – грандиозная космическая катастрофа, вызывающая ужас у всех, кто в нее вовлечен: грешников не отличить от святых, ангелов от людей, все втянуто в общий поток движения, которому придан вращательный характер; центром огромного водоворота, увлекающего гроздь могучих тел, становится подъятая в грозном жесте десница Христа. Современники видели в круговом вращении фигур, в некоторых образах параллель с «Адом» Данте, «любимейшего поэта Микельаньоло». По оценке Вазари, Микеланджело удалось «способом, никому, кроме него, недоступным, изобразить подлинный Страшный Суд, подлинное проклятие и воскрешение» (Жизнеописание Микельаньоло Буонаротти, флорентийца, живописца, скульптора и архитектора). Однако «еретическая фреска» вызывала не только восторг, но и порицание.

О тяжелейшем кризисе, в котором пребывал художник во время шестилетнего труда, свидетельствуют как его письма и сонеты той поры, так и «автопортрет» на фреске в виде кожи, живьем содранной со св. Варфоломея, у ног карающего Христа.

Давид (1501–1504) и *Моисей* (1513–1516) – наиболее известные работы Микеланджело-скульптора. Обе статуи представляют будущих победителей в наиболее острый момент борения: Давид сосредоточен перед битвой с Голиафом, перед тем, как замахнуться пращей; Моисей сдерживает гнев, побуждающий его бросить оземь скрижали Завета.

...отчетливо видел печатную страницу, дату «Рим, 28 декабря 1563 года» и адрес: «Лионардо ди Буонарроти Симони. Флоренция». «Я получил в последнее время много писем от тебя и не ответил. Если я так поступил, то это оттого, что моя рука мне больше не повинуется». Через два месяца после этого, в феврале 1564 года, он умер. – Микеланджело не мог писать, но продолжал работать до конца своих дней. За шесть дней до смерти, 12 февраля 1564 г., он еще работал над «Пьета Ронданини», так и оставшейся неоконченной. (См.: Микеланджело: Жизнь. Творчество. М.: Искусство, 1964. С. 258; пер. А. Г. Габричевского).

Я...вдруг вспомнил «Неоконченную симфонию»... возврат... вдохновения, остановленного много лет тому назад тем же слепым и беспощадным законом, в силу которого рука Микеланджело стала неподвижной. – Речь идет о «Неоконченной симфонии» (1822) Франца Шуберта (1797–1828); однако после нее композитор написал несколько песенных циклов, симфонию C-dur и др.; ее незавершенность объясняется не смертью, а другими причинами. Возможно, для Газданова она ассоциировалась с «Прощальной симфонией» Франца Йозефа Гайдна (1732–1809), символизирующей смерть, прерывающую творческий акт. Во время исполнения симфонии музыканты по одному покидают оркестр, гася свет на пюпитре; зал постепенно погружается в темноту и безмолвие, и симфония действительно оказывается «неоконченной».

...разыскал... русского стрелка... – Здесь и в других текстах у Газданова слово «стрелок» употребляется в значении: тот, кто берет в долг без отдачи (т. е. имеется в виду попрошайка).

В этой фантастической множественности отражений было что-то апокалипсически-кощунственное, и я подумал об Откровении святого Иоанна. – В Откровении Иоанна Богослова «фантастическая множественность отражений» достигается как магией чисел, «умножением» символических фигур («четыре старца», «семь светильников», «четыре животных» и др.), так и буквальным описанием «отражающих плоскостей» (водных источников, «очей», граней кристалла).

...я писал длинную статью о Тридцатилетней войне... – Тридцатилетняя война – 1618–1648, между габсбургским блоком и антигабсбургской коалицией, в результате которой политическая гегемония перешла к Франции.

– я думал о Вестфальском мире... – Вестфальский мир – завершил Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг. В 1648 г. было подписано два мирных договора о разделе территорий между Швецией, Францией и Германией.

*...Ришелье... французский кардинал... – Яркие воспоминания о кардинале Ришелье (1585–1642), первом министре Франции (с 1624 г.), оставил Франсуа де Ларошфуко: «Кардинал Ришелье самовластно правил Францией в годы царствования монарха, который передал в его руки всю страну, хотя не решался вверить свою особу (Ришелье не был духовником короля. – *Коммент.*). В свою очередь кардинал тоже не испытывал доверия к королю и избегал посещать его, опасаясь за свою жизнь и свободу... Наконец кардинал умирает в своей постели; он указывает в завещании, кого назначить на важнейшие государственные посты, и король, чье недоверие и ненависть к Ришелье достигли в ту пору высшего накала, так же слепо повинуется воле мертвого, как повиновался живому» (Размышления о событиях этого века); «У Ришелье был широкий и проницательный ум, нрав – крутой и трудный; он был щедр, смел в своих замыслах, но вечно дрожал за себя. Он задумал укрепить власть короля и свою собственную, сокрушив гугенотов и знатнейшие фамилии королевства, чтобы затем напасть на Австрийский царствующий дом и сломить могущество этой столь грозной для Франции державы. Все, кто не покорялись его желаниям, навлекали на себя его ненависть, а чтобы возвысить своих ставленников и сгубить врагов, любые средства были для него хороши» (Мемуары).*

...Pere Joseph, страшный своим личным бескорыстием, по крайней мере, внешним. Но чем больше я думал об этом старом, босом капуцине, тем больше мне казалось несомненным, что только безмерное и скрытое честолюбие предопределило и его политику, и его жизнь. – Отец Жозеф (Франсуа Леклерк дю Трамбле; 1577–1638), «секретнейшее доверенное лицо», «тайный помощник» кардинала Ришелье, сыграл важную роль в его выдвижении на пост первого министра. В начале 1625 г. он участвовал в подготовке проекта реформы королевства, включавшей дела вероисповедания, управления, судопроизводства. В дальнейшем Ришелье старался придерживаться выработанной в 1625 г. линии. По мнению современников, он стал бы преемником Ришелье, но умер раньше него.

Капуцины – монашеский католический орден, ветвь движения францисканцев, основанный в 1525 г. с целью «очищения» церкви и возвращения ей духовного авторитета в борьбе с Реформацией. Отличались крайним аскетизмом и набожностью, доходящей до фанатизма, непримиримостью к еретикам. У истоков ордена во Франции, где он сыграл роль инквизиции, стоял отец Жозеф.

...утверждение одного из историков этого периода, который писал, что самые опасные люди в политике – это те, кто презирает непосредственные выгоды своего положения, кто не стремится ни к личному обогащению, ни к удовлетворению классических страстей и чья индивидуальность находит свое выражение в защите той или иной идеи, той или иной исторической концепции. – Возможно, имеются в виду «Максимы» Ларошфуко, в них тема мнимых добродетелей и кажимостей – одна из главных (эпиграф ко всему циклу – «Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки»). Наиболее близка тексту Газданова максима 246: «То, что мы принимаем за благородство, нередко оказывается переряженным честолюбием, которое, презирая мелкие выгоды, прямо идет к крупным» (пер. Э. Линецкой).

Участь Густава-Адольфа... – Густав II Адольф Ваза (1594–1632), шведский король и выдающийся полководец времен Тридцатилетней войны, был убит в сражении при Лютцене, в котором его войска одержали победу над герцогом Валленштейном. Вскоре после гибели Густава-Адольфа его армия была разбита.

...в изложении разных историков образы этих людей были искажены и стилизованы не меньше, чем они были изменены вдохновением Шиллера. – О событиях Тридцатилетней войны И. Ф. Шиллер (1759–1805) написал трилогию «Валленштейн» (1798–1799); ее герой изображен честолюбцем, ради своих замыслов жертвующим интересами страны.

В судьбе Тилли... – Иоганн Церклас *Тилли* (1559–1633) – германский полководец, фельдмаршал, с 1610 г. – главнокомандующий войсками Католической лиги, с 1630 г. – имперской армией, разбил войска чехов (Белая Гора, 1620), взял Магдебург (1631). В сентябре 1631 г. потерпел поражение в битве с армией Густава-Адольфа при Брейтенфельде (под Лейпцигом), а через полгода был смертельно ранен в сражении при реке Лех.

Вспомните слова панихиды: «в лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой...» – «И почил на лоне Авраамовом, и приложился к народу своему» – каноническая формула Ветхого Завета, обозначающая мирную смерть в Законе Моисеевом, согласно зафиксированным в нем заповедям. В новозаветной традиции праотцы Авраам, его сын Исаак и сын Исаака от Рахили Иаков (Израиль, «Богоборец», – прозвище, данное ему, когда он боролся с Богом) – не просто родоначальники «избранного народа», но и всех истинно верующих на земле: так, Авраам назван «отцом верующих», Израиль – метафора «всей Церкви Божией», Исаак – «рожденный по духу» в противоположность «рожденному по плоти» Измаилу. Таким образом, слова панихиды приобретают смысл не просто конца бытия, сопричтения всем опочившим прежде, но братства верных в ожидании Страшного Суда и воскресения мертвых в Вечную Жизнь.

...христианство – это религия бедных людей, и недаром в Евангелии есть слова по этому поводу, которые вы, наверное, помните. – Дальнейший контекст убеждает в том, что из множественных соответствий этому утверждению имеется в виду притча о Христе и богатом юноше (Мф. 19, 16–24; Мк. 10, 18–25; Лк. 18, 18–25). «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: единого тебе недостает: пойдя, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, ибо у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит

ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!.. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мк. 10,18–25).

Мне пришлось однажды читать поучительнейшую энциклику папы, забыл которого, где доказывалось, что взгляды церкви на богатство и бедность надо уметь правильно толковать. В частности, об отдаче бедным не только всего имущества, но даже десятой его части не может быть и речи: это недоразумение... этот папа, жарясь много столетий на гигантской сковороде, успел понять свое губительное заблуждение... – В борьбе с движением францисканцев, ожидающих победы христианского учения, понимавшегося ими как торжество бедности над алчностью, многие папы прибегали к решительным мерам. Бонифаций VIII (понтификат в 1294–1303 гг.) приказал святейшей инквизиции истреблять всех, кто провозглашает превосходство людей, обрекающих себя добровольно на бедность, над остальным духовенством. Эту политику продолжали «авиньонские папы» – Климент V и особенно Иоанн XXII (понтификат в 1316–1334 гг.), издавший несколько документов, осуждающих идею христианской бедности: важнее нее – подчинение церковной иерархии. Защищая тезис о божественном происхождении права собственности, папа признал ересью утверждение об отсутствии собственности у Христа и апостолов.

...историческая галерея ужасов – участь Богемии, Варфоломеевская ночь, солдаты Наполеона в Испании, – помните серию рисунков Гойи? – Богемия – с эпохи Тацита название территории Чехии (по именованию населявшего ее в древности кельтского племени бойев). Вынужденная постоянно отстаивать свою независимость, изнуренная гражданскими усобицами – религиозными Гуситскими войнами (1419–1434), с 1562 г. Чехия оказывается под властью Габсбургов и перестает быть самостоятельным государством.

Варфоломеевская ночь – организованное матерью-королевой Екатериной Медичи и Гизами, лидерами католической партии, избиение французских протестантов (гугенотов), начавшееся в ночь на праздник св. Варфоломея (24 августа 1572 г.); католики воспользовались приездом гугенотов на свадьбу одного из своих лидеров – Генриха Наваррского и сестры короля – Маргариты Валуа. За несколько дней во Франции было убито около 30 тысяч человек.

Солдаты Наполеона в Испании – 10 мая 1808 г. на якобы «примирительной» встрече в Байонне Наполеон I вынудил короля Испании Фердинанда VII отречься от престола. 6 июня 1808 г. королем Испании провозглашен Жозеф Бонапарт. Но еще 2 мая, узнав о готовящемся отречении, восстали жители Мадрида; казалось бы, подавленное Мюратом, восстание не затухает и распространяется по Испании – Севилья, Гренада, Сарагоса, Валенсия и другие города и провинции формируют свои армии. 14 июля при Медине французские войска разбили две из них, однако в Байлене армия Дюпона капитулировала и испанцы взяли более 18 000 пленных. Наполеон, чтобы «смыть пятно с мундира, обесчещенного Дюпоном», возглавил карательный поход. В жестокой с обеих сторон войне победили французы. Но «малая война», движение «герильи», продолжалась, и Наполеону пришлось держать в Испании большие гарнизоны.

Серия рисунков Гойи – графические работы из серии «Бедствия войны» (1810-е гг.) испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828), посвященные «герилье» и кампании 1808–1809 гг.

Меня удивила его поза: в противоположность тому, что я привык видеть, он был представлен не сидя, а стоя. Обе руки его были прямо вытянуты вверх, без малейшего сгиба в локтях, безволосая голова была склонена несколько набок, тяжелые веки нависали над глазами, рот был открыт, и на лице было выражение сурового экстаза... – В статуэтке соединяются допустимые в отдельных случаях, но «крамольные» в сумме отступления от канонов; считалось, что их нарушение может принести зло миру и несчастье художнику. Каноническими, с незначительными вариациями, признаны следующие позы Будды: наиболее древняя – сидящий Будда – поза «дхьяна-мудра» (медитация), или «падмаасана» («лотос»); стоящий Будда изображался обычно так: правая рука, согнутая в локте, ладонью вверх, обращена к зрителю (жест ободрения – «абхая-мудра»), а левая – лежит на плече, часто прикрытая складками одежды; иногда руки вытянуты вдоль тела, ладони прижаты к бедрам. Встречаются изображения лежащего Будды (на правом боку, правая рука – под головой; левая – вытянута вдоль тела) в состоянии паринирваны – «великой нирваны». «Безволосая голова» в изображениях Будды крайне редка – чаще всего волосы на его голове изображены в виде мелких завитков, на макушке – своеобразный шиньон курчавых

волос, «ушниша». Глаза закрыты, внешние признаки жизни как бы угасают. Наиболее необычна в описываемой Газдановым статуэтке Будды – склоненная набок голова, нарушающая равновесие, символизирующее покой и гармонию, и приоткрытый рот – поза, характерная скорее для изображения распятого Христа.

...мы могли бы быть буддистами, именно мы, русские. – Буддизм – одна из трех мировых религий, зародившихся в Индии в середине первого тысячелетия до н. э. Буддийское учение делится на несколько школ, разногласия между которыми довольно значительны. Согласно этому учению, всякое бытие несет в себе зло и страдание. Живое существо, предающееся страстям и желаниям, не в силах вырваться из «круговорота бытия» (сансары) и обречено быть вечно включенным в поток сменяющих друг друга элементов материи и сознания – дхарм, переходя от одного «перерождения» к другому, еще более ужасному. Единственный путь к спасению – преодоление в себе жажды бытия, привязанностей, полная отрешенность. Достигший такого состояния разрывает цепь перерождений и впадает в нирвану («затухание», «угасание») – ненарушимый покой, не поддающийся определениям и толкованиям. Единственный смертный, удостоенный нирваны еще в своем бытии и вспомнивший свои прежние перерождения, – Будда (школа хинаяны); в школе махаяны он – всевышнее абсолютное существо, первооснова макрокосма, проявляющее себя в каждой из конкретных ипостасей – боддхисаттв, существ, обладающих способностью стать Буддой и приближающихся к нирване, но из сострадания к другим существам отказывающихся впасть в нее.

В названии и композиции романа Газданова есть элементы подражания «джатаке» – особому жанру буддийской литературы, близкому к русскому житию – назидательному рассказу из прошлых «перерождений», жизнью боддхисаттв, припоминаемых и излагаемых Буддой. Джатака содержит три основные части – зачин («рассказ о настоящем»), т. е. изложение обстоятельств, вынуждающих Будду припомнить какой-либо эпизод из прошлых рождений; затем – «повествование о прошлом», главный герой которого – Будда в облике одного из боддхисаттв; и в заключение – отождествление действующих лиц «истории о настоящем» и «повествования о прошлом» и указание «Пути, ведущего к прекращению страдания».

Для повествователя «Возвращения Будды» «припоминание» былых «превращений» – то ли реальность, то ли бред, «болезнь» – мучительно; круг, начинающийся и оканчивающийся видением падения со скалы, – разорван не «бесстрашием», «нирваной», а «путем» буквальным – к любимой, живому чувству, желанию человеческой близости.

...напомнил мне некоторые луврские видения, и в частности восторженное лицо святого Иеронима... мы всё сидели и говорили о самых разных вещах – о буддизме, о живописи Дюрера, о России... – Здесь «подсказана» связь между темами разговора: по мнению Павла Александровича, буддизм свойствен русскому духу – «мы – христиане в силу исторической случайности»; повествователь, разглядывая фигурку Будды, вспоминает луврского «Святого Иеронима». На известной гравюре *Альбрехт Дюрера* (1471–1528) – «Святой Иероним в келье» (1514) мудрая сосредоточенность, углубленность в благочестивый труд Иеронима и контрастируют с «экстазом» луврского анонима, и дополняют его.

...конец времен, о котором так настойчиво говорят священные книги. – В Библии о конце времен говорится как в Ветхом Завете (книги Иоилия, Михея, Захарии, Малахии и др.), так и в Новом Завете (Четвероевангелие, Откровение Иоанна Богослова).

«И увидел я новое небо и новую землю...». – Откровение Иоанна Богослова (21, 1) – этими словами открывается видение Нового Иерусалима, Града Божия.

But come you back... – Популярная песенка «Oh, Danny-boy», написанная Фредериком Уизерли в 1910 г. Считается своего рода ирландским гимном, хотя Уизерли был англичанином.

...припадки палюдизма... – палюдизм, малярия, болотная лихорадка.

...обокраске оцелота... – Оцелот – двухметровое, с красивым мехом млекопитающее рода кошек, обитающее в лесах Южной Америки.

...было нечто стихийно-пантеистическое. – Пантеизм (от греч. pan – все и Theos – бог) – отождествление Природы и Бога. Природа мыслится как самотворящая и самосознающая, средоточие мирового разума (Бог «растворяется» в ней) или как обретающая законченность,

цельность и разрешение всех противоречий в Боге (Природа «сливается» с Богом).

...вместо того, чтобы, прожив обычную человеческую жизнь, не отмеченную ни одной особенной заслугой, умереть и проснуться парией и быть окруженным гениями тьмы. – В индийской философии бессмертная душа, переходящая из одного рождения в другое, стремится к единству с брахманом – целостной духовной субстанцией. Путь к этому единству многоступенчат, нижняя его граница – состояние парии (отверженного), которому такое слияние недоступно. По закону кармы (воздаяния) любая душа (атман) в своих перерождениях может переходить на более высшую и возвращаться на низшую ступень – согласно своим земным делам.

Я имею в виду анонимную картину, на которую я обратил внимание в Лувре. Она приписывается, если не ошибаюсь, школе Синьорелли. – Лука Синьорелли (ок. 1445/1450-1523) – живописец умбро-флорентийской школы, создал фрески в соборе Орвието (1500–1504), изображающие чудеса антихриста, сцены Апокалипсиса и Страшного Суда. Единственный из художников Возрождения, он «бесстрашно взялся за невероятную тему... не потерял хладнокровия перед сюжетом, испытующим последние тайны земли и неба... Не будучи пророком, он был истинным поэтом...» (П. Муратов. Образы Италии). Особенности его художественной манеры: изображение обнаженных фигур в сложных ракурсах, в резком, порывистом движении, странность колорита, порожденная использованием фактуры фрески – «нейтральной известковости поверхности, сводящей многие композиции к монументальному, лишь частью окрашенному рисунку» (П. Муратов. Образы Италии), изысканность цветовой гаммы: все оттенки серого, от пепельного до жемчужно-розоватого, с резкими цветовыми пятнами зеленого, медно-красного или лиловато-голубого. У художников его школы эта особенность нередко превращается в холодность, призрачность колорита, а простое, спокойное достоинство его образов – в мистический экстаз.

...любившего пьесы Жироду и философию Бергсона... – Французский драматург Жан Жироду (1882–1944) в пьесах «Зигфрид» (1928), «Амфитрион-38» (1929), «Юдифь» (1932), «Троянской войны не будет» (1938), «Электра» (1937), «Песнь Песней» (1938), «Содом и Гоморра» (1943) реконструирует античные и библейские

мифологические сюжеты, «осовременивая» и переосмысливая их (так, комический герой нередко оказывается у Жироду в трагических обстоятельствах, сочувствие вызывают и «положительный» герой мифа, и его антагонист, автор воздерживается от прямой оценки, предоставляя читателю решать, на чьей он стороне).

Бергсон – см. коммент. к роману «История одного путешествия». Т. 1, с. 823.

...кто-то играл на пианино... Я сразу узнал эту мелодию: она называлась «Воспоминание», и я слышал ее впервые несколько лет тому назад на концерте Крейслера. – Франц Крейслер (1875–1962) – австрийский композитор, мастер скрипичной миниатюры, к которой принадлежит и «Воспоминание». В его исполнительской манере техническая виртуозность сочеталась с певучестью, ясностью, богатым тембром, ритмической свободой. Выступал до 1948 г.; в Париже жил с 1933 по 1939 г.

...я меньше всего был настроен читать Ифигению. – Цитируется фрагмент 5-го явления 2-го действия «Ифигении» (1674) Жана Расина (1639–1699), где Ифигения упрекает Эрифилу, пленницу ее жениха Ахилла, в тайной любви к нему:

...Он дорог вам, я знаю!
Он все крушил мечом, он все палил огнем,
Но как любили вы рассказывать о нем,
Живописать войны ужасные картины:
Гора кровавых тел, и пепел, и руины,
И в пламени, в дыму, среди обломков – он!

(Пер. И. Я. Шафаренко, В. Я. Шора)

В «Ифигении» Расина есть черты сходства с сюжетом «Возвращения Будды»: вместо главной героини, которая должна быть принесена в жертву, гибнет Эрифила – до последней минуты никто не подозревает, что пророчество оракула о том, что боги жаждут крови «царевны Ифигении», относится к ней, не знающей отца, матери, подлинного имени. Узнав тайну своего рождения, Эрифила вонзает в себя нож; этой смертью достигается благополучие дочери Агамемнона и ее жениха, Ахилла.

...это был знаменитый дневник Пипса. – Сэмюль Пипс (1633–1703) – автор дневника (его полное издание насчитывает девять томов) – ценного исторического свидетельства о быте, нравах Англии с 1659 по 1669 г. Чиновник Адмиралтейства Великобритании, он бывал при дворе, общался с представителями различных кругов общества. Характер Пипса – педанта, рационалиста, меткого наблюдателя и консерватора – накладывает отпечаток на его записки, в том числе и на цитируемое замечание о пьесе Шекспира.

...*And I shall hear...* – Та же песня. См. коммент. к с. 245.

Пилигримы*

Впервые – Новый журнал. 1953. № 33–35; 1954. № 36.

Впервые в России – Другие берега. 1992. № 1; 1993. № 2–3.

Архив Газданова. Роман написан, по-видимому, в течение 1950 г. (на рукописи авторская пометка: «Сан-Эгульф, июль 1950 – 3-е декабря 1950, 7 вечера, Париж»), но завершён в 1953–1954 гг.

Это первый роман Газданова – целиком построенный на французском материале. Он представляет собою развернутую притчу или моральную сказку. Единственный отклик на него – краткое выступление прозаика и эссеиста В. Кульбицкого, сопровождавшее чтение отрывка из романа по радио «Свобода» (Мюнхен) 19 июля 1955 г.

Эпиграф. *Харт Томас Чарльз* – американский адмирал, главнокомандующий Азиатским флотом во время Второй мировой войны.

По другим источникам, эпиграф – старинная испанская молитва: «Боже, дай мне силы перенести то, что я не в силах изменить. Боже, дай мне силы изменить то, что я не в силах перенести. Боже, дай мне мудрости, чтобы не спутать первое со вторым».

Folies Bergtres («Безумные пастушки», *фр.*) – известный театр-варьете на Монмартре.

Она думала, что свет идет со скоростью тридцати километров в минуту и что закон притяжения был открыт Архимедом. – Скорость света равна 300 000 км/сек (по сверхточным измерениям 1927 г. А. Майкельсона, последним по времени относительно действия романа). Закон притяжения (Закон всемирного тяготения)

сформулирован Исааком Ньютоном (1642–1727) в «Математических началах натуральной философии» (1687).

...черными вертикальными полосами от риммеля. – Риммель (фр. rimmel) – черная тушь для ресниц.

...Харон уйдет в отставку... – Образ Харона, перевозчика мертвых в Аиде древних греков, усвоен и католическим преданием. В песне третьей Дантова «Ада» появляется «старик, поросший древней сединою», «лодочник сумрачной реки», чей «шерстистый лик ужасен и недвижим», а «вкруг очей змеится пламень красный» (пер. МЛ. Лозинского).

...он ошибочно называл это позитивизмом. – Позитивизм (лат. positivus – положительный) отрицает познавательную ценность философии и считает источником истинного знания – конкретные (эмпирические) науки, в которых гипотезу можно проверить опытным путем, в отличие от «метафизической» философии.

...нельзя же ставить рядом какие-то проявления человеческого гения, совершенно между собой различные, и всех их произвольно объединять – живопись Джотто и философию Лейбница, портреты Рембрандта и поэзию Шелли, работы Бенвенуто Челлини и пьесы Шекспира? – Джотто ди Бондоне (1266/67-1337) – «отец итальянской живописи», основоположник новой эстетической концепции, главные принципы которой – перспективная передача трехмерного пространства, объемность фигур, стройность и симметричность композиции, подчиненной единому центру, – стали определяющим для искусства эпохи Возрождения в целом. Соединение новаторства с лучшими достижениями Средневековья – возвышенной обобщенностью образов, виртуозным владением цвето-световой символикой, благородной сдержанностью художественных средств придает живописи Джотто особый характер «голубиной чистоты», «райской гармонии».

Готфрид Вильгельм *Лейбниц* (1646–1716) – математик (один из создателей дифференциального исчисления), физик (предвосхитил закон сохранения энергии), геолог, биолог, лингвист. В историю философии вошел прежде всего учением о монадах («Монадология», 1714) – неделимых духовных субстанциях, образующих мир умопостижимый (который, в свою очередь, производит мир феноменальный – «физический космос»).

Бенvenuto Челлини (1500–1571) – флорентийский ювелир, скульптор, автор знаменитых мемуаров «Жизнь Бенvenuto Челлини, написанная им самим» (1558–1562).

...один из ее поклонников сказал ей, что звуки гармоник чем-то напоминают ему поэзию Верлена... – В произведениях Газданова не раз встречается сравнение поэзии Верлена с гармоникой или «дребезжащей музыкой механического пианино», вероятно, восходит к известной строке самого Верлена: «Ma voix aigre et fausse» («Мой голос, пронзительный и фальшивый») – из стихотворения «Serenade».

Она вспомнила почему-то портрет Рембо, юношеское и преступное его лицо... – Скорее всего имеется в виду кабинетное фото (дагерротип) Рембо-лицеиста 1870 г. См. также коммент. к роману «История одного путешествия». Т. 1, с. 822.

Закон достаточного основания – общий логический принцип, согласно которому положение считается истинным, если для него найдено достаточное основание (заведомо истинное положение или положения, проверенные опытным путем или выведенные из истинных положений). Подразумевался во многих системах логики (прежде всего у Аристотеля), но впервые сформулирован Лейбницем, полагавшим, что закон необходим для проверки «истин факта»; для проверки «истин разума» достаточно законов Аристотелевой логики (тождества, противоречия, исключенного третьего).

Шрам*

Впервые – Новый журнал (Нью-Йорк). 1949. № 21. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Гражданин России. 1993. № 15. Дек. (в сокращ.) / Вступ. и публ. С. Федякина; полностью – Смена. 1994. № 8 / Вступ. ст. и публ. Ст. Никоненко.

Архив Газданова. Тетрадь 6. Рукопись датирована: «29. IX. 1943».

Рассказ отчасти основан на газетной публикации (Последние новости. 1938. 14 мая), сохранившейся среди рукописей Газданова:

Преступление Алексея Берсенева

Лондон, 13 мая.

Из Сиднея телеграфируют:

В небольшом австралийском городке Дэльби, близ Брисбэна, бывший русский офицер Алексей Берсенева тремя выстрелами из револьвера убил жену отставного штурмана дальнего плавания Джемса Хэбта. Убийца добровольно отдался в руки властей.

«КУКУШКА»

Незадолго до войны в Москве разыгралась тяжелая офицерская трагедия. В квартире Берсенева после ночного кутежа были обнаружены трупы трех его товарищей по полку, Ратькова, Зиккера и Юсова.

– Мы должны были играть в «кукушку», – заявил Берсенева, – но на самом деле я убил их всех из ревности, так как они хотели на пари отбить у меня любовницу, Наташу Айтарову.

НАТАША АЙТАРОВА

Убийца был арестован. Но вскоре в центре следствия очутилась 22-летняя Наташа Айтарова... В то время как Айтарова безжалостно топила своего любовника, Берсенева, напротив, всячески старался ее выгородить...

В конце концов, вся картина преступления была восстановлена. Как-то Наташа Айтарова беседовала с пришедшими к Берсенева в гости офицерами о русских разбойниках и восторгалась их отвагой и удалью. Офицеры были другого мнения.

ПАРИ

– Попробуйте украсть полковую кассу так, чтобы вас не поймали, – сказала Наташа, – и только тогда вы будете иметь право судить об удали разбойников.

Ратьков, Зиккер и Юсов предложили:

– Мы похитим полковую кассу, принесем деньги к вам на квартиру, а наутро отнесем их назад в полк. Хотите пари?

Пари состоялось. Три офицера принесли с собой 80 000 рублей в ночь, когда произошла драма. О пари Наташи Берсенева ничего не знал.

УБИЙСТВА

Когда все были мертвецки пьяны, Наташа повела страшную игру. По просьбе офицеров, она спрятала

принесенные ими 80 000 рублей. Распаляя ревность Берсенева и непрерывно подливая ему вина, она толкнула его на убийство товарищей. Когда Зиккер и Юсов лежали на полу, залитые кровью, Ратьков ничего не соображал и дико хохотал. Берсенев вдруг протрезвел и в ужасе отбросил от себя револьвер. Наташа подняла револьвер, подошла к Берсеневу и вложила ему оружие в руку. Как произошло убийство Ратькова, Берсенев не помнил.

СУД

Следователь арестовал Наташу Айтарову, но ей удалось подкупить двух тюремных надзирателей и бежать. Под суд попал только один Берсенев... Убийца был разжалован и приговорен к бессрочной каторге. В тюрьме он просидел, однако, лишь 6 месяцев. Вспыхнула война. Берсенев подал прошение о разрешении ему пойти на фронт простым солдатом. За храброе поведение на фронте, после нескольких ранений, его произвели в первый офицерский чин. Перед самой революцией он был, по высочайшему повелению, полностью прощен и восстановлен в прежнем чине.

ЭПИЛОГ

Прошли годы. Берсенев попал в Аргентину, затем в Австралию...

Случайно Берсенев очутился в Дэльби. Идя по улице, он остановился как вкопанный. На террасе местного кафе сидела женщина, в которой Берсенев тотчас же узнал Наташу Айтарову... Берсенев разыскал ее дом, а когда она вышла к нему, не говоря ни слова, выхватил револьвер и всадил в нее три пули...

...для какого-то репортажа о Французской Ривьере... – Французская Ривьера – полоса побережья Средиземного моря, называемая Лазурным берегом, где располагаются курорты: Канн, Ницца, Ментона и др.

Княжна Мэри*

Впервые – Опыты (Нью-Йорк). 1953. № 2. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Газданов Г. Вечер у Клэр: Романы и рассказы/ Сост., вступ. ст. и коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

...эта перспектива зимней улицы, фонари, мутное освещение витрин, беззвучное движение сквозь снег и холод, неверность того, что было вчера, неизвестность того, что будет завтра... и эти магические слова – «Ночь, улица, фонарь, аптека»... – Обыгрываются мотивы второго стихотворения цикла «Пляски смерти» (1912) А. Блока.

...в этом было нечто вроде почти математической недостижимости, как в теореме о пределах вписанных и описанных многоугольников. – Теоремы Паскаля и Шарля Жюльена Брианшона (1785–1864).

Судьба Саломей^{*}

Впервые – Новый журнал. 1959. № 58. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Наше наследие. 1989. № 4 / Публ. и послесл. Ст. Никоненко.

Архив Газданова. Рукопись без даты. Другая, вероятно, более ранняя рукопись рассказа, датированная: «4.XI.1957», подарена вдовой писателя Л. Диснепту и хранится в его личном архиве.

– *Я хотела, чтобы он купил мне Heredia...* – Жозе Мария де Эредиа (1842–1905) – французский поэт. Входил в группу «Парнас». Парнасцы ориентировались на прокламируемый Т. Готье принцип: «искусство для искусства» и воспринимали мир сквозь призму культурных реминисценций (отсюда – изысканность формы, тяготение к «классическим» и возрожденческим жанрам, утонченность языка и образности). Для Эредиа «культурная родина» – это Эллада; образы античной Греции соединяются с жанром сонета («Трофеи», 1893); по словам Н. С. Гумилева, «сонеты Шекспира и сонеты Эредиа – вот два полюса в истории сонета, и оба они безупречны» («Письма о русской поэзии»).

Малларме Стефан (1842–1898) – французский поэт, эссеист; символист. Основное положение его эстетики – искусство рождается

и постигается актом созерцания, «выключая» человека из реальности повседневной и делая его властелином в реальности созданной, – близко эстетике самого Газданова.

...в скульптуре Микеланджело... – См. коммент. к роману «Возвращение Будды», с. 705–706..

...В бронзе Донателло, Бенвенуто Челлини... – Среди произведений Донателло (ок. 1386–1466) наиболее известны выполненные в бронзе – статуи Давида (1430–1432) в Национальном музее Флоренции и кондотьера Гаттамелаты в Падуе (1447–1453), а также рельефы купели Сиенского баптистерия (ок. 1425) и бронзовые двери Старой Сакристии церкви Сан-Лоренцо во Флоренции.

Самое знаменитое творение Челлини в бронзе – Персей (1554) с великолепным пьедесталом, на котором установлены фигуры Данаи, Юпитера, Минервы и Меркурия (Флоренция). См. также коммент. к роману «Пилигримы», с. 715.

...возвращаясь к созерцанию картин Тинторетто или Боттичелли... – Якопо Тинторетто (наст. фам. Робусти; 1518–1594) – представитель венецианской школы позднего Возрождения.

Сандро Боттичелли (1445–1510) – итальянский живописец раннего Возрождения; наиболее известные его произведения на мифологические и религиозные темы («Весна», ок. 1477–1478; «Рождение Венеры», ок. 1483–1484; «Марс и Венера», ок. 1485–1486 и др.) поэтичны, отмечены тонким колоритом, игрой линейных ритмов. В 1481–1482 гг. участвовал в росписи Сикстинской капеллы в Риме (фрески «Эпизоды юности Моисея», «Эпизоды жизни Христа» и др.).

...ему больше всего запомнились тогда – Иоанн Креститель Донателло и «Вознесение» Тинторетто. – Иоанн Креститель – раскрашенная деревянная статуя (1438), подаренная скульптором флорентийской колонии в Венеции для капеллы в церкви миноритов.

«Вознесение» Тинторетто – вероятно, панно в цикле фресок (1565–1588) на евангельские сюжеты в Скуола да Сан-Рокко в Венеции. Создание этого цикла художник считал главным делом своей жизни.

...я думаю сейчас о Пятой симфонии Бетховена... – Эта симфония (1804–1808) начинается «темой судьбы»: «Судьба стучится в дверь».

Панихида*

Впервые – Новый журнал. 1960. № 59. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Лит. Россия. 1988. 18 нояб. / Вступ. ст., подгот. текста и публ. Ст. Никоненко.

Рассказ высоко оценил писатель и критик Я. Н. Горбов: «Только о подлинной, реальности можно сказать, что она – „кратковременное вторжение вечности“. Выдумка и вымысел на это права не имеют. Они скользят по поверхности жизни, не заглянут в глубину ее и вернутся туда, откуда вышли, нигде не оставив по себе настоящего воспоминания... О точной и страшной реальности рассказывает Гайто Газданов в „Панихиде“. И прав он, говоря о даром пропавших силах, о бессмысленно загубленных способностях, о понапрасну развеянных познаниях, о даре чувствовать то, чего в Европе или не чувствуют совсем, или лишь приблизительно чувствуют. И только оттого, что он выбрал темой своего рассказа именно вот эту страшную реальность, и мог он, в конце, сказать: „точно видение все это было“. Без подлинного и настоящего – какое же может возникнуть видение? Только выдумке да фантазерству без нее останется место» (Возрождение. 1960. № 105. С. 131).

...это была копия рубенсовского «Похищения Ганимеда». – Картина Рубенса написана в 1636–1637 гг.

«Воистину суета всяческая...» – Здесь и далее – стихира «Как житейская сладость» из чина погребения (отпевания) архиереев.

«Со святыми упокой» – начало молитвы об усопших: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, праотец, отец и братии наших идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Интеллектуальный трест*

Впервые – Русская мысль (Париж). 1961. 1 июля. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Коммерческий вестник. М., 1996. № 5–6 (553) / Публ. Ст. Никоненко.

...о некоторых особенностях амфибрахия, о метафоричности, о символистах... – Амфибрахий, трехсложная стопа с ударением на среднем слоге. Входит в метрический репертуар русской лирики с

начала XIX в. как имитация шотландского балладного стиха (главным образом у В. А. Жуковского). Широко используется со второй половины XIX в.

Символизм – литературно-художественное направление в культуре Европы конца XIX – первой четверти XX в. Складывается в 1860-1870-е гг. во Франции (Малларме, Лотреамон, Верлен, Рембо). Для символистов искусство основывается на интуитивном постижении мирового единства посредством символа.

– *Я предполагаю, что Василий Алексеевич сейчас консомирует. Пожелаем ему мысленно приятного аппетита...* – *Консомирует* – угощается, потребляет – от фр. *consummation*.

...я имел неосторожность открыть Плутарха... И нахожу, что это написано божественно. – *Плутарх* (ок. 45 – ок. 127) – древнегреческий писатель и историк. Главное произведение: «Сравнительные жизнеописания выдающихся греков и римлян».

...sub spesiae aeternitatis... – с точки зрения вечности (*лат.*). Выражение из «Этики» Спинозы. См. коммент. к рассказу «Общество восьмерки пик». Т. 1, с. 844.

Ватерлоо. – Близ этой деревни в Бельгии Наполеон Г 18 июня 1815 г. потерпел поражение от армий союзников – Англии, Голландии и Пруссии. Ватерлоо стало нарицательным обозначением поражения.

Я поздно встал – и на дороге... – Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон» (не позднее 1830 г.).

Из блокнота*

Впервые – Новый журнал. 1962. № 68. Печатается по этой публикации. По неизвестным причинам, часть текста в журнальную публикацию не вошла. Этот фрагмент, начинающийся словами «Жаркие летние сумерки в Нью-Йорке...» и до конца рассказа, восстановлен по авторской рукописи.

Впервые в России (неполный текст) – Ново-Басманная, 19: Альм. М., 1990 / Вступ. ст., подгот. текста и публ. Ст. Никоненко. Впервые – полностью: Газданов Г. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1996. Т. 3.

Архив Газданова. Ед. хр. 30, 31, 32.

Поезд плачется, в дали родные... – Первая строфа стихотворения Андрея Белого «Из окна вагона» (1908).

– *Ньютон открыл закон притяжения, Гарвей – систему кровообращения, Эйнштейн – теорию относительности.* – Исаак Ньютон (1647–1727) – английский физик, математик, механик, астроном; открыл закон всемирного тяготения. Уильям Гарвей (1578–1657) – английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии; в 1628 г. впервые обосновал учение о кровообращении. Альберт Эйнштейн (1879–1955) – физик-теоретик, один из основоположников современной физики, создал частную (1905) и общую (1907–1916) теорию относительности.

«Ибо земля еси и в землю отыдеши». – Быт. (3, 19), в современном переводе: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься».

Глухая парижская провинция 15-го «аррондисмана». – Аррондисман – округ в административном делении Парижа.

Это еще Соломон понимал – дескать, суета сует и ничего больше. – Имеется в виду книга Екклезиаста, по преданию, написанная Соломоном (X в. до н. э.) в последние годы его царствования: «Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует, – все суета!» (1, 2) – многократный словесный повтор придает тексту особый ритм, соответствующий одной из основных идей Екклезиаста – о возвращении всего «на круги своя».

Все это было, было, было... – Первая строфа стихотворения без названия (1909) А. Блока.

– *Как это в Библии сказано? «Возвращается ветер на круги своя».* – Цитата из книги Екклезиаста (1,6). См. также коммент. к с. 555.

Он бывший присяжный поверенный... – Присяжный поверенный в пореформенном суде (после 1864 г.) – адвокат по уголовным делам, регистрировавшийся при судебной палате. Должен был обладать юридическим образованием и так называемым нравственным цензом.

Нищий*

Впервые – Мосты (Мюнхен). 1962. № 9. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Газданов Г. Вечер у Клэр: Романы и рассказы / Сост., вступ. ст. и коммент. Ст. Никоненко. М.: Современник, 1990.

Архив Газданова. В рукописи есть эпиграф, снятый при публикации в «Мостах»: «Tout est vain en nous excepte... le jugement

aggete qui nous fait mepriser tout ce qui nous sommes (из „Oraison funebre de Henriette Anne d'Angleterre“ Боссюэ)». Русский перевод Ив. Пенинского: «Все суето в нас, кроме искреннего признания перед Богом суеты нашей, кроме сего помышления, что мы должны презирать бытие свое» («Надгробное слово герцогине Орлеанской». В кн.: Надгробные слова Боссюэта, епископа Мосского. СПб., 1822. С. 53).

...«Болеро» Равеля... – «Болеро» – симфоническая пьеса (1928) французского композитора Мориса Равеля (1875–1937) – по мотивам испанского народного танца мавританского происхождения. Построена на повторении основной темы с крещендо (нарастанием силы звука) к финалу.

«Блаженны нищие духом...» – Первая из Заповедей Блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5,3).

Письма Иванова*

Впервые – Новый журнал. 1963. № 73. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Голос Родины. 1988. № 34–35 / Публ. и предисл. Д. Костиковой.

Архив Газданова. Ед. хр. 51.

...прекрасно сделанная копия горящего фрегата Тарнера. – Уильям Тернер (1775–1851) – английский живописец и график, создавший смелые по колористическим и световоздушным исканиям картины

...шкафы с книгами разного содержания. Один из них был отведен путешествиям – Марко Поло, Ливингстон, Стэнли, Пржевальский... – Марко Поло – см. коммент. к рассказу «Бомбей» (Т. 2, с. 723).

Давид Ливингстон (1813–1873) – английский исследователь Южной и Центральной Африки, открыл водопад Виктория, озера Ширва и Бангвеулу, реку Луалабу.

Генри Мортон Стэнли (наст. имя и фам. Джон Роулэндс; 1841–1904) – журналист, исследователь Африки. В 1871–1872 гг. как корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд» участвовал в поисках Давида Ливингстона; вместе с ним исследовал озеро Танганьика. В

1874–1877 гг. пересек Африку с востока на запад, по всему течению реки Конго; в 1887–1889 гг. пересек Африку с запада на восток.

Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) – исследователь Центральной Азии. Впервые описал природу многих ее районов, а также дикого верблюда и дикую лошадь (лошадь Пржевальского), открыл ряд хребтов и озер. Собрал ценные коллекции растений.

В другом шкафу были французские авторы – Сен-Симон, Боссюэ, Ларошфуко, Монтень, Паскаль, Декарт. – Перечисление именно этих авторов указывает на то, что Николая Францевича интересовали французские философы и мемуаристы.

...говорил, что он имеет отношение к «интеллидженс сервис». – Т. е. к английской разведке.

...это какая-то явная аберрация... – Аберрация (от лат. aberratio) – здесь: отклонение, заблуждение.

...это почему-то напомнило ему «Ночную стражу»... – Имеется в виду картина Рембрандта «Ночной дозор» (1642).

...концерты Гофмана... – Иосиф (Юзеф) Гофман (1876–1957) – польский пианист; с 1889 г. жил в США. В 1895–1913 гг. концертировал в России.

Его можно было застать за чтением... блаженного Августина... – Августин Аврелий, Блаженный (354–430) – один из самых известных и влиятельных отцов христианской церкви, автор знаменитой «Исповеди».

...речь шла о последних веках Византии... – Угасание Византии началось еще в VII–DC вв. В 1204 г. крестоносцы захватили Константинополь, но в 1261 г. император Михаил VIII сумел восстановить Византийскую империю, она просуществовала до 1453 г., когда взятие Константинополя турецкими войсками положило ей конец.

...писал о католицизме – «в конце концов, история христианства есть история католической церкви...», о лютеранстве – «только Лютер, только он понял опасность окостенения христианства...» – Среди христиан, после разделения церкви на католическую и православную (1054–1204), католики составляли значительное большинство даже после того, как в ходе Реформации (XVI в.) из католицизма выделился протестантизм. Один из вождей Реформации

– Мартин *Лютер* (1483–1546) положил начало новой христианской доктрине – лютеранству – и новой церкви. Импульс Реформации дали его 95 тезисов, направленных против папства и католической иерархии.

Из записных книжек*

Впервые – Мосты. 1965. № 11; 1966. № 12. Печатается по этой публикации.

Впервые в России – Лепта. 1994. № 20 / Публ. Вл. Цыбина (первая часть, опубликованная в: Мосты. 1965. № 11); полностью – Дружба народов. 1995. № 10 / Публ. Ст. Никоненко.

...вы не претендуете на глубокое знание оккультных наук? – В круг «оккультных наук», пытающихся постичь таинственные, сверхъестественные силы и явления, недоступные научному познанию, входит и хиромантия – предсказание судьбы по линиям ладони.

...Марат, Дантон, борьба против Робеспьера, восстание сорок восьмого года... какая могла быть связь между участием того же Робеспьера, тысяча семьсот восемьдесят девятым годом... – Перечислены деятели Великой французской революции Жан Поль Марат (1743–1793), Жорж Жак Дантон (1759–1794), казненный термидорианцами Максимилиан Робеспьер (1758–1794) и даты важнейших революционных событий: 1789 – год начала Великой французской революции, 1848 – год начала французской буржуазно-демократической революции, в результате которой во Франции была установлена буржуазная республика, просуществовавшая до 1852 г.

...Спаситель в своем Божественном совершенстве и в своей непогрешимости не погнушался понять душу грешницы и души разбойников, распятых рядом с Ним. – Имеются в виду эпизоды из Евангелия. Когда к Иисусу привели «женщину, взятую в прелюбодеянии», и требовали побить ее камнями, Он «сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8, 7); после того как никто не решился этого сделать и Иисус и женщина остались одни, «Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин, 8,11). На слова одного из распятых рядом разбойников «помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Иисус ответил:

«истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23,42–43).

...бесконечные *Златовратские, Решетниковы, Успенские*, множество авторов с двойными фамилиями – *Шеллер-Михайлов, Гарин-Михайловский, Мамин-Сибиряк, Гусев-Оренбургский, Салтыков-Щедрин*... словом, последние десятилетия Российской империи. – Газданов опять иронизирует по поводу русской литературы демократического направления XIX столетия (большинство названных здесь писателей – из разночинцев).

Николай Николаевич *Златовратский* (1845–1911) – прозаик, публицист, мемуарист. Поэтизировал общинную жизнь, «мир», крестьянской души. Критика не раз указывала ему на искусственность приподнято-возвышенного стиля речи его «общинных мужичков», упрекала писателя в «идолопоклонстве перед народом», хотя порой он критически изображал пореформенную деревню.

Федор Михайлович *Решетников* (1841–1871) – писатель-демократ, одним из первых показал в своих произведениях процесс зарождения в России рабочего класса. Самая известная его повесть «Подлиповцы» (1864).

Глеб Иванович *Успенский* (1843–1902) – писатель-народник, автор очерков «Нравы Растеряевой улицы» (1866), «Разорение» (1869), «Власть земли» (1883) и др..

Шеллер-Михайлов, Мамин-Сибиряк, Гусев-Оренбургский – см. коммент. к рассказу «Воспоминание», Т. 2, с. 721–722.

Николай Георгиевич *Гарин-Михайловский* (наст. фам. Михайловский; 1852–1906) – автор тетралогии «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (1907).

...возникновение полиандрии в Тибете... – Полиандрия – многомужество: женщина имеет несколько мужей, обычно братьев.

...утверждал, что лучшим историком был Фукидид... – «История» Фукидида (ок. 460–400 до н. э.) – о событиях Пелопоннесской войны – считается вершиной античной историософии.

– «Эврика» Архимеда. – По преданию, восклицание древнегреческого ученого и изобретателя *Архимеда* (287–212 до н. э.) при открытии им основного закона гидростатики.

О Гоголе*

Впервые – Мосты. 1960. № 5. С. 171–183. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Золотой векъ. 1993. № 4. С. 51–55 / Предисл. Ф. Хадоновой.

Архив Газданова. Ед. хр. 46, 47.

При работе над статьей Газданов использовал воспоминания С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем», П. В. Анненкова «Гоголь в Риме летом 1841 года» и И. С. Тургенева «Гоголь» (1869), цитируемые (с некоторыми неточностями) в статье.

«Гоголь был человеком с большим талантом, но с узким и темным умом». Это сказал Толстой. – Газданов, цитируя, видимо, по памяти, искажает высказывание Л. Толстого в заметке «О Гоголе» (1909): «Гоголь – огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум».

Шенрок Владимир Иванович (1853–1910) – историк литературы, издал «Материалы для биографии Н. В. Гоголя» (тт. 1–4, 1892–1898), «Письма Н. В. Гоголя» (т. 1–4, 1901).

...рассказа «Нос»... – Повесть Н. В. Гоголя «Нос» (1835).

«Он увидел вдруг такое множество отвратительных рыл...» – Газданов цитирует тот же текст из ранней редакции «Вия», что и в «Заметках об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане».

...что сам Гоголь называл «видным миру смехом и незримыми неведомыми ему слезами»... – См. «Мертвые души», гл. 7.

...«только... в разжалованном виде из генерала в солдаты»... – неточная цитата из главы «Четыре письма разным лицам по поводу „Мертвых душ“» из книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

...«Рожден я вовсе не затем...» – цитата из той же главы. Газданов цитирует, не всегда обозначая места сокращений текста Гоголя.

...В письме к Языкову по поводу «Одиссеи»... – Глава «Об Одиссее, переводимой Жуковским» из книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

...В марте 1841 года... – Письмо Гоголя С.Т. Аксакову от 25 февраля (11 марта) 1841 г.

О Чехове*

Впервые – Новый журнал. 1964. № 76. С 128–139. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Вопросы литературы. 1993. № 3. С. 302321 / Публ. С. Никоненко.

Архив Газданова. Ед. хр. 45.

...написавший о нем книгу, Борис Константинович Зайцев... – Зайцев Б.К. Чехов. Нью-Йорк: Изд-во им. А. П. Чехова, 1954.

Бунин в своей книге... – Бунин И. А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. А. П. Чехова, 1955.

...Воспоминания Авиловой... – Авилова Л. А. (1864–1943) А. П. Чехов в моей жизни. Книга завершена в 1938–1940 гг. (первоначальный вариант «О любви»); отрывок под названием «Последнее свидание» опубликован в «Литературной газете». 1940. 4 авг.; полностью в сб. «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1960.

«...Сильна, как смерть, любовь...» – Песнь Песней Соломона 8,6.

...Толстому рассказывали, что какой-то критик на двух страницах изложил содержание Анны Карениной... – См. статью «Миф о Розанове». Т. 1.

Бицилли, например, пишет... – Судя по всему, Газданов был знаком не только с отдельными журнальными публикациями П. М. Бицилли, но и с его монографией «Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа». София, 1942. В данном случае он упростил позицию Бицилли.

Кто меня враждебной властью... – Из стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», написанного 26 мая 1828 г.

Лев Шестов, кажется, сказал... – Газданов, вероятно, имеет в виду статью Л. Шестова «Творчество из ничего» (Мосты. 1960. № 5).

...Странно сказать, что в те времена, когда он жил, говорили – Чехов и Потапенко, Чехов и Глеб Успенский, Чехов и Баранцевич... – Фрагмент статьи, возможно, навеян фразой Чехова из воспоминаний М. Горького «А. П. Чехов»: «Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов...».

Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929) – прозаик, драматург. В конце XIX в. его произведения идиллического и

нравоучительного характера были очень популярны; в 1891–1899 гг. издал повести и рассказы в 12 томах. После смерти практически забыт.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851–1927) – прозаик, очеркист, драматург, автор произведений бытописательского характера.

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) – критик, историк литературы.

Горький рассказывает... – в очерке «А. П. Чехов».

Это... не Раскольников... не Иван Карамазов со слезинкой ребенка и легендой о Великом Инквизиторе, не князь Андрей на Аустерлицком поле. – Имеются в виду соответственно герои произведений Достоевского («Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы») и Л. Толстого («Война и мир»), озабоченные важнейшими вопросами бытия и морали: Раскольников – оправданием права человека на убийство, Иван Карамазов создает богоборческую поэму о Великом Инквизиторе (гл. V второй части романа) и приходит к выводу, что высшая гармония «не стоит... слезинки хотя бы одного только... замученного ребенка» (ч. 2, гл. «Бунт»); Андрей Болконский размышляет о смысле жизни.

...мальчика, который... пишет «на деревню дедушке»... – Ванька Жуков из рассказа Чехова «Ванька» (1886).

И если, по словам Стрехова, Достоевский был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым... – Николай Николаевич Стрехов (1828–1896) – литературный критик, философ, публицист.

Памяти Александра Гингера*

Впервые – Новый журнал. 1966. № 82. С. 126–133. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Время и мы. М.; Нью-Йорк, 1994. № 123 / Публ. Г. Поляка.

Архив Газданова. Ед. хр.50.

Александр Самсонович *Гингер* (1897–1965) – поэт, с 1920 г. в эмиграции, с 1920 г. – в Париже. Весной 1922 г. вошел (вместе с Б. Поплавским, Б. Божневым, С. Шаршуном, В. Парнахом) в организованную Д. Кнудом «Палату поэтов», с 1925 г. – в «Союзе

молодых поэтов и писателей» (Париж). Автор сборников «Свора верных» (Париж, 1922), «Преданность» (Париж, 1925), «Жалоба и торжество» (Париж, 1939), «Весть» (Париж, 1957), «Сердце» (Париж, 1965). Особенности его поэзии – чувство трагизма жизни, романтический мотив преодоления ее, ирония, вера в спасительную силу искусства, все это близко Газданову. См. о нем: Чагин А. И. Гингер А. С. / Писатели русского зарубежья. М.: РОССПЭН, 1997. С. 119–121.

...На прозаизмами богатой лире... – Не совсем точно цитируется первая строфа стихотворения «Amours» (1922) из сборника «Преданность».

О нехорошем горе несуразном... – начальные строки стихотворения Гингера «Перстень».

...И как бы немо иль гугниво... – Полностью приводится стихотворение из сборника «Жалоба и торжество».

...бывал иногда... у известного советского писателя, часто приезжавшего в Париж... – Вероятно, речь идет об Илье Григорьевиче Эренбурге (1891–1967).

...Анна Семеновна Присманова (1892–1960) – поэтесса, с 1922 г. в эмиграции, сначала в Берлине, с 1925-го в Париже, где вышла замуж за Гингера. Автор сборников, изданных в Париже: «Тень и тело» (1937), «Близнецы» (1946), «Соль» (1949), «Вера» (1960). В 1990 г. вышло ее собрание сочинений (Гаага, 1990). Ей близки Лермонтов, Пастернак, Мандельштам. Она склонна к прозаизмам, негармоничным словосочетаниям, ритмы ее монотонны, а рифмы новы, образы неожиданны, изобретательны. Много писала о своей музе, о поэзии.

...За несколько дней до взятия Парижа союзными войсками... – Париж был освобожден от немецкой оккупации 25 августа 1944 г.; наряду с войсками Англии, США, Франции в его освобождении принимали участие партизанские отряды.

...И в заплеванных тавернах... – Из поэмы Н. С. Гумилева «Капитаны» (1909).

Вот изменяется чудесно – Цитируются 4-я и 6-я строфы стихотворения «Покер» из сборника «Жалоба и торжество».

Средь ночи добровольно пленной... – Приводится (за исключением первой строфы) стихотворение «Весть» из

одноименного сборника.

Эстафетный бег являет взорам... – Цитируются первые две строфы стихотворения «Факел».

Не так ли в зрении сердечном... – Цитируется несколько строф из стихотворения «Зрение» (сборник «Сердце»).

Осоргин*

Впервые – Лит. учеба. М. 2004. № 3. С. 161164 / Подг. текста и публ. О. Орловой. Печатается по этому изданию.

Рукопись хранится в Библиотеке современной документальной литературы (BDrC), Нантер, Франция.

Черновик статьи найден в архиве семьи Осоргиных. Возможно, рукопись передал Татьяне Алексеевне Осоргиной сам Газданов. Статья не завершена, время и цель ее написания неизвестны. Судя по упоминанию рукописи статьи о М. А. Осоргине в Краткой Литературной энциклопедии (Газданов называет ее Малой), текст написан после 1967 г., то есть после издания энциклопедии, и мог быть одним из откликов на ее выход. Работавший в это время на радио «Свобода», Газданов внимательно следил за публикациями в СССР и использовал их при подготовке передач. В 1968 г. отмечалось 90-летие со дня рождения Осоргина, что также могло стать поводом для подготовки статьи. Черновик мог быть и наброском доклада на заседании масонской ложи, посвященном памяти М. Осоргина или для публикации в одном из периодических изданий русской эмиграции или радиопередачи.

...поселившийся в маленьком местечке... – В 1942 г. Осоргины жили в Шабри, в неоккупированной зоне Франции.

Памяти А. С. Альперина*

Впервые – Русская мысль. 1968.17 окт. № 2708. Печатается по этому изданию.

Впервые в России – Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935–1937). М.: Эллис Лак, 2000. Т. 1. С. 226–230.

Альперин Абрам Самойлович (1881–1968) – юрист, помощник присяжного поверенного, общественный деятель, предприниматель, создатель и член правления Ростовского купеческого банка; заведовал табачными фабриками; заместитель председателя Донского общества

помощи казакам (1918–1919). С 1919 г. – в эмиграции. Жил в Париже. Имел крупное табачное дело. Основатель и один из директоров фабрики «Биотерапия». Активный масон, входил в разные группы и ложи, прежде всего в Северную звезду и Северные братья, членом которых был Газданов. В годы Второй мировой войны руководитель еврейского движения Сопротивления. Был арестован, попал в концлагерь в Компьене. После войны – один из создателей и председатель (1947) Общества помощи русско-еврейской интеллигенции им. Тейтеля (Тейтелевского комитета).

М. М. Тер-Погосьян*

Впервые – Новый журнал. 1972. № 106. С. 283–286. Печатается в России впервые – по этому изданию. Архив Газданова. Ед. хр. 39–41.

Некролог написан, вероятно, в 1968 г. после смерти Тер-Погосьяна.

Михаил Матвеевич Тер-Погосьян (1890–1967) – активный деятель масонской ложи, в которой состоял Газданов.

...Они обратились к Макякову... – Василий Алексеевич *Маклаков* (1869–1957) – общественно-политический деятель, юрист, публицист, мемуарист, член ЦК партии кадетов, с середины октября – посол России во Франции (после Октябрьской революции – неаккредитованный посол России до октября 1924 г.). С 1924 г. председатель Русского эмигрантского комитета при Лиге Наций. В 1945 г. близок к движению советских патриотов.

Тейяр де Шарден Пьер (1881–1955) – французский палеонтолог, философ и теолог. Один из первооткрывателей синантропа; автор концепции «христианского эволюционизма», где космогенез сближается с христоргенезом.

Тинторетто Якопо. – См. коммент. к рассказу «Судьба Саломеи», с. 718.

Масонские доклады*

Впервые – Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 178185 / Публ. А. И. Серкова. Рукописи хранятся в личном архиве А. И. Серкова. Печатаются по автографу из этого архива.

По рекомендации М. А. Осоргина и М. М. Тер-Погосьяна Г. Газданов посвящен в масонство 2 июня 1932 г. в ложе Северная

Звезда, которая работала в Париже и входила в союз Великого Востока Франции. Помимо лидера ложи М. А. Осоргина ее членами были литераторы – М. А. Алданов, В. Л. Андреев, В. Н. Емельянов, В. Е. Жаботинский, В. В. Завадский-Корсак, Л. Ф. Зуров, А. И. Каффи, Х. Г. Кафьян, Я. Я. Кобецкий, А. П. Ладинский, С. А. Луцкий, М. М. Мабо (Азовский), С. В. Познер, С. Л. Поляков (Литовцев), В. А. Прейсман, В. Б. Сосинский, С. П. Шерман (Савельев), Я. Л. Юделевский (Делевский), А. М. Юлиус.^[74]

Г. Газданов был членом ложи Северная Звезда до кончины и занимал в ней следующие офицерские должности (избрание происходило в октябре-ноябре предшествующего года): оратора в 1947, 1960 и 1966 гг., судьи – в 1948, привратника – в 1953, делегата ложи – в 1960, 1-го стража (второй по значимости пост в ложе) – в 1963–1964 гг. В 1961–1962 гг. Газданов – досточтимый мастер ложи, т. е. ее официальный руководитель. Во второй половине 1930-х гг. Газданов также действительный член независимой (она не входила ни в один из масонских союзов) ложи Северные Братья, создателем и идеологом которой также был М. А. Осоргин.^[75]

Известно несколько тем докладов Газданова на заседаниях масонских лож: 1 июня 1933 – Масонские впечатления (традиционное выступление «ученика» перед посвящением во 2-ю степень масонства, Газданов возведен в эту степень 17 июля 1933 г.);

2 марта 1936 – О юбилеях и безвременности масонства;

6 апреля 1936 – Об «опустошенной душе»;

12 декабря 1946 – Писатель и коллектив (доклад обсуждался также на заседании ложи 26 декабря 1946 г.);

8 апреля 1948 – Советская проблема (новый правящий класс);

8 марта 1951 – Литература социального заказа;

10 декабря 1959 – О Гоголе (доклад на эту же тему прочтен Газдановым и в 1961 г.);

23 ноября 1961 – О постановке русских пьес во французских театрах;

1961 – О Чехове;

12 апреля 1962 – О книге М. А. Нарницы «Неспетая песня»;

6 июня 1963 – О литературном творчестве М. А. Алданова; 28 ноября 1963 – Посвящение и традиция.^[76]

Все перечисленные доклады, за исключением двух сообщений 1936 г., прочитанных в ложе Северные Братья, прозвучали на заседаниях ложи Северная Звезда. Помимо этого, Газданов постоянно выступал в обсуждениях докладов других вольных каменщиков. 22 октября 1971 г., после смерти 1-го стража Северной Звезды, Н. В. Петровского, Газданов прислал из Мюнхена письмо памяти своего «брата». Последовавшая вскоре кончина писателя заставила оставшихся членов Северной Звезды (с января 1972 г.) официально закрыть свою масонскую «мастерскую» и присоединиться к другой русской ложе в Париже. Отметим, что некрологи памяти Газданова написаны вольными каменщиками: Г. В. Адамовичем, М. Л. Слонимом, Ю. К. Терапиано.

О большинстве докладов Газданова в масонских ложах можно судить лишь по их пересказу, сохранившемуся в протоколах заседаний вольных каменщиков, до нас дошли лишь два текста его выступлений в ложе Северная Звезда. Первый доклад – о роли писателя, вероятно, прочтен после 1965 г.; второй, о М. А. Алданове, – в феврале 1967 г. Судя по перечню докладов Газданова в масонских ложах, публикуемые доклады посвящены темам, постоянно волновавшим писателя, поэтому они – неотъемлемая часть творчества Газданова как литературного критика.

А. И. Серков

I.

...стенографический отчет о заседании Союза писателей в Москве... – См. Б. Пастернак и Союз Советских Писателей (стенограмма) (Новый журнал. 1966. № 83. С. 185–227), по этой публикации Газданов и цитирует высказывания советских писателей и критиков: Сергея Сергеевича *Смирнова* (1915–1976), Льва Ивановича *Ошанина* (1912–1997), Корнелия Люциановича *Зелинского* (1896–1970), Виктора Осиповича *Перцова* (1898–1980), Анатолия Владимировича *Софронова* (1911–1990), Бориса Абрамовича *Слуцкого* (1919–1986), Галины Евгеньевны *Николаевой* (наст. фам. Волянская; 1911–1963), Веры Михайловны *Инбер* (1890–1972).

...Бунину дали Нобелевскую премию – 9 ноября 1933 г.

...Ее же дали «фашиствующему французскому писателю Камю...». – Альбер Камю (1913–1960), французский философ и

писатель-экзистенциалист, в годы фашистской оккупации Франции – участник Движения Сопротивления. Лауреат Нобелевской премии (1957).

...книга Герцена, где он рассказывал о Чаадаеве... – Неточно переданный эпизод из жизни П. Я. Чаадаева, связанный с публикацией книги А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России» (1851). Чаадаев мог встречаться лишь с шефом жандармов и начальником Третьего отделения А. Ф. Орловым. См. об этом: *Чаадаев П. Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма. М., 1991. Т. 2. С. 255, 391–392.

...От той же Марьеты Шагинян? Суркова?... – Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) и Сурков Алексей Александрович (1899–1983), писатели, Герои Социалистического Труда.

...пишет в своей последней книге известный итальянский романист Игнацио Силоне... – Силоне Иньяцио (наст. имя и фам. Секондо Транкуилли; 1900–1978), итальянский писатель и политический деятель: в 1930–1945 гг. жил в эмиграции в Швейцарии, антифашист, антикоммунист, депутат (после 1945) итальянского парламента от Социалистической партии, председатель «Ассоциации в защиту культуры».

Клемансо – См. коммент. к рассказу «Вечерний спутник». Т. 2, с. 726.

...Декарт вдруг понял свое призвание – «Discours de la methode» – Рене Декарт (латинизиров. имя Картезий; 1596–1650) – французский философ, математик, физиолог; представитель классического рационализма, возникшее на основе его учения направление в философии и естествознании получило название картезианство. Упоминается его труд «Рассуждение о методе...» (1637).

...«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»... – строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин».

...Где роза без шипов растет... – Из стихотворения Г. Р. Державина «Фелица» (1782).

...во французской литературе Мориак... в английской... Грэхэм Грин. – Мориак Франсуа (1885–1970), французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1952 г.; Грин Грэм (1904–1991), английский писатель.

...Горький рассказывает в своей небольшой книге о Толстом... – Имеется в виду известный очерк М. Горького «Лев Толстой» (1919).

II.

Доклад 1967 г. Приблизительно тот же текст напечатан Газдановым как статья «Загадка Алданова» в газете «Русская мысль» (Париж. 1967.15 апр. № 2608).

...Десять лет тому назад, в возрасте семидесяти одного года... – М. А. Алданов умер в Ницце 25 февраля 1957 г., не дожив до 71 года.

...одной из последних по времени его книг «Ульмская ночь»... – Алданов М. А. Ульмская ночь: Философия случая. Нью-Йорк: Изд-во им. А. П. Чехова, 1953.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) – прозаик, публицист, фельетонист.

...в пятидесятых годах вышел исторический роман Ульянова «Атосса»... – Ульянов Николай Иванович (1905–1985) – прозаик, эссеист, литературный критик. Роман «Атосса» вышел в Нью-Йорке (изд-во им. А. П. Чехова) в 1952 г.

...романы Антонина Ладинского... – Антонин Петрович Ладинский был не только поэтом, но и автором исторических романов: о древнем Риме – «XV легион» (1937, переиздан в Москве в 1961 г. под названием «В дни Каракаллы»); о становлении древнерусского государства: «Голубь над Понтом» (1938, переизданный в 1958 г. под названием «Когда пал Херсонес») и др.

...ученым Harvey... – Уильям Гарвей. См. о нем коммент. к рассказу «Из блокнота», с. 720.

Роберт Грейвс (1895–1985), английский поэт, романист, переводчик О. Хайяма.

Джайлс Литтон Стрейчи (Стрэчи) (1880–1932) – английский критик и эссеист.

Charles du Bos – Шарль Дю Бос (1882–1939) – французский эссеист, психоаналитик.

...в один из его романов, например, вставлена театральная пьеса... – в роман «Живи как хочешь» (Нью-Йорк, 1952).

...прекрасно написанный исторический очерк о смерти Валленштейна. – Альбрехт Валленштейн – имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне. Потерпел поражение

при Лютцене от армии шведского короля Густава II Адольфа (1632). Обвинен в сношениях с неприятелем, отстранен от командования и убит своими офицерами (см. о нем коммент. к рассказу «Гостиница грядущего» в т. 1, с. 835.)

Выходные данные

Гайто Газданов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том ТРЕТИЙ

Романы. Рассказы. Литературная-критика и эссеистика.

Масонские доклады

Издание осуществлено при финансовой поддержке: Главы Республики Северная Осетия-Алания Таймураза Дзамбековича Мамсурова,

Художественного руководителя-директора, главного дирижера Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева

Под общей редакцией Т. Н. Красавченко

Составление, подготовка текста Л. Диенеша (США), Т. Н. Красавченко, С. С. Никоненко, А. И. Серкова, Ф. Х. Хадоновой

Комментарии Л. Диенеша, Т. Н. Красавченко, С. С. Никоненко, Л. В. Сыроватко, А. И. Серкова

Художник В. М. Мельников

Редакционно-издательский совет: А. М. Смирнова (председатель, директор издательства), Т. Н. Красавченко, С. С. Никоненко, Т. А. Горькова, В. М. Мельников, С. В. Федотов

Корректор Е. И. Коротаева

Верстка – А. Б. Метелкин

Подписано в печать 15.07.09. Формат 84 x 108 1/32.

Печ. л. 23 Тираж 3000 экз. Заказ № 3424

Издательство «Эллис Лак 2000»

123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный

Октябрь“»

430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а

notes

Примечания

1

«Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске» (*англ.*).

На улице идет дождь,
И сердцу не но себе (*фр.*).

3

Пусть будет ветер, пусть дождь,
Только люби меня... *(фр.)*

4

оборот речи (фр.).

5

подобно солдату, он пал в бою (*фр.*).

6

что станет с его детьми? (*фр.*)

7

ближним боям (фр.).

8

Дворец спорта (фр.).

9

– Давай, Мимиль! Покажи ему! Поддай ему! Давай, жми! *(фр.)*

Здесь: нокаут!..добей его, Мамиль! (фр.)

– но он же сдох (*англ.*).

12

навыворот (фр.).

Да. Да, месъе (*англ., фр.*).

крошка Анни (*англ.*).

танцзал, дансинг (*фр.*).

городское дно (*фр.*).

Дала осечку (фр.).

«Хотеть нас испепеляет, а мочь нас уничтожает» (*фр.*).

Дело совести (*фр.*).

«Удача» (фр.).

низший человек (фр.).

может быть, погибнешь из-за женщин (*фр.*).

мне бы хотелось умереть иначе (*фр.*).

– Извините, что я вас побеспокоил, не могли бы вы ссудить мне немного денег? (*фр.*)

Было время, когда я смеялся над любовью (*фр.*).

«В цветочной корзине» (фр.)

Я не знаю своих родителей, более того, я сомневаюсь, существовали ли они вообще. Таким, каким вы меня сейчас видите, а ведь меня нашли в мусорном ящике на улице Коленкур, 24. Так что я настоящий парижанин (*фр.*).

До того дня, когда я сдохну, ведь у меня больные легкие (*фр.*).

Можно подумать, что это оргия (*фр.*).

– Мне в жизни не везло (*фр.*).

– Ты меня понимаешь? Скажи, что ты меня понимаешь (*фр.*).

Месъе, сеанс окончен (*фр.*).

Извините... Спасибо, что разбудили меня, мадемуазель (*фр.*).

Месье, вы понимаете происхождение этого богатства? (*искаж. фр.*)

Потому что вы, видите ли, мужчина (*фр.*).

– В таком случае произошла бы ошибка в определении пола (*φр.*).

Меня всю жизнь втапывали в грязь (*фр.*).

бессвязный разговор (фр.).

Когда умру – все смертны в этом мире,
Вернешься ты; увянут уж цветы;
Вернешься – и найдешь мою могилу...
(Пер. с англ. Ст. Никоненко)

– Вот это да (фр.).

Горемыка, несчастное дитя (*фр.*).

Бодритесь! (*фр.*)

смилуйтесь! (фр.)

«Таким образом он заплатил долг обществу» (*фр.*).

Удостоверение личности (фр.).

«И эту ярость, так описанную вами,
И ваши руки, омытые в крови...» (фр.)

«В Королевский театр, – где мы смотрели „Сон в летнюю ночь“, пьесу, которую я никогда не видел раньше и больше никогда не увижу, ибо это самая безвкусная и нелепая пьеса из всех, что я когда-либо видел в своей жизни» *(англ.)*.

И тихие шаги услышу надо мною,
Могилы станут и теплее и нежней,
Когда шепнешь «люблю», склонившись головою,
И буду мирно спать, пока придешь ко мне
(пер. с англ. Ст. Никоненко).

«Возлюбленный Господь, дай нам силу принимать со спокойствием обстоятельства, которые нельзя изменить. Дай нам мужество изменить обстоятельства, которые могут и должны быть изменены. И дай нам мудрость отличать первые от вторых» *(англ.)*.

Великую любовницу (фр.).

Погибли люди и имущество (*фр.*).

бедняга! (фр.)

Это рецидивист (фр.).

– Вы увидите, это будет волнующе (*англ.*).

Нужно все делать для того, чтобы избежать трудностей (*фр.*).

– А как же (*фр.*).

Мясо по-бургундски (фр.).

Да сжалится Господь над его душой (*фр.*).

Я только стенка (*фр*).

– Я здесь! (англ.)

61

честь (фр.).

Но они вышли из вечности, чтобы снова там потеряться (*фр.*)

«Говорит Лондон. В эфире наш информационный бюллетень...»
(фр.).

– Вставляем стекла! Вставляем стекла! (*фр.*)

с точки зрения вечности (*лат.*).

профессиональное уродство (*фр.*).

«Вечно куда-нибудь влипну» (фр.).

– Я недавно вышел (*фр.*).

Никогда! Никогда! *(англ.)*

фильме ужасов (*фр.*).

Причина, обосновывающая появление (*фр.*).

ВЫМЫСЕЛ (*англ.*).

Здесь: групп Движения Сопротивления (фр.).

Сведения о масонстве, биографии отдельных вольных каменщиков, а также данные об отдельных ложах и союзах см.: Серков А. И.^{СПб.} Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001.

Источники сведений о масонстве Г. Газданова – следующие архивные документы: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 7; РГАЛИ. Ф. 1646. Он. 1. Д. 338 (письма Газданова к Осоргину); Ф. 2512. Он. 1. Д. 518. Л. 4; Национальная библиотека Франции. Архив ложи Северная Звезда; Великая Ложа Франции. Архив ложи Астрея; Великий Восток Франции. Архив объединенной ложи Астрея – Северная Звезда; Париж. Архив А. А. Юлиуса; личный архив публикатора.

Основные источники для восстановления списка докладов Г. Газданова – Национальная библиотека Франции. Архив ложи Северная Звезда. К. 1–2 (протоколы заседаний ложи); личный архив публикатора (список докладов, прочитанных в ложе Северные Братья).